127

КОНТИНЕНТ

2006

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 127

КОНТИНЕНТ



Адам МИХНИК

Толпа исповедует примитивные идеи, в которых видит абсолютные истины. Победа толпы означает, что вступают в силу законы скопища и язык сточных канав становится нормой публичной полемики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи Александра Кабанова, Игоря Меламеда, Ларисы Миллер, Владимира Холкина

Рассказы и повесть Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Славы Сергеева

Статьи и очерки Евгения Ермолина, Владимира Огнева, Геннадия Россоша, Евгении Щегловой

А также наш постоянный раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА»

Марина КУДИМОВА



О, не отвергайте щедрот хвалящего! Без них пересыхает ключистая местность творчества. Наслушаетесь еще немоты мирской до смертной икоты. Ибо скуп человек на доброе слово, скряжист и неуступчив просящему.

о. Анри МАРТЕН



Мы, католики, верим не в Папу, мы веруем в Бога. Мы верим, что Бог не оставит Свою Церковь без опеки. И мы верим в то, что выборы Папы – не конкурс красоты, а действие Провидения.

Деревенская любовь. Конечно, ее нет. Любовь не может быть деревенской, городской... Она сама - центр вселенной. Если она есть, конечно…



Юрий ЕКИШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

«КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы

71682 *(годовая подписка)* и 73218

в красно-бело-синем каталоге «Роспечати», а также

15706

в зеленом Объединенном каталоге «Пресса России»
(адресная система подписки)

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7; тел. 951.93.60
"КНИГА" – Нижняя Радищевская, 2; тел. 915.27.97
КНИЖНАЯ ЛАВКА ПРИ ЛИТИНСТИТУТЕ – Тверской б-р, 25; тел. 202.86.08
"ЛЕТНИЙ САД" Б.Никитская ул., 46; тел. 203.77.83
"ПИРОГИ" – Б. Дмитровка, 12; тел. 229.34.53 и Никольская, 19/21; тел. 921.58.27
"ПРОЕКТ ОГИ" – Потаповский пер., 8/12 стр. 2; 927.56.09
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЗНАМЯ" – Б. Садовая, 2/46; тел. 299.52.83
СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ книжный киоск – ул. Покровка, 29, офис 38; тел. 923.03.80
"ФАЛАНСТЕР" Мал. Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел. 504.47.95
ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА – Столешников пер., 2; тел. 229.52.62
ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА УСПЕНСКОМ ВРАЖКЕ – Газетный пер., д. 15; тел. 962.05.63

В Санкт-Петербурге

Магазины "ЛЕТНИЙ САД":
Большой Проспект ПС, 82 ВО, Менделеевская линия, 5
Фонтанка, 15



КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

127

2006, № 1
январь — март

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, офис 114-115
E-mail: idugina@mail.ru

Телефон редакции:
(495) 624-91-51
Internet: www.magazines.russ.ru/continent/

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

Материалы, присланные по электронной почте, не рассматриваются

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНОВ
Юрий АФАНАСЬЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Николай ЗЛОБИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Адам МИХНИК
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Редакция:

Галина ВЕЛИКОВСКАЯ, Ирина ДУГИНА,
Евгений ЕРМОЛИН, Марина КОПЫЛОВА,
Александр КЫРЛЕЖЕВ, Сергей ЛЕБЕДЕВ,
Светлана ОПАРИНА

Представители «Континента»

АВСТРИЯ
Елена ВОРОНЦОВА
Buchengasse 133/2/32
1100, WIEN, OSTERREICH
☎/fax 0043-1-607-30-23

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Лев УКЕЛЬСОН
Wertachstraße 11,
86153 AUGSBURG, BRD
☎/fax (821) 41-77-08

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
315 Oak Street
Garwood NJ 07027
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА
15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КОНТИНЕНТА»

Лариса МИЛЛЕР
Живи как умеешь. *Стихи* 9

Слава СЕРГЕЕВ
Подайте что-нибудь бродячим музыкантам. *Повесть* 14

Александр КАБАНОВ
Ужин с натурщицей. *Стихи* 66

Юрий ЕКИШЕВ
Деревенская любовь 71

Владимир ХОЛКИН
Остров Где-то Там. *Стихи* 107

Марина КУДИМОВА
Не без добрых. *Долговая повесть* 110

Игорь МЕЛАМЕД
Там вечный праздник празднуете вы... *Стихи* 146

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР
Четыре рассказа 149

РОССИЯ И МИР

Адам МИХНИК
Ненависть сточных канав 174

У книжной полки

Евгения ЩЕГЛОВА
Российский алмаз 192

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ
Комментарий к событиям российской жизни
/сентябрь — декабрь 2005 г./ 202

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Проблемы российской истории и современности
в русской периодике 2005 г. 244

Валерия ПУСТОВАЯ
Болевые вихри мира. *По страницам литературно-публицистического журнала «Nota Bene»* 259

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Владимир ОГНЕВ
Холодная юность 296

РЕЛИГИЯ

о. Анри МАРТЕН
Католичество и Россия 329

Основные события церковной жизни
в зеркале прессы (*декабрь 2005 — февраль 2006*) 380

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Религиозная мысль *в русской периодике 2005 г.* 384

ГНОЗИС

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Философская, социологическая, историософская
и культурологическая мысль России
в русской периодике 2005 г. 396

ПРОЧТЕНИЕ

Геннадий РОССОШ
Пегий мерин и Красногривый жеребенок. *Вокруг да около* 406

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Ключи Набокова. *Пути новой прозы и проза новых путей* 432

Библиографическая служба «КОНТИНЕНТА»

Художественная литература и критика
в русской периодике 2005 г. 444

Игорь ВИНОГРАДОВ
ДНЕВНИК РЕДАКТОРА. Выпуск первый. Март 2006 г. 491
I. Немного о личном и не только, или Почему вдруг теперь
(*Вынужденные пояснения к новой рубрике*) 491
II. Какого рода злодеем был Сталин 502
III. Шарашка ли должна быть нашей
«национальной идеей»? 506

РАЗНОЕ

По поводу откликов на письмо Лидии Головковой 406

Лариса МИЛЛЕР

ЖИВИ КАК УМЕЕШЬ

* * *

От яблок ветка тяжела.
Я рядом с ней весь день жила,
И поживу еще, быть может,
Коль хватит сил, коль Бог поможет.

Плоды зеленые висят,
Дожди все лето моросят,
Размокший след ведет к калитке,
А жизнь моя висит на нитке —
На солнечной, на дождевой,
На ускользающей, живой.

* * *

А посреди земного ада
Звучала звонкая рулада,
Пылали маки в том аду,
Цвела кувшинка на пруду.
Кувшинка на пруду белела,
А сердце все равно болело,
Господь о помощи просил,
И жить едва хватало сил.

* * *

Одна поэзия, без прозы...
Летают быстрые стрекозы,
Мир нежен, как на окнах тюль...
Ах, не меняй удобной позы.
Ласкает солнечный июль,

Лариса МИЛЛЕР — родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг «Безымянный день», «Земля и дом», «Стихи и проза», «Стихи о стихах», «Сплошные праздники», «Заметки, записи, штрихи», «Между облаком и ямой», «Мотив. К себе от себя», «Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

А, может, август — губы, руки,
И вместо нестерпимой муки —
Лишь по лицу скользящий блик
И курс неписаной науки
Как удержать счастливый миг.

* * *

У ног твоих, у самых ног —
Зеленый узенький клинок,
То бишь, зеленая травинка...
Живи, не плачь, моя кровинка.
Живи. Земля к тебе добра,
Повсюду капли серебра,
Тебе здесь многое прощают
И сверху путь твой освещают.

* * *

«Да не трону тебя я, не трону,
И не надо держать оборону», —
Прошептал ослепительный мир,
Осветив августовскую крону
И продолжив свой солнечный пир.

Шелестит и шуршит, и бликует,
Среди собственных красок ликует
Мир окрестный. Лишь я не могу
Позабыть, что ветрами задует
Все огни на цветущем лугу.

* * *

А день летуч, как легкий штрих,
Летуч, стремителен и тих.
Мир пишет быстрыми штрихами,
А я о нем пишу стихами.
И парной рифмы два крыла
Ту жизнь, которая была,
Так осторожно обнимают
И над землей приподнимают,
Чтоб в день грядущий отнести
И от забвения спасти.

* * *

И негде преклонить главу.
Упасть бы в мягкую траву...
Ну полежу я в ней немного.
А дальше что? Опять дорога.
Опять коряги, кочки, пни
И убывающие дни.

* * *

Надо же, листья уже опадают.
С веток нам золото щедро кидают,
Вовсе не радуя глаз.
Все, что цвело, с каждым днем увядает...
Был бы какой-нибудь лаз
В мир, где ни темени, ни увяданья,
Лишь с нескончаемым светом свиданье,
С вечно горящим кустом...
Листья летят, и все ближе скитанье
В темном пространстве пустом.

* * *

Течению жизни никак не мешая,
Качается яблони ветка большая,
Качается возле окна,
Качается ветка, меня утешая:
Мол, ты не одна, не одна.

Шуршит, шелестит на ветру то и дело.
Вот птичка на ней пять секунд посидела,
Вот плод недозрелый упал.
А ветка качалась, а время летело,
И вечер уже наступал.

* * *

А там вдали, а там вдали...
Строку короткую продли
Посредством многоточья...
Куда мы денемся с земли?
Мы здесь и днем и ночью.

А даль, на то она и даль,
Чтоб было нам все время жаль,
Что лучшее далеко.
А жизнь — она великий враль,
И все, что видит око,
То зуб, как правило, неймет.
Что дальше? Молоко и мед.
Но это там, далече.
А нынче серых будней гнет,
И нет о счастье речи.
И манит дальних далей свет,
И вьется бесконечный след
И тянется куда-то,
Туда, где ничего и нет,
Лишь зарево заката.

* * *

Эта горестная нота...
Время краткого полета
Ниоткуда никуда.
Сад осенний шепчет что-то,
Бормочу в ответ: «О да»,
Хоть его невнятны речи.
Поживем. Еще не вечер.
Полетаем, поживем.
Ярко вспыхивают свечи...
Слава Богу, мы вдвоем.
Слава Богу, время длится,
Нам один и тот же снится
Золотой летучий сон...
В старом доме сладко спится
Под шуршанье желтых крон.

* * *

Августовский день нарядный,
Ненаглядный, ненаглядный,
Ты помедленней теки.
Наша жизнь есть факт отрадный.
Луч касается щеки
Аккуратно, осторожно.
Нынче жить совсем не сложно.
Сверху синь, внизу трава.
Все говорено, и можно
Больше не искать слова.

* * *

Читай в незримом букваре
Как облака плывут горé,
Плывут небесные овечки, —
Шепчи простейшие словечки.
Читай, губами шевеля,
Но только медленно: «Земля,
Осенней паутины нитка»...
Уже которая попытка
Всю эту азбуку прочесть.
Читай сначала. Время есть
Пока. А если даже нету,
Читай, присев поближе к свету.

* * *

Живу, хоть казалось бы, жить невозможно.
На свете тепло, а на сердце тревожно.
Иду по садовой дорожке тенистой,
А чудится мне, что по кромочке льдистой,
По той, что готова вот-вот проломиться,
И странно, что жизнь моя все еще длится.

* * *

Живи как умеешь. Никто не мешает.
Никто тебя жизни пока не лишает.
Как прежде висят над тобой небеса,
Под ноги ложится густая роса,
Вокруг тебя бабочка пестрая вьется.
Так что же с тобой? Почему не живется?

Нет сил никаких эту жизнь продолжать,
И ноги в густую росу погружать.
Все песни свои я давно уже спела,
И рвется душа из постылого тела.

Слава СЕРГЕЕВ

ПОДАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ БРОДЯЧИМ МУЗЫКАНТАМ

Повесть

I

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»

Джип с правым рулем

Выпил пятьдесят грамм. Стало хорошо. Ну, поехали. Я знал ее еще давно. Она тогда работала обычной продавщицей в книжном магазине «Зима», и все посетители мужеского полу обращали внимание на ее ноги, очень напряженно торчавшие из-под короткой юбки. Было видно, что у нее *никого нет*, в смысле мужчин, и что ей очень надо. Но была очень интеллигентна и очень нервна, хотя хорошенькая, плюс рост под два метра, поэтому лично я подходить боялся — и, наверное, не только я. Откуда она взялась, я не догадался спросить. А кто-то не побоялся, и через пару лет, а может, даже и побольше, смотрю: а у нее живот! Вот это да, думаю, а ты все ходишь в трех соснах, но при этом почему-то обрадовался почти истерически. Какая вы молодец, — говорю, — правильно (да и пора, думаю), так держать, да. А она, помню, говорила: не знаю. Потом зашел еще через несколько месяцев, ее не было. Спросил, сказали: родила. Купил тогда книжку «Жизнь Шагала», полная фигня, куда шагала жизнь — непонятно, только деньги выбросил, написал какой-то идиот-француз. Еще через полгода пришел — а она там, здравствуйте. Похорошела, видно было — личная жизнь или наладилась, или хотя бы появилась, родила мальчика. Говорю: это хорошо, а она: да, и еще как, — и думаю, ну как ее теперь *это*, куда? — очередную упустил. Купил в соседнем магазине игрушку довольно дорогую, тогда деньги водились, и ей отнес: отдайте сыну. Отдал искренне, а произвел впечатление — вот, всегда так. Посмотрела, по-моему, первый раз внимательно, из чего мог бы заключить, что личная жизнь наладилась не вполне, но не заключил, а гордо и растроганно отвалил, предварительно посоветовав ей читать мою повесть в последнем номере журнала «Остров», который тогда как раз только что вышел.

Слава СЕРГЕЕВ — родился в Москве. Закончил МИНХ и ГП им. Губкина, после 4-го курса ушел из Литературного института им. Горького. До 1994 г. работал геологом в системе Академии наук СССР и России. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Новое время», «ОМ», «Огонек», «Новое литературное обозрение», «Континент». Живет в Москве.

Заварил зеленого чаю и продолжал. А зря, т.к. жизнь наладилась не вполне, и когда зашел в очередной раз через полгода и спросил, а где же Таня, меня переспросили: *Татьяна Юрьевна?* — и проводили: она теперь директор всего заведения. Ничего себе. Что-то то да сё, а она говорит, когда уходил, — даже не помню, в связи с чем: мне не о ком заботиться! Я еще спросил: а сын? — Это, говорит, не совсем то. Нужно чтобы *и другое*. И...

Но мой друг, один такой шестидесятник, большой специалист, как все они, которого я привел, чтобы показать, говорит: твоя жена лучше, не будь дураком. То есть много лучше. (Как будто кто-то их сравнивает.) Ну ладно, думаю. А она опять при случайной встрече (уже в модном кафе), снова почти год прошел: мне не о ком заботиться — и точка. Хорошо, думаю. То есть *лично обо мне* помнит. Как говорят в газетах, послала послание. Хорошо же.

Жена куда-то уехала, и я ей позвонил на сотовый: ну что, может кофе? В том кафе, где прошлый раз случайно? Договорились встретиться наконец-то — это сколько же лет прошло с мини-юбки и продавщицы? Лет пять точно. Ужас, как время летит.

Встретились. И, кстати, ничего, хотя, конечно, все было уже не то. Постарела и как-то... *разозлилась*. — А у меня, говорит, теперь свой магазин. Книги. Надоело на чужого дядю работать. Большой? Да, побольше, чем это кафе. Метров двести, наверное. Вчера вот Улицкая заходила. — И ног ее не видно и сисек тоже не особо. У нее еще грудь была — о-го-го. Теперь не видно. Зато одета так: курточка Кристиан Диор и телефон тысяч шесть, наверное, если не более. Ну что, думаю? И кого ты еб.ть собрался? А она смеется, и говорит: где встретимся в следующий раз, давайте договоримся сразу. — А что, они не люди? — Давайте. Поговорили, посмеялись, но что-то не то. То ли оба устали сегодня, то ли вообще. Ладно, неважно. В таких случаях надо делать, что решил, а там видно будет. Она говорит: хотите, подвезу немного, вам куда? Туда. Поехали. Я почему-то думал, у нее «шкода», непонятно почему, книжный же, не бензозаправка, а оказался джип «хонда», правда с правым рулем. Чтобы, наверное, главу назвать. Сели. Едем. Хорошо, быстро, возвышаемся над всеми. Раз — и уже Белорусский. Но, чувствую, она немного злится. Видно, тоже разочарована. Слишком долго. Слишком давно. — Хотя, — говорит, — у вас, С., глаза стали мягче. — Это что, плохо? — Да нет, наоборот. Но вижу, как-то недовольна. И еще шутки у нее какие-то стали... жесткие. Раньше не было. Я таких не люблю. Остроумие и его отношение к бессознательному.

Например (чтобы долго не рассказывать): на прощание, я вылезать уже собрался (а джип-то с правым рулем), то есть получается, что на проезжую часть, она говорит: осторожнее. И добавляет: а то мне дверь жалко. И хохочет. Шутка. Нет, я все понимаю, но мне как-то не понравилось...

А знакомый, шестидесятник-то, который, когда ему это все рассказал, засмеялся и говорит: чайка по имени Джонатан Ливингстон. — Это ты к чему? — Да так. — Я — чайка? Она? Или кто?

Русское. Церковь

Еще чайку́ не хотите? Хорошо в церкви в праздник (но в не самый главный): народу мало и идет служба. Поют хорошо: *Господу Богу предадимся. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Боже, помилуй нас.* Придешь вечером с улицы — машины, огни горят шарами, мороз, дома высоченные, а тут полутемно, в главном алтаре, где служба идет на Пасху и в Рождество, тоже темно, только иконы чуть поблескивают, глядят на тебя в темноте и свечки горят — много, колеблются огоньки, как хором. А служат не в главном, а справа, в боковом притворе. Я не особо православный, так просто захожу иногда. Купишь свечки и тоже пойдешь, поставишь, а потом стоишь и слушаешь и подпеваешь, что знаешь. А что знаешь, два слова — *Святый Боже, Святый Безгрешный — по-ми-луй-нас*... Были тут на Крещении, случайно узнали, бабушка соседняя сказала, потом вышли, идем, оглядываемся: красиво — снег, ветки над переулочком, как арки, и тоже в снегу, а сзади колокольня возвышается — старинная, XVII век, по-моему, кто-то мне говорил. И два мента, издали маленькие, службу охраняли, а теперь решают, идти им в отделение отмечаться или нет, у одного под мышкой бутылочка воды. Тоже, значит, взял. А я помню еще, как эти же менты, лет пятнадцать назад, еще при совке, в церковь на Соколе меня на Пасху не пускали. Еще грозились в отделение забрать. Ну, то есть не конкретно эти, но форма-то та же. Те теперь майоры, наверное, или полковники. Теперь верующие...

Но все это думаешь как-то тихо и незлобно, а даже с каким-то юмором.

И к нам вдруг, уже довольно далеко отошли — какая-то девушка подошла, симпатичная такая, хорошая — и спросила: не из церкви ли мы идем? Почему она решила, я потом у жены спрашивал, значит, видно? А она говорит: конечно, и девушка еще спросила, кончилась ли служба? А я ей сказал, что сейчас кончилась, но что будет еще всю неделю и можно будет прийти и завтра, и послезавтра. Интересно, она ходила?

Святой человек из Антверпена

Уютно набил трубочку. Жена рассказывала: ехала в метро днем. По делам, вся озабоченная. И вдруг кто-то сзади за волосы тихонько дергает (у нее волосы длинные). Оглядывается: бомжи — парень молодой с мамой. Причем парень такой... незлобивый, *какой-то весь очень веселый.* (А мама ест булку с маком и в разговоре не участвует. Причем они похожи, то есть видно, что это мама.) Жена пугаться не стала. Видно же, что они нормальные. — Слушай, — вдруг говорит парень моей жене, — а ты не знаешь, можно ли на электричках доехать до Антверпена? — И смеется. Тут жена немного испугалась. Запоздало. Решила, что он пристает или стебается. Потом все как-то немного неожиданно. В метро же все погружены в свои мысли. Народу много, но все по одному. Как тени. — Не знаю, — говорит жена, — в принципе, наверное, можно. Но парень на ее

слова не очень среагировал. То есть вообще не среагировал. Как и положено психу. — Я, — говорит, — там уже был один раз. С одним негром. На электричках. — И смеется. — Нас арестовали и отправили назад. Мы шли по шпалам, и нас арестовали. Я теперь здесь визу делаю, — говорит. — Шенгенскую. В Лондон собираюсь. Легально.

Так и сказал: «легально, шенгенскую»... Жена немного успокоилась, все же видит: человек, хоть и не в себе, но мирный и как-то настроен нормально. И говорит ему: молодец. Чтобы подбодрить. Мы же интеллигентные люди, да? *Малых сих* и все такое. А он пошел дальше. Засмеялся еще раз. И говорит: ну, пока. Отошел немного, по вагону, а потом вернулся. — А, — говорит, — тебя как зовут-то? И как-то он это очень по-деловому спросил. Типа записную книжку сейчас достанет и запишет. И тут, — сказала жена, — я почему-то снова испугалась. И говорю (с испуга): не знаю.

А он повторил — видно, думал что она не расслышала: — нет, как *тебя* зовут? И тогда, — сказала жена, — я придумала какое-то имя, типа Оля. И сказала ему. Он сказал: а меня Сережа.

Автор: а, собственно говоря, это меня так зовут. И — сделал затяжечку.

— И еще, одновременно, я подумала, — сказала жена, — что он блаженный и что какой-то совсем не грязный, а я бы даже сказала — чистый. И лицо какое-то чистое и одежда. Может, они из ночлежки ехали? Говорят, такие сейчас есть. И я подумала, что это, наверное, хорошо, встретить блаженного — так считается, да? А он, бомж этот, он почему-то очень обрадовался моему имени, причем как-то по-настоящему и говорит мне: *очень приятно*. И он так это сказал, что было видно, что ему действительно приятно, что это не просто затертая формула, как на работе или там везде у нас, *нормальных людей*. А потом он говорит: ну, пока. А уже, собственно, к станции подъехали. «Спортивная», что ли. По этой ветке. И ему на этой станции, видно, надо было выходить. И, уже на выходе, типа мы прощаемся, он и говорит: ну, ладно, Оля. Земля-то большая, встретимся где-нибудь. И вышел. И мы помахали друг другу руками типа buy-buy, типа мы с ним где-нибудь в клубе попрощались, в «Б-2», и он со своей мамой, которая, как я уже говорила, на протяжении всей мизансцены молча ела булку с маком, вышел.

Причем, заметьте, он сказал «земля большая», не «маленькая», как это обычно говорят в таких случаях, а «большая». На *большой Земле* — встретимся, конечно.

А вокруг народ, кстати говоря, пассажиры, совершенно неадекватно, как всегда, реагируют. Какая-то тетка рядом стояла, ну, обычная советская тетка, сделала большие глаза, когда он ушел и еще что-то прошипела, типа «ужас!» или «безобразие!». А мне как-то очень хорошо стало, — сказала жена, — и я подумала, что все фигня, все «дела», по которым я ехала, и проблемы мои, и вообще (меня это сильно достает сейчас) — телевизор, политика...

Если что, все едем на электричках в Антверпен! И всё тут. А *они* пусть шепчут свое «ужас!» до скончания веков.

Налил еще пятьдесят грамм. Тут прочитал в каком-то журнале интервью писателя Войновича. Говорит, Путина в результате изберут царем — вот увидите. А Войнович-то, в редакционной заставке написано, оказывается, все предсказал. *Вообще все.* В романе «2042». Или «2043», точно не помню. Еще давно. Что придет, мол, новый диктатор, который служил в разведке, и сделает новый «совок» — почище прежнего, что все эмигранты, кто приехал, назад уедут и т.п. и т.д.

Очередные страшилки, в общем. Либеральная пресса это любит. И вот, этот Войнович (а кстати, хороший писатель, что там футурология — все «Чонкина»-то читали, помним), говорит, что, мол, теперь у нас будет Царь. И вроде уже кто-то, холуй какой-то, подсуетился и предложил: *а давайте?!* Я, честно говоря, не обратил особого внимания сначала, ну, мало ли что и кто там сказал. И вдруг это уже по «Эхо Москвы» обсуждают. То есть серьезно.

А тут как раз вечером звонит один приятель. Толян зовут. В театре работает, актер. Клоунаду любит, но играет драмы. Так бывает... То да се, как жизнь, и я ему эту политинформацию пересказываю. Он, разумеется, тоже немного ох.ел. Как-то сразу понял, что я не шучу. И мы вдвоем, в резонансе, сильно закошмарились. (Хотя — с чего?! Ну, царь. Какая разница-то? А сейчас кто?) Возникла небольшая пауза. И тогда я, чтобы немного обстановку разрядить, вечер все-таки, чай, телевизор, ему говорю: а царицу-то тоже надо будет избрать, раз царя избираем, то тогда полная демократия, избираем и царицу! И он подхватил: и царевича с... как сказать? С царевной?

Я говорю:

— Царицей пусть будет Жирик. По голосам выходит.

А он говорит:

— Жирик? Ладно. А знаешь, кого изберут царевной? Это будет самый большой сюрприз русской политики.

— Кого? — спрашиваю.

— Тебя, — говорит, — тут без вопросов.

Что значит драматический артист, все сразу почувствовал. Действительно, *кого же еще?!*

— О, здорово! — говорю. — Как я сразу не догадался!

— А что, — после небольшой паузы говорит приятель, — ты будешь делать на этом посту? Интересно, протокол что-то конкретное предусматривает?

— Ну, — говорю, — выезды всякие, торжественные балы. Танцы на балу в дворянском собрании с французским посланником.

— А куда выезды?

— Ну, — говорю, — мало ли... Можно по Ленинградке проехаться. Медленно так, в открытой машине и с эскортом белых мотоциклистов. Благословляя толпу и бросая в нее букеты цветов. Пармских фиалок. Очень красиво.

— А куда ты поедешь, по Ленинградке-то? — спрашивает приятель. Он видно, как-то всерьез озаботился моей новой исторической ролью.

— Ну, куда-куда... — говорю. — В Шереметьево-2. Там другой дорогито и нет. Больше некуда ехать. Не в Питер же, это далеко... Проехать по Ленинградке в Шереметьево-2, благословляя толпу, там сесть на самолет и улететь на хер. В Париж. И всё. С концами. Эмигрировать. Русская царевна сбежала в Париж со своим шофером! — заголовок в Liberation.

— И это будет единственный раз, когда народ будет иметь счастье видеть свою принцессу, — говорит приятель.

Я поправил:

— Царевну.

— Ах да, царевну.

Вот такой разговор вышел. Почти ни с того ни с сего. От души посмеялись. И про Войновича забыли.

Ясность

Снежные, легкие дни. То не было, не было снега, а тут навалило больше метра. Снег как пух, а в руку возьмешь — холодно. **Закурил легкий «Winston».** Хотелось бы написать: «так и Россия», но не буду. Потому что Россия не пушистая вовсе. Даже с виду. Все выдумки Охранного отделения. Снежная, это да. Холодная. Один мексиканец сказал: ваше посольство в Мехико похоже на бункер. «Пушистая»...

Вечер гуляли, потом зашли в кафе, потом пошли по Тверскому бульвару. А он вечный, вы же знаете. Снег, пустынная перспектива, фонари, деревья в снегу — 10000 раз видел это и 10000 раз увижу, и от этого еще лучше, роднее, сказка. Кажется, вот-вот что-то поймешь, поймаешь и найдешь, вот-вот. Это же твое. И эта церковь сзади у театра Пушкина, и памятник Есенину, и скамейки, где летом в шахматы играли, а теперь тинэйджеры гогочут. Знакомое все и *что-то в этом есть*, и каждый раз думаешь, вот, сейчас, сейчас...

Но прошел до Никитских, мимо подземного сортира, что писатель П. в Перестройку описал, вот уже и бывший ТАСС видно, и ощущение отпустило, рассеялось как-то, и ничего опять не понял. Как по льду скользнул. Что-то там переливалось внизу, но что, не разглядел, не успел. Это, конечно, важное место для Москвы, Тверской бульвар, безусловно. Что-то там точно есть. Но попробуй поймай... Ну, и краеведение. Гулять. Пушкин, Лермонтов, Хармс, Горький, etc. (Добавить по вкусу.)

А теперь мы. Как у Крученых: наш выход.

Записки Вяземского. Юность

Вышли и поклонились. С писателем П. мы учились в Литинституте в одном семинаре у некоего критика Л. Это ныне никому не известный критик, который и посейчас, говорят, ведет там «семинар прозы». А когда-то, в доисторических 1970-х годах между прочим, Л. удостоился отдель-

ного постановления ЦК КПСС. Повод был серьезный: наш Л. посмел намекнуть, что голод в 1930 году на Украине был искусственно спровоцирован советской властью. Вообще, вдуматься, чудовищная вещь — спровоцирован голод... Однако же *было* — и, что самое главное, ничего, всем с рук сошло. То есть некоторые исполнители тихо дожили в центре Москвы до глубокой старости уже в новых временах... Вот в чем ошибка 1990-х — конечно, нельзя было их прощать. Чтобы другим неповадно было.

Ну вот, а нашего маэстро «проработали», так как голод был, а говорить про это было нельзя. Не давали печататься, не пустили за границу на слет прогрессивных писателей Болгарии, et cetera. Все очень вегетариански, слава богу. Однако наш Л. довольно быстро одумался и в своем роде исправился, уже года через два выпустив книгу разгромных статей, и о ком бы вы думали? — о Сартре, Камю, Кафке и прочих. Вероятно, те, если бы вдруг прочли, сильно удивились бы тому, что этот Л. про них понаписал и чего он так на них злится. Откуда я знаю про эту книгу? А я, узнав, что Л. взял меня в свой семинар, пошел в библиотеку, нашел его фамилию в каталоге и взял его книги. Очень расстроился. Самая печаль в том, что чувствовалось, что человек пишет искренне. Возможно, он сам считал себя, как тогда было модно, «славянофилом». А славянофил — для него, ясное дело, Камю хуже Сталина... Сейчас я шучу, но тогда это выглядело ужасно.

Но, a propos, в быту этот Л. был довольно милым человеком, по-своему хорошо чувствующим литературу, кстати, прошедшим фронт и, как ни странно, на уровне литинститутского прудка довольно толерантным. Вот взять писателя П., который тоже был студентом Л. Совсем не Хомяков. Хотя... как посмотреть. Не говоря уже о вашем покорном слуге.

Мы с П. не особо дружили, но выпить несколько раз довелось. Получилось очень мило, несмотря на имеющиеся идеологические разногласия. Меня раздражала в П. его склонность к оккультизму, увлечение Кастанедой и прочими, а его — мой всегдашний оголтелый якобы рационализм. (Кстати, я правда не знаю, почему он и все так думают, сам я считаю себя большим романтиком, не хуже Бестужева-Марлинского.)

Ну вот. Как-то раз мы выпили в каком-то садике в районе Бронной две бутылки красного вина, и я предложил взять еще и поехать к каким-нибудь знакомым девушкам, а П., как известно, относящийся к женщинам плохо (прошу не понять меня неправильно!), вдруг сказал: а давай лучше... что-нибудь разобьем?! (Что значит новатор!) Не помню как, но мы оказываемся на Пушкинской, у тогдашнего магазина женского трикотажа «Наташа», ныне «Benetton», П. предлагает разбить что-нибудь именно здесь, а я по интеллигентской робости удивленно отказываюсь. Тверская же... поймают. Зачем? (Глупый пингвин.) Следующий кадр — буревестник П. делает какое-то резкое движение локтем (он ведь занимался карате и восточными единоборствами), и я, как в замедленной съемке, вижу медленно опадающую витрину (никаких защитных пленок или небьющихся стекол тогда, разумеется, не было) и только потом слышу звон разбитого стекла. Далее наши пути с П. на-

долго расходятся, так как он бросается бежать вниз по Тверской, а я в сторону ресторана Макдоналдс и далее в переулки.

Следующая осознанная встреча происходит спустя лет пять, в так называемом Английском клубе зимой 1999 года. Причем, что самое забавное, первое, что сказал мне уже признанный писатель, почти современный классик, неопределенно обводя рукой окружающие интерьеры и весьма помпезную публику: Это ты во всем этом виноват. — Я?.. Но в чем?.. — растерялся я, но он лишь повторял: — Ты, ты. Я на мгновение, как известный герой одного замечательного и сейчас почти забытого романа Окуджавы, считавший, что Наполеон завоевал пол-Европы и пришел в Россию именно за ним, поверил в это (ведь П. все-таки авторитет), но потом облегченно рассмеялся: — Ну да, да, еще бы. Я во всем виноват. Ясное дело.

С ним были какие-то две бабы, впрочем неинтересные, совершенно пластмассовые (а кого еще можно встретить в этих местах!), хотя с неплохими ногами, он предложил поехать с ними куда-нибудь, но тут уже я, поколебавшись, отказался. И так денег нет, а девочки, судя по всему, были дорогие.

Выйдя на пылающую ледяными огнями Тверскую в каких-нибудь ста пятидесяти метрах от места нашей последней встречи, мы, обменявшись телефонами, дружески попрощались. Он взял машину и опять поехал вниз по Тверской, а я на этот раз для разнообразия свернул не у Макдоналдса, а на бульвары (впрочем, разница небольшая) и, минуя нашу alma mater, проследовал к Новому Арбату и далее домой. По пути, впрочем, я заглянул в какую-то ночную кофейню. Люблю это дело, грешен. За кофе я некоторое время размышлял о литературе и писательской судьбе вообще и писательской судьбе П. в частности; вспомнил, как громили наши идиоты-соученики один из первых его рассказов, ныне считающийся одним из лучших, и как П. расстраивался... (Впрочем, наши соученики громили все, что им попадалось под руку, так что особенно этим рассказом им укорять не стоит). Потом я почему-то вспомнил, что как-то мы говорили с П. о семье как о технологии самозащиты и убежища и сопутствующих этому делу детях.

П., с присущим ему снобизмом и тягой к восточной философии и ее западной интерпретации, заявил, что детей иметь не хотел бы, так как не уверен, скажут ли они ему спасибо, что он привел их в этот мир. Вот он, например, своей маме... и т.д. Не решаюсь воспроизвести его слова полностью, т.к. не уверен, не будет ли это вмешательством в его частную жизнь. Скажу лишь, что возразил тогда, что не наше, мол, дело эти вопросы решать, и произнес все, что произносят люди гностических и околохристианских взглядов в таких случаях. Не знаю, убедил ли...

Знающие люди говорят, что недавно П. пережил небольшую личную драму и сейчас ведет уединенную жизнь не то где-то в южной Германии, не то на востоке США. А кто-то мне недавно сказал, что он вообще в Тибете... Последний его роман был также проникнут чувством одиночества.

Так что вряд ли я его убедил.

Альтист Данилов и артист Джабраилов

Кстати, об одиночестве. Недалеко от этих мест, на Малой Никитской, в кафе «Ласточка» я однажды встретил писателя Орлова — того, который «Альтист Данилов». Я вообще забыл про него (как и все — или как многие, наверное) и вспомнил, только когда его Дибров в прошлом году в своей ночной передаче показал. Вообще-то писатель не очень хороший, но когда-то, в начале 80-х, был очень моден, и Дибров, как известный сноб, это, наверное, вспомнил — про времена своей бурной комсомольской молодости. Но неважно, что там вспомнил Дибров, это в любом случае хорошо, когда к пожилому писателю на склоне лет вернулась известность. Сейчас, кстати, передачи уже нет, хотя я много раз слышал, что вот-вот будет. Эфир-то прямой, а Дибров хоть и сноб, но все равно на бывшем НТВ когда-то работал, а значит, мало ли что. Сначала решили, наверное, перед выборами 2004 года его попридержать на всякий случай, чтобы не сболтнул лишнего, а потом понравилось.

Ну вот. А мы тут шли по бывшей Герцена с женой и моим редактором из одного журнала (его Лева зовут) и смотрели, где бы выпить. Лева хороший мужик, умница, хоть и скрывает это зачем-то за маской рубахи-парня, и с ним всегда интересно поговорить, хоть он и шестидесятник и, как все они, помешан на женщинах. У них вообще такая фишка. По три романа одновременно — не то крутит, не то тянет. (Сочинять при этом, естественно, некогда... Он пару лет назад говорил мне, что пишет роман.) И Лева говорит: пошли в эту «Ласточку», что ли, там недорого. И, по-моему, возник даже какой-то предварительный разговор, про этого Орлова, я даже не помню, какой и почему — кажется, редактор сказал, что Орлов часто там сидит, в этой «Ласточке». Я говорю: о, ни разу не видел. Он жив? Мы с женой, правда, там были-то всего раза два и каких-то молодых киношников видели, которые фильм «Коктебель» сняли. Редактор удивился: да? А они-то что там делали? Я говорю: вот-вот, и мы подумали. Вроде не бедные уже люди, а тоже тут. Значит, им нравится почему-то.

И, что вы думаете, заходим мы в «Ласточку», а этот Орлов тут как тут, сидит у окна. Легок на помине, называется. А в кафе такие интерьеры и «ассортимент» — и этот Орлов еще, что-то мне все это стало сильно напоминать какую-то хорошую советскую литературу, не то Трифонова, не то Юрия Казакова, не то самого Орлова, хоть я его до конца так никогда и не мог осилить, скучно... Мой редактор с ним церемонно поздоровался, и мы с женой тоже сказали свое «здравствуйте», хотя молодое поколение, оно Орлова не знало и про «Альтиста Данилова» услыхало первый раз в жизни за пять минут до этого.

А Орлов говорит: о, садитесь за мой столик, место есть. Тоже человек, скучно ему, наверное... Мы поблагодарили, а в очереди Лева мне и говорит: ну что, будем садиться? Он так с неохотой это сказал, но не потому что не хотел или там что, я это понял, а просто, если сейчас к Орлову сесть, разговор естественно будет крутиться вокруг него, и это хоть и интересно, но хочется самим о себе поговорить.

В кафе народу было много, но мы нашли свободный столик и сели отдельно. Улыбнулись, спасибо, мол, не хотим вас беспокоить. Сидим, разговариваем за жизнь, за литературу, но я на него несколько раз посмотрел, на Орлова этого, интересно же. И пару раз ловил на нас его взгляды, причем не очень добрые, что ли. Обиделся, наверное, творческий же человек. Решил: пренебрегают, гады, уже я для них не авторитет...

А мы, собственно, даже хотели к нему пересесть чуть погодя, но вдруг к нашему столику подходит какой-то невысокий дядечка седенький, немного растрепанный и спрашивает: молодые люди, а можно ли присесть за ваш столик, а то, мол, народу много. Лева говорит, пожалуйста, и я, ну что делать, тоже киваю, хотя не люблю этих дел, считаю их советскими рудиментами, вы подойдите, блин, где-нибудь в Европе к чужому столику и спросите «можно ли присесть?», они вам «скорую» вызовут. Но эта «Ласточка» — это место такое недорогое, и все, наверное, считают, что, раз недорого, то все как при советской власти — все люди братья и нечего вы.баться и что-то из себя изображать. Я за это такие места не люблю. За советский, якобы теплый дух. Трамвайный...

Этот дядечка присаживается, и вдруг я вижу, что Лева и моя жена как-то немного напряглись, и я тоже смотрю на него внимательнее и вижу: ё-мое, это ж известный артист Театра на Таганке — Семен Джабраилов. У него еще дочка такая славная, в Ленкоме играет, я ее недавно по телевизору видел. Вот так, что значит «советское кафе»! Я в своих мажорных кофейнях одних жлобов, путан да диктора бывшего НТВ Михаила Осокина встречаю — и того только до момента, как канал ТВС закрыли. Сейчас пропал. Видимо, перешел, как они говорят, на уровень выше.

Да... И мы продолжаем наш разговор с редактором, но немного как бы учитываем нахождение за столом заслуженного человека. А он все с моей женой обменивается репликами. Отчасти, потому что мы с Левой больше поглощены беседой о ситуации в современной литературе, а отчасти — потому что немного с ней кокетничает. И я уже минут через десять слышу, что предлагает ей помощь в трудоустройстве и телефон. Неплохо, — думаю, — для столь заслуженного человека, такие седые кудри вокруг головы и все-таки моя жена хоть чуть-чуть не одна... Но молчу. (У нас у всех в таких случаях проявляется комплекс Дантеса — таланту нужно все прощать.)

И вскоре этот Джабраилов, приняв еще пятьдесят грамм и закусив бутербродом с колбасой, встает, прощается с нами, отдельно — с моей женой и одевается.

И тут я вижу, что у него — вязаные варежки, и мало того — на резиночках прикреплены. От трусов. Как у детей, знаете? Так, через рукава пропущены, чтобы не терялись. Нет, честное слово, я не придумываю ничего, здесь же реальные фамилии даны, человек может обидеться. Неплохо, да? Я до того опешил, что даже сердиться перестал. Ведь заслуженный артист. Что-то по Шекспиру играл, известное...

Все же деятели культуры у нас в тяжелом положении находятся. Да и вообще люди. Вообще все.

Книги

Разбирал домашнюю библиотеку. А я, надо сказать, большой книголюб. Сколько себя помню как отдельную личность, всё книги покупаю. Кстати, неплохой способ для поддержания идентичности, я так понимаю. Купил книгу, идешь с ней, и она тебя греет — думаешь: и я, и я, *тоже*. А поскольку «идентичность» в подпитке (особенно вначале, в молодости) нуждалась часто — в доме книг скопилось много.

И вот, перебираю я, значит, книги и в небольшом томике Антона Дельвига аж 1980 года издания (сейчас звучит почти как 1880-го, да?), натыкаюсь на маленькую, сложенную вдвое бумажку. А на бумажке телефон. Женский, женской рукой записан. Эх, да это не простой телефон, товарищи, а золотой... С этой женщиной, милые мои, я потом несколько лет прожил. Вот так. Она из Подмосковья, была меня старше, ей было 32 года, когда мы познакомились, а я был совсем юн, только после института. Вспоминаю ее всегда тепло, что, между прочим, немаловажно после n лет совместной жизни. (Надеюсь, что и она тоже.) Она, обнаружив мою любовь к Гуттенбергу, мне много книжек подарила: Дельвиг этот, он был первым, замечательные рисунки Возрождения, романы Окуджавы, сверхдефицитного тогда Марселя Пруста. Много... У нее были какие-то знакомые в книжном магазине. Стоял, долго улыбался.

Или еще нашел, Итало Звево. Такой итальянский писатель середины XX века. Ученик и триестский сосед Джойса, между прочим. И об этом не побоялись в предисловии 1983 года написать — Джойс ведь почему-то был тогда под запретом. По сему поводу книга тоже попала в «дефцит». И мне ее пришлось выменивать в советское время в городе Риге, в известном книжном магазине на бывшей улице Ленина на какой-то случайно оказавшийся у меня детектив... Может, кто помнит, в финале советской жизни возникли такие отделы в магазинах — «книгообмен». И граждане там могли меняться книжками, что-то при этом государству отстегивая (оно-то в накладе никогда не бывает). И самым элитарным чтением, самым дефицитным, были, как ни странно, «детективы». Народная стихия. Потом шли Серебряный век и фантастика, как близкие, видимо, мифологические пространства. Потом Дюма — отец и сын. Ну а потом — любое мало-мальски интересное. Могут спросить: а почему в Риге? Ну, потому, что непокорные латыши вообще игнорировали все российское — плохое, хорошее, неважно. И «московского» Пруста тоже ценили невысоко... Вот какое интересное было время.

И еще что интересно — шел 1983 год. «Совку» осталось стоять четыре года. Кто об этом тогда подозревал в букинисте на улице Ленина?.. То-то же! Оптимистичнее смотрите, товарищи!..

Так и я, прочитав про Джойса в предисловии к Звево, выменял эту книжку, и она у меня дома стояла на полке. Ну, еще я ее выменял, потому что мне понравилось тогда название — «Самопознание». Тогда не то что сейчас, тогда было очень мало книг с такими названиями.

А потом ко мне в гости пришла моя возлюбленная и увидела эту книжку. А она очень любила меня за то, что я покупаю книги, читаю,

что-то уже вроде бы пишу и этим такой непохожий на всех (мы с ней учились в техническом вузе). И она брала иногда читать мои книги, тоже просвещаясь, чего я, честно говоря, тогда не любил, потому что любил, чтобы книжки были совсем новые и никем не читанные и не мацанные. А она взяла эту книгу и вернула, естественно, не совсем новую, хотя читала аккуратно, но все-таки транспорт, сумка и так далее. А я тогда, дурак, разозлился и засунул книжку куда-то далеко. Сейчас нашел, вспомнил все и очень растрогался и поставил ее на видное место. И — пятнадцать лет прошло. И у моей возлюбленной уже двое детей. А книжка, вот она. Стоит, как будто вчера купили. В ней рассказывается о человеке, который был слабым, но хотел казаться сильным.

Или вот еще, про другое. Джордж Оруэлл — «1984 год и другие рассказы». Это уже году в 1989-м издали. Можно сказать, тоже важная для меня книга была. На видном месте стояла, тем более она с фотографией автора. И только недавно, всего года три назад, я ее во второй ряд убрал. Как потерявшую актуальность и не несущую по этому поводу почти никакой энергии. Еще подумал тогда: надо же, six transit gloria mundi, всё проходит, всё-всё. А тут перебирал книги, искал какую-то прозу и на нее наткнулся. И так, знаете, она заиграла, я прямо почувствовал. Снова актуально, бляха-муха! Прямо греет. В России такие книги далеко убирать нельзя.

Вот так. Рассказываю это весело, а самому, конечно, не очень. Лучше бы она не пригождалась.

Музыка над нами. Бумажки

Ну вот, добрался, наконец, и до этого. Вот они, мои салфеточки и бумажечки, конфетки-бараночки, клочки разные, билеты в метро, куски газетки, на которые все записывал-записывал всякие «мысли» и «зарисовочки», телефончики, емельки, где-нибудь в городе, чтоб не забыть, а они потом терялись или не лезли никуда и долго попадались в разных неожиданных местах, будто ожидая чего-то, а потом исчезали, так и не дождавшись. А потом вдруг вы на них неожиданно натыкаетесь. Возьмешь в руки, прочтешь, что написано: мысль какая-то, пейзаж, несколько слов — и вспоминается этот вечер, или день, или место, где это записывал, и иногда даже помнишь, о чем думал тогда и с кем был... Как в Дельвиге. Помню, как она записывала свой телефон, стесняясь и будто решившись на что-то (у девушки был муж). Или заголовок газеты и две-три строчки — и тогда это казалось важным или вызывало, как всегда, иронию, смех, гнев... А теперь... Что «теперь»? Теперь это история, желтый клочок бумажки, а на нем буквы горят. Высший суд. Есть высший суд, наперсники разврата...

Итак, эта глава о том, о чем хотелось бы написать.

Но не про то, что вы подумали, не про наперсников, а вот, например, про уличных музыкантов в метро. (Или в переходах.)

Раньше, лет пять назад, какие-то ребята очень хорошо играли в длинном переходе на станции «Проспект Мира — кольцевая». Теперь я там

не бываю почти, потому не знаю, стоят ли. Они играли обычно классику, в основном, я так понимаю, итальянцев, Вивальди, «Времена года», ничего особенного, а иногда что-то совсем простое, типа «Неси меня, олень, по-моему хотенью», и это, естественно, особенно забирало. Каждый представлял себе, что этот олень куда-то несет именно его, ветер в лицо, скорее прочь... Неси меня олень, в свою страну оленью... Была скрипка, по-моему, виолончель и что-то вроде флейты или валторны. А иногда оставалась одна девочка, с валторной (или флейтой). Идешь, а она играет, и издали уже слышно. И это печально и даже светло, и люди идут, опустив головы, и ты идешь усталый, и шорох шагов, и все это из-за музыки вдруг становится таким пронзительно-отчетливым, что хочется остановиться и закрыть глаза, чтобы не слепило, ощущение немного приглушить. И тут же думаешь: нет, не зря, не зря это все, и (чуть позже) — надо будет это все обязательно записать.

Или вот, программка. Московский театр «Тра-та-та». Адрес: Трубная площадь, дом номер икс. Синенький такой листочек и дальше названия спектаклей. Внизу: информационная поддержка: «Эхо Москвы», «Афиша», х.ё-моё, прочие по мелочи. И, несмотря на то, что в «Тра-та-та» главный режиссер лично мне неприятен, потому что часто, выступая по ТВ, он ведет себя как-то глупо, — некоторые спектакли хорошие. Сам бывал. Но дело не в этом, а в том, что через какое-то время, может, не будет уже ни «Эха Москвы», ни журнала «Афиша» (ну, театр-то этот останется, такие не тонут, только спектакли будут другие), — будет приятно. — Вот, — скажешь жене, наткнувшись на эту бумажку, — помнишь, ходили? — Когда? — Зимой, вот тут меленько написано: 12 декабря. — На что? — Ну как же, вот, А.П. Чехов, Б. Акунин, «Чайка» (ни больше ни меньше). Помнишь? — А, да-да... Этот спектакль, кстати, так себе. На бумаге, в книжке оно лучше. На бумаге забавно, а на сцене ерунда, пошлятина. Но хлопали, все равно...

Мы еще потом пошли в такую маленькую кафешечку, там рядом, такая смешная, называется «Крошка-картошка», павильончик, там только кофе и бутерброды, и большие окна прямо на бульвар, и мимо машины несутся, огнями слепят, и снег под фонарем сверкает, потому что холодно, а ты сидишь в этой кафешке у окна, на высоком стульчике, что-то черкаешь на этой программке и на все смотришь сквозь жалюзи, которые поднимать, кстати, не разрешают. (Потому что это тебе «очаровательно», а не забывай, где живем. Москва, Россия, плюс ночь уже. — Не надо жалюзи поднимать, — говорит буфетчица.) Но все равно, здорово так сидеть, и можно прямо подумать, что то ли все это не у нас, хотя как же не у нас — вон площадь Трубная, вон Рождественский монастырь на горе... То ли у нас наконец-то стало все почти хорошо и, может, все как-нибудь наконец-то образуется. (Потому что вроде пора бы уже.) А еще туда потом зашел знаменитый актер Михаил Ульянов с какой-то женщиной. Честное слово. Я прямо растерялся. Заглянули, смотрят, все места у окна заняты, и ушли. Я видел через окошко, как они ловили такси на бульваре.

К чему я? Что теперь это все наше. В смысле *это* пространство-время. Вот *эта* улица, *эта* кафешка, здания, афиши, газета на столе, «контекст» всякий, разные исторические персонажи и мы.

А, кстати.

Надо любить Россию

Да? А я не люблю. **Ну, дайте водки, только немного.** Говорят про эмигрантов, как достоинство большое: его, мол, тут во все дыры имели, причем помногу, а он все равно: она (Россия) не виновата, люблю ее — и все тут. И верю! (Это главное.) Ладно, эмигранты, у них «дым отечества», Клюев *из лагеря* писал: «Святая Русь, тебе и каторжной молюсь!»

Если бы такое с женщиной, сказали бы: он мазохист, наверное. Но Клюев и женщины... — хм-хм, в общем, вопрос сложный.

Просто тут живешь, привык давно, воспоминания, связи, вот этот двор, вот эта улица, школа и дальше полем-пустырем, а там дом, где с девчонкой одной из класса встречался, а еще три остановки по этой же ветке — детский садик, куда сын маленький ходил, а там школа, где сам учился... И поехали. Уже глядь, а он и плачет. Ну, махнешь рукой, обнимешь, ладно, что там, перестань, я просто так, я же тоже... выросли, приросли, наше, надо терпеть...

Почему?.. Почему терпеть?! Ваш звонок поставлен на очередь. Ждите ответа.

И так из века в век. Долго ждать придется... Расскажу дурацкую историю.

В студенческие годы у нас в нефтяном институте был такой комсомольский вождь нового типа, Миллер, по-моему, его звали, кто-то мне сказал, что он из поволжских немцев, да еще вроде родители репрессированы. Его однофамилец сейчас большой начальник по газу... Помню, как-то меня вызвали: куда-то я не пришел, на какое-то их *«мероприятие»*. А я как раз тогда купил ботинки итальянские у одного друга (в магазине-то тогда один сушеный хрен можно было купить, да и тот изготовленный на фабрике «Парижская коммуна») — оранжевые такие, веселые, стильные «мокасины» — и весь день на них любовался, все под стол на лекциях смотрел, а они там такие симпатичные мне говорят: ку-ку.

И вот этот Миллер меня вызывает в числе троих других несознательных, смотрит на меня через очочки в оправке модной и говорит: что такое, мол, как же так, вы что же, хотите ... (типа чтоб мы вас отымели)? *И я вижу, что он видит*, как у Набокова, в «Приглашении на казнь»,что я— *чужой*,и понимаю,что надо бы покаяться для виду,никто же больше ничего не хочет, но одновременно посматриваю под столом на свои итальянские ботинки, и вы будете смеяться, но мне как-то неохота. Неохота каяться. Наверное, неохота впечатление от ботинок портить. И я молчу. А он, увидев, куда я смотрю, вдруг, как мне показалось, понял (хотя это звучит бредом) мое молчание и его мотивы, — так как уже без прежнего металла в голосе сказал какую-то фигню

типа, что, мол, с такими комсомольцами, как я, они никогда БАМ не построят, что-то в этом роде. И после произнесения еще пары магических заклинаний в том же духе вдруг отпустил меня. Сказав, правда, что в следующий раз они мне обязательно объявят выговор — в следующий раз уже точно.

А может, я все ерунду говорю, про «понял», и он просто решил, глядя на мои ботинки, что я чья-нибудь «детка», путешествующая инкогнито (тогда некоторые партбоссы старой закалки любили такие шутки), и просто не стал со мной связываться.

Изюминка здесь в том, что недавно я случайно встречаю кого-то из наших и узнаю: а наш Миллер-то, он давно уже в Штатах. И не просто, а весь, как сейчас говорят, «в шоколаде». Уехал по делам какой-то российской нефтяной компании и там остался, типа у них там «филиал». И кто-то из наших его там даже видел. Очень буржуазный господин. И мы все это обсудили и еще повспоминали, кто где из наших, а потом девочка, которая мне это все рассказывала, нырнула в метро, а я в свой «москвич» 1994 года издания и потом еще заводил его минут десять. Потому что, как всегда у этого российского брэнда, зажигание сразу не сработало. Но я его люблю, не думайте, это ж мой кормилец, считай, причем тут.

Вот так надо родину-то, Россию любить. Ее степей холодное молчанье.

И самое веселое, что так было всегда, из века в век. С Анны Ионовны. То есть Иоанновны, что я... Так что нечего и переживать.

Вот сейчас это все допишу, а завтра поеду-ка за город, на лес полюбуюсь подмосковный. Там сейчас тихо, день же будний, березы стоят по пояс в снегу, ели с лапами снежными, только сучья от мороза иногда трещат, и пахнет снегом и елями, так пахнет...

Космический корабль «Ростов Великий»

Так пахнет... Снова достал свой «Winston», размял, понюхал. И снова про любовь. Немного о ее происхождении. Однажды, еще с предыдущей женой, поехали на Север, в Вологодскую область — *надо же свою страну узнать.* Ну, Вологда, Белозерск, все эти дела. А хозяйка, у которой мы сняли комнату, оказалась большой сукой и, несмотря на то что жила в таких замечательных местах, брала за двенадцатиметровую комнату в пятиэтажке по 15 долларов в сутки. (Единственная городская гостиница в то время была закрыта на вечный ремонт.) Зато монастырь, тогда брошенный, только в одной из башен, по-моему, был музей — эти потрясающие белые суровые башни и стены, обращенные на закат, все стояло открытое... Заходи и смотри. Подумал: скажи-ка, дядя, ведь недаром. Воины стояли, в шеломах, кольчугах, с суровыми лицами. Еще сотрудница музея одна сказала: тут такая тишина — последние годы. Вернутся монахи, все оживет, но зайти и посмотреть так просто не получится.

У моей прошлой жены, склонной ко всякой мистике, там даже видение было. Честное слово! Ранним утром она пошла пройтись по берегу и вдруг увидела, как из монастырских ворот на той стороне озера не-

сколько монахов в черных рясах пошли с ведрами по воду. Повторяю, монастырь был тогда недействующий, монахов — ноль, да к тому же зачем бы монахам брать воду в озере? Есть ведь водопровод. Или они озерной водички захотели? Так она не очень чистая. Может, какая-то делегация приехала? Но мы потом спросили в музее — те говорят: нет, что вы, какая делегация? К нам тут редко кто заглядывает. В общем, странно. И вроде не пили накануне.

Так вот, пожили мы там, пожили, но поскольку, как я уже докладывал, хозяйка квартиры была большая стерва (в таких святых местах!), нам пришлось подумать о переезде. Я у нее как-то второе одеяло попросил — ночи стояли холодные, а она говорит: Нечего, хватит одного! И это за пятнадцать долларов в день! Да я мог бы за такие деньги хотя бы в Словении или на Золотом Берегу... Но я страну хочу посмотреть. Тут бывшая жена говорит: я на карте видела, и в городе на базаре говорили, в 30 км отсюда есть потрясающее место: село и монастырь стоят с фресками самого Дионисия. Поехали туда? — Хм. Поехали.

И мы поехали. А хозяйка еще ругалась, представляете, что вот, мол, из-за вас клиентов выгодных из Москвы упустила. Думала, вы еще поживете, а они предлагали двадцать.

А местный автобус приходит не в самое село, а километра за полтора от него, останавливается на шоссе, и дальше все идут пешком по грунтовке в лесу. (Нет, есть автобус и прямо до села, но он с утра, а вы же понимаете, что такое утро...) Короче, мы вылезли на шоссе и пошли потихоньку — сначала лесом, потом вышли в поле, все зеленое и желтое, поскольку был июнь и все цвело, и шли полем, любуясь на окружающие просторы и холмы, и из поля как-то вдруг показались луковицы монастыря (где фрески Дионисия-то).

Как-то вдруг показались из травы, странно так, знаете. А потом и стены белые, и все это как-то, повторюсь, из травы торчит, будто монастырь не на земле, а *над* землей висит, как летающая тарелка какая-то или остров Лапуту у Свифта. Того и гляди, улетит. Это сравнение, кстати, моя жена бывшая придумала, я же говорю, она вообще во всех этих делах продвинутая, немецких мистиков читала, Бонавентуру, Бёме и этого нашего, из Константинополя, не выговоришь, — Ареопагита (выговорил все-таки). Странно было, ну а потом подошли поближе, и показалась деревня, дома и озеро. Озеро там еще есть большое, я забыл сказать. В нем рыбы, кстати, много.

А еще пару лет назад я (уже с нынешней женой) ездил в Ростов Великий — это тоже по дороге на Север, к Архангельску, от Москвы километров 300. И там тоже, идешь по городу, а город, надо сказать, совершенно убитый: дома какие-то двухэтажные 1950-х годов, заборы, с соседней улицы крики дикие — в общем, летний вечер в деревне (который «упоителен»). Думаешь: Господи, чего приехал, чего дома не сиделось-то, а потом как-то вдруг, из-за угла показывается монастырь — и сразу обалдеваешь, так все это современное вдруг приседает, валится, разбегается в стороны, и только эти огромные, серые в деревянных пе-

рьях купола. У-у-ууу! Как орган у Баха. Прелюбия... — то есть, оговорочки — прелюдия! Я потом спрашивал у знающих людей, архитекторов, как называются эти деревянные, как чешуя или перья, — штуки на куполах, мне сказали, правильно, так и называются — *перья*, это специально русские зодчие делали, чтоб у верующих было ощущение, что все сейчас взлетит.

А я, кстати, вы не подумайте, я совсем не церковный человек, но просто как-то хорошо, с уважением отношусь ко всему этому — оно же какое-то свое, родное, наше, да? А потом, когда мы с бывшей женой пошли смотреть на росписи этого Дионисия, конечно, там у него на фреске небо очень странное — темно-синее, какое-то почти фиолетовое, чернильное, в нем почти тонешь, и звезды золотые... Будто он на самолете летал и видел, какое оно над облаками, если в иллюминатор не вниз, а вверх посмотреть. Странное ощущение возникает при осмотре, как проваливаешься куда-то, хотя фреска немного попорчена — при советской власти в этом храме был картофельный склад.

И — в Ростове Великом храмы все серые, почти нереставрированные, не то что в Москве. Вечерами зрелище будь здоров, тишина и они стоят молча, огромные, как будто что-то охраняют, но не то, что сейчас, *а тогда*, много-много раньше. Прошлое.

А в одном месте, где перед закрытыми дверьми роспись цела, и лица с крыльями, и ангелы с крыльями до полу, долго находиться нельзя, такое ощущение возникает, будто кто-то тебя трогает за плечо или сейчас (вот до чего доходит) — одежда затрещит, как наэлектризованная. А еще отойдешь — и кажется, что поют.

Кстати, странно, самая высокая крепостная стена в этом монастыре обращена на юг и восток, то есть к Москве, Московскому царству. Вроде бы они относились к Новгородской республике. Ивана Васильевича, что ли, ждали или татар? Или и тех и других? В общем, я не силен в истории.

II

ЦИРКОВОЙ ХРОНИКЕР

Цирковой хроникер

Якобы так было написано на его визитных карточках. И я уверен, вы не знаете, о ком я говорю. Нет не Куприн. И не Житков. Это Рамон Гомес де ла Серна, испанский писатель XX века. Знаете такого? Вряд ли. А некоего Де Валье Инклана? Например, его изящнейшую и тончайшую книжку «Сонаты, или Похождения самого странного из Дон Жуанов, нерешительного и печального»? Тоже вряд ли. Не расстраивайтесь, их никто не знает.

Это сейчас все пишут «сонаты» и «кантаты». Недавно видел одну такую «сонату», некая средних лет тетенька из толстого журнала, три-

фоновская эпигонша, у нее что ни номер, то «соната», или «кантата», или «сонатина», на худой конец. А ее коллеги из соседних журналов и газеток в своих «колоночках» и «подвальчиках» едят да нахваливают: ах, как лирично, ах, как глубоко!.. Про то, как взрослая дочь с дурой-матерью ссорится. «Ах, какая аппетитная проза, прямо ноктюрн». Это потому что они ночью скандалят, вот и «ноктюрн». Не без юмора люди. То есть мы с бывшей женой, значит, в последние два года не нервы друг другу портили, а «ноктюрны» играли. Надо будет ей сказать.

Эти удивительные испанцы почему-то вышли почти разом при генсеке Андропове. Может, случайность, а может, потому, что он, говорят, стихи любил, кто его знает. Унамуно и Лорку было не достать, мне лично мама двухтомник Лорки из народно-демократической Болгарии привезла, а менее известные персонажи в магазинах были. И я купил.

Смешная деталь: тогда еще в СССР истерика была, как сейчас помню — почему европейцы, в ответ на какие-то наши новые ракеты, решили точно такие же американские поставить?! Ну, про Союз говорить нечего — была просто вакханалия, но и в Европе были демонстрации, натурально, никто уж и не помнит. Как сейчас про войну с Саддамом. Толпами ходили с плакатами «Peace»! Не смейте злить Советы, не хотим ничего знать, нам — камамбер, а миру, извините, — хер, то есть, что я говорю, мир!.. Ничто не меняется. Ни там, ни здесь. Ничему не научились. 1938, 1983, 2003 год... Когда Гитлер требовал Чехословакию, за год до войны, все ведь тоже мечтали о *peace*. Тогдашний премьер-министр Англии, Чемберлен, подписав Мюнхенский договор, сойдя с самолета в Лондоне, сказал журналистам: я привез вам мир.

И я, а что я, муравей — муравьишко — муравьев, как вы понимаете, с удовольствием посмотрев телевизор, пошел с тоски в книжный магазин на Новом Арбате и там увидел этого Серну. И так обрадовался, очень, прочитав по предисловию, что это друг Лорки... (Если не сам Лорка, так хоть его друг.) И купил за 2 рубля 20 копеек. (Тогда были такие стандартные цены для хороших книг страниц по четыреста: 2, 20; 2, 30 или 2, 40 советских рублей. Больше — считалось «дорого», потому что цена книги начинала приближаться к ценам черного рынка, нанося таким образом удар по основам основ.)

Так вот, купил и пошел потихонечку, даже не помню куда. Кафе тогда почти не было, значит, не в кафе. Тихо так. Наверное, пошел к кому-нибудь в гости. Ну, маршрут-то был обычный. Мимо домика Лермонтова, к литовскому постпредству, ныне посольству, дальше училище имени Гнесиных, и у новозеландского посольства поворот налево... И все крутил в руках этого Серну и, если находил что-то хорошее, радовался, а если натыкался на неудачные вещи, огорчался. Все-таки два рубля, это были тогда деньги. Да и фрустрация, он все же друг Лорки. А потом наткнулся на прозаическую миниатюру, посвященную магазину старой обуви. «В старой обуви есть что-то нестерпимо, душераздирающе-человеческое, слишком человеческое, беззаконное, разлагающее...» и т.д. Ничего особенного, но я обрадовался — хорошо, правда? И пошел веселее.

Так вот, этот Серна очень любил цирк и даже велел, как я говорил, написать на своей карточке: Рамон Гомес де ла Серна, цирковой хроникер. Хотя журналистом не был.

И я, когда недавно нашел его на полке, во втором ряду затерялся, прямо там же — стоя — стал его листать, в очередной раз подумал, как это здорово, потом прочитал про «хроникера» и подумал, что, пожалуй, тоже могу себя так назвать. Я тоже, считай, про цирк пишу. Даже с клоунами. Ведь наша жизнь — это же натуральный цирк. Немного страшненький только.

Вот недавно (сейчас февраль 2004-го), опять не могу удержаться от «злободневности» — кандидат в президенты всея Руси пропал. И то ли это он так напился, что ничего не помнит (типа по бабам шастал), то ли его КГБ украло и где-то держало, так как он вроде бы связан с Березовским и что-то знает. Кандидата в президенты, между прочим. Держало. Напился. Украло. Такой вот «цирк»... Обе версии очень симпатичны, каждая по-своему.

А кстати, потом, при Франко, этому де ла Серне пришлось уехать из Испании в Аргентину, и остаток жизни он провел там, больше в Испанию и в свой любимый Мадрид никогда не возвращаясь.

Астероид

Не возвращаясь. Что-то тут по телевизору бала-бала, и вдруг не первым номером говорят: ах да, кстати, мимо земли какой-то ох.енный астероид промчался. Только что, можно сказать, вчера. И что ученые, мол, говорят, что большая, между прочим, вероятность была с ним встретиться. Один говорит: одна четвертая. И дальше загалдели:

Путин во Владивостоке на что-то намекает, а Буш в Филадельфии. Или еще где-то. Намекает. А потом про театр «Сатирикон» и К. Райкина (новый спектакль) и про погоду (будет потепление). И ведущая такая хорошенькая, грудь из беленькой блузки торчит прямо ко мне в квартиру, и глазами светит, как фарами, будто прямо сейчас, даже передача не кончится, а она мне отдастся, и я сначала как-то охренел про астероид, а потом сознание, видно, защитный режим включает — поскакали дальше. Отвлекся, забыл. А поздно вечером что-то у окна стоял и думаю: ё-мое, одна четвертая, это ж пи.дец, а?!. А мы вчера с женой так погуляли хорошо... Как раз когда астероид летел. То есть подлетал. Она днем ходила на одну киностудию, и ее там вроде обнадежили, ну и с киношниками своими любимыми пообщалась и позвонила мне в хорошем настроении: давай погуляем. И мы сначала в кафе на Садовом посидели, а потом прошлись по Тверской, зашли в книжный магазин «Москва», как всегда, что-то купили и вдруг встретили одного мужика, я с ним лет десять не встречался, если не больше. Мы с ним немного общались по книжным делам в конце 80-х. Тоже иногда случайно пересекались в книжных, покупали, читали, обсуждали, и тут возле магазина «Москва» смотрю: он идет. В 2004 году.

Все такой же, только чуть-чуть седина, слева так, на челке. — Аркадий!.. Он и не узнал меня сначала: пятнадцать лет прошло. Ну, то да се, кто где, а что с тем, а с этим, он еще такого неплохого поэта знает, Германа Лукомникова, вот, про него что-то рассказал, попи.дели, а у него такая особенность, у этого Аркадия, я потом вспомнил, трещать без умолку, прямо не затыкаясь, слово невозможно вставить. Вампир, блин. Ну и сейчас то же самое, и я быстро устал, даже стал жалеть, что окликнул его, и мы с женой с ним распрощались у Камергерского. Он в подвальчик О.Г.И шел, на Дмитровку. Жена говорит: смешной, по-моему, немного голубой, да? — Ну, может быть, раньше вроде не замечалось, но раньше эта тема не была так открыта. — Тем более, так поздно и идет в О.Г.И., у них там сходняк бывает — это известное дело, может быть... Впрочем, какая разница.

И я потом думаю: а что это я его встретил, десять лет не видел и вдруг вот, пожалуйста? Причем, я вспомнил, это не первый раз, я его как-то недавно видел, и тоже на улице, но вспомнил, кто это, позже, он уже прошел.

И я решил, что эти появившиеся люди 80-х (я не только его видел) — это «вестники» возвращающегося «совка», сейчас же многие говорят, что вот мы в конце 1980-х годов оказались, и все сейчас будет повторяться: политика, пустые прилавки, ГКЧП, революция — мол, время сделало круг. В нашей стране это запросто.

Ну, это все шутки, а я тут про этот астероид вспоминаю и вдруг думаю: ишь ты, может, как раз когда мы на Тверской часов в 11 вечера разговаривали, эта каменная махина мимо Земли-матушки неслась с жуткой скоростью. В космической тишине. Да... А мы, бля, шутили, будет демократия у нас или нет. (Будет-будет, это уже ясно.)

Но это все шутки, но когда я ночью у своего окна стоял и на улицу с темными домами глядел (одно окно, блин, во всем микрорайоне горело — в доме напротив), и еще потеплело, и какой-то легкий туманчик над снегом поднялся, очень красиво, все таким хрупким показалось, просто до слез. Ну и, конечно, всяких Нострадамусов вспомнил, не без этого, время такое — 2000-е годы.

Кстати, почему никто не прореагировал «своевременно»? «Современная цивилизация» же — и должна, и может: спутники, ракеты, корабли — пальнуть в него, запустить спутник-убийцу... Вместе, сообща, защитить... Американцы что-то такое вроде недавно делали?.. Герберт Уэллс, Александр Беляев, Звездные войны.

И еще (помните, пару страниц назад, как припев?): Святый Боже, Святый Светлый, Святый Безгрешный — по-ми-луй нас!

Тут это будет часто.

(А что еще остается?)

Свои дела. Судьба России. Молчи

Остается? Много чего. Продолжая тему: а у нас тут свои дела, выборы. Астероид летит, американцы воюют с «международным терроризмом» и высаживаются на Марс. А у нас в квартире газ. *Выборы.* Только вчера

передали: какая-то *движущаяся х..ня с ушками* (!,!,!,!) в камеру попала, но скептики говорят: мол, показалось, ребята, спокойно, это что-то от космического корабля отвалилось и ветром гоняет (полиэтилен, может).

На Марсе. Отвалилось. Гоняет. Ветром!.. Можно с ума сойти. И это ведь не Брэдбери (кстати, его «Марсианские хроники», если помните, датированы нашими, 2000-ми годами). Но это все ерунда. Но: **а если не показалось?! Если не полиэтилен и не «гоняет»?!** Хотя лично мне с того, что какой-то марсианский заяц попал в камеру, толку никакого. Гонорар, как говорится, не увеличат.

Вот-вот, нас — ничего не еб.т, — вторит мне хор, — но дело не в гонораре, у нас один вопрос решается уже тыщу лет: *Судьба России*. Причем как-то странно все время решается: иметь всех (простите) в интересное место или не иметь? Ну сейчас уже (или пока) не прямо, но контекстуально... Вот главное! Остальное неважно. У англосаксов to be or not to be, а у нас — *это*. Русский Гамлет спрашивает у себя: fack you or not fack you?! Настоящее садо-мазо. И самое тяжелое — это мелькающие при этом по телевизору физиономии. Откуда взялось столько и сразу? Такие 1970—1980-е годы на современном этапе. Как будто ждали и повылезли из старых райкомовских шкафов. Деловые злобные крепыши в кожаных пальтишках и пиджачках. Даже мода та же. И кончится так же. Хотя *они*-то наверняка думают: ну теперь-то мы будем умнее, теперь-то мы *не дадим*. И могут попытаться — «не дать».

Когда их вижу по ТВ, все время вспоминаю Румынию 1989 года и уличные бои, танки на площадях Бухареста. Потом Елена Чаушеску сказала: «За что вы меня так ненавидите, я же была вам матерью?» Мальчишка-солдат ее обматерил. Они всегда удивляются.

Официантка: что-нибудь будете? Чай? С бергамотом или зеленый с жасмином? — Да. — Что «да», с жасмином?..

Хотя, впрочем, что об этом думать. Мало ли что «выборы», ТВ, траяску романиа маре. Хер с ними со всеми, сегодня не будем о грустном. Сегодня зашел в художественное кафе, а там, как всегда, — дым коромыслом, девки-официантки и просто посетительницы в обтягивающих джинсиках ходят, так обтянуто спереди, все видно, все изгибы, все ложбины, mamma mia, бедрами покачивают, посматривают, чуть улыбаются... Вот истина!.. Вот История государства Российского!.. Old Russia! New age! Зады, сиськи, взгляды! Хорошо! Не надо про грустное! В 70-х тоже жили! Взял пива (как в 70-е), сел у окна (как всегда), почитал Харуки Мураками (а это новое). Первый, по-моему, роман «Слушай песню ветра». Многие нос воротят, мол, это мода, фи, ничего в нем нет, *все сделанное*, а мне нравится. Но у них Дзен был, им хорошо. Слушай, слушай песню ветра! Слушай, но у них Лао-цзы сел себе на ослика и тихо исчез на запад. А у нас что? А у нас что, не было? Было. Исихасты вот, монахи-молчальники. Молчали — и всё. Хоть что происходи. Молчит, только смотрит.

И правильно! А что говорить? Все (как всегда) и так ясно. Уже давно. Сиди себе на стульчике и книжку читай.

И познакомься с этой, как ее? Девкой вон той, не историей.

Имманентно. Накануне

1

Странные были дни. Какой-то почти физический напряг висел над городом. Начиная где-то с прошлой недели. Вроде солнечно, а все равно как-то нерадостно. Напряженно. Якобы судьба (опять!) решается. В метро было страшно ехать — милое дело накануне выборов что-то повзрывать, и я взял такси. Поехал в книжный, к Татьяне и Сашке в «По краям», у них начальство только «левое» и выпендрежное — и то это, по-моему, такая коммерческая фишка, для привлечения электората, а они очень хорошие, и еще думаю, дай хороших книжек куплю, надо думать о вечном в такие дни.

Немного выпили еще в магазине, а потом поехали к Татьяне домой. Ну и разговоры, конечно, соответствующие. Их директор и главный редактор, оказывается, сейчас в Лондоне. Случайно так совпало. А я вчера звонил одной издательше (у нее свой журнал и муж — большой нефтяник) насчет рукописи своей, и вдруг выясняется, что и она в субботу — тоже улетает. Правда, не знаю куда. Может, тоже в Лондон, а может, подальше. Ничего себе. И я еще спросил что-то на отвлеченные темы, а она говорит: Сережа, я завтра улетаю, у меня земля под ногами горит. О-па... Шутка. «Горит»? Ну, она-то это сказала про то, что у нее дел много, но в контексте прозвучало весьма странно.

И я, разумеется, приехал в довольно нервном настроении. Хорошо было бы тоже, конечно, из Москвы на это время уехать, но денег не было. Ладно, счастлив кто посетил сей мир в его минуты роковые. Даже невольно. Так сказать — присутствовал (энд безмолвствовал). Как водится.

Таня рассказала, что у нее есть один постоянный покупатель, униатский священник, они зовут его «падре», а Сашка даже его карточку показал, визитку, а я и не знал, что у попов бывают визитки, там так и написано, по-русски и по-английски, мол, греко-католическая church, и Таня говорит, что этот «падре» пришел к ним на днях, поздоровался и говорит: ну как дела? И я, говорит Таня, как-то, видать, невесело ему ответила свое «ничего», так как он вдруг улыбнулся, потрепал меня по-отечески по щеке и говорит: ничего-ничего, все будет хорошо. И как-то так хорошо это «хорошо» у него вышло, прямо прелесть, другому-то я бы показала кузькину мать, как меня по щеке трепать, но у него хорошо вышло, как положено, что я вдруг сказала ему «спасибо», и он опять улыбнулся и повторил свое «ничего-ничего». И мне, — говорит Танечка, — вдруг тоже показалось, что все и правда будет ничего. Ну, — говорю, — дай Бог.

Потом Сашка сказал, что мне надо с ним познакомиться, с этим «падре» и поговорить, он на рунах гадал, и ему это руны подсказали. (В смысле Сашка гадал, не «падре».)

Этот Сашка, он вообще славный, очень неглупый человек, и поэт к тому же, но он немного трусоват или инфантилен, я так и не могу понять. (Пусть уж он меня простит...)

Это «трусоват или инфантилен» заставляет его уже 5 лет работать в книжном магазине продавцом с окладом $250 в месяц, но зато дает довольно причудливую, как говорят психологи, гиперкомпенсацию — у него есть одна очень странная фишка: он увлекается скандинавским рыцарством, древнеславянской исторической реконструкцией и тому подобными делами. Причем увлекается серьезно: у него есть древнеславянское имя, он ездит на всякие рыцарские «зарницы», дерется там с френдами-ярлами на мечах, сооружает что-то вроде земляных крепостей и молится языческим богам. Он, кстати, и внешне довольно похож на древнего не то славянского, не то скандинавского воина — высокий, с окладистой бородой-лопатой и начинающими седеть кудрями. Шлем и кольчуга бы ему очень пошли. Но ярлы ярлами, а ему уже 35 лет. А с другой стороны, что я могу предложить в виде альтернативы?.. Бизнес-план? Так что молчу. Может, он — настоящий мудрец? И — чем бы дитя ни тешилось. Правда, как водится, при этих делах где-то недалеко бродят фашисты и тому подобные люди, но меня он от этого всего как-то оберегает и ни разу ничего не сказал на эту тему. (Надеюсь, что ему и нечего сказать, так как, повторяю, человек он неглупый.)

Правда, однажды, года три назад, на 9 мая, после пива он вдруг заявил мне, что не понимает, с чем, мол, я его поздравляю, что это за праздник?.. (Вот так. O Rus!.. O деревня! — как говорил итальянец Гораций в передаче эфиопа Пушкина. Может, ты, извини за выражение, ох..ла? — добавлю я от себя в постскриптуме...) И у нас был даже небольшой диспут на эту тему, во время которого у меня вдруг возникло сильное желание дать ему по башке, хотя сейчас я понимаю, что это я зря. Все-таки хорошие отношения и были, и есть... А если человек задает такие вопросы, то у него ничего спрашивать уже не надо и спорить тоже, наверное, бесполезно. Надо молча отойти, и, может, оно как-то само пройдет. И, как говорится, лично мне же он ничего не говорил? Есть такая милая формула.

Кстати, во время разговора произошло забавное происшествие.

Мы сидели в большом сквере у Новокузнецкой, вокруг дивная зелень, мамы с колясками, пенсионеры прогуливают собачек, и вдруг появляется компания каких-то юнцов с духовым (кажется — я не разбираюсь) ружьем и начинает палить в углу сквера по воронам или просто так, в стену. Народ в ужасе разбегается, а я говорю Сашке: и часто это здесь бывает, такой сквер милый? Он говорит: слушай, первый раз, клянусь. Я почти каждый день здесь бываю, пиво пью, странно...

Надо же. Под наш спор, значит, «задний план» подали.

Но эта история была три года назад, а сейчас мы очень даже хорошо поговорили, он мрачно шутил и был, как все, немного испуган (конечно, одно дело размахивать самодельным мечом перед дедушкой Ельциным, а другое перед доброжелательным взглядом Вэ-Вэ-Пэ). Но тут кончилась вторая бутылка водки, а когда она кончилась, Сашка сказал, что они с «падре» тут как-то пили (?!) и выяснили, что Россию от распада могут спасти только рыцарские ордена и что их вот-вот начнут

организовывать и воссоздавать; в администрацию президента уже якобы поступил проект...

Сейчас, когда я все это записываю, мне вдруг показалось, и все говорят, что наше время весьма напоминает финал Горбачева, и эта историческая аналогия кажется мне вполне оптимистической, но что я ответил тогда, уже не помню. Не то чтобы плохо ответил — просто не помню.

А Таня потом рассказала про одно место в новой книге известного современного поэта, где есть посвящение их нынешней заведующей редакцией, которую я, кстати, немного знаю. Потом принесла книгу и показала. А там, мама родная, там про то, как она (заведующая редакцией) хорошо делает минет. Вот так. Причем с подробностями.

Потом моя жена приехала, и я ей говорю (пьяный уже был): ты цени меня, блин, скажи спасибо, что я не поэт.

2

Ночевать поехали к Тане и легли поздно. Наутро еще посидели немножко, и мы с женой ушли. Странно, но, несмотря на похмелье, стало как будто легче. Тяжесть ушла почти, хотя напряг и какая-то притихшесть в городе продолжали чувствоваться.

Немного прошлись от «Фрунзенской» до «Спортивной», редко бываем в этих краях. А что, неплохой район, хоть и пятиэтажки, но не хрущевские, а конца пятидесятых, и там и тут новые помпезные билдинги из бетона и стекла с притихшими за черными чугунными заборами евроокошками и даже черепичными крышами. (Мы им покажем черепичные крыши после выборов!..) На первых этажах пятиэтажек какие-то человеческие заведения — ремонт обуви, почта, булочная — не то что наш центр со сплошными, бляха-муха, бутиками. Увидели симпатичную кафешку с большими окнами, как я люблю — на столиках даже свечечки декоративные, народ такой сидит нормальный, а соседняя дверь (а когда-то, наверное, комната, квартира на первом этаже) — видеомагазин, продажа и прокат. Зашли, посмотрели. Очень мило, все есть и даже отдельная стенка арт-хауса.

— Фасбиндер есть? — Есть. — А Вендерс? — Тоже есть. Значит, на «Спортивной» кто-то интересуется Фасбиндером, раз продавщица видеосалона знает такие слова и не переспрашивает: Как? Что вы сказали?.. И «Страх съедает душу» есть, и «Берлин, Александрплац» в двух кассетах... Продавщица там еще была беленькая, совершенно mtv-ишная, с голым загорелым пузом, что очень мне понравилось, все-таки март был на дворе, плюс несоответствие формы и содержания (Фасбиндер), но что говорить об этом при жене? Нечего и говорить. Только, что фильм по книжке. Ну, ладно.

— Кстати, — говорю, — а вы знаете, что «Берлин, Александрплац» снят по книге? — Да, — говорит девушка, — по какой? — Роман такой есть, одного немца, антифашиста. Деблин фамилия, он пару лет назад выходил. И очень неплохой, роман, заметьте. Лучше фильма, на мой взгляд, но так часто бывает. Советую, недорого стоит.

Пошли дальше.

И как-то незаметно-незаметно вышли к Новодевичьему. Само как-то *вывелось*. Я говорю, давай зайдем, раз уж здесь. Давно не были. Последний раз больше года назад, когда один наш друг приезжал из Воронежа, он бывший военный и, как многие они, — верующий, он сразу туда поехал, ну и мы с ним пошли, а перед этим вообще не помню когда. Хорошее место, лучше, конечно, настоящей весной, особенно когда там сирень цветет и травка зеленая, но и сейчас тоже было хорошо. Купола золотые, как-то небо немного расчистилось и получилось хорошо — плывут, я уже говорил вначале — летят прямо кресты и купола навстречу небу и стены церковные белые и белые березы. Вот Россия, вот ее душа. — Да? — Да.

Вечная стоит, летит навстречу небу, ничего, думаешь, с ней не будет — монголы, большевики, Наполеон, немцы, Романовы — и то ничего, а Путин — не Путин, Господи, Бог с ним, переживем, урок, наверное, какой-то, кто его знает, не зря же у него фамилия такая: Путь-in... В общем, хорошо, что зашли. Надо же, хотели, кстати, в монастырь на эти дни поехать — не поехали, а вот случайно зашли. (Или он к нам.)

Кстати, монашек видели, Новодевичий — это ведь женский монастырь, все в черном, совсем молоденькие девочки, почти дети, что-то там смеялись, прямо как школьницы, мы-то привыкли, что они всегда суровые. Жена, правда, потом спросила в церковной лавке, говорят, они не монахини еще, а послушницы, типа испытательного срока.

Ну что, зайдем в церковь? Поколебались. Ну, давай. Все-таки надо, и там хорошо, это же древнее место. Мы когда с этим другом из Воронежа были, я еще удивился, какой бедный храм внутри, по сравнению с новыми «лужковскими» церквями. Ну ладно. Зашли, а там ступени при входе, довольно высокие, и одна из девочек-послушниц подметала, она посторонилась и говорит: осторожнее. И при этом жвачку жует, представляете? Не подумайте, я не идиот, но просто как-то странно, жвачка, это все-таки что-то очень мирское, да? А тут монастырь. Смешно.

Зашли, купили свечки, там были только по 10 рублей и совсем большие. Я всегда вспоминаю, как был лет пять назад на Кипре, и там тоже в православных греческих церквях свечки продают — но все одинакового размера, а кто сколько может, столько и кладет на медное блюдо. Я ничего не говорю, как говорится, кто я такой чтобы рассуждать, но мне кажется, так правильнее... Разве Иисусу важно, у кого денег больше?

А может, я и не прав, что-то я засомневался сейчас, уже не знаю. Так вот, купили свечи, поставили у икон, поклонились. Так вроде положено. А в Новодевичьем иконы старинные, лики темнеют сквозь оклады, жаль, я почти не знаю подробностей, где какая икона, вижу — Божья Матерь, Николай Чудотворец, святой Пантелеймон, святой Георгий, покровитель солдат — и все. Хотя и то немало. Я немного прошелся по храму. Народу сначала было немного, тихо так, свечи около икон рядами горят, я заглянул издали — как это называется — ну, где царские врата, там тоже тихо, и солнце пробивается сквозь окна, как в дом и, несмотря

на то, что никого нет, нет ощущения пустоты. Будто кто-то есть. Просто отдыхает, его не видно. Хотел написать «отлучился ненадолго», нет — «отдыхает» ближе. И один луч, узко так через окно, шел прямо к центру.

А жена с какой-то женщиной разговорилась. Та говорит: служба скоро начнется, не уходите. Какой-то большой церковный человек будет служить, я не разобрала, как зовут, кто-то на «Ю».

И действительно, вскоре два рослых монаха ковровую дорожку развернули, от входа — почти к алтарю, потом диакон прошел с кадилом, всех вдоль стен расставил и кадилом помахал, потом пришли какие-то видные мужчины лет около сорока с ухоженными бородами и благородными лицами, в сиреневых шапках — епископы, может быть, а, может, просто какие-то средние чины, я не знаю — остановились на дорожке и вполголоса о чем-то беседовать стали, что-то явно мирское, потому что лица были такие, мирские, но очень благородно и вполголоса. А потом, минут через десять, через двери не вошел, а прямо вбежал очень быстрыми шагами седой полный человек в белой шапке с каким-то необыкновенно сильным и живым лицом и очень острыми глазами. Он поздоровался с «епископами», и они ему по очереди поцеловали руку, очень острым взглядом окинул зал и, мне кажется, увидел его весь, всех нас вместе с древними иконами на стенах, огнем свечей и тем, что мы с собой принесли — этим странным и, наверное, не очень хорошим днем, тающим снегом, уже весенним небом, шумным городом за стенами монастыря, немного замершего в ожидании того, что будет.

Увидел все это, благословил, немного кланяясь, негустую толпу и, что-то, чуть улыбнувшись, сказав служкам, как-то быстро и, как хозяин, пошел по дорожке к царским вратам, и два рослых послушника понесли за ним белую, отороченную по краям зеленым мантию, и сзади потянулись «епископы», и запел неожиданно хор: «Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!..» и вся толпа как-то подтянулась и стала — пока этот остроглазый не скрылся за царскими вратами — в чем-то немножко и *народом.*

Вот, да, я нашел слово, мы там стояли с ним во главе — народ. Моя жена — актриса, я — литератор и какой-то бизнесмен в дорогом кожаном плаще и с тонким платком на шее, и шкафом-охранником позади, и какие-то пожилые женщины, дядечка с бородкой-эспаньолкой и интеллигентным лицом, седой мужчина, похожий на отставника-офицера, молодая женщина с девочкой лет шести, две бабки и пара влюбленных, совсем молодые, видно, что, может и просто так, из любопытства забрели, и еще, и еще... Мы все были там — знайте, мы были, мы были, мы не безмолвствовали! Мы были... античным хором, наверное. Знаете, у древних греков, говорят, хор имеет свое мнение. Мало того, в античной литературе считается, что хор — даже действующее лицо! А иногда хор может быть чем-то вроде шута или даже давать советы герою...

(Пока мы, наверное, «шут». Но смотрите, ё-мое, если мы станем «действующим лицом» и начнем давать советы «герою». Ох, смотрите... Хотя лучше не думать, *что* мы насоветуем).

А я то ли тогда подумал, то ли сейчас думаю: ну ничего, может ничего, прорвемся еще, может, пронесет.

И на следующий день «прорвались». Семьдесят процентов!.. Хорошо, пусть не семьдесят, накидали. Но пятьдесят было? Было. Пятьдесят! И Манеж горел, как рейхстаг.

Ну что же, хорошо-хорошо, сейчас не надо об этом. Об этом, может быть, в другой раз. В другой... Тем более, говорят, Манеж просто подожгли, чтобы на этом месте сделать автостоянку. И к тому же уже отреставрировали и снова открыли. А пресса раздула: знак, знак!..

Хорошо, ладно: не буду сейчас об этом.

А потом, знаете что? Даже самые разудалые «оптимисты» сейчас иногда говорят (сам читал в какой-то очень приличной газете): мы же не знаем, какие планы у Господа относительно России.

Вот так. А если уж они не знают, то и мы подавно.

Хотели бы вы ходить в детский сад?

Хотел бы. Даже и не знаю, как писать после ТАКОГО о мелочах. А с другой стороны, почему бы и нет? Тут жену позвали работать в труппу бродячих актеров. Ну, это я шучу про бродячих, просто несколько артистов ездят по школам и детским садам со спектаклями. И неплохо зарабатывают при этом, между прочим. Но школа — это не так интересно, там люди взрослые — девочки, мальчики, кто с кем дружит, кто не дружит, а кто уже и спит, в старших классах-то, а в детских садах просто здорово. Детки, они же непосредственные. Кричат зайчику, его завтруппой играет: это лиса петушка взяла, лиса! Чтобы тому легче искать было. Или в страшный какой-то момент — закрывают глаза ручками. (Вот бы нам так.) А недавно в труппе появилась новая пьеса — что-то по мотивам «Дюймовочки», как я понимаю. Причем инсценировку написал довольно остроумный человек. Жабу, у которой Дюймовочка проводила зиму (помните?), назвал Жульжабеттой, а ее сына, за которого Дюймовочку хотели выдать замуж (Крота он почему-то вывел за штат) — Жульжабчиком. Ну, и с неплохими репликами. Например, как вам реплика Жульжабчика: «я х-худых мух-х — н-не люблю!» Хоть сейчас для журнала.

Сегодня ездили они в один детский садик. Далеко, метро «Коньково». Детки, три-четыре годика, смешные, господи. Одна девочка, — говорит жена, — как встала в начале, задрав платьице до пупа, так и простояла весь спектакль. А другая минут пятнадцать смотрела не отрываясь на сцену, потом обернулась и, ни к кому в особенности не обращаясь, провозгласила, показывая на сцену: это мышь! И снова продолжила смотреть спектакль. То есть это она что-то идентифицировала все это время, да? А потом Дюймовочка — ее тоже играет их завтруппой, кстати, женщина лет сорока (очень смешно, но она никогда не играет отрицательные роли), выходит на сцену и говорит: ну а где же Ласточка? Где она? А другой актер в это время машет бумажными крыльями на палке из-за ширмы, имитируя ласточку... И тогда детки начинают хором

наперебой кричать: вон она, вон она! Улетела! Улетела! В теплые края! (А если вы помните первоисточник, Ласточка в финале правда улетает в теплые края, Дюймовочка выходит замуж за принца, и все кончается очень хорошо.)

— Вообще с ними очень забавно, — говорит жена. — Приезжаем с утра (вставать приходится очень рано, детки ведь рано встают), мы с Зайцем переодеваемся, а наш мужчина (Жульжабчик, Принц и Крылья Ласточки по совместительству) расставляет ширмы-декорации, вешает цветную занавеску, изображающую лес, поляну и грибы, а воспитательницы тем временем расставляют в зале такие маленькие-маленькие стульчики. Потом мы гладим свои костюмы дорожным утюгом на каком-нибудь столе или подоконнике, а мужчина-Жульжаб тем временем рассказывает нам всякую хрень, которую он прочитал в газете «Жизнь». Я злюсь на него, а Дюймовочка смеется и уговаривает нас не обращать внимания, но обстановка постепенно накаляется... Но потом я поняла, что он, пересказывая всякую пургу, просто энергетически подзаряжается перед спектаклем. И не он один.

Дюймовочка тоже любит всех слегка «взбодрить»: идем часов в 8 утра от метро «Тушинская», а потом еще 20 минут на автобусе, а вдруг она вскрикивает: Ой!.. Я не взяла адрес!.. И начинает лихорадочно рыться в сумочке. Думаешь: е. твою мать. Потом адрес находится. Это раздва в месяц происходит обязательно. Еще в труппе есть очень нервная администраторша, которая обожает поддерживать разговоры про всякие ужасы. Тоже читает всю эту желтую прессу — «Жизнь», «Комсомолочку» и рассказывает оттуда всякие гадости, чтобы друг друга и окружающих завести.

После того как мы переоделись, воспитательницы приводят деток, и они с шумом рассаживаются, иногда они видят нас в зеркале, которое висит где-нибудь сбоку и начинают кричать и показывать пальчиками: ой-ой, там жаба, жаба... Или: фу, зеленая!..

Потом мы всегда кого-нибудь ждем. Какую-нибудь старшую группу, которая запаздывает по каким-то очень важным причинам... Например, Башмачкин и Соня Мармеладова отказались сегодня пить молоко. После того как им, видимо, залили это молоко в горло насильственным путем, группа наконец приходит и рассаживается, к нам за ширму с перепуганным видом заглядывает администраторша и говорит: *начинаем!..* И тогда наша Дюймовочка включает магнитофон, а детки, услышав музыку, затихают. И в зале наступает тишина, под которую Жульжабчик говорит из-за ширмы баритоном: «Жила-была одна женщина, и ей очень хотелось иметь ребенка. Да где ж его взять? И она пошла к колдунье...»

Бывает, что детки совсем маленькие, два-три годика, тогда мы играем укороченный вариант. Без пауз, без сложностей (типа я Бедная Мышь и ищу место для своих мешков с зерном — и всякие другие мхатовские тонкости). Я сразу ставлю мешки на пол и говорю текст: вот мои мешки, зима прошла, вышло солнышко и наступила весна...

А однажды, под Новый год, наш Жульжаб (его вообще Олег зовут), играя Волка, забыл хвост дома, и мы ему прицепили елочную мишуру. И Волк у нас в то утро выглядел очень модно: с серебристым, переливающимся хвостом...

Иногда бывают довольно неожиданные проблемы. Один раз мою жену дети чуть не побили. Она же еще время от времени играет и Лису, и в решающий момент с Зайчиком, только она приготовилась его унести, несколько самых пассионарных детей бросилось на нее с надувными молотками. Причем, вспоминая ситуацию более подробно, жена говорит, что видела, как детки готовили нападение заранее и уже с середины спектакля, видимо, зная сюжет, тусовались в первых рядах. Хотя предупреждали, крикнули ей сначала пару раз: ты плохая!

А кто-то, особо продвинутый, еще и добавил: мы тебя зажарим! Видимо, спутал с курочкой-рябой.

Жена некоторое время расстраивалась, но потом мы с ней решили, что все же для детей это хорошо — как-никак непассивное отношение к жизни.

III

БЕЛАЯ СТЕНА

Вишневый сок Альберта Коха

Еще про актеров. Подруга жены как-то работала на одном корпоративном празднике. Дело было в престижном ресторане в переулках у «Арбатской». Они разыгрывали для гостей сценки из жизни советских отдыхающих в Гаграх, ходили с мегафоном, раздавали какие-то номерки, и всем, как ни странно, это очень нравилось, особенно молодежи. (Сейчас это стало популярно.) Хотя, говорит подруга, было несколько человек, которые довольно сильно напряглись на этот маскарад, и один даже что-то сказал типа «пошли бы вы на». Но таких было немного. Особенно всем понравился один парень, который изображал грузина-таксиста (он и был грузин, кстати) и всем предлагал «в Сочи за два пятьдесят с человека». Успех был просто бешеный. Еще были «женщина-врач» и «медсестра», очень красивая девка в коротком халатике, еле прикрывающем жопу. Подруга жены была «экскурсоводом» и всех побуждала «не быть пассивными» и «отдыхать активно». Дарили очень смешные советские подарки типа блока красного «Мальборо» или армянского коньяка, но в настоящих очень красивых пакетах с логотипом заведения. И среди гостей, кстати, попадались довольно известные лица. Подруга — человек аполитичный, но и она узнала Альфреда Коха, Юлию Бордовских и еще кое-кого из телевизора. Вообще, сначала все было довольно напряженно, в зале было много охраны, но потом все постепенно выпили, расслабились и стали шутить, фотографироваться и приставать к женщинам. Особенно много желающих пристать было около

врача и медсестры (около нее особенно), причем, что забавно, некоторые мужики совершенно серьезно жаловались им на здоровье. Один сказал, что у него болит спина, и попросил посмотреть. Потом были танцы под советскую эстраду. Заводили «Белый аист летит, над зеленым полесьем летит...», ВИА «Самоцветы» и все такое.

Кох, кстати, плохо выглядит, сказала подруга, какой-то старый и усталый. Ну еще бы, сказал я. А когда во время танцев всем налили красного вина и стали провозглашать тосты, подруга случайно оказалась рядом с Кохом и вдруг увидела, как он говорит какому-то знакомому, с хитрой улыбкой показывая на свой бокал: а я всех обманул! У меня здесь вишневый сок!

— И меня вдруг поразило, что это метафора, — сказала подруга жены. — Б..дь, это метафора их всех и вообще всего, что они сделали!.. Хитрые отличники с первых парт, вот они кто. Все эти «Яблоки», СПС, эти «Иры», «Бори», «Гриши»... Вишневый сок... Просрали Россию!..

Ну, последнее, это, конечно, я прибавил. Это не подруга сказала, а вроде бы закричал монархист Пуришкевич в еще той, настоящей, царской Думе — и довольно давно, не то в 1916, не то в 1917 году.

Что еще хочу сказать. Что эта Оля ругается матом очень редко, она — девушка очень культурная.

Но что Оля, если даже Пуришкевич не выдержал.

Березняк

Прошлым летом снимали дачу под Москвой. Довольно далеко, километров сто. Ну, дача — это сильно сказано, летний домик на участке у одной бабушки. Участок был у речки, прямо рядом, мы купались, а в дождливые дни собирали грибы в соседнем лесу. Разноцветные, красные и желтые сыроежки, благородные белые, скользкие, с концентрическими кругами на шляпках чернушки, а в конце августа пошли очень красивые, прямо хоть рисуй, оранжевые, с толстой пестрой ножкой подосиновики.

Много набрали, говорят, то лето было грибным, и как-то пошли в дальний лес, который видели из автобуса. Хотя «дальний» — это фигура речи, по дороге к дому отдыха Таможенного управления пешком минут двадцать, может, полчаса от силы, тем более дорога хорошая, асфальтированная. И когда пошли, там по дороге, справа, такой чудесный березняк стоял, белый-белый, прямо как на картинке.

Вообще, конечно, березы — это странная такая вещь. Входишь, и этот белый частокол вокруг, как песня, и становится вдруг так светло, что даже плакать хочется и то ли себя жалко, то ли все вокруг... Может, это все, конечно, мифология, но у меня есть один друг, он довольно видный экономист по машинам, полгода в году сидит в Лондоне, там у него вроде свой дом, так вот он говорит, что в России все зло от берез, и говорит, что видеть их не может. Шутит, конечно, но то, что в березовом лесу «дух капитализма» не то что не живет, но даже к упоминанию неуместен, это точно. В березовом лесу как-то душой просветляешься,

наверное, потому, что все белое вокруг, а вот делать совсем ничего не хочется. Разве что белый храм построить.

Ну вот, мы тихо брели и нашли несколько этих самых подосиновиков. Так красиво это смотрелось, знаете, оранжевые шляпки сквозь негустую, уже сухую августовскую траву, а потом нашли пару подберезовиков, прямо чуть не наступили на них, а потом, в каких-то неглубоких ямах или канавах на опушке наткнулись сразу штук на пять — подберезовик, белый и несколько подосиновиков. Эти ямы или канавы, их, видно, давно копали, они уже почти сгладились, заросли травой и были прямо на краю березняка, за ними начиналось большое пустое сейчас поле (в советское время на нем, наверное, росла какая-нибудь кормовая свекла, овес или что-то такое), а сейчас была одна негустая трава и кустики маленьких берез и елок. И вдруг я понял — ё-мое, это же окопы! Да, точно, очень похоже, ну и ну... И потом у бабки, хозяйки нашей, спросили, что это, а она говорит: где, в березняке? Да, верно, там окопы. А потом сказала, что в войну, в 41-м году, говорят, там был бой, но недолго, и много наших погибло, потому что немцы шли на танках, а у наших-то что, один пулеметик, да пушечка маленькая была — ей мать рассказывала, они в подвале спрятались, а потом почти целых три месяца жили под немцами, и в деревне с краешку памятничек стоит, солдатик железный с автоматиком и цветочками, видели? Это их братская могила. Вот так.

И я представил себе, как осенью, в самом начале войны, кто-то из наших увидел этот березняк у Москвы-реки, и ему стало жалко бросать (пардон за высокий стиль) эти белые березки, а может, ему показалось, что лес — это хорошее прикрытие, и он решил дать здесь бой — и окопался на опушке. А за спиной-то эта белая стена поет, и как, наверное, это печально и наивно выглядело (в очередной раз), они смотрели на пустое поле, усталые, голодные и оборванные от стремительного трехмесячного отступления и еще боявшиеся собственных «особистов», пока на поле не появились танки, «тигры» или «леопарды», не знаю, что там у немцев было, и не расстреляли наших почти в упор.

А сейчас, сказала бабушка, там почему-то хорошо растут грибы, местные это место знают, но туда ходить не очень любят, а если чуть вниз к реке через березняк спуститься, там тоже грибное место и начинаются дачи новых русских, видели?

Правда, памятничек советским воинам стоит. Года три назад, к 9 мая, приезжали какие-то солдаты из ближайшей части и заново покрасили серебряной краской, при этом, правда, захватив и постамент и буквы на нем, так что теперь надо постараться, чтобы прочитать, кто там лежит.

Но все равно: ве-ечная память!.. Грибные места.

Кстати, эта военная часть, откуда солдатики-то приезжали, она совсем недалеко находится, и в хорошую погоду в деревне даже слышно, как они там при отбое хором поют. Для поднятия боевого духа. Что-то бравурно-советское (нового ведь ничего не придумали):

А для тебя — род-ная
Есть почта — по-левая.

Продолжаем отступать

— Еще по пятьдесят? — Давай. Приезжал друг детства. У его второй жены брат — бывший военный летчик. Сейчас на гражданке. Поехали все вместе к этому летчику на дачу. Километров пятьдесят от Москвы, неплохой такой дом в военном дачном поселке, крепкий сруб полтора этажа и довольно большой участок, где летчик... цветы немножко разводит. Он как в отставку вышел, увлекся цветами. Такая вот странная метаморфоза.

Приехали, выпили естественно, он говорит: а-а, ты писатель, сейчас я тебе расскажу такое, только записывать успевай... И действительно, рассказал — про всякие армейские ужасы, у нас ведь о другом не говорят, как из-за генеральской дурости еще в советское время люди, и не просто люди, герои пропадали! Он на Дальнем Востоке служил, на Камчатке, многое помнит, на эту дачу бы сценариста — тут же написал бы сценарий, «72 метра» или «К-19» — зимний океан, упавший самолет, резиновый спасательный плот, красные сигнальные ракеты в ночи, волна, ледяная крошка.

Но меня почему-то больше всего поразила относительно недавняя история, когда инженер наземного обеспечения, которому, когда в середине 90-х всем зарплату не платили, нечем было кормить семью, он поднял в воздух военно-транспортный самолет и, пока не кончилось горючее, кругами летал над аэродромом и вел по радио переговоры с командованием. Говорит: так и так, ничего не думайте, просто больше не могу, двое детей, а кормить нечем уже который год. Ему говорят: да ты что, Саня, брось это дело, садись, но на всякий случай два истребителя подняли, чтобы если он на Москву полетит, команда была сбивать сразу. И надо же, он же инженер обеспечения, как смог самолет поднять... Командующий округом его по рации уговаривал, жена, но он все равно не сел. Когда горючее кончилось, воткнулся в землю, только самописец этот, как по телевизору говорят, «черный ящик» и остался. И двое детей. Такие дела.

А Костин летчик, он удивился — чего ты к этому случаю придрался? Вы все, газетчики, такие: ищете где похуже. Почему про настоящих героев не рассказываете?.. И я как-то даже расстроился. Действительно, почему не рассказываем? Сейчас расскажем. Только с силами соберемся. Говорю: а этот инженер, он разве не герой?

Молчит.

Этот Володя, он, вообще, странный какой-то. Их отряд иногда обслуживает правительство. Ну, в смысле шишек всяких. И поэтому у него такой вид... Как будто он все время прислушивается. *Типа мало ли что.* И, когда мы побольше выпили, я просто так, шутки ради ему говорю: ну, выкладывай, в каком ты чине на самом деле? Он так испугался, несмотря на алкоголь... Откуда, говорит, ты знаешь?! Я пошутил что-то, мол, я все знаю, разговор замяли, Костя мне кулак показал под столом, но на душе остался странный осадок: *значит, правда?* С другой стороны, раз он возит важных лиц, наверное, по должности положено. Безопас-

ность, все такое. Но это «откуда ты знаешь?» мне как-то покоя не дает. Они за дураков нас держат, что ли?

Впрочем, с утра все встали огурцами. Я еще по лесу прошелся — дело-то весной было, в апреле, снег почти сошел, но земля еще коричневая, в прошлогодней траве и только кое-кое-где на ней робкая зелень. Володя сказал, у них тут даже лоси бывают. Про ночной разговор сделали вид, что забыли.

А потом, часа в два, в поселок за водкой поехали — продолжить, и по дороге проезжаем какую-то генеральскую дачу. Кстати, по нынешним меркам ничего особенного, деревянный дом, всего два (а не четыре) этажа, правда, очень большой, но по сравнению с тем, как бывает, — не впечатляет, и перед воротами — генерал все же — российский триколор висит. Патриот... И надо же было как раз тогда, когда мы проезжали, у дачи шла «спецоперация» — генералу беседку привезли. Опять же, ничего особенного, беседка как беседка, деревянная — не мраморная, весьма скромных размеров, на военном тягаче, а руководил операцией какой-то толстун в летной кожанке.

А я, наверное, под впечатлением ночных разговоров, чего-то разозлился. Или менталитет сыграл, советский, люмпенский, пишут же. Ну, привезли генералу беседку на дачу, ну, на военном тягаче, что ж ему — такси, что ли, заказывать? И что, если генерал, он летом чай не может попить с гостями? А у Володи этого фуражка летчицкая лежала сзади на сиденье и, когда мы к дому генерала подъезжали, я ее надел. Спросил, можно ли, и надел.

И поскольку я тогда еще нестрижен был, вид получился супер — сан-сальвадорская хунта. И этот майор в кожанке, он когда меня в машине увидел, ему чуть плохо не стало. Я видел, что человек смотрит и не понимает — *кто это?!* Тем более издали. Тем более все знают, что Вован за границу летает. Его-то машину он знает. Сирийский компаньон? Ну, когда подъехали поближе, он понял, что это кто-то прикалывается, и смотрим, разозлился. Я видел, что разозлился, даже беседку перестал сгружать. Такой взгляд кинул на нас...

Только я не понял, за что. За то, что я фуражку, что ли, военную надел? Типа не уважаю. Или за беседку, что увидели?

Вовка смеялся как ни в чем не бывало.

Любит — не любит

А что, ему плакать надо было?.. Смешно, прямо какой-то подмосковный сериал получается. Вдруг возникли какие-то мелкие дела в одном городе-спутнике, недалеко, полчаса от Москвы электричкой. Мы с женой поехали, а что, даже интересно, немного обстановку сменить, а я, вообще, лет восемь там не был, хотя мимо сто раз проезжал — как на дачу едешь, его обязательно проедешь, и видно, как изменилась хотя бы привокзальная площадь. Кафе какие-то, магазинчики, если вечером — реклама горит, сзади огромное современное здание колхозного рынка,

но кругом пыль и мусор, бумажки и пакеты всюду валяются, будто кто специально разбрасывал или строительство рядом, хотя никакого строительства нет.

Ну вот, вылезли мы в этом городе-спутнике, идем медленно и как-то пока непонятно, что к чему. Видно, что не Москва, что люди другие, нравы другие, жестче, и лица другие, проще, может быть. И кажется, что вот эта грань, которая отделяет людей, чтоб друг на друга не броситься, она здесь очень тонкая, во всяком случае тоньше, чем в Москве. А почему я вспомнил про это, потому что в воздухе разлита какая-то агрессия, а может, мне кажется. Ну и конечно, хоть и двадцать минут от Москвы, а уже провинция, и провинциальный гоголевский идиотизм тут как тут. Мясной киоск у рынка называется «Мясо России». Зашли в парикмахерскую — вывеска «Женщины России», и тут же триколорчик повесили. Чтобы укладки местным девицам под государственным флагом делать.

Очень забавны всякие исторические памятники. Собственно говоря, здесь рядом главная российская дорога на Запад, Минское шоссе то есть, шоссе идущее прямо через город, раздваивается — и одно новое, относительно недавнее, а другое старое, то есть Старая Смоленская дорога, по которой еще Наполеон-то наступал-отступал, — вот она. И конечно, сделана какая-то ужасная арка, чуть ли не из пластмассы, но с орлом двуглавым наверху и гусарской какой-то шапкой, и все это в черте города. Так что при желании можно себе представить, как здесь шли французы и ехал на белом коне Бонапарт. А потом уходил обратно. Ведь были люди в наше время, не то что нынешнее племя? Гроза двенадцатого года, Давыдов, Де Толли, мой почти однофамилец — Сеславин... Вроде, были люди-то — имена, во всяком случае, на Панораме выбиты.

Ну вот. Идем, смотрим по сторонам, и я все думаю: как они здесь? А как они «здесь» — так же, как и мы «там», ведь это же самая Россия, в таких вот городках, и неправда, что что им скажут из Москвы, то они и сделают, ни фига, они все это тихо переварят и с этим своим «слушаюсь-ваше-благородие!» будут жить дальше, как жили. Не верю еще, что все здесь спиваются и вырождаются потихоньку. Вот дом новый построили, и возле него вдруг цветочки на клумбе, будто это Бабельсберг какой-то, вот в городском парке молодежь сидит с вполне нормальными, человеческими лицами, вдалеке — да, вдалеке стояли какие-то козлы, пиво, мат, гоготали, как жеребцы, но на лавочке сидели симпатичные такие мальчишки и что-то обсуждали, по-моему, про армию, потому что один вдруг так грустно сказал: а это что за войска, а?

И дети маленькие с мамашами возились в песочнице, и какая-то очень милая толстая тетенька показала нам, как пройти в магазин стройматериалов и сказала, что она туда всегда ходит с мужем по выходным, потому что там недорого, и я представил себе ее семью, и мужа, и дом, и почему-то окна с советскими еще, прозрачными занавесками.

А напротив парка, через улицу, какое-то даже современное зданьице построили, контора какая-то, фирма, во дворе иномарки, а у открытых ворот даже шлагбаумчик повесили красно-беленький, веселенький та-

кой, и только я подумал, что, может, ничего, нет-нет, все-таки ничего, все образуется постепенно, как жена сказала (а я ведь молчал, ничего не говорил о своих мыслях): видел надпись на шлагбауме? — Нет, а какую? — Ну, как же, фломастером? — Нет. — Культ обреченных. — Не может быть. — Я тебе точно говорю, пошли, посмотрим.

Пошли, посмотрели: и правда. Криво так на красно-белом шлагбаумчике крупными буквами: «Культ обреченных». Дети, наверное, написали, фильм какой-нибудь голливудский. Надо же. Жизнь вот иногда такие штуки выделывает, будто разговаривает сама с собой. А ты слушай. И смотри.

Или, может, случайность? Будем на это надеяться.

Манеж. Наследник престола – 2

Март. Выборы. Поздно вечером. По ТВ — горящий Манеж. Путин в пустынном кремлевском дворе приподнимается на цыпочки, чтобы посмотреть на зарево. Кадры Манежа по НТВ и Рен, а по «Первому общенациональному» и «России» — праздничный концерт: «как упоительны в России вечера». Заранее составили, а потом никто не отменил. Как отменишь? Ответственность. И пели. Под зарево. Как упоительны!..

Ничего не надо придумывать, только телевизор смотри и каналы переключай. Комедия. Знакомая живет на «Кропоткинской», говорит, когда увидела зарево, то сначала решила, что это Кремль горит. И еще друг из провинции недавно приезжал в командировку, тоже так сказал: я по телевизору огонь увидел, думал, Кремль. Я спрашиваю: как думаешь, подожгли? Он говорит: может быть. Но главное, Бог, видно, нами недоволен. (Друг православный очень.) Я говорю: как же недоволен, *если кто-то просто поджег?* — А вот, — говорит, — так. Кто-то просто поджег, а Бог недоволен. Что, не видишь? (Друг, кстати, давно православный, еще с советских времен, не то, что нынешние... энтузиасты.)

Еще было смешно, как журналисты кинулись фотографироваться рядом с Путиным. Просто захлебывались от счастья. А может, я не прав? Президент страны все же.

Впрочем, Москва все забывает быстро. Здание Манежа реставрируется, президент на Север летает, к оленям в тундру, по морде оленя дружески треплет, и какой-то соратник рядом еще рокочет: что морду воротишь, сам президент тебя гладит!.. И говорят, что сохранят даже выставочный зал. В центре Москвы. Ну, я об этом уже писал. Есть чем гордиться.

А друг из провинции, кстати, сейчас работает в провинциальном университете. Преподает, ассистент при кафедре. Я говорю: смотри, не женись на студентке-то. (Я одного такого знал: раз пять женился.) Он говорит: зачем же женится на ком-то конкретно, когда их вон сколько?! Фотографии показывал. Студентки любимому преподавателю фотографии дарят. Я говорю: а где хранишь это? Он: дома. — Как дома? А жена? — А что жена? Она сначала возмущалась — как ты можешь эту гадость

еще и домой таскать?! А потом привыкла. Я ей говорю, что раз я ничего не скрываю, то ей и опасаться нечего.

А еще мой друг — монархист. Натуральный. Выпили, он рассказывал, как областной архиерей их знамя освящал. Я было завелся: *какое знамя?* Ты что?!. Взрослые же люди!.. А потом думаю: чего я? Ну «знамя», ну и ладно. Хочется людям, пусть у них будет *знамя*. Тоже неплохо. Помню, когда я при советской власти был в пионерском лагере (я застал последние годы), у нас было такое «знамя отряда». И его то вносили, то выносили под барабанный бой, а все должны были стоять при этом вытянувшись по стойке смирно. Все время с этим знаменем была какая-то суета...

А потом я вспомнил, что телеведущий Киселев, помните, был такой очень вальяжный господин на бывшем НТВ, большой либерал, он тоже все за монархию агитировал. И какого-то толстого мальчика показывали, «наследника престола», который, если я ничего не путаю, живет сейчас где-то в Испании. Мой друг сказал с какой-то даже угрозой в голосе, что *теперь это не мальчик* — и вот уже не в Испании, *а в Бельгии*. И чувствую, сердится на меня, прямо реально сердится.

А что я, сказал я, я против, что ли? Пусть *в Бельгии*. Я просто не очень верю. Но друг сказал, что, если восстановить династию, все в России наладится. Мол, этого парня — царем, а Путина — премьер-министром без срока. Регентом. Только надо его уговорить.

Ну, не знаю. Хорошо бы. Но, по-моему, это все какая-то фантастика. Хотя у нас все возможно.

Кстати, выпили довольно много. Друг с утра, ему по делам надо было, еле встал. Хорошо я ему не сказал про эту шутку, помните, с принцессой-то, вначале (то есть царевной).

А то бы точно поссорились.

IV

НАШ ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»

Крейсер «Малибу»

Продолжаю о друзьях. Ближний круг.

Еще один мой хороший друг ищет работу. Вообще, он большая умница, когда-то был довольно преуспевающим финансистом, но потом случилась какая-то неудачная любовь, с ней совпал кризис 1998 года; банк, где он работал, разорился; он пытался уйти из семьи, но там что-то не заладилось, вернулся, стал потихоньку пить и как-то постепенно-постепенно оказался за бортом. Но он, повторяю, человек весьма и весьма неглупый и большой книгочей. У него бывают такие смешные и неожиданные наблюдения — дай Бог многим. Например, как-то он мне позвонил и говорит, как будто продолжая прерванный разговор: слушай, странный человек этот Тургенев. — Кто? — Тургенев. Ты заметил,

что в его романах герои всегда очень тепло одеты, не по сезону? — То есть? — говорю. — Ну, как же. Я тут взял перечитать «Накануне», у него там летом человек одет в летнее пальто, а под ним сюртук. И, помнишь, Базаров куда-то пошел в июне, а ему говорят: «ты шапку надень». Это почему, ты как думаешь? Главный либерал и западник России ходит летом по родине в пальто?

Понимаете, конечно, возможно в 186... каком-то году просто лето было очень холодное, но такое заметить... Я ему, конечно, сказал про холодное лето, но в душе даже приятно стало, что такой человек — мой друг. Приятно — и грустно, что такой умница, и вот, обыкновенная история — пьянка, без работы, и как-то это все очень по-русски, мне кажется. Горе от ума.

Так вот, он ищет работу, а у них дурная подстанция или что-то с модемом, и я изредка отправляю его резюме по всяким адресам.

И тут он мне звонит на День Военно-морского флота, я уж не знаю, случайно так получилось или он нарочно пошутил, и говорит: старик, вот хорошая работа, но mail не указан, я посоветоваться. И читает: В плавучий ресторан «Малибу», стоящий на вечном приколе на Н-ском водохранилище, требуется матрос. Работа день через день, двухразовое горячее питание за счет заведения, квартальная премия, форма. — Какая форма? — Какая-какая, матросская, с бескозыркой. Я хочу позвонить, только вот ехать далеко, но ничего, если форму надену, на трассе, может быть, иногда будут подвозить на халяву. Ты не хочешь?

И я представил себе, как мы с ним в форме с этими ленточками, стоим на шоссе и голосуем... А потом поднимаем якорь, поднимаем андреевский флаг и выходим на ресторане «Малибу» в открытое море прямо с посетителями, столиками, бля..ми и завсегдатаями. То есть что я, в Н-ское водохранилище... И принимаем неравный бой, который длится три дня. Заголовки в газетах.

В общем, врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает! То есть, что я, наш гордый «Малибу» — не сдается врагу.

О жизненных стратегиях

Были тут в одном клубе. Симпатичный такой сарайчик-подвальчик на Покровке. Какие-то музыканты милые. Один негр, настоящий, из Экваториальной Африки, второй толстый и лысый (бритый) вообще вблизи похож на бизнесмена, а издали на скинхеда, а не на музыканта — очень здорово прыгал, как мячик. И девка классная — то ли она с кем-то из музыкантов, то ли специально приглашенная на подтанцовку, мы не поняли — но очень классная. Так колбасилась у сцены — просто хотелось тоже начать скакать рядом. Нас туда пригласили, это вообще не наша компания, я там знаю одну девочку — политическую журналистку и ее мужа и еще одну пару видел один раз. А так никого...

Ну а раз есть политическая журналистка, то, естественно, произошел следующий разговор.

Их журнал год назад выселяли из их давнего помещения, которое они занимают чуть ли не с 1950-х годов. Об этом даже по ТВ было. Причем, участвовал ОМОН. Обычная сейчас история — «спор хозяйствующих субъектов», к тому же они, как интеллигентные люди, не то приватизацию вовремя не оформили, не то еще что-то, а новый владелец решил устроить в здании не то кино, не то казино.

Ну и когда там все уже очень накалилось (часть их сотрудников в решающий момент забаррикадировалась в редакции и отказалась выходить) и какой-то милицейский полковник уже грозно сказал в мегафон: «сейчас я с вами по-другому поговорю!», вдруг, говорит муж моей знакомой (он тоже присутствовал), подъезжает маленькая машинка Renault, оттуда выходит парень такой позитивный, в белой рубахе навыпуск и с двумя девахами длинноногими и, не очень обращая внимание на тусу автоматчиков и общую атмосферу скандала, подходит к дверям. И его, что самое интересное, пропускают. — Все думали, говорит политическая журналистка, что это, наверное, новый хозяин здания приехал конфликт разбирать. А парень подходит к дверям и громко так спрашивает у народа, повторяю, не особо реагируя на бушующие вокруг страсти: тут вроде раньше обменник был?..

И, знаете, всех присутствующих после этой реплики как-то отпустило. Даже смех раздался. Ну, ему, конечно, объяснили, что «обменника» нет и что вообще происходит, он как-то растерянно улыбнулся и уехал. И еще заржал там, в машине.

Теперь простите мне это идиотическое глубокомыслие, но... Может, *так* вообще надо? Не замечать. По-буддийски. Заржать где-то. Где-то плюнуть. Не безразлично (по-овечьи), *а не замечать*. Как знаменитые буддийские обезьяны.

Но — с другой стороны: их ведь из их помещения выгоняли. Какой тут буддизм?!

Ни фига себе! Правда, выгнали не в этот раз, а в следующий, через несколько месяцев, зимой. И тогда все прошло как-то даже буднично, хотя моей знакомой тихо сказали: девушка, если будете сильно выступать, можете споткнуться на лестнице. Скользко же.

Но парень в Renault тут ведь ни при чем?

Картина известного художника «Молодой человек только что познакомился с девушкой и сейчас ведет ее к стоянке такси»

Сидели с женой и ее подругой в открытом кафе на Мясницкой, летом, в субботу и разговаривали. А рядом, в арке, один известный клуб. И оттуда доносилась какая-то очень ритмичная музыка, входили и выходили женщины в открытой летней одежде и вообще атмосфера была наэлектризована. И в кафе тоже было достаточно оживленно. Все друг на друга смотрели, девушки сидели парами, сновали с заказами официантки

в коротких юбках, носились летние запахи и так далее. И мы сидели, болтали, жена была такая красивая, в новой очень красивой белой кофточке (а кто подарил? я подарил!) и подруга жены — тоже недавно приехала из-за границы, из Испании, у нее там сестра вышла замуж за пакистанца — и тоже сидела вся такая оживленная. И она мне кажется, это я вам по секрету скажу — она мне симпатизирует. (Что также бодрит.) Но это я говорю просто так, платонически, ничего больше, мы эти дела уже не раз проходили, больше не надо. Потом оказываешься виноват перед всеми, девушки помирятся и сообща тобой так закусят, что спасибо большое, но просто было приятно. И из арки за время, пока мы там сидели, пару-тройку раз выходили пары и было видно, что люди только что познакомились и им все внове и не терпится, у девушек при этом становится *такой* вид и *такая* походка... хм-хм... танцующая, скажем так. И эти пары выходили на улицу, мужчина поднимал руку, останавливалась машина, он галантно придерживал дверцу, пока садилась дама, потом садился сам, и они уезжали. И вы не могли удержаться, чтобы слегка не домыслить, что там дальше.

И вот, когда очередная пара, она с короткой стрижкой и в белой короткой юбке, и в майке, очень подчеркивающей грудь, и он — коренастый или даже стройный, бережно и целенаправленно приобняв ее за талию, шли к стоянке такси — я подумал: надо написать такую картину, жаль, я не художник, но я запишу сюжет и пусть кто-нибудь напишет, мне не жалко, только чтобы название было — как у этой главы. «Молодой человек только что познакомился с девушкой и сейчас ведет ее к стоянке такси».

Это должно быть большое, многофигурное полотно, почти панно, во всю стену, как у Глазунова или Репина, со множеством узнаваемых персонажей и типажей, они (девушка и юноша) — идут, а по бокам — Петр I, Ленин, Сталин, декабристы, Павел I, плачущий Ельцин, Путин, немного попсово, спекулятивно, с задним планом, улицей, столиками, домами, огнями и мчащимися машинами, вечереющим небом, облаками, иронично и чуть задумчиво, что, мол, *что-то в этом есть*, какой-то подтекст и контекст. Москва 2000-х. Публике должно понравиться, я уверен.

Французская философия

Попала в руки одна книжка. Жорж Батай и Колетт Пенье. Пара, известная своими садомазохистскими наклонностями и похождениями, но в данном случае дело не в этом.

Оказывается, эта Пенье, до того как полюбить Батая, сильно интересовалась коммунизмом (видно, есть что-то общее), да так сильно, что даже побывала в 1930-х годах в СССР, где некоторое время близко общалась с Борисом Пильняком. Правда, Батай впоследствии обозвал его «отвратительным субъектом», что лично в нас пробудило чувство национальной гордости. Знаете, чтобы сам Батай такое о ком-то написал, — это надо уметь.

А еще мы подумали: вот тебе и на, вот это новость. А я все думаю, странный у Пильняка какой-то слог. Нервный какой-то. И тут же передача по ТВ: «Борис Пильняк». (У него юбилей. Хотя ничего странного, это по Юнгу — принцип синхронистичности. Многие события повторяются несколько раз.) И читают его: «Посмотрите вокруг. Россия сейчас как сказка. Сказки творит народ. Революция началась как сказка. Разве не сказочен голод, разве не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в XVII век, и не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите, кругом — сказка...»

Красиво написано, елки-палки. Но — в 1919 году.

Я себе представляю, что должен был испытывать нормальный человек, читая такое в том же 1919, 1920 и т.д. году. Бунин, по-моему, писал в «Окаянных днях», что испытывает постоянное чувство бессильной ярости. (Я не Бунин, но осенью 2004 года испытываю примерно то же самое, хотя Пильняков вокруг нынешних комиссаров, слава Богу, что-то не видно.) Но дело не в этом.

Вот, я раньше все думал, как же так, такие вроде бы талантливые люди, как тот же Пильняк, Бабель, Горький, Блок и еще многие, могли радоваться разрушению и писать о революции, что, мол, ура! Сказка... Хороша «сказка»! А вот прочитал, что он с будущей девушкой Батая общался, и сразу стало все понятно. Вопросов, как говорится, не имею.

Больше читайте, господа. Читайте больше — и будете многое понимать! (Если хотите, конечно...) Вот интересно было бы что-то узнать про нынешних.

Какие у них увлечения?

В чем смысл жизни?

Зашел тут в новое кафе на Мясницкой. Взял кофе, журнал, улыбнулся симпатичной девушке с короткой стрижкой, что сидела на балконе. У них кафе сделано, как дворик на юге — внизу столики, а по стенкам что-то вроде широких балконов, и там тоже столики и книжные полки. Для парочек и зашедших почитать. Впрочем, девушка оказалась не одна, а с мужчиной. Ну, жаль, думаю.

Сижу, смотрю журнал, пишу что-то на бумажку, и вдруг с «балкона» падает вилка. Упала — и ни гугу, как будто так и надо, никто даже не выглянул. Я еще почему-то подумал, что это со столика той девушки. Ничего себе, думаю, «привет» передали, от хороших женщин вилки не падают... Мужик с хаэром и бородой, «хипарь» такой 1970-х годов, Алеша Попович, у них целая компания за соседним столиком с ноутбуком сидели, говорит: это в вас, наверное, метились. Я говорю: а может, в вас... Может, там вообще чечены засели и теперь вилками кидаются.

Потом он смотрит, что я что-то пишу, и говорит: вы что, из треугольника Толстой — Достоевский? Замыкающая вершина? Я говорю: Боже упаси. Это просто деловая запись. В ежедневнике — на завтра. Он: а ну тогда, стало быть, Солженицын, те, которые двести лет вместе, и вы. Я посмотрел:

вроде, незлобно говорит и глаза смеются. Сейчас всякое бывает. Я говорю: нет, что вы, какие двести лет. Мой прадед в Ростов-на-Дону из Польши переехал только в 1860-х годах. Он был обувщик и держал небольшую обувную фабрику. Хотя с Александром Исаевичем я часто мысленно корреспондируюсь. Шлю ему, так сказать, сообщения на пейджер. — И что, отвечает? — говорит хипарь. — Как вам сказать, бывает. Видите ли, может, это он мне написал: уже двести лет вместе, чего, мол, мы будем спорить...

Мужик смеется: а, ну тогда вы, говорит, может быть, из треугольника Дэвид Бекхем и Майкл Оуэн. Третий на воротах. Как Ринат Дасаев, так? — Точно, говорю, как вы угадали. Я — запасной голкипер. Выхожу на поле в сложных ситуациях.

А они что-то там за своим столом работают. И едят, и работают, какие-то картинки на ноутбуке гоняют, мне издали показалось что-то предвыборное, плакаты какие-то. Пиарщики то есть, а может, реклама. Я посидел, что надо из книжки выписал, глотнул пару раз водочки и говорю: — А что вы думаете, я серьезно, все время хочу Солженицыну написать. Вот смотрите, какая есть история...

И рассказываю:

Лет пять назад мы с дочерью жили в Воронежской области, почти в заповеднике, снимали там у одних людей дом в деревне. Жили-жили, и знаете, не я, бывшая жена заметила: что-то, говорит, к хозяевам теща не заходит. Странно... Что значит женский взгляд. Я бы никогда внимания не обратил. Все о высоком ведь. «Вместе» двести лет или «раздельно»... И, кстати, что значит «двести лет», когда к Владимиру Святому от хазар делегаты приходили в 1007 году! За иудейство агитировать. А «приходили от хазар» — это ведь как-то очень общо. Конкретно, откуда? Из-под Астрахани. Так что, какие же «двести лет»?!. Хотя, с другой стороны, знаете, пусть лучше двести. Ответственности меньше.

И в этих мыслях не до мелочей, сами понимаете. Приходит теща — не приходит... А она жива, теща-то? Жена говорит: жива, Тамара ее все время вспоминает: мама-мама. Но как-то напряженно. И представляете, постепенно жена выяснила, в чем дело. Оказалось, наш хозяин тещу... пятнадцать лет назад... *того*. Представляете?! А еще говорят — тот же Солженицын, что весь разврат в городе.

— Трахнул тещу, что ли? Вполне себе представляю, — говорит мужик спокойно. — Обычное дело. И вы Александра Исаевича из-за такой ерунды хотели беспокоить? Стыдно.

Я как-то даже смешался.

— А что, — говорю, — вы считаете, не стоит внимания? Кровосмешение все же-с. Не помню, что он ответил, — что-то забавное. Что-то типа мы же вместе, так что, мол, какие тут могут быть церемонии. Что значит «стоило» или «не стоило»? Свои люди. И, потом, — говорит, — все равно, в том, что ваш хозяин тещу трахнул, виноваты эти, которые «вместе». Они же во всем виноваты.

Я так растерялся, даже на шутку не обратил внимания и говорю: ну, ясно, что *эти*. Но почему же «обычное»? Дело-то? Была еще повесть

такая когда-то, «Обычное дело». Помните? — Ну как почему обычное... Вы, говорит, почитайте Библию. Там чего только нет. И Лия, и Рахиль. За милую душу. А Сим, Хам и Иафет, они вообще имели всё, что движется. А повесть помню плохо, хотя и читал. Только дело там было не обычное, а привычное, по-моему. Согласитесь, есть некоторая разница.

И я как-то вдруг расслабился (действительно, а что такого особенного, все это условности; бывает между родственниками, не надо сразу кричать о разрушении традиций) и говорю, сводя все к шутке: ну, знаете, во времена Потопа это было просто необходимо. Демографическая яма. Потом Восток, полигамия... Там любой уважающий себя человек по несколько женщин имел. И имеет, что характерно. Царь Соломон, арабские шейхи... Слыхали, в Ингушетии многоженство разрешили?

Посмеялись. Потом немного помолчали, и я спросил, кивая на комп: а вы чем тут занимаетесь? Он говорит: да так, ничем, в общем. Это хобби. Раньше я был членом партии «Либеральная Россия» и издал «Черную книгу коммунизма», знаете такую? Ленин, Сталин, то да се. — Слышал, говорю. Были такие. — А про партию нашу, говорит, слышали? — Нет, Боже упаси. — Ну, понятно. Опять помолчали. Я говорю: сколько набрали-то на выборах? Он так *спокойно*: ноль-семь процента. Я говорю: то-то же. Черная книга. Еще чего-то хотите? **Чаю, может, или водки?**

А там еще неподалеку, в уголке, очень симпатичная девушка сидела. Темненькая, почти мулаточка, совсем молоденькая, вся книжками обложилась, и она немножко слушала наш разговор и улыбалась так, поглядывая в нашу сторону. Шутим же. И я посмотрел, что она читает. На столе Карл Густав Юнг (! — неплохое чтение для молодой женщины), а в руках — не видно что. Психологичка, наверное. Я говорю: бросьте, Николай (его так звали), вот смысл и вот проценты. — И показываю на мулаточку. — А «Либеральная Россия», «Черная книга» — это как-то грустно. Издавайте хоть голубую, все равно люди за «медведей» проголосуют. Правильно говорю, девушка?

Она улыбнулась: извините, я не слышала, что вы сейчас сказали.

Что ж, политкорректность прежде всего. Ей зачем ввязываться? Пока она повзрослеет, тут будет все ok. (Надо надеяться.) Тогда я говорю: и не надо. Ерунду обсуждаем...

Вот, — сказал этот Коля, — сразу видно, что вы только двести лет вместе. Что значит «не надо»?! Вы женаты? Я киваю. Он говорит: и я женат. Его друг за столом смеется: дважды. У него две жены. Как у мусульман. Я говорю: а... Мы это уже проходили, спасибо. У меня на одну-то душевных сил еле хватает. Его друг говорит: а вы чередуйте. День у одной, перерыв... День у другой, перерыв. С перерывами будет ничего. До этого почему-то мало кто догадывается.

— Нет-нет, — говорю, — все равно не надо. Чувство вины замучает. Не принята полигамия у нас, что поделаешь.

А сам смотрю на эту смугляночку, как она отнесется к моим словам. Женщины, хоть в семнадцать, хоть в тридцать семь, такие тексты обычно очень хорошо воспринимают. Думают: правильный мужчина... И она,

естественно, заулыбалась мне. Так, с интересом заулыбалась: я же «правильный»... А мне, хоть я и чистую правду сказал, про душевные силы-то, мне это приятно. Чисто теоретически. Коля говорит: то есть вы в Россию не верите, жене не изменяете, от либеральных идей отвернулись... Эх вы. А еще «вместе». Я говорю: ну, двести лет — не срок. И както неожиданно зло это сказал, причем для себя больше всех неожиданно. Выпил, что ли. Даже неловко стало. Этот Коля посмотрел так, внимательно, но ничего не сказал. — Понятно, говорит. Я говорю: да ладно, не слушайте. Что-то я, наверное, устал. Вместе — не вместе, двести — не двести. Важно не количество. В каком «месте», еще надо разобраться. (Вот опять, зачем?) Его друзья захохотали, и смугляночка тоже засмеялась. А он опять головой покачал. — Да... — говорит. Потом улыбнулся смугляночке: девушка, подсаживайтесь к нам, что через стол разговаривать, не стесняйтесь. И я вижу, что если сейчас чуть понастойчивее попросить, — она подсядет, сто процентов. Но он почему-то нажимать не стал, поколебался немного — и не стал. Видимо, какие-то дела еще были. А может, про двух жен вспомнил. Ну а мне что, мне домой уже было пора.

Я говорю: ладно, пойду. Пожали друг другу руки: было приятно познакомиться. Он говорит: постойте. А тут ваших книг нет случайно? Книг нет, говорю, а журналы есть. Вон стоит. Он говорит: о, какой номер? Я сказал. Он подошел к полкам, взял журнал, полистал. Говорит: это забавно? (Так и сказал, наш человек.) Я говорю: в общем, да. Народ смеется. Он попросил подписать, что я, должен вам сказать, и сделал не без удовольствия. Еще и посмотрел, смотрит ли смугляночка. Она глаза опустила, но я понял, что видела.

Обменялись с этим Колей телефонами, хотя, конечно, никто никому потом не позвонил. Он свой еще на карточке казино какого-то написал. Говорит: так не забудете, а визитка пропадет. Я говорю: вы что, играете? Он говорит: бывает. — Выигрываете? — Случается. — Ну-ну, думаю. — Неплохой букет. Две жены, игрок, вместе — не вместе, либеральная Россия. Потому народ их и не любит — за релятивизм.

И, уходя, даже не знаю, зачем (наверное, требовалась финальная реплика), я спросил у девушки, что она читает. Просто, чтобы что-то ей сказать вместо «до свидания». Она говорит: зачем вам? — Интересно, говорю. Она тогда приподняла книгу, и знаете, что там было написано? Большими буквами: «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ». Нет, честное слово. Коля с друзьями загалдели: что за книга, кто автор? А я немного прих.ел, признаться. Шуточки.

Хотя что такого? Таких книг миллион каждый год выходит. Но то ли я тогда был уже пьян, то ли в общем контексте нашей беседы все так выстроилось — на меня конкретно это «в чем смысл жизни» произвело впечатление.

И, кстати, не на меня одного. Когда днем позже по телефону я рассказывал одному знакомому про этот случай, он тоже вроде впечатлился. (Или сделал вид, у него не поймешь.) Я, ободренный его вниманием, говорю: ну, я оглянулся, крылышек за спиной у нее вроде не было.

А он говорит, подумав: а хвоста? Я засмеялся: да ну тебя. А потом подумал (шутливо, разумеется): а вообще... смугленькая, кудряшки...

Надо было незаметно заглянуть под стол, для порядку. Жаль, что не догадался.

Солдаты саванны, или Как плакали многие либералы на концерте Макаревича на Красной площади

(*Qui pro quo*)

Австрийская писательница Эльфрида Елинек в 2004 году получила Нобелевскую премию. И по ее книге еще сделали фильм — довольно известный, кстати. Называется «Пианистка». Фильм — говно, хоть и взял приз в Каннах, но я прочел книгу и был впечатлен: хорошо написано, сильно, у нас дамы так не пишут, пожалуй. В конце главная героиня, зрелая женщина, влюбившаяся в молоденького парня, растерянно наблюдает издали, как он весело общается со своими сверстниками и сверстницами, думает что-то такое о жестокости жизни и от бессилия, несильно ткнув себя ножиком в руку (страсти-мордасти), медленно идет по весенним улицам родного среднеевропейского города. Короче, барон фон Захер-Мазох велел передавать всем привет.

(Сюжет я излагаю приблизительно, чтобы не уклоняться от темы в детали.)

А у меня тут в запасе давно была сцена, которую я как-то видел по ТВ, сейчас это любят показывать: как в Африке львы охотятся на антилоп. Речь шла про гну — их, из-за большого поголовья, зоологи часто называют «солдатами саванны». И в этой передаче сначала все было как положено: стадо сначала мирно пасется, львы крадутся в высокой траве, потом (когда уже поздно) антилопы настораживаются, потом бегут, львицы выбирают жертву, вот погнались за ней, догнали, повалили, et cetera — все подробно, как сейчас это любят.

Но вот что меня неприятно удивило именно в этой передаче. Я вдруг обратил внимание на поведение остальных гну. Как только львы кого-то ловят, все стадо немедленно останавливается неподалеку и, с некоторой даже странной печалью, издали молча наблюдает за происходящим. (Нет, не волнуйтесь, тут некрасовских мотивов не будет. Я вообще идейно тяготею скорее к А.К. Толстому — не государственник, но, как говорится, географический детерминист.) Так вот, антилопы. Но ведь у них рога — и еще какие! И копыта! И сами они не маленькие! Да если б они все вместе кинулись — какой вместе, хотя бы вчетвером! От этих львиц мокрое место бы осталось! Но не кинулись, хотя я отчетливо видел, что гну было как-то не по себе. Они стояли и смотрели.

Итого. А что «итого»? Травка зеленеет, солнышко блестит. У них инстинкт — тра-во-яд-ные. И стадом они только бегают, а не сражаются. Таково положение вещей.

А пару, что ли, лет назад была еще сценка по телевизору, весной. Что-то 40, что ли, лет ансамблю «Машина времени», и по этому поводу кон-

церт на Красной площади. Я так понимаю — *жест*. Мол, *нате*. Сэр Пол Маккартни год назад приезжал и давал концерт, и даже Путин с Лужковым сидели в первых рядах и подпевали, динамично покачиваясь. «Yesterday, all my trouble seems so far away, now it looks it's over him to stay...». О key. Ну и решили видно, пусть у нас тоже будет свой Сэр Пол. Мы с женой не пошли, так как не имели лишних $150 на билеты, но по ТВ наблюдали, и это было забавно.

Никакого Путина-Лужкова-с-женами уже, естественно, не было, времена постепенно меняются, но кое-какие знакомые личности сидели, а также стояли. Например, Борис Немцов, известный лидер демократических сил. Первый министр иностранных дел Российской Федерации, временно канувший в лету Андрей Козырев с какой-то красивой и очень рослой молодой женщиной, про которую я позднее узнал, что это его жена. (А ранее, сообщил мне мой источник, в демократические годы, она была его секретаршей.) Козырев с женой даже танцевали, а Борис Немцов стоял один, бедный и бледный, как принц Гамлет, а в рядах партера, по которым бегло прошлась камера, среди прочих мне даже показался Михаил Ходорковский, известный узник! Хотя по идее он должен был в это время сидеть в тюрьме, так что, скорее всего, мне привиделось. Но очки вроде были его!.. Знаете, мало ли что... Этаким графом Монте-Кристо. У нас все возможно. И еще были какие-то известные люди из телевизора, имен которых я не помню.

И было всё — сначала подавленность, потом печальность, потом все постепенно раскочегарились, и даже небо над Москвой в конце концерта распогодилось, такую положительную энергию все накопили. А может, это тайно сочувствующий демократам Лужков распылил с самолета какую-то специальную отраву против туч.

Но вот что интересно, я обратил внимание, что при исполнении некоторых старых песен, «Битвы с дураками» например, некоторые известные личности даже плакали или туманно смотрели куда-то вдаль. Помните ли вы слова? «Сегодня самый лучший день/ взовьются флаги над полками! Сегодня самый лучший день/ Сегодня битва с дураками!..» — пел Макаревич. И все, готово: плакал Козырев, каменел лицом Немцов и даже какие-то важные яблочники, гордо подняв головы, смотрели вдаль, за кремлевские стены и Москву-реку, куда-то в тихое Замоскворечье.

Козлы! — неожиданно зло подумал я. Что же теперь слезы-то лить!..

Но, с другой стороны, давайте поразмышляем, что им (нам) теперь делать? «Бороться»? «Когда последний враг упал, / труба победы проиграла. /Я поднял меч и осознал, / насколько нас осталось мало». Труба проиграла, заметьте.

Хорошо. «Бороться». Но они боятся, на что-то еще надеются, у них нет душевных сил и прочее. (По-человечески все это так понятно.) А мы? А Россия? Снесут, как гостиницу! Но с другой стороны — «а что?». Что можно сделать-то? Помните: какие планы у Господа, никому не известно. Может быть, я давно уже об этом думаю, надо теперь действо-

вать как принц Сиддхартха? Сесть на берегу реки и предоставить ей течь. Уж мы-то теперь точно знаем, что все пройдет, все тихо уплывет, все их мундиры, черные «гелендсвагены» с мигалками, гипотетические танки на Тверской и вся х..ня, что они несут по телевизору. Последние двадцать лет нас этому научили. Если их не научили, то это их проблемы. Просуществует ли СССР до 1984 года? В 1984 году этот вопрос звучал бредом.

Скрестить ноги в позе лотоса — и сидеть неподвижно.

p.s. 1 (memory)

Усилим. В 1986 году, зимой, я стоял у окна института, в котором учился, и наблюдал визит «кандидата-в-члены-Политбюро-товарища-Долгих» (remember?) на первую в СССР итальянскую газозаправку «Belluchi» с динозавриком на эмблеме, которая находилась неподалеку от нашего института.

Помню солнечный зимний день, блестящий под солнцем снег и черные «членовозы», как спички, рассыпанные на снегу. Тогда это казалось незыблемым. И государства жесткая порфира. Где теперь «кандидат-в-члены-Политбюро» и его «членовозы»? Где их бетонное «государство» и это все? Прошлогодний снег, — как сказал Вийон.

p.s. 2 (сноска)

Разбавим. Сочинял эту «memory», тихо сидя на лавочке на Гоголевском бульваре. Была осень, под ногами шуршали и сильно пахли ярко-желтые кленовые листья. Как Река Жизни у Сиддхартхи, сиди и смотри на нее, эти осенние листья всегда поразительно красивы и переполнены каким-то тихим смыслом.

Что еще раз доказывает верность моего тезиса. «Товарищ» Долгих оказался долгим, но не вечным. А вот листья, которые лежали на Гоголевском бульваре в осень перед его визитом, — вот они вечны, простите за банальность.

Кстати, газозаправка (проезжал там совсем недавно) до сих пор стоит. И народ заправляется. Так что стройте газозаправки, господа! (Если больше ничего не можете.) Стройте. Для благодарного потомства.

p.s. 3 (сноска)

Но на тех, кто плакал на концерте, я все равно злюсь.

Все можно переписать

Глядя на этого субъекта со стороны, можно задать ему ряд вопросов.

Например. Вот, в конце ноября 2004 года, он входит в кафе где-то на Кузнецком и усаживается у окна. Кофе, пятьдесят грамм недорогого коньяка, на столе появляются ручка и бумажка, взгляд устремляется за окно — сочиняются какие-то слова.

Как он выглядит в этот момент (одиноко, кокетливо-одиноко, смешно, оптимистично или вообще никак — его просто никто не замечает)? Ведь это важно для художника — иметь перед собой зеркало других. Кому на хер нужны его слова? — как говорится, хорошо бы это знать.

Через час он идет по бывшей улице Пушкина вверх, к площади и Страстному бульвару. Поздно, никого, горят фонари, молча стоят дома по обеим сторонам Дмитровки, от официальных зданий веет страхом и тяжестью. Отодвинем камеру, возьмем дальний план: одинокая фигура, но медленный, прогулочный шаг — поздний прохожий, явно свободной профессии (иначе он бы не шел так поздно прогулочным шагом), он движется в печальном одиночестве... Или все, в общем, неплохо? Дайте подумать. Да нет, смотреть на него как-то не грустно, этого нет. Вот он остановился у больших витрин магазина одежды и рассматривает пуловеры: темно-вишневый или зеленый хаки, крупная вязка, красивый узор, это его стиль, ему бы пошло, зайти в этом свитере в модное кафе, в редакцию иностранного журнала...

Потом ночной киоск «Союзпечати», газета, обмен двумя словами с женщиной-продавцом, кажется, он спрашивает какой-то журнал, журнала нет, он идет дальше.

Стоят теплые ночи, аномально теплые для этого времени года: декабрь на носу, а плюс, глобальное потепление — можно немного пройтись по городу. Наш герой идет к бульварам, чтобы оттуда поймать такси. У модного клуба народ, дорогие машины, красивые женщины, огни отражаются на черном асфальте. Можно подумать, что дело происходит не в Москве, а в Париже (где же еще?) или в Гонконге. Москву сейчас любят сравнивать с этим городом, остается только ввести британский корпус на пятьдесят лет и поднять «Юнион Джек». А потом стать «локомотивом экономики».

Можно пустить где-то по краю приглушенную китайскую музыку, будет красиво. Однако же наш вопрос остался без ответа: его ощущение одиночества — это состояние, или кокетство, или просто советская привычка, приставшая маска?

Если считать, что идущий человек «художник», то возникает одна неожиданная мысль. *Все можно переделать, переписать.* С любого места, хотите — сначала. Ведь жизнь любого «художника» отчасти сводится к чему-то выдуманному. В нашем случае — к тексту. А текст должен находиться во всемирном компьютере или на бумаге. А бумага — в сундуке. А сундук — на дне моря, или его несет большая птица... И автор может делать с этим текстом — что захочет, да? Тогда нет никаких проблем. Нажмите кнопку back-space. Белый лист, несмятая постель. И начинайте сначала, с любого места.

Эта мысль приходит мне однажды вечером, где-то в районе Площади Восстания. (Слышна музыка Марсельезы.)

Итак, время действия — вечер, поздняя осень 2004 года, огни машин и реклам, но общее ощущение как-то не очень — в общем, кисловато — путинская Москва, за кованой решеткой садика, около которого я сейчас стою, еще лет пять назад рос огромный тополь, под которым я однажды долго и страстно целовался с одной девочкой, потом неожиданно вышедшей замуж за мужчину много старше себя. Я переживал — почему?

Знакомый психолог сказал: она просто искала отца. И действительно, года через два она вернулась (кто-то плохо сыграл свою роль), и с ней действительно многое можно было переписать, но уже не было желания.

Тополя почему-то уже нет (какие-то идиоты вырубают в Москве высокие деревья), но из-за решетки, редкость для Москвы — доносится чудесный запах прелых листьев от его соседей поменьше... Чуть вперед по той же улице — и будет знаменитый букинистический магазин, где когда-то, еще в советские годы, продавали иностранные книги. Не могу удержаться: мой приятель в 1982 году, как раз перед преддипломной практикой, купил там *прижизненного (!)* Гольдони, чуть потрепанный серый томик с венецианским львом, не падайте... *1757 года издания,* за шесть советских рублей. Честное слово! Это правда, и я сам, чтобы не отставать от приятеля, пару лет спустя купил красную книжку «Poems» Теннисона. Правда, цены в преддверии капитализма уже поползли вверх и издание было не прижизненным, а как раз накануне очередного «нового времени» — 1912 год... «Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь, в толпе народа на мосту, смотрел на три высоких башни, и в поэму облек одну из городских легенд...» Городские легенды. Мифы, легенды, истории, сплетни — правила поведения. Спустя всего семнадцать лет он (и я) стоим на том же месте, у ограды, смотрим на три высоких башни, и пришедшая вслед за романтическим воспоминанием мысль просто поражает. Времени — нет? *Все можно переписать?!* А... память?

«Я помню». Глагол несовершенного вида. Несовершенного или не совершённого. (Или незавершенного?) Он помнит, она помнит, мы помним, вот только они — не помнят ничего.

Это забавное место. Кроме книжного, слева, чуть позади, особняк Берии, теперь посольство небольшой страны, живущей туризмом, говорят, сюда после войны Синяя борода таскал приглянувшихся школьниц. Синяя борода — но ведь он был не один: кто-то ему помогал, шел следом, хватал, тащил в машину, вез, стоял на шухере — почему никого не судили? Многие тихо дожили до нашего времени в «элитных» домах неподалеку.

Впереди фирма «Мелодия», там, где в советское время делали пластинки — «Битлз», Давид Тухманов, классика, «Бони М»... Полагалось иметь дома целый ящик и периодически крутить все это на японской вертушке фирмы «Pioneer» цвета металлик... Но дальше, дальше, вперед, к Никитским воротам — освещенная фонарями перспектива улицы: дом Горького, дом красного графа Алексея Толстого, дом Александра Блока... Можно ли что-то забыть? Если погода позволяет, можно посидеть немного в большом сквере, что почти напротив японского особняка Рябушинского, который Сталин подарил Горькому и где Горький потом жил под домашним арестом, как птичка в золотой клетке, поглазеть на мчащиеся за оградой машины, послушать разговоры на соседней скамейке, погладить чью-нибудь собаку. У некоторых из них, смешно, человеческие имена.

Через несколько часов наш герой спускается по новому эскалатору в метро «Площадь Революции». Большие белые шары ламп медленно

движутся навстречу, и в этом есть что-то завораживающее и печальное. На эскалаторе малолюдно, всего несколько человек, а на встречном вообще никого. Лишь небольшая компания молодежи в цветных куртках и шарфах поднимается наверх и громко смеется чему-то. Нужна ли им чья-то память и чьи-то истории? Не знаю. Смотря какие.

На «Площади Революции», переходя на свою ветку, наш герой часто встречает бродячих музыкантов. Они поселились и на его линии. Опять какие-то студенты, консерватории или Гнесинки, так же, как и те, что в начале, играют классику, причем очень неплохо, но почему-то не итальянцев (времена меняются?), а, кажется, немцев — что-то очень романтическое, может, Шумана, или даже Грига... Песню Сольвейг.

Возле них стоит перевернутая шляпа, и пассажиры бросают туда деньги. Некоторые останавливаются. Хорошая музыка. Как всегда, становится грустно и всех жалко. Где ты, Сольвейг?

Однажды, когда я остановился около них, кто-то, проходя мимо, протянул мне десятку. Она? Я оглядываюсь.

Жонглирующие огнем

Нет, сейчас не будет ничего страшного. И это не в «переносном смысле». Ну, почти.

Как-то летним вечером в том году сидели в Камергерском. И пришли артисты, компания молодых ребят — мальчишки, девчонки — подзаработать, обойти публику с кепкой, там это часто. Менты их не трогают, образцово-показательная улица, Европа. Разложились, сели в круг, вытащили барабаны, и вдруг смотрю: у них факелы. А уже темнело.

И дети зажгли эти факелы, барабаны тихонько зазвучали, как африканские тамтамы, и их девушка стала под эту музыку медленно кружиться с горящим факелом в руках. Она была симпатичная, эта девушка, не то чтобы что-то особенное, но такая стильная — совсем молоденькая, почти ребенок, тоненькая, в черном свитере, и в руках — маленький фонарик. Было красиво и немного тревожно. И барабаны передавали: тревога, тревога, тревога... Но никто не проснулся, ха-ха. А потом девочка стала «плеваться огнем». Это опасная штука — она набирала в рот керосин из принесенной бутылки, а потом с силой выдыхала его и в этот момент подносила факел. Получался фонтан огня. Жена сказала, что надо выдыхать с очень большой силой, а то загорится рот. И девушка, по-видимому, делала все правильно, а вот когда к ней подключился парнишка, он пару раз ошибся, и ему пришлось хлопать себя по лицу, и было видно, что чуб и ресницы немного обгорели. Кто-то даже вскочил, но все обошлось.

Красиво было. Лето, сумерки, Камергерский и эти пляшущие огни.

А мне почему-то вспомнилось вот что.

Жена весной ходила встречаться с подругой и вернулась вся ох.евшая. (Ох уж эти друзья детства!) Я говорю: ты чего?

Сели за чай, **налей-ка горячего, не спеши** — и она рассказала.

Она эту девочку знает очень давно — они вместе работали в театре, играли Островского, Брехта, Шолом-Алейхема, обсуждали мужиков, дарили друг другу мелкие подарочки на Новый год и день рождения, перезванивались и т.д. — все девчачьи дела. А эта девочка — она, по словам жены, совсем не дура, и у нее кроме театрального — талант к языкам, что у актрис бывает нечасто, согласитесь. Французский, английский, немецкий. Она чуть даже в какой-то французский университет не прошла. Нужно было только сделать первый взнос, пять тысяч баксов, что ли, но в 1999 году для обыкновенного человека это были большие деньги. Не попала. И еще у этой девочки были все время какие-то нелады с мужиками — росла без отца, отсюда нервное отношение к мужчинам.

То у нее был какой-то сумасшедший роман с одним женатым актером из их театра, и актер было даже со страшным скандалом переехал к ней, но потом опять вернулся к прежней жене; видно, роман одно, а жить с двадцатилетней девочкой — совсем другое. Потом в каком-то клубе она подцепила богатого бизнесмена-немца, который сразу повез ее в Германию, даже познакомил с мамой, и его мама подарила ей страшную (она показывала) куклу Гретхен, после чего последовало официальное предложение, но дальше дело почему-то не пошло и бизнесмен, поморочив ей пару лет голову, испарился. Потом еще кто-то был, я уже не помню.

Как мало нужно, чтобы женщина разозлилась. Причем молодая женщина! Два неудачных (хотя что значит «неудачных»?) романа — и все. После немца девочка бросила свой театр и сначала работала на ТВ, потом в каком-то ночном клубе, а после клуба ушла в региональное представительство «BMW». Вроде бы немец по старой памяти устроил. И там тоже было одно — два мимолетных увлечения, а потом, к 2000 году, возник майор «спецслужбы». Какой именно «службы», жена не поняла. «Спец». Как сказала знакомая, покупал у них машину «для друга». Друг, по-видимому, неплохо зарабатывает. А говорят еще, что нашим спецслужбам плохо платят. Или «друг» не там работает?

И их встреча началась с того, что подруга по секрету вынула из сумочки и показала моей жене крошечный значок— *их, фирменный,* подарок майора. Земной шар и меч. А у меня жена вообще к таким делам как-то не ахти относится. И папа у нее физик, в МГУ работал. Старый диссидент, как все физики. Не увлекает ее эта романтика, рыцари плаща и кинжала. (А я забыл сказать, встреча подруг происходила зимой 2003 года, как раз после событий с «Норд-Остом» — когда чеченцы концертный зал-то захватили, помните? После этого месяц прошел, чуть больше.)

И что-то жена сказала, что, мол, где же они, бля, были, все эти крутые монахи в капюшонах — такой ужас проспали! А подруга сначала — то да сё, мол, как они могут предотвратить, даже американцы тоже... и что-то в этом роде, а потом вдруг — я уже не помню, сказала жена, как к этому подошли, высказалась в том смысле, что *это было надо.*

Я, говорит жена, сильно ох.ела сначала, так как не поняла: как это, кому... *надо?* Потом разозлилась, аж руки задрожали — и, главное, непонятно, что с ней делать: это же старая подруга все же, по морде-то с

ходу не дашь, — и говорю: как это «надо»? А люди?! А та говорит, что, мол, из-за каких-то баранов большую политику не меняют. Это не точная цитата, но за слово «бараны» жена ручалась, я специально переспросил. — Тут, говорит жена, так стыдно, я заревела. Сижу в кафе, вокруг свет, какие-то столики, народ веселый, а у меня слезы текут. Люди стали оглядываться. И, главное, хочется ей по физиономии заехать, а почему-то не поднимается рука — ложная интеллигентность мешает, что ли. Люди стали оглядываться, и эта О. испугалась: — Ты что, говорит, — даже вроде ей как-то стыдно стало, — не бери в голову, мы же с тобой сто лет знакомы, что из-за какой-то ерунды так реагировать и ссориться, это же политика. — Какая политика? — говорит жена. — Да ладно, не бери в голову. Ну ты даешь.

И они потом вроде как-то еще поговорили про театр, про старых знакомых, про этого актера, который от нее к жене вернулся, и моя жена потом спросила: слушай, а зачем же они, эти твои монахи в капюшонах, *зачем* они так делают?! И был потрясающий ответ: они нормальные люди, но им тоже жить надо. — Как... «жить»? А та не поняла, или поняла и не может уже сдержаться, и говорит: ну, всего же хочется, понимаешь? *Всего.* Мой друг прошел Афганистан, до сих пор по ночам кричит и закуривает в кулаке, чтобы огонек издали было не видно, а поимел хер с маслом за свои подвиги. Почему какие-то жирные коты на «мерсах» раскатывают?! А он? Ему тоже нужен «мерс»!.. — Но при чем же тут террористы и заложники? — А при том.

Как потом сказал один общий знакомый, которому мы в возмущении рассказали этот случай, — выдала служебную информацию. А может быть, добавлю от себя, набрехала с три короба. Надо же ей как-то себя развлекать. А сейчас вся шпионская романтика в моде. Через день по ТВ показывают.

Возможная философия

Еще по пятьдесят? На посошок. Тут опять же по телевизору недавно — забавный испанский фильм «Нет вестей от Бога». Суть в том, что Бог (от лица Которого выступают Фанни Ардан и Виктория Абриль) и темные силы (от них — Пенелопа Крус) ведут борьбу за душу некоего второразрядного боксера (актер-исполнитель мне неизвестен). Много чего намешано, часто весьма забавно и, кстати, поднимается вопрос «зачем?». (Зачем ведут борьбу — то есть). И Фанни, занимающая, по-видимому, в Светлой иерархии более высокую ступень, чем Абриль, напоминает ей притчу, рассказанную Паскалем о том, что если бы ноздри Клеопатры были шире (или у́же? — я забыл), возможно, мировая история была бы другой.

И якобы от этого полуопустившегося боксера зависят более серьезные события в мире. По цепочке причин и следствий. Мне, a propos, кажется, что данный пример неудачен и либо сценарист, либо редактор у режиссера Августина Диаса плохо знали материал. Ведь в притче Пас-

каля речь все же идет о Клеопатре, то есть персоне vip. Я бы предложил другой персонаж, точнее — из Вильгельма Готфрида Лейбница. Мы же романтики, как и немцы, зачем нам это французское «рацио» и их вечный кухонный эротизм? Не надо, только голову заморочат. Как обычно, сошлюсь на прежние времена.

Году в 1985-м — как обычно, зайдя в книжный на Новом Арбате, я купил первый том философских сочинений упомянутого Лейбница. Жалею, кстати, что не купил остального, но тогда я только что закончил технический вуз, работал в так называемом НИИ, и к математике меня как-то не очень тянуло, это сейчас она кажется мне экзотикой (как известно, г-н Лейбниц считается одним из столпов современной математики). Первый же том я купил потому, что, перелистывая книгу у прилавка, наткнулся на небольшую, в пару страниц, работу, где остроумно утверждалось, что муха, жужжащая около уха монарха, может значить для мировой политики больше, чем советы гофмаршала.

Господин Лейбниц знал, о чем говорил, проведя долгие и плодотворные годы на службе у одного из немецких князей в Ганновере. Наверное, ему хорошо работалось в Ганновере. Небольшая страна, тихий приморский город, королевская, то есть герцогская, библиотека, черепичные крыши. Интересно, были ли тогда уличные кафе? Парки точно были. Впрочем, несколько лет он провел в Майнце, южная Германия. Тоже неплохо.

Я это к чему. Может быть, наши (и мои) мысли и чувства тоже что-то значат? Хотя бы немного, сегодня, сейчас. Или это только Будда плакал о тех червячках, что выворачивает из земли борона при вспашке? Ну-ну, не надо самоуничижения. Надо будет лучше посмотреть, где именно и когда написана цитируемая мной работа.

А еще было смешно, как Крус и Абриль, две классные тетки, грабили магазин. В благих целях, разумеется, в борьбе за заблудшие души. Размахивая револьверами, в масках, с выстрелами, кровью, матюгами, со всеми делами. И, в зависимости от обстоятельств, становились то человеками, то ангелами. Такие случаи описывались. То у них текла кровь, то они смотрели на покупателей, обливаясь слезами.

Душа боксера была спасена. Забавный фильм.

И неплохая водка, кстати.

¡Hola!

УЖИН С НАТУРЩИЦЕЙ

* * *

Облака под землей — это корни кустов и деревьев:
кучевые — акация, перистые — алыча,
грозовые — терновник, в котором Григорий Отрепьев,
и от слез у него путеводная меркнет свеча.

Облака под землей — это к ним возвращаются люди,
возвращается дождь, и пустынны глазницы его.
Спят медведки в берлогах своих,
спят личинки в разбитой посуде,
засыпает Господь, больше нет у меня ничего...

Пусть сермяжная смерть отгрызает свою пуповину,
пахнет па́лсной водкой рассохшийся палеолит.
Мой ночной мотылек пролетает сквозь синюю глину,
сквозь горящую нефть и нетронутый, дальше летит!

Не глазей на меня, перламутровый череп сатира,
не зови за собой искупаться в парной чернозем.
Облака под землей — это горькие корни аира...
...и гуляют кроты под слепым и холодным дождем.

Мы свободны во всем, потому что во всем виноваты,
мы — не хлеб для червей, не вино для речного песка.
И для нас рок-н-ролл — это солнечный отблеск лопаты
и волшебное пенье подвыпившего рыбака.

Ужин с натурщицей

Лая белая собачка, пива темный человек.
Вот вам кружка, вот вам пачка с папиросами «Казбек».
А теперь, садитесь рядом, вот вам слово — буду гадом,
обещаю, только взглядом...
Душный вечер, звон в ушах,
Всюду — признак божьей кары. Например, в карандашах.

Александр КАБАНОВ — родился в 1968 г. в Херсоне. По образованию журналист. Автор пяти поэтических сборников и многочисленных публикаций в альманахах, газетной и журнальной периодике. За книгу «Айловьюга» (СПб., 2003) награжден международной премией им. Великого Князя Юрия Долгорукого. Живет в Киеве.

К нам бросается набросок — андалузская мазня:
...сонный скрип сосновых досок, мельтешение огня,
балаганчик, стол заляпан чем-то красным... — Вот и я!
Будет вытащен из шляпы женский кролик бытия!

Без сомнений прикажите Вам зарезать петуха:
вудуист и долгожитель, он — исчадие греха.
Чесноком и красным перцем пусть бока ему натрут,
золотого иноверца — в винный соус окунут!

Ведь внутри себя ужалясь, как пчела наоборот,
Смерть испытывает жалость, только — взяток не берет.
В красках СПИД не обнаружен, будет скомканной постель.
А покуда — только ужин. Уголь, сепия, пастель.

* * *

Мы оставлены кем-то из птичьих
в нерифмованном списке живых,
посреди тополиных страничек,
под ногтями цветов луговых.

Семена, имена, времена ли?
Ни ума, ни души, ни труда...
Лишь люцерна и клевер — в финале,
одуванчики и лебеда.

Лишь молитва отцу-зверобою:
будет ливень с грозою вот-вот...
И тогда промелькнет над тобою
вострой ласточки — белый живот.

* * *

На сетчатках стрекоз чешуилось окно,
ветер чистил вишневые лапы.
Парусиною пахло, и было темно,
Как внутри керосиновой лампы.
Позабыв отсыревшие спички сверчков,
розы ссадин и сладости юга,
дети спали в саду, не разжав кулачков,
но уже обнимая друг друга...
Золотилась терраса орехом перил,
и, мундирчик на плечи набросив,
над покинутым домом архангел парил...
Что вам снилось, Адольф и Иосиф?

* * *

Ливень спешился, шахматы сохнут:
конь Е-8 бьет пешку С-7.
И стаканчик пластмассовый чокнут,
сумасшедший стаканчик совсем.

Одноразовый, людям в угоду,
завсегдатай дешевых кают,
дождевую, пернатую воду —
не целуют, не плачут, не пьют.

В ней — осадок небесной работы,
керосин, отгудевший свое.
И набиты ее самолеты
мертвецами до самых краев.

И в прихожей тебя раздевая,
бормочу от любви и стыда:
— Пощади же меня, дождевая,
ядовитая, злая вода.

* * *

Мы все — одни. И нам еще не скоро
усталый снег полозьями елозить.
Колокола Успенского собора
облизывают губы на морозе.
Тишайший день, а нам еще не светит
впрягать собак и мчаться до оврага.
Вселенские, детдомовские дети,
Мы — все одни. Мы все — одна ватага.
О санки, нежно смазанные жиром
домашних птиц, украденных в Сочельник!
Позволь прижаться льготным пассажиром
к твоей спине, сопливый соплеменник!
Овраг — мне друг, но истина — в валюте
свалявшейся, насиженной метели.
Мы одиноки потому, что в люди
другие звери выйти не успели.
Колокола, небесные подранки,
лакают облака. Еще не скоро —
на плечи брать зареванные санки
и приходить к Успенскому собору.

* * *

(призывное)

костры, костры, костры, костры:
стр. — страница и стрекоза — стр.
Первая — сгорела, а вторая — летит,
разгулялся у нее аппетит.

Вот и я любил — никуда не спешил,
а мне добрый дядя одежду шил,
чтобы я за страну сражался.
Я совсем не поц, не певец-паяц,
первый лист — кленовый — упал на плац,
а за ним второй — упал и...
отжался.

* * *

Я сам себя забыл о жизни расспросить,
так забывают свет в прихожей погасить
и двери перед сном закрыть на шпингалет.
Я принял эту жизнь. Надежней яда нет.
Зима — все на мази, все схвачено, браток:
на каждое мгновенье придуман свой шесток,
бензин подорожал, провинция в грязи.
Шофер моей души, прошу, притормози!
Застынь, застопорись и выпей натощак
двойной одеколон студенческих общаг.
Отчизны не видать — сплошные закрома.
Шофер моей души, не дай сойти с ума,
услышав костный хруст промерзших деревень.
И в лучшие стихи — мои слова одень.
Как в ярые меха с боярского плеча,
одень, мои стихи — в рычанье тягача:
пусть лязгает полями и согревает вас
печальное чудовище моих бессонных глаз.
Все схвачено, браток. Врагов понамело.
Чу! Кто-то постучался в лобастое стекло:
вот так, вечерним летом, стучится мотылек,
как будто женский пальчик в простреленный висок!
Остановись, мгновенье, в краю родных осин!
Шофер моей души, финита ля бензин!
Какой сегодня век? — Четверг, браток, четверг.
А обещали — жизнь. А говорили: «Снег»...

Мосты

1.

Лишенный глухоты и слепоты,
я шепотом выращивал мосты —
меж двух отчизн, которым я не нужен.
Поэзия — ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнет литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен.
Я изучаю смысл родимых сфер:
пусть зрение мое — в один Гомер,
пускай мой слух — всего в один Бетховен.

2.

Слюною ласточки и чирканьем стрижа
над головой содержится душа
и следует за мною неотступно.
И сон тягуч, колхиден. И на зло —
мне простыня — галерное весло:
тяну к себе, осваиваю тупо.
С чужих хлебов и Родина — преступна;
над нею пешеходные мосты
врастают в землю с птичьей высоты!
Душа моя, тебе не хватит духа:
темным-темно, и музыка — взашей,
но, в этом положении вещей
есть ностальгия зрения и слуха!

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Не знаю путей мужчины к женщине...
Екклесиаст

Деревенская любовь. Конечно, ее нет. Любовь не может быть деревенской, городской... Она сама — центр вселенной. Если она есть, конечно. Тот центр, опираясь на который можно перевернуть весь мир, а можно и оставить в покое — какой смысл воевать с тем оставшимся миром, где нет любви, раз она здесь?..

Тем не менее она есть — деревенская старая любовь, делающая меня моложе иных нынешних ветхих школьниц-старушек, живущих в бесконечном сне, который никогда не станет сказкой.

Там, в тишине и упадке, в кажущемся неразрывным и вечным круговороте обыденного труда и простых радостей, среди нескошенных лугов и заброшенных полей, бесконечных поворотов реки, изгибов, отмелей, лениво играющих на солнце, — там любовь и сущности, близкие к ней, — все на виду. Там она выходит наружу, переставая играть в бесконечные прятки, и вновь прячется за грубоватые деревенские шуточки: любви хотите? а любовью по шее?

* * *

После войны было много вдов. Были немногие счастливые семьи — какие-то обособленные, притихшие в своем ровном и спокойном счастье: ***он*** вернулся живым. Но вдов было больше.

Были мужики разные. Искали себе пару. Редко кто бегал, как сейчас. Эти непутевые герои пропадали быстро — или в драках, или по лагерям. А некоторые, странные, верные-неверные, тянули на себе две семьи. Старую и новую. Старую обычную, первую, сотворенную по молодости, и вдобавок новую, прилипшую к душе, которую жалко стряхнуть вместе со всеми сидящими в новом гнезде и молящими неизвестно о чем.

Таких было очень мало, и они были упертые, смотрящие хмуро в землю. После работы шагали сначала в один дом и там совершали всю мужскую работу, потом — в другой. Они, жилистые, тянувшие сквозь

Юрий ЕКИШЕВ — родился в 1964 г. в Сыктывкаре (Коми АССР). Окончил механико-математический факультет Сыктывкарского государственного университета. До 1989 г. работал по специальности, затем занялся религиозно-просветительской деятельностью. Как прозаик дебютировал в 1995 г. в «Континенте». Постоянный автор нашего журнала. Живет в Сыктывкаре.

ломоту зубов два дома, будто старались доказать, все делая вдвойне — заготовку дров, сена, уборку картошки, — что любовь может всё. Что она просто есть. Им никто был не указ, каждая минута жизни была особенная, не могла пропасть просто так — она должна была быть отдана или одному дому, или другому, предана чему-то осмысленному только ими, этими бешено-злыми, бешено-сильными, вытягивающими из пропасти что-то огромное, полулюдьми-полубыками.

Я смотрела на них с бóльшим, чем на пленных, страхом — на этих двужильных. Совершенно непонятно было — зачем им это все? Откуда они брали эти нечеловеческие силы? Может, раз в год такой мужик все же оставался один, уходил в глухие уголки тайги и выл там по-волчьи от тоски? И так получал еще чуть-чуть сил? Или молился?

И зачем это безумие — любить кого-то еще, кроме законной жены? И так открыто, вызывающе, будто назло всем.

Более того, мой отец оказался не таким. Он пришел с войны, но не к маме. И мы остались одни.

Однажды к маме пришел человек. И она хотела меня познакомить с ним. Я ничего не понимала — и все сразу поняла, когда влетела в горницу. У меня был свой уголок, где жили куклы. Я отделила его легкой занавеской от всей комнаты, чтобы играть будто в своем мире. А он взял и снял ее и так легко намотал на руку.

Я подошла, протянула руку за тканью, а он не отдал. Хотел погладить, но я дернулась и убежала. А потом, когда он ушел, опять повесила занавеску, хотя мама попросила не вешать.

В следующий раз были какие-то посиделки. Он, увидев занавеску, попытался что-то сказать маме и одновременно протянул руку, чтобы обнять ее, а она не отодвинулась. Тогда я взяла и укусила эту протянутую к моей маме руку. Как можно больнее.

...Я видела его потом, через несколько десятков лет. Он так и не женился, он любил мою бестолковую мамку, которая неловко пыталась свить гнездо для дикого кукушонка, для меня. Через десятки лет я вновь случайно встретила его глаза, и он меня узнал. И просто долго смотрел. И я не отводила глаз.

В этом долгом взгляде я увидела что-то беспомощное, жалкое, даже противное в своей жалости — жизнь, прожитую в любви и в полном отсутствии любви. Жизнь, отданную за любовь. Может, в первый раз увидела, как беззащитны любящие. А ведь они все беззащитны: они снимают всю оборону, все препятствия и говорят в себе совершеннейшее безумие — что они кого-то любят. И вот здесь-то начинается проверка — есть ли край, есть ли муть, взвивающаяся со дна, когда камень, пущенный в эту бездну, все-таки наткнется на дно и все окажется самой обычной историей?

У этих глаз дна не было.

Жизнь проверила этого человека, и мне стыдно до сих пор, что я послужила дурацким орудием этой никому не нужной проверки. Что за бред — отдать жизнь за мечту, которая никогда не осуществится?! Это-

го ли достоин мужчина? Всадник без головы, промаявшийся всю жизнь, так же нелеп, как и стосильный кентавр.

Я легко забыла эти добрые, бездонные, будто вымаливающие уже никогда не осуществимую встречу — мамка-то моя золотанская намаялась в одиночку и отлеталась довольно быстро... И никого больше у нее не было, кроме единственного внука, моего сына.

Но иногда я вижу проблески этого безумного огня в чьем-нибудь взгляде. И знаю, что дна нет. Пропасть бездонна. Река, уносящая нас, — бесконечна. Вечность, ждущая нас, — неизмерима. Смерть, уносящая в своих ласковых объятиях всю любовь, заблуждается, упоенная временной победой. Смерть огромна, но любовь бесконечна.

* * *

Желание побыть с любимым человеком казалось мне смешным. Столько времени убивать бессмысленно! Ходят молча, парочками, как идиоты, как нелепые птицы из Красной книги, пялятся друг на друга, не замечая никого, делают бестолковые замедленные движения, будто невиданные американские ленивцы или полусонные австралийские коала, про которых рассказывала учительница биологии.

У нас в нищей послевоенной школе не было ничего, даже приличной доски, а уж тем более каких-то там таблиц и учебных пособий. И биологичка просто выпучивала глаза и изображала, как коала лезет по стволу эвкалипта, медленно поворачивает голову и ищет взор такого же глазастика. Показывала, как крохотный идиотик-коаленыш впился в шкуру и путешествует по миру, вцепившись когтями в бестолковую медлительную мамку. Она где-то это читала в институте или, может, даже смотрела в документальном фильме. А я видела в ее движениях прятавшихся по сеновалам и рощам старшеклассников. Таких же нелепых.

Все влюбленные — очеловечившиеся ленивцы. Ищущие, где свить гнездо и упасть в бездну в объятиях единственных в мире желанных когтистых лапок.

Я думала, что никогда не буду такой смешной и беззащитной.

На свое первое осознанное свидание я убежала, уже когда окончила школу. Мы познакомились в институте. Я вернулась в деревню после поступления. Прилетела окрыленная: когда я увидела, что меня зачислили, счастье впервые в жизни обрушилось на меня огромным потоком.

И он оказался рядом — там, в городе, его тоже приняли. И мы болтали, болтали долго, проболтали половину счастливейшего дня. Выяснилось, что мы из одних краев, и тогда он пообещал, что будет ждать меня каждый выходной день в новом поселке на полпути между нами, а это километров двадцать.

Я вернулась домой и радостная, и огорченная — я настолько выросла, что у меня не было ничего, что можно было бы назвать одеждой. Как дальше жить, а тем более учиться?

Мамка моя летала где-то в другой деревне. Она была учительницей, и ее пригласили подиректорствовать в отдаленной школе. От нее я видела только редкие письма, за которые бабушка очень ее ругала: девушке нужны не письма, а трусы, теплые рейтузы, колготки, юбка, блузка — все, что необходимо для жизни. Я была сильная, крепкая, ловкая — и почти совсем раздетая. Для деревни это еще годилось — кто смотрит на твои прорехи в платье? А вот для учебы в городе...

Бабуля наскребла, что у нее было, и в выходной день поволокла меня к своей двоюродной племяннице, моей крестной. Они собрали свои пожитки, обмерили меня всю и принялись шить мне одежду.

Пока они шили, я вышла во двор. Не особо задумываясь, шла по улице. Увидев грузовик, вдруг махнула рукой, и он остановился. Я спросила, куда он едет. И шофер, сумрачный крепкий мужик, наверное, тоже кентавр, сказал, что туда, в тот новый поселок между нашими двумя деревнями, где селились сосланные, вот такие бородатые предатели — бендера, зеленые братья, баптисты и еще всякие химики.

Я бодро попросилась к нему, и он кивнул, только буркнул, чтобы я посильней захлопнула дверь кабины.

Уже перед самым поселком он остановился и неожиданно спросил, не боюсь ли я, молоденькая девчонка, вот так ездить.

— А чего бояться? Я ничего не боюсь.

Водитель вновь тронул машину, и мы поехали в поселок.

Он шел навстречу, и я увидела его, еще не доезжая до поселка. Я бешено заорала от радости, и остановила машину, и вывалилась навстречу из кабины как сумасшедшая.

У нас было-то всего пять минут. Через пять минут в обратную сторону шел рейсовый автобус, и надо было обязательно ехать, иначе бы мне был конец.

Но вот эти пять минут, о которых не скажешь ничего, — они-то лежат так глубоко в сердце, что когда кто-то говорит о любви или о том, что ее нет, — они просто всплывают и вновь исчезают.

Мы почти ни о чем не говорили, просто побыли вместе и вновь разбежались. Бабуля с крестной даже ничего не заметили. Они даже не догадались, что, пока они шили мне белье, я побыла где-то далеко-далеко, в другом мире.

Уже потом он бегал ко мне на свиданки по прямой дороге, через лес, семнадцать километров в одну сторону, но это совсем другое. Он мог бы меня так сильно не выхаживать: я уже была вся, до последней клеточки — его, после этих пяти минут.

Помню, через сорок с лишним лет. Я еще работаю, а он уже на пенсии. Я в городе, а он в деревне, ловит рыбу, ходит в лес и, должно быть, счастлив, потому что для него это всегда был почти рай — уединение, река, лес. Невестка приезжает ко мне из деревни, привозит соленую рыбу, ягодки и говорит что-то невнятное: да, он там в лесу, да, на реке, да, что-то там веселится по хозяйству, короче, не спит, бодрствует, все нормаль-

но. А потом вдруг роняет какую-то фразу, что вроде как глаза у него — какие-то грустные, что ли. Вроде как взгляд у него какой-то не такой, молящий, что ли, о чем-то.

Она-то — из нового, из невнимательного человеческого стада, не имеет понятия ни о кентаврах, ни о всадниках без головы, не знает, в чем дело, а я сразу поняла. Кинулась, мгновенно раскидала всю работу, поставила начальника в известность, что никуда я не пропала и что никаких прогулов он мне не напишет... И помчалась туда. Ракетой. К его глазам, к его грустному бесконечному взгляду, которым смотрят, когда ждут любимого, а его все нет и нет.

Что еще есть на свете, кроме его бесконечного ждущего взгляда? Что еще есть, кроме любви, которой никак не насытишься? Что для женщины, которой я стала с ним, сильней, чем его постоянное неугасающее желание и тяга — там, где встретились, ткнуться друг в друга, и быть друг с другом, и, падая в какую-то пещерку во времени, чувствовать, что все останавливается? Да и бог с ним, со всем, что есть, и что ничего нет, в его сильных объятиях — только он, только его руки и все наше украденное время.

И сейчас я уже снова одна. Он уже там — ждет и смотрит все так же. А я тут, посреди его мира, между лесом и рекой, где остановилось время. И дело не в том, что я теперь на пенсии; это тут ни при чем. Я бы могла работать, но не смогла бы избавиться от этого взгляда, приносящего томящее, сладкое страдание. Лучше я буду здесь, в центре его мира, которым он не успел до конца насытиться и оставил все это мне, чтоб, собирая ягоды, я видела, как делал это он; чтоб, выходя к реке, я бы понимала, как он ждал, что вот-вот я появлюсь на высоком берегу — прямо над его головой, и он бы видел меня, и продолжал бы ловить рыбу, склонившись в лодке над удочкой, счастливый, что я опять пришла к нему просто так, потому что меня всегда к нему тянет.

* * *

Многие выхаживали и побольше, чем мой.

Наши соседи, Лидия и Александр, тихие маленькие старички в маленьком домике, куда и входить-то надо осторожно — притолоки низенькие, да и потолки такие, что взрослым мужикам приходится сутулиться. Вот уж кому пришлось походить за своей единственной, так это Александру за Лидией. И жили-то они в малюсенькой деревушке, которую стали постепенно выводить из тайги — вывозили жителей понемножку. Многие этому и не сопротивлялись — что там в тайге, кроме непосильного труда?!

Лидию увезли в большую деревню, и стал Александр каждый день ходить к ней, за двадцать пять километров по лесу. Каждый день. Каждый день. Не было дня, чтоб они не виделись. Кроме тех, когда он служил в армии.

До сих пор так многие стариковские пары — ходят, как цыплята друг за другом. Вместе — в больницу показывать ранки, вместе — в

магазин, вместе — на кладбище. Как дети. Что надо одному, то и другому. Вызнают, что кому хочется поесть — картошечки ли, ягодок, выпить хочется — ну уж на, окаянный, маленькую...

Сидят, вспоминают, как тяжело было, как картошку копали при свете костра, как давали непосильную норму в лесу, как случилось огромное горе — пала лошадь или как злой сосед-коммунист подкрадывался и поджигал по ночам копны, что тайком сгребали и несли своим козам трясущиеся от страха согбенные бабульки... И что все это было лучше, чем сейчас. Тяжело было — а теперь и совсем тяжело.

...А путь до той деревни и обратно, по сравнению со всем остальным, — был легок. Частично шел мимо реки, где в омуте призывно плескалась рыба, но в основном — всё по лесу, по мягким влажным мхам, комариным низинам и ручьям. Всегда один и тот же: к ней — короче и волшебней, обратно — длиннее и тяжелей.

* * *

Другие соседи, Юля с Леней, тоже на месте не сидели. Тоже из разных деревень. У них все и так же, очень похоже, и совсем по-другому.

У этих любовь была яркая.

Юля, она с гордостью. Решила, что выйдет только за летчика. И всё.

И вот на танцах в соседней деревне ей показали Леню — красавца, который учится в летном. Неважно, что не на летчика, а только на техника-заправщика (простудился Леня — и ему не дали добро на то, чтоб летать). Главное, в синей великолепной форме и — незанятый, то есть неженатый.

Юля Леню обработала в два счета. И укатила на месяц — к тетке, погостить. Приехала обратно, как бы невзначай поинтересовалась, не отбил ли кто. И когда узнала, что нет, не отбил, сказала: всё, он мой. И спокойно стала погуливать то с одним, то с другим, уже попиливая Леню, как будто настоящего мужа, стоящего по стойке смирно под каблучком, — за медлительность, за мягкий характер, за то, что до ссылки сюда родился где-то на далеком юге... И родился-то не как все: аккуратно в тот момент, когда немцы заходили в село. Первый же немец-офицер вошел в избу, и ему навстречу кинулась бабка. Он ее вежливо отодвинул и вошел в горницу, где лежала без памяти Ленькина мамка и сам Ленька, красный и мокрый. Офицер посмотрел на все это начало бытия, на фотографии красных командиров за стеклом и вышел. Зато вбежал адъютант и кинул бабке в охапку какую-то коробку. Там оказались связки колбасы и несколько упаковок дорогого шоколада.

Лёнина предательская несуразность с самого рождения и почти полная бытовая никчемность порождали в Юле бешеные противоречивые потоки действий. С одной стороны, если бы всего этого не было — сдвинься мир хоть на миллиметр влево-вправо, они бы друг друга не нашли. Но, с другой стороны, ей-то нужен был красивый, самостоятельный летчик-ас, который бы подчинил ее одним движением крыла и, может,

спокойненько бы бросил, взлетел с ее временного аэродрома. И в то же время нужен был свой надежный, как бык, трудяга.

В результате Юля позволила все же Лене тоже *выходить* себя, молча заставляя его ежедневно бегать из деревни в деревню, и дала как бы отбить у других кавалеров, и даже, покрутив хвостом, соизволила выйти за него замуж, и даже родила ему девчонку, Ольку. Но это было не совсем то выхаживание и не совсем то замужество. Потому что Леня остался Леней.

Разные у этих летчиков были случаи. Вот Лёнин командир эскадрильи. Сейчас-то забыли уже многие, что такое настоящая любовь, крепкая, верная, как настоящая пища, не подделка, не эрзац, не химия. Забыли уже многие, что питаться падалью — бесполезно, и для души, и для тела.

Этот, начальник Лёнин, все убивался по своему командиру, генералу, все рассказывал про него. От этого генерала отцовская любовь шла струйкой, шла через сынков его, через орлов — кто после войны стал эскадрильей командовать, кто аэродромом, а кто спился. Лёнин начальник и был одним из таких генеральских орлов. Только война вот кончилась, и он стал скучать. Неинтересно ему стало все. А потом и вовсе как в штопор свалился: взял да и женился на цыганке — настоящей, из табора, бешено красивой, ни бельмеса не понимавшей по-русски. Стояли они одно время где-то южнее, и рядом с летным полем паслись кони цыганские, вот он и познакомился — поехал табор разгонять, соблюдать безопасность полетов, а нашел жену. И привез сюда, на север.

Командир женился, а эскадрилье пришлось это горе делить на всех — комэск отобрал переоборудованный под летный клуб флигель и стал запирать там свою цыганку на время полетов. Чтоб не украли, чтоб не сбежала в табор или чтоб летчики не подкатили кое с чем и не подпоили. А то она не прочь была и загулять по-цыгански.

Выучил он ее говорить, читать, писать. Обставил квартиру, но уже полеты стали у них странные — все больше тянуло к земле, в спокойное гнездо.

Так и ушли они оба, два друга, командир и Леня, из большой авиации. Присмотрели в соседнем с нами поселке места в сельхозавиации и зажили.

Судьбе бы пьющего Леню с цыганкой без тормозов свести, а непьющего комэска с такой же Юлей, и было бы все по-другому. И пропали бы обе пары. А вот так получается, что почему-то из двоих один спасает другого, и все интересно склеивается, непохожее к непохожему, а потом всю жизнь сближается, непьющий в меру попивать начинает, а гулящий осаживается.

* * *

Леня с Юлей жили в деревне прежней жизнью, только для важности им туда провели телефон: вдруг срочно понадобится специалист по заправке единственного кукурузника — ан где он, Леонид батькович?

Из-за мужа, как все авиаторы, презиравшего землю и не прикасавшегося к огороду, а еще из-за телефона Юля важничала перед соседками. Но с Леней долго не поважничаешь.

Однажды он собрался за грибами с кем-то из соседей. Собрался и пошел. Решил показать свою самостоятельность и мужскую «кчемность».

И пропал.

Приятель с сыном вышли к вечеру, испуганные, из леса, в котором безнадежно застрял такой самостоятельный Леня. Юля сразу дала им втык: как можно было бросить Леню?! Но сосед заявил, что не остался искать и звать только из-за мальчика, а теперь вот привел его домой и готов на ночь глядя бежать обратно.

Юля позвонила комэску, начальнику «кукурузника», занятому войной со своей ненаглядной цыганкой, и приказала искать Леню. Тот заявил, что не вопрос, что очень уважает Леонида Федоровича, который за два года не украл ни литра топлива (за что Юля постоянно пилила мужа), и что уже звонит в город начальнику отряда.

Через полчаса подлетел вертолет с кучей летчиков навеселе. Они выспросили у соседа, каков был курс, стрельнули у бывшего комэска канистру наэкономленного Леней спирта и улетели. Через четверть часа подлетел еще один вертолет, вызванный на всякий случай комэском, с курсантами того самого училища, которое Леня окончил с красным дипломом. Курсанты стрельнули еще одну канистру, все, как один, зажгли папиросы и тоже по-деловому, как охотники, кинулись в ту же темноту, на поиски пропавшего собрата.

Михалыч, комэск на пенсии, штатный семейный вояка, не вынеся Юлиных ежеминутных звонков, притащил к ней домой рацию и уселся с микрофоном на веранде, то и дело талдыча:

— Борт два ноля восемь, борт два ноля восемь, ответь шестому...

— Отвечаю два ноля шестому, борт два ноля восемь... Чо надо, Михалыч?

— Как там?

— Никак.

— Видишь чё?

— Ни хера не видно, темно же.

— Осторожней там, борт два ноля девять, какого ж ты не вишь его?

— Ну не вижу. Низкая облачность. Стой, а какой два ноля девять? Толян, что ли, из училища?

— Не крути ..здой, два ноля восемь! Повернись! Должен его видеть.

— Михалыч, у него горючее есть?

— У кого? У Лени?

— У какого Лени!.. У Толяна!

— У него есть.

— Ноль-ноль шестой, я ноль-ноль восьмой, снижаемся над кордоном. Может, он там?

— Я ноль-ноль девятый, вижу огни около кордона, снижаюсь...

— Толян, это же не он, это...

— Вижу огни, снижаюсь, иду на...

— Идите вы все...

Все это время Юля тоже рвала у начальника «кукурузника» из рук трубку микрофона, но вырвать не смогла. Тогда кинулась во двор и упала на траву. Пятилетняя Оля выскочила и стала ее тормошить:

— Мам, ты что?

— Он там мерзнет, и я хочу замерзнуть, — лежала Юля на мокрой ночной траве в свете огней всей не спавшей из-за Лени деревни.

В это время появился удивленный Леня с грибами.

Оля осторожно взяла грибы у папки и спрятала, чтобы Юля не сделала чего впопыхах.

— А что происходит? — осторожно поинтересовался Леня.

— Тебя ищем, — доложил начальник «кукурузника» и тут же принялся искать в эфире пропавшие куда-то на кордоне борта.

Леня вышел во двор и прикоснулся к Юле. Та будто окаменела, сцементировалась от мокрой травы.

— Юль, а Юль, это же я, Леня...

Юля молчала.

— Это же я, я нашелся...

Юля молча встала, посмотрела на него и спокойно прошла в дом, сделала свой знаменитый независимый проход, после которого Леня должен был понять, что это он во всем виноват — и насколько он виноват.

Михалыч уже нашел борта и вел переговоры:

— Ноль-ноль шестой — ноль-ноль восьмому и девятому. Найденыш нашелся, повторяю, найденыш нашелся.

— Михалыч, а Михалыч? Мы думаем, что мы его еще дня три-четыре поищем, а? А не то мы еще не управились с горючим.

— Может, за день управитесь?

— Не крути сам знаешь чем, Михалыч. Три дня минимум. Что это за поиски — вечер с копейками!.. Даже не отдохнешь как следует. Ну так как, мы тогда посылаем ноль-ноль восьмой на дозаправку?

— Дозаправку разрешаю, ноль-ноль восьмой. Только я сам тоже буду участвовать в поисках, — соскучился отвоевавшийся Михалыч по браткам-летчикам. И сбежал от своей красотки в их табор на три дня, затосковал по свободе.

— Понял, ноль-ноль шестой. Ноль-ноль восьмой идет на дозаправку. Найденышу благодарность от отряда... Здравия желаем.

Благодарность отряда Леню не спасла — больше за грибами он не ходил во всю свою жизнь. И на охоту, и на поиски пропавших — Юля обломила все ростки и веточки. Только так и не смогла его заставить научиться воровать это несчастное топливо — ни в деревне, ни потом, в городе, когда он выбился в заместители крупного авианачальника.

Приезжают иногда. Леня все молчит. Ходит вокруг дома, что-то подобьет, пару досок построгает за полдня, посидит, покурит. Юля все бегает

по огороду, быстренько выдирает сорняки вокруг захиревших кустов, успевая на ходу дать подзатыльник мужу, который тащит потихоньку в рот бутерброд с колбасой:

— Куда! Леня, колбасу в последнюю очередь!..

Идет мимо соседка, и Юля ей:

— Привет, как жизнь? Моя-то не очень, вот, связалась, нашла на свою голову такого охламона, — и еще один ласковый подзатыльник. — Одно слово — Леня... Найденыш, он и есть найденыш.

Сидят за столом на сорокалетие свадьбы. Вспоминают. Леня тянется за гармошкой, а ведет мелодию уже с трудом — руки-то заточены под бензонасосы да топливные краны. Сколько уж времени прошло, как перестал играть.

— А я его иногда возьму да специально уведу. Иду, не оборачиваюсь. Ну, думаю, если не идет за мной — всё. Брошусь в воду. На середине речки обернусь — идет! За сорок лет ни разу меня не тронул пальцем. А ведь было за что. Даже не накричал ни разу.

— Не, Юль, было один раз, было.

— Это когда я что?

— Да не помню...

— Ну точно не из-за денег. Он-то у меня простодырый: всё отдает, а потом просит десятку. А я возьму да и не дам. И даже деньги будут, а вот нет разрешения — и не сможет бутылку себе взять...

* * *

Не все такие бойкие, как Юля. Она все же дачница. Хоть и из деревенских, но уже не наша. Наши-то часто любят издалека. Приезжает какой городской, пусть и женатый — взяли понаровку ходить-бродить мимо, как бы невзначай — может, что понадобится. А спросит что, краснеют, пугаются. Могут и письмо написать, как будто за тридевять земель все происходит.

Михал Иваныч с Марьей Васильевной, с окраины старички, тоже справили уже все возможные свадьбы. Он ее окрутил до школы. Мишка, скромный деревенский пацан, еще в семь лет вздыхал и издалека неровно дышал к Машке, а потом взял ее головой и упорством.

Раньше работали не так, как сейчас. В сенокос деревня вымирала. В ней оставались только старики да дети, смотревшие за скотиной. Все остальные были на полях. Издалека было похоже на ангелов Апокалипсиса: порхают мотыльки, все в белом с головы до пят, на далеких золотых полях, жнут и собирают жатву.

Семилетний Мишка и еще несколько пацанов и девчонок оставались в деревне чуть ли не самыми старшими из детей. Машка была с другого конца села, растянувшегося одной улицей вдоль реки на несколько километров. И чтобы ее увидеть да еще удивить — и успеть все сделать по дому, надо было что-то придумывать.

В селе из взрослых оставался только кузнец в кузнице на отшибе, которому постоянно бегом доставляли поломанные косилки, косы, конные грабли, и он долбил, долбил, как дятел, почти круглый день.

Мишка, под видом помощи, с еще парочкой детин, несколько раз наведались к нему — то управиться с горном, то подать что, поднести старые подковы — а заодно утаскивали завалявшиеся железные пруты.

Железо гнули, засунув прут в угол избы, в трещину в бревне. Все было по науке, для рычага использовали трубу. И не по-детски крепки уже были руки, налитые от постоянной работы почти взрослой силой. С деревом было проще — сделать кузов для деревенского пацана, владеющего топором, — не вопрос.

Машина педальная, настоящая, была опробована уже через неделю после замысла. Она доехала до Машкиного конца села за пятнадцать минут. Только Машка не видела — ходила за скотиной далеко внизу, под горой, высоким речным берегом, куда на машине съехать было нельзя.

На ночь машина пряталась, а потом доставалась, когда все взрослые уходили на сенокос. Но результат, по Мишкиным меркам, был скромный. Тогда они с ребятами сняли свои педали с кузова и поставили на плоскодонку, приделав дополнительно лопасти.

На этой штуковине, на самодельном водном велосипеде, и увел за собой шестилетнюю Марию Васильевну мечтавший о ней всю свою семилетнюю жизнь Михаил Иванович, уже в ту пору знавший, что люди, мужчины и женщины, созданы друг для друга и что, раз это наступило так рано, то надо относиться к этому серьезно, не по-детски.

* * *

Село наше состоит из разных, раскиданных кучками по холмам, деревень. Соседняя с нами, немного на отшибе — всего-то из тринадцати дворов. А мужиков с войны вернулось четверо. Из-за них, окаянных, и дрались, и с ума сходили, и смирялись, и ставили на себе крест, и сразу старились еще молодыми, и сближались в общем бабьем безмужнем горе.

Баба Маня и баба Дуня, обе из той деревни, дружили с детства. Однажды, еще совсем пацанки, они пасли коров, и одна корова чего-то испугалась. То ли ее овод куда укусил — она взбрыкнула и понеслась прямо на них. Девчонки упали в траву, а корова через них перелетела и бросилась в кусты. Девчонки так испугались, что сами бросили стадо и побежали в лес. Там Манька, трясясь от страха и смотря на посиневшую от колотуна Дуньку, не придумала ничего лучше, как умыться своими пысками — воды кругом не было. Они попыскали себе на ладони, умыли лица и успокоились. И вернулись к стаду.

С тех пор Манька стала чем-то таким интересоваться, потянуло ее к всяким нехорошим знаниям, а Дунька так и осталась простодырой Дунькой. К старости Маньку выгнуло совсем — руки вывернуты назад, как у птицы, и ходит, согнувшись вперед, выставив острый подбородок, переваливаясь, как ворона.

Дунька же осталась тихой, круглой, белозубой, синеглазой, с тонюсенькими запястьями и щиколотками. Как куколка, как румяный свежий колобок.

Еще до войны влюбился в Дуньку Сенька. До того дошло дело, что доконал ее, сосватался, взял в жены. И после того ходил за ней, как привязанный. Идет Дунька на дневную летнюю дойку, а это километров за пять от деревни, несет пустой подойник, машет им, будто одна. За ней Сеня с табуреточкой, с ветками — отгонять мух и комаров от Дуни. Обратно всю дорогу несет полный подойник и еще машет веником — не дай Бог ее, породистую Дуняшку, кто укусит.

Но пропал Сеня на войне. Пропал и пропал — сколько там сгинуло, в этой пропасти, никто не считал никогда по-настоящему.

А в соседний, новый, из ссыльных, поселок пригнали пленных немцев. И один из них, видимо, сильно нашими не битый, взял и подстерег где-то в поле Дуньку, теперь одну. И будто знал, будто подглядел все в кино про Дунькину с Сенькой любовь, — стал так же помогать, носить за ней все, что нужно. И Дунька понемногу, помаленьку сломалась от этой знакомой заботы, такой заманчивой и родной.

Отдалась ему, известно как. На селе это просто — кругом сплошные просторы, поля, рощи — люби друг друга где пожелаешь, и никто не увидит, если не хочешь. Спрятаться есть где.

Попал он ей прямо в сердце — носил за ней подойник, отгонял комаров, научился колоть дрова.

Родила Дунька сына, приняв проклятие всего села. И назвала назло всем Германом. Потом оказалось, что у нас по всей северной земле стало много бегать ребятишек с такими именами — Рудольф, Герман, Ханс... В нашем селе был вот такой один.

Немца этого Дунькиного как-то очень быстро вернули в Германию, хотя никто его у нас не трогал. Даже уважали, не злились на него. Все вымещали на Дуньке.

Немец пропал, зато откуда-то из госпиталя вернулся хромой Сенька. Не знает никто, как он учил свою несчастную Дуню за этого немца. Побил наверняка — и не разок, но не топтал. И смог к ней вернуться, простить. Родила она ему после Германа своего сына, Илью, успокоила его.

Только с подойником больше он не ходил, а так простил и не обижал.

Но все же что-то в нем надломилось. Некоторые тетки от сумасшедшей бабьей злости, что он вернулся почти целым, говорили, что он сам себя стрельнул, чтобы дальше не воевать. Сеня никогда с бабьем не лаялся, но был сосредоточенный, будто думал всё одну какую-то грустную мысль. И стал понемногу заворачивать на огонек к Маньке, которая ему то пуговку пришьет, то стаканчик лишний втихаря нальет. Ну и сострогал ей «чурку», горластую краснорожую девку.

Но перейти к Маньке от Дуньки Сеня не успел. Помер той же весной, когда Манька родила. Устроился он, как почти целый, на переправу — возить школьников на другой берег, к поселку, где выстроили новую школу. И однажды их набилось слишком много, а лодка наткнулась то

ли на старую бону, то ли на топляк. Он пока всех их вытащил, так застудился, что взял да и умер, сидя на берегу — сердце остановилось. Отправил всех ребятишек бегом в поселок, к фельдшеру, сам присел вроде как отдохнуть — и голову сложил на грудь.

Так они и остались, Маня с Дуней. Одна с двумя сыновьями, другая с дочерью. Сначала разнились молча, а потом свыклись. Ходили вместе к нему на кладбище по праздникам. Прибирались там. Вместе шли обратно. Помогать друг дружке помогали, но по домам погостить не ходили. У каждой дом был только свой — где Сеня жил отдельно.

Померли они почти одновременно, будто договорились жить и умереть в один час. На том свете, говорят, не женятся и не выходят замуж... Только лежат они, одна с одной стороны, другая с другой, и смотрят с фотографий как бы на него, на серединку. Здесь тоже вместе — и, наверное, и там, как жили и чем дорожили.

Однажды, в Троицу, днем, уже после службы, зашел в сельский магазин высокий красивый офицер. Настоящий летчик, не наши Леня с Михалычем. Окинул очередь своим холодным взглядом, стальным, голубоглазым. Спросил, кто последний, но стоять в очереди не стал, потому что все бабки сразу расступились, узнавая и давая дорогу к прилавку тому, кто имел право брать без очереди. Это был Герман, приехавший навестить лежавшую рядом с Сенькой много любившую Дуньку, да и тетку Маню, примостившуюся тихонечко к ним. Взял красного вина, яблок, самых дорогих конфет, аккуратно расплатился и, так и не взглянув ни на кого, ушел. Продавщица Настя, дочь Маньки, узнала его сразу, но не смогла ничего сказать. Только потом тихо переживала целую неделю этот визит гостя из другого мира. Как и его брат, тракторист Илья, с которым они посидели, скромно выпили, даже почти ни о чем и не говорили.

* * *

Там же, на том же кладбище, лежат рядом мои свекор со свекровью, Василий и Лиза. Хотя Лиза всем говорила, чтоб ее к Василию не клали — натерпелась от него еще при жизни, от его характера и палки, так что не могла забыть. Но положили их вместе, потому что куда б они делись, все равно бы слетелись, как муромские Петр и Февронья. Любили друг друга. И все это знали.

Василий вернулся с войны без руки и ноги. Характер был такой, что ничем не сломить. Воевал он артиллеристом под Синявинскими высотами. Там, говорят, огромную армию нашу загнали в болота и измолотили зазря. Из их батареи, из двадцати человек, осталось двое — он и еще мальчишка, снаряды подносил. И Василий его, контуженного, без сознания, сам израненный до невозможности, на одной вот этой дикой своей силе отволок шесть километров до медсанбата. Там ему сразу руку и ногу отхватили, а тот парень потом пришел в себя, целый и живой.

Добрался он после госпиталя до города, а оттуда послал в деревню телеграмму, что едет такой-то Василий с войны. А в нашей деревне было два Василия с одной фамилией. Не знали, которого встречать. И послали две кошевы.

Вся деревня высыпала на нашу гору — смотреть, куда полные сани повернут, а куда пустые.

Полные повернули к нам. Все бабы, дети, в рев, встречать бегут. Сани останавливаются, а оттуда он, без руки и ноги. С палкой. И не знали, радоваться или горевать: вроде и живой, а с другой стороны — почти полный инвалид.

Но оказалось, что с человеком ни делай, если есть у него стержень, характер, он только укрепляется. Василий мой, драгоценный золотанский свекор, работать стал как будто целый. Приспособил все в хозяйстве так, чтобы все делать самому. В сенокос ранним утром приковывал себя цепью с большущим амбарным замком к конным граблям — и отпирал после заката. Ему только лошадей меняли. Работал и всех гонял.

Подъезжает к шалашу, где ребятня спит: «А ну, дети, солнце уже с деревья вышиной». А солнце-то у нас почти и не заходит. Дети вылезают сонные, а он уже успел огромный луг скосить.

Все почти мог сделать, только вот подпругу подтянуть не мог — там надо коленом упираться, которого не было.

В очереди в магазине стоит. Мимо какой-то молодой парень лезет, пролезть побыстрей. Он его за шею своей знаменитой палкой: «А ну стой!.. куд-да лезешь!.. В очередь!..»

Под старость уже — сидит у окна. Идет кто мимо — стучит палкой в окно: а ну зайди, отчитайся, где был, что видел. Если школьник — нука докладывай, какие отметки, почему двойка. Если взрослый — что где творится, какие новости.

Всем была знакома его палка. И Лизе, ненаглядной моей журавушке. Несладко было рядом с ним, а терпела. Хотя, наверное, все дело было не в палке, а в обиде. Одно время работал Василий бухгалтером в соседнем поселке в леспромхозе. Ну и кочевал по всему району. И, говорят, настрогал «чурок» столько, что чуть ли не полрайона теперь у нас неведомой родни. А наши бабы, известно, народ добрый и бегут своим добром поделиться по соседним ушам. Вот и обижалась Лиза на него, я думаю, на орлика своего, Василия Алексеича, зверобоя, сына трудового народа, как он сам себя звал выпимши, когда оплакивал своих:

— Я, брат ты мой, жверобой! Артиллерис! Под Синявинскими высотами, брат ты мой, столько было мужиков, столько мужиков, столько наших мужиков!.. А я все бью, бью их, жверей, в глаз, в глаз прямо! Я, брат ты мой, деревенская ты шпана, сын коми трудового народа! А это знаешь что такое? Я, может, последний из настоящих-то мужиков!.. А знаешь, сколько их было?.. И все они там. Сколько их там...

Это правда. И стрелял одной рукой, будто на дуэли. Тетеревов, глухарей. Сидел иногда с удочкой под старой церковью, таскал бойко харисусов. Это был хозяин, негласный губернатор — все ему докладывали, во

все вмешивался. Везде он совался и был хоть и крут, а все ж таки правильный.

Однажды приехали из НКВД за Диакон Анной. Доложили им, что она тут и крестит, и отпевает, в общем, служит запрещенному Богу.

Василий одел все свое фронтовое, причесал седину, вышел навстречу. И с ходу, пока они еще только рассматривали его ордена, сказал, что здравия желает, а задачу, им поставленную, он отменяет. Никто, никогда, пока он жив, никого в его селе арестовывать за вот эти тихие дела да молитвы не будет. Ворье всякое да спекулянтов — пожалуйста, да только их нет.

Они постояли, постояли, посмотрели на него, пятеро здоровых мужиков. И отступили. Потому что двоих сразу свалит, а остальным троим что-нибудь да оторвет. Или поняли хоть что-то, что им не положено было понимать.

Такой он был царь. Как Иван Грозный. Никто его не мог ни за что судить — кто ж судит царя. Только он судит. И милует. Во все вмешивается и за все отвечает. Но не перед людьми. Перед ними он все исполнил, отдал весь свой долг, драгоценный наш Василий Алексеич.

Не только я его помню. Помнят и уважают все деревенские, даже кто был малым, — им про него тоже рассказывали, хотя у них и свои были неугомонные деды.

Не дал отдохнуть он и своей Лизе. И это, может, тоже ей было тяжело — родила от него девятерых — в беспросветной, всеобщей тогда нищете, но злой не стала. Старший погиб на войне. Еще двое девчонок в пожаре сгорели. Осталось шестеро — четыре сестры и два брата. И один из них — он, мой. К которому я тогда на свидание бегала. Он привел меня в свой дом, где ничего почти и не было. Кроме любви. Одной только любви и ее силы, которых никому не объяснишь.

Я только чуть-чуть застала Василия Алексеича. Все ж таки умер он от ран и своей боевой жизни. Отбегал свое. Но принять, приголубить, удочерить и угнездить в своем гнезде меня успел. Сразу. Принял так осторожненько, обнял. Не при людях, а как-то внутренно, в сердце. И полюбил. И называл осторожно и нежно — Лиечкой. И замирал всегда при мне, будто боялся спугнуть, будто я могла улететь куда-то и оторваться от его любимого сына. Хотя у него все были любимые, и свои, и чужие. Такого не бывает, но такое было.

После уже, когда его не стало, захожу однажды в горницу. Лиза лежит на кровати, болеет. На стене — рисованный бумажный ковер. У всех они похожи: у кого три медведя, у кого три богатыря. У нас был с восточным воином, убивающим тигра, — со зверобоем. Он схватил зверя за пасть и собрался ударить булавой.

Вот лежит она под этим тигром, глаза вверх подняты, смотрит куда-то. В своем единственном наряде — плисовом потертом пальтишке (Василий принес ей откуда-то с города, своей царевне, которой не годилось ходить как всем) да в большом по размеру дырявом ватнике с закатанными засаленными рукавами.

Лежит она, и смотрит вверх, и тоскует, и плачет, и молится, и разговаривает, и обижается на него, и ждет, и зовет, и принадлежит только ему, и любит только его, и скучает только по нему, и хочет к нему, и мы все держим ее зачем-то еще здесь...

* * *

Оля, невестка моя, хирург районной больницы. Дочь тех самых Лени и Юли. Сила у нее получилась в мать, в Юлю, только без ее гордости, чистая сила. А характер — в Леню. Кидается всех спасать и вытаскивать, прикармливать и усыновлять.

Я всю жизнь спала мало, а эта совсем не спит. Бывает по шесть, по семь операций в день, гнойных, чистых, плановых и с бухты-барахты, какие у них там еще бывают, — всяких. И еще прибегает оттуда — и чистит, и чистит, и стирает за своими. Только что возилась там, в больничке, вся в крови, в пысках, в говне и гное — на операции из человека все летит, все его ошметки, как при взрыве, — разлетается он, родимый, на первозданные куски.

Бывает, дежурит через день — днем работает, ночью дежурит, потом снова днем работает.

Ночью так и лежит в операционном халате на кушетке. Медсестра, тоже из нашей деревни, крепкая тетка, основательная, Вера Андреевна, а по-ихнему, по-свойски, Веранда, осторожно открывает дверь, подкрадывается, окает, шепчет:

— Олечка Леонидовна... Олечка Леонидовна... А больной-то Смирнов весь синий и что-то не дышит... Не жилец он, не жилец...

Олька мгновенно открывает глаза, вскакивает, кричит:

— Что ж вы молчали, Вера Андреевна! Так. Срочно в реанимацию, снимок, искусственное дыхание... — И ему: — Сейчас, сейчас, заяц! Что с тобой, ты уж терпи! — и вихрем по больничке.

Собьет какого пьяницу поезд, поотрывает ему там всё — всю ночь зачем-то зашивает, латает, запускает мотор. Потом придет, так и завалится в операционном халате на кушетку. Опять Веранда к ней — и все окает по-деревенски, шепотом:

— У Яшки-то опять моча не идет. Что-то маловато у него мочи. Думаю, не жилец, не жилец Яшка...

У Веранды глаз острый. Сразу видит, кто жилец, а кто уж нет. Олька, не поворачиваясь, так и диктует сквозь сон, какие этому Яшке таблетки, какие дозы, а Веранда повторяет за ней:

— Поняла, два кубика этого, красненького. Три таблетки того, синенького, — повторяет и всё настырно поучает: — А охламона зачем всю ночь зашивали? Все равно не жилец он. Не жилец. Только мучили, бедолагу. Да и кому он нужен, такой?! Чурбанчик...

Очень же редко ошибается Веранда, удивляется, когда приходит в палату, а не жилец, спасенный дед какой-нибудь, сидит там да еще и курит, гад, и в карты режется.

Не сразу она стала такой Олечкой Леонидовной. Был у нее до нашего сына первый муж, Вадик. Вся деревня знала: не надо за него идти. И она сама знала. Ходил за ней парень, еще со школы, Лешка, таскался везде, любил ее, нянчил, спасал. А она взяла и вышла за Вадика. Никто не знал, почему.

За Лешку-то тоже не надо было, хоть и по любви его молодой. Не справился бы Лешка с ней, из него бы второй Леня не получился, а Олька-то, как все, искала себе орла как папку, — красивого да надежного. Никем он, Лешка, еще не был, чтоб брать Ольгу к себе; только любил. А женщины это чувствуют, что сядет такой Лешка на шею, полюбит, полюбит, поездит да и пропадет где с концами, сопьется да и помрет под забором обоссанный. Вот и вся любовь-морковь незрелая, зеленая.

Так оно почти потом и получилось, но это уже к Ольге не относится.

На свадьбу Лешка пришел, как на войну, как в тыл врага, с другом и в чьем-то новом пиджаке. Курил нервно. Все высматривал, где ухватить за руку Ольку, да и сказать ей, что так не надо. А что не надо и что надо, — только сам человек знает. Всегда знает, как правильно. Только не делает.

Сама она говорит: так было надо — за Вадика идти. Ревела, лила слезы, но пошла. Причина тому была не в прошлом ее, а в будущем. Никто, кроме Вадика, может, ее бы и не остановил, не вытащил из бездны, куда несло ее какой-то ей одной ведомой силой.

Вадик был красавец, десантник, только вернувшийся из армии, из Афганистана. Красивый, холеный, выучился в одном институте с Ольгой. Нес впереди свои нежные-белоснежные руки хирурга. А хирург из него так и не получился. Людей надо жалеть и любить. Можно их и вовсе не резать, а вот жалостью лечить-то надо обязательно. А он этого не смог понять.

В первую же брачную ночь он ее избил, Ольку-то. Она только закрывалась и понять не могла: за что, что он в ней хочет убить? Намотал на кулак свой ремень и бил, методично, с хуканьем, как на тренировке. (Потом, через несколько месяцев, закрывала уже пухлый живот — и поняла: этот парень одержимый. Хочет убить в ней Бога. А она не даст.)

Так и пришла в первый день после свадьбы в больничку свою, вся синяя под халатом. Заведующий тогда был хороший мужик, Носков. Взял ее сразу на операцию, ассистенткой. А у нее синяк из-под рукава чуть торчит. Вадик бил точно, только по телу, не по лицу, не по рукам — анатомию и кодекс знал. Чтоб не видно было. Знал Вадик и что она ничего не скажет никому, никогда.

Носков только и спросил, что за синяк на руке. Не знал, что под халатом — все в синих пятнах. Олька что-то соврала, но не заплакала, не выдала ничем, что попала прямо в преисподнюю. Навсегда.

Десять лет она жила с Вадиком. Даже не жила. Готовила побег. Бил ее почти каждый день. Что-то в нем сломалось там, на войне, и он вымещал все на ней. Десять лет жила с одной только мыслью: закончить это все и уйти — и еще чтобы дочь при этом не пострадала никак, кото-

рая все-таки родилась. И вовсе не от Вадика. От них, от таких вот, дети не рождаются. Они рождаются от Бога.

В больничке Олька со всем своим тайным несчастьем была вроде как юродивой. Говорила только о хирургии. Жила от одной носковской операции до другой. Дома четырехлетняя дочь, некормленая, больная ангиной, а она ей шепотом по телефону:

— Солнышко, я сейчас не могу. Привезли тетечку беременную, надо спасать. Ты сама, сама... Берешь тарелку супа, ставишь на плиту. Берешь спичку, поджигаешь. Да не к себе, а от себя. Подожгла? Теперь медленно открываешь газ, черную ручечку такую, крутишь влево...

Заведующий косится:

— Ольга Леонидовна, вы что? Что вы там шепчете?

— Я? Ничего, просто ребенок ест суп. Подсказываю.

— Ну, Ольга свет Леонидна, не пойтитца ли пройтитца в оперблок? Посморитца, как там наша мельнитца крутитца... Что у нас там?

— Беременная. Цистостомия. Острый пиелонефрит.

— Может, вам домой надо, Ольга Леонидовна?

— Нет, нет, Михаил Витальевич, что вы! Вперед!

Ходила за ним как привязанная, толкала его, отодвигала за плечо и смотрела, как он режет. Выхватывала у него из руки скальпель прямо посреди операции:

— Ты куда пошел! Ты как режешь! Ты что делаешь!

Он бросал скальпель, на нее орал:

— Доделывай, раз такая умная! — и матом на весь оперблок.

Другие не лезли на рожон, а эта, самая умная, отличница, всегда знала, как делать, а руки бежали вперед еще быстрее мозгов, так что Носков, хирург от Бога, еле поспевал. Ругался, подвозил на своей машине до дома и смотрел иногда на нее, вздыхал, да отворачивался. Медсестры от него были без ума, специально подгадывали, чтоб поближе к нему подежурить. И он их не прочь был приветить. Только дуры они были: ну проводил с ними ночь, другую, третью — да только кто ж жену с тремя детьми бросит ради них?! Много их пострадало так по своей глупости и по своим представлениям о бестолковой ночной любви-то. Но все равно, вздыхали по Носкову всей больничкой. Только Олька с ним спорила.

Самая главная у них схватка, дуэль что ли, была на мозгах. Вот она была до крови. До чужой крови. Когда люди стали страдать, Ольке пришлось научиться отступать и здесь, на работе. Дома-то она давно научилась. Теперь пришлось и здесь.

Поначалу-то скажет, к примеру, что эту бабку-то бы лучше и не трогать, а он, как назло, возьмет и порежет ее. Или наоборот, скажет, что надо срочно резать мужичка, что он не жилец, по точному диагнозу Веранды, — без операции не выживет, а он возьмет да и станет ждать.

Смекнула-таки, что нельзя, чтоб из-за их характеров люди гибли. И отступила. Стала осторожней. Давала ему первым все высказать, а потом, если удастся и если это нужно, — потихоньку разворачивала его, куда надо, как корабль, как ледокол.

А он, при живой жене, при медсестрах своих возлюбленных, висевших на нем, как смородина недозрелая, все равно ее возил на машине. И вздыхал, и ворчал, что она такая, Олька, не от мира сего. Однажды смотрел, смотрел на нее долго, потом отвернулся, сказал, что ее трогать нельзя. Самому себе сказал. Ее и нельзя было трогать, никому. Потому что она юродивая, верит в то, что есть любовь.

Молоденькие сестры в ординаторской обсуждали — кто с кем, чей муж с чьей женой забавляется; да и мужики иногда не лучше баб сплетничали, кто с кем живет. А эта между операчками все талдычила, что бывает и по-другому. Что бывает — где встретятся, там и ткнутся друг в друга, там и целуются, там и любятся. Просыпаются утром на одной постели, на одной подушке, счастливые, что видят эту родную мордочку. Думали, что это она про Вадика заливает, и не верили. Знали Вадика по повадкам. Не знали, конечно, что он ей дома устроил тюрьму, просто видели ведь человека, и потому Ольке ни капли не верили: нет такой любви, не бывает, чтоб мужики такие на свете водились.

А она талдычила свое — бывает и бывает.

Уже осталась одна. Уже рассталась наконец с Вадиком, выросла, обогнала его по силе, внутренней, которая заставляет себя уважать. Уже вроде как осталась без никого, только со своими этими загибами про любовь, и медсестры, ночные бабочки, жалеючи, то одного втихаря больного подошлют, то другого: может, приглянется, может, и получится что. Но все никак искусственным-то путем и не получалось.

И тут ткнулась мордочкой, в нашего охламона. Точно такого же. Нашлись два друга.

До Ольки-то промаялся, промаялся он несколько лет с любимой-нелюбимой Леночкой-припевочкой. Проругался с ней на удивление всем. Просадили они всю свою любовь-нелюбовь в этой странной ругани.

Как можно ругаться так, резко, грубо, по-обидному, с припоминанием всех грехов, да еще в трезвом виде? — раз в месяц, регулярно, вся деревня удивлялась. Только вроде все наладится, и на тебе, как по заказу — бац! — все снова рушится. И мы, родители, только диву давались, да помалкивали, терпели. Особенно мой, Толя. Смотрел и удивлялся — будто по какому лунному календарю, по наитию какому бесовскому — по дому проносится вихрь, и молодежь рушит все.

Пока понемногу затихла эта война, несколько лет прошло. И детей, может, из-за этого у них не было, Бог не дал. У обоих, видимо, самый внутренний, сокровенный человек, — знал, что им жить-то не надо вместе. Вот так и рвался потихоньку на свободу, на волю. Внешний-то человечек буянил. А внутренний рос и рос — и любовь-то ценил, и берег каждую каплю.

Жаль, когда рвется так, по-живому, а делать иногда и нечего: срослось неправильно, и снова ломать надо. Иначе всю жизнь промаешься без толку, только погубишь того, сокровенного, душу свою заморишь в тюрьме.

Вот они с первой-то, с Леной-то, спорили, спорили и разошлись наконец. Уж вся деревня смотрела, как они несколько лет расходились,

сходились, расходились, снова сходились. Сначала винили больше ее, потом обоих, потом уж его, сына моего. И правильно. Умней надо было быть сразу. Я его не оправдываю, но думать-то надо было. И не про то, что любого человека ты исправишь, что бы там у него ни водилось. Не исправишь, — если только он сам не захочет. А захочет, — так и поздно бывает. Привыкали, привыкали друг к другу, наконец, почти притерлись с Леночкой. И зря — когда притерлись, оказалось, что уже и не осталось ничего, ни любви, ни радости. Любовь-то, та что любовь, за кровь дается. Не прольешь ее внутри себя — ничего не получишь. Любовь просто так не воспитаешь, не заставишь себя любить. Если была она и куда-то делась — значит, кто-то ее внутри погубил. И каждый из них знает: кто и в какой момент. Каждый знает точно, что он с ней сделал.

Ну вот, помаялись, помаялись они с Ленкой. Да и разбрелись, телки недолюбленные, по разным лугам. Сын уехал в город, заболел там. Сказали, жить осталось три месяца — рак желудка, что ли, какие-то полипы злокачественные. Я ездила везде, тоже все это слышала. Видела все это его горе и была рядом. А что еще можно было сделать?

И еще подружился он там с хорошим парнем, а того взяли и убили. И плюнул он на все, на диагнозы, на трубки, которые глотал, на снимки. Вернулся. Сказал, что раз так, хоть часовню построит — в память о друге. Пусть людям стоит. Войдут бабы, повяжут платки, поставят свечки — помянут хоть как-то, вот вам и жизнь. А сколько ее там осталось, — это не докторишкам судить, а одному только Богу.

Стал возиться с этой своей затеей. То чертежи чертит, то считает что-то. Мой-то, Толя, только вышел на пенсию, только дорвался до рыбалки — лови не хочу, а тоже не выдержал. Хоть и крещеный был, а неверующий. Но сказал сыну: я тебе помогу. Потому что любил его, а любовь ценил выше всего, выше даже своих убеждений. Ну и насоветовал, как правильней все сделать — как стариков собрать, как говорить с ними, как обустроить землю и прочее.

Стали ходить туда, на стройку свою, как на работу. Отвлеклись временно от всего, даже от болезней, от переживаний.

Леночка раз приезжала с города, посмотреть на него, да так ничего не поняла, чем занят, — и уехала.

Как строили — это отдельная история, а вот заболела у него от этого спина. Может, надорвал где. И уговорили его наши сельские фельдшерицы все же сходить в районную больницу. Хотя он и бросил все — и таблетки, и проверки на разных аппаратах. А тут почему-то взял и согласился. Может, устал, захотелось пару дней, чтоб и о нем кто позаботился. А в районной больничке медсестры-то и постарались. Как жахнут его током по почкам — вместо прогревания поясницы, так что кровь пошла в пысках.

И послали опять по этим адовым кругам, опять на прием к урологу, который опять скажет, что осталось жить месяца два-три. Послали, оказалось, к Олечке.

— Раздевайся.

— Как раздеваться?

— Трусы снимай, и ложись на кушетку. Да не так, ко мне спиной, попочкой, колени согни под прямым углом. Так, что у нас там?

Оказалось, все нормально. Просто сильно ударили током, и, может, чуть песок посыпался. Нужно опять снимки, обследование...

Сидит она за столом, пишет. А мой-то взял и вспомнил ее: это ведь он Лешке давал свой пиджак и был у них с Вадиком на свадьбе. Только не знал их никого, да и с одного раза разве упомнишь целую незнакомую свадьбу?

— Вы меня не помните? Это же я, — сказал зачем-то.

— Не помню.

— Вас ведь Ольгой зовут. А это я. Я был у вас на свадьбе. Длинноволосый такой тогда я был.

Это же я... Ткнулся в нее так, как она всем рассказывала, как это бывает. С тех пор, как увидятся, как только у нее дежурство кончается, а у него работа — так сразу тыкаются друг в друга. Везде. На кухне, в прихожей, на улице, в магазине. Дома ходят друг за другом и целуются, и милуются, и любятся постоянно. Нашлись, найденыши, он это он, а она это она.

Из-за этого — не высыпаются, ничего не успевают, забывают — скажем, сетку от комаров вешают где-то к августу, а так спят обкусанные, в обнимку. Олька вечно сторожит будильник, чтобы не проспать, бьет комара, пихает своего охламона в бок, тот ворчит, что завтра точно повесит эту сетку. Она только вздыхает:

— Ну почему всем нормальные, а мне — ты? — и проваливается хоть на минутку в сон.

* * *

Александра, Сандра, любимая моя крестная. Идем с ней на дальний покос. Сразу после войны. Кругом, на поле, за тракторами, в лесу почти одни бабы и дети. Я с младшей двоюродной сестрой впереди, сзади она и еще три бабы. Мы важничаем, несем грабли. Вдруг впереди, прямо по скошенному лугу — медведь. Мы в крик, орем, бросаем грабли, бежим обратно, в лесную избушку, где остался муж Сандры, однорукий охотник Иван. Кричим наперебой, что там медведь, медведь. Он берет ружье, а сам спрашивает:

— А Сандра-то с остальными где?

Нас хватает стыд, бежим обратно. Женщины попадают нам навстречу. Мы обе вздыхаем: слава Богу, все целы. Иван идет, смотрит следы, возвращается: медведь испугался больше нашего, его теперь не догонишь, — подходит к Сандре. Я впервые в жизни вижу что-то такое, странное: она ему просто поправляет китель, что-то одергивает, проводит рукой... И я понимаю, что все это не просто так. Что это любовь, тихая, незаметная...

Сандру потом вскоре посадили. На много лет, за несколько колосков с поля. Никто в семье никогда не говорил про этот случай. Все молча-

ли. Иван сильно переменился, помрачнел, а потом взял да и женился на другой — на соседке, молоденькой, через дорогу от дома, где они жили с Сандрой. А Сандра вернулась. И так они стали жить — один вблизи другого, молча. Потом она заболела, а эта соседка стала приходить. То приготовит поесть, то уберется, то еще что. Стала ухаживать за ней, когда Сандра, надорвавшись на лесоповале, совсем слегла.

И так они прожили долго, до самой ее смерти. А Иван умер сразу после Сандры, на следующий день. Не от самоубийства, а как-то так, спокойно. Лег на лавку, положил одну руку на сердце, и оно остановилось — и снова уже не пошло.

* * *

Много в деревне подобных случаев. Жили, к примеру, две сестры. Кашины. Одна, Светлана, — красавица, стройная, крепкая; другая, Валя, — маленькая, горбатенькая. И посватался к этой Светке-красавице жених. Не то чтобы красивый, обычный парень. Самый обычный. Крестьянин и крестьянин. А она — барышня, принцесса, звезда. Прожили они несколько лет вместе, а детей все не было. И взял этот парень да и переженился на Вальке. И пошли у них дети один за другим; пятеро подряд родилось. И Светка всех их воспитала, так и оставила красоту свою бесполезной. Так и прожила рядом с ними и ходила за детьми.

Часто в деревне вовсе не за красотой гоняются. Смотришь, парень какой-нибудь, видный из себя, а за ним, к примеру, две девки ухаживают — соревнуются, чей будет. Одна — красивая, стройная, строгая. Другая — совсем наоборот, как воробей, нахохленная хохотушка. И вроде со стороны всем ясно: что там выбирать, красавице кто откажет?! А смотришь — выбрал он совсем другую, не красивую, а может, даже с каким физическим изъяном. Есть вроде как и красивые, и добрые, а что-то у них все не клеится. Даже чаще получается наоборот — смотришь: с каким физическим недостатком, а уже замужем. Или у парня, скажем, лицо застынет, будто каменное, врачи говорят нерв поражен — а он уже и женатый, и обстиранный, и обихоженный, и детьми не обделенный.

Есть и совсем какие-то особенные. Соседка моя, Изосимовна, пожилая уже женщина, а проводила на тот свет четверых старичков. И вышла-то замуж совсем немолодой. А как умер ее первый-то, тот тут как тут, нашла она сразу второго. Сошлась она с ним легко, пожила-пожила, поухаживала, и он, глядишь, тоже ушел на тот свет. Четверых проводила — и все так тихо спокойно: сойдутся молча, переедет она к нему, и потом так же и проводит. Женщина она добрая, мягкая, чуть не ангел, ну и тянутся к ней, и успокаиваются рядом. Кто уже потом стал болтать всякое, бояться, всякую дрянь придумывать да шелестеть по углам, как опревшая листва. А другие понимают, что у нее судьба такая, будто у ангела какого осеннего, — освещать последний путь.

Шарахаются от нее, иные деды, те, что помоложе, — вдруг заманит, а тут, глядишь, и конец тебе! А она только знай вздыхает по всем ним,

ушедшим да недолюбленным. Молчит, молится, записки о них пишет в церкву, пирожки печет по родительским субботам, ухаживает за могилками, не то что городские дети, которые и приезжали-то к ним только по осени — за картошкой.

* * *

Умирает деревня, вымирает. Царя нет. Заставить работать наших алкоголиков некому. Мрут под заборами, умирают, уснувши во хмелю на холоде, давят друг друга по пьянке тракторами, в основном и не старые мужики. Стало их сейчас даже меньше, чем после войны. Да и тогда другие люди были.

Вырождаются без царя-то. На всех лицах как печать наложена, безнадежная, проклятая. Народ — это те, кто нарождались. Кого бабы нарожали. А сейчас наоборот, вырождаются. И те, кто живы, счастья ищут далеко, а оно рядом.

Паучок в мойку эмалированную упал, мечется, скребет лапками, а выбраться не может. Протянешь руку — шарахается, боится, спасение ему так же страшно, как и смерть. Вот перестанешь его тревожить, положишь на краешек тряпку — он успокоится и, может, найдет ее и выберется потихоньку.

Так же и с человеком — спасать начни его, он убежит, испугается, махнет рукой, а забудь ты про него, дай ему только вот эту тряпочку, он по ней, может, и выкарабкается.

Николай вернулся из армии. Неделю гулял. Пил, конечно, друзей собирал, повидать да поучить — десантник, с голубым беретом. И в первую же ночь по возвращении или в другую взял и заманил Нинку, школьницу еще, свою соседку — погулять. Ну и сделал ее своей. Быстро сделал, по-военному. Один раз у них всего и было-то. Все остальное время просидел на корточках около клуба. А потом, как неделя прошла, огляделся: работы нет, деньги кончаются. Ну и уехал в город, поискать себе места или поучиться. Десантники-то нужны только на войне.

Нинка ждала-ждала, а потом, делать нечего, пошла призналась родителям. Ей же школу заканчивать, а она пузатая, и жених неизвестно где. Задавили Нинку. Заставили сделать аборт. Хотела она тоже ехать в город, поступить учиться в институт. Но ей совсем крылья обломали. Отправили в райцентр, чтоб выучилась на повара, и определили в садик. Чтоб не летала нигде, чтоб была под контролем.

Николай так и застрял где-то в городе, про село свое и не вспоминал.

Садик Нинкин вскоре закрыли — зачем держать при четырех малышах шесть нянек? Устроилась она в столовую в лесопункт, потом еще куда-то на трассу, в забегаловку. И тут у нее дело пошло. Открыла она свою дорожную точку, стала понемногу расширяться, работала аккуратно, дешево, приветливо, ничем таким не грешила, никого у нее больше не было: все силы ее, уже женские, пошли только в работу.

Дом свой, отцовский, крестовой, обставила шикарно, завела себе в городе еще одну точку. Стала совсем богатой.

И тут как-то встретила этого Колю. Выучился он в городе на электрика, женился, да только неудачно как-то — не было детей. Ну и заманила его Нинка к себе, сначала село вспомнить, потом свой дом показала, в котором все есть. Нет только одного, мужика.

Заманила и не выпустила. Остался Коля-электрик у нее. Друзья поначалу стали появляться, но она, чтоб не спился, заставила его работать на все село, чтоб проводка у всех была сделана по-человечески. Где за деньги, где и почти задаром. Лишь бы не было времени на друзей. Работа да сон. Да любовь, какая уж у них там.

Понесла Нинка снова. И наладилась рожать, но со своей торговлей нанервничалась, намаялась. Пришел срок — а ей тяжело. Сделали через бок — кесарево, да задели там что-то. Еле выкарабкалась. А когда опомнилась, глядит: Николай мрачный, в сторону смотрит. Оказалось, ребенок родился больной.

Она полгода лежала. Он за это время по каким-то врачам походил-походил, ну и вышло: чтоб вылечить ребеночка, надо все продавать — и торговлю, и ее дом, и родительский, что остался после их смерти.

Нинка долго переживала, а потом согласилась. Привез он нотариуса, покупателей — она и все продала. И отдала деньги на лечение. А лечение не помогло.

Мало того. Колька повертелся вот так с дитем, без Нинки, все спустил, что еще осталось. И исчез.

Осталась она одна, с больным ребенком, без ничего, в таком ветхом доме, малюсеньком, что едва-едва можно развернуться.

Только что было у нее все, и разом ничего не стало. Как в сказке про разбитое корыто. Вот тебе и любовь, о которой молодыми-то не знали, не догадывались.

Нинка поднялась — в который уже раз. С того же места, с дороги. Определила детеныша на время в круглосуточный интернат, а сама опять пошла по той лесенке, с которой слетела, только уже осторожно. Выкарабкалась, навела справки про Николая, куда он сбежал, у шоферов. Помогли, нашли его в Анапе. Не скрыться от нее, от любви — а может, так она называет свою тоску смертную, которая без дела съедает ее. Как паучок, забралась — съехала, забралась — съехала, а потом и нашла тропиночку наверх. Перестала бояться того, что встречается. Нашелся Николай — хорошо, значит, надо ехать за ним. Не нашелся бы — тоже хорошо: значит, уже не судьба.

Поехала, поймала его опять, отмыла от бродяжьей грязи, поговорила — и уехала. Не стала звать. И он что-то понял. Сам вернулся. Сам пришел к ней. Не захотел опускаться. Попросил прощения. Ребенка забрал из интерната. Еще одного родили, хотя вроде как немолодые — не по необходимости, чтоб дети были, а по-другому, чтоб был — не проходной, облюбленный и обласканный.

* * *

Разные бывают характеры и у мужиков, и у баб. Антонина Васильевна Жукóва многих любила, четверых родила пацанов — и всё от разных мужиков. На лицо вышли все непохожи, а по характеру одинаковые — Славик, Сашка, Сергей и Витя. Привязала их она к тайге — без тайги их бы и не выходила в военное-то и послевоенное время. Ребята-то были еще маленькие.

Одну осень сразу после войны только-только и продержались на рыбе. У каждого почти на реке есть свое место, где у кого сенокос, где у кого коренные обжитые стоянки. У Антонины тоже такое было, осталось от отца. Длинный перекат, почти кольцом. В узком месте десяти метров, может, не будет, между поворотами реки, а петля почти с километр. Вот на этой петле был их родовой сенокос, а в жаркое время, днем, перед обедом, проходил ее отец с удочкой по перекату и надергивал котелок хариусов и ельцов на уху. Этот поворот так и звали, по прозвищу отца — Жуков поворот.

С удочкой Антонине было не с руки каждый день бегать, да и времени не было. Сплела она морды, попросила Василия Алексеевича, свекра моего безрукого-безногого, помочь. Он забил под перекатом через реку изгородь. А дальше она уже сама напихала туда веток, обвязала концы березовых сваек расщепленными елочками — сделала плотину и поставила морды, по течению и против, чтоб ловить рыбу, которая то вверх идет, то вниз. И бегала, проверяла раз в день, спозаранку.

Сначала было очень хорошо, уловисто. Тоня даже беспокоиться перестала, бегала — как в рыбный магазин, уже за готовым товаром. И вдруг перестало ловиться. Несколько дней думала, что происходит. На перемену погоды грешила, на дожди, на ветер, на наступающую зиму. Не выдержала, посоветовалась с Василием Алексеичем. Он понял все по-своему:

— Тоня, уезжаю в лесопункт, за деньгами. Вот тебе ружье, устроишь там засаду. Появится кто — первый в воздух, а не поймет — саданешь, куда бог даст. Или меня дождись.

Дожидаться Тоня не стала. Ночью в темноте пришла и спряталась в кустах ивняка. Утром, только-только стало светать, услышала в густом тумане: лодка плещет веслами, поднимается. Видит, плывут двое — мужик взрослый и пацан, подгребают к мордам и быстро вытряхивают рыбу.

Тоня молча встала, выстрелила в борт лодки один раз, а второй раз по мужику. Мужик упал в лодку, а Тоня сказала мальчишке:

— Отца отвезешь домой. А сам смотри, никогда так не делай.

Развернулась и ушла.

И никто ей никогда не сказал хоть слово. Знали все, как произошло, но не спрашивали. По лицу ее знали. Она молчала, и все молчали.

Ребята выросли у нее разные и славные, очень добрые какие-то. Ничего чужого не тронут. Пропадают все больше в лесу, в тайге. Пьют, конечно, но и работают, и мать балуют. Она уже совсем дряхлая, а они ей, как маленькой, все таскают гостинцы от зайца, и все хвастают — кто больше наловил. И мужики стараются кого-то из Жуков обязательно взять с собой. Пусть даже не ловят, пусть только в лодке сидят, да вино

из стакана тянут. Приметили, что с ними — всегда попадается больше, будто заговоренные они какие-то. Будто их Бог поцеловал и дает им за что-то больше, чем другим.

* * *

Алевтина, сестра моя старшая, двоюродная, вышла перед войной замуж за художника Антона. Был такой чудак у нас в деревне, картины рисовал. Мы бегали к нему в гости, чтобы посмотреть эту невидаль — картины. Аккуратные поля, реки, лес. Вроде видишь каждый день, а когда на картине — все совсем другое. Живопись, слово-то вроде загадочное.

Антона тоже сажали: написал он что-то там на плакате к празднику про народ. А потом быстро выпустили. Он вернулся без половины зубов, а все такой же беспутный. Рисовал картины и складывал по дому. Никто их не брал, зачем они нужны, в деревне-то?

Однажды взял Антон, да и стал дом разбирать. Пронумеровал цветными красками венцы, чтоб знать, где какая стена. Решил переехать в город, сплавиться по реке на плоту из бревен и там собрать дом. Может, в городе пригодится его увлечение.

Собрал он Алевтину, детей, картины свои, все уложил на здоровенный плот и отчалил. Мужики только немного подсобили ему, чтоб избавить село от такого никчемного чуда, и разбрелись по своим делам.

Плот причалил к городу ровно утром 22 июня. Антона сразу же взяли в военкомат, и как был, так и отправили на войну. И осталась Аля одна с детьми на руках с этим здоровенным плотом. В чужом городе, без работы, без мужика, без знакомых, в военной суматохе.

Соорудила кое-как на берегу шалаш для детей и вещей, пошла на разведку поблизости. Рядом оказался сплавучасток лесозавода. Не долго думая, устроилась тут же сортировщицей на сплав, а по вечерам прихватывала с собой рабочий крючок и раскатывала бревна. Только краски перепутала, не смогла понять, что там Антон намалевал, — но собрала кое-как дом. Дети все это время жили на берегу, но не болели, помогали мамке чем могли. Вообще, в войну почти никто не болел. Хотя и спали на земле, под снегом на ящиках, но силы были другие в человеке. Так же старые люди вспоминали, что раньше, при царе, редко умирал кто в деревне. Жили очень долго, смерть была новостью, да и другая она тогда была — светлая, спокойная, когда человек проживал все, что положено и отходил в свое время.

Антон сначала писал письма с войны, а потом перестал, пропал. Война кончилась, а Аля все ждала его в этом косопузом домишке, не перекладывала, хотя к ней и подкатывали некоторые — предлагали помочь, и все остальное. Ждала упорно, берегла картины. А он не появлялся.

Ждут тоже по-разному. Некоторые — потому что так надо, не задумываясь, просто ждут. Жизнь проходит, а они так и остаются ни с чем, и иногда совсем зря. Когда любви не было, то и ждать-то зачем? А когда любовь, тогда ничего не страшно. Только это становится ясно в конце, потом, когда проясняется многое, что было ясным, а оказалось туманным.

Антон не вернулся, но не погиб. Однажды встретила она его в городе. Сразу узнала. Увидела на улице. Он, может, приехал откуда-то в командировку, ненадолго. Вел себя не как местный. Немного изменился, конечно, ссутулился, вставил железные зубы. Прошелся по рынку, посидел в парке. Она все тихо шла за ним. Хотела остановиться — и не могла. Страшно было, что прожила в тумане всю жизнь зазря. Страшно было, что вот-вот он ее увидит, скажет что-то обидное или наоборот, смутится. И все равно преследовала. Как будто видела свою смерть, а не могла увернуться.

Покрутился он так, потом пошел в гостиницу на берегу реки, совсем недалеко от их дома, от того места, где они причалили в июне. Вошел туда, а она стояла внизу. Приметила, какое окно зажглось, как он там, внутри, сел что-то читать, потом выключил свет. Взяла камень, чтобы швырнуть в это окно, а потом опустила руку. Развернулась, пошла домой, совсем рядом. И потом все смотрела на это окно в гостинице — его было видно из дома: горит оно или нет.

В войну приучилась она молиться за него, и теперь в углу были у нее иконы. Стоит, молится, а иногда отвлечется — и все смотрит на это окно, будто оттуда он должен снова появиться, вспомнить о ней и наконец-то прийти со своей войны.

* * *

У свекра моего, Василия Алексеича, что без руки, без ноги с войны вернулся (вот кого бы нам царем, — или не царем, так хоть самым главным на время, и был бы порядок в стране полный), у него было еще трое братьев, таких же как он, жилистых, сильных.

У старшего, Александра, родилось семеро детей. Шесть мальчишек и одна девчонка. Самый младший, Геннадий — Геня, если по-деревенски, — всегда был при нем.

Работал Александр в лесу, на подсочке, собирал живицу. Жил там вместе со своим хозяйством. И Геня так и вырос лесным человеком. Все его братья в город перебрались, а он в деревне застрял.

Пробовал сунуться в город, да его, голубчика, быстро вышибли оттуда. Жена его первая, Пида Нина, отправила туда попытать счастья, чтоб потом уцепиться за него да и не сгнить живьем в деревне вместе со всеми. Собрала его аккуратно. Сходила к Юле и Лёне, а к ним как раз друг приехал старинный в отпуск, по грибы-ягоды. Нинка и договорилась с ними на неделю взять напрокат поприличней одежки, чтоб приняли Геньку на работу, встретили как полагается — по виду. А у них только летные костюмы да шинели. Ну и одели Геню в город во все летное, и друга его, Кузь Колю.

Сказали, чтоб прямиком шли на лесозавод, чтоб объяснили: вот, дескать, списались на землю и хотят устроиться к ним. Все это Пида Нина сама и придумала на свою шею.

Приехали, голубчики, в город рано утром на попутке. И первым делом куда? В магазин. А магазины еще закрыты. Нашли какую-то рюмочную,

стоят, смотрят на цены, ничего не понимают: рюмка стоит дороже бутылки. И нет никого. Только тетка какая-то, оказалось, продавщица:

— Вам чего?

— Выпить бы. Здравствуйте!

— Здрасте-то здрасте, а вам не лететь сегодня, соколики?

— Нет, нет.

— Вот что. Что-то вы мне не нравитесь. Рожи у вас какие-то не такие. Что-то вы мутите, дорогие мои.

И не налила им. Бдительная оказалась.

Нашли пивную. А там очередь, человек пятьдесят. Стоят, облизываются. Вроде как неудобно вклиниваться, все же в форме. А кругом народ простой, потертый — кто в чем, в фуфайках, в рабочем. Словом, не к лицу им, летчикам, пачкаться.

Подбегает мужик:

— Ребята, выпить хотите? Давайте, вы мне — на кружку, а я вам сразу, через две минуты вынесу.

— На кружку? Да хоть на две!

Завел он их в подворотню, сам шмыгнул куда-то в забор, где доски аккуратно отчинены. И правда, появился через две минуты с тремя кружками. Стоят, выпивают, только ткнулись своими наследственными деревенскими рубильниками в пену стоячую, а мимо них какая-то компания. Все одеты красиво, в пиджачках, женщина даже в шубке. Идут мимо — и вполголоса, в сторонку, по-городскому:

— Вот так вот нальют глаза, а потом лети с ними! — и шасть туда же, в щелку в заборе.

Геня хотел было возмутиться: сами-то хороши, чуть что — с кормы подлезают, а Кузь Коля остановил: еще выяснится, что они не летчики, только хуже будет.

Плюнули, пошли куда глаза глядят. Денег еще немного осталось. Смотрят: очередь в ресторан. И опять какой-то мужичок подбегает, хватает за руку:

— Орлы! Место сейчас организуем, за мной!

Раздвигает очередь и впихивает их внутрь. А они-то не знают, в чем дело; думают, что с летчиками так себя все в городе и ведут. Попались. Ведут их в отдельный кабинет, накрывают стол. И тут падают напротив две девки. Заказывают себе скромненько по салатику, что ли — и закуривают. Наши-то, чтоб не оконфузиться, конечно, шампанское, конфеты, разных там миног маринованных поназаказывали. В общем, клюнули, голубчики, на наживку.

Эти, нахалки городские, хвостики подняли, как на свадьбе собачьей сучки, а сами накинулись, все подмели, выпили, дело идет к концу. К самой развязке. Уже чуть не прямо здесь, в кабинете, лезут к ним эти кошки крашеные. И тут Кузь Коля все же осмелел как-то, отвлеклись они на секунду, он Геньке-то и шепнул:

— Иди в гардероб, бери обе шинели и выходи, будто подышать. А я останусь, отвлеку.

Геня, который от тоски уже чуть выть не начал, кивнул, да и пошел:

— Я отлить.

А сам в гардероб, взял шинели и на угол улицы встал. Выбегает Кузь Коля, а за ним мужик, тот, что их завлекал, а за ними еще трое. Ну и все бежать кинулись. А тут Кузь Коля и кричит на бегу:

— Мы все же летчики — или как?!

Развернулись да и пошли месить, метелить городских. Самим попало как следует, но четверых уложили. Не зря по тайге шатались, силы набирали. Короче, дали пощупать этим шавкам твердую жесткую руку, показали, как летчиков обижать. Только маленько форму уходили.

Вот так бы и вернулись домой ни с чем, победители. Да взяла Геню нелегкая. Девчонка одна на автостанции то ли мелочи попросила, то ли на хлеб ей не хватало. А он взял да и пожалел ее — летчик не летчик, а человек в своих глазах не последний. И решил взять ее, Нельку, детдомовку, с собой, осчастливить хоть одно существо на свете своей нерастраченной любовью.

И так и заявился обратно, с Нелькой. Отправил Кузь Колю к Пида Нине с шинелями, чтоб та постирала от крови, починила да Лёне отнесла. Коля еще спросил у него:

— С Нинкой-то что всё, в споре теперь?

— А не знаю. Наверное, в споре.

— Ну и ладно.

Коля шинель-то одну одел и пошел к Нинке объясняться. Как и что получилось. Рассказал все, как было в городе, и сидит, ждет чего-то. Нинка сначала психанула:

— Ой, пойду ей, стерве, все волосы-то повыдергаю!..

А Николай все сидит виновато:

— Нин, ну че ты? Ну че ты, Нин, а? Ну ты же сама нас послала... А Нелька-то, она детдомовка, стриженая. И волос-то не вырвешь... Ты ж сама нас послала...

— Послала, да не туда! Не туда надо было вас послать, козлин!..

Ну и разного всякого. Потом плакать стала. Кузь Коля совсем сник. Геня его втравил во все это дело, а как выпутываться, не поймешь. Ну и стал жалеть Нинку, гладить. А она возьми да и кинься к нему. Совсем все перепуталось.

Наутро по возвращении Генька прознал, что наши собираются что-то строить. Пришел напрашиваться. Успел, а то полдеревни мужиков уже думали, кого возьмут, — работы-то нет. А он же по-родственному, право имеет первый. И Нельку с собой взял. И два топора сразу прихватил, чтоб, если возьмут, начинать, не откладывая работу. Взяли. Моито, конечно, не знали про все их похождения, просто знали, что, если Геня не пьет, то работает хорошо, вот и взяли. Договорились только денег вперед не давать, а так покупать продукты на прожитье, рассчитаться в конце — и лучше вещами, может, даже на бензопилу хватит. Как обычно в деревне: дашь денег — и больше не увидишь работника, какой бы ни был.

Сразу же тут и взялись окаривать бревна, пролыску делать. Геня ворочает, Нелька, как умеет, помогает, хотя взяли только Геню. Нелька старается, хочет и ему, и остальным показать, что не зря хлеб ест.

И тут Пида Нина приходит. Вроде как погулять вышла. Одела красные сапожки, платье самое красивое. Стоит вроде как в стороне. Ножкой бревно подопнет — и как бы скучает.

Геня не выдержал:

— Ты че?

— А ниче. А ты че?

— Я-то ниче, работаю. А ты че пришла?

— Гуляю вот. А это кто?

— А не твоего ума дело.

— А че это не моего ума?

— А то.

Неделю так они работали. Геня с Нелькой, которая вовсе просто так ему помогала, бревна катают. А Пида Нина приходит и ногами дрыгает. И Кузь Коля, вроде как невзначай, поодаль стоит, на углу, сторожит чего-то, ждет, чем все кончится и какую ему судьбу дальше ожидать, какой приговор будет.

Приговор вышел простой. Помаялась так Нинка, потом плюнула, подперла лавкой дверь в дом, да и уехала сама в город. Не выдержала, что Нелька, как собачонка, молча бегала за Геней, да все делала, что он скажет. Нашел он себе, кого искал.

А Кузь Коля так и остался один. Терся вокруг мужиков на стройке, ждал, что позовут, а не позвали: что там всей толпой делать, когда работы на пять человек, и то много. Пригождался он только по особым случаям, когда что-то ломалось в механике. Сломается у какого пацана велосипед или мопед, он тут же берет сломанный подшипник или какую деталь и говорит:

— Подожди! Я сейчас... — и идет домой. И приносит такой же, почти как новый, в солидоле.

Вот он и ждал около стройки: вдруг стартер у бензопилы полетит или цепь. А может, хотел с Геней объясниться насчет Нинки и всего остального, что было. Растерянный какой-то стал. Потерялся после этого города несчастного. Будто взрывом всех их поранило, а его задело осколком каким-то. И не выдержал, запил. Пил несколько дней самогонку, потом еще какую-то химию — и не смог остановиться. Сердце не выдержало.

Геня пришел на поминки с Нелькой, посидели, выпили немного, закусили, уже собрались уходить, а тут мать Колина позвала его в сторону, говорит:

— Геня, он все хотел тебе показать, да боялся. В подвал спустись, посмотри сам. Выбери, может, тебе надо чего.

Геня полез в подвал и чуть не упал от удивления. Сделал Кузь Коля в подвале здоровенный склад и мастерскую, все детали под номерами по полкам по ящикам с надписями, все аккуратно, будто самолет в наборе,

россыпью. Все смазанное, готовое к работе, — начинай жить, собирай, лети куда хочешь. Никто не знал про этот подвал у Коли. Догадывались, что что-то не так у него в характере, а что не так, только сейчас и выяснилось, когда уже поздно было.

Посмотрел-посмотрел Геня на все это богатство, на все это подземное царство, да и сам чуть не запил с горя от своей никчемности, что вроде все есть, а ничего нет.

Пида Нина вернулась из города уже лет через пять. Осунулась, поскромнела, повяла ее красота. Отвалила лавку от двери, вошла и стала жить тихо. Встречала Геню с Нелей, здоровалась равнодушно как-то, будто забыла все. Будто поставила на себе крест, на своей жизни.

Про подвал Колин мужики прознали и стали заходить к матери его то за одним, то за другим, пока все не растащили и ничего не осталось. Только Нелька все ходит и ходит за Геней и молчит. Иногда, в магазине или в очереди за пособием, назовет его «мой» или «он», никогда по имени — а так, как, наверное, собачонка про хорошего хозяина думает, как про Бога.

Церковь-то достроили, открыли, а Геня туда и не заходит почти никогда. Только денег стрельнуть на хлеб или попросить что. Или когда раздают всем воду или вербы, тогда придет взять, что дают бесплатно. Наверное, характер такой, слишком лесной, нелюдимый.

А Нина приходит иногда по праздникам или на родительскую субботу. Тоже помолчит, помолчит, да подойдет к Николаю Угоднику, пожаловаться на что-то или чего попросить, а может, за Колю переживает и никак не может пережить.

* * *

Всего одна война была у нас на Севере, Гражданская. Еще вроде, по летописям, говорят, доплывали сюда викинги — воевать Железные ворота в наших краях, да не смогли. Археологи копали эти городища, писали в районной газете наши местные следопыты про этих викингов, про то, что село наше еще до основания Москвы уже было благодаря этому известно. Да только что толку — Москва уже совсем отдельное государство, а село наше все растет, только в другую сторону. Осталась теперь одна пунктирная строчка-ниточка домов, такую ни на одну карту не нанесут. Идешь и не замечаешь, что домов все меньше, что отовсюду, с любого места уже видно близкое кладбище.

В самом центре, на неудобном для машин повороте с низкой черемухой, стоит еще красивый дом Клавдии Алексевны, нашей учительницы. Хлебнула она горя от той самой единственной Гражданской, потому что отца ее прозвали бандитом.

Странная это была война. Все людям было в дикость. На красных комиссаров — с чужим выговором, в кожанках — так и смотрели, как на живых чертей, как на восставших откуда-то демонов: не то появились они из-под земли, не то стадо свиней обратно из моря вышло... А то

безумие, что творилось — грабеж, убийство, насильство, старые-то люди иначе как конец света и не пересказывали: навалился зверь — и пьет кровь, как собака.

Сопротивлялись по-разному. Советская власть в нашем селе установилась совсем не так, как писали эти победители. Принимали ее нудно, голосованием. Только в середине тридцатых и проголосовали за нее, когда батюшку расстреляли, матушку его, еще многих других. Только так и прошло у них это дело, когда кровь повысосали. А так люди все время шарахались от них, от демонов и агитаторов.

Алексей, отец Клавдии Алексевны, которого записали потом в белобандиты, сопротивлялся по-другому. Не молча. Женился он тогда как раз. В самом начале революции. И мог бы жить себе, как все, спокойненько, да только не выдержал. Пришел домой после всех этих листовок и разговоров — и дрожал весь. Молчал и дрожал всем телом от неправды. И голубку свою, Катерину, не мог любить, просто лежал, сцепив зубы, и весь трясся как в лихорадке. У нас многие от неправды болеют телом и сердцем. Она уже думала: болезнь, малярия или падучая так начинается.

А Алексей встал, успокоился, пошептался с дружками. Набрали они человек двенадцать, взяли ружья свои охотничьи да и пошли к красноштанным разбираться, что это за вранье, когда кричат про мир, про долгожданный конец войне, а войны-то никогда и не было, орут про землю, а земли кругом — бери сколько хочешь, пищат: власть народу — а как же царь тогда?

Ну и прознали красные про то, что Лешка идет к ним разобраться да поговорить. И как были, побросали пьянку, удрали в другое село, даже пушку свою оставили. Триста человек вроде как их было — ходили по селам, пили самогонку, дома потрошили да девок портили по стогам. Не все, конечно, но некоторые, с попутчиками особенно, которые худо-бедно одну коровенку еле держали по лености и ныли про тяжелую жизнь. А что им еще, бездельникам да болтунам, было надо? Поговорят, поорут, головы задурят — и по своим поросячьим делам. Словом всегда у нас и добивались своего. Крепким словом, настоящим, утвердительным. Или наглым враньем.

Пошел Лешка со своими догонять их, а они разведку выставили — и опять деру. Так и бегали. Вот тебе и война гражданская. Лешка власть почувствовал, приодел своих уже получше, порядок навел. Признавать-то его признавали по селам, но только людей-то у него не прибавлялось. Сколько сразу пошло, столько и было, двенадцать против трехсот. Мало кому хотелось умирать неизвестно за что, за правду против вранья. Отсидеться хотели, хотели жить спокойно. Боялись. И носили донесения, кто куда двинулся. Даже когда он один ездил.

Каждую субботу ездил домой, без провожатых, в баню, а в воскресенье — в церкву. А после обедни уже к своим, на войну, туда, где они стояли. Вот такой был бандит. Знали ведь, что он один и без охранников, а не трогали — боялись, трусили. За новую жизнь-то, неизвестную,

мало кому хотелось рисковать. Отобрать толпой лошадь или корову или сожрать что чужое, на то и хватало ума. А под пули сильно не хотелось.

Клавдию-то Алексеевну Алексей и соорудил однажды вот так же. Приехал, помолился, помылся, посмотрел на свою нецелованную нелюбленную женку, да и отпустило его, встало все на места. Бывает и так — пока мужик не поймет, что да как на этом свете, пока не попробует что сладкое, а что горькое, что правда, а что вранье, пока не полюбит белый свет, как он есть, пока не пострадает — так и не сможет бабу по-настоящему полюбить. И наоборот, пока не саданет его по сердцу до крови любовь к кому-нибудь, так и кругом ничего не сможет полюбить, будет маяться зря, мучить других. И Клавдия-то наша Алексевна, получилась от такой любви, военной. Это по глазам видно было всегда, только мы еще не замечали этого.

Вскоре с юга пошла другая сила, как туча, как саранча, и красные-то осмелели, так что пришлось Алексею по ним пару раз из пушки даже пальнуть. А потом отходить он стал, на Север, пока не дошел кругом до Архангельска. И, говорят, уплыл куда-то, в Англию или в Америку. Не слышно было о нем больше ничего.

А Катерина родила Клавку, дочь бандита, и ни разу его худым словом не помянула никогда. Жила совсем одна, как немая и глухая. Ходила только на службу каждое воскресенье, пока церковь открыта была. Да, наверное, и встречала там его, и видела его. Не там, так потом, во сне. Не бросил ее, дал росток, от которого дальше пошли веточки зеленые.

Написал раз кто-то в районке про те времена, про отца Клавдии Алексевны, когда она уже учительницей стала. Пришла она в класс. Мы молчим, не знаем что сказать. Страшно хоть как-то обидеть человека, а тут через газету такое, на весь район. Ждем, может, заплачет или злость сорвет на ком-то — мы поймем.

А она села, стала смотреть на нас долго. Потом сказала:

— Вырастете, никогда так не делайте.

Мы и сами растерялись — а нам что сейчас-то делать? Помню, встала Верка, наша председательница, «совесть класса», подошла к Клавдии Алексевне и сказала:

— Да, Клавдия Алексеевна. Мы обещаем. Мы так не будем.

И села на место. И урок дальше пошел: Тарас Бульба, сын, предательство, любовь молодой красавицы. Все как всегда, и по-другому.

* * *

Верке тогда сильно попало за ее «да». Изгнали со всех командирских постов, придирались потом до конца школы. А она все равно выросла такая — и прямая, и безотказная. Самая красивая была, а стала простой дояркой, родила свою Пида Нинку непутевую. Идет мимо дома на повороте, всегда остановится, пару слов скажет Клавдии Алексевне и дальше топает. Ни разу не осудила никого, ни пьяного, ни дурного. И отказывать не научилась, всем уступала, не спорила — до старости слово

держала. Даже если отказать надо, все равно сначала скажет «да», а потом уж повернет куда нужно.

Мужики от этого ее «да» сильно пострадали.

— Любишь меня?

— Да.

— Пойдешь за меня?

— Да.

— А как обманешь?

— Да.

Всё — «да». Даже ухватиться не за что. Так и мазали, как сквозь воздух, не могли поймать Верку-то, уцепиться за что-нибудь.

Однажды поехала она в город, на мясокомбинат, телят сдавать. Ну и повезло, без очереди ее приняли, и освободилась быстро. Времени еще осталось до отъезда. Шофер пошел искать какие-то запчасти, а ее высадил у автостанции. Походила она туда-сюда, поглазела, слышит: музыка. Ну и пошла на нее. Сидит парень в военной форме, в очках черных, играет на трофейном аккордеоне. Перед ним коробочка для денег и фуражка рядом. Вот стояла она, стояла, слушала. Долго слушала, как он играет. Потом, когда все разошлись, он еще посидел сколько-то молча, а она стояла, притаилась, смотрела на него. Слышит он, вроде нет никого, стал собираться, деньги ссыпал, аккордеон уложил в футляр, закинул за плечо, да и пошел. Прямо на нее. А она стоит от страха как столб. Ну и наткнулся он на Верку. Чуть не упал. Упал бы, если б она его не поймала за руку. Кто там кого поймал — не поймешь.

Так и увел он ее к себе, на окраину, в каморку какую-то, молча. И она, корова, молча прет, не знает, что делать. Хочет чего-то сказать — и боится.

Зашли к нему, он вещи отложил, стал обед свой разогревать, поставил две тарелки, накормил ее. И сидят. Нинка говорит: спасибо.

А он вроде как и не слышит, только сидит. И уйти надо, и жалко что-то его стало. Протянула руку, погладила по щеке. Ну и он протянул. Так все и произошло у них, безмолвно, ни да, ни нет. Верка помнит, что только плакали оба, как дети.

Потом оделась она и убежала. И дорогу не запомнила.

И понесла вот так Нинку.

Как родила и встала, ездила еще в город. Останавливалась специально на автостанции, но его уже не было. Спрашивала, где он, и вроде сказали ей, что уехал куда-то в Воркуту: там легче прожить, денег больше. А где он жил, так и не смогла вспомнить — ни туда дорогу не помнит, ни обратно, все как во сне было, как в сказке про однодневного мотылька.

Вот так и прожила. Больше у нее ничего и не было. Может, и хотела б Верка, чтоб было, только попадались все какие-то разговорчивые да зрячие, куда бы подлезть и как бы залапать. Так и осталась со своей слепой любовью на всю жизнь.

* * *

Старые люди ушли. Их так называют не по возрасту — они из той, старой жизни. Которая была совсем другой. Нынешние пожилые уже не те, хотя помнят про тех, старых. Те бы встали сейчас из своих могил и надавали бы нам по шее. За нерожденных детей. За обветшавшие дома, за то, что почти нет новых улиц, свежих, приготовленных для стройки бревен, крепких, с раннего утра снующих по дворам мужиков. За нелюбовь, за нелюбимых, живущих с нелюбимыми. Вот они-то сказали бы нам, покачав головой, что то, что мы еще любим кого-то, — чудо, потому что понятия не имеем о любви — об их любви, из которой мы родились. Из которой мы должны были выйти красивыми, всегда молодыми, любящими друг друга — а не такой умирающей нынешней толпой.

От них остались деревянные, интересно загнутые инструменты, старые охотничьи лыжи, разобранные и уже ненужные ткацкие станки, разная ветхая берестяная утварь, зарастающие глубокие ямы за огородом — для того, чтоб замачивать лен. Теперь этого уже не делают — идут в магазин, берут в качестве одежды, не задумываясь, всякую всячину. А раньше по одежде можно было прочитать все, как баба жила. Сарафан был, как жизнь в картинках, — можно было одним взглядом прочесть, когда вышла замуж, сколько детей, сколько мальчиков, девочек, сколько коров, да всякое разное, кроме узоров, еще наносили. Шитое золотом, как у других, как у всех, — и единственное, и неповторимое, как жизнь, платье. Вот что было у старых. И еще работа. И еще дети. И любовь, другая, нам не понять, потому что она была горячая-горячая, а теперь охладела во многих.

У прабабушки моей был такой сарафан. И одиннадцать детей. И каждой в приданое дала по корове. И жизнь чистая, светлая, тихая. В сто два года, уже перед самой смертью, не сидела она дома, выходила с граблями во двор, ворошила сено и улыбалась молча мне, солнцу, прохожим. Что она могла сказать мне, беззаботно скакавшей в мужском пиджаке с чужого плеча? Что бы я смогла понять про ту ее жизнь? Что я приобрела и чего лишилась, когда у меня уже не стало никакого такого платья с вышитой своей жизнью? Я и не расспрашивала ее ни о чем. Жалею сейчас, потому что сейчас-то, может, и смогла бы понять, а тогда все равно бы не поняла ничего.

Раскапывают археологи рядом с селом какие-то бусинки, крючки огромные на рыбу — видать, ловили тысячи лет назад по-другому, не так, как сейчас. Какие-то украшения, пряжки — звериный стиль, говорят. Достанешь прабабушкино платье, посмотришь и вздохнешь: от нас что останется, что раскопают такого, что мы сделали своими руками и как-то рассказали про свою жизнь? Ничего. Зубные пластмассовые щетки да перегоревшие электрические пробки... Ни в чем мы не рассказали о своей жизни, о своем счастье. Ни в одном предмете не рассмотрели свою жизнь, только в скотину-телевизор пялились, и горело все наше прошлое синим огнем.

Оскудели, измельчали — вот что такое мы по сравнению с ними, со старыми людьми. Не они старые, мы старые по сравнению с ними. От них осталась любовь — мы, еще какой-то слабый отпечаток на еще зеленом полотне земли. Только вышиты мы не золотом на этом прекрасном фоне, мы бегаем, как бессмысленная толпа овец без пастуха, и почти ничем не выделяемся, каждый в одной и той же бессмысленной пустоцветной одежке.

* * *

Как цепочка, за любовью все тянется, одно к другому прикладывается. Оборви это звено, и все посыплется, как бусинки. За ней вера и верность рядом, бок о бок. Потеряли веру, потеряли и верность, живут как во сне, только чтоб не пил сильно, или уж пил бы, так под присмотром. Осунулись, постарели еще молодыми, силы свои потратили на что-то серое, бестолковое, это когда без любви. А она что-то все реже выглядывает, как солнце спряталось за тучами. Ослабели мужики к любви, к настоящей, вот и заволокло все тучами, проиграли войну. Инвалидная команда... Любовь и калеку делает человеком, и слепого зрячим, и безрукого-безногого орлом, а нелюбовь и целого уродует. В этом вся наша нынешняя убогость. Обрежь эту жилочку в человеке — все остальное само порвется, будет, как кукла тряпичная, лежать в углу, вместо любви и уважения, подсчитывать все одно: водка да деньги — сколько их можно на нее перевести.

* * *

Мой-то победил в этой своей войне, все же бросил пить, буянить, кричать про любовь в угаре. Хоть и перед концом жизни, а победил. И сейчас я все переживаю — угасал он от рака легких, а я не все сделала для него. Мыла, переворачивала, протирала пищу, а он все только смотрел и не жаловался и от наркотиков отказывался наотрез. Угасал тихо, а я теперь каждый день вспоминаю, все ли сделала. Вспоминаю, что не все мы успели.

Однажды попали на реке перед грозой на яму. А там огромная щука у него клюнула — и живца унесла. Он меня посадил еще живцов ловить, а сам этой щукой занялся, хитрющей. Выплывет она, схватит рыбку, утянет в глубину, а он ждет: когда она заглотит. А щука-то и выплюнет — или откусит ровно между тройников. Штук двадцать тогда ельцов мы перевели на нее, и она все время выходила из глубины — так страшно — и скрывалась. А потом гроза началась, и после грозы она уже не показывалась. Он мне и сказал, что мы ее еще успеем поймать, что она от нас не уйдет, — мы еще вернемся. Вот только когда, думаю я теперь.

Вернется, всё вернется... Но когда, и куда, и к кому? И кто выдержит это возвращение, а кто и нет?

ОСТРОВ ГДЕ-ТО ТАМ

* * *

Подгулявшая засветло, вспять вернулась уж запоздно, осень.
Возвращалась окольно, в не ждавший ненастья покой.
Серый холст. Частый дождь. Одиночество песье.
Протрезвела. Дошла. С поднебесной пирушки — домой.

Спать ложась, осень ставни надежно закрыла.
Вздула жаркий, поярче, огонь. Охладела душой.
«Время. Хватит. Пора. Погуляла» — решила:
«Листья прочь. Небо в наволочь. Снег небольшой».

Пес все выл под окном, замерзая и жалко лютея,
Все пытался то лапы, то голову в лапах согреть.
Все скулил по себе, одиноко, как куст, коченея:
«Не размыкать теперь! Видать, без ночлега терпеть».

Дождь косил, понукая коней деревянных на крыше,
Ветер псу городил, завывая про зелено, сыто-тепло.
Осень сон приняла. Пса впустив, повелела улечься потише.
Он мертвецким засыпался сном. Становилось светло*.

* * *

Наскучив прозой, я вяжу стихи. Веревкой — плот.
Простец! То рифм узлы туги, а то слабы и рвутся.
По бревнам же, развалистым какой уж ход:
Стопа чуть вкось, шатнет: и мигом разойдутся.

---

* Впервые опубликовано в составе рассказа «Москва со знаком штрих» — «Нева» № 4, 2004 г.

Владимир ХОЛКИН — родился в 1946 г. в Приморье. Закончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры. Статьи и проза публиковались в журналах «Звезда», «Континент», «Нева», «Новый мир», «Русская литература». Живет в Великом Новгороде.

Взбесившись и посетовав о том, что невдомек
Тащиться порезвей скрипучим рифмам,
И скромности силенки подсобрав,
Я перед рифмой смирно повинился.
И *белым* я *путем* тогда пустился,
Едва прикрыв лоскутным ритмом прозу.
Так вот, однажды...

Среди метельных улиц заблудясь, я выбрел на дворовый сквер.
Там, в путах ламп, измазанных гуашью, лохматая торчала елка.
Вокруг, как стрелки на часах, сновали дети. Стаей. Норовя плясать.
Я стал наигрывать. Сначала сторонясь, они взирали на мои ужимки.
Но скоро вскинулись. И стрелки понеслись, а с ними я — секундной.
Сгустились сумерки, потом огни сгустились, и дети, уморясь, ушли.
И я, меха еще не сдвинув, понял, что елке стал не нужен без детей.
Хмельной, с гармошкой сиплой, нарядной не пришелся одиночке.
С досадой мы смотрели друг на друга, с досадой и тоскою. Пусто.
Взбрело тогда на ум мне: севши в поезд, там встретить день и год.
Полтьмы тех убыло уж поездов. Отгрохотало лет и электричек.
Встречалось дней: то голых, стриженых, а то и вдрызг лохматых.
Добро их растеряв иль промотав дотла, я потерялся на путях и сам.
И закатился, было, в щель, где и потеря кажется находкой.
Но раз, спустя другую тьму утрат, мне прилучилась встреча:
Лесной пригорок. Одуванчик. И — тянущаяся к небу елка. Без гуаши.

* * *

Сестре

Сощурившись на фоне Нотр-Дам
И голову склонив к плечу с улыбкой,
Она Париж, как остров Где-то Там,
Оглядывая, слушает волынку.

Еще ей грезы даже не пришли
Шотландии, с столицей в Эдинбурге,
Еще на стапелях теснятся корабли,
Еще у всадника в тороках бурка.

Но звук волынки стелется окрест —
Густой, протяжный, медоносный
И шмелем собран за один присест
И чудный дух и взяток плодоносный.

Дух, взяток, дар судьбы иной,
Которая, за муки претерпенья,
Пошлет той женщине с лихвой
В самой Шотландии волынки песнопенья.

* * *

По улицам едва перемогался март,
Все норовил из февраля на волю.
Месился, как валет в колоде карт,
Беспечен был: лишь королям недоля,

И непоседлив, все ему не впрок:
Торопится теплеть, но жаль морозца,
Спешит с подснежником, да об порог! —
Порожистые тучи скрыли солнце.

Вот потому-то март и улетел в апрель,
Наскучив пестрым лоскутьем погоды:
Апрель — свирель, капель и Лель — апрель
Так иды мартовские тянутся к теплу и годы.

* * *

Наташе

Сесть в электричку ранним утром,
Идущую на Павловск прямиком,
Почувствовать, как мыслей сонных ком
Сползает к сердцу, и понять нутром,

Что женщине задумчиво неспешной,
Которая к тебе однажды снизошла,
Лишь глубь воспоминаний помогла
Найти тебя на дне. В норе кромешной.

* * *

Зима, потуже шапку нахлобучив, свернулась калачом, и — в сон.
Спит беспробудно, взявшись — трехдневною уже — щетиной снега.
Но осень от озноба разве чуть оторопела — и ну опять канючить.
Впрямь малолетка-нищий, что жалобит квартального слезами.
Голодные проворные синицы, уж было запоглядывали в окна,
Но снег подтаял, развиднялись крошки, и вновь синицы мимо.
Деревья черными стоят. На изготовку. Сжались.
И недаром. Мороз не преминул. Однажды ночью.
Поутру черноты как не бывало:
Иссиня-белы стынущие сучья.

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ

Долговая повесть

Кипарисовые руки

На крыльце стоял сундук... Увесистый, с жестяными углами и ободьями, несносимый, какими отоваривались на Макарьевской ярмарке перед коренными событиями, сопряженными с расширением жизни: свадьбой, родинами, обособлением поколений в отдельные кланы. В связи с усыханием корня и жилищного пространства сундук и переместился ближе к выбросу — на дощатый крылечный помост. Здесь прошла примерно половина детства, но «пойдем на крыльцо» — такого выражения в обиходе не было. Было: «пойдем на сундук». То есть макарьевское вечное изделие сохранило доминантные признаки и на периферии бытия. А искать в нем, тысячи раз перерытом, клад и прятать в его бездне, среди рухляди, не донесенной до помойки, свои временчивые сокровища, было для нас делом естественным, не дебатируемым.

Ниже сундука метрах в трех — и то едва — находился подвал. Вернее, та стена подызбицы, в которой, по мере обострения квартирного вопроса, пробили два оконных проема первопоселенцы: при старом режиме нижнего жилья не было. Дом хоть и ставили подвалистый, да для других целей — чтоб запасы держать. Наши хоромы были в купеческом домовладении явно парадными, а напротив, торец в торец — помещения для хозяйства, со справами всякими.

Кто думает, что в этой стране побеждает та или иная политическая система, тот и есть носитель пресловутого «гордого взора иноплеменного», подслепого и затменного. Здесь соревнуются и конкурируют системы вымыслов или проекций и побеждают на неопределенный срок модели литературные, часто ценой гибели авторов. Мое детство протекало в торжестве системы Зощенко, о чем я, конечно, не подозревала. А Зощенко, мятый и клятый, незримо царствовал в космосе моего первобытия, в термитнике двора с множащимися клетушками пристроек к домовому стержню.

Александра Ивановна всегда сидела у подвального окна. Жизнь шла под ее оком, бдящим, однако, совсем не за нашим сундучным досугом, а куда-то, как я теперь понимаю, внутрь. Просто — тяжкий хронический астматик — она искала другого воздуха относительно наполняющего ее

Марина КУДИМОВА — родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Поэтические подборки, эссеистика, литературно-критические статьи публиковались в центральной периодике, в том числе и в журнале «Континент», автор пяти стихотворных сборников. Живет в Москве.

землянку или простого отвлечения от бездыханной муки. Но целиком и полностью со своего абсолютного низа она могла наблюдать только ракурс сундука с отроческими вокруг него безобразиями, поскольку сундук благодаря крыльцу находился высоко над уровнем ее астматического моря. Остальное человеческое мельтешение она созерцала не выше колен, если, конечно, не встать на стул и не высунуться из подвала по пояс. Но это было весьма проблематично ввиду отсутствия правой ноги, именно по колено и отхваченной во спасение от саркомы.

Так — макарьевским сундуком и Александрой Ивановной в окошке — детство и отпечаталось на сетчатке души. И еще. В отличие от всего взрослого мира, демонстрирующего ребенку как бы разрез мирового зла, Александра Ивановна осталась уникумом другого общения маленьких с большими — безгневного, беззлобного, не уничижающего. Уж хотя бы количество попаданий в ее окно — считай в лицо — нашего перпетуумного мяча, кажется, даже по ночам не снижающего амплитуду безумного прискока, должно было перейти по Энгельсу в качество визгливого крика, апелляций к родительским ногам — выше не углядишь. Нет, — сколько раз попадал, столько и возвращался. Сколько сбил горшков с геранью, столько, как по волшебству, склеилось без швов. Ну разве в полной засаде прокомментирует: «Ах, вражеская вы сила!» — так это ж в обиду не ставится.

Должно быть, во время очередной передачи мяча я и увидела ее руки. Точно такие же три десятилетия спустя были у коптского епископа — точь-в-точь — кипарисовой смуглостью, смычковой длиннопалостью, узостью ладони, которой заведомо велика любая перчатка. Только если у абиссинца это родовой и пустынножительный признак, то у русской бабы-то откуда? От ухвата, от кочерги, что ли? И у епископа пальцы были подвижны, перебирали четки и складывались в благословение, а у Александры Ивановны — остановлены ревматизмом, но не обезображены, — неужели недуг отступил перед красотой? — и неподвижностью, статичностью еще более напоминали кипарисовый складень.

Соседей по зощенковскому замыслу было много. Но стена об стену, бок о бок — только смешливая Люся. Я больше не слышала, чтоб так смеялись, — с соловьиным заливом, коленцами, выходами. В состязании хохотунов любого уровня первенство Люсе было гарантировано ее чистой — может, и в ущерб глубине — природой. Кургузенькая, квадратненькая, отрожденно спортивная, она учила меня кататься на коньках — безуспешно — и плавать, в чем я тоже так и не составила ей надлежащей конкуренции. Своих детей Люся не родила: встал в укор ей первый аборт, сделанный криминально после того, как польстился на нее родный батюшка. И звала меня Люся смешно, себе в удовольствие, в соловьиный взрывной залив: *головастичек*. По любому поводу: «Маленький ты головастичек!» — и зайдется, закатится. У нее и фамилия была подобающая: Закатова. Люсю перерезало винтом моторной лодки, когда плыла она безоглядными саженками через речную прорву. Комнатка ее — стена об стену — освободилась. И въехала туда через

отведенные полгода Александра Ивановна, миновав крыльцо с сундуком. Когда поднималась, хлюпая протезом, погладила жестяной угол, поздоровалась: «Вот и посижу теперь на тебе, нагляжусь отсюдова на свою землянку». И принялась отдыхиваться, воздух со свистом мерно набирать и коротко отдавать, как велосипедный насос.

Любите ли вы театр, как не люблю его я? Не люблю до в общем-то не свойственной непримиримости и невосприимчивости, какая бывает к наркозу. Александра Ивановна любила театр, как оказалось, прямо по завету Белинского: в его назидательной, учительной, морализаторской ипостаси. Когда позднее я уже езживала в Москву на первые таганские премьеры (плацкарта за три рубля) и пыталась объяснить ей, отчего люди ночами стоят за билетами на ужасающе безвкусный (и на тогдашний мой, глубоко потаенный, взгляд) спектакль по Джону Риду, она только губы поджимала, негнущиеся кипарисовые руки запирала замком и говорила:

— Выучились на катях бряхать! — так всегда говорила она, сталкиваясь с самостным экспериментом, выдаваемым за общественную потребность, хотя к нашим с сестрой наряжаньям из серии «голь на выдумки» относилась снисходительно как к издержкам молодости.

Нет, не такой театр любила Александра Ивановна! Сценическое действо всякого рода называла она «постановкой». Никогда — «спектакль» или там «представление». В живом театре она бывала давно — до отнятия ноги, но — по ее словам — регулярно: на заводе, куда сбежала от ломовой деревенской работы и голодухи, билетами поощряли за ударничество. На все премьеры в областной вертеп хаживала. «Анну Каренину» с престарелой народной артисткой Огонь-Догановской (сохранились еще таковские антики на провинциальной сцене) смотрела «разов двадцать».

Бывало, ворвешься с улицы с трубным голодным кличем, а она сидит, приникнув к однопрограммному репродуктору общего пользования, кашель сдерживает. Протянет свою смуглую руку-дощечку, осаживая: «Не шуми! Постановку передают». А там по сотому заходу не опасный для передового учения Шеридан — Яншин сипит, Андровская подсиропливает: «Го-лу-бок и го-о-рлица...» Вздохнет Александра Ивановна, через скупые свои бронхи дышку выпустит: «Ох, Царица Небесная! Как играют!..» Превыше всего в этом сомнительном ремесле она ценила артиста, лицедея, искусство его обожала — в самом религиозном смысле. Как правило, этим отличаются натуры, по каким-то причинам не реализовавшие аналогичный талант, но избежавшие зависти к чужому фарту. Для меня что тогда, что теперь, — ряженые да дурногласые, ничего более. Лучше книжку почитать. Но Александра Ивановна собственный артистизм мхатовской, далеко пережившей себя школой выверяла, удостоверяла, к себе относясь с русской самоедской насмешкою.

Она была одарена талантом лицедейства в первозданном, не искаженном казенной эстетикой смысле — способностью изображать *в лицах*, перевоплощаться. Никто из трансвестических так называемых пародистов близко к ней в этом не подошел по сию пору. Александра

Ивановна если и шаржировала изображаемого, то с упоительным чувством меры и такта, которым ни в какой школе-студии не наставишься. Ей достаточно было одного штриха, словца, гримаски, чтобы человек получился как живой, только острее и характернее. Никогда она не ломалась, не зажималась на столь естественные просьбы порадовать талантом публику: «Александра Ивановна! Ганю покажите». Ганя приходилась ей золовкой и соседкой по подвалу. Отличалась она тем, что самые обычные слова произносила на свой аршин. Например, глагол «пробовать» переиначивала в «прогывать». И т.п. Александра Ивановна, ни минуты не беря для настроя, округляла весьма худощавое лицо (у Гани к природной одутловатости подвешивался вечный подвальный флюс), суживала прекрасные черные глаза, так что радужка явно обесцвечивалась, и гнусаво тянула: «Мидо-о-о-ры-ы...» Так стихийная авангардистка Ганя чекрыжила «помидоры». Картина перевоплощения не требовала никаких добавлений и уточнений. Будучи в ударе, примадонна (протез роднил ее с Сарой Бернар) выдавала и большие жанровые сцены, как правило, из жизни наших соседей по коридору Анны Никифоровны и Афанасия Герасимовича — Ксантиппы и Сократа дворового розлива. Думаю, что Жванецкий со товарищи, услышав эти импровизации, как честные граждане отказались бы от ряда правительственных наград.

Если набоковская Лолита считала, что реклама обращена персонально к ней, то Александра Ивановна тот же метод применяла к мировой драматургии. Телевизором наше семейство обзавелось раньше других обитателей двора. Мы вообще считались зажиточными, потому что не держали курей. Программа, как и в радиоточке, принималась единственная, и по ней, кроме фигурного катания, показывали в основном «Ленинский университет миллионов». Но Александра Ивановна быстро научилась выуживать из газеты «Правда» единственную истину в образе телевизионных «постановок». Красным цензорским карандашом отмечала она личный праздник свободы информации и, выкашляв снаружи сухой паек астматического бронхита, входила, постучавшись, и усаживалась так, чтобы никто не споткнулся об ортопедическое изделие средней тяжести. А дальше... дальше созерцать ее созерцание было несоизмеримо интереснее, чем ретранслируемое изображение. Александра Ивановна никогда не разрушала «четвертой стены», не вмешивалась в действие, понимая, что отождествлять зрелище с жизнью — удел идиотов. Но переживала происходящее она так, как, наверное, переживают в вышних за творимое нами.

Артистов же запоминала с первого раза и фамилии никогда не путала — не то что золовка Ганя. Козинцевского «Гамлета» ввиду высокого общественного положения мэтра показали по «ящику» на удивление скоро после премьеры. Смоктуновский вызвал у Александры Ивановны слезный восторг, а его герой — сострадательное понимание: «Ведь как измучился парень! Ведь все ему родня! Против крови-то как тяжело идтить...» Зато позиция Офелии, несмотря на печальный исход, одобрения не встретила: «Ну вот как есть бледная поганка! Ни бе ни

ме... И ведь отца подвела под плашку! И к прынцу стюдень стюднем. Одно слово, халоумная».

Однажды к вечеру родственники куда-то рассосались, и я, в надежде, что они не появятся допоздна, готовилась к игрищам до полного упада. Но за дверью раздался знакомый шаг с подволоком и последующим тупым бухом, и Александра Ивановна появилась — в очках, вперенных в телепрограмму: «Ох, сегодня постановка сильная! Не ходи на шалогу-то, давай культурно поглядим». Я любила смотреть с ней, то есть на нее, все что угодно, даже киножурнал «Новости строительства», но «шалога» звала властно и прельстительно. И, настроив телевизор, к которому Александра Ивановна прикасаться самостоятельно отказалась раз и навсегда («Ты что! Такую вещь я своими початками трогать стану!» — она и здесь была поразительно точна: негнущиеся темно-матовые пальцы действительно походили на молодые камышовые початки), я рванула со всех ног на гульбище.

Заскочить домой без зова меня могло заставить лишь одно обстоятельство — жажда, которая набегивалась до наждачного иссыхания слизистой. На кухне воды в ведре не оказалось, но тащиться за ней на колонку охоты, знамо дело, не возникло, а в комнате всегда стоял графин с ненавистной кипяченой. Пыша игровым жаром, я распахнула дверь и машинально чкнула выключатель, подставив средний палец. Я совершенно забыла про Александру Ивановну и ее культурный досуг и даже немножко отпрянула, наткнувшись на ее фигуру на стуле. Она повернула ко мне снизу лицо, залитое слезами. Все так же автоматически, пуще всего боясь переключиться от ждущего меня продолжения дворового радения, я связала ее слезы с «постановкой» и сунулась взглядом в черно-белый невеликий глаз «Рекорда». Напрочь забыв десятки премьер и презентаций, я запомнила навсегда название того фильма, наверное, потому, что никогда не видела Александру Ивановну плачущей.

Это была «Наймичка» — надрывная оперная версия шевченковской «Катерины» — соответственно на украинском языке. Я невольно подала расстроенной зрительнице стакан, которым напоить пустыню моего рта все равно было невозможно, а сама припала к горлышку графина, озадаченно косясь на Александру Ивановну. «Это вся моя жизнь! — повторяла она, пытаясь не выпустить стеклянный цилиндр из кипарисовых «невладающих» рук. — Вся жизнь, вся колотыра моя проклятущая!» Стакан выскользнул... Она не заметила. А я, пень пнем, растеряв хмельное возбуждение, повторяла неизобретательно: «Александра Ивановна, не плачьте... Не надо плакать...» Как будто трагический человек, испытывая катарсис, волен сам в себе.

Древнерусский футурист

Городские сумасшедшие делились на два разряда — дурачков и шпионов. Первые составляли стойкое большинство, и контингент их не расширялся десятилетиями. Шпионы — категория немногочисленная

и зарождается в среде дурачков же. Провинциальная бессобытийная жизнь требует иногда некоторой встряски. По магистральной улице с непременным названием «Советская» много лет бегал дурачок по прозванию Коля-биби. Коля любил обогнать легковушку класса «Москвич-412» (между прочим, совпадение с тогдашней ценой на водку), некоторое время технично бежать перед капотом и звонко кричать: «Биби-и-и!» Может быть, он однажды умер от разрыва селезенки, — такие скорости даром не проходят — во всяком случае, куда-то исчез. И городская безжалостная молва немедленно объявила его агентом ЦРУ и американским, таким образом, шпионом.

Третью категорию — юродивых, то есть оригиналов с пророческой или творческой жилкой, вообще наделенных даром слова, специально не выделяли: скепсис ко всему надличностному, казалось, навсегда поджал губы горожан с прилипшей к ним подсолнуховой шелухой. Юродивые тем не менее существовали, хотя и на обочине общественного сознания. Один из них пророчествовал в городском транспорте. Входя в троллейбус с дурным расположением духа, он мрачно оглядывал пассажиров и, тяжело давя на «р», произносил: «Обр-р-атно начинается комедия Гр-рибоедова "Гор-ре от ума"!» Подсев же на остановке «Горсад» в размягченном состоянии, *божевольник* становился лицом к салону, спиной к водителю, простирал руку на манер монументального Ленина и с интонацией, которую я впоследствии не могла без смеха слышать из уст любимых западными славистами столичных поэтов, возглашал: «Нити не тяните, а тки-и-ите!» Кто сказал, что пророчество — то, что сбывается у вас на глазах? Пророчество — то, что зреет подспудно и часто остается не разгаданным ни в какой перспективе.

В отличие от маргинальных собратьев, Нянинов был юродивым натурализованным, включенным в социальную организацию: он преподавал в нашем педвузе древнерусскую литературу и носил степень кандидата наук. Как это ему удалось, разбираться бессмысленно, потому что тогда следовало бы признать за жизнью определенный объем системности, а уж это — прямой путь к психиатрическому диагнозу.

На экзамен к Нянинову следовало приходить либо первым, либо последним — всякую срединность он приравнивал к посредственности. Торопясь занять место в первой пятерке, я и споткнулась однажды прямо на вузовском пороге, выронив в окаймлявшую этот порог лужу (аналогичные водоемы преследовали меня всю жизнь, по всей видимости, как привет от обожаемого мною Гоголя) все нехитрое содержимое своей сумки, в том числе и зачетку.

Нянинов одновременно походил на всех представителей семейства бегемотовых и носороговых, и, что поразительно, его ротовое отверстие тоже было способно видоизменяться от улыбки гиппопотама до выражения слона, у которого разболелся бивень. Мою зачетку он взял с любопытством носорога, скосив глаза, как будто ему на нос (рог) села птичка тари. Как многие крупнотелые люди, говорил Нянинов мягким тенором, близким к фальцету, странно растягивая гласные — словно зубы

ему сцепило ириской (жвачек в те поры не водилось) и он тщетно пытался разлепить челюсти для нормальной артикуляции. Поэтому речь Нянинова производила двоякий эффект: напоминала плач нанятого работника службы ритуальных услуг и непропорционально затянувшуюся репризу коверного.

— О, бедная! — начал Нянинов свой плач-репризу, юродски обращаясь неизвестно к кому — к нематериальной зачетке или ее вполне материальной уронщице. — О, кто причинил тебе такое неудовольствие?

Все же мое состояние не было столь плачевным, как у на глазах раскисающей книжицы. Плачевны были только последствия происшествия, поскольку зачетная книжка не подлежала дублированию. Но об этом я ничуть и не задумалась, размышляя лишь, как бы надыбать из лежащей передо мной программы курса необходимые для хоть самого лаконического ответа сведения.

— Что же случилось — поведайте мне, дитя мое! — на согласных, даже не губно-зубных, Нянинов отчаянно присюсюкивал. За спиной негромко ржали пока еще зрители — каждому из них предстояло стать, как и мне, пассивным статистом в моноспектакле.

— Упала в лужу, — сказала я неорганично, с выходящей далеко за рамки роли угрюмостью.

— В лужу! — восхитился Нянинов и встал с места, нависнув необъятным животом над столом с разложенными билетами. — В лужу... Вот она, горькая правда! Неприкровенная, обнаженная — и тем трагическая правда. За нее вам полагается награда, дитя мое!

Он взял в руки осквернённую зачетку, вписал туда «отлично» в соответственную графу, затем отлистал к началу и поперек титульной страницы крупно начертал: **«Упала в лужу. Наказанию не подлежит. Доцент Нянинов»**. С этой аттестацией я и завершала высшее образование к восторгу или изумлению последующих испытателей.

Нянинов был уверен, что студент, нашедший в себе элемент воли, чтобы явиться в аудиторию, уже тем самым заслуживает положительной оценки. В абсолютно безнадежных случаях, которые преподаваемый им предмет поставлял бесперебойно, поскольку носители новояза сплошь воспринимали древнерусский коренной язык как иностранный, Нянинов, азиатя прищуром свои слоновьи глазки, задавал вопрос:

— А скажите мне, любезнейший, какого колера обложка учебника, изданного для вас неусыпным попечением Наробраза? — он неизменно называл просветительский департамент в конструктивной стилистике 20-х годов.

Случалось, что оппонента ставил в тупик и такой вариант спасения. Но Нянинов продолжал игру на понижение до конца:

— Будьте же столь великодушны, сходите в книгохранилище — древние иудеи называли их генизами — и окиньте его беспристрастным взором, не пораженным, смею надеяться, недугом монохроматизма.

Горемыка плелся в библиотеку, оглядывал учебник и получал за это усилие долгожданный «уд».

Слабостей у Нянинова наблюдалось зорким глазом коллективного невежества несколько. Каждую можно было использовать к своей прямой или косвенной выгоде. В частности, он собирал некрологи, следующим образом комментируя свое увлечение:

— Идеального некролога — в одну строку — удостоился на моей памяти лишь один покойник — член Литфонда Борис Пастернак.

Однажды Нянинов столкнулся на улице с дамой, которая в священном трепете отпрянула от громадного силуэта:

— Боже мой! Так вы живы? А я вот ношу некролог о вас и все думаю, что теперь его и подарить некому.

Нянинова разволновал не сам факт его внезапной кончины, а неведение этого факта.

— Покажите! — замельтешил он большой мягкой рукой, как делал, когда на экзаменах слышал шелест бессовестно применяемых шпаргалок и умилялся при этом: «Чайки мои белокрылые! Куда летите вы и вернетесь ли к холодным берегам Отчизны?»

Дама достала из портмоне бумажку в рамке, и Нянинов впился в нее. Прочтя реестр земных заслуг усопшего, он откинул голову, из слоненка немедленно обратившись в бегемотика, подвергшегося щекотке, и тенористо затянул:

— Так это же Двинов умер. Дви-нов! А я — ...*Нянинов*. ...НЯНИНОВ!

Другой страстью — и не по важности другой, а по инакости, — было ***Слово***. Как единица языка — само собой, ибо Нянинов был филологом от Бога, словолюбом и словославом. Но как жанр — особо и единственно, и конституировано в главном ***Слове*** древнерусской литературы — ***о полку Игореве***.

Лекции Нянинов читал в форме раешных баек. Иное общение с контингентом, на три четверти состоящим из сельских ребят, к третьему курсу филфака снижавших число орфографических ошибок в диктовке с сорока до тридцати, не имело смысла, оставалось за гранью зачаточного интеллекта, хваткого, но, по пушкинской аристократической аттестации, нелюбопытного. Нянинов становился в проходе где-то ближе к центру аудитории, выбирал зрителя — обычно жертвой становилась самая некрасивая и хуже всех одетая девочка — и начинал представление.

— Идет протопоп Аввакум по Юрьевцу, — заводил он обманчивым тоном доброй нянюшки, — смотрит в окно, бычьим пузырем затянутое, — интонация резко менялась, переходя на уровень лектора общества «Знание», — окно в крестьянских избах затягивали брюшиной крупного рогатого скота, или пузырем, встречался также небольшой проем с *волоком*, задвижным ставнем для подачи милостыни, — интонация возвращалась к сказовому ладу, постепенно нарастая. Нянинов приближал лицо к замершей в смертельном зажиме немой визави, спускал звук до шепота, — а на печи мужик с бабой блуд творят! — Он отшатывался от невидимого оконца, пораженный увиденным святотатством. — Входит Аввакум в избу, берет плеть ременную, да по бабе, да по бабе... — Увлекшийся Нянинов хватал лежащую на столе тетрадь и принимался хлестать ею воздух.

Оцепеневшая визави, однако, чувствовала приближение передышки. И действительно, в редкой аудитории не находился мастер раскрутки Нянинова на щекотливую тему. Молодой голос с тренированной недоказуемой ехидцей вопрошал из народной толщи:

— А чего такого? Может, они в законном браке состояли?

Вопреки массивности, Нянинов мгновенно оборачивался корпусом к оппоненту:

— Так они же в Страстной четверток блуд творили! Один день в году потерпеть не могли...

Пытливые умы на достигнутом не успокаивались. Немедленно находился некто второй, продолжавший дело товарища:

— А чего ж он женщину-то? Мужика бы отметелил...

Нянинов незамедлительно выдавал номер цирка слонов и в эту сторону:

— Так мужик уж с печи слез!

Недорослевый снобизм иногда заставлял противиться его манере, воспринимая ее как профанацию. Но ведь сама возможность ощущать упрощение информации свидетельствовала о том, что процесс просвещения достиг цели. Только спустя десяток лет я поняла, что Нянинов, к примеру, языком лубочных подписей изложил нам, детям безбожников, тайно крещаемым бабушками, все Четьи минеи — с апокрифами и житиями местно-чтимых. Но всякий раз я ждала — и всякий раз пропускала — момент кульминации, когда, казалось бы, вне сюжета о каком-нибудь Васильке Теребовльском, Нянинов останавливался, обводил нас затуманенным вдохновением взглядом и, воздев руки на манер Мочалова в роли Гамлета, неподдельно трагически, без тени привычного юродства, восклицал:

— Время-то идет, а ***Слово***-то не изучается!

Конкретное ***Слово*** — о том самом незадачливом ***полку*** — не только не изучалось, но игнорировалось с восьмого класса как некий эталон программной скуки и неприменимости к себе любимому. Нянинов, кажется, понимал это, потому что не затруднялся даже академическим переводом памятника на язык родных дубин всеобщего образования. Он чесал на языке первоисточника, изредка комментируя — по личному выбору:

— Не «мыслью по древу» — какой еще мыслью?! «Мысью» — сиречь «белкой», векшей, юрким зверьком из отряда грызунов.

Но время от времени он снова замирал, подбирал живот и менял модуляцию, казалось, вне всякой связи с исполняемым произведением:

— Время-то идет, а ***Слово***-то...

И я бурной и взбаламученной семнадцатилетней душой ощущала этот страшный *ход* времени — вовсе не мерный античный *бег*, который слышала Ахматова и которому в конечном счете предавался в экстазе тот же Коля-биби, а роковые медлительные шаги медного Командора. И мне делалось стыдно за всех, вместе со мной не изучающих единственно подлежащее изучению — ***Слово*** — и за соревнующихся по переводу его, созданного на корню моего родного и не узнаваемого мною языка. Закрывшись юродством от мира, от нашего праздного самомнения, уйдя

в толщу времени от безумия абсолютного настоящего и все же из него апеллируя, им оперируя в своей усердной тревоге, Нянинов исподволь освобождал нас от страха бесцельности. Он ставил, полагал цель — изучение ***Слова***, а не автоматическое говорение его — как знака — и беспонятное присвоение — как жанра.

В любой миг Нянинова можно было поймать на ***Слове***, подсадить на него и замотать зачет, экзамен, защиту курсовой. Что мы, дурачки, и проделывали неоднократно. И что многие из нашего ***полку*** продолжают проделывать с целою жизнью, прикидываясь, что цели нет и что ***Слово*** — как жанр литературы или как единица речи — принадлежит нам от рождения в полном объеме, словно желудочно-кишечный тракт, и не требует специального освоения, а ***Слово*** как Божественный Логос — просто фигура весьма приблизительного перевода.

И только в редкие минуты бесстрашия, которое змеисто и пусто зовется «свободой», я повторяю, почти не слыша себя, почти забыв остерегающую интонацию Няниновского фальцета, это обращение настоящего к неведомому и хладнокровному *футуруму*, осознание вины перед ним: «Время идет, а ***СЛОВО*** не изучается!» А будущее настает и прибывает всякий день, всякое мгновенье, никогда не оставляя ни единого долга, и *футурум* перекидывается в *фатум*, еще более безличный и хладный. И только к Тому, Кто Есть подлинное, непереводимое и равноначальное ***Слово***, можно обратиться с беспомощной аналогией: «яко же и мы...» ***Яко же и мы оставляем***, говорю я... И мне становится зябко и весело.

Картошка — грязная дорожка

Таня знала секрет — может быть, самый главный секрет русской бабы: как носить тяжести, чтобы не надорваться — не *надсадиться*. Так и учила меня: «Не вздымай передом — живот надсадишь. Не надтуживайся — никого не удивишь». Я не слушала. Никого я тогда не слушала. Учишься не покорностью, а памятью. А она вылезает бог весть каким боком и сроком.

Чаще всего — образом непомерной русской ноши, воплощаемой Таниной корзиной. Обыкновенной ивовой корзиной с продетой между прутьями широкой лямой — размахрившейся, заледеневшей лоском там, где руки придерживали, снимая и надевая. Но — надежной, ни разу не подведшей обрывом. Корзина — *мостинка*, как Таня звала, — надевалась вприсяд, ляма — через голову, ровно по ключице — не выше не ниже, чтоб дых не пережать и груди — то, что ими было когда-то, — а сзади ровно по лопаткам, чтоб не *хляпало*, по спине не било при ходьбе и в то же время скрадывало вес. На ключицу тяжесть и бралась, хребтиной в рост вытягивалась. Да и неслась («На хилого ношачка и ношка легка», — приговаривала Таня). Наверное, из Тани вышел бы отличный тренер по тяжелой атлетике, но в этом виде конкуренция в России больно велика.

Чистая Таня была, без запаха. То есть пахло от нее не потом, не телом, не ею самой, а содержимым все той же корзины — картошкой,

овощью, подсохшей землей. Запахи она абсорбировала, поглощала во всем объеме. Жиру в ней не было вовсе, жилы одни, мышечная ткань. Жизнь ее выпарила, отвеяла лишнее. Шел Тане восемьдесят третий годок.

Власть к ней добра была через меру. Не посадила, не расстреляла. Оставила на картофельном поле кверху кормой. *Пензию* назначила. Двенадцать рублей. А потом еще пятерку прибавила. Итого семнадцать. На всю *пензию* ешь, Таня, суспензию! А лучше б власть меру соблюла, не щедрилась так-то. На лишнюю пятерку — лишний запрет. С картошкой стало невозможно. Сдавай в совхоз по четыре копейки кило. А с рук-то — и весь гривенник возьмешь! До прибавки, конечно, тоже гоняли. Но — не сравнить. Станешь у магазина, люди с работы идут, а картошка — кукла-синеглазка. Не надо, а купят.

В тот раз милиционер корзину ногой запрокинул, в другой — картошку в свой мешок пересыпал. Третьего Таня дожидаться не стала. Штучно, по человеку, подобрала клиентуру, начала картошку по квартирам развозить, добираясь до города на автобусе номер десять из пригородного села Донское (до соименной реки — верст восемьсот). Бабушка моя незабвенная, по счастью, не прошла мимо той корзины неподъемной. Не в синеглазке было счастье — картошки в наших краях вволю, — а в Таниной науке. Завязалась у них — разжалованной дворянки и неотменяемой крестьянки — хорошая старушечья дружба. Со вниманием, вниканием во все поры судьбы, но не во все норы души. С тактом, с рассудком дружба. Без страстей.

Моя бабушка родила двоих. Таня — семнадцать душ вывела. Так что *пензия* получилась из расчета по рублю на душу за вычетом трудодней. Рассказывалось о чадородии так: «И-и-и, Миколавна, я и плодливая была — как свинья. На лету хватала. Со стрехи закапить — а я понесу». На момент повествования у бабушки осталась одна моя мама, у Тани — без всякой системы — трое. Дочь Нина, бабушкина тезка, дочь Аня (далёко, в *Комсомольским*) и сын Володя, причем Володя *сидел*. Понятие это в России ни прямых, ни косвенных дополнений не требует. Сидел хорошо, в *валидном* отряде, так как лишился ноги, в аварию попал на тракторе. Остальных забрала война и общая прорва жизни. Володя вскоре тоже примёр. Отряд, может, и заметил потерю, а добрые начальники сообщили об этом Тане через месяц — много через два. Она пришла к казенному зданью, оцененному автором поэмы «Тамбовская казначейша» как лучшее в городе, и упросила дежурного передать Володиным товарищам собственноручно связанные носки («Как же, Миколавна! Они ему глаза закрыли, обиходили»).

Никакого ропота от нее никто не слышал, ни плача, ни воздыхания. Ни о сонме роженых загибших душ. Ни о муже, который в 41-м сразу «*в котел угодил*». Ни на один день своего земного ада Таня никогда не досадовала. А ведь и библейский Иов отдал бы ей первенство, если б сошлись они на соревнованиях многострадальцев. Даже постовому, что картошку-синеглазку распинал по асфальту, Таня выговорила не ожесточенно, скорее, лирически: «И-и-и, сынок... Пройдеть война, придеть

весна — попросишь хлебушка!» Только за Витю Таня *жалилась* — риторически, никому.

На прополке свеклы, работе, которую сами природные крестьяне считают черной, Таня родила двойню. Отползла под телегу, потужилась — вышел Витя. Думала — отбой, ан еще волна катит. Что сделаешь: *родить — нельзя годить.* Надю уж бабы набежали, приняли. Бригадир дал роздыху два дня, а на третий стучит кнутовищем в окно: вставай, *труженка*, Сталин зовет! Таня детишек в пазуху — и на поле. Надя-то скоро *решилась* (*«Поминай как звали хлебушка!»* — Таня хлебом многое мерила — считай, все). А Витя рос, она ему свеклу в печке вялила. И мне, сытой, приносила в кульке этот гостинец голодных — свекольные цукаты. Теперь можно сравнить — на папайю похоже. Только в военном лакомстве еще и привкус был — *потеревый*, как Таня бы сказала.

Сразу ли она Витю из оравы выделила или это смерть его отличила («Миколавна-а! Какой же был *умовой*! Чистый прокурор! А жаланны-ы-й...» — вот и все доводы в пользу Витиной особости)? На девятом году — война уже шла, на мужа похоронку принесли, голодней стало, чем и было, — Витя со старшими наворовал жмыхов с маслобойни. Старшим — ничто, плетень объедят, а Витя не сварил. Живот раздуло — помирает лежит. Шептали над ним, водой кропили, а он уж *не свой*.

— Мамка! Я помру, как ты по мине кричать будешь? — согласие с неминучей, на девятом году и мыслимое...

— Да как? Да вот так вота, — (мать тоже неизбежному не противится). Будто речь о колыбельной:

Ах ты, Витя мой дорогой!
Какая грязная дорожка,—
Я иду к тебе, иду,
Не считаю за ходьбу

Дошла ли ты, Таня, по грязной той дорожке, по картофельной борозде чистыми своими стопами?

Когда стихийные азербайджанские маркетологи сегодня кивают на свой грязно-пегий товар польского водянистого сорта — мыло мылом — и заученно восклицают: «Тамбовская!» — Танина тень витает над ними как ангел изобличающий. Танина цена — гривенник — выжжена в наших с ней тамбовских небесах, как письмена на стене царя Валтасара. Танина корзина плывет мне навстречу, как летучий корабль. Что вы понимаете в картошке, заносчивые москвичи! Всякий вас облапошит...

Два ненормальных старика

Не знаю, как вас, а меня воспоминания чаще всего настигают не умозрением, а словом. Вот так недавно среди самого пустого разговора меня вдруг пронзило словосочетание: «самодеятельное творчество». Какой, в сущности, абсурд! Разве «творчество» может быть не «самодеятельным»? Налицо типичная тавтология, «масло масляное». Но мне ли

не знать, что понятие, от слабости удваивающее самое себя, — это доведенная до предела «художественная самодеятельность», как будто в стране, где происходила моя жизнь, была возможна какая-то другая форма самостоятельной деятельности. Впрочем, хватит цепляться к словам!

Как всегда, я попала в зазор между сменой смысла и невозможностью переименования. То есть «самодеятельность» уже была уравнена в правах с «творчеством», а инстанция, контролирующая и направляющая это равенство в нужное русло, называлась по-прежнему: Дом художественной самодеятельности. Я очутилась в этом пристанище отставших, потерпев очередной ряд фиаско — то есть «бутылок», в которые я, не пропуская ни одной, пыталась влезть (исключительно фигурально). Почему, собственно, директриса богоугодного заведения взяла меня, нарушившую все правила и отовсюду изгнанную, на работу, объяснить затрудняюсь. Скорее всего, просто пожалела: я тогда находилась под запретом, надзором и колпаком одновременно — впрочем, как обычно. Но уже где-то через неделю можно было убедиться в том, что я по-черному неблагодарна: вместо разработки сценариев массовых представлений (от Праздника первого снопа до исключающего жизнь этого снопа Дня работника химической промышленности), на которые меня тоже совершенно необъяснимо бросили, я, наконец дорвавшись до пишущей машинки «Башкирия», тюкала на ней бесконечно сольные экзерсисы, даже ради приличия не дожидаясь, пока начальница удалится в свой кабинет. Множительная и копировальная техника не только не появилась еще в свободной продаже, но продолжала оставаться основным средством подрыва устоев и пособничества врагу.

За каждый жанр творчества трудящихся отвечал сотрудник, по штатному расписанию числившийся методистом. «Числившийся» — поскольку в полном соответствии с национальным комплексом самозванства никто, за исключением куратора народных театров Нины Максимовны Ветвишко, порученным делом либо не занимался впрямую, либо ровно ничего в нем не смыслил. За хоровое пение отвечал методист Дунин, едва подбиравший на баяне песню «Яблони в цвету», правда, напевавший ее приятным баритоном. Постоянным заказчиком этой душевной песни был методист по изобразительному искусству Моранов, всю творческую энергию сосредоточивший на приторном напитке «Вермут», который он, по Фрейду, воспринимал как гордую женщину с мусульманскими корнями, ибо именовал свое ежедневное бухло не иначе как Вера Муталибовна. По мере общения с сублимированной женщиной Востока Моранов изводил отпущенный худфонд на рисование плакатов для соседнего кинотеатра «Родина»: все они, даже афиша киноэпопеи «Освобождение», были приторно-лиричны, соединяя атрибуты Веры Муталибовны и «Яблонь в цвету». Когда появилась в эфире песня «Яблоки на снегу», Моранов от отчаяния сорвал очередную премьеру в кинотеатре «Родина», выполнив афишу в абстракционистском ключе.

Упоминавшаяся уже Нина Максимовна Ветвишко была типичной героиней во вкусе Народного театра, имевшей за плечами роли Любо-

ви Яровой и Комиссара в «Оптимистической трагедии». Самодеятельные актрисы отличаются от профессиональных бессознательным утрированием родовых свойств сценического таланта: их фальшь лишена шарма, их наигрыш сравним с танцем слона в керамическом цехе, их грим подошел бы ярмарочной лоточнице. А в остальном они так же одиноки, привязаны к престарелым, склонным к маразму матушкам и кошкам и до гробовой доски держат спину, словно знаменосцы. Самое интересное, что региональные смотры проходили в срок, в их рамках трудящиеся пели, плясали, показывали фокусы и сцены из спектаклей. И мы принимали этот разгул профанации как данность, как закономерный всенародный подвиг. И то сказать: по принуждению так не спляшешь.

Литературную вакханалию опекал методист Никифор Ульян, сам не чуждый поэзии. Имя его и фамилия были одинаково подлинными — ни то, ни другое не являлись прозвищем, хотя и то, и другое всем таковыми поначалу сдавались. В отличие от сладострастника Моранова, он не изменял идеалам мужской дружбы и любимый напиток «Портвейн» неизменно звал Петром Вениаминовичем. Никифор был единственным из методистов, круглый год загруженным под завязку: графомания в ту пору являлась едва ли не главным социальным недугом (или спасением), и подопечных Ульяна на пути к Ленинской премии не могла бы остановить не только распутица, но и ковровая бомбардировка. Особенно запомнился мне автор, усердно летописавший бурсацкими виршами историю птицефабрики и еженедельно представлявший на суд сдерживающих истерический стон методистов новую главу.

Как истинная жизнь начинается после физического конца, так Дом художественной самодеятельности преображался по окончании рабочего дня, то есть мучительной его имитации. Ровно в восемнадцать часов за директрисой заезжал на машине ГАЗ-31 ее обкомовский бой-френд, идеолог предпенсионного возраста, и уже в восемнадцать десять перед методистами открывался необозримый горизонт наслаждений и самореализаций. Вера Муталибовна и Петр Вениаминович составляли непременную принадлежность вечернего времяпрепровождения, а состав приглашенных варьировался. Общество методистов украшали собой директора домов культуры и клубов, солисты народных хоров и ансамблей и представители самых разнообразных жанров и видов творческого потенциала масс. Зачастую после неформального общения приходилось в срочном порядке проводить операцию «Пускай ты выпита другим», дабы не оскорблять утренний взор директрисы, благо стеклотара тогда принималась широко и повсеместно, да и в целом рынок вторичного сырья работал отлаженно. Вообще проблем с восстановлением порядка после вечерних журфиксов не было, поскольку кустодиевская красавица Шура, полученная Никифором Ульяном в качестве трофея на очередном смотре народных талантов, давно перестала пускать его на ночевку, а спать в комнате методистов — значило каждое утро приводить ее в первозданный вид.

Постоянным участником бдений был неразлучный друг Никифора Виктор Иванович, настолько сухощавый, как будто он загодя готовился

к мумификации. Прибавку к пенсии, позволявшую некоторые излишества, он обеспечивал себе собиранием и последующей реализацией даров леса. Однажды я соблазнилась народным промыслом и отправилась с Виктором Ивановичем по грибы. Сказать, что я, выросшая в уральской тайге, совершенно не представляла себе характера грибоискательского труда, было бы неточно. Но тот приснопамятный поход раз и навсегда объяснил мне непреодолимую разницу между профессионалом и дилетантом. Нельзя пройти чужое поприще, даже когда тебя приглашают его пройти, — тем более когда приглашают. Ничего, кроме автопародии, не выходишь. Правда, пардону я у Виктора запросила только километров через сорок, не раньше, и отлеживалась после броска всего дня три, но с тех пор, кажется, ни разу не пристраивалась к природосообразным представителям человечества, не подражала их абсолютно естественной сверхвыносливости и не грешила глубокомысленными записками фенолога, встретив рассвет (или закат) где-либо помимо собственной спальни.

За машинкой же «Башкирия» я чувствовала себя не в пример комфортнее, нежели за грибовней, и часто оставалась в ДХС допоздна, становясь пассивной участницей неформальной стороны художественно-просветительской работы. Ко мне адепты Великого Досуга, который, как сейчас помню, в докладах звался развитым социализмом и, по идее, должен был способствовать не алкогольному, но именно творческому экстазу, обращались, пересказав все анекдоты про Брежнева и допев «Яблони в цвету» до окончательного разнобоя. Мнения собравшихся о роде самодеятельности, которым я занималась у них на глазах, разделялись. Методист по фотоделу, классный мастер и большой скептик Кошкаров, пребывал в уверенности, что стихи, выдаваемые за свои, я заполучила, ограбив некоего анонимного старца, по-видимому, выхватив архив из-под его смертного одра. Певец куроводства и яйценоскости укорял меня за оторванность от жизни, хотя я регулярно вносила рифмованную лепту в сооружаемый им эпос. Дунин, кромсая казенный баян, выражал сомнение в целесообразности существования поэзии вообще, коль скоро строки «Что ж ты смотришь синими брызгами?» уже созданы поэтом Есениным. Моранов неотрывно целовал Веру Муталибовну в плодово-ягодные уста. И только Виктор и Никифор в безнадежной попытке урезонить маловерных просили время от времени: «А почитай-ка...»

Отученная от публичной декламации прежде всего собственными товарищами по ремеслу, предававшими друг друга ради путевки Бюро пропаганды в ценовой вилке от семи до тринадцати рублей, не говоря уж об участии в мероприятии более высокого уровня, я, может быть, только теперь осознала всю уместность смиренной просьбы моих первых поклонников — Виктора и Никифора. Только теперь, в одиночестве почти свершившейся судьбы, я поняла, что самый тяжкий грех — не откликаться любящим и бескорыстным. Каким-то непостижимым наитием два нетрезвых пожилых человека поверили в мое предназначение не просто раньше и сильнее меня, но — в итоге — за, вместо меня, в пустых сомнениях и смятениях проведшей столько дней и лет!

Иногда выпадали вечера, когда мы оставались втроем и я из горячки молодой гордыни снисходила до них, более всего на свете, может быть, дороживших этим снисхождением. Я не баловала поклонников излишним вниманием. Я просто не мешала им говорить обо мне так, будто меня уже нет не только в пространстве ДХС, но на территории обитаемой Вселенной. Виктор нет-нет задавался вопросом, не испортит ли меня столь безудержное одобрение. Никифор же отвергал самую возможность подобного поворота. Горячо и несколько гундосо вставал он за право поэта быть хвалимым, ради этого опровергая даже тайно обожаемого им Пастернака:

— Не «одним подхалимам» известно, «кому быть живым и хвалимым»! Тут он неправ, да, неправ, хоть и гениален! Это известно посвященным... Да, постигшим тайну поэта! Если бы Лермонтова хвалили, он не погиб бы в двадцать шесть лет. И если бы Пастернака не травили, он был бы сейчас с нами!

Я, практически не встревая в разговор, оглядывала помещение и никаким усилием воображения не могла представить «с нами» нобелевского изгоя. А жизнь спустя отважусь не просто поддержать эйфорического Никифора, но посягнуть и на мнение непререкаемое — пушкинское. Клевету, хулу, да, без колебаний следует принимать «равнодушно». А вот хвалу... В любом диапазоне самоиронии надобно настежь раскрывать ей благодарное сердце с одной только поправкой — на искренность хвалителя. Но тут уж вступает в силу дар различения, на воспитание которого не жалко никаких сроков. Без любви, извне посылаемой, пусть самой взыскательной и строгой, пересыхает ключистая местность творчества, покидает удача — его бесшабашная проводница к людям. О, не отвергайте щедрот хвалящего, не лицемерьте! Намаетесь, наголодаетесь, наслушаетесь немоты мирской до смертной икоты. Ибо скуп человек на доброе слово еще паче доброго дела, скряжист и неуступчив просящему...

Зимний день рождения глуше летнего. Не каждый гость потащится по морозу и заносу, да еще войдя при этом в расход на подарок. Зимой можно отделаться открыткой, много — телефонным звонком. А и забудешь, так зима в России на долгих едет, все долги спишет. Для Виктора и Никифора мой февральский день был обязателен, как присяжный лист, хоть и связан с неудоборешимым обстоятельством: Петра Вениаминовича ради моих домашних приходилось поражать в правах и ограничивать в действиях сверх мыслимой меры.

Виктор против Никифора был щеголь, имел костюм-тройку, поднятый на грибах, и от других если не требовал, то ожидал хоть минимальной склонности к франтовству. Я помню, как он едва не до слез расстроился, увидав меня в самовязаном изделии нетрудоемкого фасона «труба»: «Ты ж поэт! А в этом шлыке, как, прости господи, гусеница в дымоходе...» Костюм Никифора дэхээсовские ночи несколько засалили и обмяли. Рубаху обвели по воротнику черным грифелем, галстук свернули в трубку, как осенний стебель. Но высоты посвящения мутовка заброшенности не коснулась.

В ту зиму никто не вспомнил меня. Люди, обычно не внемлющие самым душераздирающим крикам, необычайно чутки к специфической безгласной напряженности, воцаряющейся вокруг ближнего накануне длительной неблагосклонности судьбы или безумного самочинного решения. Право избегать в эти минуты прямого соприкосновения часто оборачивается непоправимой виной и маетой, как и всякое право, выторгованное нами в борьбе с законом любви. Персонажей ДХС я, конечно же, ни в каком приближении не держала среди тех, кого хотела бы видеть воочию. Уже довольно поздно, когда, по генетической памяти и рассказам мамы, энное количество лет назад меня принесли на первое кормление, установление первой нерасторжимости с миром, первого моего поручительства родившей меня, что я ее не покину сразу, дверной звонок возвестил гостей. Виктор и Никифор, очевидно понимая, что если здесь кого и ждали, то не их, и сглаживая мою по сему поводу неловкость, протянули в четыре руки какую-то коробку с показавшейся мне воплощением пошлости всех дней рождения лентой, а Никифор, усугубляя тошноту разочарования, объявил: «По дороге я сочинил стихи!» Кажется, я все же удержалась от протестующего выпада руки, потому что он успел пробормотать:

Два ненормальных старика
К тебе идут издалека...

На мое счастье, из комнат выдвинулись мама и бабушка с преувеличенно возбужденными приветствиями, и путевые приключения ненормальных стариков сами собой сошли на нет. А может быть, только две строчки и успел создать вдохновенный методист на морозе. Вопрос гостеприимного Кролика: «Вы уже уходите?» — повис на губе после стихийно организованной закуски и так и не отлип вплоть до чая. Развязать ленту и заглянуть внутрь коробки даже не пришло на ум. Но среди ночи, бессонной, уоконной, канунной ночи перемены участи, я вдруг вышла в наш бесконечный, чулком, коридор, нащупала под ногами дар неразлучников и втянула его в свою пропитанную тревогой комнату.

Там была машинка, моя первая пишущая машинка! «Москва», достать которую можно было по блату такого порядка, в принадлежности к коему заподозрить моих воздыхателей я не имела никаких оснований. На задней стенке под кареткой я обнаружила — тоже ощупью — какую-то табличку и наконец включила свет: на серебряном параллелепипеде были вычернены мои стихи, которые особенно не глянулись куроводу и внушали фотографу Кошкарову особенные опасения в плагиате. Я грюкнула машинкой об стол, вставила лист бумаги, не испытывая при этом ни всепоглощающей радости, ни суетливой благодарности дарителям — только чувство обладания предметом, полагающимся мне по праву рождения. Вслепую я напечатала что-то для пробы, не отдавая отчета в качестве текста и сочетании букв еще тяжело идущего, не привыкшего к руке шрифта. Взглянула мельком. Свежая лента оттиснула с излишним жиром:

Боже мой, подумала я... Ведь они не могут не понимать, что теперь я перестану оставаться по вечерам; что скоро вообще уйду из их жизни, забрав подаренную машинку; что будет у меня потом дорогая «Оптима» или «Эрика», а эту я засуну на антресоли, если она вообще уцелеет под безжалостными ударами пальцев. Я еще не знала — и не могла подумать — о компьютере. А уж о том, что если и касалось техники, то преимущественно — техники жить, я не знала тем паче, потому что не хотела знать.

Не отвергайте хвалящих, ибо хвалящие вас — суть узнавшие вас. И — горе неузнанным...

Тридцать восемь килограммов

В ней было тридцать восемь килограммов живого веса. Почему — было? Потому что я не знаю, сколько сейчас. Может, меньше. Странно все-таки, что евреи называют Израиль просто «землей»: уехал в «землю». Как будто о кладбище. Но темы «еврей и смерть» мы касаться не будем: она далеко нас заведет.

Ну, хорошо: Же́ка и жизнь. Ее звали Шендл, если иудейские имена вообще поддаются славянской транскрипции. Шендл Фишелевна, если присовокупить еще и традицию отчества и тем самым продолжить абсурд. Разумеется, в паспорт записали: Евгения Филипповна. Она родилась и выросла в Тбилиси, где окончила женскую еврейскую школу № 1. Стало быть, это случилось не позднее 1927-го года. Она выскочила замуж за народного артиста Грузии Мишу, который пришел в дом Жекиной матери и покорно кушал еврейские супчики, неотрывно глядя на субтильную — дунь и улетит — возлюбленную. Когда желание поесть сациви и лобио превосходило на минуту любовь к Жеке, Миша шел к друзьям — кутить, как это называется в Грузии. Тогда Жека от отчаяния заворачивалась в пыльный ковер, и Миша, вернувшись с кутежа, разматывал ее и успокаивал. «Маринчик, — Жекина интонация недублируема, голос ее — плач Израиля на реках Вавилонских, она не произносила слова, а выстанывала их, как Песнь Песней, — Маринчик, кем я только не была! Я была женой Кирова, Горького (интересно, какой именно из подруг буревестника?), я была Надеждой Крупской и Надеждой Аллилуевой, женой Наримана Нариманова и Цхакая, Луначарского и Куйбышева. Только женой Лейбы Бронштейна я не была, потому что Троцкого на мое счастье разоблачили». На самом деле вне театральной рампы Жека была Мише верна и счастлива с ним.

Но народный артист умер, брат Абраша похоронил жену и сочетался с громадной хохлушкой Надей, а племянница Кира не захотела жить с мачехой. И стала жить с Жекой — или Жека с ней и ее семьей. В этом и суть. Своих детей Жека иметь не могла при живом весе тридцать восемь килограммов. И Кирин муж Шура тоже умер... Вы себе думаете,

что такое добро? Когда человек отдается весь другому, ничего себе не заначивает, — это добро или как? Можете — попробуйте!

Я была счастлива в этом доме на улице Хетагурова, как нигде и никогда. С еврейскими супчиками, неизменными Жекиными «галетками» — разновидностью общесоветского печенья — единственной, кажется, пищей, которую Жека употребляла. Целый день в доме сидели соседи — несколько Манан, мальчик Мамука, Тамара и Серго Жгенти. Жгенти был хирург, а к Жеке ходил терапевт — доктор Бауэр. Оба не столько пользовали дистрофическую пациентку, сколько наслаждались ее упоительным артистизмом. «Вай мэ, — стонала Жека, — рот, живот...» Так обозначались ее болезни. «Я скоро сдохну», — стонала Жека. Она никогда не говорила о себе «умру». Так настоящий художник никогда не скажет: «мое **творчество**».

Она вставала рано, и я обожала слушать, как из кухни раздается ее вечный плач: «Сейчас я умоюсь, потом сварю кашку, потом я сдохну...» Вообще, по-видимому, сон человека с таким весом сродни сну бабочки или комара. Сын Киры Сашка спал с Жекой в одном закутке, и она за ночь раз по десять смотрела на часы, чтобы мальчик не проспал школу, — врубала трехсотсвечовую лампу, отчего Сашка срывался с постели, и трагически пропевала: «Спи, Сашенька, скоро вставать». Жека смотрела на вещи фатально. Когда же наконец время пробуждения наступало, Жека начинала искать повод, как бы оставить Сашку дома, не отпускать от себя. Жека отодвигала жалюзи, из-под которых бил апрельский ультрафиолет, и произносила нечто шекспировское: «Там такая година!» «Година», как известно, может быть только суровой. В крайнем случае «тяжкой».

Дальнейший день состоял из ожидания — Сашки из школы и Киры с работы. В Тбилиси работой называлось времяпрепровождение между чаем, кофе, хачапури и восточными сладостями, но для Жеки ее ожидание было действительно адским трудом, кабалой, несмотря ни на какие стирки и готовки. Как для собаки, которая снабжена специальными рецепторами ожидания. Когда Сашка взбунтовался против ежедневных проводов до школьного порога и встреч обратно (а это случилось не ранее девятого класса), Жека слегла впервые. Доктору Бауэру удалось поднять ее только планомерными запугиваниями возможностью неадекватной Сашкиной реакции: изо дня в день он приходил, садился у одра и рассказывал истории о детском суициде. Жека недели две поборолась, наконец спрыгнула на пол и запричитала свое: «Когда ж я сдохну!» У всех Манан и Тамар отлегло от сердца. Жизнь пошла своим чередом. Вечером, когда Кира входила во двор (тбилисские дворы до меня описаны более чем изобильно), на шестом этаже, где Жека неотлучно дежурила у окна, начинался спектакль.

Во дворе Кира непременно обнаруживала очередную бездомную кошечку, которую тут же принималась тетешкать и кормить остатками восточных сладостей, предназначавшихся для Сашки. Жека высовывалась из окна, рискуя улететь не вниз, а вверх, и завывала: «Добрая женщина! Да продлит Господь твои дни! В этом мире зла и равнодушия ты

сохранила нежное сердце...» Зрение у Жеки было, как у Дерсу Узала. Перепутать любимую племянницу она не могла ни с кем на свете. Но только после того, как Кира поднимала голову и кричала нарочито кекельским голосом (кекелками в Грузии называют, скажем так, не вполне интеллигентных женщин): «Жека, ты что, совсем рехнулась?», — по ритуалу следовало ее опознать. «Кира, это ты? — вопила старушка так, что однажды кровельщик уронил с крыши ведро с горячим битумом. — Немедленно брось эту гадость! У тебя будут блохи, идьётка несчастная!» По редуцированию слова «идиот» я узнала бы Жеку в хоровой капелле. Что — битум! Как-то к ним в дом пришел обойщик мебели, так Жека насмешила его до такой степени, что он вдохнул обойные гвозди. И тут уж услуги хирурга Серго понадобились всерьез.

Вторично она слегла, когда «началось». Жека предрекала, что «начнется», задолго до появления безликих и безумных, как их кумир, фанаток Президента. Она помнила его мальчиком. Она помнила, как за его отцом — великим писателем батоно Константинэ — бегал вокруг стола Берия с револьвером и кричал: «Скажи спасибо, что у меня на тебя разнарядки нет!» Вечером Жека садилась к телевизору — единственная позиция, в которой она спала крепко и сладко, — и, прежде чем отключиться, простанывала: «Скоро, скоро уже начнется!» С тех пор как ее прихлопнуло турникетом, Жека не ездила в метро. С тех пор как ввели компостеры, перестала ездить на трамвае. С тех пор как увидела на улице женщин в черных колготках, кричащих: «Звиади, Звиади!» — Жека не вставала с постели, не снимала халат, не мылась. «Маринчик, — услышала я ее последний телефонный псалом. — Этого города больше нет. Я скоро сдохну!» Но решение ею уже было принято и, как всякое Жекино решение, обсуждению не подлежало.

Она на своих тридцати восьми лежачих килограммах вывезла в «землю» всю семью: Киру, Сашку, Абрашу, Наденьку, Наденькиных детей от первого брака и их уже почти и не детей. После чего как ни в чем не бывало спрыгнула с иерусалимского одра: надо было будить Сашку — солдата израильской армии — в наряд. На всякий случай в Иерусалиме Жека тоже не выходит на улицу. К ней прикрепили тимуровку Марию Мироновну. Они сидят на раскаленной лоджии и молчат, чтобы не рассориться из-за политики. Только Жека время от времени мечтательно вздыхает: «Вот я скоро сдохну...»

Гладящая по голове

Когда мои размышления о человеке упираются, как в блокпост, в развилку между ханжеством и распущенностью, когда неотмирная частица моего существа возмущается злободневной деятельностью коммерческого предприятия, некогда называвшегося Литературой, я всякий раз натыкаюсь воспоминанием на черноземное село, гумилевским заблудившимся трамваем вытянувшееся вдоль лесостепной полосы. Туда меня, изначально трудновоспитуемую, взяли работать воспитателем.

Безответственность подобного назначения я, несмотря на неприлично юные годы, надо признать, оценила раньше своих работодателей и молила, как умела, только об одном — чтобы снято с меня было непосильное бремя власти над душами, больными отсутствием попечения, и телами, больными в основном туберкулезом, который от хорошей жизни к десяти годам не заработаешь. Почти всех моих невольных воспитанников заразили собственные родители, в свою очередь получившие чахотку отнюдь не в результате несчастной любви или неумеренного самоотвержения, а на зоне. Громко говоря, в узилище.

Словно пособие по древнекитайской философии, постулирующей, что по одному селению можно судить о всей вселенной, специнтернат для детей, страдающих, как выражались во времена нобелевского лауреата Роберта Коха, *бугорчаткой*, обнажил предо мной все бугры человеческих пороков, изображать которые взапуски кинулись г-да литераторы двадцать лет спустя. А до того с не меньшим рвением изображали их полное отсутствие на довольно крупном временном отрезке. О повальном воровстве, пьянстве и других плотских излишествах педагогов-наставников умолчу, ибо повседневное свинство давно не то чтобы оправдано, но введено в контекст тотального идейного хлыстовства. Нет, никто ничего в открытую не демонстрировал, как нынче, особых прав на грехи из общества не выкачивал. Но русское подполье предполагает широкую осведомленность о себе заинтересованных кругов и — до срока — щедрое попустительство, а если честно — наплевательство.

Интернат давал воспитанникам восьмилетнее образование, засим предоставляя их самим себе и обычно лишенным родительских прав родителям. Проживать выпускникам богоугодного заведения, кроме как с предками-лишенцами, было негде, но за время пребывания чад на государственном коште родственники как-то вовсе отвыкали от их присутствия и восторга по поводу возвращения недорослей под отчий кров не выражали — это в лучшем случае. В худшем — вот те, детинушка, Бог, а вот — порог. К тому же в большинстве своем юные кормильцы палочки Коха были белобилетниками, так что рассчитывать на армейскую пайку не могли, а тюремную еще не заслужили. И, не имея куда приклонить нездоровые головы, садились в автобус и бесплатно устремлялись в alma mater, единственное место под солнцем, где их если не любили, то почти насыщали. Они слонялись по бывшей усадьбе не пушкинской — ланской дочери Наталии Гончаровой и предавались слабостям, подсмотренным у воспитателей. День ото дня слабости набирали силу и становились все менее невинными.

С Антониной мы оказались соседками по каморкам бывшей людской, куда и в интернате поселяли действующие кадры. Характер же учреждения был таков, что кадры требовались не только педагогические, и Антонина отправляла должность медицинской сестры согласно штатному расписанию. Она приехала из Карелии, разведясь с мужем-офицером, и построенный финнами город Сортавала служил в ее представлении эталоном европейского быта супротив российской грязи и

варварства, хотя родом она была из пограничного с интернатом района, так же три четверти года утопавшего в жирном и расквашенном непогодой черноземе.

Первую жертву я принесла Его Плодородию, спеша к первой своей воспитательной смене. Автобус высадил пассажиров у размытой дамбы: по деревянному настилу, имитирующему сооружение мостового типа, без смертельного риска можно было перебраться на колесной тяге только зимой. Преждевременно обрадовавшись переправе, которую совершила, ступая след в след за едущими из города мешочниками, я оступилась с грунта, тоже, впрочем, представляющего сплошное месиво, и ногу обратно вытянула уже без сапога, броситься на спасение коего означало бесповоротное утопление всего организма. Так — непарно обутая — я и доколтыхала к месту прохождения гражданского подвига, сбросив у входа в памятник крепостничеству липкую пудовую гирю — некогда носок. Из недр бывшей девичьей, из тьмы загаженного коммунальным разгильдяйством коридора мне навстречу шла молодая женщина в белом халате, неся в одной руке валяные опорки, а в другой — мензурку с разбавленным спиртом. Это была Антонина, углядевшая через окно мое убожество.

Так она делала все — без саморекламного словесного сопровождения и по мере необходимости. Воспитатели, кое-как утолкав подопечных, выключали в палате свет и уходили утешаться картами и портвейном. Тоня слышала плач, доносившийся из самого дальнего уголка спального корпуса, вставала и шла полуодетая через двор, захватив что-нибудь теплое (плакали по ночам чаще всего от холода, равно усугубляемого поголовным диурезом и провоцирующего эту обрекающую на пожизненные комплексы болезнь) и оставив в одиночестве собственного малолетнего, улыбчивого и белобрысого Алешу. Так, несколько дней присмотревшись, молча дала мне экземпляр «Ракового корпуса», за хранение которого можно было лет на пять очутиться там, откуда привозили *бугорчатку* родители наших подопечных, то есть выгодно обменять болезнь Солженицына на болезнь Горького.

По вечерам, уложив Алешу, Тоня часто заходила в мой непокойный покойчик, и мы совсем не по-девичьи вымалчивали каждая свою думу. Я писала длинные ежевременные письма тому, с кем не могла быть вместе, и Тоня тоже что-то писала в двухкопеечную тетрадь и разграфляла типографскую клетку Алешиной фанерной линейкою. Порой я косилась в ее сторону, на несколько востроносый профиль, и в голову непременно лезла пафосная строка: «У русских мучениц такие лбы...» Как будто у французских — иные!

Иногда мы разговаривали, вернее, Тоня слушала. Мне тогда такая диспозиция казалась сама собой разумеющеюся. Впрочем, не удивляло и то, что уроженка степовой глухомани, чья мать в семидесятые годы XX столетия едва умела ставить автограф в колхозной ведомости, воспринимает и даже комментирует мои, на нынешний взгляд, вполне досужие умствования. В надмении и упоении от собственной кроссвор-

дной образованности я пропускала очевидный факт, что в лице медсестры Антонины мне предъявлен тот самородный, цепкий и недоверчивый к разовому впечатлению, безошибочно отфильтровывающий душеполезное знание от праздного тип народного ума, над которым бились в творческом пароксизме франко- и англофонные аристократы, двести лет — вровень с Тониной матерью, только в благоприятных условиях, — с разной долей успешности учившиеся писать по-русски.

Тетрадку свою Тоня не демонстрировала мне долго, в отличие от самиздатовских перепечаток или искусства настраивать верную «Спидолу» на булькающую сквозь глушилки «Свободу». Наши бдения прерывались обычно приходом неких лиц мужского пола, молодых, но отмеченных черной печатью национального самоистребления. Этих запоздателей Тоня тоже от меня не прятала, а я вполне входила в обстоятельства ее одиночества — дела, знакомого не понаслышке, потому не осуждаемого. Да, собственно, и не обсуждаемого. Так ведь и мужчины в дружбе обходят интимное, к иной сфере жизни относящееся, когда есть темы животрепещущие. Однажды только, прервав мой затянувшийся монолог об уголовном сознании народа и его порождении — *пенитенциарном ожидании*, то есть специфическом местном состоянии вечной внутренней готовности к аресту, выраженном в фольклорной рекомендации с сумой да тюрьмой не браниться, Тоня сказала профессионально:

— Кто сидел, кто завтра сядет, — все психогенные. Черепно-мозговые травмы сплошью. Пациенты стопроцентные.

— Откуда ты знаешь? — вырвался у меня подростковый вопрос.

— А по голове глажу, — спокойно ответила Тоня, и ничего близкого по откровенности я от нее, защищенной мнимой сероглазой холодноватостью карельской выучки, никогда бы не добилась в другой ситуации.

Пока Тоня гладила битые головы ночных пациентов, я научилась выуживать сапоги из распутицы и не опаздывать к утренней побудке, едучи с городской квартиры. То утро затяжной весны я помню тревогой: идти к интернату через пруд означало срезать добрых полкилометра, но было уже опасно, ненадежно, лед проседал и просачивался. Мои воспитанники, против правил, встретили меня не в постелях — возгласами протеста против подъема, — а на *бугре* (бугры, как видим, остаются невольной составляющей повествования), то есть — с моей стороны — на подъеме, ведущем не к постылой зарядке, а к саду — традиционной декорации дворянской усадьбы, уцелевшей от возмездия восставших рабов. Одетые кто во что успел, дети наперебой закричали, давясь восторгом опережающего обладания информацией:

— Первого урока не будет!

— Ты чё? Ваще не будет!

— Завхоза убили!

Это ликование с нормальным русским рефреном «не будет» я познала еще в самые первые дни, когда, на диво благополучно добравшись до школьного корпуса, увидела безнадежно погибающего по неопытности или рассеянности в гоголевской луже среди двора преподавателя анг-

лийского, тоже новичка педагогической каторги. А вокруг него, по круговому берегу стихийного грязеема, шло настоящее радение безнаказанных с экстатическими криками: «Английского не будет! Англичан завяз!»

Завхоз лежал на оттаявшей дорожке возле ампирного домика в центре двора. Как ни странно, и это строение, к которому меня буквально вынес последний возглас воспитанников, сохранилось со времен тетки пушкинской жены. Говорили, что там доживала век ее личная Арина Родионовна. Расстался с жизнью лежащий явно в результате черепно-мозговой травмы, и, будь я старше, то есть внимательнее вовне, я бы сразу соотнесла несчастье с Тониными посетителями и комментариями. Затылок завхоза был проломлен тяжелым предметом — ломом или топором, поскольку с огнестрельным оружием еще существовали определенные заминки. Шапка, полная *запеченевшей* крови и теоретически призванная смягчить удар, валялась рядом. Воющую жену зачем-то отдирали от убитого члены педколлектива, два мающихся — один с похмелья, другой от ожирения — милиционера спокойно стояли поодаль, изредка щелкая по затылкам бесстрашных от любопытства интернатцев, то есть нанося им *ЧМТ* незначительной степени. Но даже есенинское *«никогда не бил по голове»* в отпущенную мне голову в тот момент не пришло. Позже, куда позже...

Я заскочила на минуту в свою конурку, чтобы бросить сумку с харчем на три дежурных дня, даже дверь не притворила. Тоня появилась у меня за спиной, я услышала ее все усиливающейся тревогой:

— Мы с Алешей уезжаем. Найдешь меня у родителей, если захочешь. Вот — возьми. Станешь известной — покажешь там...

Тоня, как всегда, была карело-фински сдержанна, но по-русски взыскала неведомого Града: не веря до конца ни одной из прочитанных книг, она, во-первых, была свято убеждена, что я стану *известной* (кому?!), во-вторых, с той же бессомненностью полагала, что существует некое *там*, где хотят или достойны знать *всю правду*.

Я обернулась и увидела протянутое мне заветное пищебумажное изделие — тетрадку, которая на моих глазах уснащалась таинственными письменами, очевидно полноту истины и содержащими.

— Ты знаешь, кто убил? — Я если и была в чем уверена, так в том, что дороговизна установки прослушивающих «жучков» входит в неразрешимое противоречие с ветхостью стен, якобы помнящих Натали Гончарову.

— Да, — ровно отозвалась Тоня.

— Он ходил к тебе?

На сию каверзу она лишь согласно прикрыла веки. И — в этот раз, как мне казалось, исполнимо — попросила:

— Приведи Алешу. Только чтоб не видели...

Алешу, нежного северного бледныша, пока его мать взыскала Града, трое вольноотпущенных вечнослоняющихся половозрелых чахоточников насиловали в мальчишеском туалете школьного корпуса: стукнули на Тоню,

видно, еще до моего восшествия на *бугор*, и месть деревенских детективов была естественна с точки зрения уголовного сознания и пенитенциарного ожидания: посадить ее при всяком ухищрении было не за что.

Аминазин, галоперидол и электрошок — три кита советской психиатрии — все поставили на места: Тоня не узнала меня на свидании, которого я добилась самым вульгарным образом — путем дачи взятки должностному лицу. Помещенная в реактивном состоянии в буйное отделение психушки, которую она пророчила кавалерам ордена *ЧМТ*, прилегающим под ее щедрую руку, она вышла оттуда полным инвалидом, в минуты просветления мечтая вернуться поскорее в скорбный дом, чтобы гладить головы оставшихся и отчаявшихся. Она оставалась ночевать у меня, когда ее выпускали в мир, и однажды враг напал на нее — вложил в руки нож и подогнал к кроватке моей дочери. Выросши, дочь призналась, что страх той ночи не проходил у нее никогда.

А тетрадку я открыла случайно, инвентаризуя собственные бумажные завалы. По дням и часам там были расписаны все прегрешения взрослых перед детьми в масштабе отдельно взятого специнтерната фтизиатрического профиля:

3.09. 9:15. Воспитанник Завьялов привезен с каникул. Завшивлен, сильно истощен, на теле следы побоев. Помещен в санчасть.

1.03. 11:30. Воспитатель Моргунов ударил по голове воспитанника Блинова (9 лет) со словами: «Я тебя навек придурком сделаю».

Воспитанника Блинова я запомнила: отец и мать его разбились в автокатастрофе, у бабушки был сильнейший полиартрит, и она, приезжая *на проведки*, передвигалась в таких специальных ходунках, над которыми потешался весь контингент... А тетрадку Тонину вспомнила, годы спустя листая случайно доставшуюся подшивку «Борисоглебских епархиальных новостей». Сельский учитель — наверняка из провалившихся по всем статьям народников, но каким-то чудом увернувшийся от ежовых рукавиц материализма, — разбирал сцену побивания камнями блудницы на горе Елеонской (Иоан. 8,1-7). Там, в стихе шестом, сказано: «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле...» И вот бедный учитель задался простым начетническим вопросом: а что же именно писал Спаситель и почему книжники и фарисеи в результате отпустили «взятую в прелюбодеянии»? И, веруя в личного, живого Бога, учитель представил эту сцену вживе.

Ведь трудно вообразить, чтобы свидетели из толпы, готовящиеся к забавному зрелищу человеческого возмездия, не сунулись поглядеть из-за плеча Иисуса, какие же письмена Он выводит «перстом на земле». И, по рассуждению того наследника Ушинского, выходит, что выводился Царственным тем перстом реестр прегрешений присутствующих: такой-то воровал, такой-то лжесвидетельствовал... А такой-то — бил по голове малых сих. Когда же отпустили фарисеи обвиняемую, Спаситель просто дунул пречистым Своим дыханием, и пылью засыпало навсегда Его список. И тогда Он поднялся и сказал сколь зацитированное, столь не услышанное: **кто из вас без греха, первый брось на нее камень.**

Скрежет зубовный

С первого дня казалось, что *оно* появится изо рта. Сказать: «родится»? Но я совершенно не представляла этого эмпирического механизма, и употребление такого понятия было не более чем метафорой. «Оно»? Но я не только не имела возможности — и мысли — определить пол будущего ребенка, — я с трудом могла вообразить, что длительность — ее я скорее предчувствовала, нежели осознавала, — специфического женского недомогания, именуемого беременностью, вообще имеет окончание. Допускаю, что первую беременность столь же бессознательно физиологично воспринимает большинство моих сестер по опыту.

Но я безошибочно точно помню, что *это* дало себя знать во рту и там же происходило весь срок с небольшими перерывами, позволявшими мне слегка опомниться и восстановить силы. Мы бежали по дороге к поселку, опаздывая на вечернюю поверку. «Поселок» и с точки зрения чисто филологической — уменьшительное от слова «поселение». На языке же зэка это не просто населенный пункт, административно-территориальная единица. Это определение режима заключения, переход из заперти зоны в якобы разомкнутое пространство, без малого свобода. Поверки, а также карцеры, подневольный труд, отдаленность от городов, минусовые бытовые условия, полная бесправность и постоянная угроза «закрытия» — то есть местный скорый суд и отправка по этапу обратно в пространство замкнутое — и составляло это «малое», без которого свобода — чистая фикция, симулякр, словесная игрушка. И еще. На «поселок» позволялось выписывать «вольняшек» — членов семей, которые заполняли сервисную нишу: работали в магазине, столовой, школе, — всюду, куда зэки не допускались по инструкции или капризу начальников. Я и была таким вольным членом невольного сообщества. Не сталинским ЧСИРом — члены семей «изменников Родины» валили лес по той же статье, что и главы семей, — но ЧСО — членом семьи осу́жденного (с непременным профессиональным ударением на «у»).

Итак, мы бежали по дороге. Стояло начало сентября, когда над уральской тайгой загорается первое зарево сопок, — багровеет и накаляется цветовой гаммой, невыносимой для глаза и сердца невротического узника, вся не хвойная растительность. Постепенно пожар сползает по склонам, и недели за две лиственный массив вспыхивает целиком, и тогда на поселениях возникают стихийные конфликты между осужденными с ударением на «у», локализующиеся и завивающиеся в волчок единичного, персонального неповиновения власти. Все заканчивается очередным «закрытием» и первым снегом. Мы бежали и ссорились из-за чего-то, что в начальные месяцы брака служит лишь незапланированному побочному выходу сумасшедшей неутолимой страсти — иначе молодые душили бы друг друга в нерасчленимых объятиях. Вдруг у меня что-то дернулось в зубе — верхнем, так называемом «глазном». Дернулось с такой силой и вызванной этой силой общей маетой, как будто незримый дантист пытался вытащить мне зуб без инструмента — двумя пальцами, не спрашивая моего на то разрешения. Боли не было — точнее она отозвалась

далеким сердечным нытьем, доселе незнакомым и пугающим. Я остановилась с разлета, как перед внезапной стеной, предугаданной в темноте неким защитным инстинктом, и сказала — не знаю, вслух или про себя: «Я беременна». С тех пор и почти до самого конца все происходило во рту, почему и возникла такая мифологическая версия рождения, хотя по количеству болевших зубов я должна была бы родить не одного ребенка, а по крайней мере десятерых.

Человек терпит боль, покуда может терпеть, по гордости думая, что он сильнее боли. Терпит, покуда ощущает боль как нечто внеположное себе, отдельное от своего единого существа. Так миришься с мухой или комаром, отмахиваясь или хлопая ладонью по участку тела, на который совершено посягновение. Но когда, например, таежный гнус облепляет лицо черной точечной маской, отмахивания становятся сперва нелепы, потом бесполезны, а потом сверхсильны. Так человек сдается и боли — по мере завладения все большим пространством тела, когда источник, первопричина превращается в глобальную, захватывая, помимо грубой плоти, и тонкий, внутренний, неопределимый состав. Тогда человек прекращает терпеть. Я не заметила этого момента, как дети в самых хитроумных ожиданиях и приуготовлениях пропускают наступление Нового года. Я просто закричала тонким крольчачьим голосом — мелодией последнего заклинания боли, когда не действует не только лекарство — когда перестает что-либо значить такой сильный барьер, как стыд. Я кричала ровно, непрерывно и так долго по времени, что рассеяла надежды окружавших на свою непричастность к другому — то есть ко мне. Я кричала, словно репетируя отдаленное и ирреальное событие, которое проецировалось у меня во рту. Не то чтобы все или кто-то прониклись состраданием или острым желанием избавить меня от муки, а себя от ее тягучего звука. Просто людям стало мало-помалу понятно, что это не кончится само, как бывает в природе с дождем или ураганом. Таким пониманием Бог и вынуждает людей помогать ближнему, и чем оно — желание помочь — импульсивнее и безотчетнее, тем человек ближе к основному замыслу — замыслу спасения другого через неминуемое спасение самого себя.

С медицинской помощью на «поселке» дело обстояло отрицательно. В том смысле, что врач Володя, по-зэковски «лепила», был «закрыт» за беспробудное, но отнюдь не бесшумное пьянство. Володя был по натуре буян: алкоголь действовал на него раскрепощающе, а не размягчающе. Зэки никогда не употребляют слова «больница» — только «больничка». Этот суффикс ретуширует размер вожделений — желание попасть «на больничку» остается перманентным в течение всего срока, не уменьшаясь даже на поселении и «расконвойке», то есть когда за хорошее поведение охранник не стоит над твоим ухом, щекоча его штыком, пока ты ремонтируешь квартиру «бугра» или отлаживаешь швейную машинку его жены. Больничка для зэков находилась в райцентре за шестьдесят км от поселка. Шестьдесят км автомобиль почвоизмещением в три тонны проходил — особенно по осени — за шесть часов: путем

деления получаем десять километров в час. Однажды, когда зэки вскрыли бочку с этиловым спиртом и выпили из нее примерно половину содержимого, мне пришлось сопровождать их, сваленных в кузов, в медицинское учреждение, и они один за другим умирали, в каких-то плясовых спазмах продолжая вместе со мной подпрыгивать, словно живые, при падении ГАЗа с ухаба в двухметровую колею. Поликлиника для «вольняшек» находилась несколько поближе, но никто из-за такой мелочи, как зубная боль, не дал бы разрешения жечь соляр, необходимый для выполнения плана по валу. И если жизнь в России в принципе приучает рассчитывать только на собственные силы, то в условиях заключения этот навык приобретает исключительный масштаб, ибо желание выжить обостряется в человеке от противного, как почти весь его позитивный потенциал.

Наш ближайший сосед Витька Поп, трус, халявщик и горький пьяница, и его супруга Ленка, профессиональная воровка, имевшая к двадцати пяти годам пять «ходок», то есть сроков заключения, за плечами, от моего воя терпели больше неудобств, чем кто бы то ни было, и, как водится, меньше всех понимали, как мне помочь, хотя желали этого вполне искренне. Но чем ближе человек стоит к страданию другого, тем он, как известно, беспомощнее. Собственно, медицина, по моему глубокому убеждению, необходима в первую очередь как форма посредничества между страждущим и любящим, поскольку последний теряет от сострадания остатки разумения. Та же Ленка совсем недавно, когда Витьке в драке развалили верхнюю губу «розочкой» — оббитой страшным звездчатым зигзагом бутылкой — прибежала ко мне с белым лицом и трясущимися руками, и я, не способная пришить пуговицу на нужное место, сводила воедино эту эластичную, скрипящую под иголкой, облитой одеколоном, губу под Витькин кокетливый и косноязычный рев: «Кто ж меня такого любить будет!»

Время от времени возвращаясь из страны своего воя, чтобы сунуть в зев боли не утоляющую ее таблетку анальгина, я видела над собой чьи-то лица, не то чтобы не идентифицируя их, но уже ни малейшего внимания не уделяя проблеме связи облика с содержанием, и слышала — так же равнодушно и потусторонне — чьи-то речи на понятном, но не имеющем ни малейшего понятийного воздействия языке. Пьяный Витька Поп то и дело повторял вечную формулу своего пустого бахвальства:

— Я пять лет миской брился!

Зэки из касты «мужиков» выдвигали чуть более реальные предложения.

— Ложку надо заточить, — говорил один. — Мне так на зоне зуб рвали. Ложку заточили, спичкой обожгли для дезинфекции — и хорош. Только глаз на лоб вылез.

— Серной кислоты капнуть, — предлагал другой рационализатор. — Выжечь эту падлу на хрен.

Мне было все равно. Не заглушая сирены, я уже лезла плечами, корчась, как отравленные этилом в том кузове, в черную прорубь совершен-

ной округлой формы, стараясь втиснуться как можно мягче и глубже. Предложение насчет серной кислоты было по-своему правильным: когда ее достали и поднесли пузырек к моему рту, я инстинктивно рванулась назад, насколько позволяла вминаемость подушки, и сжала губы, кожа с которых сходила потом слоями месяца полтора, — это при том, что практически ничего не попало, пролившись на постель, так что от нескольких капель матрас прожегся насквозь. Я очнулась и вынула из проруби голову и плечи. Сначала, еще не применившись как следует к действительности, я услышала Витькин «прикол» про миску. Зрение понемногу сфокусировалось. Посреди комнаты стоял Ганс и в руке держал кирпич. То, что кирпичом, по преимуществу раскаленным, лечат не зубы, а скорее радикулит, я, несмотря на полусознание, понимала. И хотя от Ганса можно было ожидать многого, предположить, что он явился с целью оглушить меня или, полуживую, вовсе лишить жизни тупым тяжелым предметом, оснований не наблюдалось. Но кирпич, если рашпилем вырыть в нем сыпучие борозды и пустить по ним электрическую спираль, превращался в предмет, носящий малопочтенное для зэка имя «козел», и обогревал жилище, отведенное для семейных поселенцев. Впереди была зима, и топить печь углем, выписанным на пока еще два наших тела согласно накладной, было рано: начни — и до Филиппова поста не дотянешь. А дрова, несмотря на их таежное изобилие, мало того что враз прогорали, так еще и нещадно дымили. «Козелок» по осеннему времени было самое то — с нашей, но не Гансовой точки зрения.

— Как главный энергетик поселка, — обычным гауляйтерским тоном сказал Ганс и пошире расставил ноги, как в кино про эсэсовцев, — я конфискую у вас электроприбор, нарушающий правила противопожарной безопасности.

«Главным энергетиком» он назначил себя за время моего беспамятства. Ганс любил быть главным и был им. Он сидел сразу по всем статьям УПК, дважды ходил под «вышкой» и выкручивался, на «крытке» — тюремном режиме, когда запрещены прогулки даже по внутреннему двору, соблазнил дочь начальника колонии, благодаря чему с ней и двумя гансятами и очутился на «поселке». По своему уголовному статусу он мог не работать, живя за счет «общака». Но и этот закон Ганс презирал и нарушал.

— Я пять лет миской брился!.. — вякнул Поп, надув приобретенную благодаря моему хирургическому искусству заячью губу. Такие недоноски были много ниже Гансовых представлений о человечестве.

— Ганс, ты че? — загудели мужики, пытавшиеся исцелить меня серной кислотой. — Баба чуть не откинулась, а ты ее холодом морить! Будь человеком...

— Сверхчеловеком! — Ганс хмыкнул.

Немцем был его отец, загинувший в северном Казахстане. Начетничество Ганса всегда раздражало меня больше его жестокости. Он прочел немного и специально, все запомнил и ничего не пережил. Коль скоро, по доктору Моуди, я уже прошла какой-то там коридор в виде проруби,

мне осталось посмотреть на себя с астральной стороны. Я поднялась над кроватью, панцирная сетка которой выдержала закритичную любовную нагрузку. Засалившиеся от мотания воющей головы до бриллиантинового эстрадного лоска волосы были еще неприятнее опухшего лица. Эфирность не помешала мне брезгливо поежиться. Я поспешила воссоединиться со своей замурзанной физической оболочкой.

— Человеческое, слишком человеческое, — прошамкала я первые за несколько суток слова.

Ганс перекинул кирпич с руки на руку и, кажется, заметил мое присутствие:

— Вы знакомы с Фридрихом Ницше, фрау? Это неожиданно.

Ганса ненавидели все — от зама по режиму до последнего шныря. Ненависть не существует отдельно от страха, что бы там ни рассказывали революционеры. Его ненавидели не за опереточный нацизм, который он декларировал, как всякий начетчик, без простейших ассоциаций, а за безошибочную звериную реакцию на слабость. Сильных здесь не было.

— Не имею счастья, — мне Ганс не был страшен, хотя на моих глазах он пырнул ножницами продавщицу Марковну за то, что она стерла с двери своей конуры в сотый раз начертанный им «могендовид». Ганс знал, что его не «закроют»: от него отказались последовательно все зоны СССР. А «поселку» нужен был промышленный ток, который Ганс добывал из речки Косьвы.

— Мы с ним пациенты разных ведомств: он — венерический, а я гинекологическая. Временно — стоматологическая.

Мой артикуляционный аппарат набирал ход, правда, осторожно и с пробуксовкой. Ганс положил кирпич на холодную печку.

— Любопытно, — сказал он. — Ну, отдыхайте.

Спираль, добытую путем сложного многоступенчатого обмена, Ганс сунул в карман, как мусор, который воспитанные гости забирают с собой, покидая хозяев. По лачуге поползла мозглявая змея холода.

К вечеру печь пришлось протопить. Зуб от дыма утих ровно настолько, чтобы я перестала выть, зато голова разламывалась. Прибыл Поп с тортом, попяченным из-под носа Марковны при разгрузке праздничных «кумовских» пайков: приближалось 7 ноября. Кремовые розаны казались восковыми, как на погребальных венках.

— Я ж пять лет миской брился, — похвалялся Поп. Ленка счастливо смеялась. Для реанимации головы она дала мне тюбик яичного шампуня — по причине тотального дефицита тоже неизбежно криминального происхождения.

Ганс вошел тихо, без понтов. Он носил зэковскую шапку, потому что она походила на форменную вермахтовскую. Из-за пазухи телогрейки — всегда новенькой, ладной и черной — он вынул бутылку водки. Пить ему было совсем нельзя, как «лепиле» Володе: к неуправляемой агрессии подмешивалась нордическая сентиментальность, и Ганс становился безобразен. Он и пил только в день рождения фюрера. Витька Поп оживился и разрумянился: его алкоголизм был наследственным,

он с ним родился. Ганс твердым офицерским шагом подошел к полке, без спроса достал стаканы, себе и мне плеснул лимонада, вынутого из другого пазушного кармана:

— Прошу извинить и понять: я при исполнении. Если случится бытовой пожар, ток в бараках отключат. Будем сидеть на керосине. — Он помолчал и сказал почти просительно: — Я слышал, у вас имеется музыка романтического плана?

Я привезла с собой несколько любимых пластинок. Показала пальцем, где лежат. Я старалась экономить речь. Ганс порылся в конвертах, внимательно читая текст на бумажных кружках.

— Позвольте одолжить это и это — с непременной отдачей, — я не видела, что он выбрал.

— Давай щас послушаем, — суетливо предложил Поп. Присутствие принца крови не могло быть для него столь лестно, как присутствие Ганса — некоронованного короля «поселка». Ганс промолчал, даже смази Витьке не сделал за наглость.

— Как истинный ариец я склонен к внезапным слезам, — сказал он задумчиво через некоторый промежуток и встал со стула. — Мне пора. Благодарю за гостеприимство.

Он помедлил и достал из очередного кармана пачку анальгина. Все онемели. «Колеса» — любые — не имели на «поселке» цены. Просто не имели — были бесценны.

— Я тоже зубами намаялся, — устало сказал Ганс. — Особенно по первой ходке. Я понимаю.

Он пошел к хлипким, открывающимся плечевым нажимом дверям. У нас ни разу ничего не пропало. Из коридора понесло запахом грибов, засоленных в бочке, оставшейся от предшественников. На пороге опять полез в карман, порылся и молча положил на стол спираль. Новую, в пегой бумажной упаковке.

Бывшие женщины

Два ключевых положения человека — детство и старость — суть две возможности искупления неукоснительной жизненной неудачи, именуемой взрослостью. Или — для пущей важности — полнолетием, зрелостью, возрастом, которого большинству именно что для созревания и недостает, несмотря на длительность. По основоположности своей детство и старость так часто и близки, пограничны в проявлениях и дружны в общении. Вот и я, не различая еще степеней родства и не ощущая остроты острия, по разные края которого пролегали полюса нашего бытия, всех троих — Елену, Веру, Нину — воспринимала одинаково. Меж собой они были сестрами, и кровной бабушкой — маминой матерью — мне причиталась только одна, Нина. Но совокупности предпочтений, навеки подменившей любовь, предпочтений-то, выбора-то и лишенной, я еще не нажила: детство чем раннее, тем бескорыстнее, и всех троих я постигала не то что нераздельно, но в некоей неразрывной связи.

Сами сестры — и с их легких уст все вокруг, включая малолетнюю меня, — звали друг друга уменьшительно поименно: Нинуся, Веруся и Лёля (ей по старшинству не досталось дополнительного суффикса). Так — и только так — от писем, которые писали в промышленных количествах, до надписей на бумажных крышечках, сомнительно защищавших варенья, которые изготовлялись тоже в объемах среднего консервного заводика. Крышечки эти, сборчатые снизу от перевязочной бечевки (ленточки, тесемочки) наподобие балетных пачек, много лет после поочередного ухода каждой из сестер каким-то образом — отдельно от покрывавшегося ими и давно употребленного по назначению продукта (варенье разрешалось трогать исключительно серебряной, спасенной от войн и переворотов ложкой с фамильным вензелем) — попадались в вещах и бумагах вопреки переездам и краткости жизни вещи, тем более бумажной. Совсем еще недавно, залезши в картонажную, тлеющую под рукой папку, я нашла такой документ сестринской любви, сохранивший округлость горла литровой банки, и узнала гимназический — с элементами готики — почерк Веруси: ***«Крыжовник,*** — было начертано на «пачке», казалось, готовой — только появись партнерши — пуститься в синхронизированный отпляс маленьких лебедей. — ***Варила моя дорогая Нинуся в 1960 г.»***

Все три уродились женщинами в утраченном не только жизнью, а и литературой смысле этого слова, имеющего минимум отношения к полу и максимум — к характеру. Каждая — не красавицей со всей неподступностью и абстрактной публицистичностью этого — как правило подтверждаемого лишь воображением номинатора — определения, но — красоткой: категория чисто эстетическая, персонально самодовлеющая, избавленная от конкурентности и посему признаваемая даже существами однополыми. У всех троих далеко за седьмым десятком лет, невзирая на подагры и артриты, сохранилась мраморная изваянность ступней, груди не потеряли полноту формы и черты лиц не закорились морщинами. Правда, поздравительные открытки и упомянутые многостраничные письма к моменту воплощения моего сознания они заканчивали иронической самоаттестацией «бывшая женщина» или конспиративным «БЖ», не предназначенным чужому разумению и в то же время буквенно почти совпадающим с толстовским «ЕБЖ» — «если буду жив», что, будучи лишено условности, приобретало чисто женскую императивность: «буду жива!» Сделаем хотя бы лексический реверанс в сторону классовой теории: в рабоче-крестьянской среде мне с достаточной презентативностью попадались воспетые советским поэтом «гордые лбы винчианских мадонн», а происхождение моих бабок делало их лишь социально уязвимее простолюдинок, по образу жизни никаких преимуществ давно не обеспечивая. Просто давался этот образ тяжче в силу иного генетического кода, нежели у «рязанских молодок, согбенных трудом», иной, выражаясь языком компьютерщиков, операционной системы, которая в одну прекрасную ночь при помощи штыка и кувалды была лишена программного обеспечения.

Персональная фаза человека в России внимание завоевывает редко и лишь ценой большой публичности. И трех девочек из имперского, то бишь предельно космополитичного, Вильно сперва разметало катастрофой по разным углам непрерывно прерывающейся и периодически обустраиваемой пустоты, именуемой каким-то банным словом «пространство», потом, как следует поболтав, сбило вместе — варить, по совету Василия Розанова, варенье и обсуждать стадию «слабого шарика». Собственно, Вера окончательно не прикрепилась к сообществу, а наезжала, хоть и надолго, из города Ленинграда, где оказалась в результате короткого брака с офицером, расстрелянным в 1918 году. Но пространство, которое можно преодолеть, было преображено и подавлено временем, а потому временно не страшно, не то что сейчас, когда для большинства стариков оно непреодолимо.

Являлась Вера всегда неожиданно и самым экзотическим способом. Я не помню ни единой обычной вокзальной встречи с братьелюмьеровским «прибытием поезда», предварительным брожением по платформе, расфокусированным вглядыванием в домелькивающие вагонные окна и неловким спусканием по рифленым стальным ступеням. Возможно, Вера инстинктивно избегала такого рода прибытий с того случая, когда, вырвавшись из блокады, она была дочиста ограблена на вокзале милыми попутчиками, которых на минуту оставила присмотреть за вещами, по рассеянности не променянными на продукты. Она приезжала к нам в розвальнях — как боярыня Морозова, на тракторных прицепах — как первоцелинница. Разве что, за отсутствием в средней полосе океана, не на шхуне, как Федор Конюхов. А однажды я, как всегда в решительные моменты почему-то оставленная всеми домашними сразу, бессознательно сдавала экзамены в вуз. Часа в три ночи, с тошнотой засев за Бархударова и Крючкова, я услышала под окном вой и дребезг, какой нормальное транспортное средство издавать не способно. Выскочив на балкон, я увидела пришвартовавшийся к нашему панельнику БТР, из которого невесомо выпрыгнула Веруся. Не трехрублевой корысти ради, а дабы не зарывать талант несяк-нущей красоты, она снималась в ленфильмовской массовке, изображая престарелых барынь. На сей раз Вера принимала участие в какой-то милитаристской киноэпопее (непонятно, что за роль ей там отвели), интерьеры которой разместили в наших, глубоко тыловых, краях. Не отряся с ног своих прах Второй мировой, она порхнула к безмолвствующему между ее появлениями пианино и загрохотала свой любимый вальсок «Любовь и шампанское», куря неизменную зэковскую папиросу «Север» и отклоняясь от инструмента на опасный для человека другой комплекции угол с коронным вопросом: «Кушкать будем?» Кроме так никогда и не утоленного аппетита за ней тянулся из блокадного кольца призрак Джоньки — пуделя, съеденного то ли соседями по коммуналке, то ли самой хозяйкой с этими соседями поделенного. Съеденный Джонька терзал Веру, как ни один из многочисленных и легких, как ее поступь, грехов.

Леля составляла взбалмошной, но зато живущей по завету, как птица небесная, Вере полную противоположность. Она воплощала в этом не-

подражаемом трио земные стихии, почему, наверное, и плотью была обильнее остальных. Статностью, только удостоверяемой полнотой, и темпераментом Леля напоминала Екатерину Великую, у которой чухонская кухарка, якобы родившая наследника престола, реквизировала бриллианты. Надо полагать, что императрица от этого тоже бы не растерялась и не впала в черную меланхолию, а нашла применение своим менеджерским талантам в другой сфере. Леля удивительно умела организовать вокруг себя человечество таким образом, чтобы все ей служили и были у нее на посылках. Статуса барыни никакая советская власть лишить ее не смогла, потому что статус человек назначает себе сам, а мир с этим обстоятельством соглашается или нет. Леле услужали в разнообразнейших формах соседи, родственники и совершенно посторонние люди. Она жила в восемнадцати верстах от нас, в пригороде, славном своим пороховым заводом, куда ходил очаровательный поезд довоенного фасона и скорости, и когда мы с ней в очередной раз ранней весной совершали архаическое, в стиле Багрова-внука, путешествие и она увидела из окна первые блеклые цветочки, все вагононаселение, как один организм, во время пятиминутной остановки по мановению Лелиной руки бросилось на сбор букета.

Помимо этого, Леля умела предупреждать исчезновение вещей, то есть никогда ничего не выбрасывала. Потом я узнала, что за эту великую черту Степан Плюшкин получил прозвище «прорехи на человечестве». Но даже Гоголь, похоже, не подозревал, что персонажи дальновиднее и мудрее своего автора и что настанут времена, когда вспомнить вещь и восстановить ее контекст можно будет только благодаря этой осмеянной в сотнях школьных сочинений «прорехе». Причем в вещах, спасенных Лелей от аннигиляции, можно было рыться, а следовательно, хоть в малой степени участвовать в продлении их жизни. Шляпные коробки, набитые последними парижскими моделями образца 1902 года; керосиновые лампы с тончайшими фарфоровыми абажурами в виде цветка лотоса; бонбоньерки, хранящие горький запах черного шоколада, — все это и многое другое, гораздо более хрупкое, нежели человек, выжило Лелиными поистине титаническими усилиями. И сперва по вещам, а лишь потом по книгам я обретала свое погубленное Отечество. Кстати, и вкус к книге, особенно старой, мне во многом привил Лелин заскорузший вытертым бархатом диван. Всякое знание крепкó затраченным на его получение усилием, и, оказываясь близ спасенных с державного «Титаника» предметов, я немедленно заболевала чем-нибудь высокотемпературным, дабы не отвлекаться от археологии на бессмысленные гулянки. Сидя, словно древле Иона, в пронафталиненной внутренности дивана, рискуя ежемоментно быть прихлопнутой задранным под головоломным углом сиденьем, я проглотила весь книжный базис (или анабазис), давший такой стойкий иммунитет к жизни, что, вопреки стараниям сотен людей, я не заразилась душевным СПИДом.

Еще Леля обладала даром неузнаваемо перевирать имена и фамилии любой степени простоты, включая Ивановых. Интересно, что память сохранила именно псевдонимы, а не паспортные данные, в силу

чего, вероятно, выдуманные писателями модели нарицательнее среднестатистических человеков. Так, многодетные Будаевы, служившие Леле с фирсовской беззаветностью, остались в виде несуществующих «Будёнкиных» — Леля, очевидно, ассоциировала семейство с «комиссарами в пыльных шлемах», которые ее, впрочем, никогда не умиляли. Из колен «Будёнкиных» по возрасту мне подходили Ирка и Витька. Их, как и меня, очень занимали Лелины кладовые, но больше по продуктовой части, поскольку наесться досыта, когда за стол усаживается больше десяти человек, возможно только на свадьбе или поминках, а в обыденье весьма проблематично. У меня собственно такой проблемы — наесться досыта — не было, но человек ищет повода к лидерству и последующей власти везде — хотя бы и в старом буфете, и увлекала меня не столько возможность поживиться, сколько иллюзия сразить «Будёнкиных» масштабами своей самодозволенности.

Ореховый буфет занимал половину вещехранительного жилища, инкрустированный гроздьями деревянных, фламандски плотных, фруктов. Буфет этот непрерывно, с упорством маньяка, реставрировал, сиречь портил морилками и олифами, патриарх «Будёнкин», перед каждым экспериментом обещая: «Жаром гореть будет!» — и гарантированно обманываясь в ожиданиях. Хранились в буфете не только прозаические, в моем представлении, запасы подписанных варений, но товары сугубо колониальные, неслыханные и в моем относительном благоутробии, а не то что в «будёнкинской» безысходной алчбе. Грозди шептолы, инжира, сабзы и корольков, словно ожившая нарезка буфета, спасаясь от потравы липового краснодеревщика, прятались в его недрах; мешки пряностей точно вчера вышли из трюмов усталых сухогрузов. Где их добывала Леля, вопрос отдельный. Сама она лишь улыбалась, поправляла навек сберегший корсетную выправку бюст и уходила от ответа загадочной рифмой: «У Савки в лавке». Но угощала наследием колониализма строго по лимиту, только благодаря русской широте несколько превышавшему лимит Тома Сойера в кладовой тети Полли. Ирку и Витьку, более всего страдающих от недостатка углеводов, особо привлекала коробка с сахарной пудрой, хотя они не отказались бы и от доброго сколка рафинадной головы, сохранившейся, надо быть, тоже как музейный эквивалент Савкиной коммерции. Я была застигнута с горстью приторной пудры, которую систематически черпала не столько из сострадания к полуголодным товарищам, сколько из самодовольной безнаказанности. Готовность к скандалу и порождаемому им отпирательству есть детская приуготовляемость к бессрочному взрослому лицемерию. Леля преподала нам урок, спасший не знаю как «Будёнкиных», а меня от многих провалов на бесконечных премьерах жизни. Понимая, что послескандальная обида выветривает всякое раскаяние, она спокойно сказала: «Возьми, детка, блюдечки и ложечки. С руки только щенят кормят». Белая, как бланк на предъявителя, крамольно осыпающая платье пудра уже размывалась первыми жгуче-стыдными слезами, которых не выбила бы из меня никакая головомойка.

И вот я добредаю памятью до кровной своей Нинуси, взрастившей и вскормившей меня, и с изумлением обнаруживаю, что никакой памяти — отдельного от себя, внешнего ощущения ее не имею. Конечно, я видела ее более фронтально, чем остальных, да и провела при ней неотлучно добрую треть жизни, завися, как ни от кого с тех пор. И тот факт, что возраст абсолютного воспоминания не выделил для родного человека специального надела, каталожного ящика с детальной фактографией, говорит в пользу любви громче клятв, увереннее уверений и целомудреннее простых умолчаний. И хотя я нигилистически сознаю, что время такого выделения не за горами, я радуюсь, что оно еще не настало. Моя бабушка остается, таким образом, самой незапечатленной и самой спасаемой от суесловия из трех сестер. Получается, что даже призрак съеденного Джоньки осязаемее Нинуси, которой я обязана полноценностью своего детства. Но я не сомневаюсь, что, если бы у нее был выбор — выйти с моих слов вовне или остаться анонимно во мне, она предпочла бы неявленность, как предпочитает ее все подлинное.

ТАМ ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК ПРАЗДНУЕТЕ ВЫ...

Памяти ушедших

1. Памяти Евгения Блажеевского

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье...
Е. Блажеевский

Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил еще по одной.
Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты черный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.
Влюбленный в земное, ты не представлял
посмертного существованья.
Но если, родной мой, все это не ложь,
дай знать мне, какую там чашу ты пьешь,
сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если все это неправда, — в ночи
явившись ко мне, улыбнись и молчи,
надежде моей не переча.
Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
не выбили маленький твой вертоград,
где ждет нас блаженная встреча.

2. Памяти Натальи Беккерман

Ангел кроткий, ангел нежный,
ангел легкокрылый
зажигает свет безгрешный
над твоей могилой.

Игорь МЕЛАМЕД — родился в 1961 году во Львове. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи и статьи публиковались в «Континенте», «Новом мире», «Октябре», «Юности» и др. Автор книг «Бессонница» и «В черном раю». Живет в Москве.

Свет струится неизбежный
в неземной отчизне
после тяжкой, безнадежной,
безысходной жизни.

Там сама ты ангел милый,
ангел легкокрылый.
Господи тебя помилуй,
Господи, помилуй!

Ради памяти Наташи
нас помилуй тоже,
и тела, и души наши,
милосердный Боже.

3. **Памяти Марины М.**

Повсюду смерть, и смерть, и смерть, и смерть.
И ты ушла... Ответь мне, Бога ради,
оттуда, если можешь, — как мне сметь
пытаться жить, взывая о пощаде?

Как продолжать мне верить в то, что нет
загробной тьмы, считать себя поэтом
и повторять: нас разделяет свет,
и ты — на том, а я еще — на этом?..

4. **Памяти Бориса Викторова**

...И о тебе не плачу потому,
что я теперь тебя несчастней, Боря,
что ты уже покинул эту тьму,
и больше нет мучения и горя.

Тебе уже не страшно, мой родной.
Тебе уже не больно, мой хороший.
Теперь ты там в компании одной
с Ириной, и Мариной, и Алёшей.

Там вечный праздник празднуете вы.
Ты пьешь вино с Наташею и Женей.
Теперь ты жив, а мы ещё мертвы
для жизни вожделенной и блаженной.

* * *

Только спать, забывши обо всём.
Задушить последние желанья.
Сладко ли тому, кто в мире сём
родился в эпоху умиранья?

Ни о чем не думать — только спать,
ничего не видя и не помня.
Погружаясь в ночь, воображать
бурые кладбищенские комья.

И в каком-то самом давнем сне
изумиться: Боже, неужели
летним днем на маленьком коне
это я кружусь на карусели?..

* * *

Ты плачешь, глаз не открывая,
в потемках полузабытья
не видя очертаний рая...
А, может, это плачу я.

Никто не знает, как ужасно
твое страданье и мое.
Зачем же так? Иль все напрасно —
и крест, и гвозди, и копье?..

* * *

В гостях никогда не сиделось на месте
ребенку, который когда-то был мною.
И страшными кошками пахло в подъезде,
где бегал я с бедною Софой больною.

Пока за столом рассуждали премудро,
делясь новостями, враждуя с властями, —
в прихожей я ел тети Мусину пудру,
попался и на смех был поднят гостями.

На лестнице темной, на лестнице грязной
обиды свои вымещал я на Софе
и ведать не ведал в той жизни злосчастной,
что Бог за меня умирал на Голгофе.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

Помолвка

Могуч, хоть и не молод наш Изя Стародворский — сторож синагоги. И добрый до ужаса! Он говорил:

— Мне нах не нужен такой раввин, если он скажет, что я должен свою русскую жену бросить.

У Изи была сложная жизнь, то есть больная русская жена и молодая еврейская любовница. И это в шестьдесят пять лет! А у раввина и в мыслях не было, чтобы запрещать Изе русскую жену. Более того, ребе, например, настоял:

— Выдавать продуктовые наборы русским вдовам — они ведь жили с нашими евреями столько лет, поддерживали их!

Часто бедный ребе горько вздыхал и говорил украинцу Косте, повару:

— Неплохо бы все технические должности в синагоге отдать русским или украинцам. Им скажешь — они исполняют. А наших о чем-нибудь попроси! Начинают меня учить, как лучше сделать. Ведь каждый еврей в душе раввин. Особенно часто спорят со мной сторожа.

Но вот в этой истории, с Яковом и Эвелиной, Изя был солидарен с молодым раввином.

Все началось легко. Сначала их видели вместе беседующими то возле окна в столовой, то в библиотеке (где она вела вокальный кружок). Потом они стали закрываться в компьютерном зале (там Яков работал) — видимо, очень были сложные проблемы с программами. Наконец Яков подходит к раввину и говорит: мы хотим пожениться.

Раввин стал их уговаривать: сначала нужна помолвка, а потом уже под хупу. Яков смотрел на него печальными глазами: отсрочка, помолвка, ребе, где ваш светлый ум? У Эвелины сережки в алебастровых ушах — в виде трапеций, качаются, дух захватывает, кажется — вот-вот сорвешься. Если бы у вас была такая Эвелина: как ее увидишь — бьет током триста вольт от улыбки, пятьсот от походки и тысяча — от каждого сло-

---

Нина ГОРЛАНОВА

Вячеслав БУКУР

— родились в Пермской области. Закончили филологический факультет Пермского государственного университета. Авторы «Романа воспитания», в 1995 г. признанного лучшей публикацией «Нового мира», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Капсула времени» и др. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». В 1996 г. вошли в шорт-лист претендентов на Букеровскую премию. Живут в Перми.

ва, но не умираешь от этих разрядов, а становишься еще блаженнее. Хорошо, что есть тело, которое все чувствует, а то бы мы жили, как облака...

У раввина был свой источник высокого напряжения — жена. Поэтому он деликатно встряхнул Якова за плечо и сказал:

— Я понимаю — состояние счастливой невесомости. Но очнитесь, все вокруг против вас. Я это понял на Хануке.

Ребе как член Межконфессионального комитета пригласил представителей всех конфессий на этот великий праздник свободы еврейского народа. Изя потом завистливо рассказывал (ему самому пришлось бросить пить из-за микроинфаркта):

— Зашли они в синагогу такие важные. А потом, смотрю, через три часа выходят уже шатаясь, добрые — друг друга поддерживают. Если бы не их шапки, я бы не знал, кто у них там мусульманин, а кто католик.

На Хануке мать Якова и заметила, что ее сын все время кипит возле Эвелины. И ужаснулась, и забросила свои курсы еврейских социальных работников, на которых пропадала в Москве. Здесь вон какие бесконтрольные события пошли! Она понимала, что не будет навсегда для сына всей вселенной. Но хотя бы половиной! А тут что? Клан Ольховичей, процветающий, ветвящийся на полмира, не пустит ее дальше коврика в прихожей. Кто они и кто она? Беженка из Таджикистана, без родни, без связей, все потеряла, кроме сына (квартиру трехкомнатную, друзей огромную массу, климат роскошный).

Когда приехали в Пермь, Илья Михайлович Ольхович предложил ей быть координатором в группах общения пенсионеров, «Теплый дом» это называлось. А теперь он же — отец Эвелины — так ясно говорит ей взглядом: откуда вы взялись?

Вдруг ее осенило так, что обнесло голову. Так вот почему исполнительный директор опоздал к началу Хануки! Первый раз в жизни! Он отчаянно сигнализировал общине: вы что, не видите, что творится прямо у меня под носом? У вас что — женихов нет достойных для моей дочери? Шлите их срочно ко мне!

Но раввин сказал:

— Илья, ты кто такой?! Синагога — это ведь не твой особняк и не мой, чтобы мы здесь распоряжались.

Иногда Илью Михайловича Ольховича охватывала чисто русская мечтательность: вдруг откуда-то в Перми образуется еврейский олигарх, который тотчас начнет сватать своего сына за его Эвелиночку. И что у зятя (вот он, уже тут стоит!) барственность, как у молодого Ширвиндта, а капиталы — как у пожилого Ротшильда.

И вдруг — вместо намечтанного зятя ходит оживший землемерный инструмент, худой, нескладный, нищета, без отца.

И — хитрая безотцовщина! — Эвелине уже прочно голову задурил: будто бы в общежитии у него гантели, турник, пятьдесят раз подтягивается. Да знаем мы эти общежития, сами всю молодость в них провели: друзья, приключения, пьянки, тогда казалось все так уникально!

У тех, кто полсотни раз подтягивается, грудь-бочка, а у этого грудь-фанера, внушал Илья Михайлович дочери. Эвелина возражала:

— Ты, папа, не понимаешь, что бывает два типа телосложения: медведь и леопард.

Тут-то и подумал наш Илья Михайлович, что его красавица, его виноградинка Эвелина уже успела воспринять этого придурка полностью, до конца.

— Закогтил тебя, значит, котяра! — закричал он.

А Эвелина таинственно улыбнулась и поведала, бедная, как Яков преступника убил:

— За бандитом он гнался, в войсках МВД служил. А тот спрятался в арке. Но Яша гений — как даст очередь из автомата по загнутой стене арки, которая видна. И рикошетом этого бандита убило.

Илья Михайлович сам оттрубил два года во внутренних войсках, но уж не стал говорить ей, дурочке, что там в ленинской комнате лежали брошюрки «Солдатская смекалка», в одной из которых и тиснута эта поучительная история. Получается, что до сих пор те же вечно засаленные брошюрки где-то разложены, хотя ленинские комнаты давно исчезли.

Но хватило ума не сказать ей про это! А то как бы поднялась дочь на родного отца: ах, захотел исказить светлый облик этого драного кота!

Поскольку красная рыба признана повсеместно кошерной, на ужин в синагоге подавали именно ее. На этот раз рыба была в кляре, и раввин попросил повара Костю, чтобы приготовил еще две порции. Он пригласил Якова и Эвелину отужинать с ним.

А Илья Михайлович все выглядывал из своего кабинета. Если бы не ребе, он бы крикнул: «Эвелина, марш домой!», а потом бы поговорил круто с этим человеком-фанерой, бандита, он, видите ли, поймал! Хочет с вранья начать жизнь с его дочерью! Совсем не понимает, что семейная жизнь — это не то же самое, что любоваться неглубокой прозрачной рекой.

Он забыл, Илья Михайлович, что четверть века назад сам рассказывал невесте (улыбка у нее — тыща вольт):

— Я был в отряде аквалангистов. Мы подплыли ночью к захваченному рецидивистами катеру, открыли под водой два баллона с особым секретным газом. Он буль-буль-буль вокруг катерка, через пять минут все заснули. И мы тут как тут! Сковали всех четверых и потом всю дорогу до лагеря держали выродков в закрытой в каюте, защищали их от экипажа — люди рвались сделать самосуд.

Он убедительно размахивал руками, задевая то прекрасную грудь, то прекрасное бедро невесты, и в этот момент он был героем, морским могучим человекольвом. Так охотники в рассказах всегда умножают свои трофеи, чтобы их слова чудесно увеличили будущую добычу.

И ведь сработало! Чудесная добыча — дева Рая — досталась Илье! Эх, Илья, почему же ты забыл, что мужественная история освобождения

катера взята из той же замусоленной брошюрки «Солдатская смекалка»? Потом этот событие перенесли даже на экран в виде учебного фильма, и роль главаря банды с наклеенными вдоль и поперек лица шрамами играл известный киноактер Т.

На самом деле Илья Михайлович думал, конечно, не об одной только судьбе своей Эвелины.

Стали поступать сигналы, что иные богатые евреи не выполняют своего сыновнего долга! Невиданное дело! Не далее как сегодня утром пришла Аида Иосифовна Р., мама владельца рыбокоптильной фабрики (от него всегда пахло копченой рыбой), и давай плакаться в кабинете: запишите меня в благотворительную столовую, пенсия такая мизерная. Он сразу вспыхнул возмущением к рыбокоптильщику, но через это тонкое пламя видел: откуда у Аиды Иосифовны дорогая сумка? Да и обувь не из дешевых. Пообещал, что позвонит завтра-послезавтра.

Этот богатый Р. жертвует изрядные суммы на ремонт синагоги и в то же время не кормит мать, что ли? Илья Михайлович хотел посоветоваться с ребе, выглядывал, ждал, когда закончится болтовня нищего Яшки, наконец закипел, забурлил и сам позвонил нарушителю сыновнего долга: представитель избранного народа, как не стыдно, должен показывать пример. Представитель избранного народа был поражен:

— Раз в неделю я набиваю мамин холодильник... Может, ей поговорить просто хочется? Тогда давайте я буду оплачивать эти обеды. Или вот что... Грибы кошерные? Можете забирать прямо из теплицы вешенки раз в неделю — я сейчас грибами еще начал заниматься. Мама такая светская, очень любит общество.

Илья Михайлович спросил проницательно:

— Аида Иосифовна стихи, наверное, пишет?

— Да, всю жизнь, как только она начинает читать, мы разбегаемся кто куда.

Илье Михайловичу все стало понятно. Потому что, бывало, он сам выбегал в зал, где проходила трапеза, и читал старикам свои юморески, пользуясь, что они не могут разбежаться. Да и они на каждом обеде встают, требуя внимания:

— Сейчас я прочту отрывок из поэмы «Моя жизнь»: «Расчески тают вдали — словно на картине Дали, они только шлют нам привет — но волос у меня больше нет...»

— А я предлагаю вашему вниманию рассказ о том, как человек позеленел и покрылся сквозными отверстиями диаметром семь целых и четыре десятых миллиметра.

И все перестают есть и уважительно слушают: ведь у каждого под пластами лет таится свой дар, который ждет, когда его выпустят на волю.

А у сторожа Изи Стародворского вообще тяги к сочинительству не было, но зато какая память! Какой трубный, зовущий голос! И позвякивали в этом голосе разноцветные леденцы — они привлекали женщин лет на двадцать его моложе. Изя встал и аккуратно положил вилку на край тарелки:

— Лучше послушайте, графоманы старые, рассказ Бабеля. «Конец богадельни. В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище»...

— Что за намеки! — вскрикивали шепотом две тщательно одетые и причесанные дамы, похожие на Агату Кристи.

Но наш Изя Стародворский знаете кто? Это носорог, это фаланга Александра Македонского! Его не своротишь с выбранного пути. Своим голосом, который моложе его на сорок лет, он продолжал наизусть шпарить великого еврейского классика русской литературы.

Но и наших англизированных дам сильно не смутишь. Формально похлопав Изе и Бабелю, они обратились к своему, насущному:

— Я представляю творчество Набокова как шар, покрытый серебристой чешуей.

— А для меня Набоков — это дерево-великан, и ствол усеян бабочками-данаидами.

Мать Якова слушала это все без сил. Раньше она тоже врезалась бы в словесную сечу, раздавая направо-налево увесистые доводы. Но не сегодня, после симфонии бессонницы. Гудели возле общежития провода, холодильник урчал в головах, счетчик сверчал, мышь грызла, в ушах звенело, стекло дребезжало, мысль шевелилась: если бы Яков выбрал не Эвелину, а умницу, дочь библиотекарши Эстер...

Разговаривал раввин с Яковом и Эвелиной вот о чем:

— Помните у Кушнера? «Я отвечаю: МИР, когда пароль — ВОЙНА». Яков, вы отца должны пригласить на обручение!

— Не могу. Мы с мамой потеряли его после развода.

— Как — потеряли?

— У них вскоре в цехе был взрыв — его бросило на дюралевую дверь! И его лицо отпечаталось на двери со всеми подробностями. Я видел сам: вместе с мамой пришел в кабинет техники безопасности, там эта дверь стояла как главное пособие. Отца направили в Душанбе на лечение, в это время гражданская война, мы все бросили и бежали.

Раввин сильно глубоко нырнул в эту историю и, слегка покачиваясь, бессознательно шарил пальцами по столу. Тень от его шляпы ритмично наплывала на лицо Якова.

— В Торе говорится, — задумчиво промолвил ребе, — бэцэлэм Элохим бара ото, по образу Божию сотворил его, то есть человека. Господь найдет способ напомнить, хотя бы этим отпечатком на алюминии, чей образ и подобие мы несем на себе. Бросил жену и сына — и получил вот такое милосердное напоминание.

Тут Илья Михайлович закипел так, что не выдержал, выскочил в молельный зал и закричал по-простому, как хотелось:

— Эвелина, тебе пора домой!

— Сейчас я расскажу ребе историю и пойду.

— Историю Геродота в семнадцати томах?

— Да томики у Геродота маленькие, — ввернул раввин.

— Я кому сказал, марш домой!

Дочь зло посмотрела на отца и вдруг перенесла этот же взгляд на Якова (видимо, автоматически), и его шарахнуло под тыщу вольт, но только сейчас со знаком минус.

Эвелина накинула шубу и пролетела вниз по лестнице мимо Изи, который сказал Якову:

— Что это она пронеслась, как п... на помеле — ни шалом, ни пока?

Яков выбежал на крыльцо синагоги, увидел шубку Эвелины в десяти метрах и... раздумал догонять. Лицо горело как ошпаренное от ее мощного взгляда. Он наклонился и погрузил голову в сугроб. Потом стал рассматривать получившийся отпечаток своего лица в снегу. Вот так, Яша, по образу и подобию, значит, надо идти догонять. Она шаги замедлила, ждет.

Он догнал Эвелину в три прыжка, обнял, а она ответила приготовленными словами:

— Помнишь, ты четвертого сентября подарил мне белые гладиолусы. Они цвели до конца, пока на верхушке бутоны не раскрылись. Это нам пример. Будем стоять до конца.

— Выстоим! — кивнул Яков. — Это хорошее слово для эпитафии. На нашей общей могильной плите будет написано: «Мы выстояли!»

— Катарсис, или тащусь, — простонала Эвелина.

Она пришла домой, а отец тут как тут, ждет, как лев в засаде. Примчался вихрем на «шевроле-ниве». Опять будет это ненужное перешвыривание словами, когда уже все решено. Мама, конечно, промолчит, но молчание ее заряжено ясно как — в поддержку отца, а маме, бедной, кажется, что для пользы семьи.

— Мать мне сказала, что видела у тебя экспресс-тесты, листочки эти... Скажи честно: ты в положении?

— Папа, давай не будем разыгрывать мелодраму.

— Ат-лично! Значит, нет, — Илья Михайлович почувствовал, как ему жарко — так я еще в шапке (он снял ее и взял в руки кипу). — С этого мига ты с ним больше не встречаешься! Какую свекровь ты можешь сдуру заполучить! Она все твердила мне: ах, повар Костя неэкономно срезает попки огурцов.

— Она не Плюшкин, а просто от тяжелой жизни! А тебе бы только деньги, деньги! — Эвелина прокричала это, как сирена, мощным певческим голосом и скрылась в ванной.

— А по-твоему, все только любовь-любовь! — рявкнул Илья Михайлович и потряс гудящей головой. — Да у Якова, наверно, плавки, и те из секонд-хенда!

Жена тут вышла из кухни:

— Что там в мидраше написано? Высокий должен брать в жены низкую, а богатый — бедную, чтобы не было расслоения.

Ледяное стекло давно манило его огненный лоб. Илья Михайлович подошел к окну. Во дворе мигала елка, и Илья Михайлович вдруг беспричинно подумал: будут новые радости, например внуки... Да что за радость, если родная дочь не понимает, что евреев всегда преследуют.

Когда дочь вышла из ванной, нисколько не благодарная, что они ее родили такой роскошной, он сказал:

— Наш народ всегда в опасности! А что дает хотя бы относительную безопасность? Деньги. Вчера в магазине слышал: «А ты знаешь, какие чеченцы? Они хуже евреев!»

— И инвалид мне сказал на приеме, что евреи выдумали эту монетизацию льгот, — добавила мать.

— А ты много безопасности принес в свою семью, когда женился на маме? — Дочь отца вопросом ударила прямо в лоб.

— Тогда было другое время, при советской власти ни у кого денег не было... — начала мать перечислять доводы в защиту мужа.

— Рая, ты, как всегда, не в фокусе, — мягко сказал ей Илья Михайлович. — Теперь-то уж можно сказать, что я играл не последнюю скрипку в теневой экономике, был буревестником капитализма...

Дочь гнула свое:

— Наш ребе сказал, что первая заповедь, провозглашенная в Торе, это «плодитесь и размножайтесь» — «пру урву». Пора тебе, папа, другую Тору писать, где первая заповедь — обогащайтесь и страхуйтесь.

— Дума, Дума, — бормотал Илья Михайлович, — зачем ты придумала этот январский отдых? Я пропал на две недели в Бермудском треугольнике — холодильник, диван, телевизор, я упустил развитие событий, упустил безопасность и благополучие Эвелиночки!

Тут захотелось ему, подобно предкам, посыпать главу пеплом. Но на дворе 5765 год от сотворения мира, то есть двадцать первый век.

В этот день тихое кипение в синагоге началось с утра. Изю попросили остаться после суточного дежурства и подвезти все, что нужно для помолвки (сладости, фрукты, вино, шарики, надутые гелием).

На фоне бодрых движений всей синагоги выделялось бессильное лицо библиотекарши Эстер Соломоновны Айгулиной. Ее дочь была назначена инспектором по кошерности, то есть проверяла, чтобы в крупе и овощах не было жучков, червячков, камешков. И был такой красавец иудей Петров, электрик на полставки. Работа у обоих была не сказать чтобы обременительна, и сэкономленные силы зародили бурное притяжение. Все с одобрением посматривали на эту пару: вот начало новой еврейской семьи, если дети пойдут в отца, то красота мира увеличится, а если в мать пойдут, то будут гении. Петрову дали грант на обучение в Иерусалиме. Так этот подлец Петров вдруг женился на американке и растворился в бескрайних просторах США, то есть в Нью-Йорке. Тогда Эстер Соломоновна сделала гибкий разворот и увидела Якова, и с каждой секундой он все больше ей нравился, и она убеждала дочь так напряженно, что ей тоже понравился этот сын беженки.

Но они обе — мать и дочь — забыли про вокальный кружок. А ведь он базировался тут же, в читальном зале, и в своих недрах скрывал это прожженное существо Эвелину, вот так. Ловко она притворялась, что ставит голоса всем желающим петь. А на самом деле... И вот результат —

сегодняшняя помолвка. И бедная доченька Эстер опять одна и уже поневоле дрейфует в сторону соседа по площадке, грузина Бадри. И этот дрейф взаимный.

— Воздух не озонируешь своим видом, — озабоченно заметил Изя. — Сделай хоть рекламную паузу на лице.

А ведь есть чем утешиться: внуки все равно родятся евреями, хоть фамилию будут иметь Паолашвили. На такой мысли Эстер вскинула губы к ушам и с этой улыбкой стала растягивать гирлянду. Изя подвалил с ящиком кока-колы и одобрительно сказал:

— Так-то лучше! Не горюй! Нас гребут, а мы крепчаем. Вот позавчера вечером: только я начал вслух Тору читать, а у котика просто судороги! Жена говорит: вези к ветеринару — друга-то надо спасать. А уже полночь! Ну, поехали, и сказал айболит: во время бурного роста у самцов бывает — резко повышается уровень гормонов, поэтому судороги... Пришлось заплатить триста рублей. Такая дыра в бюджете! И вот — сутки сторожил, без передышки остался подработать.

— Да, котик — это роскошь, — сочувственно сказала Эстер. — Но ты железный, тебе ничего не делается... А что там за крики?

Да, крики были — из глубины синагоги. Часто звучало слово «вентилятор». И высыпала толпа, состоящая из общественного совета, участкового, завхоза, а также электрика и слесаря в одном лице. Курсировал в массе людской и Илья Михайлович. Он надеялся: история с вентиляторами раздуется до таких пределов, что помолвка сорвется. Следователь будет полдня ходить, собакой всех нюхать, допрашивать... Хорошо бы.

Но, увидев величественного Изю Стародворского, директор несколько пошатнулся в храбрости и даже отступил назад. Он начал так: пропали вентиляторы из гаража, помните, купили, закопченные такие, после пожара?

— Помню, дешево вы их купили, — парировал Изя, не двинув бронзой лица.

Но все равно последовали робкие попытки повесить на него ответственность за то, что плохо сторожит. Изя еще более выпрямился, опершись рукой о невидимую кафедру и возгремел:

— Во-первых, я не принимал эти сифилисные вентиляторы под свою ответственность, а только слышал о них. Где я и где гараж, который ленивый может открыть ногтем? Во-вторых, третий год вы обещаете поставить сигнализацию и даже проголосовали там себе. Где деньги, отпущенные на сигнализацию? А в-третьих, даже если бы я услышал ночью, как там ломятся, я бы, может, не смог позвонить. Телефон у вас то оживает, то снова мертвый. У меня хер чувствительнее, чем ваш телефон!

Изе чуть ли не аплодировали. Фронт против него распадался на глазах.

Дальше началась чинная суета помолвки. Мужчины и женщины как бы представляли два вида кино: черно-белое и цветное. Раввин, лицо которого было всегда здоровым и розовым, словно у молотобойца, вдруг

побледнел и с блистающими глазами стал провозглашать благословения на языке пророков. Якову показалось, что одежды ребе вздыбились и поплыли, как у Моисея под напором святого ветра Синая. А у Эвелины сквозь слезы все было усеяно бриллиантами...

Отдышавшись (это же потрясение каждый раз — общение с ангелами), ребе сообщил:

— Идя навстречу пожеланиям трудящихся (он посмотрел на мать Якова и отца Эвелины), мы сокращаем срок между помолвкой и хупой. Свадьба будет в апреле.

Через час, когда все разошлись, Яков подошел к Изе и стал переминаться с ноги на ногу.

— Ну, говори, жених.

— Израиль Маркович, мы поздно вечером вам позвоним, вы нас пустите с Эвелиной?

— Ни за что, — просто, без всяких церемоний ответил сторож, но, взглянув на лицо Якова, вдруг потерявшее всяческий тонус, добавил: — Ты слышал, что ребе сказал? В апреле он вернется из Москвы, гостей назовут! — И он принялся расписывать все так, будто придет пол-Перми, и стены синагоги волшебным образом раздвинутся, чтобы вместить всех.

Тут подошла Эвелина, прислонилась к Якову плечом пловчихи-певицы, с силой вздохнула. И они, молодые, посмотрели на Изю четырьмя древними глазами, которые внятно говорили: старик, старик, ты не понимаешь, время идет, жизнь проходит.

— Жизнь — цейтнот, сказал енот. — И далее Изя подробно расписал, что может быть. — Я же не вижу в дверной глазок всего, сами вы говорите или под ножом или пистолетом. А зайдут с вами незваные гости, шарахнут мне по голове — тут даже не поможет бросок через бедро с захватом волос из носа...

Проволочная вода

Роману было видение.

Он лежал в палате после операции. Голос сказал: жертвы — все.

— Как все? — возмутился Роман. — Одно дело — Шаламов, другое дело — конвоир, который под штыком держал Шаламова на морозе без одежды!

Голос приблизился и повторил: оба — жертвы.

Роман переспросил:

— И тот судья, который влепил мне семь лет строгача? И падла начальник лагеря? И эти охранники, чуть не отбившие мне легкие?!

Голос твердил: да, все жертвы.

— А КГБ? — с мольбой вопрошал Роман. — Мой следователь из КГБ — тоже жертва?

Но Голос ушел вверх и затерялся среди березовых сережек.

Откуда эти березовые сережки? Ведь только что была палата...

Да, я сейчас стою на остановке возле мастерской и вспоминаю, как лежал после операции.

Советская власть казалась тогда плотной, как сыр, хоть ножом режь, ничто не предвещало... ну, и так далее.

Роман хотел в этом монолите прокопать, прогрызть место для себя. В мастерской он три часа сваривал чудо-рыбу — из полосок стали. И все равно одна узкая полоска выглядит хитро. Надо его изоржавить, это ребро, подумал он и пошел к Мандельштаму с Шаламовым. Все говорили, что хорошо у него получаются только те, кто сидели.

Дело в том, что в Перми все сидели: Мандельштам, Шаламов, Буковский, Щаранский, Ковалев.

— Пермь такая гостеприимная, — отвечал Роман, когда в перестройку в санатории «Мемориала» кто-нибудь подходил и говорил: «А я у вас в Перми сидел».

Роман представил: а что, если всех узников посадить в ряд на одну большую скамейку — вот они СИДЯТ вечно...

...и лег подремать. Стучат в дверь. Принесли повестку — срочно явиться. Господи, ну почему, за что, я уже отсидел свое, чего они меня треплют. Воронок — конечно — вороного цвета... В приемной — никого, ни охраны, ни цепкого секретаря, дверь в кабинет настежь! Делать нечего, придется войти, сами понимаете!

Вошел. А Сталин сразу из-за кожаного дивана стал холсты доставать! И тихим голосом произносит: я тут на досуге пишу, ха-чу услышать ваше профессиональное мнение. Ужас Романа охватил: такие под передвижников грязно-коричневые пейзажи! А жить хочется! Это вообще невозможное дело — растолковать дилетанту, в чем его провал. Вождь в это время не молчит — все объясняет, объясняет, расставляет холсты в экспозицию:

— Я почти никуда не выхожу. Вот вид из окна и здесь вид из окна.

Ухватился Роман за это:

— Белизна зимы гагачья... н-да, получается уникальный взгляд на мир, такого в нашем искусстве еще не было.

И тут Роман вздрогнул и очнулся. Секунду боялся, что Сталин вывалится из сна сюда, но он быстро развеялся. Правда, не до конца: по небу проплыли пару раз облака, похожие на тот самый френч.

С тех пор прошло без малого двадцать лет.

В арт-салоне Роман с порога увидел: нехорошо! Пейзаж со Свято-Троицким монастырем перечеркивается бронзовым эквилибристом. Начал отодвигать скульптуру. То справа, то слева мельтешил кто-то, одетый под художника — в бархатный богатый пиджак.

— Давайте я помогу, — сказал он. — Вы же после операции.

— Спасибо.

— А меня узнаете?

Роман смотрел-смотрел, пожал плечами:

— Извините, нет.

— Так я же определил вашу судьбу!

Роман тык-мык: какую судьбу, где судьбу?

— Я ваш судья — в 1970 году назначил семь лет строгого режима за антисоветскую деятельность.

Да у тебя щеки по плечам, как мне сейчас было тебя узнать, подумал Роман. А когда ты меня судил, там были две географические впадины.

Судья еще любезно хвалил работы Романа, а глаза уже ушли вбок, к другим картинам. Лишь руки остались из прошлой жизни — сцепленные в железный замок. У него каждая часть тела словно управлялась отдельным компьютером.

Роман вдруг вспомнил, что фамилия его — Томный.

— Я слежу, слежу за вашим взлетом! — продолжал судья Томный. — На выставки хожу, хотя у вас все в полторы краски: фиолетово-жемчужное. Медаль вы получили — всероссийскую серебряную медаль — знаю. Пастернака вашего в Перми не могут установить — видел я передачу в прямом эфире. Но это не главное.

Что же главное, удивился Роман.

— Как вам мои работы? — некоординированно подпрыгнул судья, и рубенсовский его живот поплыл в одну сторону, а указующий перст — в другую. — Это мое творчество, я же пишу картины.

А там (снисходительно говорил потом нам Роман) все зайчики да котики, котики да зайчики!

И тут Романа спас поэт Черноиванов. Вы же знаете, как он подлетает, пальцами жует свитер на локте своем, весь искрит:

— Хорошо бы сделать памятник жене Сократа! Если бы Ксантиппа не доводила его, он не стал бы философом.

И пошли Роман с Черноивановым прикидывать, как изваять Сократа вместе с женой. В общем, сошлись на том, что из кувшина Ксантиппы бесконечно льется вода на лысину мыслителя.

А судья что? А он предложил друзьям выпить и закусить. В руках его оказалась уютная фляжка, а вскоре и стаканчик, и кусок твердокопченой колбасы. Роман отказался, сославшись на недавнее шунтирование. Черноиванов же выпить выпил, но закуску отклонил.

— Хорошая колбаса! — сквозь колбасу же говорил Томный.

— Не буду.

— Почему?

— Я жду вдохновенья! — закричал Черноиванов. — Вдохновенье придет, а я что — с колбасой в зубах!

Вдруг нахлынули разноцветные дамочки, которые жаждали купить судейский зверинец. Развевая щеками, под газом, экс-судья торговался направо и налево. Котики и зайчики спрыгивали со стены и разбегались в разные концы необъятной Пермской области, вдохновляя новых русских на построение хрен знает чего.

Но не будем скрывать: висел среди котиков и зайчиков один натюрмортец, с худосочными огурцами на коричневом столе, тут проглядывал какой-то итог жизни автора-судьи. Его — правда — никто не захотел приобрести.

А наш Роман вообще ничего не продал на этом арт-салоне. Только чиновник, похожий на хомяка, подрабатывающего официантом, вручил ему сертификат. И там было написано: ...имеет право дать любое имя небесному телу. Лучше бы подкинули денег! Но не пропадать же сертификату!

Он дал имя астероиду — Теща. Дело в том, что Роману в мастерскую она раз в неделю примерно приносит свою стряпню. А как узнала, что астероид носит ее имя, стала приносить больше. И, поедая ее разборники, мы в гостях у Романа услышали, как он мучается:

— Не чересчур ли я практичный? Назвал астероид Тещей и столько всего выиграл!

— Да-да, твоя практичность огромна, как орбита астероида. Помнишь, как ты во всеуслышанье угрожал Князеву на суде? И все считают, что именно за это прокурор накинул тебе еще год, — ответили мы.

Прокурора Роман Ведунов помнит до сих пор в его мельчайших чертах. У него под глазом чернела ангиома, которая придавала ему вид разбойника. А про судью Томного он, крякнув, подумал тогда: рельефная натура! Хорошо бы в скульптуру трансформировать этого судью, и чтобы лицо его было сбоку жопы.

Томный буквально выделялся своей падшей красотой: блондин с вьющимися волосами и с таким маленьким печатным ртом, что непонятно, как до сих пор он не умер с голоду.

Когда Томный дал слово Князеву, тот сначала это слово не брал, а молчал, кутался в какую-то белую тряпку.

— Говорите! — потерял терпение судья и царственно похлопал ладонью по столу.

— Я видел, на самом деле видел у Романа Ведунова японский альбом Хокусая, в котором Фудзияма — это пароль для связи...

В зале смеялись все, включая судью, потому что сейчас не нужна была восточная версия. Это до войны вас могли бы назвать шпионом хоть Антарктиды. А сейчас судья Томный строго попросил:

— Свидетель Князев, освободите рот!

Но Князев продолжал кутаться в свою белую тряпку — полотенце ли, простыню ли. Только блестел в непредсказуемом месте один глаз. («Зуб, зуб болит», — бормотал он.)

— Вы говорили на следствии: Ведунов ездил в Москву — встречался с Красиным и Якиром и брал у них самиздат...

— Да-да, каждый месяц ездил он к этим антисоветчикам! А бывало — и чаще.

Рома слушал его со страхом и яростью: на самом деле ездил-то один раз всего! Князев, сволота, что ты делаешь, ты меня убиваешь, строгача не избежать!!!

А мама Князева сидела в девятом ряду и с ужасом смотрела, как два здоровенных молодца, поухивая, играют рядом с ней в карты. Она шептала:

— Ой, Восподи, батюшка Бог, помоги, чтобы сердце начальников в суде было мягким к моему сыну. Архангел Михаил, унеси ты этих картежников от меня на двенадцатый ряд! Если они прокурора не боятся, разве я могу им сказать...

Тут еще из железной клетки этот страшно закричал на ее сына: «Сука, я выйду — тебе не жить!»

Перед ней все поплыло, она застонала и откинулась на казенную спинку. Два звероватых здоровяка прекратили игру и стали картами как веером обмахивать ее лицо.

Она пришла в себя, боязливо отказалась от стопки, протянутой одним из картежников... Да хорошо, что ты такой дурак в клетке и проговорился. Я отправлю Мишеньку к сестре в Клязьму, и ты там его не найдешь.

На самом деле эти амбалы были никакие не бомжи, а друзья Романа, которые пришли его поддержать и играли в карты в порядке художественного протеста. Теперь-то они оба за рубежом: один в Израиле, другой в Америке.

А Князев тогда думал: я у мамы один, если я буду гнить в лагере, кто же ей споет:

— *За Камой, за Камой два селезня летят,*

А пули свистят.

И еще ведь с отрочества Князев чувствовал: в его груди заложена свистулька — она высвистывает фразы, которых раньше не было вокруг него. Как с этим? Неужели сломают свистульку и бросят в лагерную грязь? А Ведунову ничего не сделается. Достаточно посмотреть на его плечи неандертальца и лоб Достоевского — это сочетание вынесет все и станет только крепче.

Эти плечи, да, все вынесли, но усохли до состояния мослов, высокий лоб пожелтел, а горлом шла кровь, когда Романа актировали из лагеря.

Мама Князева умерла в 2002 году. Сын уже неделю как приехал из Москвы в Пермь — старался большими деньгами помочь... А затем выполнил последнюю мамину волю: в день похорон позвал священника прямо с утра. Тот читал молитвы, потом резко запел у него в кармане сотовый, батюшка отключил его и продолжал громко молиться, остро поглядывая на Князева. Это был отец Дионисий, сын Романа Ведунова.

Когда отец Дионисий закончил читать, он подумал про Князева: «Ну что, грешниче, как же твои губы превратились в две кривые бритвы?» Отец Дионисий помнил, что, когда он еще был семилетним Денисом, Князев часто приходил к ним. И тогда Денис не смел сказать отцу: «Как вы не видите, что он хочет показать вам всем язык?»

Князев, конечно, не мог узнать сквозь бороду и рясу того костлявого отрока.

Ближе к вечеру отец Дионисий позвонил в мастерскую:

— Папа, знаешь, кого я встретил сегодня? Князева...

После разговора с сыном Роман Ведунов не заметил, как тискал и крутил в руках проволоку — до тех пор, пока не получились дерево и повесившийся на нем человек. Потом покачал головой и одним рывком разогнул.

Через год, в 2003-м, «Мемориал» устроил юбилейную выставку Романа в Москве. И вдруг там объявился Князев. Шел навстречу юбиляру и руки как недоразвитые крылья распустил для объятий... Но сначала мы прочли об этом в журнале «Близнец». Михаил Князев писал: «Мы обнялись с Романом и взглянули друг на друга скорбными глазами: где ты, наша плодоносящая молодость? При чем тут процесс, при чем суд? Мы просто бешено искали свое место в жизни и в кровь разбивались об эту скалистую, прекрасную жизнь!»

Не поверив буквам родного алфавита, мы набрали цифры номера и спросили:

— Роман, это правда, что ты обнялся в Москве с этим... с этим? Поди, еще и лобызнулся?

Роман наивно оправдывался:

— Так Князев пришел на выставку, на мою, так это же в Москве, Князев такой известный, я же думал, что у него совесть — хочет рецензию написать... Видели бы вы, как он шел на меня по всей выставке из глубины и прижимал мобильник к щеке, будто повязку к больному зубу, будто лечился. И вид у него был какой-то заброшенный.

Эх, Рома ты, Рома! У Князева все оказалось железно рассчитано. Для того и срежиссировал маленький кусочек реальности, чтобы об этом написать, заколдовать прошлое, превратить его в текст и еще говорить на всех тусовках: мы помирились с Романом, он бросился обнимать меня, мы вычеркнули все смешные обиды молодости. Много талантов, оказывается, в Князеве скрыто. Мы думали, он прозаик, а он еще и режиссер, актер и исполнительный продюсер.

Положив трубку, грозно сопя, Роман разогревал в руках пластилин, который пытался угадать, чего же сегодня хотят эти лапы.

Он всегда так побеждал. Когда он вышел из лагеря — одно дело знать, что жена не дождалась, а другое — увидеть ее с коляской, в которой не твой ребенок. Она же всегда была чистюля, пылинки сдувала со скамейки, но родила, садится на корточки к коляске, юбка в луже, вся она в дочери... А как волны воды в скульптуре передать? Ну, это очень просто — из проволоки.

Иван, ты не прав!

Стало быть, все посмотрели за окно. Там, на железном карнизе, слегка подрабатывая крыльями, чтоб не упасть, стоял странный голубь. Огромный, и при каждом шевелении по нему вжикали радужные молнии.

— Таких голубей не бывает — белый в яблоках!

— Нина, ты еще не поняла? Это душа Милоша, — затрепетал Оскар Муллаев. — Сегодня ведь сороковой день...

— Да бросьте! Птица — потомок динозавра.

— Букур, ты опять все опошлил!

А Вихорков вообще словно забыл, что мы собрались ради Милоша:

— Слава, вы живете в центре — к вам прилетает голубь, мы живем за Камой — к нам прилетает мухоловка. А наш Мяузер любит на нее охотиться, на мухоловку, у нее гнездо на лоджии. Ну, конечно, за стеклом, снаружи. Она хлопочет, приносит стрекозу величиной почти с самого птенца, а тот разевает рот, который становится больше его! И мать начинает заталкивать стрекозиное тело птенцу в глотку — только крылья отлетают, блестя, как слезы. А кот прыгает — раз, другой, разбивает рыжую морду о стекло, падает, трясет башкой величиной с горшок. Снова мощно прыгает. Остается в изнеможении, но взгляд довольный, как у культуриста, вернувшегося с тренировки. А потом как навернет полупаковки «Китикета». Мы с Руфиной любуемся: какой бы орден ему повесить на грудь.

— Слушайте, пора помянуть любимого поэта! — И Оскар вручил штопор самому молодому из нас — Даниилу Цою. — Бог так любил Милоша, что дал дожить до осыпания коммунизма в Польше.

— А в России сейчас свобода испаряется.

— Нина, так я об этом же говорю, — Вихорков нервно двинул локтем и рассыпал листы, лежащие на прозрачной папке Даниила Цоя. — У меня сын и невестка уехали в Израиль, а неугомонный Кремль — сами видите — куда повернул. Боюсь, что Интернет перекроют.

— Ну а в конце-то концов... мы же знаем, чем все закончится. Перед Страшным судом люди откажутся от свободы и поклонятся антихристу.

— Нина сегодня — катастрофист на пенсии, как Милош прямо! — покачал головой Оскар. — Но рецепт он дал — нужно все равно подвязывать свои помидоры.

— Да, так. Чем больше людей будут сохранять свободу, тем дальше они отодвинут день Страшного суда.

Голубь — Милош? — продолжал с интересом заглядывать к нам в комнату. Поэты всегда объединяют, даже после смерти.

А когда Чеслав Милош был жив, 1 июля 2001 года мы отпраздновали у нас же его девяностолетие и поздравили его телеграммой. Адреса не знали, поэтому решили: ну, пошлем прямо в Краков — поляки наверняка доставят поздравление нобелевскому лауреату.

Но вот прошло три года, и стоит уже посреди стола поминальная стопка для нобелиата, накрытая черной горбушкой.

А Вихорков, между тем, продолжал свой рассказ:

— ...сын собрался в Израиль и для кошки все документы выправил — для своей королевы Баси. Вы ведь не видели Басю, у нее лицо — как у умной белки. И вот надо им вылетать, а по РТР передают: заба-

стовка в аэропорту «Бен Гурион». Игорь тут начал мучиться, взыграло в нем русское такое разрывание рубахи на груди: «Что будет с Басей? Нас посадят на другом аэродроме, в гостиницу там с кошкой пустят или нет, не известно... Ой ли вэавой ли!» (Горе мне!) Это в конце концов в нем пробудилось материнское начало.

— Вихорков! Ты вообще-то понял-нет, что сейчас не до кошки Баси?

— Да у Милоша вечность в запасе, — с укором посмотрел на всех Вихорков, — дайте же дорассказать!

Гости готовы были дослушать, но при условии, что все будет в железной последовательности: выпить-помянуть-закусить-выслушать.

— Слава, шевели руками — наливай! Нина, мы сардельки принесли — хорошо бы их сварить...

Все приняли, за исключением Цоя, который был за рулем. За то, чтобы земля Европы была Милошу пухом.

После чего Вихорков начал изображать всю историю в лицах:

— Я закричал на детей: если кошка там будет вам помехой... какое начало новой жизни в Израиле! Оставляйте ее в России, мы справимся. Ну и что, что она нас не знает. Немного-то знает. Дело в том, что квартиру дети уже продали и жили перед улетом с нами. И каждый день Мяузер подходил к Басе и замахивался лапой, чтобы она не забывала, чья здесь территория. А когда она попыталась спрятаться на лоджии, он вообще пару раз успел полоснуть ее кинжальными когтями: это мой тренажер — мухоловка и птенцы ее! Не знаю, доберусь я до них или нет в следующем году, сейчас-то они, заразы, улетели, но уж прилетят весной — так не для тебя!

— Мне кажется, мы опять чуть-чуть забыли про Милоша, — не утерпел Оскар Муллаев. — Европа осиротела без него. И мы. Надо выпить за здоровье переводчиков Милоша: Наталью Горбаневскую и Бориса Дубина!

На этот раз Вихорков не присоединился к всеобщему вскрякиванию, засасыванию воздуха и закусыванию, он продолжал:

— Игорь с Лидой в среду улетели, а Бася весь четверг ела «Китикет», пила молоко, значит, надеялась. Но в пятницу уже она все поняла и легла на Лидину юбку, оставленную на стуле. В общем, закрыла Басенька свои глаза, закаменела и дышала все незаметнее. Видно, юбка хозяйки потеряла запах. Мы Басе говорили: забастовал аэропорт «Бен Гурион», они когда-нибудь приедут в гости, звонят каждый день и спрашивают про тебя, а мы врем, что Баська беседер (в порядке), и не стыдно тебе? У них, репатриантов, и так проблем миллион. Мы Басе и радио включали, уходя на работу, и чуть ли на колени перед ней не становились. На седьмой день кошку била дрожь, и Руфина сказала: все, вызываем ветеринара или мы ее потеряем, а дети нам никогда не простят. Мы в это время уже зауважали кошек...

— А мы тоже уже себя зауважали, — зашумели люди, то есть гости. — Вон сколько сидим без выпить, слушаем про твоих из ряда вон кошек. Чтобы не загордиться, надо срочно выпить!

И вот некоторые гости пустились в этот процесс, а Вихорков показал свои руки — все в ужасных шрамах:

— Приходит ветеринар, лучащийся, светлый: сразу видно, что человек получает хорошие деньги. И в первую же минуту он заметил наш антикварный подсвечник: три грации. Руфина перехватила жаждущий взгляд и сказала: вылечите Басю — и подсвечник ваш. Не говоря уже о деньгах. За будущий подсвечник наш ветеринар взялся за дело основательно: открыл чемоданчик, достал всю свою аптеку. Он сказал: у кошек не только рефлексы, у них есть высшая психическая деятельность. Мол, Павлов не прав. У Баси суицидальный синдром. И сочинил сложную схему лечения, как для людей. Это двенадцать уколов в сутки: надо было вводить кошку в нирвану и выводить из нирваны. Внутримышечно — в заднюю лапку, подкожно — в загривок. Вот ты, Нина, помнишь, позвонила, а я тебе отвечаю: только что надел кожаные перчатки и куртку, у Руфины шприц наготове. А каковы у Баськи когти! — Тут Вихорков снова показал шрамы. — От перчаток — одни клочья. А сын звонит, и я не выдержал, уже три ночи не сплю, прорвало: так и так, спасем Басю или нет, но делаем все. Игорь сразу: покормите ее рыбой. Про рыбу мы и не подумали, ведь наш Мяузер ее не любит, а ест только свой сухой корм.

— И рыба помогла?

— Да, Нина, да. Рыба победила стремление к саморазрушению. То есть Баська сначала колебалась, запах рыбы тянул ее в жизнь, но что это будет за жизнь — без любимых хозяев! Однако ведь они сами меня бросили, да и Лида уже совсем испарилась из юбки... Бася поела, и снова у нее стало лицо умной белки.

— Ура! — закричал Оскар Муллаев. — Теперь можно наконец о Милоше? Вспомянем еще раз!..

— Нет, это еще не все! — перебил его Вихорков.

— Как — не все? — рассвирепели гости. — Баська жива, полнота жизни, чего тебе еще?!

— Много чего. Ведь Мяузер решил умирать.

Гости застонали.

Но делать нечего: выслушали историю и про Мяузера, который подумал, что Баська захватила его территорию, а хозяева-предатели на ее стороне. Еще и рыбу ей варят... В общем, сразу он выцвел, стал видом как бледная зимняя морковь. Залез — бедняга — под ванну, тоже отказался от еды-питья, и вот уже его бьет дрожь. Хоть снова вызывай ветеринара, а подсвечник-то уже тю-тю! Там, наверное, квартира у ветеринара — музей антиквариата! К красной мебели — только текин! Да, ковры такие. Ну, Вихорков постелил простой коврик на полу ванной комнаты и лег. Разговаривал с ним около часа: выходи, пока осень и стекло не замерзло, ты будешь — как всегда — провожать на работу, прыгнув на подоконник! «Я тебе помашу снаружи — ты мне лапой ответишь, а то ведь скоро зима, стекло затянет кружевным инеем, и ты хренушки там чо разглядишь, как ни царапай. Ты помнишь, как зимой

царапал по инею! А еще ты забыл, что у тебя есть такая радость — птичка-мухоловка, настанет весна, она опять прилетит и будет радовать твой охотничий инстинкт, и снова ты будешь бросаться на нее, тренируя ударами об оконное стекло свою мощную рыжую морду. Что касается кошки Баси, то скажу тебе как мужик мужику: действуй! Рядом с тобой такая модель ходит, и как она течет — на четырех лапах!» Но этот братский тон не прошел, Мяузер еще глубже забился под ванну и закрыл глаза от отвращения, и Вихорков тогда залепетал, как классная дама: «Да у вас с Басей, да потом, да будут дети-рыжики...»

Все мы засмеялись, потому что Вихорков был живой комод, который вдруг заговорил нежным умирающим голосом.

— А что? — поднял брови Вихорков. — В самом деле Иван Петрович Павлов не прав. У животных не только рефлексы. У них есть что-то высшее... Я стал потихоньку Мяузера выколупывать из-под ванны, продолжая сюсюкать, прижал к груди, а Руфина уже поднесла черепушку с молоком. И все наладилось...

Молодой поэт Даниил Цой то поправлял косынку на волосах, то вынимал из папки листы, то обратно их туда помещал. У его жены, сидящей рядом, блузка с глубоким вырезом на груди, а в упругой ложбинке — серебристый мобильник. Так что Пушкин, увидев ее, мог бы написать: «Ах, почему я не мобильник». И раздался звонок. Она выхватила аппарат из волшебной долины:

— Да, слушаю. Лес? Какой лес? А, поняла, лес на продажу! Передаю трубку мужу.

И тут молодой поэт Даниил Цой из блистательного преподавателя университета, неистового поклонника Милоша (который ему снится) превратился в коммерсанта. Глаза заблистали капитализмом, а на острие голоса появились кубометры, проценты, переводчики с японского. Когда разговор закончился, он обратился к нам:

— Почему здесь не сидит ни одного переводчика с японского? Эх, Слава, зачем ты без фанатизма учил японский!

— А почему роща деревьев сама не решает, кому и на что отдать свою плоть? На бумагу ли, чтобы вышла книга... Кстати, некоторые хитрецы-писатели подкрадывались бы к ней, обещая: у нас есть удобрения, на этом месте новая роща вырастет. А роща бы им отвечала: пусть мой совет деревьев скажет. А деревья хвать хитреца за шкирку мощными ветками и как катапультой — за тридевять земель. Он летит и говорит: подумаешь, зачем мне роща, да уже начинают из песка бумагу делать — белую, вечную. Ее хватит на все. Упал он на чистый, желтый песок, зачерпнул его в горсть, любуется, а песок прокашлялся и изрек: хрен я тебе дам себя на твою книгу. А Чеслава Милошу роща махала бы своими кронами: сюда, сюда! Я дам тебе столько бумаги — на все книги, что ты написал!

Зазвенело нетрезвое стекло, Вихорков встал и добавил:

— Чеслав, передай Ивану, что он не прав.

* * *

Да, пришло время сказать, что в прозрачной папке у Даниила. Там у него, во-первых, девять стихотворений, которые он написал в промежутке между рубками двух рощ. Во-вторых, благодарный ответ Милоша на наше поздравление с девяностолетием: «Как я рад, что далекие камни Урала становятся камнями Европы». А в-третьих, в папке оказались наши стишки, но не размышляющие, как у Даниила, а...

Впрочем, смотрите сами.
Индеец трясет томагавком:
Привет Милошу!
Чукча пишет эссе
«Однако, Милош!»
Бежит поэт Лаптищев:
А ну его, Милоша:
Коммунистам не давал,
И фашистам не давал!
И помчался патриот
Просвещать родной народ.
Пораженный же Чеслав
Зарыдал среди дубрав.

Весь этот джаз

У нас, если вы не знаете, еще сохранились остатки красного крепостничества.

Приезжает в педучилище управляющий из села и сразу проходит к директору. Из-за глухой двери под дуб доносится:

— Сто—сто пятьдесят...

— А может, двести?

— Нет, сто пятьдесят человек и кормежка.

Дальше, кажется, начинается что-то сугубо интимное, резко понижаются голоса... В общем, секретарша с трудом уловила только два слова: «банк» и «счет».

Дождь, холод. Подшестерка угрюмо заметил:

— В прошлом году я в это время откинулся — тепло было!

Лихорадочно брились, по три «Орбита» закидывали в мощные ротовые полости — ну прямо хоть сейчас в рекламу! Уже за полдень показывали часы!

— По коням! — сказал Васильич, похожий на секретаря давно забытого Н-ского райкома. — Студентки к нам из города приехали! А мы все еще здесь! Этот соплежуй уже вымыл транспорт, нет?

Шестерка пробормотал:

— Какие-то предъявы непонятные погнал.

— Это ты что-то сказал или просто твоя шея скрипнула? — привычно построжил его Васильич.

Васильич иногда напрягал мускулистые брылы — вот-вот начнет произносить речь об исторической роли братанов в России. У него новый костюм невозможно прекрасного цвета с чуть фиолетовым отливом! Верх мечтаний — черная шелковая рубашка!

Джип уже сиял. Он был живее своей живой начинки, подбадривал, мигал полировкой: сегодня прорвемся, а то два дня что — девушки в поле, а вы с Эрнестом квасите вповалку.

Хорошей формы бритая голова Васильича спереди предъявляла лицо все в заломах, как на его пиджаке. Улыбка пикировала вбок: он каждый день ее так укладывал перед выходом.

На третий день, на середине девятой бутылки водки «Вальс-бостон», Васильич вдруг закричал:

— Денис! Денис!

— Что? Кто? Какой Денис? — захотел ясности Эрнест, хотя глаза его уже сами закрывались.

— Из-за ваших телок внука уже неделю не вижу! Да и телок тут шаром покати!

— Девушки в поле, — бдительно прохрипел Эрнест, приподняв голову.

И больше ее не опускал.

История, пролившаяся из бодрых брыл Васильича, была настолько освежающа, что Эрнест даже встал и начал расхаживать по клубу.

— Сыну надоела Светка, он ее бросил. Но, оказывается, сделал ей ребенка, который Денис, который моя кровь-кровинушка! — Васильич задышал, подошел к Эрнесту, схватил его за руку, сжал и помял обручальное кольцо.

История готовилась политься дальше, но Эрнест все время отвлекался. Он пытался изящными своими музыкальными пальцами выправить кольцо — ведь давит, и палец уже нежно синеет. Какой синкоп навалился!

— Слушай сюда! — рявкнул Васильич. — Что ты копаешься?

Эрнест показал руку. Васильич двумя движениями вернул кольцу прежнюю форму и продолжал:

— Светка эта как бы думает: рожу — вдруг убьют, скажут — не нужны дети, а если сделаю аборт — скажут — как только тебе пришло в голову лишить жизни нашу породу. И она — такая чумовая — схитрила: родила и оставила Дениса в роддоме. А он в нас весь, кулачищи — во!

И Васильич снова ринулся к Эрнесту, хотел в доказательство родовой силы руку помять. Но Эрнест спрятал обе руки за спину, приговаривая:

— Дальше, дальше рассказывайте! Чем все закончилось?

Тогда Васильич схватил Эрнеста в охапку, похрустел им и продолжал:

— Конечно, тут приезжают иностранцы, хвать этого Дениску — типа усыновить! Такого всем хочется! А в графе «отец» наша фамилия. И они заявляются, два скелета, один из них переводчик: подпишите, разрешите.

— А мать Дениса что — подписала? — ощупывая ребра, спросил Эрнест.

— Светка-то? Подписала. Она сейчас об х..и спотыкается... А сыну моему в это время навесили срок за наркотики, поехали мы к нему. Он обрадовался: есть, типа, для кого поляну косить, уже три года Дениске, ты, батя, его забирай!

Голос Васильича дрогнул, повлажнел, он посмотрел на Эрнеста, но тот шарахнулся в дальний угол. Тогда Васильич схватил громово храпящего шестерку и похрустел им. И продолжал:

— Дениска мне рассказывает, что на Новый год в приюте ему Дед Мороз очки подарил, ну, ему подогнали так под видом подарка. А он подошел к воспитательнице и закричал: «Вы знаете, я вас вижу, вижу!» — И Васильич не смог сдержаться, зарыдал.

Его камарилья привычно очнулась, поднесла ему полный стакан «Вальса-бостона». Васильич проглотил, рявкнул:

— Поехали!

Эрнест с облегчением понял, что они помчатся, удало вскрикивая, бешено перегазовывая и вставая иногда на два колеса, ужинать в городской ресторан.

— Все козлы! — кричала бригада.

— И вы козлы! — мимоходом оскорбили они деревья.

— Вы-ы... злы-ы... — возражало им эхо.

Это последнее, что слышал Эрнест, и рухнул в отравленный сон. На сегодня они спасены, девушки спасены.

Назавтра бригада очнулась в час дня, Васильич резко приказал собираться. Братки брились, одеколонились, чистили зубы, обувь, отражаясь желваками лиц в носках ботинок. Опять загрузили в багажник неизбежное количество любимого Васильичем «Вальса-бостона» и тьму всяких нарезок.

Эрнест в это время сидел, раскачиваясь, и сквозь судороги глотал смоляной чифир, надеясь таким образом восстановить себя в полевых условиях. И услышал сквозь шум пьяной крови уже почти как судьбу: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла...» Водитель жал на клаксон, тряся волосами-сеном.

Эрнест застонал, а Васильич строго приказал:

— Всем лечиться! Щоб наши диты булы здоровеньки, як тыи шкафы!

И понес Эрнеста алкогольный свинг, в мозгу зажглись две лампочки, и мелькнуло: сегодня я еще выдержу, а завтра придется звать на помощь управляющего, а потом уже и бухгалтера подключать.

— Где девушки? — повис неизбежный вопрос. — Девушки где?

— Они работают в поле.

— Будем ждать. А пока что — освежайтесь!

Они так и не поняли, что встреча не состоится. К вечеру здоровый аппетит возьмет свое, и бригада унесется, джигитуя, на джипе.

Эрнест рассказал им в этот день про молодецкие забавы казахов.

В детстве он видел — на сабантуе, как один всадник поднял на полном скаку платок с земли. А у другого лихача закипело все — взвизгнул, бросил на землю платок, развернулся, и зубами — свесившись с коня — поднял его! Да-да, зубами!

И вот бригаде Васильича тоже загорелось кого-то переплюнуть.

Они долго гнались за чудовищных размеров фурой, при обгоне ударились об нее — и вылетели в молодой сосняк, измочалив много стволов.

Но это еще не все. Оказалось, что они не заметили, как пересекли границы области! И здесь закончилась власть Самого Смотрящего и начиналась власть другого авторитета.

Только они успели очнуться, сползтись, как менты прикатили, избили и понадевали «браслеты».

Эти подробности Эрнест узнал уже через неделю, когда увозил студенток с бескрайних полей. Как узнал? Уже не помнит. Наверное, от управляющего.

Сели в электричку.

Эрнест ходил проясневшим взором по лицам. И вдруг обнаружил, что студентки загорели, поздоровели, налились, эх, минус бы тридцать лет мне или хотя бы двадцать!

А ведь я подвиг совершил, думал он, давя кислую отрыжку, спас... что же я спас? Ну как это... достоинство каждой из них.

Печень сократилась, гоня вон смертельную слизь: ну спас ты девушек, спас, теперь переключись — обрати внимание на меня, на родную!

Эрнест посерел, вспомнил, что есть какие-то таблетки (сунула жена). Дрожащими потными руками достал и мгновенно рассыпал. Студентки их собрали, получилась разноцветная горсть. Эрнест подумал-подумал — и заглотил три «шпа-ны» (на самом деле это была «но-шпа», но у него прочиталось наоборот).

Через двадцать минут полегчало, пробился родник бодрости.

Только открылся тамбур — и ворвался крик:

— Эрнест, где ты пропал со своими картошами и морковами!

Это был Игорь Лобастов. Оказывается, в этот день — открытие памятника Неизвестному киномеханику, то есть Гавриловскому.

— Мы тебе послали телеграмму! Быстрей — ко мне в машину!

Гавриловский был друг Эрнеста и Игоря с шестого класса. Вдруг он назначил себя посредником между Бергманом, Феллини, Тарковским и нашим городом. Бывало, в сатиновом рабочем халате идет Володя Гавриловский, в руке — авоська с кефиром и книгой Питера Брука «Пустое пространство». Все к нему бросаются:

— Володя, Володя, сегодня что?

— Сегодня «Земляничная поляна» в шесть и в девять. — И улыбался с оттенком... с оттенком отстраненного благоговения (не я, не я эти фильмы создал).

Перед входом в книжный магазин он сутулился, как ныряльщик перед прыжком в страшную глубину...

На этом месте воспоминания Эрнест задремал, мягко покачиваясь внутри машины. Он встрепенулся, когда подъезжали к клубу, где Володя в своей земной жизни прокрутил двадцать раз Бергмана (это была его мантра) и четырнадцать раз Тарковского (это была его сутра).

— Я мысль потерял! Была где-то — и вот улетела.

— Унеслась куда-то по своим делам. Ничего, соскучится — вернется, — утешил Игорь.

Памятник Гавриловскому был — не совсем памятник. Это просто барельеф: силуэт киномеханика склонился над силуэтом условного проектора. От аппарата шел луч конусом и упирался в дверь клуба.

Этот клуб раньше назывался «Октябрь», но был переименован в «Август» после разгона путчистов в 1991 году, сейчас он готовился к очередному превращению.

Из пожилого уютного «москвича» Эрнест был безжалостно вытолкнут Игорем под пристальные глаза телекамер. Заведующая клубом уже закруглялась:

— Гавриловского мучило, что Пушкина не понимают за рубежом: «Значит, он не гений, если не всемирный?»

Эрнест начал с того, что показал руками размеры тоталитаризма:

— Был один ба-альшой тоталитаризм. Володя с ним боролся, боролся, показывая фильмы, и сердце его разорвалось! Мне до сих пор снятся часы без стрелок из «Земляничной поляны». А сейчас большой тоталитаризм разлетелся вдребезги, и в каждом селе теперь есть свой, маленький тоталитаризм. Я приехал сейчас из глубинки, возил студенток на сельхозработы — я там боролся с ним, боролся. Поставят ли мне памятник? Ведь Володька, — он сделал жест в сторону киномеханика на стене, — всего семь классов окончил! А я — музыкальное училище...

Скандала не получилось, потому что Эрнест был бережно взят под руки и уведен в буфет на банкет. И как говорила его бабушка: «На стары-то дрожжи!» Сами понимаете...

Назавтра Эрнест очнулся с головной болью во всех отростках. Почему я снова в клубе? Где девушки? Он вскочил. А, так это другой клуб. Теперь уже имени Володьки Гавриловского.

Что это, какой-то треск? Все равно пойду на звук к окну. Вот это да! На его глазах герань своими корнями разорвала пластмассовый горшок.

Подошел зевающий охранник. Он вручил ему бутылку с остатками фальшивого коньяка:

— Это вам полечиться оставили. — Проследив застывший взгляд Эрнеста, он сказал: — Это же древесная герань, она камень пробивает.

Эрнест спросил все, что положено в таких случаях: какой сегодня день, который час.

— Пятница. И сказали, что заедут за вами в девять. Если не заедут, я вас, — он посмотрел на часы, — через пять минут по смене передам.

Хорошо бы сейчас домой позвонить. Но жена ушла на работу, а теща, наверное, видела меня в телевизоре, она все подряд смотрит... Он вспомнил свою речь, застонал, сжался.

Тут снаружи забарабанили, и голос Игоря Губастова снова пришел на помощь:

— Эрнест, пора! Я тебе вчера не говорил, сегодня хороним Александра Львовича.

— Да, ведь еще до колхоза старик был плох... Господи, какие богатыри уходят! Завези меня на работу, — взмолился Эрнест, — я отгул возьму. Мне обещали.

— Александр Львович тебя тоже ждет, — сурово прекратил его Игорь. — У нас дел! Живые цветы — раз, венок — два, сообщить в милицию...

— Зачем в милицию?

— Положено: ведь массовое мероприятие, весь этот джаз над телом Александра Львовича. Ну вот на тебе, — Игорь протянул сотовый, — успокой директора.

Гроб стоял перед Дворцом культуры.

Два милиционера находились тут же и радовались, что на сегодня им такая легкая служба досталась в ясный сентябрьский денек.

Было море дорогих иномарок — ведь все приехавшие на последнее прощание играли в свое время у Александра Львовича и привозили с южных окраин империи джинсы, темные очки, в общем, фарцевали-рисковали вовсю, трудолюбиво взращивая в себе зародыши бизнеса.

Венков было много, мелькали надписи: «Теперь у тебя вечный джаз!», «Помним Ялту-74», «Помним турне по Краснодарскому краю». Барабанщик сидел, а остальные музыканты стояли в вальяжных позах, потому что знали: это было бы приятно Александру Львовичу.

— Он завещал исполнить на похоронах весь репертуар, — сказал в микрофон Игорь.

Седой мальчик лежал и словно вслушивался: с чего же они начнут?

Начали с «Лучших времен» Эллингтона, и Эрнест покатил на этой музыке прямиком в свою юность. Вот он привозит с гастролей целое джинсовое море, и попался, и попадает вдруг под следствие. И грозился бессмысленно отломиться целый кусок жизни!

Но спас его тесть — кагэбэшник в отставке, то есть тогда еще не тесть, а отец Люды. Волшебным образом уголовное дело рассосалось, и Эрнест сделал предложение Люде прямо в постели, потому что тесть затерроризировал его своим благородством: ни разу не намекнул, что пора жениться. Вот и пришлось жениться.

А сколько дергался! Ведь Лиза из Нальчика, которая поставляла ему тогда подпольный самострок, сама имела глаза цвета джинсового, и хотелось узнать, где еще у нее есть джинсовое что.

Для таких, как Эрнест, все женщины красавицы, только одни красивы на неделю, другие на год, а третьи — на всю жизнь.

Когда заиграли «Глубокую ночь», молодой милиционер сказал капризно пожилому:

— Опять этот Эллингтон!

— Это же великий Дюк, это как Пушкин у нас, его везде много.

Дети Александра Львовича, на самом деле три здоровых лба, стояли угрюмые, впрочем, Эрнест такими всегда их и знал много лет. Они обижались, что отец из-за своего оркестра их редко замечал.

А ведь у меня есть дочь, спохватился Эрнест. Надо попасть сегодня домой, Эрнест, надо.

С Компроса, с Куйбышева, с Героев Хасана на классное исполнение стекался народ. Все сначала радовались лишнему мигу веселья, а потом роняли челюсти, увидев, для кого играют. Чем больше становилось зрителей, тем полетнее импровизировали артисты: ну, Александр Львович, твой последний концерт — на уровне! Ты нам все отдал, зубр джаза, о если бы мы могли вернуть тебе то же самое, ты бы уже встал и присосался сильными губами к саксофону!

Эрнест ушел от Александра Львовича еще одиннадцать лет назад, но он опять там, среди растворившихся, забывших себя музыкантов.

Милиционеры имели вид, как будто их подмывает приступить к трудному, но интересному делу. Они взглядами приглашали присоединиться престарелого Аполлона, и Эрнест тоже стал подплясывать, утирая неостановимые слезы. Пожилой милиционер даже вытер пот, сняв головной убор — формой бритой головы он напомнил Эрнесту кого вы думаете? Бригадира криминалов — Васильевича. Но это ничего не испортило.

Долго еще джазисты электризовали острыми звуками атмосферу, но вот заиграли «Колыбельную» Гершвина (с большим драйвом), и зрители поняли, что пора идти по своим делам, пока на это отпущено время.

— Люда, опять твоего дурака по одиннадцатой показывают, по новостям. Перед дворцом и возле каких-то пузочесов.

— Значит, жив, мама.

В подтверждение прозвучавшему раздался звонок в дверь.

Некоторое время женщины молча рассматривали Эрнеста, свисающего с плеча Игоря.

— В таком возрасте — и еще это! — целомудренно вскрикнула теща.

Эрнест открыл глаза:

— Спокойно! У меня давление всегда как у космонавта: сто двадцать на семьдесят.

Адам МИХНИК

НЕНАВИСТЬ СТОЧНЫХ КАНАВ

Клод Леви-Штросс в своей книге «Грусть тропиков» рассказывает, что сразу после открытий Колумба колонизаторы собрали комиссию, чтобы выяснить, кем являются местные жители. Кто они — люди, исчадья ада или животные? — этот вопрос лишил сна испанских завоевателей. Они задавались вопросом: могут ли индейцы жить самостоятельно подобно касталийским крестьянам? И приходили к негативному ответу. «В лучшем случае смогут их внуки, — писалось в 1517 году. — Но сами аборигены настолько коварны, что <...> скрываются от испанцев, не желая бесплатно работать, и настолько вероломны, что <...> не соглашаются отвергнуть своих товарищей, которым испанцы отрезали уши».

Уклон этого рапорта был очевиден: «Для самих индейцев будет лучше, если они станут невольниками, а не останутся жить на воле как дикие звери».

В тот же самый период, пишет Леви-Штросс, другие индейцы занимались тем, что отлавливали белых, топили их, а потом неделями дежурили у места затопления, чтобы убедиться в том, что тела пришельцев также подвергаются гниению.

Сравнивая практику тех и других, Леви-Штросс делает вывод, что белые поселенцы в своих заключениях руководствовались знанием общественных наук, в то время как индейцы опирались на изучение сил природы.

Адам МИХНИК — родился в 1946 г. Учась на историческом факультете Варшавского университета, был активным участником студенческого демократического движения, за что дважды исключался из университета, а в 1968 г. был арестован и осужден на три года. В 1975 г. окончил экстерном историко-филологический факультет Познанского университета; в 70–80-е гг. — один из руководителей КОРа (Комитет защиты рабочих — ведущая организация польской демократической оппозиции тех лет), затем — «Солидарности»; неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В 1989 г. создал «Газету Выборчу», сыгравшую громадную роль в победе «Солидарности» на выборах в польский сейм, депутатом которого он был в 1989–1991 гг., и с тех пор и до настоящего времени — бессменный главный редактор этой самой крупной и авторитетной польской газеты. Автор множества книг, статей и эссе на политические, социальные и культурные темы. Неоднократно печатался в «Континенте», с 2006 г. — член редколлегии журнала. Живет в Варшаве.

Европейцы утверждали, что аборигены являются животными, а индейцы приравнивали белых к богам. Беря во внимание одинаковую неосведомленность тех и других, ученый заключает, что поведение индейцев, безусловно, было более человечным.

I

Леви-Штросс вывел модель конфликта цивилизаций: люди не понимают друг друга, не могут друг с другом разговаривать, из-за чего не способны ни к каким компромиссам. Понимается только язык войны. И это влечет последствия: диалог мы ведем с противником, а война ведется с врагом. Если противника можно убедить, искать с ним компромисс, то врага необходимо уничтожить, затоптать, утопить в сточной канаве. Поэтому в мире войн доминируют язык сточных канав и нравы сточных канав.

II

Сточная канава по-польски обозначается одним словом «rynsztok». «Рынштоки, полные вонючей грязи», «смердящий рынштоk» — такие словообороты приводил автор старинного польского толкового словаря Самуэль Богумил Линде. Термином «канавная лексика» в прежние века обозначали грязные выражения. Позднее тем же термином стали называть язык насилия и жестокости, который так же марает и унижает человеческое достоинство, а порой даже убивает.

III

В декабре 1922 года Польский сейм провел выборы президента. После 123 лет опустошающей неволи, после кровавой войны и победы над большевиками суверенный парламент суверенной страны выбрал своего руководителя, что явилось завершением процесса восстановления Польши как государства. Общественное мнение разделилось: парламентские клубы выставляли разных кандидатов. После нескольких туров голосования победил Габриель Нарутович, кандидат левоцентристской крестьянской партии «Освобождение», поддержанный позднее социалистической партией. Он опередил кандидата Партии народной демократии (НД) Маврикия Замойского.

Выбор президента не был встречен всеобщей радостью. Напротив, этот выбор пробудил грязную волну ненависти, польскую свободу захлестнула волна нечистот; польская сточная канава поставила под вопрос решение польского парламента. Уже на следующий день в прессе появилась Декларация народной демократии, составленная при участии известных активистов НД С. Глабиньского, С. Грабского, М. Сейде, С. Стронского, в которой говорилось, что Нарутович был навязан в президенты «голосами чужих национальностей»[1] и польский народ должен расценивать это как насилие и грубое попирательство.

[1] Места в тогдашнем польском парламенте разделялись между Партией народной демократии, социалистической партией, блоком аграриев и блоком национальных меньшинств (евреи, украинцы, белорусы). Социалисты, аграрии и национальные меньшинства проголосовали за Нарутовича, НД — против.

Пресса внушала, что Нарутович не является поляком по национальности, «даже не умеет говорить по-польски», а является ставленником «еврейского мирового капитала». Священник Казимир Лютославский риторически вопрошал: «Как евреи посмели навязать Польше своего президента?» Станислав Стронский выражал возмущение тем, что Нарутович «еврейско-немецко-украинским большинством навязан представлять польское государство», — этот выбор, писал он, является «возмутительным, вызывающим, оскорбительным». Этому сопутствовали и другие публикации, где Нарутовича называли масоном и безбожником.

Мороз по коже, когда читаешь эти тексты. Ничего удивительного в том, что мы вспоминаем об этом редко и неохотно. Потому что понимаем, произошло нечто неслыханное: политики правого крыла, назовем вещи своими именами, опустились до сточной канавы. Они объявили, что совершенный в полном соответствии с законом выбор парламента недействителен и что Нарутович не должен принимать власть и приносить президентскую присягу, поскольку избран «еврейскими голосами». Что означал этот тезис? А то, что определенная часть граждан многонационального государства не имела права участвовать в парламентском выборе президента. Станислав Стронский назвал Нарутовича «политиком-прихлебателем».

Габриель Нарутович был, как известно, человеком незаурядных способностей, в прошлом независимый предприниматель, он стал профессором политехнической академии в Цюрихе на кафедре водного строительства. Он был настоящим европейцем, прекрасно разбиравшимся в западно-европейских реалиях, сформировавшимся в Швейцарии под влиянием хороших демократических традиций. Эмигрантский историк Павел Заремба писал о нем, что он мог поддержать «любую беседу с человеком любого уровня, четко держась заданной темы. Идеологические различия для него не являлись непреодолимой преградой на пути достижения оговоренной конкретной цели. В этом смысле он был уникальной фигурой в польской политике. Он верил в силу убеждения».

Именно об этом президенте было сказано, что он навязан немцами, евреями и украинцами. Станислав Стронский писал: «Народ, у которого в жилах течет кровь, а не навозная жижа, должен возмутиться, когда ему бессовестно и издевательски показывают, что в наиважнейших для него органах управления отвоеванного кровью и мукой государства расселись вражески настроенные к полякам представители других национальностей. Массовые уличные демонстрации несли лозунги: «Долой Нарутовича!», «Позор ему!». Лидеры НД выкрикивали на митингах, что «Польша оскорблена».

Что же потом? В понедельник 11 декабря, как пишет историк-эмигрант Владислав Побуг-Малиновский, когда до принесения президентской присяги оставались считанные часы, вокруг здания Сейма начала собираться многотысячная толпа преимущественно молодых, сильно возбужденных людей. На аллее Уяздовских возводились баррикады из уличных скамеек и школьных парт, чтобы президент не мог проехать в Собрание. На улице Вейской и на площади Трех Крестов люди хватали прибывающих сенаторов и депутатов — сторонников нынешнего избранника, осыпали их издевками, оскорблениями и пинками, крича, что собрание не состоится из-за отсутствия кворума.

Социалист Пиотровский был избит, депутат еврейской национальности Ковальский пробрался к воротам Сейма с разбитой головой, истекая кровью, депутата Дашинского и сенатора Лимановского вооруженная палками толпа загнала в подворотню одного из домов и не выпускала оттуда.

Премьер Новак уклонился от обязанности сопровождать президента и в одиночку добрался до Сейма дорогой менее опасной, чем аллея Уяздовских, заполненная толпой молодчиков с дубинками.

Видя все это, продолжает Побуг-Малиновский, президентское окружение стало осмотрительно уговаривать президента не ехать по аллее Уяздовских, а выбрать более безопасный путь. Президент от этого категорически отказался...

С незначительной задержкой эскорт выступил из Лазенок[2]. Полиция не справлялась. Лишь двигавшиеся впереди машины кавалеристы задами лошадей постарались раздвинуть баррикады.

Толпа встретила задержанного президента враждебными выкриками, свистом и матерщиной, тут же на него посыпались твердо скатанные комья снега, несколько из них угодило в президента. Двое молодцов с дубинками вскочили на подножку его машины, но начальник охраны С. Пшеждецкий мощным движением их столкнул.

Когда кортеж преодолел пробитую баррикаду, орущая толпа, сотрясая палками, устремилась следом. Со всех сторон продолжали лететь комья смешанного с грязью снега.

Многие скамьи в Сейме так и остались пустыми: «правые» отказались участвовать в церемонии, направив единственного представителя, успевшего до этого сделать по адресу избранника лишь пару неприятельских выпадов. Бледный президент, сильно волнуясь, но мощным и уверенным тоном произнес присягу на эбонитовом распятии.

Страшно представить все это даже по прошествии лет. Но в тот момент это было лишь вступление к драме.

Сразу после инаугурации лагерь «истинных поляков» потребовал отставки президента. Инициаторами стали представители Партии народной демократии в Сейме. Станислав Стронский в своей статье «Помеха» написал, что это Йозеф Пилсудский[3] бросил Нарутовича как помеху на пути к возрождению государства. Примерно тем же тоном поддерживали тему и другие оппозиционные газеты.

Вскоре после этого, во время визита в Захентье, Нарутович был застрелен художником и искусствоведом Э. Невядомским, имевшим связи с НД. Позже на суде Э. Невядомский объяснил свой поступок тем, что, хотя глав-

---

[2] Историческая королевская резиденция. — *Ред.*

[3] Маршал Йозеф Пилсудский (1867-1935) — главный лидер движения за независимость Польши, один из руководителей социалистический партии Польши, главнокомандующий польской армией в войне с большевиками, в 1919-1922 гг. — глава («начальник») государства. Во время первых президентских выборов поддерживал Нарутовича. В 1926 г. совершил государственный переворот, установив в стране авторитарный режим.

ной своей задачей он ставил убийство Йозефа Пилсудского, тем не менее «убийство мною Нарутовича стало эпизодом борьбы за польский народ. Ареной этой борьбы был Сейм, где "левые" воспрепятствовали приходу к власти независимого президента и, объединив свои голоса с евреями, добились избрания того, кто поддерживал бы в стране анархию».

В репортажах из зала суда отмечался «героизм Невядомского», его «святые убеждения», говорилось о «трагедии человека, возлюбившего Польшу превыше всего».

После того как был приведен в исполнение вынесенный судом смертный приговор, в костелах были отслужены многочисленные мессы за упокой души убийцы, павшего «жертвой гражданского долга».

Известный теоретик народно-демократической коалиции Владислав Конопчинский спустя годы добавит: «Исполненная достоинства, личность этого преступника снискала восхищение многих горячих сердец, хотя люди отдавали себе отчет в том, что он своим поступком весьма навредил своему народу и всем поборникам народной идеи». К сожалению, историк не упомянул о том, что эти «горячие сердца» скорбели также о том, что от руки Невядомского погиб не сам Пилсудский, а лишь его ставленник.

Пилсудский — человек-легенда, руководитель страны — много лет был предметом ненависти у польских сточных канав, он начитался и наслушался о себе предостаточно гадостей, клеветы и издевок. Вскоре после выборов нового президента, Станислава Войцеховского, он решил уйти с политической сцены. Покидая свой пост, он досадовал по поводу абсолютной никчемности тогдашней польской политики.

Прощаясь со своими соратниками в малиновом зале отеля «Бристоль» в июле 1923 года, он сказал знаменательные слова: «Была тень, которая то забегала вперед меня, то кралась сзади. Таких теней было множество, тени окружали меня всегда, неуловимые, ступающие след в след, следившие за мной и передразнивающие меня. Сражался ли я на поле битвы или мирно работал в Бельведере[4], играл ли со своим ребенком — я видел, что эта незримая тень движется за мной и меня преследует.

Заплеванный мерзкий карлик на кривых ножках, блюющий своей грязной душой, плюющий в меня со всех сторон, не щадивший у меня ничего, что положено щадить, — ни семьи, ни друзей, ни приятельских отношений — наблюдал за каждым шагом, по-обезьяньи гримасничал, переиначивал каждую мысль и глумился. Этот карлик волочился за мной как неразлучный отрядный вожатый, украшенный разноцветными флажкам то своей, то чужой страны, выкрикивая лозунги, строя страшные рожи, выдумывая немыслимые истории. Этот карлик был моим верным вожатым, неотступным товарищем моих бед и побед, счастья и несчастья. <...> Эта шайка, эта банда, жировавшая на моем достоинстве, теперь вдобавок захотела крови. Наш президент был убит после уличной заварухи, сведшей на нет всю предвыборную работу и развязанной теми же людьми, которые вылили несметное количество грязи и мерзкой низменной ненависти на президента, избранного свободным голосованием. Теперь они совершили преступление».

---

[4] Бельведер — президентский дворец.

Очень легко понять боль и гнев Йозефа Пилсудского, потрясенного случившимся. Однако трудно уйти от ощущения, что Пилсудский, отвечая на выпады НД, использовал выражения, далекие от языка демократических дебатов. С этого момента он будет называть своих врагов не иначе как сволочами, мерзавцами и ворами. Сточная канава порождает сточную канаву. Прежде чем Нарутовича убили пулей, его убили лексикой сточных канав. И вместе с ним убили дух демократического диалога.

IV

Спустя год с небольшим также взялись расстреливать канавной лексикой Стефана Жеромского — после опубликования им в конце 1924 года романа «Перед весной». Об этом смелом, мудром и горьком произведении один из основателей аграрной партии, Томаш Ночницкий, писал, что роман был создан «в потрясении от того, что в свободной независимой Польше нашлось так много шакалов, гиен, хищников, палачей, и так мало людей».

Реакция не заставила себя ждать. Демократ-публицист, вспоминая об участии Цезария Барыки[5] в манифестации под Бельведером, вопрошал: «Если так обстоят дела перед весной, то как же будет выглядеть сама весна?» И сам отвечал: «Судя по всему, весна расцветет багровым цветом чрезвычайных штабов, по подвалам которых милые социалистки — товарищи-врачи — будут выкалывать глаза молодым офицерам, а наодеколоненные чекисты устроят фабрику белых перчаток из кожи, содранной с рук наших генералов.

Вступающие к нам воинства завоевателей мира переколют копьями грузных польских баб за то, что те им посмели когда-то нравиться, научаемые стройными еврейками; перетрясут и обыщут до пят не одну когорту приведенных под конвоем пленников. А идейный вождь товарищ Люлек поселится во дворце как польский Ленин...»

Напрасно Жеромский объяснял: «Никогда я не был сторонником революции и сторонником убийства одних людей другими из-за каких-то идей, денег или какого бы то ни было добра. Во всех моих произведениях, а особенно в романе «Перед весной», я осуждал всякую резню и большевистские казни. Я никого не призывал на путь коммунизма, наоборот, в этом литературном произведении я старался, насколько возможно, отвратить общество от коммунистического пути, предостеречь, потрясти и отпугнуть».

Объяснения были напрасны: польским сточным канавам аргументы были не нужны. Они знали свое и лучше разбирались, что к чему. «Все, что сказано в книге устами коммуниста о польских тюрьмах, переведенное на другой язык, может прозвучать как обвинение Польши, ведь автор от такого обвинения не отрекается».

Сточные канавы искренне верили, что защита тюремной системы входит в обязанность писателя... Автора обвиняли не только в пропаганде большевизма, но и в порнографии. «Раз уж пан Жеромский не может освободиться от влияния языческой и большевистской культуры, пусть остается верен своим божкам чувственной разнузданности, только пусть пре-

[5] Герой романа Жеромского.

кратит растлевать польских собратьев», — бурлил голос сточных канав. «Есть еще одна причина, — продолжали канавы, — по которой роман «Перед весной» должен понравиться Москве и польско-еврейским кругам. Эта книга ведет к страшной путанице понятий, где государство представлено крайне несимпатично. Психика общества безнадежна, сознание поляков шатко и лишено моральных критериев, а Барыку устраивает сентиментально-эротическое общение с возлюбленной, официально помолвленной с другим, и он бьет ее шомполом по лицу».

А вдобавок — еще и тот священник из романа, который описан как циник, сибарит, обжора и пьяница!.. Почему Жеромский создал этот образ? «Может быть, на радость восточным соседям? — вопрошали сточные канавы. — Или Жеромский не встречал в Польше других священников?»

«Sodalis Marianus»[6] признал роман «Перед весной» «одной из самых вредных книг нашей литературы». И добавлял, что «самый отъявленный большевик не смог бы написать книгу, где одинаково ловко пропагандируется коммунистическая революция и доведенная до распущенности и цинизма чувственность».

Итак, все ясно — большевик, порнограф и враг Церкви. На счастье, сточные канавы затопили Польшу не полностью. 3 мая 1925 года Стефан Жеромский был награжден орденом Возрождения Польши высшей степени.

Сточные канавы тут же забурлили от возмущения. Ежедневно появлялись клеймящие автора отзывы: «В польском сердце нет места для большевистских симпатий», «Поляк, идейно погруженный в это болото, перестает быть поляком», «Это какая-то советская гусеница, жирующая на польской земле и отравляющая своим дыханием воздух». Канавы объявляли, что высшую степень Жеромский получил «за коммунистические тенденции своей новой книги» и «за прославление морального и физического разврата». Канавы поучали Стефана Жеромского, что он должен избавиться от излишнего гуманизма, который затемняет автору горизонт и мешает правильно рассуждать об истинных интересах польского народа. «Вы можете при этом оставаться социалистом или даже коммунистом, но, будьте любезны, отбросьте всякие еврейские начинания и еврейскую идеологию! Станьте хоть самим чертом, но путь это будет наш родной черт, а не черт с пейсами. А заодно отбросьте всякие сочувствия к полуполякам и порвите с ними всякие отношения».

Значит, Стефан Жеромский — это писатель полуполяков и особенно евреев. Эта травля была хорошо организована. «В Польше лучше всего бывают организованы не войны, а травли, — напишет через двадцать лет Ксаверий Прушинский[7] и продолжит: — На счастье, у руля Речи Посполитой стал человек довольно скромный и мягкий, но в некоторых вещах проявляющий волевой характер. Сам бывший рабочий[8], он как-то высказал сожаление, что ему не дано было написать какой-либо из книг Жеромскоого. Этот человек не дал себя согнуть до сточных канав. Это было непросто, потому что канавы зачастую, как болото, засасывают действительно ценных людей».

---

[6] Молодежная католическая организация.

[7] Знаменитый польский писатель и журналист 30-40-х гг.

[8] Имеется в виду Станислав Войцеховский.

Выше я процитировал Стронского и Конопчинского. Но и Кароль Хуберт Ростворовский[9], писатель высокой пробы, встретил роман настороженно, написав о нем: «Что может вычитать из него мир? Он узнает, ...что польский священник стоит на низшей ступени варварства, что позволяет ему не только обжираться, не только петь песенки из репертуара кабаре, но, в случае необходимости, и нарушать тайну исповеди. Узнает, что польский аристократ подвергает пыткам подростков, оправдывает большевистские набеги и ничего доброго не сделал для своей страны. Узнает, что польский служащий только и ждет удобной минуты, чтобы за обладание серебряным портсигаром проломить голову своему работодателю. Узнает, что польская полиция в рамках предоставленных ей правительством полномочий, применяет смертную казнь. И, наконец, узнает, что даже большевистский ад — ничто в сравнении с адом польским и тот, у кого есть сердце в груди, после более близкого знакомства с Польшей должен двинуться под Бельведер».

Ростворовский упустил добавить, что, благодаря дебатам вокруг романа «Перед весной» мир также много узнает о природе польских сточных канав. Слова такого крупного писателя навевают грусть. Они отравлены ядовитыми испарениями сточных канав.

V

На пороге польской современности мы встречаем замечательные символы: самоорганизация общества: победоносная война с большевиками, соединение расчлененного распрями организма страны, самая демократичная в Европе конституция.

Действительно, есть чем гордиться. Но именно в эти годы мы также наблюдаем скандал: сточные канавы и мордобой. Это должно провоцировать нас на размышления. Польская канализация бессмертна!

Более того, сточные канавы нельзя назвать чисто польским явлением, они универсальны. Из чужих примеров тоже можно извлечь урок. Например, Франция, страна Паскаля и Монтескье, Наполеона и Шатобриана — родина Декларации прав человека. Именно в этой стране в конце XIX века по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии был обвинен и приговорен к пожизненному заключению офицер Генерального штаба французский еврей Дрейфус.

Борьба за его оправдание и нагнетание ненависти лживыми обвинителями настолько накалили ситуацию, что французское общество разделилось на два враждующих лагеря. Среди защитников осужденного офицера, поначалу немногочисленных, особую популярность имели выступления известного писателя Эмиля Золя, начиная с его статьи «J'accuse!» («Обвиняю!»).

Эмиль Золя считал приговор Дрейфусу позором для Франции, а в действиях за его освобождение видел естественный порыв патриотизма и долг чести французского писателя, вставшего на защиту достоинства своей отчизны. Он с тревогой наблюдал, как нечистоты сточных канав заливают демократическую Францию, как обманщики подстрекают Францию, «при-

[9] Известный польский писатель и драматург, связанный с католическими кругами и НД.

крываясь ее праведным гневом, затыкают ей рот, сея в сердцах смятение и совращая умы». С горечью он констатировал, что нарастает волна антисемитизма, которая «бесчестит нашу эпоху». Об активности французских сточных канав он с возмущением писал: «Что за сплетение одержимости и глупости! Что за клубок безумных мыслей и методов полицейского разбоя! Попытка опираться на никчемную прессу и защищать холокост в Париже — это преступление. Обвинять в сеянии смуты тех, кто стремится, чтобы чистая Франция шла впереди свободных демократических народов — это преступление. Преступно обманывать общественное мнение и использовать его для непотребных дел, которые совершаются на основе заблуждения и низменных чувств. Преступно вливать яд в сознание малых и смиренных, преступно разжигание страстей нетерпимости и противоборства — исподтишка, под личиной антисемитизма, от которого великая, либеральная Франция — страна прав человека — погибнет, если не вылечится. Использование патриотизма для ненависти — это преступление!»

На Золя выплеснулись ведра помоев — французские сточные канавы работали бесперебойно. Золя обвиняли что он выполняет чужой заказ, что не является ревностным французом, что он унижает Францию, Церковь и армию, что на самом деле он релятивист и масон, что служит международному еврейскому заговору, направленному против Франции.

Был возбужден процесс — перед зданием суда шли демонстрации «истинных французов», которые не жалели оскорблений и угроз по адресу писателя. Бешеные преследования и атмосфера морального террора вынудили его выехать из Франции. Его лишили ордена Почетного Легиона.

Но не смогли лишить голоса. В «Открытом письме в Сенат» он писал: «Количество безнравственности стало так велико, что теперь нужна недюжинная смелость, чтобы закончить дело в рамках справедливости и с пользой для Франции. Ни у кого нет такой смелости, все дрожат от страха при мысли, что могут навлечь на себя поток ругательств со стороны антисемитов и националистов. Все оберегают свое помешательство, которое под действием яда охватило большинство избирателей».

Эмиль Золя умер незадолго до окончательного суда и полного оправдания Дрейфуса. Он стал символом Франции демократической, толерантной, порядочной. «Были люди, — вспоминала потом знаменитый философ и политолог Ханна Арендт, — которые противоречили монархам и могли не подчиниться диктаторам, но лишь единицы могли противостать толпе, встать одиноко против пойманных на приманку масс, без оружия, со сложенными руками подставить голову их непримиримому безумству. Таким человеком был Золя».

В столетнюю годовщину опубликования «J'accuse!» вся Франция склонила голову перед прахом Эмиля Золя.

Еще одним таким человеком унижения и возвышения, а также мужества был первый президент Чехословакии (1918 — 1935 гг.) Томаш Гарриг Масарик. Однако прежде чем стать президентом, он познал весь вкус и запах чешских сточных канав.

Все началось с так называемых рукописей Ханки, считавшихся одним из важнейших документов чешской письменности и относившихся к XIII веку.

Их открыл в начале XIX века известный исследователь чешского Средневековья Вацлав Ханка, и рукописи сыграли важную роль в формировании национального самосознания. Но, к сожалению, документы оказались фальшивкой, сработанной самим Ханкой.

Это обнаружила группа ученых, в составе которой был Масарик. Когда они публично поставили под сомнение подлинность документов, известных как «Придворная рукопись» и «Любовная песнь короля Вацлава», сточные канавы закипели от негодования.

«Настоящие чехи» заявили, что говорить об их фальсификации — это все равно что «поборников самосознания современной Чехии назвать дураками и обманщиками», а воздействие, которое оказали рукописи Ханки на возрождение народного самосознания, «назвать порождением обмана и одурачивания».

Сточные канавы обвинили Масарика в деятельности в пользу Германии и обсыпали «эпитетами». Появились обвинения, что Масарик не является ревностным чехом и не понимает чешского духа, что он пропагандирует нигилизм, что его нужно уволить из университета, где он развращает молодежь, и что он должен исчезнуть из жизни чешского народа.

В споре о рукописях Ханки Масарик акцентировал научную и моральную сторону вопроса. «Если это фальсификация, — писал он, — то мы должны это признать. Самосознание чешского народа не может строиться на обмане; если мы будем вращаться в кругу собственных фальшивок, мы не поймем собственной истории. Достоинство народа в том, чтобы защищать, вернее, познавать правду, и ничего больше. И наиболее моральным будет смелое признание ошибки, которое нужно огласить».

В другой раз он заявил: «Я не поддамся этому терроризму непорядочности и политической близорукости». В ответ он мог прочитать: «Иди к черту, мерзкий предатель... Не утруждай себя больше использованием нашего чешского языка и не порти его своим подлым отравленным дыханием. Иди к нашим противникам, которым ты служил, но помни, что тебя родила чешская мать и ты ходил по чешской земле. Мы исторгаем тебя из плоти нашего народа как инородное тело. Беги с этой чешской земли, пока она не разверзлась, чтобы тебя поглотить».

Томаш Г. Масарик не убежал «с этой чешской земли», а коллектив ученых-химиков тщательно проанализировал рукописи Ханки и пришел к выводу, что они являются подделкой. Этот факт никак не уронил чешское самосознание, но надолго приклеился к репутации Масарика, подозреваемого в равнодушии к чешской народной идее, в склонности к космополитизму, в игнорировании этнической солидарности.

Этот образ «отступника» еще более утвердился в связи с процессом по делу еврейского подмастерья Леопольда Хильснера, обвиненного в 1899 году в ритуальном убийстве молодой девушки. В ходе процесса многочисленная публика добилась от судей вынесения смертного приговора. Суд высшей инстанции отклонил этот приговор, но спустя год Хильснер снова был обвинен в убийстве, уже другой девушки, и снова приговорен к смерти.

Видно, все сточные канавы того времени хотели иметь свое «дело Дрейфуса»!

Масарик, так же как Золя, выступил в защиту Хильснера вопреки антисемитскому направлению общественного мнения. Несколько раз он публично осудил антисемитскую истерию, раздутую вокруг процесса Хильснера. В ответ чешские сточные канавы обвинили его в безбожии и в действиях «по заказу и на деньги еврейских кругов». «Истинно чешские» студенты организовали манифестацию перед университетом, чтобы сорвать лекции Масарика. Он остался в одиночестве: университетские профессора не стали защищать своего коллегу. Однако он продолжал упрямо повторять: «Я выступил в защиту Хильснера, потому что речь шла о человеке невиновном, а, кроме того, речь шла о чести народа Чехии. Меня называют предателем народа из-за того, что я тяжело переживаю его позор. Что бы сказал мир о культуре народа, если бы евреи, жившие здесь много веков, оказались людоедами?»

В конце концов Хильснер был признан невиновным. Спустя много лет случай с Масариком, выступившим в защиту Хильснера, оказался весомым аргументом в пользу признания независимой Чехословакии Соединенными Штатами Америки. Демократическое общество запомнило правоту и отвагу Масарика. «Когда я появился, — вспоминал он потом, — газеты писали о нас хорошо или, по крайней мере, не вредили нам. Вы не представляете, что это для нас значило!»

В 1918 году Вацлав Масарик был избран президентом Чехословакии и оставался на этом посту до 1935 года. Умер в ноябре 1937 года. Не так давно в Вашингтоне был установлен памятник Масарику — великому демократу Центральной Европы.

VI

Жертвами сточных канав часто становятся люди необычайного достоинства, известные своей мудростью и мужеством, выдающиеся граждане и патриоты. Они становятся жертвами ловко развернутой демагогии, ослепленной глупости и хитро расставленных ловушек. Организаторам гонений не откажешь в определенном таланте: они умеют играть на скрытых комплексах и страхах, манипулировать эмоциями и организовывать массовое помешательство. Они сумели обмануть и настроить народ против Нарутовича и Жеромского. В тот раз польские сточные канавы победили в противостоянии группировке, которая обладала чувством ответственности перед своей страной и отдавала себе отчет в сложном сплетении судеб польской действительности.

Организаторами гонений на Нарутовича и Жеромского были публицисты и политики НД. Их нападки якобинско-большевистского толка были одновременно жестокими, подлыми и кровожадными — слова «сострадание» в репертуаре НД не было. Однако усилия их лагеря не были единственной причиной в возникновении канавной ненависти. Предпринятая НД травля была рассчитана на чувства, рождаемые жаждой возрождения независимой Польши. Кроме того, почвой для тогдашних гонений стало всеобщее разочарование. Обретенная независимость ожидалась как панацея от всех бед. А на самом деле из жизни страны нужда не исчезла, подлецы не стали порядочными, вруны не стали честными, взяточники не отка-

зались брать взятки. Борьба за независимость и порядочность не была вознаграждена, а отступничество не было наказано. Напрашивался вопрос: кто во всем этом виноват? Кто за все это должен держать ответ? Борцы за независимость — и действительные, и мнимые — были разочарованы: почему не хватило виселиц для этой дряни, которая украла у нас Польшу, а прежде прислуживала царскому режиму? Эти разбойники чувствуют себя прекрасно, а нормальным порядочным людям снова трудно...

И как тут объяснить, что Польша бедствует не только от подлости взяточников и карьеристов, но что это — следствие многолетней отсталости, послевоенной разрухи, плохого управления и неизбежных трудностей молодого государства. Нет, такие объяснения не принимаются людьми, которые хотят иметь перед собой виноватого: здесь и сейчас. Тем более, если этими людьми владеет раздражение, порожденное бессилием, если их горечь переросла в зависть к людям успешным, а зависть, в свою очередь, превратилась в ненависть ко всему миру. Таким людям очень просто внушить, что это не та Польша, о которой они мечтали.

Народно-демократическая пропаганда отвечала им просто: «Мы хотели создать католическое польское государство. Поэтому именно поляки-католики имеют исключительное право выбора президента — католика и поляка. Выбрать президента должны "истинные поляки", а не представители национальных меньшинств — немцы, украинцы, белорусы или евреи. Ну и, конечно, не те, которые сгрудились вокруг Пилсудского: "бельведерщики", пессимисты, евреи и нехристи», — как их лаконично определил публицист из НД.

«Нам необходимо польское большинство!» — заявили народные демократы к восторгу сточных канав. Канавы поняли лозунг: виноваты те, кто стоит у власти, — «бельведерщики». Ну и, конечно же, евреи!

И сточные канавы построили на этом свой боевой призыв. «Сыграли на самых низменных чувствах масс: правая пресса развернула против него (Нарутовича — *А.М.*) кампанию ненависти, называя его жидом, — вспоминала Александра Пилсудская. — Я тогда была в городе. В толчее почти не могла двигаться. С одной стороны на меня навалилась глуховатая баба, которая все время переспрашивала, о чем тут речь. А с другой — огромная толстая горничная, которая тряслась всем телом, размахивая кулаками и крича: "Долой Нарутовича! Долой евреев! <...> Евреи не будут нами править!"»

Трудно, очень трудно противостоять массовой агрессии толпы. И трудно противоречить такой аргументации: подлой, антидемократичной, но точно рассчитанной на психологию скопища.

Известный историк Януш Паевский спустя годы размышлял над ситуацией вокруг депутатов от блока национальных меньшинств. Ведь если бы они отказались участвовать в голосовании, это было бы поступком антигосударственным в тот момент, когда Польша ходатайствовала о признании своих восточных границ странами Запада. «Поэтому — считал Паевский, — они должны были поступить иначе, "понимая ситуацию": разложить голоса поровну на каждого кандидата. Тогда не было бы обвинений в том, что кандидат навязан непольскими силами. Вместо этого результатом голосования за Нарутовича был взрыв польского национализма, а особенно антисемитизма».

Без сомнения, анализ профессора Паевского отличается добрыми намерениями и блестящим знанием предмета. Однако не думаю, что диагноз был поставлен им верно. Сомневаюсь, что голоса, распределенные равномерно или даже отданные за кандидата Народной демократии, могли бы сдержать антисемитскую пропаганду НД, если ее не сдержал даже шок, вызванный убийством президента.

Однако проблема, затронутая Я. Паевским, более глубока: до каких пределов демократия должна уступать демагогии сточных канав? Должен ли был замолчать Золя, «понимая ситуацию», утешиться помилованием Дрейфуса и не требовать его полного оправдания? Должен ли был Масарик махнуть рукой на фальсификацию рукописей и не раздражать сточные канавы защитой еврейского подмастерья? Иначе говоря, разве принятие лжи и подлости сточных канав как полноправного слагаемого демократической полемики не является дорогой в никуда? И можно ли идти на компромисс с канализацией?

Сточные канавы — это неотъемлемая часть общественной жизни; сточные канавы часто бывают результативны: они способны заморочить людям головы, вывести их на улицы, склонить толпу к тому, чтобы забросать президента грязью. Поэтому нельзя их игнорировать и нельзя не считаться с их существованием.

Но так ли необходимо им уступать? Ведь представители блока национальных меньшинств выбирали своего президента — президента всех жителей Речи Посполитой. Почему же они должны были капитулировать перед напором сборища антисемитов?

Эти риторические вопросы, однако, не меняют реальности: толпа, подбиваемая сточными канавами, поверила, что Нарутович — это «полуполяк» и «еврейский президент», так же, как другие поверили, что автор романа «Перед весной» — тайный большевик. Почему так легко удалось им это внушить?

В течение XIX века поляки, оберегая свою самоидентичность, приучились к тому, что поляк — это некто «из нашего племени», говорящий на нашем языке, культивирующий наши обычаи, принадлежащий к нашему, римско-католическому вероисповеданию. Они отстаивали свой язык, обычаи и веру под прессингом национальной зависимости и мировых перемен. Верность этим трем началам была главным звеном, объединяющим поляков.

Каким видел себя поляк, глядя в зеркало? Конечно же, убежденным в своем многовековом благородстве и невинности. Если в чем-то он и провинился в прошлом, то это в чрезмерном наивном идеализме и доброте по отношению к чужим. Как раз этой польской добротой злые люди и воспользовались, чтобы погубить Польшу. И опять ею пользуются. Иначе откуда бы взялись неприязненные статьи в заграничных газетах об антисемитизме в Польше или о плохом обращении с политзаключенными? Это ведь натуральная ложь! Поляк по своей натуре не способен ни на какие неблагородные поступки. Поэтому тем более он должен быть возмущен, когда такое пишут польские газеты и польские писатели! Это ли не доказательство, что это не истинные польские газеты и эти писатели — не истинные поляки? Польскоязычные газеты и польскоязычные писатели еще не оз-

начает — польские! Эти газеты и эти писатели — поскольку они замаскированы — представляют наибольшую угрозу, потому что разлагают польский организм изнутри, сеют смуту и склоняют ко греху. Они быстры, ловки и беспощадны, они злоупотребляют героизмом и великодушием польского народа. Но самой страшной угрозой остаются евреи — носители деструкции и отравители. Таков был мир представлений поляка — потребителя канавной пропаганды, наполненного подозрительностью и страхом. Атмосфера нагнетания способствовала развитию этих страхов, приобретавших все более патологические формы.

Дестабилизация повседневной жизни — нужда, безработица, страх перед войной и революцией, падение прежних авторитетов — все это содействовало успеху польских сточных канав. Страх, отчаяние, упадок — все это способствовало взрыву слепого гнева.

Для руководителей НД травля Нарутовича была элементом борьбы за власть в государстве и за владение душами в обществе; для толп, собравшихся на улице, это был способ разрядки своих страхов и унижений.

Останется ли Польша польской и католической или станет какой-то странной республикой «бельведерщиков, нехристей, масонов и евреев»?

Такие вопросы бомбардировали умы и действовали как шантаж: если ты согласен на президента, «навязанного евреями» — значит, ты не с нами, не с поляками. И благодаря такой постановке вопроса, Нарутович становился символом «чужого», знаком «измены своему народу».

Совершенно бессмысленно было объяснять, что Габриель Нарутович по происхождению — польский шляхтич, а вовсе не еврейский большевик, — у толпы нет сомнений, и она не слушает объяснений. Охваченная своими страхами и фобиями, много лет скрываемыми, толпа слышит лишь простой призыв: «Долой Нарутовича! Нарутович — это символ творящегося зла. Заблокировав этот выбор, мы сможем исправить возникшую несправедливость. Разве не польский народ должен быть хозяином в Польше? Для чего 150 лет польские поколения, подвергавшиеся мучениям и предательствам от тех же чужих народов, страдали и с беспримерной самоотдачей боролись за свою независимость и свое государство, если теперь полякам навязывают президента евреи, немцы и украинцы? Как можно так нами играть и так издевательски испытывать терпение поляков!»

Сначала толпа прислушивается к этим выкрикам, а потом их повторяет, разжигая, заостряя, дополняя своими. Толпа уже знает, кто виноват, и теперь собралась, чтобы восстановить справедливость. Толпа жестока, эмоциональна, нетолерантна, она охотно слушает, как обливают грязью виноватых, она доверчива — верит любой лжи, лишь бы это было многократно повторено. Толпа складывается из разных людей, но все они, собравшись вместе, становятся способны на такие действия, каких никто из них не мог бы сделать поодиночке. В анонимной толпе все чувствуют себя всесильными и одновременно безнаказанными, будто охваченные коллективным гипнозом или массовым помешательством. В толпе умный человек становится глупым и жестоким, зато неуч, дурак и завистник забывает о своем ничтожестве — чувствует себя праведным и сильным силой толпы. Толпа, повторяю, исповедует примитивные идеи, в которых видит абсолютные истины; она по-

манихейски верит, что олицетворяет Добро в борьбе со Злом. Толпа не понимает того, что многозначно, хрупко и наполнено оттенками, она видит в этом лишь слабость и увертки. Толпа обожает силу — простую и грубую. Науськанная и разъяренная, толпа сама становится обвинителем, судьей и палачом. И никогда потом не испытывает чувства вины.

Консерватор ненавидит толпу: толпа нарушает порядок, ломает традиционные нормы, вторгается в иерархии и обычаи. Демократа толпа беспокоит: он понимает, что именно толпа брала Бастилию и свергала диктатуры. Поэтому демократ не позволяет себе однозначно предать толпу анафеме. Ханна Арендт высказала мнение близкое демократии, она отделила толпу народного бунта от скопища.

Скопище, по ее мнению, это внеклассовая группа, в ней собраны отпрыски всех классов. Чертой же народного бунта является борьба за свободу и истинная репрезентация, в то время как скопище всегда жаждет «сильного вождя»; «скопище ненавидит общество, которое его отвергло, и парламент, в котором оно не представлено». Но когда оно входит в парламент, то делает все, чтобы этот парламент высмеять и скомпрометировать. Это объясняет популярность плебисцитов, которые столько раз проталкивали скопище к власти.

Почему же скопище так охотно слушает антисемитов? «В эпохе Дрейфуса и Золя, — пишет Арендт, — евреи олицетворяли все, что было ненавистно. Если скопище ненавидело socjety, то могло поставить ему в вину лояльность по отношению к евреям, если ненавидело власть, могло сослаться на то, что власть потворствует евреям и помогает им хорошо устроиться в стране. Хотя было бы несправедливо утверждать, что скопище охотится исключительно на евреев, но им принадлежит первое место среди излюбленных жертв».

И поэтому антисемитизм обычно, хоть и не всегда, является опознавательным знаком скопища; и поэтому скопище в Европе так охотно прибегает к антисемитской канавной лексике. Но хотя именно евреи так часто становятся жертвами, все же главными объектами баталии, разжигаемой с помощью сточных канав, являются не они. Цель организаторов и исполнителей травли — это деньги и власть, а для скопища — это сведение счетов, выплеск агрессивной энергии и выпускание пара. В действительности борьба идет за формирование общества и государства. Ставка в этой игре очень высока: победа скопища означает не только смену правящей элиты, она означает, что вступают в силу законы скопища и система ценностей скопища, и язык сточных канав становится нормой публичной полемики.

VII

Польский демократ помнит огромную толпу на площади Дефилад в Варшаве в октябре 1956 года, помнит толпу радостных людей на варшавской площади Победы в 1979 году, помнит толпу достойных людей в гданьском доке в августе 1980 года. Эти образы мудрой отваги навсегда вписаны в народную память. Однако у народной памяти есть и опыт того, что толпа бывает изменчива в своем мнении. Хоть она всегда уверена, что своими действиями отпирает райские ворота, но при этом способна сегодня кричать «Осанна!», а назавтра требовать «Распни его!». В конце концов, почти

такая же толпа брала Бастилию, а спустя год с небольшим расправлялась с безоружными заключенными, обвиненными в заговоре против Революции.

События XX века продемонстрировали нам, как радостная вольнодумная толпа может превратиться в угрюмое, наполненное ненавистью скопище. Более того, со временем дух скопища, язык сточных канав и отношения озверевшей толпы вторглись на страницы газет, в радио- и телеэфир. Чуть позднее сборище вторглось в парламентские палаты, и мы услышали канавную лексику на заседаниях Сейма. И так остается поныне.

Известный политик польской социалистической партии Адам Прагер вспоминал момент принесения присяги Нарутовичем: «Церемония присяги проходила в жуткой атмосфере мрачной тревоги, в зале, заполненном едва наполовину, в полном осознании реальной опасности. Но все мы были единодушны в уверенности, что ни за какую цену нельзя допустить, чтобы возбужденная правыми уличная анархия взяла верх».

Но на этот раз все-таки победила анархия: выстрелы в Захетье обозначили логику польской политики на много лет вперед. Победил язык сточных канав и метод грязной толпы.

Трудно противостоять такой толпе, как трудно гасить пылающий дом чернилами. Но противостоять необходимо, даже если это означает солидарность в проигранном деле. Этому также научили польских демократов события XX века, судьбы Нарутовича и Жеромского, многих других заслуженных людей, чьи имена сегодня вписаны в польский пантеон, в свое время так же осквернены польскими сточными канавами.

Польская канализация, которая загнала насмерть Габриэля Нарутовича, преобразила политическую сцену II Речи Посполитой в военный театр. Владислав Побуг-Малиновский — историк, близкий к кругу Пилсудского, позже напишет, что 1922 год был для Йозефа Пилсудского переломным моментом. «Расправа, совершенная правыми над Нарутовичем, и полная безнаказанность тех, кто нес за нее моральную ответственность, привели маршала к пониманию, что добром и убеждением в Польше ничего сделать не удастся, что нужно навязывать и принуждать, быть твердым и бескомпромиссным». Друг против друга вышли две Польши — хоть в действительности их было больше — два ненавидящих враждующих мира. Лагерь независимости, собравшийся вокруг Пилсудского, превратился в блок, твердо идущий к власти — он добивался ее даже путем антиконституционной попытки переворота. Наступило время неформальных слов и недостойных поступков: лживые выпады Пилсудского в адрес оппозиционных депутатов и Конституции, известное «конституция-проституция», аресты, побои и унижения депутатов в Бресте, пренебрежение законом и фальсификация выборов, разбойные нападения на оппозиционных публицистов (Адольф Новачинский, Тадеуш Доленга-Мостович, Станислав Цивинский). Насилие порождало насилие, сточные канавы стали нормой, а расплачивалась за это польская демократия.

Политик и публицист лагеря Пилсудского Тадеуш Холувко назвал действия Народной демократии «правым большевизмом». В свою очередь Кароль Ижиковский[10] приравнял практику санации 30-х годов к советскому

[10] Знаменитый литературный критик и эссеист первой половины XX века.

большевизму. Оба преувеличили. НД не имела своего Ленина, а Пилсудский — это, по определению социалиста Германа Либермана, «не Муссолини, не Ленин, а особый новый продукт польских взаимоотношений. Однако нет никаких сомнений, что он является полным опасностей перерывом в политическом и общественном развитии Польши». Так Либерман писал сразу после переворота Пилсудского в 1926 году. Когда спустя четыре года его вместе с другими оппозиционными политиками схватили по приказу Пилсудского и били и унижали в Бресте, наверняка он вспоминал про те самые «опасности».

VIII

«Люди всегда и везде ставят перед собой одни и те же задачи, назначая одну и ту же цель. Меняются только средства. <...> Фанатики наступления рискуют открыть для себя неисчислимые богатства, которыми они пренебрегают, богатства, которые накопило человечество по одну и другую сторону узкой грани, в которую они вперили взгляд, переоценивая весомость своих усилий и недооценивая то, какие силы еще предстоит приложить. Если люди всегда стремились лишь к тому, чтобы построить жизнеспособное общество, то силы, которые оживляли наших далеких предков, присутствуют также и в нас. Ничто не проиграно, есть возможность все начать сначала. То, что уже сделано, и, оказалось, сделано плохо, может быть сделано заново» (Клод Леви-Штросс, «Грусть тропиков»).

Различие интересов и задач, конфликты — даже острые, споры — даже страстные — это хлеб и вино демократии; ненавистная щетинистость, настоенный на врага язык — это черная подливка сточных канав. В развязывании конфликтов в демократическом ключе действуют неписанные правила: уважение к конституционным нормам, забота об общем благе, признание того, что каждый противник наделен человеческим достоинством, с которым следует считаться, что для каждого гражданина есть место под солнцем. Тем отличается логика демократичного спора от логики гражданской войны, разжигаемой сточными канавами. Спор разрешают аргументы и выборы, войну разрешают жестокость и пули. Грохот орудий всегда предваряется речью сточных канав, которая отравляет умы, лишает права голоса совесть, обесчеловечивает противника, превращая его в мусор.

«Ни один польский король не стоял на эшафоте», — писал Норвид. Таково было веление польской традиции. Позже убийство отвергнутого президента Нарутовича обозначило нарушение неписаного завета общины польского народа: до этого моральным изгнанием и исключением наказывали лишь за предательство, понимаемое как осознанная деятельность в пользу чужой насаждаемой власти. Смертью наказывали продажных, а не инакомыслящих.

Травля и убийство Нарутовича означали, что ценность независимого и демократического государства как общего блага больше не важна — это было качественно ново. Сиюминутное оказалось важнее общего. И одновременно был поставлен вопрос о смысле польской идеи: означает ли она язык гонений, моральный облик убийцы или образ убитого Нарутовича? Весь лагерь гонителей был назван в те времена «белым большевизмом».

Вполне подходящее название, т.к. язык отторжения и унижения позднее принял красный большевизм, пусть даже приукрашенный красно-белыми красками. Унижение и отторжение стали непреложными составляющими польских дебатов. Дух сточных канав не всегда побеждал, но постоянно, непрерывно и упорно отравлял польскую культуру. И так продолжается по сей день.

Теперь мы ежедневно слышим голос сточных канав: из газет, с телевидения, с партийных собраний и трибуны Сейма, а порой и с церковного амвона. И все нам кажется, что это не опасно: просто соперничество политиков в борьбе за электорат, просто борьба журналистов за больший тираж. Однако историк слышит во всем этом тревожные ноты: вот кто-то осуждает кого-то в попытке конституционного переворота из-за поездки в Москву, кто-то добивается запрета деятельности известной политической партии, кто-то добивается того, чтобы лишить прав экс-президента, кто-то обзовет кого-то «розовой гиеной», а его в ответ назовут «русским агентом»; кто-то обвинит руководителя «Солидарности» в сотрудничестве со спецорганами, а кто-то будет публично сожалеть о том, что в Польше не хватило виселиц для сторонников старого режима. Кто-то начнет писать новейшую историю, опираясь на архивы госбезопасности — не понимает, угодник, что подменяет народную память на полицейскую.

Слышу этот упорный призыв разоблачать предателей и агентов, отстранять, лишать причастия, дискриминировать. Наблюдаю и слушаю, как унижают людей на очередных следственных комиссиях и как журналисты любыми путями стараются отличиться. Несчастные гончие псы нерадивых охотников...

И лишь изредка раздается чистый голос гуманиста, который противостоит взрыву ненависти и цивилизации подлости. А ведь этот редкий и слабо слышимый голос — это перманентный вестник надежды — как тогда, во времена Золя и Масарика, Нарутовича и Жеромского.

Незадолго до гибели Габриель Нарутович признался Йозефу Пилсудскому: «Вы были правы, это не Европа. Эти люди чувствовали бы себя лучше под теми, кто гнет им хребет и бьет по морде».

XI

Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь повторил эти слова польского президента, оболганного и убитого сточными канавами.

Перевела с польского Наталья Кандудина

Евгения ШЕГЛОВА

РОССИЙСКИЙ АЛМАЗ

Н. Коняев. Рубцовский вальс. Апология русской судьбы.

М.: Русь, 2005

Могу сказать сразу: ничего особенного, неожиданного, способного потрясти читательское воображение, в этой книге нет. Точнее — почти ничего. Так себе, обычный продукт патриотического мыловарения. Изделие, отмеченное типовой для профессиональных патриотов надрывностью и патетикой в смеси со слюнявой сусальностью. И не будь на обложке гордого перечисления премий, полученных постоянным автором «Нашего современника» и «Молодой гвардии» петербургским прозаиком Николаем Коняевым, главная из которых — Большая литературная премия Союза писателей России «Алмазы России» (хотя премия Правительства Санкт-Петербурга — тоже штука весомая), вряд ли книга заслуживала бы сколько-нибудь пристального прочтения. Но — алмаз!.. И алмаз — не какой-нибудь чужеземный, а свой, российский! Разве не любопытно посмотреть, что же именно почитается у нас за такого ранга драгоценность?

Легко догадаться, что на кухне патриотического мыловарения варят только то, на что имеется спрос. А спрос ныне не в последнюю очередь — на национальную идею. Тут-то и выскакивают эти мальчики-зайчики, белые и пушистые. Обиженные, притесненные, угнетаемые, подавляемые, простосердечные, умытые чистыми слезками. Водятся эти зайчики обычно в вековых заповедных лесах — лесах, понятно, отечественных, не каких-нибудь басурманских. Туда, в леса эти, и пропуск есть.

Подсказываю заинтересовавшимся. Пропуск этот — портрет исконно русского поэта Сергея Есенина, злодейски убиенного врагами отечества. Портрет, естественно, должен быть исполнен в надрывно-скорбной гамме, сурово и сдержанно. Эдак по-мужски. Без визитной карточки «убиенный Сергей Есенин» сегодня, по-моему, в добропорядочное общество белых пушистых черносотенных зайчиков тебя просто не пустят. Что, в частности, подтвердил не только недавний телесериал, но и слегка подновленная книга Станислава и Сергея Куняевых «Сергей Есенин» (серия «ЖЗЛ»). Для профпатриота убийство Сергея Есенина, совершенное темными — известно какими — силами, есть нечто столь самоочевидное, что малейшие сомнения на этот счет приравниваются не менее чем к государственной измене.

Евгения ШЕГЛОВА — родилась в 1951 г. в Ленинграде. Окончила Московский полиграфический институт. Литературный критик. Статьи публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», в «Литературной газете» и других изданиях. Постоянный автор «Континента». Живет в Санкт-Петербурге.

Разумеется, в коняевской книге Есенина тоже убивают. Как же иначе? И разница между трактовками этого подлого убийства у Коняева и у Куняевых настолько ничтожна, что вполне может не приниматься в расчет. Будто под копирку писано. И у Коняева убийца невидим и картав, и у Куняевых. Этакий коняевско-куняевский тандем, более чем прозрачно указывающий на то, какого именно рода-племени зловещий, невидимый, неслышимый и вездесущий враг поднял руку на певца русской деревни. И понятно — почему именно поднял. Глава из коняевской книги, названная «Последний путь (Сергей Есенин)», до такой степени надрывно и скорбно живописует чистого душой, простосердечного, доверчивого и т.д. и т.п. (следует нагнетание аналогичных свойств) поэта, что и глупцу должно стать ясно — именно за это-то и был он загублен врагами святой Руси...

Кстати, набор (вернее, перебор) в коняевском портрете Сергея Есенина этих красок, свидетельствующих о простосердечии и доверчивости русского народа, опять-таки не случаен. Он имеет самое прямое отношение к историческим корням черносотенной идеологии. Еще в 1909 году, в ходе своих просветительских бесед с паствой, епископ Андроник, видный идеолог «Союза русского народа», именно на эти свойства русского народа и упирал, объясняя необходимость объединиться против засилья внедрившихся в святую Русь чужаков: «*Как собрались доселе при нашем добродушии и доверчивости разные наши инородцы и составили вражескую против нас силу, так нынче собираемся и мы. О евреях разговор особый: мы их не принимали к себе и даже не завоевывали. Равноправие им дать мы не желаем и натурально не можем <> пусть уходят, куда хотят; и без них проживем свободно и безбедно*».

А в вышедшей под девизом «За Царя Православного, Царя Самодержавного и За Народность Русскую» брошюрке 1908 года, в центре которой начертано — «Русский Народный Союз имени Михаила Архангела. Программа и устав», можно прочитать: «*Принимая во внимание, что народности, русским оружием покоренные, а главное, евреи, не желают, как показал уже опыт Государственных Дум 1-го и 2-го созыва, проникнуться чувством Российской Государственности, <...> Русский Народный Союз имени Михаила Архангела будет прилагать все усилия к тому, чтобы права этих народностей, в смысле Государственном и Общественном, были поставлены у нас в пределы, не препятствующие увеличению значения Государственной мощи Великого Русского Народа*».

У-уф. Отменно длинно, тяжко, дубово, но доходчиво. И при этом солидно. Серьезно. Так и видишь за чтением если не юркого лавочника-сквалыгу из свечной или керосинной лавки, так почтенного думца-патриота...

Впрочем, наша нынешняя жизнь поставляет и свои, не менее выразительные примеры творчества патриотически озабоченной публики. Выдвигающий себя в депутаты Государственной думы от одного из питерских избирательных округов полковник Василий Терентьев, по совместительству поэт и исполнитель патриотических песен, без ложной скромности именующий себя «исполняющим обязанности императора Великой Российской империи Василием I» (или попросту — «императором Васей»), тоже убежден:

Доброта нас словяне сгубила
Мы в Урицких не видели зла.

Запустили в свой дом эрмитажный
Из Европы иудокозла.
(*орфография подлинника*)

В принципе нет, конечно, ничего удивительного в том, что литературный ассортимент записного черносотенца столь удручающе однообразен. Все его идейное богатство давно озвучено гг. Пуришкевичем и Марковым и с тех пор особых изменений не претерпело. Оттого литература эта нарастает не вглубь, а исключительно вширь: не интенсивно, а экстенсивно. Помимо карточки «убиенный Сергей Есенин», сегодняшний литературный черносотенец обычно выкладывает и вторую. А именно — рассказывает о злодейски убитом есенинском наставнике поэте Н. Клюеве, относительно судьбы которого разногласий не наблюдается ни в «красном», ни в «белом», ни в «коричневом» станах. Н. Клюев действительно был репрессирован, а затем расстрелян в 1937 году. Разумеется, согласно черносотенному кодексу, погубителями его тоже были враги-инородцы, «главным образом евреи», так что сведение судеб двух исконно русских крестьянских поэтов к одному знаменателю и непонятливого подтолкнет к необходимому выводу.

Не буду злоупотреблять читательским терпением, а сразу скажу, что не должно нас поэтому удивлять присутствие в этой книге и главы о Валентине Пикуле — «выдающемся русском писателе», тоже, конечно же, в свое время затравленном злодеями-критиками (судя по всему, имеются в виду критики-«космополиты»). Неважно, что для правоверного черносотенца В. Пикуль — не самый лучший пример, поскольку явно подкачал с происхождением. Ибо никаких крестьянских корней не имел. Да и фамилией обладал подозрительной. Но в нашем случае все это не суть — подумаешь, фамилия, происхождение. Как известно из истории, хоть что можно вывернуть наизнанку, не моргнув глазом, коль очень хочется и нужно. Вчера, скажем, Учредительное собрание было делом до зарезу необходимым, насущной потребностью всей необъятной России, а сегодня, после невыгодного для большевиков голосования, оно уже — бесполезная и никому не нужная «учредилка», разогнать которую — священный долг всякого, кому небезразлична судьба отечества. Так что все это у нас уже было. Странно, правда, что в умении переворачивать и подгонять под свои нужды любую вещь сегодняшние черносотенцы наследуют приемам «красных», издавна почитавшихся первейшими врагами подлинных патриотов. Ибо потому ведь он и патриот, что не интернационалист. Но ничего странного в этом, в сущности, нет. И потому — что там происхождение или фамилия Пикуля! Ведь не смущает же нисколько наших черносотенных литераторов, клянущихся в любви к Есенину и русскому православию, даже и тот факт, что именно Есенин писал богохульные, кощунственные стихи о Христе. Или что именно Коммунистическая партия, которую наши патриоты с некоторых пор возлюбили прямо-таки взахлеб, в течение десятилетий растлевала церковь, убивала священнослужителей и почти полностью уничтожила казаков — предмет особой любви черносотенцев. Или что Николай II, причисленный православной церковью к лику святых, о чем Н. Коняев пишет с глубоким душевным трепетом, с канонической точки зрения, вряд ли, как считают многие авторитетные знатоки канонического права, имел на это право по

целому ряду достаточно серьезных оснований. Тем не менее черносотенные наши патриоты охотно закрывают на все это глаза, хотя в других случаях куда как придирчивее к соблюдению церковных канонов. Николая II они обожают так страстно, что любое сомнение в его святости моментально воспринимается как кровная и несмываемая обида. И происходит это отнюдь не потому, что он был убит безбожной властью: христолюбивая наша братия очень придирчиво разбирает, кого им надлежит жалеть, а кого нет. Так уж просто, одним фактом чьей-то безвинной гибели, ее не разжалобить. Равно как и фактом божьей помазанности. Александр II, тоже Божий Помазанник и тоже убиенный, предметом поклонения черносотенцев отнюдь не является. Просто Николай II, как известно, был горячим поклонником «Союза русского народа» и щедро его субсидировал. В этом все и дело. Оттого и заслужил он особое право своих идейных наследников на жалость. Одно, правда, при этом несколько смущает: Николай, будучи человеком образованным, знавшим немало иностранных языков, быстро понял, что «Протоколы сионских мудрецов», которые ему усердно советовали принять как серьезный и достойный документ, — всего лишь ловко состряпанная фальшивка. Причем фальшивка, как показала история, страшная. На Нюрнбергском процессе «Протоколы» рассматривались как один из факторов, приведших к холокосту. Сегодня это уже общеизвестно. До самого своего конца в их подлинность верила только Александра Федоровна. Но — вот опять незадача: ее-то в сегодняшнем «патриотическом» стане как раз и не любят!.. Потому что лучше смириться с неприятием «Протоколов» царем-патриотом, покровителем черносотенства, чем принять их от царицы-немки...

Кстати, тему злодейского убиения царской семьи затрагивает и император Вася. У него еврей-большевик

Наших нежных словянских девчонок
В императорских семьях стрелял,
В продразверстку у маленьких деток
Хлеб последний чекист отбирал.

Но вернемся к главе о В. Пикуле. С чего бы Н. Коняев столь возлюбил этого, скажем так, не самого даровитого и отнюдь не самого затравленного писателя? Что, — так покорили его книги этого плодовитого творца исторической бульварщины? Да полноте. Ларчик и здесь, как всегда, открывается просто. Покойный В. Пикуль, как всем известно, особое пристрастие питал к изображению истории как поля деятельности всевозможных злокозненных заговорщиков, «тайных рук» и «тайных сатанинских сил», которые в его трактовке предстают как своего рода незримые пружины исторического процесса, двигавшие и двигающие историю человечества. Другими словами, это та же «историософия», что и в «Протоколах». Правда, про все это открыто говорить в подцензурной советской печати не разрешалось, и потому именовались эти силы в его романах «масонскими». Но зато это был как бы некий тайный знак — такое как бы особое подмигивание, коим обменивался писатель со своими единомышленниками-читателями. Для тогдашних цензоров, которые, сильно морщась, пропускали-таки его в печать, вычеркивая уж самое непристойное, а также для почитавших его партийцев сей эвфемизм был прозрачен как стеклышко. Господи, да кто сомневается в том,

кого любил и кого ненавидел Пикуль! В письме своему другу Н. Коняеву, бережно воспроизведенном в книге, Пикуль, уже, разумеется, не прибегая ни к каким экивокам, пишет: *«Будем надеяться, что наверху опомнятся и поймут, куда идет страна, в которой весь идеологический фронт отдан на откуп мировому еврейству, не знающему пощады ко всем, кто не рожден был евреем».*

Вот так, господа. Прямо и открыто. И Н. Коняева от такой прямоты, как видим, отнюдь не стошнило. Это ведь только какой-нибудь Корней Чуковский способен был впасть в душевную прострацию, услышав (дело было в 1964-м) подобные откровения. И записать в «Дневнике»: «Явился из Минска некий Сергей Сергеевич Цитович и заявил подмигивая, что у Первухина и Ворошилова жены — еврейки, что у Маршака (как еврея) нет чувства родины, что Энгельс оставил завещание, в котором будто писал, что социализм погибнет, если к нему примкнут евреи, что настоящая фамилия Аверченко — Лифшиц... Я сидел оцепенелый от ужаса. Чувствовалось, что у него за спиной — большая поддержка, что он опирается на какие-то очень реальные силы».

Ужас Чуковского можно понять — он верно почувствовал, что за спиной этого субъекта — очень реальные силы, обеспечивающие ему очень большую поддержку. Куда бы девались без такой поддержки и Н. Коняев со своими единоотрядцами? Правда, чтобы обеспечить себе такую поддержку, им опять-таки никак было не обойтись без достаточно постыдной для «идейного» черносотенца идейной эквилибристики. Но на что не пойдешь ради своего черносотенного аппетита? И вот мы читаем у того же Коняева в главе, посвященной Шолохову: *«Чужеродные для России коммунистические идеи, принесенные сюда Лениными и Троцкими, после неисчислимых страданий и рек пролитой крови оказались уроднены Россией настолько, что стали ненавистными для духовных последователей Троцких, Бухариных и Кагановичей».* Как интересно, не правда ли? Какая потрясающая логика! Нехорошие последователи нехороших палачей русского народа теперь, оказывается, ненавидят то самое течение политической мысли, которое оказалось для России губительным... Или все-таки не губительным? Тогда, значит, знаменитые те палачи не такие уж, выходит, и палачи, раз именно они стояли у истоков того уникального общественного строя, который стал впоследствии очень русским, «уродненным Россией». И, значит, не так уж стоит и плакать о многомиллионных жертвах, раз на их костях взросло нечто до такой степени Россией чаемое и долгожданное

Но, простите, — а как же тогда убиенный Есенин? И расстрелянный Клюев?...

Нет, явно запутался тут опять наш идеолог. Однако, если заглянуть в глубь не особо далекой истории, истоки этой путаницы становятся более чем очевидны.

Революцию, конечно, вершили не «черные», а «красные» сотни. Тут Н. Коняеву не возразишь. «Черные», конечно, тоже не дремали, ибо благонравие никогда не было их достохвальным свойством. Но на новой русской почве черносотенство поначалу довольно-таки быстро скисло. Оно и неудивительно: попробуй проповедовать чистый расизм в стране, где никто не может подсчитать даже точное число национальностей. Вожди же мирового пролетариата потому ведь так и именовали себя, что были «интернационали-

сты» и ждали-чаяли мировую революцию. Это в СССР было известно и детсадовцам.

Однако по мере таяния этих воздушных замков и при одновременном воплощении гениального сталинского тезиса о возможности построения социализма «в одной отдельно взятой стране», национализм снова начал играть всеми своими застоявшимися мышцами. Это был как бы второй этап воцарения черносотенства в России. И этап куда более успешный, нежели первый. Особенно после обескровившей страну войны. Когда все более шумно и почти ко всеобщей радости стало возвращаться родное, российское, начиная с погон советского офицерского корпуса и кончая типично российской школьной гимназической формой. Когда началась никаким здравомыслием не постижимая борьба с «космополитизмом», со всяческой «иностранщиной», особенно с Западом, способным если не погубить, так растлить русский народ. И много чего другого, нежно гревшего сердца потомков старой «черной сотни». Ну как тут было не полюбить душку-Сталина, природно-народного революционера, а по совместительству и сурового самодержца! Как не объявить его, милостивца, фигурой «сложной и неоднозначной», но в целом безусловно положительной! Ведь для *«большинства русских людей,* — пишет Н. Коняев, — *очевидна заслуга И.В. Сталина в том, что он вывел страну из Бирючьей балки», в которую завели ее Троцкие, Бухарины, Зиновьевы, Каменевы».*

Вот где, стало быть, зарыты корни сегодняшней пламенной любви наших патриотических зайчиков к Сталину. Они и старшего его друга-наставника, известного под кличкой Ленин, ради него разлюбили. В самом деле — жил Ленин в основном за границей, дружил с Зиновьевыми и Троцкими, Польшу и Финляндию от России оторвал, вещал что-то про интернационализм... Сталин — дело другое. Он создал государство, от восхищения которым у наших патриотов просто сердце заходится. Послушайте, какую восторженную песнь этому сталинскому созданию поет, например, публицист и прозаик М. Антонов, один из любимых авторов «Молодой гвардии»: *«...В тоталитарном государстве не может быть бездомных и безработных, беспризорных и брошенных на произвол судьбы. Ни одна жалоба и ни одно предложение гражданина не останется без рассмотрения, и жалующийся или предлагающий что-то человек получит официальный ответ. <...> Тоталитаризм — это высшая стадия демократии»* («Молодая гвардия». 2005. № 6. С. 124). А не построй Сталин на просторах России этот тоталитарный рай, какой бы она была? Да той самой, которую наш «император Вася» без рыданий и вспомнить не может:

Билась белая гвардия насмерть
С кровожадной сионской ордой.
Победил Лева Троцкий Россию
Сделал нищей голодной страной...

Но не тут-то было — одолел-таки «Леву Троцкого» защитник и спаситель русского народа Иосиф Сталин. И, как восторженно напоминает Н. Коняев, «отправил в лагеря и на расстрел множество палачей русского народа...». Вот так вот.

Но — не хватит ли?.. Идеология русского черносотенного «патриотизма» совершенно ясна, никто ее не скрывает, — и стоит ли она серьезного

разговора? Никому покуда не удавалось логическими доводами опровергнуть антисемита. То ли это болезнь такая зловредная, разъедающая человека до печенок, то ли особое устройство головы... Мне, например, давно было любопытно: когда же, наконец, Вадим Кожинов, известный наш литературовед, человек в общем-то знающий и начитанный (ныне уже покойный), проговорится и озвучит то, что в его статьях и книгах где-то в глубине было всегда, но на поверхность до поры до времени не вылезало? Неужто он до конца дней своих так и будет, стиснув зубы, наступать на горло собственной песне, мямлить, прибегать к экивокам, темнить, перемигиваться с единомышленниками — и только? И вот отыскала-таки я среди его сочинений книгу, куда все-таки более искреннюю. Называется она «Загадочные страницы истории XX века», издана в 1995 году и рассказывает о черносотенстве, деле для любого антисемита святом. О-о, В. Кожинов интеллигент, а не полупьяный невежда с накачанными кулаками, вопящий: «Понаехали, проклятые!» Для него слово «черносотенец» — это, конечно же, слово откровенно бранное, а слово «погром» — так еще хуже: это «кошмарный символ Российской империи». Но выдав полагающуюся по этикету дозу интеллигентности, В. Кожинов резко меняет тональность и начинает-таки говорить собственным своим, незаемным голосом. И совершенно волшебным образом с бранного слова «черносотенец» сбрасывается искажающий и уродующий его смысл, и предстает оно в своей первозданной чистоте и почти святости. «Черная сотня», вдохновенно объясняет В. Кожинов, — это объединения «земских», «черных» людей, людей земли, стремящихся возродить древний порядок вещей; это они, черносотенцы, бескомпромиссно боролись с революцией, ввергнувшей страну в катастрофу; это им был присущ глубокий демократизм, исконно русский по природе своей. А погромы? Да разве ж то были погромы? Это было так, *«восстановление необходимой справедливости»*, порожденное злодейской *«экономической практикой евреев»*, делом, стало быть, божьим. Ведь конфликт, возникший между русскими и евреями, *«был*, — разъяснено в книге — *неразрешим на экономической же почве»*. Так что яснее ясного — тут потребен был кулак. И вовсе уж клевета, будто в тех погромах страдали евреи. И что вообще это были погромы. Потому что *«использование евреями современного боевого оружия,*— раскрывает потаенные страницы XX века наш историк,— *превращало погромы в сражения, приводящие к сотням жертв»*.

Так и видишь старушек-евреек с малыми детишками, засевших где-нибудь под крыльцом с «максимом» в руках...

Не будем заблуждаться: антисемитизм как частный случай человеконенавистничества скорее всего не умрет никогда. Единственный способ обуздать антисемитски настроенную публику — вырвать у нее ядовитые зубы. Лишить их и власти, и возможности проповедовать свои людоедские идеи. Ибо переубедить их невозможно. И люди, верящие в «сатанинские силы» и «тайные пружины» истории, тоже никогда не переведутся, пройди хоть тысячелетия. А уж тем паче вольготно им живется сегодня, под российским смутным солнышком.

Поэтому приведу в заключение только еще один пример такой вольготности.

В «Рубцовском вальсе» имеется глава, названная «Дни забытых глухарей». Посвящена она поэту Николаю Макаровичу Олейникову, расстрелянному 24 ноября 1937 года вместе с целой группой ленинградских детских писателей. Да-да, это и есть последняя страница истории той знаменитой редакции С. Маршака, что выпускала по-настоящему замечательные книги и была уничтожена в годину террора. О ней сказано немало и доброго, и злого, но, покуда выпущенные там книги будут читаться, пытливый глаз исследователя будет-таки натыкаться на этот феномен и искать его разгадку. В меру, конечно, собственных знаний и убеждений.

Загадок же Лендетиздат и впрямь преподнес немало. Не буду углубляться в теоретические дебри в поисках ответа на вопрос первый и главный: почему в тоталитарной стране, в условиях невиданного в истории цивилизации террора яркой звездой вспыхнула такая локальная и специфическая область человеческой деятельности, как детская литература. Не думаю, что найдется человек, способный дать этому ясные и логичные объяснения. Отвергаю те из них, что уже были озвучены: дескать, все дело заключалось в том, что писателям, жаждавшим естественной для творца свободы, не было ходу в литературу для взрослых и они нашли единственно возможную для себя нишу. Об этом некогда писала, например, Мариетта Чудакова.

Но, во-первых, детским писателем надо родиться. Если природа не одарила человека этим редчайшим талантом, ничего поделать нельзя — вне зависимости от благоприятных или неблагоприятных обстоятельств. Ни Мандельштам, ни Пастернак детскими писателями все-таки не стали, хотя и печатались в начале 20-х годов в маршаковском детском журнале «Новый Робинзон». А уж про то, как давила их безбожная власть, говорить излишне.

Во-вторых, нельзя забывать о том, что детская литература отнюдь не была для писателей эдакой вольницей. Разве что-нибудь подобное потерпело бы зоркое большевистское око? Лендетиздат курировался, правда, не ЦК партии, а ЦК комсомола. Но кто всерьез будет воображать эту почтенную комсомольскую организацию островком вольномыслия?

А в-третьих, никакой редактор, будь он хоть трижды гений, не превратит бездаря в талант. Пригладить и причесать сырую полуграмотную рукопись, придать ей элементарно удобочитаемую форму, — да, это в редакторских силах. Тем более если редактором работает С. Я. Маршак, помощниками его — люди образованные, самоотверженные и с хорошим литературным вкусом, а общая атмосфера в редакции отличается искренней заинтересованностью в судьбе автора и пронизана духом настоящего искусства. Вещи и впрямь великолепные.

Но какой редакционный воздух создал гениального Д. Хармса? Н. Заболоцкого? С. Безбородова? Л. Пантелеева? М. Бронштейна? В. Бианки? Л. Будогоскую? Р. Васильеву? А. Введенского?

Конечно, сколько-нибудь резко провести грань между тем безусловно положительным, что было в работе той редакции, и столь же безусловно отрицательным, невозможно. Редакцию сгубило апокалиптическое время, в которое она существовала. Прекрасно, что Лендетиздат выпускал интересные и нужные книги, многие из которых не устарели и по сей день. Жутко, что в тогдашнем авторском активе издательства были люди, совершенно не

рожденные быть писателями, люди неталантливые и зачастую просто бессовестные. Сегодня, когда никого из этой редакции уже нет в живых, все это можно не скрывать. В 1937-м, сказала как-то Анна Ахматова Лидии Чуковской, работавшей тогда у Маршака, людям был великий экзамен. И выдержали его с честью очень немногие. Поэтому из трагической истории Лендетиздата можно извлечь такой урок: нельзя, как сказал когда-то булгаковский профессор, искусственно фабриковать Спиноз; нельзя, даже руководствуясь самыми благими намерениями, превращать полуграмотного бездаря в писателя, плодя тем самым обозленных графоманов, нередко ломавших судьбу и свою, и своих близких. Тем более — в тоталитарной стране, где писатель, будучи приводным ремнем идеологии, властями усиленно подкармливается (я говорю, конечно, о писателях послушных). Именно такие псевдотворцы утопили взрастившую их редакцию и своего учителя в доносах и, в конечном счете, в крови. Так что даже такое вроде бы благое дело, как особая забота государства о писателе, в тоталитарном государстве закономерно оборачивается кровью, погромами и бесчисленными невинными жертвами.

Но что в той конкретной ситуации конца 20-х — начала 30-х годов могла поделать редакция, если она *вынуждена* была выпускать книги, подобные лживосусальному «Мальчику из Уржума» (автор — Антонина Голубева, одна из самых черных фигур Лендетиздата) или не менее лживой «Старой крепости» Владимира Беляева? Не издавай редакция подобную *смутную*, но очень идейную литературу, ее бы попросту прихлопнули. Разве можно забывать о том нечеловеческом ужасе, в который была ввергнута страна? Вспомним — разве так уж много было людей — хоть талантливых, хоть бездарных, которые оказались способны без всяких нравственных потерь перенести тот кошмар, что давил на всех без исключения? И потому разве можно обвинять человека даже и в том, что он кого-то оговорил, если заведомо известно: показания его даны под пыткой? Нет на земле такого суда, который был бы вправе это сделать.

На земле нет, — а Н. Коняев такое право себе присвоил. Так сказать, привнес в этот вселенской непостижимости вопрос ту ясность, которая дана ему его идеологией. Потому что во всей истории Лендетиздата Н. Коняева интересует одно-единственное: еврейский вопрос. Из-за него он и за перо взялся. Вот он, ключ к разгадке гибели редакции! С. Маршак — вот кто главный обвиняемый на суде истории. Это он, написано в книге, насаждал в детской литературе «идиотизм» (если под «идиотизмом», как можно понять из книги, Н. Коняев имеет в виду заведомую идеологизированность литературы в тоталитарном государстве, то с этой проговоркой его можно только поздравить). Это он, Маршак, продолжено там же, глушил «творческую инициативу» несчастных, отданных ему на заклание писателей (но если так, то ведь эти писатели, среди которых немало было доносчиков, много позже, когда Маршака уже давным-давно в Ленинграде не было, вполне могли писать то, что им хотелось. Чего их душа жаждала. Так нет же: они упрямо издавали и переиздавали то, что выходило именно под редакцией Маршака!). Это он же, Маршак, написано у Коняева, «прикидывал», как бы «половчее сдать в НКВД» несчастного Н. Олейникова (опять вопрос — для чего в 1937 надо было «вдумываться» в эту очень несложную тогда проблему? Тем более — если Маршак, как утверждается в книге, был тайным чекистом?..).

Но Н. Коняев идет и дальше. Он превосходно знает, что Александру Иосифовну Любарскую, тогда молодую красивую женщину, арестованную в ночь на 5 сентября 1937 года, пытали, и показания ее даны ею *после пыток*. Он же сам, Н. Коняев, несколькими строками выше пишет, что в руках Наума Голуба, профессионального палача, «раскалывались и более сильные люди», чем эта 29-летняя женщина. Он же сам, Коняев, в этих же строках обмолвился, что знаком с воспоминаниями Любарской, опубликованными в «Неве» в 1998 году, где она рассказала, открыто и прямо, как следователь Слепнев, «щеголеватый молодчик с наманикюренными ногтями», дал ей на подпись им же сочиненный донос и на Маршака, и еще на целую группу едва ей знакомых людей, как расстрелян был человек, которого она любила...

«Но главный упор, — вспоминает А. Любарская, — был на шпионаже. Нужны шпионы. Все равно в пользу какой страны. Все равно, кто они, — сторож пригородного огорода, или ученый, или литератор, или редактор детских книг, — все годятся. "Подписывайте протокол", — сказал Слепнев, пододвигая ко мне папку. "Нет, я это не подпишу", — сказала я. Слепнев встал из-за стола и подошел ко мне вплотную. "Будете подписывать?" — "Нет". Он размахнулся и ударил меня по лицу. Дальше допрос шел так: "Подписывайте!" — "Не буду!" Удар. "Подписывайте!" — "Не подпишу!" Удар. "Признавайтесь!" — "Не признаюсь!" Удар. И так час за часом. Рассказывать об этом почти невозможно, невозможно передать меру беспомощности, страха, боли, отвращения...»

Так кем же, скажите, надо быть, чтобы, зная все это, беспощадно и бестрепетно обвинять несчастную женщину? Существуют ли в человеческом языке слова, которых заслуживает написавший это?

Вот такая книга. Лирическая, нежная, взволнованная. Трепетная. Полная глубокой тоски по поводу гибели русской культуры в целом и русской литературы в частности.

Алмаз, словом, а не книга.

Так что, господа, вот вам и такой образчик «национальной идеи», столь взыскуемой нашим обществом. Идеи немножко подзамшелой, но, подобно советскому пионеру, *всегда готовой* к службе народу и отечеству. Вонь от нее, конечно, — хоть нос затыкай, да и замешана круто — на откровенной, бездоннейшей злобе и человеконенавистничестве самой высокой пробы. Но нормальной-то, приличной национальной идеи у нас ведь как не было, так и нет. На том месте, где ей положено быть, все еще наблюдается весьма прискорбный вакуум. Вот и выскочили, уловив очередной подходящий момент, эти юные и резвые. Ну да, злобные. Ну да, бесчестные. Однако не будем забывать, что и большевизм, возникший на развалинах царской России и унаследовавший (а кое в чем и развивший) худшие черты ее политической системы, тоже был, по словам русского философа, Г. П. Федотова, порождением «стихии зла», пусть и другого рода. А ведь продержался у власти семьдесят с лишним лет. Ну как не вдохновиться таким воодушевляющим примером?..

Нет, не единожды мы еще пожалеем, что сэкономили некогда на проведении собственного Нюрнбергского процесса.

КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ*

/Сентябрь – декабрь 2005 г./

11.09.2005

Здравствуйте! Ну, как говорилось в старину, по многочисленным заявкам радиослушателей — в эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Каюсь: каникулы действительно затянулись. А потом, мы както надеялись, что летом ничего особенного не пропустим... Обычно в это время все более-менее тихо, речка движется и не движется... Только родная власть не успокоилась и продолжала любить народ, как заведенная. Ну, обо всем по порядку.

Начальственных хлопот о населении за лето накопилось множество, но начнем со свеженького...

В минувший понедельник президент Путин выступил с программной речью перед правительством, Госсоветом и руководством Думы, заявив о необходимости «инвестиций в человека». Президент пообещал резко повысить зарплаты бюджетникам, прежде всего врачам и учителям, кардинальным образом улучшить здравоохранение и образование, за полтора года увеличить на треть объемы жилищного строительства, наладить работу ипотечного кредита, а также заявил о необходимости возрождения села.

М-да. Ну, вообще-то к заботе о себе партии и правительства мы привыкли, но чтоб так! Чтобы разом, как из установки «Град», накрыть любовью все население!.. Чтобы все кардинально улучшить, причем именно к седьмому году... «С чего бы это?» — подумало население — и зачесало в голове. В настоящий момент, как говорил Винни Пух, пчелы что-то подозревают... Подозревают, но не умеют так хорошо сформулировать, как некоторое федеральное начальство.

Комментируя речь президента перед правительством, Госсоветом и руководством Думы, спикер верхней палаты Миронов заявил: «Очень важно

---

* О формате «Комментария» Виктора Шендеровича см. в предисловии к выпуску в № 118.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ — родился в 1958 г. в Москве. Окончил Институт культуры и аспирантуру Щукинского театрального училища по специальности «педагог по сценическому движению». Работал на ТВ (программы «Куклы», «Итого», «Бесплатный сыр»). Сейчас на радио «Свобода» регулярно выходит его передача «Все свободны», а на «Эхе Москвы» — «Плавленый сырок». Автор книг «Семечки», «Московский пейзаж», «Антология сатиры и юмора», «"Здесь было НТВ" и другие истории», «Шендевры» и др. Живет в Москве.

улучшить социальное положение граждан именно в 2007 году, когда начнутся выборы».

Ну, слава богу. Теперь пазл складывается в привычный цвет — цвет пиара. А то тут экономисты, стервецы, прикинули дебет к кредиту — и обнаружили, что опрокинутый Путиным рог изобилия тянет не на сто миллиардов, как он сказал, а в несколько раз больше. И стало быть, все это (от ипотеки до очередного подъема села) — «слова, слова, слова». Некоторые несознательные договорились до того, что затыкать социальные дыры нефтяными халявными деньгами, ничего не реформируя, — значит только оттягивать социальный взрыв до времен, когда халява кончится... Но если речь идет не о России, а о том, как бы власти в восьмом году выйти во всем белом, то у матросов нет вопросов; спасибо спикеру Миронову, разъяснил для тупых. Вообще, если бы спикера Миронова не было, его надо было бы выдумать. Видимо, все-таки спасение выхухоля не проходит безнаказанно для человеческого интеллекта: заложил любимое начальство, красавец! Но слава богу, задачей сохранения ныне царствующей администрации на Старой площади заняты гораздо более тонкие люди...

На встрече с делегацией американских и европейских политологов и журналистов, состоявшейся в минувший понедельник, замглавы кремлевской администрации Сурков заявил: «Мы можем выиграть выборы или проиграть выборы, но незаконно власть никому не отдадим». Как сообщают СМИ, у западных политологов не сложилось единого мнения о том, что именно хотел сказать этой фразой Сурков. Господи боже мой! Не сложилось у них. Меньше надо в гарвардах обучаться, больше жить в России, все будете понимать на раз! Ну, слушай сюда, дорогие западные политологи, я вам этот бином Ньютона на пальцах разъясню.

Итак! Заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков хотел сказать, что те, которые сейчас сидят в Кремле — это законная власть и гарант стабильности, а те, которые ходят снаружи, от Лимонова и до Каспарова — экстремисты, с которыми нечего стесняться в средствах. Это вообще очень грамотно: объявить претендента экстремистом и посреди защиты Каро-Канн ударить его доской по голове. И сызнова влезть в лавровый венок чемпиона... Эта дебютная идея в последнее время стала доминирующей в команде мастера Путина, только ее уже и играют. «Идущих вместе» переквалифицировали в «Наших», в июле три тысячи человек собрали на Селигере, это вам не Сорокина в унитазы запихивать... Сам Сурков приехал, говорящего Павловского в кармане привез, пообещал юным умельцам «страну передать». Передать, слышите? Как заливное с того конца стола.

Но самое интересное, конечно, — не что там трендел мелкий олигарх (по совместительству замглавы кремлевской администрации), а — смета селигерского гулянья. По некоторым оценкам, оно обошлось неведомым спонсорам в сумму порядка двух миллионов долларов. Вы не пробовали добыть на что-нибудь эдакое, на свежем воздухе, пару миллионов долларов? Зря. Это очень легко. Главное — заручиться моральной поддержкой...

Говоря об источниках финансирования летнего лагеря на Селигере, глава движения «Наши» Василий Якеменко заявил: «С финансированием у нас нет проблем. Моральная поддержка Кремля позволяет нам сказать бизнесменам: ребята, нужны деньги на национальный проект».

Вы поняли, в чем залог благосостояния этих тружеников Селигера? Нет, ей-богу, неплохая работа: ходить по этим самым «ребятам» (от Вексельберга до Потанина и далее по алфавиту) и от имени Кремля делать им предложения, от которых те не смогут отказаться... На английском языке такого рода «моральная поддержка» называется «рэкет», но у нас тут не Англия, поэтому о подробностях этого, извините за выражение, фандрейзинга можно рассказывать газетам... Вообще, этот Якеменко оказался человеком донельзя разговорчивым.

Комментируя собрание активистов движения «Наши», Василий Якеменко, в частности, сказал: «Можно было привезти сюда, на Селигер, 20-30 скинхедов, и показать им, что здесь есть чем заняться — учиться, совершенствоваться».

Насчет обучения скинхедов — идея неплохая, интересно только, кто кого первый научит... Августовский налет «Наших» на собрание «лимоновцев» заставил вспомнить старый анекдот про еврейского мальчика, которого отдали пожить к православному батюшке, чтобы мальчик избавился от акцента. Через неделю батюшка приходит к родителям и говорит: «Забегите вашего гебенка!»

Да, интересная вещь получается... Леворадикалы, значит, как последние кадеты, сидят себе и разговоры разговаривают, а члены «антифашистского» движения «Наши», стоящие на страже демократических ценностей, налетают из-за угла и начинают ломать радикалам конечности бейсбольными битами. А дальше начинаются совсем интересные вещи: сотрудники милиции отпускают нападавших — по звонку неведомого начальства, без составления протокола — и тайно вывозят их по двое-трое в машинах с тонированными стеклами, чтобы набежавшие журналисты не смогли зафиксировать для истории и прокуратуры лица этих нежданных сторонников закона... А потом президент будет встречаться с этими юными штурмовиками на пленэре и под рыбный шашлычок разговаривать с ними о приоритете демократических ценностей...

По сообщениям СМИ, студентка третьего курса Тульского государственного университета Юлия Городничева, участвовавшая во встрече активистов движения «Наши» с Путиным в Завидово, получила приглашение войти в Общественную палату при президенте России.

Ну да, шашлычки шашлычками, а такой момент упускать глупо! Я имею в виду создание этой вот Общественной палаты. Ведь, по закону, ее членами могут стать только граждане, располагающие общественной поддержкой, авторитетом и влиянием в обществе, а где таких найти? Тут каждый человек на вес золота и конкурс огромный. Не Сатарова же звать с Левадой, когда рядом обнаружилась студентка Городничева! Ведь членам Общественной палаты предстоит проводить экспертизу законопроектов, контролировать работу госаппарата, а кто с этим справится лучше, чем Юля? Правда, до сих пор эта бойкая девушка перебивалась с троечки на четверочку, но что-то, видимо, в ней нашлось при ближайшем рассмотрении в Завидово, чего нету ни в Сатарове, ни в Леваде... М-да. В общем, кажется, один кадровый вопрос Владимир Владимирович решил.

Будучи, как вы успели заметить, человеком чрезвычайно разноплановым и неутомимым, президент в отчетный период вообще успел очень много. Даже

помог правозащитному движению, хотя никто его об этом не просил. Сам, по собственной инициативе, оградил российских правозащитников от самого страшного — от зарубежного финансирования. Прямо чуть не кулаком застучал во время встречи в Кремле: мы, говорит, этого не допустим! Вот, правда, не очень понятно, какое президенту дело до источников финансирования общественных организаций, если они не нарушают законов Российской Федерации. Да если и нарушают, — тоже не понятно, какое ему до этого дело: на то есть прокуратура. Но так уж сложилось, что нашему президенту до всего есть дело: телекомпанию ли закрывают, олигарха ли судят, ЮКОС ли промеж своих пилят, — во всем он, кормилец, участвует лично. Широкой души человек! Вот и в правозащитном движении поучаствовал...

Вообще, диалог власти и общества не прекращался ни на минуту! А такого рода диалог, как известно, примета цивилизованного государства. В Англии, допустим, оппозиция представляет альтернативную программу — Тони Блэр через неделю в парламенте отвечает по пунктам. Идет диалог с оппозицией и у нас — и очень содержательный. Например: Ходорковский пишет статью «Левый поворот» — власть переводит его в общую камеру; Ходорковский дает согласие баллотироваться в Думу — власть сажает в карцер Платона Лебедева. А кто скажет, что это не диалог, тот чистый формалист и ничего не понимает в управляемой демократии...

Работу с общественностью президент Путин продолжил в годовщину Беслана — встречей с бесланскими матерями. Рассказал им про трудности человечества в борьбе с мировым терроризмом... Сам-то я честные глаза нашего президента рассмотрел вблизи четыре года назад, — бесланским матерям это счастье привалило в прошлую пятницу. Представляете? Путин, оказывается, ничего не знал. Ни про паралич федерального штаба, ни про следствие, год напролет прятавшее глаза от очевидных фактов, ни про стрельбу по школе из огнеметов и танков. Он белый, пушистый и хотел спасти детей... Но теперь, после встречи с матерями, президент немедленно встретился с Генпрокурором — и закипела работа по установлению истины. В минувшую среду следственная группа прокуратуры назначила пожарно-техническую экспертизу по делу о теракте. О! Я думаю, пройдет еще буквально пара лет — и к делу приобщат гильзы от танковых снарядов. Не позже две тысячи десятого, я надеюсь, допросят главнокомандующего...

А пока что заместитель Генпрокурора Шепель — тот самый, который год напролет уверял общественность, что стрельбы по школе из танков и огнеметов не было, а потом, припертый к стенке вещдоками, обрадовал мир сообщением о том, что стрельба была, но в том месте, по которому стреляли, не было детей... — так вот, этот самый Шепель давеча прояснил самую суть дела!

В интервью газете «Ъ» заместитель Генпрокурора заявил, что потерпевшие «вообще заговариваются»; в качестве одного из мотивов поведения бесланских матерей на процессе по делу боевика Кулаева Шепель назвал «попытку политической оппозиции нынешнему руководству страны использовать процесс как бесплатную площадку по оголтелой критике всех и вся».

О! Это в струю. Солдатских матерей у нас, стало быть, содержит мировая закулиса (это министром обороны давно установлено), а матери детей, погибших в Беслане, не сходят с ума от горя, лжи и несправедливости, а ти-

ранят руководство страны, наущаемые оппозицией... Давайте же поскорее проведем пожарно-техническую экспертизу прошлогоднего снега — и разоблачим этот заговор окончательно!

Вообще, в отличие от Басаева, с матерями и правозащитниками власть, в преддверии годовщины Беслана, справилась на твердую пятерку. В Москве не дали провести правозащитный митинг, объяснив, что это могло бы помешать подготовке ко Дню города... Да, День города — это святое! Чем тенью убитых детей власть тревожить, куда лучше Газманова послушать... прямо под перетяжкой «Беслан, мы с тобой!». А траурный митинг они собрали свой, с красивым названием «без слов». Типа скорбь. Ну, спора нет: когда не можешь ответить ни на один вопрос, чтобы не попасться на лжи, то лучше действительно молча поскорбеть...

Вся эта бесланская история должна была, я думаю, самым благотворным образом подействовать на патриотическое состояние умов. Государство, стреляющее по собственным детям из танков и огнеметов, — как не любить? Но на всякий случай, под конец лета, правительство России приняло очередную программу патриотического воспитания — на 2006–10 годы. Это, надо полагать, продолжение прошлой программы, на 2001–05 годы (блестяще реализованной). А к десятому году патриотизма будет еще вчетверо больше, чем теперь, потому что против прошлых 115 миллионов рублей нынче на это дело грохнули полмиллиарда. На что же именно? Да уж как-нибудь не псу под хвост, а на серьезные целевые программы! Вот, например, чтоб вам мало не показалось, «воспитание любви к гимну»; вот создание в федеральных органах «советов по патриотическому воспитанию»! Представляете эти лица, эти советы? А вот еще: «содействие развитию творческого потенциала журналистов и писателей в области патриотического воспитания»... Это уже ко мне. Господи! Или кто там у вас вместо него в Белом доме... Короче, кто-нибудь! — дайте мне миллион. У меня так вырастет потенциал, вас всех стошнит... Ладно, переходим к главному пункту программы.

Одной из задач, поставленных в новой правительственной программе патриотического воспитания, названо «противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в СМИ, произведениях литературы и искусства».

Да! Вот на это мы смело пустим первую же пару миллионов рублей — на противодействие попыткам дискредитации! Потому что — есть, есть еще среди нас те, которые не считают выкачивание бюджетных денег свидетельством любви к Родине! Есть те, которые полагают, что Родине мало пользы от фанфар и барабанной дроби и любовь к ней возникает не в результате прослушивания гимна, а совсем напротив, в тишине... Да что далеко ходить — ведь что пишут эти некоторые про новую программу правительства? Пишут, что, мол, когда на благоустройство воинских захоронений и поиски непохороненных солдат Великой Отечественной выделяется миллион рублей в год, а на патриотические слеты — три миллиона, то это не патриотизм, а маразм; что когда на содержание тех, кто выдает это фуфло за любовь к Родине, бухаются миллионы долларов — это вообще уголовщина... Вон чего пишут! Нет, с этими отщепенцами мы будем бороться! Вот еще денег из казны возьмем — и не допустим дискредитации патриотической идеи!

Ну, правительство, как вы поняли, работает успешно — даром, что ли, Фрадкову орден дали, «За заслуги перед Отечеством» второй степени? Отчего-то вспоминается мне тут шутка Зиновия Ефимовича Гердта — вот уж воистину: то ли заслуги второй степени, то ли Отечество... Ну да ладно! Еще не все награждены орденами и медалями — и главный кадровый запас сосредоточен на Охотном ряду. Дума приступает к осенней сессии, и это начало славных дел! Среди законопроектов, подготовленных к рассмотрению, есть бумага, предусматривающая право сотрудников спецслужб заходить в дома граждан без никакого ордера (в их же, разумеется, интересах; по случаю борьбы с терроризм). В прошлые разы, по случаю борьбы с терроризмом, в России отменили выборы губернаторов и позатыкали рты журналистам — теперь разрешат чекистам сидеть у людей на головах и болтать ножками. А еще предлагается ввести квоту на отрицательные новости в средствах массовой информации — не более 10%. То есть минуту рассказываем про ураган в Новом Орлеане, а потом девять минут — про хорошую погоду в других городах мира... Новости будут — не оторваться! Короче, ждите осенней сессии, все для вас.

От верхней палаты в наступающем сезоне тоже можно ждать многого — по крайней мере, спикер Миронов сезон уже открыл. Вообще, странно: выборов у нас вроде в ближайшее время не предвидится, но ведут себя наши начальники довольно лихорадочно. Дедушка Ельцин в рэперы пошел только перед самым голосованием, когда совсем приперло, а наш нынешний посреди царствования начал на ракетоносцах летать, сам летом и пуски совершал, и дозаправку в воздухе... Шива наш сверхзвуковой. Но что положено Юпитеру, не положено остальным животным. Тем, кто пониже, судьба пробавляться подножным пиаром на земле и даже под ней. Вот, вышеупомянутый спикер Миронов трезво прикинул свои возможности — и после дождичка в четверг (18 августа) поехал на работу на метро. Приехав, он первым делом доложил о своем подвиге общественности... Дорогой Сергей Михайлович! Ваш поступок прекрасен, но не надо останавливаться на достигнутом! В целях углубления знания о народе я готов назначить вам свидание после работы — в любой день, ну скажем, на метро «Комсомольская-кольцевая», часиков эдак в семь вечера... Приходите, Сергей Михайлович, только мигалку с головы снимите и у эскалатора оставьте! Прижмемся лицом к электорату по-настоящему, а? — прокатимся до Павелецкой и обратно, вам для второго раза хватит... Получите такое представление о партии жизни — мало не покажется!

Счастья вам.

17.09.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, нынешняя неделя вполне удалась — баррель не падал, терпение не кончалось, родимое начальство продолжало успешно бороться с общественностью. И даже случился один рекорд. Ну, обо всем по порядку...

Начнем с гимна юриспруденции. В старые времена, когда юриспруденции этой не было в природе, люди с трудом, своими силами, решали, что им можно делать, а чего нельзя. За неимением закона исходили из здравого смысла и сильно мучились. Но постепенно, путем эволюции, человечество

выделило из себя таких специальных людей — юристов — и теперь они, отложив смысл, вертят букву закона, пока не найдут, с какой стороны ее употребить, чтобы получилось удобнее для клиента...

Префектура Центрального округа Москвы запретила планировавшийся на минувшее воскресенье пикет молодежного движения «Мы», под лозунгом «Конституция — да! Путин — нет!». Основанием для отказа стала правовая экспертиза лозунга. Специалисты пришли к выводу, что требование отставки президента Путина является проявлением экстремизма.

Да! Это вам не «Банду Ельцина — под суд!» орать на всех углах — слава богу, в двадцать первом веке живем, кругом наука. Кликнули правоведов, те подкоркой раскинули — и сразу поняли: россияне, которые на шестом году этого ежедневного счастья выступают против политики президента — это, безусловно, экстремисты! В отличие от самого президента и его назначенцев, руководящих стрельбой из танков по детям и потом идущих на повышение. Эти у нас оплот стабильности — ну, вы помните... Тут есть своя логика, потому что — что-то одно из этого, безусловно, должно считаться экстремизмом, не правда ли?

Но вообще-то на экспертизе свет клином не сошелся. У настоящих профессионалов всегда имеется пара-тройка дебютных заготовок, чтобы удивить незадачливого оппонента. Вот, например, в минувший понедельник: пришли на Пушкинскую площадь сторонники Ходорковского — правозащитники всякие, СПС, Хакамада... А в нескольких метрах — опа! — полсотни молодцов из молодежного «Единства» с транспарантом «Ходорковского — в тюрьму»: им столичная префектура, оказывается, разрешила митинг — на том же месте и в то же время. Вы скажете: грязная лужковская провокация? А я скажу: ну что вы! Это забота о плюрализме, о том, чтобы каждый мог высказать свое мнение. Диалог, кстати, в тот день получился классический — как в незабвенные времена у радио «Свобода» с брежневскими глушилками: те, которые за Ходорковского, пытались слова говорить, а оппоненты просто вынули фанатские дудки, с какими дураки на стадионы ходят, и задудели в полсотник глоток, и задавили мысли децибелами. Собственно, в этом, в настоящий момент, и состоит диалог Кремля с обществом... Давят, чтобы не было слышно, и вся идеология!

Ну, что касается форм вышеозначенного диалога — в Москве на этот счет, сами понимаете, особо не разгуляешься: иностранных корреспондентов пруд пруди, посольства кругом... Приходится напрягать мозги, липовые экспертизы малякать, подсадные митинги организовывать... То ли дело провинция! Тут все проще.

Санкционированный митинг североосетинского отделения «Объединенного гражданского фронта», возглавляемого Гарри Каспаровым, был разогнан во Владикавказе во вторник неизвестными людьми. Как сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах Северной Осетии, примерно через полчаса после начала митинга на площади появились некие молодые люди, которые стали вырывать у митингующих транспаранты и вытеснили их с площади.

Вот. Так даже лучше, я считаю. Без особенного креатива, без правовой экспертизы... Чего зря серое вещество переводить, его и так немного...

Набрать братков помускулистее да и вытолкать оппозицию прочь с места санкционированного митинга! А на другом месте им говорить уже нельзя — это будет несанкционированный митинг, нарушение закона, а у нас с этим строго... Да! Вы спросите: а что же милиция? Отвечаю: с милицией все в полном порядке! Стояла рядом и охраняла тех, которые разгоняли митингующих. Менты настоящих хозяев если даже в лицо не знают — по запаху чуют... Вообще, с политической оппозицией власть начала разбираться с девяносто девятого года — и неплохо за это время разобралась. Дошло дело помаленьку и до людей — обычных людей с головой нормальной температуры, не охлажденной непрерывным особизмом...

Нижегородская инспекция федеральной налоговой службы изъяла со счетов Общества российско-чеченской дружбы средства, полученные в течение трех лет от Европейской комиссии и американского Национального фонда поддержки демократии. По информации «Новой газеты», свои действия налоговая служба обосновывает недоимками по налогу на прибыль.

Ну! Вот чего они теперь журналистам жалуются, эти нижегородцы! Телевизора, что ли, не смотрят? Ведь три раза русским языком предупредил президент: не допустим иностранного финансирования общественных организаций! То есть, считай, поводок органам отстегнул и сказал «фас!». Ну, эти и помчались, наперегонки, в сторону свободных людей. В Нижнем первой успела налоговая. Сразу прыг на горло — и давай работать... Сначала каким-то удивительным образом определили, что Общество дружбы — это предприятие; ну, а раз предприятие, значит, то, что на счетах — это прибыль, а раз есть прибыль — где налоги? А раз не платили налогов — получай штраф и полное изъятие средств. А что средства эти собирали, например, читатели немецкой газеты «Бильд» на лечение чеченской девушки, лишившейся глаза во время обстрела ее дома российским военным вертолетом, — это настоящему налоговику, сами понимаете, по барабану! Вот такая российско-чеченская дружба... А я считаю, все логично. Президент же сказал: не допустим зарубежного вмешательства — значит, не допустим! Сами сделаем детей калеками — сами изымем деньги, собранные немцами на их лечение. Пускай там знают: Россию не победить!

Вообще, на минувшей неделе государевы люди окончательно сорвали маску с этих иуд, «кормящихся с руки западных спецслужб» (я правильно цитирую, Владимир Владимирович?). Оказывается, эти иуды (правозащитники) кормятся с двух рук! Глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин заявил в интервью радиостанции «Маяк», что российские правозащитные организации не защищают право, а пытаются давить на ситуацию и шантажировать. «***Ни один из правозащитников не работает по профессии***, — заявил Калинин. — ***Вопрос: на что они живут? Кто им платит деньги? Мы знаем, что деньги поступают и из воровских "общаков"***».

О-о-о... Я давно это знал, просто боялся рассказывать. Правозащитники — они страшнее урок. Соберутся на своей малине (в обществе «Мемориал»), билль о правах человека друг другу по фене перескажут, бабки воровские промеж собой поделят — и давай замышлять против народа, чтобы жил, как в Хельсинки... А на правой груди — профиль Сахарова, а на левой — Буков-

ский анфас. Но теперь, после того, как их накрыл по радио глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, наша, мля, социалистическая законность восторжествует в ближайшее время! Запросто может восторжествовать законность и в отношении Станислава Кесаева, главы парламентской комиссии Северной Осетии, ведущей независимое расследование событий в Беслане: заместитель Генпрокурора Колесников уже обнаружил в его действиях состав преступления: не хочет Кесаев раскрывать источники информации! (Чтобы, значит, федеральные органы успели поработать со свидетелями до того, как те откроют рот публично.) А другой замгенпрокурора, Шепель, фактически обнаружил состав преступления и в действиях бесланских матерей — они, оказывается, лжесвидетельствуют! Обратите внимание: не начальник штаба по освобождению заложников у нас лжесвидетельствует — с его тремя сотнями заложников вместо тысячи, не Кремль лжесвидетельствует насчет отсутствия у террористов политических требований, а — матери! Да, братцы... Провинились мы все перед нашими прокурорами да тюремщиками... Мешаем работать, путаемся под ногами... Давайте, что ли, покаемся перед ними, пока не поздно, а? Может, простят.

Но, слава богу, есть в России люди бодрые, честные, мажорные, не подверженные печалям... По преимуществу на ветвях власти и около них. Там что ни день, то праздник! Столетний юбилей Государственной думы России будет широко отмечаться в апреле будущего года в Санкт-Петербурге. Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. По его словам, депутаты отпразднуют юбилей «так же хорошо», как 1000-летие Казани. По информации газеты «Версия», из бюджетов разных уровней на праздник будет выделено 50 млрд рублей.

Ну, слава богу, а то я все думал: куда бы девать пятьдесят миллиардов рублей? А вот на поддержку парламентаризма путем изведения балыка, водки и фейерверков! — самое милое дело. Почти одновременно с грызловским объявлением о грядущем празднике министр транспорта Левитин объявил в судоходных компаниях сбор благотворительных средств на жилье и пропитание двенадцати российских моряков, ждущих суда в Нигерии: своих лишних денег ни у Минтранса, ни у федеративной нашей России-матушки на это не нашлось... Правильно! Деньги на деревьях не растут! Только на самое необходимое! На Чечню, на вертикаль эту, на парламентаризм с балыком и чтоб самим было в чем в Куршевель выйти, а то перед Европой неловко...

Кстати, что мы все «Куршевель» да «Куршевель»! Как будто свет клином сошелся на Куршевеле. Ведь есть еще, например, Антибы...

Там, на Антибах, пару недель назад прошла свадьба совладельца МДМ-банка, г-на Мельниченко: скромненько так посидели, по подсчетам охреневших СМИ — на 40 миллионов долларов. Но эти молодоженские радости привлекли наше внимание как раз не бюджетом и не тем, что, по свидетельству светских хроникеров, гости были переодеты медузами, а тем, что на свадьбу был приглашен наш с Вами гарант, Владимир Владимирович — и не просто, оказывается, был приглашен, а и оказал честь! В медузу он, правда, переодеться не успел, потому что, по информации тамошней светской газеты «Утро Ниццы» и сайта «Sophianet.com», прилетел на эти лазурно-кисельные берега совсем ненадолго и не в день свадьбы, а накануне — в

пятницу, второго сентября... Позвольте, но это же получается: в день встречи с матерями Беслана! Да не может быть! Да может. С утречка, наверно — раз, и на Антибы... Я полагаю, за свой счет, потому что ведь не может быть, чтобы за государственный, правда? Ну вот. А по дороге с Антибов обратно в Кремль — успел, стало быть, накопить на лице скорбь по сожженным детям... Профессионал!

Пока российский президент, беспощадный борец с олигархами, летал в этот новобрачный медузник по сорок миллионов долларов, канадская исследовательская организация Fraser Institute подготовила российской администрации новый подарок. В рейтинге экономической свободы Россия занимает уже 115 место из 127. Таковы результаты ежегодного доклада Fraser Institute. Российский индекс экономической свободы оказался таким же, как у Руанды и Того. По сравнению с прошлым годом Россия опустилась еще на один пункт.

Вы были в Руанде? И я не был. Ну так чего печалиться? Может, там хорошо, в Руанде! Может, там бизнес свободен от коррупции, а чиновники тихие, как в Норвегии. Может, в тамошней администрации работают интеллигентные люди, а руандийцы на них не нарадуются! И ничего нет страшного, что в части экономических свобод мы с Руандой под одним номером шкандыбаем, а по свободе слова — ноздря в ноздрю с Узбекистаном... Нам вообще с каждым годом все меньше надо. Скоро мыться перестанем.

До 29% снизилось число россиян, недовольных отменой прямых губернаторских выборов. Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса. Год назад отменой выборов было недовольно почти вдвое больше граждан. По мнению социолога Юрия Левады, которое приводит газета «Новые Известия», «люди просто смирились».

Ну да. Понимаете: если человека внезапно ударить — он закричит от боли, а если ему долгое время давать по балде равномерно, как по графику, — притихнет. Вон, НТВ закрывали — народ протестовал. Во время «Норд-Оста» на улицы вышли, но уже немногие... А потом, глядишь, целый Беслан — и все тихо, да еще до кучи выборы отменили... Так что политику партии и правительства (в смысле регулярного давания народу по балде) следует признать эффективной. И вот, стало быть, год прошел после отмены выборов, батюшка царь увидел, что холопы ведут себя хорошо, — и царской своей милостью сделал послабление.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время Госдума может рассмотреть поправки в избирательное законодательство. Согласно им, право выдвигать своего кандидата в губернаторы получит партия, победившая на региональных выборах. О! Это демократический прорыв. Только что же это за партия будет побеждать у нас на региональных выборах? При полном контроле над СМИ, милиционерах, охраняющих разгон оппозиции, и г-не Вешнякове на подсчете голосов? Если вы знаете название этой партии, позвоните мне, а то я измучился этой загадкой...

Теперь пара слов о нашей общественной жизни. Она бьет ключом — но по преимуществу разводным, административным, и как говорится, все время по голове. Живую цепь из державшихся за руки людей, общей длиной 40 километров, организовали власти Волгограда, посвятив это мероприятие годовщине теракта одиннадцатого сентября. Как сообщила газета «Но-

вые Известия», живая цепь будет занесена в Книгу рекордов Гиннеса, представители которой были специально приглашены в город на Волге. А? Вот мы что умеем, в Волгограде! Ну, согласитесь: просто так вспомнить о трех тысячах погибших людей — это каждый дурак может, а залезть под это дело всей гор. администрацией в Книгу рекордов — это эксклюзив! Сколько тут ума и особенно такта! Правда, ради вышеописанного подвига пришлось напрячься всей городской машиной — зафигачили, конечно, разнарядки по школам, кнутом и пряником, в выходной день, загоняли в ту цепь детвору (все лучше, чем идти за Клинским)... Теперь прокуратура, по жалобам родителей, ведет проверку, — но хрен с ними, с родителями, и с детьми — хрен с ними, не говоря о прокуратуре... Главное: есть рекорд!

Рекорды бывают разные. Об одном из них вспомнила недавно политкомиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, предложив рассмотреть вопрос о преступлениях коммунистических режимов. Наш ответ Чемберлену не заставил себя ждать.

Комментируя предложение политкомиссии ПАСЕ рассмотреть вопрос о преступлениях коммунистических режимов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: «***Считаю это провокацией века, которую инициируют самые злобные представители европейского сообщества***».

Да! Страшно представить. Жили себе век напролет эдакими мирными энкаведешными чикатилами... по локоть в строительстве светлого будущего... никого не трогали... ну только поляков, конечно, и еще этих... чехов. Потом афганцев... ну, и своих миллионов сорок стерли в пыль, как без этого... короче, нормально жили. И вдруг налетают эти злобные представители европейского сообщества — и требуют суда. Какой ужас! И как мы их еще терпим, не понимаю...

И последнее. На прошлой неделе в вильнюсской тюрьме попытался повеситься заключенный средних лет. В его камере была обнаружена предсмертная записка, заложенная на последней странице романа «Преступление и наказание». Как сообщают СМИ, заключенный — всего-то — отбывал тридцатидневный срок за кражу велосипеда... Осторожнее надо, ребята, с русской классической литературой, страшной силы вещь. А с другой стороны: может, исхитриться, подсунуть что-нибудь эдакое на ночной столик родной администрации, а? Как вы думаете — поможет?

Счастья вам!

24.09.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Отчетная неделя и начиналась довольно весело, и закончилась вполне замечательно! Да и в промежутке было отчего позабавиться... Правда, забавно все это, только если живешь не в России, а где-нибудь снаружи, и наблюдаешь происходящее, как биолог, в приборное стекло. А как вспомнишь, что это, собственно, и есть Родина — так веселье проходит почему-то. Ну да ладно, начнем...

Давно замечено, что перемена мест действует на человека благотворно. Эдак проснется человек в другом пейзаже, вдали от наскучивших рыл и натюрмортов, как почувствует себя молодым и свободным, как вдохнет-выдох-

нет — да как воспарит! Гогена на Таити в смысле живописи сильно прорвало, Гоголь в Риме аж «Мертвые души» написал. А министр обороны Иванов прилетел в Бишкек — и почти тут же выдал откровение огромной силы...

По сообщению агентства РИА «Новости», министр обороны Сергей Иванов, во время беседы с журналистами в Бишкеке, заявил: «***Рынка нефтепродуктов в России нет, есть дети лейтенанта Шмидта, которые поделили Россию. Там полная монополия***».

Да! Против фактов не попрешь: поделили! Причем (не будем мелочиться) не только рынок нефтепродуктов, а вообще! Распилили матушку-Россию на мелкие кусочки по числу заинтересованных граждан, а потом еще десять лет напролет закатывали друг друга под асфальт и средства массовой информации... Вот только кто же все это делал? Кто эти загадочные «дети лейтенанта Шмидта», на которых покатил бочку из Бишкека наш образованный министр обороны? Увы, турецкоподданных среди них нет, все больше «комса» и «гэбуха». Правда, самый сладкий кусочек (Бобруйск и окрестности) в итоге распада СССР отошел политруку Лукашенко, но остальное — почти исключительно своим... А потом уже и детям — безо всяких там метафор и без никакого лейтенанта Шмидта. Сынку господина премьера Фрадкова с младых ногтей Дальневосточное пароходство отписали, дитятко госпожи Матвиенко недавно вошел во владение питерской энергетикой, да и Иванов-младший, сын г-на министра обороны, не сказать чтобы в Чечне на блок-посту вшей кормит, а двадцати четырех лет от роду трудится, не щадя себя, на посту вице-президента «Газпромбанка», — то есть, с учетом грядущей покупки «Сибнефти», на том самом рынке нефтепродуктов, о воровской судьбе которого вдруг затревожился его федеральный папаша. Это-то теперь и беспокоит по ночам мой зыбкий ум: кой черт потянул в Бишкеке за язык министра обороны? Не явка ли с повинной?

Теперь о политике. Своей политической жизни в России нет уже шестой год — не считать же, в самом деле, политической жизнью пыльный вертеп, где по заказу раскрывает рот деревянный Грызлов и с крутящимся ключиком в одном месте бегает заводной Миронов! Своей политической жизни у нас, стало быть, нет — поэтому, видимо, с такой страстью наши петрушки включились в жизнь украинскую...

Всю последнюю неделю российские политики активно комментировали политический кризис на Украине. В частности, глава КПРФ Зюганов заявил, что украинские политики грызутся между собой, как пауки в банке, Владимир Жириновский предложил арестовать Юлию Тимошенко, а Дмитрий Рогозин назвал сообщение о кризисе на Украине «хорошей новостью».

Непритворная радость, обуявшая наших шариков и тузиков по случаю политического кризиса на Украине, легко объяснима: когда сам пятый год сидишь на цепи возле хозяйского крыльца и подаешь голос только по команде, ничто так не скрашивает жизнь, как ежели за забором, у тех, которые на свободе, вдруг случится какая-нибудь неприятность... Это так утешает! Полаешь всласть в их сторону, цепью побренчишь да и ляжешь снова возле федеральной миски в хорошем настроении.

Кстати, об Украине. Там ведь у них сейчас, по российскому календарю, год эдак девяносто второй — девяносто третий... Послереволюционный, с битьем

посуды в доме победившей демократии... Но обратите внимание: пока что без танков у парламента. Без разгона СМИ, без полицейщины, без арестов политических противников... Коалиции, переговоры, компромиссы — нормальная то есть политическая жизнь... Мы уж забывать стали, как это бывает, правда? Только знай радуемся стабильности этой нашей... моргоподобной.

Теперь несколько слов о Чечне. Не вздрагивайте раньше времени, когда будет повод вздрогнуть, я вас предупрежу... А пока — сюжет мелодраматический, благостный, я пока его на ленте новостей читал, чуть слезами не захлебнулся от умиления...

Ряд субъектов Федерации построят на свои средства в различных городах и селах Чечни четырнадцать школ. Об этом на встрече с руководством администрации Ростовской области сообщил председатель правительства Чечни Сергей Абрамов. «В каждом районе Чечни сейчас есть специалисты, командированные из различных краев и областей страны, в основном это милиционеры, — сказал Абрамов. — Со временем они уедут, и хорошо, если о них останется память в виде школ».

Молодежь, давно потерявшая нравственные ориентиры, на такую вице-премьерскую «заяву», пожалуй, просто хмыкнет, а то и заржет в голос. То ли дело мы, ветераны застоя, инвалиды девятой пятилетки, в далеких семидесятых с размаху ударенные пыльным мешком развитого социализма. В словах чеченского вице-премьера нежданно-негаданно учуем мы запах родного времени — и сделаем стойку, и прослезимся от ностальгии. Мне ли, вместо учебы в институте выводившему неведомый совхоз на третье место по Волоколамскому району, не пропитаться энтузиазмом г-на Абрамова? Да, да! Пускай милиционеры со всей страны строят школы в Чечне, ученые пускай разбирают на базах корнеплоды, а химики руководят культурой! И скоро все мы, единый, хотя и поврежденный на голову советский народ, рванем к победе сами догадайтесь чего... Ой... Как вы думаете, кончится это когда-нибудь — или мы тут так и будем ходить по кругу, как ослепшая цирковая лошадь?

Но вернемся собственно к Чечне. Я обещал предупредить вас заранее... так вот, можете начинать вздрагивать. Хотя, собственно, что уж такого особенного? Повторяю: не в Люксембурге живем, чтобы всякий раз вздрагивать! Сотрудники Шалинского райотдела милиции отобрали у съемочной группы программы «Вести-Чечня» видеокассету с записью митинга против похищения людей, прошедшего 19 сентября в селе Новые Атаги. Милиционеры объяснили свои действия тем, что «телевизионщики не то снимали». Милиционеры правы глобально — телевизионщиков вообще хлебом не корми, дай снять «не то»... Но в данном случае — странно... Государственная телекомпания... Могли бы, кажется, посоветоваться с руководством — мало ли сюжетов! Вот хоть как менты школы строют... аквапарк опять-таки, Ксенией Собчак заложенный... там ведь небось уже что-нибудь высится... или глубится... Нет, приехали снимать, как родственники похищенных «федералами» людей требуют соблюдения закона! Ну, милиция некоторое время журналистов терпела, а потом они их достали своими вопросами, и милиционеры повезли телевизионщиков в Шалинский РОВД, где сидели четверо из десяти похищенных. И вот тут журналистка проявила уже полную бестактность и

спросила у одного из задержанных, отчего это у него поясница перевязана. Задержанный тактично ответил, что у него болят почки — и вот тут на этом самом невинном месте милиционеры вдруг остервенели и отняли кассету, и стерли содержимое... И вот я теперь гадаю: почему так болели почки у задержанного? И почему пятеро из десяти задержанных на следующий день вернулись домой «в тяжелом состоянии»? И отчего вообще так ухудшается здоровье людей после посещения Шалинского РОВД? И где остальные пропавшие? И не попадут ли они в число безымянных боевиков, уничтоженных доблестной милицией? А если выживут — не пойдут ли потом к боевикам на самом деле? Но это я все про себя думаю, а будировать все эти вопросы вслух, да еще работая на государственном телевидении — боже упаси!

Пока в Шалинском РОВД лечили почки подозреваемым, руководство республики тоже не сидело сложа руки. «Мы должны открыто заявить, что чеченская нефть, являющаяся одной из самых дорогих в мире, вывозится и продается, и на эти деньги потребовать восстановление республики, — заявил вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров, выступая в четверг перед журналистами в Гудермесе. — Нужны миллиарды и миллиарды». В том же выступлении Рамзан Кадыров предложил прекратить командировки в Чечню сотрудников МВД из других регионов России.

Переведем сказанное с официозного на русский. Про восстановление республики — это, конечно, такая шутка, а вот распиливать нефтяные миллиарды Рамзан Кадыров готов теперь, стало быть, сам, без помощи дружного коллектива генералов и министров Российской Федерации, ныне сидящих на вентиле с ним рядышком и хватающих друг друга за руки с криком «дайте мне». И держать Чечню в узде Кадыров готов без федерального МВД, сам, со своими бородатыми орлами, наводящими ужас на собственную республику покруче любого ОМОНа... Хорошее предложение, кардинальное. Кстати, Масхадов по Хасавюртскому договору требовал у России гораздо меньших уступок, — так его убили. Я не в смысле рекомендации, а просто так, для общего развития...

Теперь — несколько слов о богоугодном промысле. Он разнообразен гораздо более, чем кажется многим, не посвященным в таинства Русской православной церкви... По сообщению газеты «Новые Известия», Русская православная церковь совместно с частным бизнесом начала большую стройку. В Москве рядом с десятью храмами, на земле, принадлежащей РПЦ, будут возведены торговые центры. Строительство трех супермаркетов уже началось. В проект предполагается вложить 25-30 млн. долларов. Часть площади Московская патриархия получит бесплатно под так называемые иконно-книжные лавки. Однако, как замечает газета, основную часть дохода этих лавок составляют ювелирные изделия и марочные вина.

М-да... Христос, конечно, изгонял торгующих из храма, но, по мысли нынешних отцов церкви, надо полагать, делал это от недостатка информации о возможностях храмового бизнеса. Спасение человечества — занятие кровавое и неочевидное, а бабки — вот они! А если еще договориться с федеральной римской властью насчет финансирования, с откатами в сторону наиболее продвинутых отцов церкви, то все вообще будет тип-топ! Ах, какие

возможности упустили они там, в Иерусалиме! Если бы Каиафа вовремя дал мессии долю в церковной «ювелирке» и винах, все бы обошлось — и Спаситель не преломлял бы хлеб, а приторговывал им, не отходя от кассы. Я правильно рассуждаю? Нет? Ну если нет, тогда пускай кто-нибудь из специалистов объяснит мне, где у нас кончается православие и начинается хищение в особо крупных размерах...

И напоследок — о царстве закона, окончательно установившемся на территории Российской Федерации в минувший четверг. Совсем коротко, потому что — чего тут рассусоливать! Короче: в четверг дружный состав Мосгорсуда, за недельку изучив пятьсот томов дела и не заметив в этом деле ничего предосудительного, по быстрому оставил Ходорковскому восемь лет из девяти. Дело было действительно срочное, потому что еще немного — и Ходорковский стал бы депутатом! На радостях, что успели, победившая братва той же ночью наслала в гостиницу, где жил канадский адвокат Ходорковского Роберт Амстердам, каких-то бойких ментов. Амстердаму этому, чтобы много не разговаривал, устроили шмон, отобрали у него паспорт и аннулировали визу. Чемодан — вокзал — Оттава! Как бишь называется страна, граждане? Не где Оттава, а где мы с вами... Не Венесуэла, часом? А впрочем, после всего, что эти добры гэбэшны молодцы уже наворотили по месту руководства — какой смысл стесняться?

Счастья вам!

01.10.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Минувшая неделя была не просто так себе неделя — в России такая бывает одна в году! Президент говорит со своим народом! Вслух, прилюдно, в прямом эфире! Причем совершенно свободно — просто подходи и спрашивай! Правда, куда подходить, хрен узнаешь заранее, потому что места выходов в эфир до последнего держали в секрете, а и узнаешь, хрен пустят — там оцепление за километр и рота «топтунов» внутри... — да и о чем спрашивать, тоже не особо фантазируй, потому что все это согласовывалось за два месяца, и в осчастливленные регионы заранее, спецпочтой, шли конверты со Старой площади. Не то что тематика вопросов — возраст и профессия спрашивающего указывались черным по белому! — чтобы, значит, случайно не огорчить надежу-гаранта какой-нибудь бестактностью. И трудились не зря.

Никаких неудобных вопросов — про политзаключенного олигарха... или там: «а откуда вы знали, кто купил ЮКОС?»... или, чур меня вообще, про Беслан — ни про чего такое спрошено у президента не было. Этих вопросов мы с вами уж подождем до Страсбурга и Гааги, а в Москве в минувший вторник все прошло как по писаному, и теле-Сережа с теле-Катей сладко обслужили Владимира Владимировича по высшему разряду, в два канала одновременно — ну, им, чай, не впервой... А на местах тем временем шла битва с темными силами, мечтавшими все-таки достать всенародно любимого президента, исподтишка, несанкционированным вопросом...

В Воркуте в минувший вторник были задержаны и избиты председатель «Движения пенсионеров за достойную старость» Нагитулла Хайдаров

и его жена Евгения Хайдарова, председатель местного отделения общества «Мемориал», попытавшиеся принять участие в телемосте с президентом Путиным. К месту проведения прямого эфира не были допущены даже оппозиционные депутаты местного совета. Как сообщают СМИ, пропуска распределял лично мэр Воркуты Игорь Шпектор.

Молодец мэр! Сам знает, кто у него в городе народ, а кто не народ. Молодец и заместитель мэра по связям с общественностью — лично выдирал плакатик из рук правозащитницы! Молодец милиция! Не стала вмешиваться, когда люди в штатском, в паре метров от них, били пожилую пару! А уж сами эти люди в штатском — просто чудо! Чета Хайдаровых должна быть благодарна эти скромным работникам ФСБ, забывшим представиться перед тем, как начать выбивать зубы и ломать руки: ведь у Хайдаровых были вопросы к президенту — насчет прав человека, достойной старости, не так ли? Ну, так они и получили ответ на эти вопросы, и более чем внятный! Если им мало, пускай скажут — воркутинские особисты еще разок разъяснят: слава богу, педагогического опыта в этих краях не занимать...

Путин: «Вернемся к этому обязательно!»

Е. Андреева: «Спасибо, Воркута!»

Гудки...

Итак, с организацией прямого эфира все было на твердую пятерку! Сам президент тоже не подкачал: три часа напролет он разделял озабоченность россиян их всевозможными проблемами, давая понять, что сам решает эти проблемы уже шестой год, но один везде успеть никак не может, хотя очень старается. Да что говорить! В прошлом году во время аналогичного эфира президент обеспечил живую елку детям Биробиджана (местные власти тогда, на радостях, распилили, вместе с той елочкой, полмиллиона бюджетных рублей); летом Путин летал на бомбардировщике, чтобы своим присутствием, как он выразился, «мобилизовать административные ресурсы» для обеспечения безопасности полетов, а в минувший вторник не утерпел и лично обеспечил водой хутор Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края, — в ответ на жалобу пенсионерки Караченцевой об отсутствии водопровода.

Путин: «Должен вам сказать, что как раз в эти дни решается вопрос о представлении кандидатур на должность губернатора Ставропольского края. Документы в отношении действующего губернатора мною подготовлены, но пока не направлены в Ставрополь и не будут направлены до тех пор, пока он эту проблему не решит».

Мороз по коже... Понимаете, чем обеспечивается работа водопровода в Кочубеевском районе? В менее развитых странах жители хутора самостоятельно дали бы пенделя местной администрации, а потом прокуратура посадила бы чиновника, своровавшего деньги, выделенные на водопровод, — и никакой президент об этом бы даже не узнал! Но у нас ни народ, ни прокуратура без президентской отмашки не шелохнутся, и Владимир Владимирович, чисто Христос, лично обеспечивает хлебами верующих в вертикаль... Надо ли говорить, что через час губернатор Черногоров доложил, что поручение президента уже выполняется, а прокуратура тут же начала проверку? Да, мощную систему построил за шесть лет Владимир Владимирович, эффек-

тивная управляемость, блин! — скоро он будет ездить по регионам и дергать за ручки унитазов, потому что без него, похоже, тут уже ничего не работает — ни Дед Мороз, ни авиация, ни губернатор Черногоров... В этих дивных обстоятельствах нечего удивляться желанию наиболее продвинутых (в сторону Туркмении) россиян оставить гаранта в Кремле навсегда.

Россиянин из «прямой линии»: «Владимир Владимирович! (...) За последнее время вы единственный руководитель, при котором страна стала стабильно развиваться. После 2008 года по-прежнему хотелось бы быть уверенным в завтрашнем дне, жить в прекрасном и стабильном обществе, иметь сильного и умного президента. И я это говорю не ради лести, таковы реалии».

Ну, кто кого будет иметь — мы президента или он нас — это еще бабушка надвое сказала... Зато теперь понятно, зачем был нужен прямой эфир. Вот за этим самым! — чтобы президент прилюдно, безо всякой цензуры, услышал, что о нем думают заранее отобранные администрацией россияне! Впрочем, на предложение провести референдум о третьем президентском сроке Путин ответил как истинный демократ.

Путин: «Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу, с тем чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы».

Скромность, скромность и еще раз скромность... На самом-то деле условия для развития страны на длительную перспективу уже имеются; по крайней мере, на минувшей неделе список потенциальных путинских преемников уже был слит в народ — через специальный бачок типа «Комсомольская правда», в интервью Стаса Белковского, большого знатока кремлевского подковерья... Там, в этом списке наследников, «молодые управленцы» один эффективнее другого! Я вам сейчас список зачту, вы только сядьте... Значит, два спикера — Грызлов с Мироновым (один с усами, другой с выхухолью, помните); потом — два прокурора, Устинов с Колесниковым (три тонны духовности на двоих, представляете, да?); засим два губернатора — тихий олигарх Хлопонин и краснодарский батька Ткачев, широко известный общественности блестящей операцией по отъему Тузлы у Украины, осуществленной во время, свободное от борьбы с евреями, армянами и турками-месхетинцами... В общем: как там сказал наш президент? —

Путин: «молодые, грамотные, эффективные управленцы».

Да! Они. Немного выбивается из этого интеллектуального ряда Дмитрий Козак, но он-то как раз от президентской перспективы немедленно, с нескрываемым ужасом, открестился... Остальные молодые-грамотные, от Устинова по Грызлова включительно, выражают молчаливую готовность к наследованию... Жалко, Иванов-оборонец из обоймы выскочил, его мозга России будет недоставать, но и остальные навалят нам демократии полные тарелки, а потом и еще добавят, а кто сам не съест, тому в пищевод ногами пропихнут...

Но вернемся к разговору президента с народом. Там были интересные повороты, особенно когда дело дошло до Чечни. Уж кто там отбирал спрашивающих, не знаю, но похоже, по шапке ему настучат...

«У меня к вам один вопрос: когда прекратятся похищения людей в Чечне? Четыре года назад у меня похитили сына, о судьбе которого ничего до

сих пор не известно. Таких, как я, в Чечне тысячи женщин. И еще вопрос: кто-нибудь понесет за это ответственность?»

Для справки: четыре года назад, когда у этой женщины пропал сын, в Чечне уже вовсю восстанавливали порядок российские ОМОНы, но вопрос об ответственности наш тонкий гарант замылил с необыкновенным искусством. Вообще, когда встает вопрос об ответственности, на нашего гаранта где сядешь, там и слезешь...

Путин: «Подчас невозможно определить даже, кто же, собственно говоря, стоит вот за этими преступлениями: или это переодетые бандиты, или это злоупотребление правоохранительных официальных органов. В любом случае мы будем продолжать работу и по поиску пропавших людей, и по выявлению тех, кто виновен в этих преступлениях».

О да! Переодетые бандиты! Но весьма хорошо переодетые — вплоть до офицерских погонов — и, главное, по-русски без акцента говорят и ездят на БТРах с номерами... Найти практически невозможно. Но выявление виновных идет постоянно — со времен работы фильтрационного лагеря в Чернокозово, откуда трупы грузовиками вывозили... Так вот прямо всех виновных тогда же нашли и наказали! И во время встречи с матерями Беслана президент тоже так тщательно все записывал — он ведь раньше ничего не знал, но теперь... О-о-о... теперь... м-да. Собственно, женщина спрашивала про своего пропавшего сына и тысячи других пропавших, но президент России не стал застревать на таких мелочах...

Путин: «Главное решение проблемы — это политическое урегулирование в Чечне с привлечением наибольшего количества людей к процессу этого урегулирования».

Не хочется вас расстраивать, Владимир Владимирович, но перспективу политического урегулирования в Чечне вы окончательно замочили в марте этого года, вместе с последним человеком, у которого там были политические убеждения. Масхадов была его фамилия. А теперь — уж извините, только вот этот вот, что сейчас... Вот, кстати, свеженькое.

По информации правозащитного центра «Мемориал», 14 сентября сотрудники силовых структур, подконтрольных Рамзану Кадырову, установили у пешеходного моста в селе Цоцин-Юрт Курчалоевского района, для всеобщего обозрения и устрашения, отрубленную человеческую голову, принадлежавшую местному боевику, застреленному во время боя в городе Аргун.

А помните, господа, с чего все начиналось, лет эдак шесть назад? Напомню. Начиналось все как раз с отрезанных голов... с их показов по нашему, уже вполне Центральному телевидению, заодно с другими ужасами чеченской жизни... Вспомнили? Суды по законам шариата... пытки... похищения... отрезанные головы... Цивилизованная Россия не могла допустить такого на своей территории! И мы начали вторую чеченскую, и положили в сырую землю новые тысячи своих и чужих, и еще десятки тысяч искалечили, но зато окончательно принесли в эти дикие края свет разума и твердую поступь закона! Сегодня, слава аллаху и Генпрокуратуре, головы людям в Чечне отрезают не какие-то отморозки-ваххабиты, как в девяносто девятом году, а сотрудники федеральных структур, подчиненные вице-премьера Чеченской республики Рамзана Кадырова! Почувствуйте разницу.

Но мы снова отвлеклись от главной темы — «прямого эфира» президента России. А он ведь еще успел поговорить с россиянами про бензин, ипотеку, стабфонд, правый руль, Курильские острова, оборонку, беспризорных детей, латвийских неграждан... Но вот про что у него никто не спросил — так это про грядущую покупку «Сибнефти». Хотя, судя по осведомленности нашего президента в прошлых нефтяных сделках, он мог бы основательно раскрыть глаза россиянам по этому вопросу. Но никто ничего не спросил — какая жалость! Ну, неинтересно россиянам — как это получается, что человек купил у государства кусок нефтянки за четверть миллиарда, которые у государства же и одолжил, а продает — за тринадцать миллиардов наличными? Причем эти тринадцать миллиардов теперь уже государство берет взаймы у западных банков, а приобретает сомнительные активы, уже один раз проданные «Сибнефтью» Ходорковскому, с плохой юридической перспективой в международных судах, до которых дело дойдет очень скоро... Вот тут бы у первого человека в государстве и спросить: что он про все это думает? И не в доле ли он тут часом, по случаю старой «семейной» дружбы с г-ном Абрамовичем, как утверждают злые языки... Но у матросов нет вопросов по этой сделке. И у учителей нет вопросов, и у шахтеров. Богатая страна, можем себе позволить!

Кстати, когда «Сибнефть» продавали в прошлый раз — «ЮКОСу» — както так удачно повернулось, что сделку суд аннулировал, а денежки Абрамович не вернул. Не знаю, этот ли случай имел в виду председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с уцелевшими представителями российского бизнеса, но в подкорке у него что-то такое, наверное, сидело...

Выступая на встрече с представителями российского бизнеса в минувший вторник в Москве, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что к судьям, которые выносят неправосудные решения по хозяйственным и экономическим спорам, будут применяться самые жесткие меры. «Три года мы ведем нещадно борьбу с этими решениями, и их становится меньше», — подчеркнул Лебедев.

Нещадная борьбы с неправосудными решениями, скажу я вам, принимает иногда очень затейливые формы. Например, недавно Высшая квалификационная коллегия судей внесла рекомендацию президенту о награждении орденами трех судей, участвовавших в деле ЮКОСа. Их заслуги перед Отечеством — трудно не согласиться — как минимум второй степени! Например, будущий орденоносец судья Гречишкин позволил налоговикам оштрафовать ЮКОС, несмотря на истечение срока давности. Собой рисковал человек (чуть позже Конституционный суд назвал его выводы «недопустимыми»), но чего не сделаешь ради Отечества... II степени.

Кстати. Раз уж мы заговорили о наградах, которые нашли героев, не будем тормозить — там список немаленький!

Президент Путин подписал указ о награждении первого вице-президента «Роснефти» Николая Борисенко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — за заслуги в развитии нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный труд.

Многолетний труд г-на Борисенко россиянам известен мало, но венец его добросовестности пришелся как раз на знаменитый аукцион по по-

купке «Юганскнефтегаза», где г-н Борисенко представлял интересы подставной матрешки по имени «Байкалфинансгруп» (помните?). Через день он передал «Юганск», практически на халяву, в чистые руки членов президентской администрации. Кто скажет, что за такую услугу жалко ордена, тот жмот и дурак.

Но если из всего вышесказанного вы сделали вывод, что президент и его администрация боятся правосудия, то вы ошибаетесь! Яркое свидетельство бесстрашия и абсолютной честности главы государства и его присных — внесение в Госдуму проекта закона «О парламентских расследованиях».

Законопроект впервые дает парламентариям право проводить официальные следственные действия и создавать комиссии по расследованию. Однако, как сообщает газета «КоммерсантЪ», функционирование подобных комиссий обставлено существенными ограничениями. Так, на одном из заключительных этапов согласования в законопроекте присутствовал перечень вопросов, которые парламентскому расследованию подлежать не должны: в частности, это деятельность президента РФ, органов судебной власти, а также следствия и органов дознания.

Ну, это другое дело! А то я уж немного волноваться начал за президентскую администрацию и Генпрокуратуру, потому что... ну, вы же понимаете... в их подвигах следственный конь еще не валялся... А кто там еще когда придет в парламент, черт его знает! Вот предусмотрительный Владимир Владимирович и объявил себя Медузой-Горгоной: обернешься в его сторону — окаменеешь. Да и мало ли в стране объектов для парламентского контроля? Пускай правда депутаты займутся коррупцией в ДЭЗах!

И напоследок вернемся к главному событию недели — «прямой линии» президента. Среди сотен тысяч звонков и сообщений для главы государства не должна затеряться эсэмэска инвалида по слуху Александра Олеговича Жученко из Свердловской области. Прося решить на государственном уровне проблему слабослышащих, Александр Олегович припас для президента аргумент огромной силы: иначе, написал он, «миллионы глухих людей никогда не узнают, о чем вы говорите сегодня, завтра, в новостях, в новогоднюю ночь». Ну что же: глухим можно посочувствовать. Особенно тем из них, кому слух нужен для того, чтобы слушать президента Путина.

Счастья вам!

08.10.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделька была вполне рядовая, неделька как неделька, — только, конечно, не у меня. У меня был дым коромыслом и куча новых ощущений из-за внезапно возникшего плана — войти ненадолго в дружную семью народных избранников. После этого друзья меня всю неделю пытали: что это со мной? Не заболел ли? Преобладали три версии: что я с дуба рухнул, что с глузда съехал и что белены объелся. А я им говорю: это все жена. Послала, как того мужика за елкой. Иди, говорит, и без мандата не возвращайся! А то, говорит, все как люди, с государственными номерами и цветомузыкой на крыше, одни, говорит, мы как буратины на красный свет останавливаемся. Так, говорит, жить нельзя! Ну, я и пошел в двести первый округ.

Впрочем, про это — молчок, иначе получится агитация. Давайте договоримся: я вам все подробно опишу месяца через два — или раньше... в общем, как только эксперимент закончится. А пока — как всегда, про Родину...

А Родина на минувшей неделе дала традиционную осеннюю отмашку для новой порции мальчиков — на исполнение их священного, мать его, долга и конституционной, туды ее в качель, обязанности. Степень его священности и ее конституционности таковы, что граждане России разбегаются от военкомов, как тараканы. Ну не хотят досужие программисты и прочие умники поколения next скрести бритвой писсуары! Отказывают Родине в самом необходимом! Многие в своем цинизме доходят до того, что желают нормально питаться и ходить в хорошей обуви и с неотбитыми почками. Вон до чего дошло! Но военкомы — люди, государственно озабоченные, притом с них самих за невыполнение осенне-весеннего плана по сбору человечины премию снимают... — короче, в нынешнем сезоне они врубили интеллект на полную катушку!

Газета «Новые Известия» пишет о новых способах охоты военкомов за теми, кто уклоняется от армии. В попытках вручить уклонистам повестку им присылают фальшивые бесплатные «билеты на поп-концерт», приглашают на «высокооплачиваемую должность», вызывают свидетелями в «прокуратуру», объявляют в «федеральный розыск» и заманивают на свидания с женщинами.

Военком, женским голосом звонящий защитнику Отечества, а потом лежащий в засаде у места свидания с повесткой на изготовку — это штука будет посильней «Фауста» Гете! Подпись в ЗАГСе, конечно, тоже может дорого обойтись человеку, но подпись на повестке — это гарантированный пропуск в неземные наслаждения! Веселая у нас страна, что и говорить... Обхохочешься. Вот, в скучной Германии и крохотном Израиле тоже имеется обязательная воинская обязанность, но почему-то военкомы не устраивают облавы на дискотеках и не звонят женскими голосами. Тут одно из двух: или России не повезло с народом — или с государством. Либо народ такой тупой, что не хочет сам себя защищать от внешней угрозы, либо государство такое тупое, что не может уберечь человека от армейского идиотизма. Потому что наша всеобщая воинская имеет отношение к чему угодно, кроме защиты Родины... Господи, кто бы защитил от нее! В начале восьмидесятых, в Забайкальском военном округе, я боролся за существование так, как никакому Дарвину не снилось. Чем только не занимался, — вот только защиты Родины не припомню. Из осмысленных действий вспоминаются онанизм и разгрузка мебели для начальника тыловой службы. А впрочем, было бы странно, если бы полковник тыловой службы носил мебель самостоятельно, когда есть я. Но черт с ними, с моими воспоминаниями, вернемся в сегодняшний день, где ширится и растет борьба государства со своим собственным, мать его, народом!

Выступая в программе «Времена» на Первом канале, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Смирнов, говоря о недопустимости многих отсрочек, в частности, заявил: «Основная масса призывников идет из села. И как же сельский учитель будет учить молодого человека, не пройдя службу в армии. Да это будет кощунственно!»

Не знаю, какие учителя обеспечивали в детстве интеллектуальное развитие будущего генерала Смирнова, но на должность главного штабного мобилизатора его хватило вполне... Вот только наружу выпускать не надо — перед людьми неловко...

Теперь от военных радостей перейдем к гражданским. Начала свою работу Общественная палата при президенте Российской Федерации. Это — новый плод «управляемой демократии» — новейшего термина, изобретенного группой российских интеллектуалов для того, чтобы не употреблять прилюдно неприятного слова «диктатура».

По словам заместителя главы президентской администрации Суркова, одной из главных функций Общественной палаты будет «контроль за всеми видами бюрократии». Закон гарантирует «общественникам» предоставление как минимум часа эфирного времени в месяц. При этом СМИ обращают внимание на полное отсутствие среди членов палаты представителей оппозиции.

Ну да. Такая старая партийная игра «собери себе народ». А то мы не помним! Комитет прикормленных ветеранов — на случай, если партия захочет поблагодарить сама себя за заботу о ветеранах, Комитет по делам молодежи — если партия решит поддержать решения партии в области молодежной политики ...Ну и так далее, вплоть до группы дрессированных евреев из Антисионистского комитета для одобрения погромов... Теперь все это залито в один флакон и называется Общественная палата. По первому свистку сбегутся и выразят мнение народа, которое до них будет своевременно доведено администрацией. С нетерпением жду часового выступления Алины Кабаевой. Сначала со скакалкой, потом с обручем. Ох, она установит контроль за бюрократией — они там уже небось занимают места посмотреть! Впрочем, это все пыльный советский пиар, а зная практический склад ума г-на Суркова и других господ из-за этой краснокирпичной стенки, можно было предположить, что они все-таки попробуют совместить приятное с полезным в современном духе...

По информации издания «Газета», одновременно с кадровыми предложениями из Кремля поступали и предложения финансовые. Как заявил «Газете» пожелавший остаться неизвестным собеседник в одной из крупных нефтяных компаний, люди, представлявшиеся кремлевскими посредниками, предлагали ему заплатить им 100 тысяч долларов за включение в список кандидатов.

Ну да чего зря время терять. Когда с криками об угрозе царю и Отечеству грохали ЮКОС, группа продвинутых либералов успела между прочим поиграть на перепадах курсов акций после тех или иных заявлений прокуратуры... А уж за право доступа к телу любимого ВВП и возможность при случае потереть с ним в кремлевском уголке вопросы нефтедобычи — грех не слупить сто косарей! Правда, к сожалению, не у всех есть эти сто тысяч, а кроме того, не у всех есть и такие крепкие нервы, чтобы разом выдержать сие скопище общественных авторитетов.

Перейдем к теме финансирования регионов. Их у нас восемьдесят девять, все разные, но за один можно быть совершенно спокойным — на него денежки найдутся всегда! Со всем федеральным размахом. Причем дальнейшая судьба этих денег, кажется, и объясняет постоянство и широту размаха...

По данным Счетной палаты, из почти шести миллиардов рублей, выделенных в этом году на реализацию федеральной программы по восстановлению Чечни, в первом полугодии было использовано немногим более двух миллиардов, причем свыше одного миллиарда было использовано неэффективно.

Ну, насчет «неэффективно» — это откуда посмотреть! Это, может, для чеченцев, второе десятилетие живущих в развалинах — неэффективно, а для отдельных господ из Дирекции по строительно-восстановительным работам, надо думать, эффективность использования средств там такая, что Рокфеллер от зависти удавится! Кстати (такой тонкий федеральный юмор): дирекция эта была создана под контролем Госстроя России специально для того, чтобы не повторилась история с двумя миллиардами долларов, сделавшими нам ручкой и ушедшими в неизвестном направлении еще в период восстановления республики после первой чеченской... Стало быть, создали дирекцию, набрали туда самых-самых честных, дали им новых бюджетных денег и — ку-ку... Как говорилось в старом еврейском анекдоте: вы будете смеяться, но Сара тоже умерла!

Но плюньте тому в глаза, кто скажет, что в Чечне не налаживается жизнь! Налаживается-налаживается, особенно вокруг Рамзана Кадырова. В октябрьском номере мужского журнала GQ опубликовано дивное интервью с этим крупным фруктом с первой ветки российской власти — не пропустите! Но о самом интервью позже, а пока — о благосостоянии простых чеченцев (вроде Рамзана и его бойцов). Там все обстоит вроде неплохо: глазам корреспондента предстало зажиточное кавказское село, состоящее из основательных краснокирпичных построек; увидела она парковку с черным «хаммером» и джипом «lexus»; на простых бойцах республиканского спецназа — иностранную камуфляжную форму с футболками Versace и ремнями Ferre и Kenzo. На запястьях командиров замечены ею были также швейцарские часы Longines, а в руках телефоны Nokia... Короче: исчезновение бюджетных миллиардов, зафиксированное давеча Счетной палатой, в родовом селе Кадыровых почему-то совсем не чувствуется... или, наоборот, чувствуется очень сильно... это как посмотреть, опять-таки...

Теперь — о самом интервью. О-о! Я вам скажу прямо: Рамзан — это голова. «Путин — красавчик. Он о Чечне думает больше, чем о любой другой республике, — заявил в интервью журналу GQ вице-премьер Чечни Кадыров. — Путина надо пожизненно президентом назначить. Власть твердая нужна. Демократия — это американские выдумки».

Ага. Ну здесь давайте по пунктам. С тем, что Путин красавчик — спорить практически невозможно, это на лице написано. Что он думает о Чечне больше, чем о любой другой республике, — тоже правда: когда у тебя чирей на заднице, о нем думаешь круглые сутки. Что Путина в связи со всем этим надо назначить президентом пожизненно — мы давно понимаем всей страной, но пока ничего не можем сделать с непреклонным желанием Владимира Владимировича соблюсти Конституцию, в крайнем случае ее перехитрить... Что власть нужна твердая — это тоже совершенно несомненно, вот только твердая, как закон, а не как гвозди, которые, по слухам, забивают под ногти узникам тюрьмы в том самом кадыровском селе Центорой, где происходило это светское интервью... Ну и, наконец, насчет того, что демократия — это

американские выдумки. Вот тут г-н Кадыров немного не в курсе. Демократию выдумали за полтора с лишним тысячелетия до открытия Америки, но когда ровесники Рамзана проходили это в школе, будущий вице-премьер отрезал в горах свои первые головы и был очень занят. Кстати, именно эта лесная школа оставила, видимо, наиболее глубокий след в его образовании...

Отвечая на вопрос корреспондента журнала GQ о мести за убитого отца, Рамзан Кадыров сказал: «Того, кого я должен был убить, я уже убил. А тех, кто за ним стоит, буду всех убивать до последнего, пока меня самого не убьют или не посадят. Я буду убивать, пока жив», — заявил вице-премьер Чеченской республики.

Ну что же: мои поздравления главе федеральной вертикали, лично отыскавшему это чудо после смерти папы-муфтия: с трудовым коллективом, кажется, сложилось... Жалко, Чикатило расстреляли сгоряча — мог бы сегодня пригодиться, как раз в Южном федеральном... С днем рождения, Владимир Владимирович, и — дальнейших успехов вам в кадровом строительстве!

Что же до Чечни в целом, то и за пределами села Центорой, где жизнь удалась окончательно, наблюдается заметная стабилизация...

«Мы констатируем поступательные процессы, а также изменение к лучшему криминогенной обстановки ситуации по борьбе с преступностью», — заявил в минувшую пятницу президент Чеченской республики Алу Алханов. «Статистика по похищениям людей за полтора года впервые пошла на рост, — уточнил далее Алханов. — Почти наполовину выросли факты грабежей. Но в целом ситуация стабильная. Правоохранительные органы успешно справляются с задачами».

Снаружи от Южного федерального стабильность тоже растет помаленьку. Стабильность эта обеспечивается напряженной, не знающей ни сна, ни отдыха работой органов правопорядка, защищающих нас от самого страшного — от адвокатов и общественных организаций...

Выемка документов была осуществлена в минувший четверг в межрегиональной общественной организации «Открытая Россия». В тот же день прошли обыски в офисе адвоката Ходорковского Антона Дреля. СМИ напоминают, что материалы о лишении адвокатского статуса Дреля и еще трех защитников экс-главы «ЮКОСа» уже направлены в соответствующие адвокатские палаты.

Насчет «Открытой России» я хотел явиться с повинной уже давно — втянули, ироды, дали денег, заставили проводить семинары. Злокозненное местечко! Компьютеризацию школ осуществляли исподтишка на деньги ЮКОСа, свободную журналистику в регионах поддерживали.... На Америку работают, агенты влияния, ежу понятно! Ежу, Леонтьеву с Дейчем и еще как минимум десяти работникам Генпрокуратуры, которые давеча учинили полномасштабный шмон с выемкой в офисе этой организации. Ну да, двадцать налоговых проверок за год ничего не дали, пришло, стало быть, время выемать их по-настоящему! Работали спецы не зря, нашли страшное: изъяли, в частности, документацию по детским домам в Перми и Барнауле, по сельским библиотекам; особенно перспективно для следствия выглядят бумаги по финансированию интерната для детей-инвалидов в Иванове... Молодцы устиновцы! Ну и, до кучи, адвокатов Ходора обшмонать без вся-

кой санкции суда — обшмонать и из профессии их выгнать, благо все схвачено по периметру, а стесняться уже поздно. Конечно, адвокатов нигде в мире не преследуют, ни в одной Гвинее еще до такого не додумались, но Россия — особая статья: мы первые в космос выбрались, первые и в преисподнюю полезем...

Для того, чтобы прокуратура могла заниматься самыми тяжелыми делами — типа деятельности «Открытой России» и мочением адвокатов Ходорковского, — ее сотрудников следует максимально разгрузить от всякой ерунды. Наверное, поэтому прокуратура Свердловской области на минувшей неделе и прекратила расследование дела об убийстве депутата Хабарова. Этот конкретный депутат, глава ОПГ «Уралмаш», перешел, говорят, дорогу по бабкам крупному местному ментовскому начальству, вследствие чего был арестован и через день найден повешенным в камере СИЗО. Причем первой официальной версией смерти Хабарова была названа сердечная недостаточность, а насчет того, что он повесился, — руководство СИЗО уточнило спустя пятнадцать минут. Теперь, после «криминалистической, химической и ряда других экспертиз», проведенных ментовскими учеными Урала, в этом деле поставлена точка. «Заключения позволяют сделать вывод, что это было самоубийство», — сообщил во вторник представитель прокуратуры. Так, стало быть, и запишем окончательно: умер, а потом повесился!

И напоследок — один частный криминальный случай на характерном общественном фоне...

В понедельник в Москве арестована Валентина Соловьева, широко известная организацией финансовой пирамиды «Властелина». Как сообщают СМИ, Соловьева отсидела пять лет и вышла на свободу условно-досрочно, после чего тут же организовала новое дело. Как и раньше, оно было связано с продажей автомобилей в Подмосковье по необычайно низким ценам. Жертвами «новой пирамиды», по данным следствия, успели стать пять тысяч человек.

Нет, сограждане, я вам скажу: умение извлекать исторические уроки — это самая наша сильная черта! Ни одни грабли не должны оставаться неиспользованными по второму и третьему разу — иначе ж мы сойдем со своего отдельного пути и потеряем самобытность! В мире нас как раз и узнают по этим фингалам на одном и том же месте... Да! Дождаться условно-досрочного освобождения крупной мошенницы — и снова понести ей деньги... Или век просидеть в нищете — и снова проголосовать за коммунистов, или лечь в ногах у группы офицеров КГБ и ждать расцвета демократических реформ... Туповато, конечно, зато самобытно...

Счастья вам!

15.10.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя был образцово-показательной, славно поработали все — и Дума, и прокуратура, и губернаторы... Для этой моей программы они славно поработали, потому что вообще-то — некоторые, на мой вкус, наработали на небольшие сроки тюремного заключения. Ну, и Нальчик, конечно. С Кавказа и начнем.

В рамках расследования теракта в Беслане в минувшую среду прошли два следственных эксперимента. В результате одного из них Генеральной прокуратурой было официально признано, что в грузовик ГАЗ-66 могут поместиться 32 человека с полной военной выкладкой, боеприпасами и взрывчаткой.

Ну да. В старом анекдоте в «запорожец» набилось восемнадцать пьяных; гаишник потом тоже проводил эксперимент, и восемнадцатый никак не влезал. Слушай, говорят ему, может, тебя с нами не было? «Меня не было? А кто вам на баяне играл?» Но это анекдот. А в реальности, в среду, в грузовик, рассчитанный на перевозку двадцати четырех человек, впихнули три десятка солдат и двух женщин сверху — все с полной выкладкой и арсеналом. Они там сидели скрючившись, друг у друга на головах, и сильно страдали. Для большей чистоты эксперимента следовало бы, конечно, дать солдатикам протрястись в таком консервированном виде часиков шесть по проселочным дорогам, как ехали в Беслан бандиты, а потом попросить их что-нибудь захватить... Но солдатиков жалко. А еще жальче будет в этом случае генерала Колесникова с присными — ведь тогда придется признать очевидное: что бандитов было не тридцать два, а больше, и что часть боевиков ждала в самом Беслане, и что, истребив совместными усилиями триста детей, наша доблестная военщина еще и упустила террористов. Но это признать, сами понимаете, никак невозможно, — вот Генпрокуратура и устраивает цирк-шапито с заранее прописанными репризами в протоколах...

А что касается второй чеченской вообще и перспектив ее окончания, то статистика — за нас... Но, по-моему, она одна.

«На территории Чечни в настоящее время действуют предположительно свыше 70 незаконных вооруженных формирований, которые насчитывают около 800 боевиков», — сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС командующий Объединенной группировкой войск генерал-полковник Еделев. СМИ в связи с этим напоминают, что, по официальным данным, численность войск в Чечне, с учетом всех силовых структур, составляет около 80 тыс. человек.

Восемьдесят тысяч против восьмисот. Стало быть, сто к одному. И вот эти восемьдесят тысяч уже шестой год ловят этих восемьсот — на куске земли, близком по размеру к суммарной жилплощади нашего генералитета... Дыхание перехватывает от такой эффективности. Древнегреческий поэт Архилох писал когда-то: «Мы догнали и убили семерых; ровно тысяча нас было». Сия битва случилась в седьмом веке до нашей эры, и уже тогда солдату Архилоху было немного неудобно за этот ратный успех... Причем следует заметить, что Архилох и его товарищи их хотя бы догнали и убили... А Шамиль Басаев десятый год продолжает княжить на Кавказе, причем уже не только в Чечне. Шалун уж отморозил Нальчик... Кстати, как там глава ФСБ генерал Патрушев? Аппетит в порядке? Просто я волнуюсь очень. Нет? Ну, тогда... (отбивка «всё хорошо, всё хорошо...»).

Основа основ армейской тактики — это умение рассказать главнокомандующему о прошедшей битве. Блеск и выучку продемонстрировали по этой части наши военачальники на прошедшей неделе.

Во время встречи с президентом России в минувший четверг первый замглавы МВД Александр Чекалин заявил, что последние пять боевиков, продолжающие сопротивление в Нальчике, будут уничтожены в течении часа.

Сообщение о том, что все закончится через час, вышло из кремлевского кабинета и пролетело по лентам информационных агентств тринадцатого числа, без четверти три. Утром четырнадцатого в Нальчике продолжали стрелять... Тут ведь что интересно? Ведь знал же генерал, что за час не уложатся, ведь не дурак же, в самом деле, но заглянул в эти серые глаза — и ляпнул. Не надо так страшно смотреть на подчиненных, Владимир Владимирович! Они вам в жизни правды не скажут... Хотя, с другой стороны, зачем вам правда? Вам же трепет нужен. Смотрите, смотрите...

Между прочим, у меня есть рабочая версия, почему наше перефинансированное до полного ожирения ФСБ проспало налет боевиков на Нальчик, как раньше проспало и налет на Назрань, и все на свете. Дело в том, что летом, как раз, наверное, в ту пору, когда бандиты планировали захват города, все силы региональных чекистов были брошены на противостояние Гарри Каспарову, совершавшему поездку по Северному Кавказу. Закрывали ему аэропорты и гостиницы, сгоняли глушилки к площадям, где он собирался встречаться с народом, организовывали подвоз и охрану метателей яиц... Короче, славно поработали бойцы невидимого фронта. Но силы же не беспредельны — вот резню и проспали. А шахматист все не унимается — теперь полетел в Кемеровскую область. Но уж кто-кто, а Каспаров у нас не пройдет!

Глава кемеровской администрации Аман Тулеев заявил, что работники бюджетной сферы будут уволены, если появятся на встрече с Каспаровым, а представители бизнеса, если окажут ему содействие в любой форме, обречены «на очень плотное знакомство с налоговой полицией». Как сообщает информационное агентство «Регнум», Роспотребнадзор и пожарная инспекция Кемерово закрыли кафе, в котором Гарри Каспаров должен был встречаться с местными журналистами. За несколько дней до приезда Каспарова в Кемерово были закрыты также все шахматные клубы, на неопределенный срок отменено областное первенство по шахматам.

Товарищ Тулеев — человек прекрасный и решительный, но не до конца последовательный. Ну, кафе закрыл... ну, течение шахматной мысли в регионе прекратил, ну, бизнес до мокрых штанов напугал... Полумеры это, уважаемый Амангельды Молдагазыевич! Настоящий восточный владыка, каковым вы, безусловно, являетесь, не должен тормозить на крутых поворотах! Берите пример с классиков! Вот хоть ваш кумир, друг физкультурников, просто расстрелял бы под такое дело местных шахматистов, и все дела. А потом расстрелял бы и шахтеров, и бизнесменов, и работников бюджетной сферы... Шире шаг, товарищ Тулеев!

Россия — вообще страна характером размашистая, под стать географии. И администрация здешняя озабочена по преимуществу вещами серьезными, требующими приложения мозга во всем его номенклатурном объеме. При этом желательно, конечно, чтобы проблема была такого глобального, а лучше философического свойства, при котором аршином общим было потом не измерить — ни результатов работы, ни расходной части финансирования... В общем, слушайте сказку про белого бычка.

Министерство регионального развития России разработало проект новой редакции концепции государственной национальной политики Рос-

сии. Как сообщил газете «Ъ» источник в межведомственной комиссии, работавшей над этим документом, в ней отражен «конец одного этапа развития общества и переход к следующему».

По мнению СМИ, главной новацией и стержневой идеей новой концепции стала мысль о «формировании единого многонационального общества» при «консолидирующей роли русского народа». Журналисты указывают, что фактически речь идет о создании очередной «новой исторической общности», которой, согласно Конституции СССР 1977 года, был советский народ.

Ну да. «Единое многонациональное...» при «консолидирующей роли русского...». Что-то действительно слышится родное. А тем, кто постарше, даже и не слышится, а прямо-таки видится. Так и встают перед глазами сладкой парочкой: первый секретарь ЦК республики из местных кадров и рядышком с ним второй секретарь — непременно русский... Да и вообще... свеженьким пахнуло ото всей этой программы, что и говорить.

Теперь о том, каким образом эту самую новую общность практикуют на местности. Буквально пара штрихов в картинку...

Вслед за другими национальными меньшинствами, проживающими в Краснодарском крае, с просьбой к властям США предоставить им статус политических беженцев обратились батумские курды. «Нынешнее положение этой части населения не может быть оценено иначе как катастрофическое», — заявил недавно по этому поводу комиссар Совета министров Евросоюза Хиль Роблес. Между тем губернатор Ткачев заявил в интервью газете «Известия», что национальной проблемы в крае «нет и не существовало», заметив при этом: «Не совсем хорошо, когда той или иной национальности становится слишком много».

Третий день — с тех пор, как прочитал в «Известиях» эту чеканную ткачевскую формулировку, — я напрягаю мозг, силясь опуститься на всю глубину губернаторского анализа. Вот что тут немного смущает меня: из «тех или иных национальностей» состоит не только население Краснодарского края, но и человечество вообще, и заявление губернатора Ткачева в этом смысле следует считать хотя и довольно кардинальным, но недостаточно ясным. Ведь есть, наверное, национальности (те или иные), которые Ткачев в виду не имел; есть, наверное, и такие, которые он имел в виду особо. Хотелось бы списочек, г-н Ткачев — ну так, просто для общего моего развития... Чего стесняться-то? Все свои. По крайней мере, вокруг вас. Но вообще-то идея не новая. Способов уменьшить народонаселение «тех или иных национальностей» человечество накопило немало, от стерилизации до концлагерей, и судя по тому, что написали в Госдепартамент США о своей жизни под Ткачевым батумские курды, губернатор движется именно в этом славном направлении. Езидам, маленькой этнической общности, за пятнадцать лет проживания в Краснодарском крае не дали даже российского гражданства... Хорошо хоть звезды на одежду не нашивают. Впрочем, там вообще хорошие традиции, с Кондратенко начиная... На иные берега — туда, где Ткачев не был бы губернатором, а сидел бы в тюрьме неподалеку от своего предшественника, — туда, за океан, уже давно валом валят из Краснодарского края армяне, евреи, турки-месхетинцы, татары... — росси-

яне, одним словом. А Ткачев все губернатор, и даже, говорят, входит в кремлевский шорт-лист на предмет наследования, и в начале третьего тысячелетия степенно рассуждает о том, что тех или иных народов не должно быть много... А Кремль, ухом не ведя на эти милые речи, разрабатывает новые концепции, с упоминанием «консолидирующей роли русского народа»... А батумские курды тем временем просят помощи у Госдепартамента США. Видимо, ближе вменяемого адресата не нашлось...

Теперь от успешно порешенного нацвопроса перейдем к российской политической жизни. Она у нас при Путине пошла вообще довольно незамысловатая, а в отдельных регионах за прошедшие годы опростились донельзя...

Кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Законодательное собрание Челябинской области вызывали в администрацию губернатора Сумина и рекомендовали им отказаться от выдвижения в списке «Яблока». Об этом информационному агентству «Регнум» сообщил заместитель председателя Челябинского регионального отделения партии Алексей Табалов. По словам Табалова, в качестве аргументов «яблочникам» предлагали то место в списке «Единой России», то прокурорскую проверку.

О! Дивная альтернатива. Либо, значит, вливайся в руководящую братву, либо тебя быстренько сделают уголовником самого. В каких-нибудь германских землях главу исполнительной власти, Сумина эдакого, просто посадили бы, пожалуй, за шантаж за решетку, ненадолго, чисто чтоб охолонул — причем дурной ихний суд даже не поинтересовался бы — правящей он партии или не правящей. Ну, неинтересно это там суду... Но у нас, слава богу, на ветвях власти — гуманизм и полное взаимопонимание, а вышеописанная уголовщина называется здесь «управляемая демократия» и неоднократно обоснована главой государства! Вроде давно пора бы всем затвердить его золотые слова и затихнуть, но нет! Не могут понять простых вещей туповатые социологи — знай ставят себе галочки в листках, а потом делают сомнительные выводы, льющие воду на мельницу врага...

Теперь — внимание! — уникальный документ. Свежий кусочек мозаики в старом панно на номенклатурные темы... Это — инструктивная телеграмма заместителя министра природных ресурсов России Александра Поволоцкого. Мне переслали ее добрые люди из министерства, пожелавшие остаться неизвестными... Сейчас я вам это исполню. Господи, дай мне силы выговорить текст с первого раза и не сдохнуть... Итак: телеграмма!

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НЕГАТИВНЫХ И КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СЧИТАТЬ ПОДОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕЕ ПЕРЕДАЧУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, А ТАКЖЕ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

А? Вам понравилось? Я в полном восторге! Физика Данилова посадили на четырнадцать лет как шпиона за то, что он рассекретил содержание учебника, но это только начало. Теперь, если вы узнали, что через час на Курилах землетрясение, а в каком-нибудь по счету Арзамасе зашкалил счетчик Гейгера, то перед тем как звонить маме на Курилы и тете в Арзамас, вы обязаны согласовать передачу этой информации с соответствующей государственной службой! Разумеется, все это бред сивой кобылы и прямо противоречит Закону «О государственной тайне», но если сивая кобыла находится в должности замминистра, то запах номенклатурного стойла начинает идти по всей стране.

Счастья вам!

11.12.2005

Здравствуйте! Это снова я, Виктор Шендерович, и мой «Плавленый сырок». Соскучились? Я — очень. Потому что последние два месяца вместо богом положенного ремесла занимался работой общественно полезной, но травматичной — выборами в Государственную думу. Эксперимент по пересадке отдельно взятого экспериментатора на Охотный Ряд закончился в прошлое воскресенье успешно для обеих сторон: я снова с вами, а Охотный Ряд — какой был, без инородного тела внутри, и в полном интеллектуальном здравии. А стране еще лучше стало: а то было там «единороссов» всего триста пять человек — теперь, слава аллаху, триста семь... Еще пару булыжничков то есть привязали к ногам россиян, плывущих с выпученными от счастья глазами по молочным рекам управляемой демократии к кисельным берегам полного единовластия... Ну, обо всем по порядку.

Для начала признаюсь: командировка в политику хорошо проветрила мою забитую алфавитом голову. Например, раньше я думал, что ежели в Конституции записано право гражданина быть избранным, то он может это дело попробовать, буквально никого не спросясь (кроме своих избирателей, разумеется). Но меня быстро просветили. Бывший мой товарищ, ныне — приятель Глеба Олеговича Павловского, предложил встретиться и при встрече передал, что, мол, пацаны из администрации президента вторую неделю находятся в недоумении: то ли я совсем не знаю понятий, то ли вообще отморозился... Я, конечно, начал выяснять у товарища, что случилось. Оказалось, что я, как последний лох, случайно «зашел на их поляну» (так мне и было сказано, дословно). Оказалось, трендеть по радио (вот как сейчас) они мне, по широте своей душевной, позволяют (я-то опять-таки думал, что это мне Конституция позволяет, но оказалось, никакая не Конституция, а именно пацаны из Кремля). Так вот, трендеть по радио мне, стало быть, пока еще разрешается, но политика — это их «поляна», и всякий, кто на эту поляну заходит, должен с ними договариваться по этим их «понятиям». Что мне и было предложено сделать, да поскорее. А чтобы я договариваться не пошел, а побежал, мне было специально разъяснено, что вообще, в принципе, в этой самой президентской администрации ко мне относятся неплохо, но в частности — там есть разные люди... В том числе такие, которым только дай устроить какую-нибудь уголовщину, по их первой специальности... Короче, весь вечер потом я был страшно благодарен бывшему

приятелю, ныне посыльному из администрации, и всю ночь потом мне снилось, что я ползу на брюхе по их «поляне» и ем с руки депутатскую пайку, и я был почти счастлив. Но под утро приснился мне совсем другой, чудный сон: приснилось, что я живу не в воровской «малине», а в демократической стране. И я подал заявление в милицию. И тут же начал узнавать о себе удивительные вещи...

Впрочем, начал я их узнавать почти сразу, как только вступил на скользкий предвыборный путь. Вместе со мной все это начали узнавать и мои избиратели, и миллионы вообще ни в чем не повинных россиян. Первым делом газеты вспомнили, что три года назад я замочил старушку. Так и называлась тогда заметка в одной желтой газете. Старушку я мочил, истинная правда — в буквальном смысле, причем дважды: прорывало трубы в старом блочно-панельном доме. Я наивно полагал, что, выплатив ущерб, имею право забыть об этой яркой странице моей биографии, но три года спустя затопленная старушка всплыла опять. Из новой статьи (она называлась «Шендерович против пенсионеров») выяснилось, что я издевался над стариками и разорил их, погубив квартиру и не заплатив ни копейки, отчего они вынуждены были продать квартиру за бесценок... Когда со стариками было покончено, настал черед моей семьи. В один прекрасный день, вместе с избирателями, я узнал, что жена моя мне изменяет, дочь моя мне не дочь, родители мои — еврейские националисты, а сам я — импотент, онанист и маньяк, причем одновременно! Друзья завидовали страшно! Позвонил Сережа Пархоменко: ты, говорит, редкий экземпляр, Шендерович, у тебя два хера! Одним ты маньяк, другим импотент. Да, говорю, евреи умеют устраиваться! Стоит ли, в свете этих моих уникальных достижений, упоминать о таких мелких деталях, как мое прислуживание у олигархов, близость к Геббельсу, безмерный цинизм, ненависть к России, сорок человек охраны, миллионное состояние, отвращение к русским женщинам, природная трусость, патологическая лживость и стремление прорваться к депутатской машине с мигалкой ценой предательства десятилетней дружбы? Я ничего не забыл, коллеги? Вас было много, но спасибо всем поименное, век не забуду! Отдельное спасибо коллеге Минкину, чей праведный гнев на меня, копившийся годами, прорвало перед самыми выборами... Он и сам понимал, что на людях такое делать неприлично, но — не дотерпел! И, конечно, главное спасибо — дружному коллективу кремлевских спонсоров, поддерживающих на должном уровне эту журналистику.

Но вернемся собственно к предвыборной кампании. Ближе к середине октября (видать, от нервного перенапряжения) у меня начались галлюцинации: повсюду начал чудиться мой соперник по выборам, г-н Говорухин. Мне казалось, что он стоит вдоль всех магистралей, семь на восемь, рядом с Лужковым, что маячит через каждые сто метров на перетяжках. Я решил спрятаться от этого дела в метро, но на эскалаторе меня настиг голос с рекламой все того же киношедевра. Надо ли говорить, что и в вагоне меня повсюду встречало лицо Станислава Сергеевича? В реальности этого, конечно, не могло быть, потому что Говорухин — светоч нравственности, а партия «Единая Россия» — вообще оплот закона, а рекламы и перетяжки, не оплаченные из предвыборного фонда, были бы этого закона грубейшим

нарушением... Вскоре я догаллюцинировался до полного бреда: мне стало чудиться, что на канале НТВ Станислава Сергеевича все время называют «великим кинорежиссером». А когда этот феллини возник в программе Познера на Первом канале как специалист по вопросам ЖКХ, — я понял, что сошел с ума окончательно! (Потому что, согласитесь, не могут же разом сойти с ума все остальные — от НТВ и Познера до Говорухина и Эрнста включительно). Чтобы точно решить вопрос о том, кто из нас все-таки сошел с ума, я и подáл иск в суд с просьбой снять эту назойливую галлюцинацию с предвыборной гонки. Правосудие разрешило мои сомнения — правда, довольно неожиданным образом...

Никулинский районный суд отказал в иске Виктора Шендеровича о снятии с избирательной гонки Станислава Говорухина, мотивируя это тем, что истец не смог доказать связи между самим кандидатом Говорухиным и рекламной кампанией его фильма «Не хлебом единым», превысившей предельно допустимые расходы, оплаченные не из избирательного фонда.

Свидетели рассказывают, что после этой формулировки я еще полчаса стоял с открытым ртом. Рот, впрочем, открылся гораздо раньше — еще когда председатель избиркома г-жа Деденева выдвинула версию о том, что рекламу говорухинского фильма могли развесить по всей Москве какие-то злоумышленники, — чтобы потом снять Станислава Сергеича с гонки. Поскольку, кроме меня, таких отчаянных людей на горизонте видно не было, всем в суде тут же стало ясно, что рекламную кампанию говорухинского фильма организовал именно я. Не пожалел, подлец, полумиллиона долларов, чтобы нагадить конкуренту! Мы поинтересовались: отчего же сам пострадавший от злоумышленника Станислав Сергеевич не подал на него в суд (ведь под угрозой было депутатство!)? Оказалось: Говорухин находится в Минске и о рекламной кампании своего фильма может ничего не знать. И знакомых в Москве у бедолаги, кроме Лужкова, надо полагать, никого, а Юрий Михайлович замучился пожимать руки «единороссам» и забыл рассказать товарищу, как против него злоумышляет конкурент... Добрый Никулинский суд, согласившийся с этой версией, не стал брать меня в железа в зале суда и отпустил восвояси. С тем же отпустил меня и суд городской... Связи между заказчиком рекламы, киностудией «Вертикаль», и художественным руководителем этой киностудии Говорухиным С.С. — мы доказать так не смогли! Можно было, конечно, пойти еще в Верховный суд, но я как заглянул в открытые глаза тамошней Фемиде — тут же решил больше эти глаза не мозолить. А то правда еще докажут, что это я тайно завесил родной город Говорухиным — да и посадят... А откупиться денег нет: все ушло на перетяжки Станиславу Сергеичу.

Да! Вы спросите: а что же мое заявление в милицию, ну вот насчет угроз? Небось бесстрашные опера за это время уже допросили половину аппарата администрации президента, а вторая сидит, трясется от страха! Ну, в общем, это не совсем так... Все дело в том, что в своем заявлении я не указал контактного телефона, только домашний адрес — поэтому милиция смогла найти меня только на второй месяц, буквально на прошлой неделе. Да! Согласитесь: найти в Москве телефон Виктора Шендеровича, имея его домашний адрес и место работы — дело практически невозможное. Особенно если ты работаешь оперуполномоченным.

Ну да ладно. Подведем итоги эксперимента. Они прекрасны! Равенство избирательных возможностей, высокий моральный уровень администрации, слаженная работа журналистского цеха, два честных суда и милиция, стоящая на защите прав граждан, — всего этого добра я огреб за два месяца столько, что едва не надорвался. То есть я, конечно, догадывался, что живу в демократической стране, но степень этого демократизма застала меня врасплох... Оклемаюсь, расскажу подробнее.

Теперь — к черту мемуаристику, вернемся к главному событию прошлой недели: выборам в Московскую городскую думу. Вошли в эту Думу три партии, хотя две из них, между нами говоря, могли бы и не входить — никто бы, кроме них, этого не заметил. Ибо «Единая Россия», в приступе народолюбия, в очередной раз покрыла все электоральное стадо практически в одиночку. Не имея ни возможности, ни уже и охоты бороться за власть, оппозиция занималась укреплением своих игрушечных домиков, и с благоволения Кремля им сопутствовал успех. К коммунистам вернулись голоса «Родины», снятой с выборов за неточное употребление слова «мусор». Коричневое временно притекло обратно к красному, от которого два года назад и утекло через дырочку в сурковском кабинете (из глины ты вышел, в глину вернешься...). А объединенные демократы, хотя вместе получили в Москве заметно меньше, чем два года назад в сумме поврозь, все-таки получат теперь возможность посидеть в Думе — сбоку, на трех стульчиках, символизируя присутствие в обществе либеральных сил. Теперь сюда и гостей из Страсбурга не стыдно привести... В общем, с победой!

Но самые большие достижения на минувших выборах — это, по традиции, достижения российской математики — впрочем, уже вполне привычные в дни выборов. Хотя, может быть, тут дело и в физике тоже, потому что одной математикой всех избиркомовских чудес не объяснить...

В пятницу, второго декабря, на Солнце произошла мощная вспышка — ее воздействие жители Земли ощутили в воскресенье, четвертого декабря. Как сообщил сайт newsru.com, именно на день выборов в московский парламент пришелся пик магнитной бури, поставивший под угрозу работу электронной аппаратуры. Сайт в этой связи напоминает, что автоматизированной системой подсчета голосов в Москве были оснащены 20% избирательных участков.

Вот! Я так и подумал. Это вспышки на солнце виноваты, например, в том, что спикер-единоросс Платонов, ночью проигрывая коммунисту Губенко, утром вышел победителем с отрывом в десять процентов. Комплексы для обработки избирательных бюллетеней — так называемые КОИБы — не вынесли магнитной бури... Хотя некоторые шибко умные скептики вместо Солнца косятся в сторону программистов, утверждая, что вышеупомянутые КОИБы имеют чудную способность считать галочки в одних клеточках чаще, чем в других...

Незадолго до Москвы выборы в парламент прошли и в Чечне. Там «Единая Россия» тоже победила за явным преимуществом, но кажется, обошлось без КОИБов — с тамошней федеральной группировкой, представляющей интересы чеченского народа, зачем напрягать какую-либо технику, кроме бронетехники? А чтобы больше вообще никто и никогда не захотел тя-

гаться с партией «Единая Россия» на этих горных просторах, республиканское отделение партии возглавил на минувшей неделе Рамзан Кадыров. Мне кажется, таким кадровым способом можно решить довольно широкий круг вопросов...

И.о. председателя правительства Рамзан Кадыров заявил агентству «Интерфакс» о необходимости расширить границы Чечни. «Вопрос наших исконных территорий волнует весь народ», — заявил он. Рамзан Кадыров отметил, что «этот вопрос будет решаться в спокойной обстановке путем консультаций с соседними регионами».

Как проходят консультации в случае возникновения спорных вопросов с Рамзаном Кадыровым, я сам не видел и вам не советую. Но головы оппонентов, уже отрезанные сотрудниками этого партийно-хозяйственного деятеля... — и выставленные напоказ в местах проведения консультаций по спорным вопросам, — убеждают меня заранее согласиться со всеми предложениями главы регионального отделения партии «Единая Россия».

Почти аналогичным образом («в спокойной обстановке, путем консультаций») происходят поиски консенсуса и в башкирском Благовещенске, где на минувшей неделе продолжались судебные слушания по делу о прошлогодней милицейской «зачистке».

Как передает из Благовещенска корреспондент ИА «Регнум», потерпевшие регулярно отказываются от претензий в адрес милиционеров, попавших на скамью подсудимых, — и только после упоминания об ответственности за дачу ложных показаний свидетельствуют, что милиционеры били их, унижали и содержали в жестоких условиях.

Ну да. Всем ведь ясно, что суд этот, в сущности, недоразумение. Сошло бы с рук, как сходит триста шестьдесят четыре дня в году, но — утекло в прессу, журналисты раскричались, Запад подключился, пришлось кинуть кость Страсбургу, будь он неладен... Вот суд и идет. Но всем же ясно, что мент — существо хотя и темное, но классово близкое, а вот гражданин, который строит тут из себя жан-жака руссо с правами человека — птица сомнительная! Ясно, что суд пройдет, а менты — останутся, и Страсбург вона где, а ты тут, и адресочек имеется... И сидит этот мент на скамье подсудимых, и смотрит на тебя таким внимательным взглядом, что сразу хочется отказаться от всех претензий.

Борьба с ментами, метелящими собственный народ (чтоб знал, кто в доме хозяин), — дело в наших краях эпизодическое, в отличие от борьбы с мировой закулисой, против иностранного влияния, за право бриться топором и пахнуть природным запахом. Этой борьбой родимая власть занята теперь круглогодично. За пару недель депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение правил регистрации некоммерческих неправительственных организаций. То есть, разумеется, в принципе никто против этих организаций ничего не имеет — ежели ты, например, фонд общественной поддержки партии «Единая Россия» или еще какая-нибудь правильная и нужная народу структура, то и живи на здоровье, но ежели ты Комитет солдатских матерей, или Комитет по правам человека, или Клуб гражданского образования, или, допустим, краснодарская организация «Матери в защиту подследственных, задержанных и осужден-

ных», или, упаси Господи, вообще Гринпис, то попробуй зарегистрироваться по новым правилам, удачи тебе! Сможешь — живи на здоровье без копейки денег, потому что возле своих сидит в засаде налоговая инспекция, а западное финансирование теперь приравнено к шпионажу.

Директор Службы внешней разведки Сергей Лебедев не исключает того, что в гуманитарных миссиях и неправительственных организациях на территории России могут работать кадровые сотрудники иностранных спецслужб. «У нас есть такие данные», — заявил Лебедев в интервью «Российской газете».

Если бы директором был я (я имею в виду: Директором службы внешней разведки), то не стал бы ограничивать полет логики неправительственными организациями. Ей-богу, кадровые работники иностранных спецслужб могут обнаружиться и в правительственных организациях, и в любом институте, и на любом заводе... В библиотеке — запросто! Я бы не исключал их существование и в ближайшей поликлинике. Поэтому поликлинику надо закрыть — вместе с библиотекой, институтом, заводом, а лучше и правительством! Вообще запереть страну на замок — и полный порядок! Вон, в Северной Корее — ни одного иностранного шпиона, все от голода умерли еще лет двадцать назад, вместе с половиной населения. Живи не хочу!

Итак, финансирование российских неправительственных организаций накрывается помаленьку ржавым федеральным тазом, чего не скажешь о финансировании начальства. В Москве руководящая жизнь уже давно вышла на уровень Куршевеля, но и на местах помаленьку начали догонять...

Расходы на содержание аппарата исполнительной власти и депутатов законодательного собрания Вологодской области планируется увеличить в будущем году в полтора раза. Как сообщает газета «Новые Известия», увеличение расходов на содержание чиновников произойдет за счет социальных статей бюджета.

Ну и правильно. Главное у нас что? — забота о людях! А уж кто в люди не выбился, пускай пеняет на себя.

И напоследок свежая информация из текущей действительности. Недавно в Москве была задержана группа мошенников, которая длительное время изготавливала, использовала и продавала в массовом порядке «документы строгой отчетности» — спецталоны, удостоверения МВД, автомобильные знаки, знаете ли, таких специальных серий, от которых у гаишников мороз по коже... В числе прочих радостей жизни на рынке московских удовольствий высоко котировались спецпропуска в Кремль, администрацию и управление делами президента России... Комплект стоил 200 тысяч долларов, но спросом пользовался — значит, надо полагать, как-то окупался комплектик... Может быть, это у меня опять галлюцинации, но кажется, у нас наконец появилось внятное объяснение многим загадкам российской внутренней и внешней политики.

Счастья вам!

17.12.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. В этом году, в первый раз за время моей жизни (да и вашей, наверное), День Конституции оказался днем рабочим. Поначалу я, честно говоря,

не придал этому особенного значения... ну, отменили красный день календаря, и ладно. Я-то, признаться, все равно работаю не по числам, а по дням недели, мне что красный, что синий в крапинку... Лишь бы рассветало. В общем, легкомысленно я отнесся к произошедшему. Но помаленьку стало выясняться, что отменили нам не выходной, а собственно Конституцию. Ну, обо всем по порядку.

Раньше мне по недомыслию казалось, что Конституция — это что-то эдакое навсегда незыблемое... пока не перепишут. Но выяснилось, что и переписывать не обязательно. Можно эдак оттолковать, туда-сюда... Короче: группа недобитых демократов со дня на день ожидала рассмотрения в Конституционном суде вопроса о законности нового порядка назначения губернаторов. Они ждали, и ухмылялись, и потирали руки, и были готовы предъявить в суде неприятный для власти прецедент: оказывается, еще в 1996 году этот же Конституционный суд называл выборы губернатора Законодательным собранием «подменой прямого волеизъявления избирателей» — и это дело запретил. То есть решение по вопросу о законности путинских новаций уже есть, и решение отрицательное! Накрывается, стало быть, лавочка с раздачей губернаторских мест из Кремля? Как бы не так.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил в минувший понедельник, что Конституционный суд может в случае необходимости «подредактировать» свои прежние выводы. «По мере развития общества правовые позиции Конституционного суда могут уточняться», — сказал Зорькин.

Ну да... «По мере развития общества» — это совсем другое дело. Это не то, что они просто поглядели Путину в глаза и наделали в мантии, тут — высокая юридическая наука, «закон движения правовых позиций»! Что и говорить, двигать правовые позиции — это нам только дай! Революционную целесообразность забыли? Это ведь только покамест у нас на дворе что-то вроде двадцать восьмого года — конец нэпа, национализация, оппозицию вывели под корень... А доразовьемся года до тридцать седьмого — будем расстреливать врагов народа как бешеных собак, и все по просьбе трудящихся, но «в строгих правилах искусства», — для чего, собственно, власти и держат под рукой дюжину дрессированных правоведов, частично уже секонд-хенд... В тридцатые на все про все обошлись Вышинским, но и сейчас на этот счет тоже имеются господа высокой квалификации. Не оскудела земля...

Вообще — в первый же непраздничный День Конституции наши нынешние хозяева крепко дали нам понять, что Основной Закон этот — не священная корова, что пришло время трактовок и движения правовых позиций на довольно большие расстояния. И кажется, многие уже готовы справляться с этой работой сами, без лишнего правоведения...

В минувший понедельник, выступая на заседании президиума фракции «Единая Россия», посвященном вопросам Конституции, один из лидеров партии Андрей Воробьев заявил: «Культивируемая в ходе реформ идеология “все, что не запрещено, — разрешено” должна уйти в прошлое. Разрешено то, что не противоречит не только закону, но и общепринятым нормам чести и морали, интересам страны и общества».

Ну вот! Заветные слова произнесены, теперь — пока никто не спохватился, следует втихую довести до ума практику... Стало быть, разрешено

должно быть только то, что «не противоречит нормам чести и морали, интересам страны и общества». Отлично! То есть мы и норму-то закона вертим как хотим — то у нас убийцы условные сроки получают, то экологи на полжизни садятся... А уж с нормами чести и морали мы тут устроим такой город Солнца, что мама не горюй! Тем более что этот руководящий «единороссный» г-н, хотя упомянул о нормах «общепринятых», но за точку отсчета берет, надо полагать, нормы чести и морали, бытующие там, у них, неподалеку от Грызлова... А это, как бы мягче сказать... в общем, не вполне францисканский монастырь. И всем, кто под их мерку не подходит, они будут делать общественно полезный секир-башка! То же с интересами страны и общества. Вот они там сейчас соберутся и решат, что в интересах страны и общества всем надо встать лицом к стене, ноги на ширине плеч... Собственно, они в Думе это уже решили много раз, отменив прямые выборы, митинги и собрания у органов власти, перекрыв возможность проведения референдума, задавив прессу... Причем все это, разумеется, в интересах страны и общества, как же иначе! М-да...

Главной приметой наших дней является, напоминаю, глубокое уважение к Конституции и к закону вообще. Отдельные запасы этого дела обнаружились во время пресс-конференции директора департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Саака Карапетяна.

Как сообщило издание «Газета», глава департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Карапетян опроверг слухи о том, что экстрадированные из Катара россияне, осужденные за убийство бывшего чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, выпущены на свободу. Однако, по словам чиновника, его ведомство не располагает сведениями о том, где именно они отбывают наказание, поскольку (цитирую) «этот вопрос решался в обход Минюста». «Они находятся там, где должны находиться», — заявил г-н Карапетян.

Ну, насчет последнего — даже не сомневаюсь. Напомню: офицеры ФСБ, приговоренные в Катаре к пожизненному заключению за убийство, были переданы России благодаря рекомендации ООН — давать заключенным право отбывать наказание «в близкой им социокультурной среде». Адвокаты напирали на православные традиции, с которыми в Катаре действительно напряженка. Год назад Родина встретила экстрадированных во Внуково красной ковровой дорожкой у трапа, с каковых пор ни в одном месте заключения найти их следов так никому и не удалось. Но в целом рекомендации ООН, безусловно, выполнены: диверсанты в настоящее время, надо думать, находятся в «близкой им социокультурной среде». Правда, ни к православию, ни к местам заключения, ни к закону это никакого отношения не имеет...

Теперь, коротко, о политической жизни в России. Пусть отсохнет язык у того, что скажет, что ее нет! Она — есть, правда, довольно специфическая...

Семеро из девяти депутатов от партии ЛДПР, получившей большинство на выборах в городскую думу в городе Волжский Волгоградской области, перешли в «Единую Россию». Как заявил секретарь Волгоградского регионального отделения «Единой России» Олег Кирсанов, это решение было принято «в результате длительных переговоров». Отвечая на вопрос,

почему в «Единую Россию» вступило только семеро из девяти, Кирсанов отметил, что еще двух представителей ЛДПР пока физически нет в городе.

Насчет этих «длительных переговоров»... В прошлой программе мы рассказывали о том, как проходят такого рода «переговоры» с оппонентами в Чечне, на примере из практики Рамзана Кадырова. Не надо вздрагивать — в городе Волжский голов не режут и на мосту через Волгу в назидание не выставляют. Пока... Тут все цивилизованно: «единороссы» просто позвали конкурентов-жириновцев поговорить, «перетереть» промеж собой перспективы тамошнего волжского бизнеса, а в этих бизнесах рыла у либерал-демократов, надо полагать, в пуху по пояс... После этих переговоров «жириновцев» и потянуло в правящую партию, — у которой, конечно, нет ни идеологии, ни яркого лидера, зато есть налоговая полиция, прокуратура и суд! Все «либералы» разом в «Единую Россию» и перешли, кроме тех двоих, которых не было в городе. Ну ничего, приедут — сориентируются...

Счастья вам!

24.12.2005

Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, год помаленьку заканчивается, политическую жизнь, и без того не чересчур теплую, заносит сверху сугробчиком — присядем же над этим бугорком со стопочкой да и помянем уходящий год, закусив это дело кусочками наших плавленых сырков...

Начнем, пожалуй, с вертикали. Она ширилась и крепла, и весь год напролет, в порядке борьбы с терроризмом, президент России назначал губернаторов. По преимуществу тех же самых дарькиных-титовых-зязиковых и назначал, но сам, лично! Чтобы знали, гады, кого благодарить за свое счастье, а не ориентировались, как лохи, на население! Потом, видать, дорогому ВВП объяснили, что запашок все-таки от этого идет совсем того... тоталитарный запашок. Потому что, например, так делают в Туркмении, а мы же типа не Туркмения... пока. И вот теперь — совсем другое дело! Теперь губернатора будет назначать партия, победившая на свободных демократических выборах! А что это будет за партия? Правильно, она... То есть, раньше победителя соревнований назначал Гражданин Начальник, а теперь решили по-честному, по-спортивному, типа fair-play: всем бегунам, кроме одного, ноги переломать и объявить начало забега. Демократия! Про такого рода новации в моей молодости была такая присказка: что пеньком об сову, что совой об пенек — все равно сове не жить...

История с Ходорковским, еще недавно финансировавшим оппозицию, а теперь шьющим варежки в Нерчинске, пожалуй, лучше прочего объясняет нарастающие успехи «Единой России» в партийном строительстве. Уже три года назад туда, поближе к власти, наперегонки, ломанули десятки министров, депутатов и губернаторов. Большинство сделали это молча — с народом за всех объяснился глава Новгородской области Михаил Прусак. Свой партийный порыв бывший демократ объяснил просто: «Некуда было деваться». Конец цитаты. Совершенно невольно г-н Прусак родил лучшую формулировку для заявления о вступлении в эту партию. Для экономии чернил я бы предложил изготовить десяток миллионов заявлений, типог-

рафским способом: «Прошу принять меня в партию «Единая Россия», потому что некуда деваться». Дата, подпись... А еще лучше — пропустить название партии. Потому что — мало ли как повернется дело, но какая-нибудь одна партия, от которой будет некуда деваться, в России будет всегда, правда? Ну вот. Короче, с номенклатурой там все сложилось уже давно, а теперь на медвежий запах в массовом порядке потянуло и бизнес.

Об очередном призыве крупных управленцев в «Единую Россию» сообщила на минувшей неделе газета «Ведомости». В партию приняты сразу несколько топ-менеджеров, в частности представители кондитерских фабрик «Рот Фронт» и «Бабаевская». По мнению Глеба Павловского, «партия "Единая Россия" таким образом дает бизнесу сигнал, что именно она дружественна предпринимательскому сообществу». Политолог называет такое решение «здоровой конкуренцией с другими партиями».

История этого кондитерского кадрового успеха легко поддается фантазии. Не бином Ньютона, технология — проще пареной репы. Пригласить на ужин топ-менеджмент, скажем, фабрики «Бабаевская», паяльник им в налоговое место вставить и, поднеся к розетке, поинтересоваться: вы не хотите ли часом вступить в нашу партию? Они хором: хотим, хотим, давно хотим, стеснялись подать заявление! Вот и выиграна здоровая конкуренция у других партий (которые без паяльника). А наутро позвонить в топ-менеджмент «Рот Фронта» и сказать: слышь, браттеллы, конкуренты ваши по кондитерской части в «Единую Россию» вступают, а вы чего-то не чешетесь... Вот мы тут, в Кремле, понять не можем: вам просто денег жалко или вы против Путина? Глядишь: топ-менеджмент «Рот Фронта» уже бежит делать первый партийный взнос. Вот тебе и вся сладкая жизнь по-новорусски. Дольче вита, бляха-муха!

Вообще-то такого рода здоровой конкуренцией могла бы заинтересоваться Генеральная прокуратура, но, видать, все руки не доходят. Тем более что глава этого органа Устинов давно облюбовал вопросы нравственности и с них буквально не встает... В январе, на расширенной коллегии Генпрокуратуры, в присутствии президента, Владимира Васильевича вообще понесло прямиком в святость. Хорошо там двери широкие, а то бы весь нимб обломал...

Устинов: «Если в обществе утрачены понятия греха и стыда, то порядок в нем может поддерживаться только полицейский... Свобода, лишенная нравственных ограничений, логично обернулась рабством плоти и гордыни...»

Знаете, я что заметил? Что чем шире у полицейского рожа, тем обычно сильнее в нем желание покрышевать заодно и духовность. А еще я заметил, что в стране, где вечером опасно выйти на улицу, а прохожие больше зэков боятся ментуры, прокуроры, как правило, обожают проповедовать. Но это так, общие наблюдения, а что касается лично г-на Устинова, то для восстановления в России понятий греха и стыда он, конечно, совершенно незаменим — ну если не как учитель, то как учебное пособие уж точно... Помимо восстановления духовности, нашему Генпрокурору с его подручными мастерами в синем удалось в отчетный период очень многое — да практически все удалось, кроме одного. Так, сущая мелочь...

Генпрокурор Устинов: «Не удалось наконец-то нам в данный момент остановить преступность...»

А впрочем, это такие пустяки, что и говорить не о чем. Прямо сказать, не для того назначали Устинова, и переназначили в апреле тоже не для того! Выборочность зрения — вот главное уникальное свойство этого нашего государева ока: то не разглядит вины государства ни в «Норд-Осте», ни в Беслане, а то вдруг свинтит человека на ровном месте — и в клетку его. В этом своем деле Генпрокурор достиг таких ослепительных вершин, что Путин — в некотором, видимо, изумлении перед успехами ихней офтальмологии — наградил его звездой Героя России. Что же до преступности, то окончательный свет на проблему пролил в феврале этого года министр МВД Нургалиев.

Рашид Нургалиев: «Основное влияние на криминальную ситуацию в России по-прежнему оказывают агрессивные силы международного террора. Сегодня их главная задача — активизировать антиконституционные процессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах западных стран».

Точно! А я-то все думал: чего это вечером на улицу без автомата стало не выйти, по Думам братки сидят и у прокуроров лица хуже, чем у зэков? А это мировая закулиса! Это она нам все это внедрила, активизирует антиконституционный процесс, изменяет позицию России в интересах западных стран — и водки паленой по ларькам насовала, чтобы мы в сознание не приходили! Спасибо Нургалиеву, открыл глаза, благодетель! В свете новых угроз с Запада, азиатский (во всех смыслах) вектор нашей внешней политики определился в уходящем году окончательно. Огромный вкус при выборе друзей снаружи Владимир Владимирович обнаруживал и раньше. Про условно-досрочные поздравления рецидивисту Януковичу мать городов русских обшутилась еще зимой, а весной, после тысячного расстрела в Ферганской долине, стало уже не до шуток: поддержал Путин и товарища Каримова. Ну, чтобы не допустить оранжевой заразы, можно, конечно, и пострелять по женщинам с БТРов, чего там. Если не стрелять да не давить, с такими темпами, как в прошлом году, скоро Путину в Евразии совсем одиноко станет. Уже сейчас-то: Лукашенко, Туркменбаши, Каримов... кошка, лошадь и свинья — вот и вся его семья... Что, впрочем, не помешало нашему умельцу походя завербовать Шредера — подсадил немецкого коллегу на газок... А мы-то все думали: чего это друг Герхард про «ЮКОС» и Чечню молчит, как в тряпочку? Ну, слава богу, все прояснилось. А то уж мы опасались: у него с головой что-то не так... Но теперь — отбивка «все хорошо, все хорошо!».

Строительство суперсовременного аквапарка стоимостью более пяти миллионов евро началось в Гудермесе в январе этого года. При большом стечении гостей в фундамент был заложен первый камень. На месте будущего здания была заложена капсула с текстом обращения к потомкам Чечни. В торжественной церемонии принимала участие Ксения Собчак.

Чтобы вы лучше поняли эти расклады: аквапарк финансируется через фонд Ахмада Кадырова и будет носить имя его сына Зелимхана Кадырова. А присматривать за пятью миллионами евро сметы будет Рамзан Кадыров. А Ксения Собчак, имени Умара Джабраилова, будет посильно участвовать

в пиаре... С пиаром у нас вообще все в порядке: Рамзан Кадыров строит аквапарк, а Михаил Лермонтов лично помогает воспитанию военного патриотизма.

По сообщению ИТАР-ТАСС, великий русский поэт Михаил Лермонтов награжден воинским знаком отличия «За службу на Кавказе». Этот знак отличия был утвержден в 2001 году приказом министра обороны РФ в признание заслуг воинов, успешно выполнивших задачи контртеррористической операции.

Что и говорить, в руководстве у нас — ребята без комплексов! Пушкина, помнится, запрягли в свое время рекламировать партию «Единая Россия»... Теперь вот Лермонтова пристегнули к контртеррористической операции... Собрались — мундиры голубые — и наградили автора стихотворения «Валерик» воинским знаком. Их самих, что ли, наградить встречным образом... от имени Михаила Юрьевича? Орденом «Немытой России» второй степени.

Теперь несколько добрых слов о текущей работе Федерального собрания. Там две палаты, весь год наперегонки, не приходя в сознание, работали на благо россиян... На самом тяжелом участке стояли стеной члены независимой парламентской комиссии по Беслану: целый год от них, как от стенки, отскакивали вещественные доказательства и многочисленные свидетельства о том, что по школе с детьми стреляли из танков и огнеметов! Но семеро смелых «единороссов», членов независимой комиссии, держали и держат оборону — и я уверен, своих не сдадут! Но и остальные депутаты дурака не валяли, а работали вовсю: укрепили нравственность, повысили себе зарплаты и льготы (уже до ста с лишним тысяч в месяц), организовали комиссию по воспитанию патриотизма, пару раз набили друг другу морду и ликвидировали возможность любого народовластия... Неудивительно, что от всего этого работники Федерального собрания довольно быстро надорвались и пошли вразнос... Ярче других выступил бывший кандидат в президенты России от партии ЛДПР товарищ Малышкин.

Депутат Малышкин: «Какие-то непонятные процессы в наших рядах происходят. Я давно говорил, что у Димка Рогозина чего-то там... — бесы были, потом драконы полетели... Сейчас у нас какое-то теневое правительство уже избирается, уже там есть император свой. Ведь это вещь заразная, Борис Вячеславович! Я сегодня ночью тоже вышел на балкон, там ворона сидит, и уже по-человечески говорит. Так что ненормальная штука какая-то, давайте что-то делать!»

М-да... Что-то делать действительно надо... Предыдущий случай разговора человека с птицей был зафиксирован полтора века назад американским орнитологом Эдгаром По. К несчастью, Эдгар По не был депутатом от ЛДПР, поэтому ему никто не поверил, думали: сочиняет. А Малышкина я бы предложил все-таки освидетельствовать по месту работы... Впрочем, кажется, одна медицинская версия уже имеется.

В октябре этого года телекомпания НТВ сообщила, что в общественных местах в Государственной думе обнаружены следы кокаина.

Ну, это называется: гармония... Народ глушит мозги беленькой, избранники народа, слава богу, в той же цветовой гамме; все зашибись... Конечно,

расслабляться кокаином не каждому по карману, но надо же куда-то девать сто тыщ в месяц, правда? Притом примите во внимание психологический стресс: тебе полтинник, ты мужик в цвете лет, а третий год жмешь, как дрессированный тюлень, на кнопки, куда скажет Сурков. В таких условиях можно работать только нанюхавшись.

И последнее. Летом социологи из «Левада-центра» провели очередной опрос — они решили выяснить у россиян, какие профессии те считают наиболее криминальными... И не сказать, чтобы россияне их удивили. Короче: наиболее криминальными профессиями, по мнению населения, у нас являются милиционеры, депутаты и министры. А бандиты и террористы идут с некоторым отставанием. Ну еще бы! Бандитов и террористов время от времени мочат, вот они и вынуждены как-то держать себя в руках. А руководящие лица от власти, данной народом, разнесло в такую харю, что никакому братку не снилось... С другой стороны, вольно же нам было их всех выбирать! Так что в некотором смысле, господа, все это довольно справедливо называется — «Единая Россия»...

Счастья вам.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

в русской периодике 2005 г.

Прошедший год правительство России ознаменовало притеснением стариков, проходившим под эгидой монетизации льгот. Однако копеечными посулами вряд ли решишь проблему, которая обретает планетарное значение: в результате существенного увеличения продолжительности жизни количество пожилого населения планеты увеличивается; ПРОЦЕСС ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ МИРА обретает глобальный характер. Третий номер «Отечественных записок» как раз посвящен старости.

Это старение мира генеральный секретарь ООН Кофи Анан назвал **«Тихой революцией»**. **М. Денисенко** использовал это выражение для названия своей статьи («ОЗ», № 3). «Тихая революция» грозит нарушить сложившийся на протяжении веков баланс между численностью отдельных поколений и возрастных групп, что неизбежно приведет к пересмотру распределения ресурсов. К середине 2050 года малочисленному и богатому «старому» Северу будет противостоять «молодая» Африка — многонаселенная и бедная. Одновременно демографическое старение поставит перед развивающимися странами те же проблемы, которые сегодня стоят перед развитыми странами, — с той лишь разницей, что развитые страны вначале стали богатыми, а потом старыми; а развивающиеся страны стареют, оставаясь бедными. В традиционном обществе центром межпоколенческих взаимоотношений была семья. В период индустриализации и урбанизации в отношения между поколениями вмешалось государство, принявшее на себя часть заботы о стариках. С развитием индустриального общества старики перестали быть группой призираемых, превратившись в полноценную и активную часть электората. В результате же демографического старения возрастает социально-экономический дисбаланс между старшей возрастной группой и молодежью. Увеличиваются расходы на социальное обеспечение пожилых за счет других возрастных групп, увеличивается налоговое бремя, уменьшаются сбережения, сокращается ресурс рабочей силы и замедляются темпы экономического роста. Требуется незамедлительное проведение политических социальных и экономических преобразований.

А. Вишневский, автор статьи **«Похвала старению»** («ОЗ», № 3), считает, что никаких оснований для беспокойства нет. Просто долгожительство из привилегии немногих превратилось в норму для большинства. И в этом смысле принцип равенства реализовался в гораздо большей степени, чем могли ожидать провозгласившие его деятели Французской революции. Кроме того, снижение смертности вполне достойный и равноценный ответ на снижение рождаемости. И вообще старение населения — это не преходящий кризис, а закономерный эволюционный процесс, неотделимый от других магистральных демографических перемен. Старение население остановить невозможно, к нему нужно приспособиться, изменив многие институты,

нормы и взгляды, которые формировались и укреплялись веками, в расчете на совершенно другую временную структуру человеческой жизни. Несомненно, придется изменить «расписание жизни», т.е. перераспределить совокупную массу потребляемых ресурсов в пользу более поздних периодов. Следует пересмотреть тезис «содержание пенсионеров осуществляется за счет тех, кто работает». Это не так. Новые поколения приходят на уже готовое, созданное их родителями и прародителями. То, что производится сегодня, — только отчасти продукт живого труда ныне работающих, в нем всегда присутствует частица овеществленного труда предыдущих поколений (дома, заводы, дороги, знания). К тому же, как и все граждане, пожилые люди могут претендовать на часть рентных доходов от эксплуатации природных ресурсов. Конечно, нужно менять пенсионную систему, но помнить, что Пенсионный фонд существует для людей, а не люди для Пенсионного фонда.

Л. Пренякова, анализируя **«Социальный, материальный и эмоциональный климат старости в России»** («ОЗ», № 3), пришла к выводу, что старательная пропаганда «культа молодости» СМИ и реальная востребованность поколений, не отягченных «советским» опытом, привели российское общество к четкому делению на две социальные группы: молодых и «остальных». Причем различия во второй группе определяются не столько характером занятий и образом жизни, сколько степенью активности. Однако эта активность не приводит, как в западном обществе, к «продлению молодости». Российские старики вовсе не молодятся, более того, люди среднего возраста все больше походят на старых. Правда, в их эмоциональном модусе почти отсутствуют позитивные состояния, обыкновенно свойственные старости: спокойствие, умиротворенность, удовлетворение. Набор эмоций, определяющий настроение людей пожилого возраста, связан не столько экзистенциальными условиями старости, сколько с социальными обстоятельствами. Неотступное ощущение беспомощности, беспокойства, тревоги вызвано отнюдь не ожиданием ухода в вечность, а злобой дня — т.е. мелочными дрязгами, спровоцированными маленькой пенсией, недоступным медицинским обслуживанием и т. д. и т. п.

О. Краснова в статье **«Порождение заблуждений: пожилые люди и старость»** («ОЗ», № 3) напоминает, что пенсионный возраст, определяемый в современном обществе законодательно, — это еще не старость, а сокращение духовной продуктивности, деградация личности и тому подобные напасти не есть неизбежные и обязательные спутники старости. Отношение к старости есть производное от экономической структуры общества, политических идеалов, социальных идей, культурного и исторического наследия. Например, «экономический» избыток стариков, созданный политикой фиксированного возрастного выхода на пенсию, может сформировать представление, что пенсионеры социально и политически лишние, и таким образом превратить их в маргиналов. Эти предрассудки и предубеждения против пожилых людей могут усиливать СМИ, массовая культура, литература, реклама. Создается негативный стереотип: старик — продукт неизбежной деградации физических, психических и социальных способностей и возможностей. Краснова считает: запугивать общество старением недопустимо. Тем, кто профессионально занимается проблемами геронтологии, необходимо

контролировать свое собственное отношение к старости, чтобы оно не сказалось на выводах и рекомендациях, — буквально взрастить в себе любовь к старикам. Нужно стремиться и к тому, чтобы молодежь освободилась от ложных стереотипов, а слово «пожилые» связывалось бы в сознании с уважением, достоинством, авторитетом.

В центре внимания **О. Синявской** наболевший вопрос **«Как повышать пенсионный возраст в России»** («ОЗ», № 3). Она анализирует все имеющиеся на этот счет мнения как «за», так и «против» и находит, что основной изъян всех доводов — их привязка к ситуации сегодняшней или, в лучшем случае, завтрашней. А между тем положение заметно ухудшится только лет через двадцать, когда, по мнению экспертов, число трудоспособного населения сократится миллионов на пять и среди оставшихся резко увеличится доля стариков. При нынешних параметрах пенсионной системы и рынка труда это значительно увеличит пенсионную нагрузку, ложащуюся на трудоспособное население, а это негативно скажется и на финансовом состоянии пенсионной системы, и на перспективах экономического развития страны в целом. То есть, как и другие страны с развитой системой пенсионного обеспечения и стареющим населением, Россия нуждается в изменении условий пенсионного обеспечения. Конечно, придется повышать границы пенсионного возраста, но... только у женщин, потому, что среди мужчин и до нынешних-то пенсионных шестидесяти доживает меньше половины. Чтобы минимизировать нравственные и экономические издержки, реформой следует охватить (и законодательно оформить) лишь тех, кому сейчас не более 40—45 лет. Молодые должны вовремя озаботиться собственным обучением и переобучением на протяжении всей трудовой деятельности, дабы не остаться не у дел, как нынешние пожилые, обладающие многими умениями, непригодными для современного производства. Это, по мнению автора, будет эффективней, нежели антидискриминационное законодательство, которое разрабатывают на Западе в рамках программы «Активная старость».

Е. Гонтмахер с давних времен по долгу службы определяет прожиточный (физиологический минимум) для несостоятельного населения вообще и стариков в частности. К очередной правительственной реформе он относится отрицательно, считая, что **«Монетизация — это мина, заложенная под будущее России»** («ОЗ», № 3). Инициаторы монетизации уверяют, что в их начинании заложен большой рыночно-демократический смысл. Деньги, мол, дают свободу выбора. Но свободный выбор невозможен, если ты живешь в нищете, и предлагать деньги нищему старику — значит, обрекать его на колоссальные муки. Наши реформаторы — люди не бедные, для них самих выбор — действительно важное завоевание последних лет, и свои установки они невольно переносят на население — на тех, кто живет совершенно по-другому. У политика, который работает с массами людей, должна быть интуиция или хотя бы простое понимание, как принимаемые им решения отзовутся на простых людях. Однако наша элита, наше правительство не знают той страны, в которой живут, они утратили чувство реальности, им не нужны ни интуиция, ни понимание, ни даже сочувствие, они полагают, что народ стерпит все, что с ним ни делай.

А. Смолькин (**«Исторические формы отношения к старости»** — «ОЗ», № 3) старость как социальную проблему считает феноменом XX века. Раньше число пожилых людей было незначительно. Еще в конце XIX века средняя продолжительность жизни составляла 47—50 лет, про Древний мир и говорить нечего, там жили по 20—30 лет. В ходе истории формы восприятия старости менялись, и Смолькин предлагает их краткий обзор. В первобытной культуре старики были хранителями знаний и религиозных традиций. Существовал особый геронтократический институт — совет старейшин. Внутрисемейная иерархия в древних обществах отличалась строгой определенностью, а забота о престарелых родителях закреплялась законодательством. Государство с момента своего появления прямо или косвенно стремилось поддержать стариков. В Новое время, когда развитие городов и разрушение общины привело в упадок систему коллективной поддержки престарелых, усилилась дискриминация по половозрастным признакам, а семье стало не по силам обеспечивать достойную старость своим нетрудоспособным членам. Главная роль в поддержке стариков постепенно полностью перешла в руки государства. Такая поддержка минимальна, и неравенство в средствах еще больше увеличило разрыв между поколениями: теперь у них разнилось всё — ценности, идеалы, образ мыслей. В результате к XVI—XVII веках старик стал восприниматься как развалина, исчерпавший себя человек, лишний рот, ненужная обуза. Столь упрощенное и прагматическое отношение к старости не удовлетворяло общество, и в XVII—XVIII веках появились социальные теории, оправдывающие старость и обосновывающие необходимость финансового призрения. Однако выплату пенсий могли себе позволить только очень богатые компании и благотворительные организации. Со временем помощь престарелым стала считаться не благотворительностью, а общественным долгом, но полная «реабилитация» старости произошла лишь во второй половине XX века, и сегодня старость понимается «как ценный для общества период жизни». В США даже перестали употреблять слово «пожилой», считая, что это «золотой возраст» — хочешь спать ложись, а хочешь песни пой.

Судя по непрекращающимся публикациям, ПРОБЛЕМА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ беспокоит российскую мысль не меньше проблемы старости. **А. Филатова** берется за нелегкое дело и пытается вычленить **«Концепт “интеллигенция” в смысловом пространстве современной русской культуры»** («Логос», № 6). По ее наблюдениям, интеллигенция — это удивительный феномен, ускользающий от определения в силу множества присутствующих в нем смысловых оттенков. И все же ядро концепта Филатовой ухватить удается: «*Интеллигенция есть субъект исторического самосознания народа, она определенная исторически и социально конкретная часть народа, взявшая на себя социальную функцию общественного самосознания от имени и во имя всего народа*». Но вместе с тем «*интеллигенция — это лишенная почвы асоциальная группа или секта отщепенцев*». Беспочвенность интеллигенции предполагает ее независимость от религиозных, политических, социальных и культурных корней. Беспочвенность в какой-то степени должна стать зароком независимости и чистоты мысли и совести, не обремененных обычаем и традицией. Явление русской интеллигенции уникально в

том смысле, что возникновение и развитие концепта «интеллигенция» придумала она сама. История интеллигенции — это результат ее литературного творчества, циркуляция мифа об особом роде людей, озабоченных поиском правды и жертвующих собой ради общего блага. Интеллигенция — «самозванка», поскольку ни народ, ни государство никакими полномочиями ее не наделяли. Самоописание интеллигенции никогда не происходит от первого лица: «я — интеллигент» звучит неприлично. Интеллигенция оказывается абсолютно неуловимой сущностью, поэтому самоопределение ее часто осуществляется апофатически (перечислением того, что она *не* есть). Интеллигенция *не есть* поддержка государству, хотя последнее часто трактуется ею как общественное благо; интеллигенция *не есть* народ, потому что постоянно «рвется» в народ, который представляет себе в образе пассивного сексуального партнера с мазохистской ориентацией; интеллигенция *не есть* «совесть народа», потому что это предполагало бы отсутствие совести у самого народа. Ключевая интеллигентская метафора «прорыв к народу» имеет смысл борьбы с сопротивлением, и у Филатовой законно возникает вопрос: уместно ли считать субъектом исторического самосознания чужеродную группу людей, не любимую, не принимаемую, не понятную народу. Вся проблема и трагедия русской интеллигенции, по мнению автора, в том, «*что самоопределяясь через разотождествление с народом она имеет глубокое убеждение, что может его облагодетельствовать*». Филатова считает, что концепт интеллигенции есть безусловное порождение идеологии эпохи Просвещения с ее верой во всемогущество человеческого разума и в возможность преобразить народ путем воспитания и образования. С угасанием этой веры в пору постмодернизма интеллигенция превращается в симулякр — ощутимый образ, отсутствующий в действительности.

В. Савчук («Инакомыслие или конформизм: нравственный выбор интеллигенции в России» — «Логос», № 6) склонен рассматривать русскую интеллигенцию как политический феномен, материализацию ложной идеи. Идейность русской интеллигенции выражалась, прежде всего, в поисках «правды жизни», причем «правда» понималась как социальная справедливость, а не как истина. Автор полагает, что русская интеллигенция как общественно значимое явление, участники которого осознают свою роль (или даже миссию), существовала чуть более полувека — с конца 60-х годов XIX до начала 20-х XX века. Ее сущность определяется убежденностью в том, что «доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего» (Некрасов), и верой в то, что способствовать счастью народа можно (и должно) лишь на путях оппозиционности, а то и прямой борьбы с властью. В то время как западные интеллектуалы (люди схожей с русскими интеллигентами социальной страты) в меру своего таланта и профессиональных навыков старательно трудились на избранном поприще, наши стремились своим творчеством способствовать «всеобщему переустройству мира». Для русской интеллигенции это был нравственный долг, неотделимый от профессиональной деятельности и приватной жизни. В российском обществе XIX века существовало как бы два «центра», влияющие на решение социальных проблем и формирование нравственного идеала. С одной стороны, это власть и церковь, с другой — интеллигенция. Чтобы считаться интеллигентом, нужно «критически мыслить» и

быть в оппозиции к правительству. Царская власть инакомыслие допускала, советская — ни в коем случае: конформизм — единственный способ уцелеть. Но конформизм противоречит природе русской интеллигенции, и она исчезает из России, растворяясь в эмиграции, превращаясь в лагерную пыль Гулага или преобразуясь в «пролетариев умственного труда».

В статье **«Интеллигенция в проекте современности»** («Логос», № 6) **В. Шкуратов** сразу определяет интеллигенцию как несостоявшееся духовное сословие России, а также как несостоявшуюся часть среднего класса. Время возникновения этого фантома он, как и предыдущий автор, относит к пореформенной поре. Интеллигенция просуществовала в общественной конфигурации России как прослойка между властью и народом между 1861 и 1917 годами, обнаруживая свою реальность не столько действием, сколько непрерывным потоком печатной продукции. Шкуратов полагает, что самое подходящее название для русской интеллигенции — «*скриптосообщество*», т.е. нечто произрастающее из субстрата письменной культуры. Интеллигентское братство иначе как в пространстве художественного воображения он и представить себе не может. Свои жреческие претензии и многозначительность интеллигенция сохраняет до тех пор, пока ее фантазии имеют возможность быть опубликованными. Революция 1917 года эту «разбухшую литературно-полемическую прослойку» со всей ее продукцией берет под жесткий контроль и частично ликвидирует. На роль светского жречества в безрелигиозном обществе русская интеллигенция не подошла, хотя кое-кого взяли в «спецы». В 1985-м — 1990-х конфигурация общества уподобляется предреволюционному десятилетию: разрастается литературно-критическая прослойка с просветительским курсом западной демократии и проектом капиталистического будущего (лавина критики, книг, прожектов, журнальный бум). Итак, русская интеллигенция существует как коллективная политико-культурная, независимая и вольнодумная мысль о самой себе и новейшей России. Мысль эта сосредоточена на решении «вечных» и «проклятых» вопросов. Сложился определенный репертуар вечных вопросов: Европа или Азия? Восток или Запад? Русь, куда ж ты несешься? Кто виноват? Что делать? Кто прав? За что? Кому у кого учиться? Вера или безверие? Думать или делать? Есть ли у русских совесть и воля? и т. д. В этих вопросах материализуется канонический образ русской интеллигенции. Шкуратов своим феноменологическим чутьем ощущает, что пришла пора гуманитариям мыслить научно и браться за составление корпуса текстов, классифицировать и интерпретировать их. Нужно преобразовать невнятные рассуждения об интеллигенции в полноценную научную процедуру и, наконец, определиться с этой интеллигенцией в проекте современности.

Коллектив авторов под руководством профессора **В. Глазычева** подготовил аналитический доклад **«Высшее образование в России»** («Логос», № 6). Исследовательский энтузиазм в данном случае вызван довольно парадоксальным обстоятельством — очевидной экономической необходимостью сократить число студентов вузов и столь же очевидной непопулярностью этой меры у населения. Комплексное исследование обнаружило, что НАШЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ перестало выполнять свои главные функции: отбор и воспроизведение элиты, к тому же оно закрепощает социальную

динамику и не содействует «социальному перемешиванию», так необходимому для цивилизованного развития российского общества. Выяснилось также, что для обеспечения качественного учебного процесса нужно от 1,5 до 3 тыс. долларов на студента за год, а бюджет предлагает от силы 0,5 тыс. По всему видно, пришло время заняться содержательным и крупномасштабным планированием высшего образования как общенациональным делом. Авторы формулируют свою концепцию реформирования образования. Цель реформирования — создание интеллектуальной элиты нового поколения, девиз — «эрудированная дееспособность». Среди предложенных новаций, например, прием в вуз в рамках бюджетной квоты на основании результатов ЕГЭ (единый государственный экзамен) или всероссийских олимпиад. Прием на коммерческой основе также допускается, но ограничивается возможностями вуза обеспечить нормативные требования учебного процесса. Образование в вузе проходит по схеме: бакалавр (промежуточное звание) — магистр (полноценный профессионал). Отчисление за неуспеваемость — на основании внутренних экзаменов, аналога выпускных ЕГЭ — даст возможность из трех поступивших довести до диплома одного. Это, по мнению наших авторов, улучшит качество обучения. Еще одна новация — отказ от мизерной стипендии на невозвратной основе, замена ее образовательными кредитами (рассрочка на 8–10 лет для бакалавра и 12–15 лет для магистра). Содержание учебных программ предлагается изменить *«в сторону поступательного сокращения узко предметного членения корпуса знаний при расширении междисциплинарных, проблемно-ориентированных учебных курсов»*. Столь же отчетливо и ясно сформулирован еще целый ряд инновационных предложений.

Внимание **А. Бикбова** приковано к ПРОБЛЕМАМ НАУКИ (**«В поисках национальной научной идеи: от научно-технического прогресса — к экономике, основанной на знаниях»** — «Логос», № 6). Плач об «упадке» и даже «смерти» советского научного порядка, существовавшего под лозунгом «ускорение научно-технического прогресса» он считает необоснованными. Сегодня под эгидой развития экономики, основанной на знании, в научной политике происходит конструктивное перераспределение сил, формируется новая система конкурирующих центров. Образовался новый баланс между Миннауки и руководством РАН. Министерство пытается подчинить академию требованиям самоокупаемости и сократить ее численность. Президиум академии стремится сохранить прежние позиции в государственной иерархии и нейтрализовать, а по возможности и ликвидировать министерство. Каждое из ведомств претендует на абсолютное преимущество, и от исхода борьбы зависит, какая модель научной организации восторжествует. Миннауки предлагает образцы «всего цивилизованного мира»: конкурсы, гранты, государственные научные приоритеты. Победа министерства повлечет за собой децентрализацию научной власти, но одновременно поставит национальную науку в зависимость от положения государства на международном рынке. РАН хочет оставить за собой право базового (а не конкурсного) финансирования, поисковых (а не коммерческих) исследований, административного (а не состязательного) распределения средств. Суть выбора модели заключается не столько в развитии

науки как таковой, сколько в производственном росте и новом государственном благосостоянии. Смысл вполне утилитарный, но украшен риторическим эвфемизмом: *«экономика, основанная на знаниях»*. Очевидный принцип «наука на службе практики» угрожает сохранности структуры РАН и ее положению центра фундаментальных исследований. Конкурсный подход к определению научных приоритетов, как хорошо известно по опыту Европы и Америки, приводит к тому, что преимущества получают не производители нового знания, а мастера по составлению заявок. Наука оказывается в руках чиновников. Механика взаимного признания ученых замещается машинерией неявных соглашений и взаимных услуг научно-бюрократической камарильи. Наш опыт коммерциализации науки пока свидетельствует о *«точечном обеспечении национальной экономической безопасности, понимаемой как удешевление и улучшение качества некоторых потребительских продуктов на внутреннем рынке по сравнению с импортными аналогами»*. Как в дальнейшем изменится баланс сил — неизвестно. Поиск национальной научной доктрины далек от завершения.

К.Иванов пробует выяснить, **«Чем мы обязаны фундаментальной науке»** с политической точки зрения («Логос», № 6). Не расшифровывая понятие «фундаментальная наука», автор статьи рассматривает символические функции этого явления в пределах общественного сознания. С этой позиции наука и ученые представляются монопольными претендентами на право знать, что такое Природа. На этом знании они и основывают прочность своих социальных позиций: если ученому дана привилегия формулировать истину о мире, почему не формулировать ее таким образом, чтобы она как можно лучше устраивала того, кто этому ученому покровительствует? Так что ученый кажется искусным мистификатором, состоящим на содержании у власть предержащего. Но ученый к тому же еще и великий опустошитель. Его проекты оставляют без бюджета целые нации, его губительные эксперименты становятся причиной экологических катастроф и уродливых мутаций. Его нездоровое любопытство и безответственная жажда эксперимента разрушают согласованность природной жизни и ставят под сомнение правомерность этических норм. Науку можно использовать как орудие для достижения политических целей и как средство для осуществления политических упований, кажущихся благими. Советские физики 1950-х, защищая значение фундаментальной науки и значимость своего статуса, утверждали: «В настоящее время самые отвлеченные вопросы науки могут неожиданно оказаться имеющими самое актуальное значение» — и ссылались на испытания ядерного оружия. Это было настолько убедительно, что они отстояли свое право на главенствующую роль в академии и она была освобождена от исследований прикладного характера. Из ее состава было выведено 7 филиалов и 50 институтов, принадлежащих главным образом отделению технических наук (более 20 тысяч ученых). Эти институты перешли в подчинение промышленным министерствам. Сама академия приняла вид учреждения, задачей которого было развитие фундаментальных исследований. Научные институты, оставшиеся в академии, самостоятельно определяли приоритетные темы исследований, не отождествляя их напрямую с производственной и государственной пользой. Во многом это поло-

жение сохранилось и до сих пор. Сегодня, при общем демократическом поветрии и популярности прагматических (конкурсных) принципов определения научных приоритетов, нельзя забывать о символическом могуществе термина «фундаментальная наука» и рассматривать это явление в отрыве от инструментальной роли, которую оно сыграло в решении серьезных политических задач.

А. Юревич и **И. Цапенко** (**«Глобализация современной российской науки»** — «Логос», № 6) выясняют, как глобализация коснулась нашей науки. Процесс этот имеет несколько составляющих. Во-первых, физическое перемещение ученых: после падения «железного занавеса» лучшие «мозги» нации неуклонно перетекают туда, где им лучше, — то есть на Запад. Вторым следствием падения «железного занавеса» можно назвать «аутсорсинг», то есть такую практику, когда российские НИИ работают на иностранных партнеров (около 10 тысяч ученых, живущих в России, работают на американские компании и 20 тысяч — на Евросоюз). Еще одно слагаемое глобализации — публикация научных материалов за рубежом (треть всех научных статей, принадлежащих россиянам, и четверть — написанных в соавторстве с зарубежными учеными). И, наконец, четвертая составляющая глобализации — это, конечно, Интернет. Сложнее обстоят дела с глобализацией содержательного контекста нашей науки. Сложности касаются в основном наук социально-гуманитарного цикла. Ученым, вскормленным марксистско-ленинской философией, социологией, психологией и проч. и трудившимся на ниве диалектического и исторического материализма, довольно трудно избавиться от своей «самобытности». Так что пока они могут реализовать себя только как посредники, трансляторы знания, произведенного на Западе, в нашу социальную практику. Тем не менее даже социально-психологический облик нашего ученого постепенно глобализируется, приближается к международным стандартам. *Гражданин Вселенной* российского происхождения в мировом научном сообществе — явление уже не уникальное, хотя пока еще и не заурядное. И еще одна специфическая черта нашей науки — так называемая *внутренняя глобализация*: постепенно выравнивается финансовое обеспечение центра и провинции, и сегодня московский профессор мало чем отличается от саратовского, — однако и тот, и другой любому наукограду России предпочтут Нью-Йорк или Париж.

Л. Гудков и **Б. Дубин** переносят наше внимание на другую не менее важную проблему: **«Своеобразие русского национализма»** («Pro et Contra», № 29). В отличие от западных версий национализма (в которых на пороге Новой истории реализовали себя освободительные энергии обновляющихся обществ), наш национализм всегда играл консервативную роль и возникал как реакция на социальные кризисы, ломки и перестройки. Суть русского национализма как идеологии можно описать в нескольких чертах: 1) убежденность в превосходстве русских над другими народами, составляющими империю; 2) горделивое осознание того, что русские суть империообразующий этнос, а потому обладает привилегиями (выбор места жительства, приоритетные места во всех государственных институтах); 3) милитаризм и геополитический экспансионизм; 4) представление об органическом единстве (тождество по крови); 5) изоляционизм, антизападничество. Обязатель-

ным условием национальной идеологии во всех вариантах было устранение всяких признаков новизны. Рассчитанная на *культурные верования масс*, она являла набор тривиальностей, зато создавала впечатление естественности, фундаментальности, то бишь народности и традиционности. Вдохновительным ресурсом русского национализма всегда были не практические действия настоящего и ближайшего будущего, а *«идеализированное пространство русской истории, музей-заповедник символических самоопределений, виртуальных добродетелей и достоинств»*. Следствием самоутешительной коллективной идентичности стала массовая бытовая ксенофобия, страх перед неизвестным, фобии нового и чужого, травматическое переживание своей исторической несостоятельности, особенно на фоне явных успехов, достигнутых другими государствами. Вспышек русского национализма насчитывается четыре — и все они пришлись на XX век. Предметом особого внимания авторов статьи становится КСЕНОФОБИЯ СЕГОДНЯШНЯЯ. Она проявляется либо в агрессивно-тревожной мобилизации социума, либо в пассивном защитно-компенсаторном комплексе этнонациональной исключительности. Данные социологических исследований опровергают широко распространенное мнение о том, что ксенофобия по преимуществу связана с ухудшением материального положения, низким статусом либо конфликтом групповых интересов. Этнонациональная напряженность, указывают Гудков и Дубин, возникает при любых формах социальных изменений и особенно при переменах социального статуса респондентов. Сегодня наибольшую силу ксенофобских реакций на социальные изменения обнаруживают группы управленцев, директорский корпус, а также бывшая «интеллигенция», ставшая сегодня, по наблюдениям авторов, основным генератором «эпигонского традиционализма» и вдохновителем поиска «большой национальной идеи». Происходит сращение ксенофобии и ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА, то есть сближение социальных низов («массы») и образованного слоя российского общества. Это указывает на деградацию элиты, на немощь образованных слоев, теряющих авторитет носителей гуманизма и просвещения, но пытающихся укрепить свои позиции, прибегая к рутинным представлениям о «крови и почве». На фоне значительного распространения ксенофобии и расизма в России авторам кажется парадоксальной крайняя малочисленность радикальных организаций нацистского толка. Минимальными показателями ксенофобии характеризуется партия, стоящая у власти («Единая Россия»): ксенофобия растет именно у тех, кто претендует на власть, а не у тех, кто властью уже обладает.

В. Шнирельман, автор статьи **«РАСИЗМ вчера и сегодня»** («Pro et Contra», № 29), подобно некоторым социологам, и расу, и этничность склонен считать выдумкой, искусственной конструкцией, чем-то вроде комплекса неполноценной идентичности. С этой точки зрения, *«раса является продуктом расизма, а не наоборот»*. Суть же расистской доктрины сводится, прежде всего, к признанию, что реально существуют группы людей, различающихся по соматическим признакам, — причем эти различия признаются существенными для судеб человечества. Расизм предполагает веру в неразрывную связь между физическим типом и моральными качествами; убежденность в расово-культурной (этнической) предопределенности индиви-

дуального поведения; приверженность идее универсальной (этноцентристской) иерархии ценностей, предопределяющей неравное положение отдельных рас, а также стремление воплотить все эти постулаты в политическую реальность. Правда, нынешние расисты стараются не упоминать о биологическом превосходстве отдельных рас, предпочитая говорить о культурном превосходстве (культура как «генетическое наследие»). Цивилизационный подход («культурная самобытность», особые формы «ментальности», «непрогрессивные формы существования» и т.п.) становится для них главным инструментом теоретизирования. В России все это получило широчайшую поддержку среди политиков, идеологов и ученых, чему Шнирельман находит множество примеров. Но больше всего автора беспокоит, что такого рода идеи начинают проникать в сферу образования, в то время как именно школа должна стать главным полем противостояния расистскому мракобесию. Здравомыслящим россиянам непременно следует противостоять превращению страны в заповедник расизма.

Г. Зверева исследует национализм на уровне риторики. В статье **«Националистический дискурс и сетевая культура»** («Pro et Contra», № 29) она анализирует основной набор слов, употребляемых в высказываниях на тему русского этнического национализма. В качестве материала для исследования используются тексты разного рода партийных, общественно-политических, персональных и анонимных сайтов Интернета, а также печатных и периодических изданий, радио и телевидения. Известно, что в политике, публицистике и массмедиа используются готовые дискурсивные формулы (клише) этнонационализма. Собственная же способность этих сфер к производству подобного рода идеологического продукта невелика. Главным источником концептуального обеспечения русского этнического национализма является интеллектуальный потенциал отечественной науки (этносоциологии, этнополитологии, этнопсихологии, историософии и историографии). По мнению Зверевой, увеличение интеллектуальной продукции националистического содержания в российской науке в последнее время вызвано исчезновением строгих критериев знания, широким использованием в исследовательской практике процедур обыденного мышления, а также настойчивым призывом власти к поиску «национальной идеи» и обоснованию мифа о «непрерывной национально-государственной истории». Зверева приводит основной корпус понятий: русские, русский народ, русская нация, русский суперэтнос, чужой, инородец, кавказец, враги (либералы-демократы, нерусские олигархи, террористы, Запад), русский коллективизм (соборность), славянская общность, русская православная общность, православная духовность, мессианская роль православия в мире, русская цивилизация, особый путь России, сильная государственная власть, российская держава, всеобщая мобилизация сил русской нации и т. п. Характерно, что, получив научный статус, этнонационалистская лексика складывается в такой контекст, в котором слово «национализм» становится синонимом патриотизма.

В. Сендеров («Общество и власть в России. История и современность» — «Новый мир», № 12) для выяснения тайных пружин истории России представляет ее политическое тело, состоящим из двух членов — общество и власть. Причем общество на всем протяжении своей жизни (начиная с Петра I)

воспринимает власть как враждебную силу. Власть, обладая неограниченным абсолютизмом, пытается навязать обществу отяготительный прогресс (в протестантской версии) и ненужную свободу. Так было при всех государях. Самодержцы России ценности европейского гуманизма восприняли всерьез и буквально, что подтверждают даже недоброжелательные наблюдатели. В самом деле, в России, по словам Александра II, все решает самодержавие: «Я так хочу». Никакой иной основы для реформистского развития у нас не было — ни общественной, ни правовой. Реформы предполагали постепенное, приближенное к реалиям России, внедрение либеральных идей в ее развитие. Свобода начинается с просвещения. Отсюда разрешение частных типографий, бесцензурный ввоз книг из-за границы, свободный выезд российских подданных за рубеж. Однако освобожденное царем общество вяло ждет дальнейших освободительных действий, из-за отсутствия поддержки реформы замедляются — и вот тут-то общество просыпается и жаждет смерти деспота. Революция, как и освободительные реформы, — тоже импортная идея, с той лишь разницей, что власть заимствует на Западе идеи либеральные, а общество — радикальные. То, что готовилось и осуществлялось властью десятилетиями, декабристы на Сенатской площади уничтожили в несколько часов. Сам же декабризм возник как общественная реакция на начало конституционной реформы. Парадокс, но факт. Чем решительней преобразования, тем яростнее реакция на них: «Почему не все и не сразу?!» А ведь кропотливые труды Николая I и приближенных создавали условия для крестьянской реформы; улучшалось университетское образование, совершенствовались бюрократические механизмы; Россия неуклонно становилась европейской страной. Общество же предавалось «сладостной ненависти» к правителям. Даже великие реформы Александра II (отмена крепостного права) были для общества лишь первым дыханием революции. Это освобождение не настоящее, звонил «Колокол» Герцена: «Гой ребята, люди русские! Припасайте петли крепкие! На дворянские шеи тонкие!» И царя-освободителя убили как раз перед подписанием указа о привлечении общественности к работе над конституцией. К концу XIX века проступает «гуннское» остервенение вообще против всякого порядка. Русское правительство создавало собственника и трудящегося, свидетельством чему — либеральное рабочее законодательство, общество же воротилось даже от понятия «собственность» и «буржуазность» и, наконец, получило то, чего хотело: «Россия слиняла в два дня» (Розанов). Большевистская Россия не имела ничего общего с европейским пониманием государства. Но и через семьдесят лет родившаяся на развалинах перестроек и гласностей свобода оказалась ненужной, враждебной и чужой тем, кого Сендеров называет обществом. В нем живы те же силы и та же ненависть к правовому курсу страны и ее властей. Наше общество жаждет не реформ, а непрощаемых преступлений власти.

И действительно, пишет **В. Кантор** (**«Между произволом и свободой. Заметки о русской ментальности»** — «Слово/Word», № 48–49), цари были единственными европейцами в России, пытавшимися цивилизовать страну. Однако она не поддавалась реформам и преобразованиям; народная стихия сопротивлялась порядкам, основой которых были разумные силы индиви-

дуального самоограничения (то есть свобода). Народ не получил этого умения в своем историческом воспитании. Именно поэтому в нашей ментальности преобладает стремление все решить силой прихоти в «единый миг», волевым начальственным приказом. Но произвол, увы, не обладает творческой силой, и работа из-под палки не выводит на европейский путь. Разгадку нашей судьбы и наших нравов Кантор ищет в истории. Правление варягов придало европейское направление русской жизни, и дальнейший «особый путь» России определялся постоянной ориентацией на Запад. Это своего рода саморегуляция культуры. В Средние века Киевская Русь действительно стала достаточно влиятельным и процветающим государством Европы, но судьба распорядилась по-своему: грянуло татаро-монгольское завоевание. «Монгольское государственное право» отучило наших предков трудиться на самих себя: вся земля, находившаяся во владычестве хана, была его собственностью. Ни о каком другом праве собственности, включая право на собственную жизнь, не могло идти речи. Отсюда, по мнению Кантора, и выросло столь своеобразное свойство нашего национального характера: равнодушие к смерти и беззаветная отвага, которая делает нас безразличными к случайностям жизни, к добру, ко злу и ко всякой истине. Но, как показывает история, любая деспотия и держится на этом равнодушии индивидуума к жизни. Итак, судьбоносное «монгольское право» было усвоено Московскою Русью и сформировало российскую ментальность. Вот ее главные черты: 1) отсутствие частной собственности, ее психологическое неприятие; 2) безграничный произвол власти, не встречающий препятствия в гражданских правах; 3) антигородская направленность российского развития (крестьянская страна), следующая из этого бедность и подавленность населения; 4) несамостоятельность Церкви, ее этатизм (зависимость от государства) и антиэкуменизм; 5) общинность не как следствие экклесиологического догмата (церковности), а как результат государственного приневоливания; 6) политический и психологический изоляционизм и паразитарное восприятие западных достижений науки и техники. Результат всего перечисленного — отсутствие самодеятельной независимости личности, этой основы развития европейской цивилизации. В нашей последующей истории меняются внешние картины, имена, костюмы персонажей, но суть остается все той же — передача своих прав власти превратила народ в рабов (и в деспотов одновременно). Цепочка проста: отречение народа от прав в пользу власти привело к бесправию, которое укрепилось и перешло в рабство под влиянием ига; рабство приучило к отсутствию законности и произволу. А произволом нельзя преодолеть рабства, можно лишь создать его новые формы. Только свободный, самодеятельный и самоорганизующийся труд, который требует выдержки и «высшей идеи», способен стать основой цивилизованной жизни.

С. Дубинин («Четвертая русская революция» — «ОЗ», № 3) полагает, годы 1991—1993-й стоят в той цепи дат, которая была открыта первой русской революцией. И в 2005 году мы с полным основанием можем отметить сто лет с начала демократической революции в Российской империи и констатировать, что исторические цели этой столетней борьбы во многом достигнуты. Так, в России укрепились конституционный строй парламен-

таризма и президентская республика. Гражданские и личные свободы провозглашены высшей целью социального государства. Власть получает легитимность только на основании прямых и всеобщих выборов с участием всех граждан страны. История ста лет русской революции вписывается в общую логику европейской цивилизации. Накопление элементов гражданского общества шло даже в советский период. Четвертая русская революция 1991—1993 годов не привела к смуте, как ожидалось, а пошла по «февральскому пути». В России возникли условия для строительства демократического общества. Правда, советская империя развалилась, но это было фактическим признанием права наций на самоопределение. В границах Российской Федерации мы получили номинальную власть президента и Верховного Совета. Они не обладали реальными инструментами принуждения. Законодательство сводилось к призывам действовать и следовать общим декларациям. Вся государственная собственность оказалась в полном распоряжении высшей администрации, «генеральных директоров». Не имея еще формальных прав собственности на основные фонды (фабрики, заводы, газеты, пароходы), они уже свободно распоряжались потоком денежных средств от продажи продукции. Таким образом, основной категорией собственников стала старая хозяйственная номенклатура. Неизвестно откуда появились и новые финансисты, которых бывшая номенклатура считала выскочками и люто ненавидела. Однако и тех, и других объединяло одно — нежелание платить налоги. Но каждая революция в Европе, включая Россию, заканчивалась так называемым *историческим компромиссом*: люди устают от перемен и приходит пора хоть как-то налаживать нормальную жизнь. Власть новой элиты становится более терпимой к «пережиткам прошлого», и оппозиция перестраивается, ориентируясь на сотрудничество с новой властью. Наша беда заключалась лишь в том, что в сложившийся «национальный консенсус» не было включено требование платить налоги, а взимание налогов абсолютно необходимо для исполнения государством всех своих функций, начиная от защиты страны от внешних врагов и кончая устранением последствий стихийных бедствий. Но и это постепенно устраивается. Итак, несмотря ни на что, экономический кризис преодолевается, рыночную экономику можно считать состоявшейся, начинается экономический рост. Однако, пишет Дубинин, все более очевидным становится факт незавершенности, «недоделанности» четвертой русской революции. Новая элита должна, наконец, найти в себе силы провести операцию «чистые руки», не разрушая демократию и не подавляя свободу и права личности. Иначе говоря, если ей удастся без диктатуры и произвола «черного кобеля отмыть добела», столетняя история русской революции завершится триумфом, если нет — жди пятой революции.

Некоторые эпизоды социального бытия **Даниил Дондурей** склонен толковать как следствия психической патологии (**«ТВ в механизме террора»** — «ОЗ», № 3). Террор, пишет он, это, в первую очередь, оружие массового психологического поражения. Террор воздействует на глубокие нравственные чувства, взламывает основные культурные табу и ценностные предписания. Цель террора — напрямую транслировать переживание катастрофических событий в повседневную жизнь, в миллионы квартир. Без ТВ террор в со-

временном обществе был бы малоэффективен. И хотя наше телевидение террористы, слава Богу, пока не захватывали, сами телевизионщики порой верно служат террору, причем без злого умысла — по одному лишь профессиональному усердию. По данным социологических опросов за октябрь 2004 года, 82% граждан в Москве, 70% в Санкт-Петербурге и 56% в среднем по России были убеждены, что теракт скоро повторится в их городе. Сотрудникам ТВ следовало бы знать, что у российского общественного сознания много разного рода болезней. Это и чувство опасности, и катастрофизм, и ощущение несправедливой обделенности, и недоверие ко всем. У нас до сих пор нет устоявшихся представлений о том, что происходит с обществом, с экономикой, каково наше будущее. Дондурей считает, что современная Россия — мировоззренчески опустошенное общество, в котором представления миллионов людей о жизни не соответствуют реальным вызовам действительности. ТВ усугубляет ситуацию — и особенно в критические моменты. Вот приблизительная идеологическая модель, которую нам предложили в дни захвата террористами школы в Беслане: «*У нас горе, но мы великая держава и способны даже на этом страшном фоне жить нормальной жизнью*», и... гонят фильм Стивена Содерберга о проблемах женской мастурбации, потом картину известного полупорнографа Тинто Брасса. На протяжении трех дней трагедии, вплоть до обращения президента к народу, никто из высших должностных лиц государства, включая министра внутренних дел, не появился на экране (для сравнения, например, — во время теракта в Мадриде испанский министр внутренних дел за два дня выступал по телевидению 14 раз, премьер-министр — три раза, и король — два). А ведь совершенно очевидно, что в течение первых минут, после того как стало известно о захвате школы, нужно было изменить весь контекст телевещания, изгнать все, что связано с развлечением. Неуместна в таких случаях и реклама, слишком навязчив криминал («Дежурная часть», «Криминальная Россия», «Честный детектив», Человек и закон», «Совершенно секретно» и т.п.), который с 1999 года стал основным ресурсом телевидения. Дондурей полагает, что в такие моменты необходимы публичные обсуждения с участием сведущих людей. Увы, «профессиональная интеллигенция», за деньги выполняющая свои обязанности и отвечающая за интерпретацию происходящего, не помогла соотечественникам преодолеть страх. А ведь именно «профессиональная интеллигенция» формирует телевизионную картинку — авторы, интерпретаторы, режиссеры, редакторы, продюсеры, топменеджеры. Во время теракта в Беслане именно они не знали, что делать.

Обзор подготовил Александр Денискин

Валерия ПУСТОВАЯ

БОЛЕВЫЕ ВИХРИ МИРА

По страницам литературно-публицистического журнала «Nota Bene»

(Иерусалим, 2004 г., № 1–5. Главный редактор Эдуард Кузнецов)

От редакции. *Собираясь познакомить наших читателей с одним из самых интересных на сегодня русскоязычных журналов мира, мы попросили молодого критика Валерию Пустовую прочесть и проанализировать годовой комплект «Nota Bene». Обзор, который она подготовила, как увидит читатель, вбирает в себя несколько тематических разделов: тут проблемы политики и философии, истории и литературы, культуры и религии,— то есть, разделенный на части, обзор этот мог бы понемногу войти во все основные рубрики нашего журнала. Однако мы решили сохранить то единство текста, которое предложено автором, поскольку именно это единство — политика, история, религия, литература — и отражает всю совокупность болевых или просто актуальных для современного Израиля — всю совокупность тем, актуальных и для мира в целом, а стало быть, и для России тем.*

И еще одно. Мы предложили сделать обзор именно Валерии Пустовой и потому, помимо прочего, что нам было интересно услышать личное мнение молодого критика, живой голос человека не так давно перешагнувшего рубеж двадцатилетия, так что мы сочли репрезентативным сохранить присущий этому тексту субъективный оттенок.

«Nota Bene» — журнал толстый, в нем три с половиной сотни страниц. И это задача не из легких — заполнить текстами 350-страничный объем, при том что художественной литературе в нем отдано от силы треть, а все остальное пространство занято публицистикой. Откуда такая роскошь — во времена, когда, по общему наблюдению, публицистическая мысль в кризисе и, если где и появляется ее сермяжный облик, так только в тиражных оперативных изданиях, так что медлительным разборчивым «толстякам» редко-редко перепадает от злобы дня. Но иерусалимский «Nota Bene» совсем не обычный «толстяк». Не русского типа, широким жестом объединяющего эстетику и этику, повесть и протест под одной обложкой. Наши «толстые» журналы по большей части все литературно-художественные. «NB» же деловито рекомендует себя литературно-публицистическим изданием. И надо сказать, на поле публицистической брани он занимает стратегически гораздо более выгодное положение, чем его российские соратники.

«NB» стоит на семи ветрах, семи холмах или на пути из варяг в греки — это как угодно. Как угодно можно обозначить это попадание журнала в магическую точку стечения болевых вихрей мировой ауры. Иерусалимский журнал на русском языке — культурологически очень выгодная позиция, вписывающая издание одновременно в контексты: европейский (ультраширокий и ультраактуальный), российский (злободневный и загадочный), израильский (болевой и выводящий в вечность). Такой набор контекстов задает

жесткий подбор тематических областей. Проблема чисто-российского публицистического издания, может быть, как раз в том, что ему надо всякий раз выдумывать некую свою специфичность, с тем чтобы она ужесточила идейную структуру номеров. В российском издании есть возможность написать слишком о многом, а это загодя обрекает журнал на *альманачную безличность*. Другое дело — «NB». Оказываясь одновременно и международным, и вписанным в русскую историю журналистики (русскоязычность ограничивает сферу его распространения), располагая возможностью глядеть на мировую сцену по-европейски, но извне европейской ложи (потому что Израиль это все-таки восток цивилизации), вдохновляясь оригинальным мироощущением израильтянина (мессианец и рационалист, антиглобалист и оппонент варварства, не христианин и не мусульманин, не раз видавший поход тех и других на Иерусалим), — словом, будучи собранием противоречий, смесью культурного и цивилизационного, самобытного и общемирового, журнал завладевает неисчерпаемыми скважинами актуальной проблематики — достаточно, впрочем, узкими, чтобы придать ему оформленность и структурность.

В «Nota Bene» представлены русская, еврейская, европейская, американская точки зрения на события и тенденции мирового значения. Но полемика возникает не только на границе культур — каждый из авторов журнала словно представляет собственное культурное пространство и высказывается, нисколько не считаясь с мнением остальных. Таким образом, искомое *лицо* «NB» обнаруживается не в позиции самого журнала, а в его положении открытой площадки для самых разных позиций. Именно межкультурность, полувписанность в ключевые культурные контексты мира определяет идейное гостеприимство журнала. Он оказывается причастен Европейскому Союзу и России, Израилю и США, глобальному и местному, актуальному и древнему — и в то же время всегда остается как бы в стороне: не ангажированным ни одним из контекстов, свободным от обязаловки официальных оценок и принятых толкований.

Как уже говорилось, не распасться на листки альманаха, сохранить некое проблематическое «лицо» журналу помогает заданная его межкультурным положением определенность тем для высказывания.

Центральное место в журнале занимает обсуждение судьбы европейской цивилизации. Философски осмысляемое противостояние Европы и мусульманского мира получает продолжение в более прагматичных выступлениях насчет конфликта Израиля и Палестины, то вписываемого в общий контекст борьбы цивилизаций, то выписываемого из него в ранг локальной потасовки из-за благ земных.

Тема судьбы еврейского народа выводит авторов журнала на разговор об антисемитизме, а значит, нетерпимости, что в свою очередь связывает тему еврейства с разговором о ценностях европейской либеральной цивилизации.

Наднациональные, «глобальные» темы искусства и литературы отражены в искусствоведческих публикациях журнала, контекст которого придает анализируемым произведениям международную значимость.

«Домашняя» тема судьбы Израиля как государства вовсе не так далека от возможного русского читателя, как нам может показаться в России. В конце концов, не раз бывало замечено, что между этими — иудейским и

православным — народами есть немало общего. «Какая разница, что здесь (в Израиле. — *В.П.*) нет казаков и снега, зато здесь есть арабы и песок, а это в точности одно и то же»[1]! Шутки шутками, но, в контексте мировой склонности к политкорректному однообразию, скепсису и потребительству, руссийство и еврейство сходным образом выделяются мессианскими надеждами, более мистическим, чем функциональным взглядом на государство, утверждением своей вроде как избранности и культурной самости.

Наконец, в отдельное подразделение выделим ряд материалов о VIP-деятелях культуры и истории, главным образом — российской. Такие тексты создают своеобразную иерархию знаменитостей и трактуют опыт веков — в лицах.

Открытость журнала для внутренней полемики отражена и в названиях постоянных рубрик: «Неявные смыслы», «Иной ракурс», «Далекое близкое» (пересмотр истории) и — многообещающе — «Против течения». Включенность журнала в разные культурные контексты подчеркнута в рубриках типа «Запад — Восток» и «Израиль — Россия». Из обзорных рубрик отметим «Press-review» (концептуальный, полемический, аналитический обзор прессы — отдельных статей в израильских, американских, российских изданиях) и «Круглый стол» (в прочитанных нами номерах это обсуждение проблем Израиля и еврейства значимыми специалистами, в виде оформленных в законченные эссе реплик).

Помимо «оригинальных», в смысле написанных для «NB», материалов культурологов, полковников и библеистов, юристов и главных редакторов, профессоров и директоров, востоковедов и филологов, а также уймы писателей разных амплуа, от эссеистов до романистов, журнал наполняют перепечатки из других изданий («Континента», «Октября», «Невы», интернет-журнала «Топос»), помещенные в рубрике «Выбранные места... *(дайджест)*», и публикации отрывков из злободневных монографий (которые, таким образом, получают «вторую» жизнь, международную актуальность).

СМЕРТЬ ЗАПАДУ?

Шпенглер вовсе не шутил, провозглашая закат Европы. Сегодня этот закат остро ощущают многие. В книге под названием «Смерть Запада» Патрик Бьюкенен указывает на внутреннее ***разложение западного мира***: вседозволенность и потребительство подрывают, а иммигранты в Европу и Америку — попирают основы цивилизации, не желая ассимилироваться с носителями местной культуры (рубрика **«Press-review»**, автор не указан, № 3). Невостребованность на Западе «духовного измерения человеческого существования» — предмет размышлений **Михаила Блюменкранца («Общество мертвых велосипедистов»**, № 5), пишущего о деконструкции-смерти всех источников духовного авторитета: Бога, Автора, Читателя и, наконец, самого Деконструктора. На опустевшее свято место претендует «извращенная демоническая духовность» фундаменталистов и национал-патриотов Востока, выученных почитать всякую волю — от Аллаховой во вселенной до, скажем, мужской в отдельной семье.

---

[1] *Меир Шалев.* «В доме своем в пустыне»: Роман //NB. 2004. №1.

Биологическая и духовная сомнительность цивилизационной прогрессивности, угроза исчезновения «европейскости» из спектра культурных типажей человечества беспокоит не только саму Европу. Ведь вместе с этой цивилизацией стали бы архаичными и ее ценности: рационализм, гуманность, свобода, индивидуализм.

◆ **Рационализм: искушение «грезой»**

В кризисе рационализма авторы «NB» видят главную «закатную» тенденцию европейской цивилизации. Прагматизм и либерализм из принципов мировоззрения вырождаются в «правила поведения» — соответственно, в *«а что мне это даст?»* и в *«ни во что не вмешивайся»*. **Эдуард Бормашенко («Серым по серому»,** № 1) объясняет это ***вырождением рационализма***, т.е. философской основы прагматического и либерального мировоззрения. Забавно, что статья уязвима и слаба как раз в рациональном, логическом смысле. Тезисы автора свободно разбредаются по разным тематическим углам, так что от гимна рационализму Бормашенко переходит к уверениям в том, что Аристотель вовсе не скучный философ, и подытоживает всю логическую конструкцию главным своим тезисом: «За тонкую структуру бытия приходится бороться». Жаль, что такое красивое финальное воззвание в остальном тексте не выделено и не главенствует. По существу же вопроса замечу, что приверженность рациональному — тоже фанатизм. Нервическое желание скрыть от себя все неподопытное. На деле же, требуя такого устроения мира, «чтобы Его (Божье. — *В.П.*) присутствие было для нас доказуемо», и упиваясь тезисом о сложности мира, необходимости его рационального разделения на логически операциональные элементы, Бормашенко только добивает цивилизацию рациональности. Его текст в очередной раз показывает, что разум бессилен в области веры и откровения, что ratio доступна аналитическая элементность мира, но не его грандиозная цельность.

Рационализм против «грезы» — так поставлена проблема развития западной цивилизации во многих публикациях журнала. Эта оппозиция вписана либо внутрь самой цивилизации, либо в ее внешнюю политику.

В материале **«Конфликт цивилизаций — но каких?»** (рубрика **«Press-review»**, автор не указан, № 3) рассказывается о статье политолога Майкла Линда, который пишет, что в новом веке будет актуальна борьба не цивилизаций, но типов их внутри одной цивилизации — западной. Борьба секулярного и религиозного типов развития. Линд играет белыми — выставляет гуманизм, рационализм и романтизм против черных шашек иудаизма, христианства и ислама.

Александр Мелихов опрокидывает доску Линда и предлагает обеим сторонам договориться полюбовно (**«Состязание технологий и грез»**, № 2), напоминая, что «смертоносен всякий монокульт». Ведь «либеральная утопия» так же ограниченна и так же обречена, как и утопия тоталитарная. Современная внутренняя политика не умеет создавать «идеализированный образ» страны, однако ***в борьбе за выживание побеждает*** не технология, а ***«греза» нации***. И главной, трудноразрешимой проблемой России Мелихов считает отсутствие безопасной «коллективной грезы» — то есть обще-

признанного воодушевляющего образа страны. Чтобы сделать коллективное безопасным, а общее — не тоталитарным, автор предлагает создать внутренне противоречивую систему «грез», в которой каждая социальная группа могла бы найти воодушевляющий ее аспект: «Это работа скорее для художников, чем для идеологов». И тут Мелихов вводит понятие *национальной аристократии*, нагружая его, однако, особенным смыслом. Аристократы — те, кто готовы жертвовать нуждами сегодняшнего дня ради того, что понадобится лишь будущим поколениям, жертвовать полезным — во имя отдаленного и прекрасного, наглядным — во имя незримого. Только так станут осуществимы длительные стратегии общественного развития.

Мелихову возражает **Алек Эпштейн**: интеллигенцию следует держать подальше от революции, власти, политики (**«В лабиринтах иллюзий. Деятели культуры и борьба за облик государства Израиль»**, № 2). Эпштейна смущает в интеллектуалах как раз то, что привлекает Мелихова: способность увлечься построением иллюзии. Культура используется «в качестве инструмента для насаждения определенной мифологии», которая служит «моральным обоснованием того или иного режима». И разочарование интеллигенции в рациональности ведет к избыточной, тоталитарной *грёзовости* политического строя. Всеохватный миф привлекает интеллектуалов, поскольку соответствует образности и метафоричности их мышления, а также утешает их, уставших от поисков идеала. Итог статьи: радикальные идеологии имели все шансы укорениться в Израиле, но именно ***удаленность интеллектуалов от власти обеспечило стране победу демократической формы правления***. Так что сейчас, по прошествии значительного времени, кажется, что в «этом отсутствии влияния и состоял едва ли не основной вклад интеллектуалов в формирование облика Государства Израиль».

Уязвимость «либеральной утопии» становится предметом размышления **Наума Коржавина** (**«Свобода за границами своей применимости»**, № 2). В его статье, перепечатанной из «Континента» (№ 117), речь идет о том, что ***ценности современной цивилизации*** абсолютизируются и такая абсолютизация ведет к их извращению — вплоть до полной компрометации. Толерантность, обернувшаяся равнодушием к истине... Наука — как индустрия знаний, с поточным производством не мыслителей — специалистов... Законность — как логическое извращение правды во имя исполнения юридической буквы. Общество, основанное на таких принципах, беззащитно перед людьми с более жесткими устоями, не принимающими правил игры в либерализм. Почему в США можно заставлять всех поступающих в университет прочесть Коран, а вот вывешивать в школах «Десять заповедей» нельзя, чтобы иноверцы не обиделись? «Видимо, по мнению либералов, обижать можно только христиан, то есть абсолютное большинство американского населения. Способствует ли это устойчивости?» В самом деле, пишет Коржавин, либерализм сейчас модно и неверно трактуется как некая сама-в-себе идеология, тогда как это только принцип идеологической политики. Либеральным может быть строй с любым идейным наполнением. Западничество и славянолюбство, христианство и ислам, рационализм и религиозность — все это может быть осуществлено в рамках как либерализма, так и тоталитаризма. Но сам по себе либерализм не может занять место ни одной из подобных идей. Всеприемле-

мость в таком случае обернется бесхребетностью, свобода выбора — беспределом, плюрализм — утратой представления об истине.

Американский журналист Пол Берман, автор книги «Террор и либерализм» посвящает свой труд серьезному разбору ***«философии» исламского террора*** (об этой книге идет речь в рубрике **«Press-review»**, автор не указан, № 2). Попытка доказать, что террористы — не космические пираты, а такая вот марсианская, но все-таки тоже цивилизация приводит Бермана к анализу учения Кутба. Саид Кутб — один из лидеров египетской фундаменталистской организации «Мусульманские братья», выступавшей за освобождение Египта от западного колониализма[2]. Изложение учения Кутба похоже на философский конспект славянофильской мысли (наглядный пример того, как схожие и в основе справедливые идеи могут решаться в тоталитарно-террористическом ключе), только главным исказителем человечества у Кутба выступает не Древняя Греция, а Иерусалим: евреи, мол, слишком увлеклись Законом, исполнением жестких правил в ущерб духовному. Напротив, христиане, в пылу спора с иудеями, слишком увлеклись духовным путем, в ущерб исполнению Законов. Разрыв между Законом и Духом породил в европейской цивилизации разрыв между культурой секулярной и сакральной. И тут на счастье — ислам, который гармонизирует человечество, залечивая этот разрыв. Ислам подрывает претензию евреев на единоличное владение Откровением, и потому-то евреи — главное орудие Запада в борьбе с исламом. Пол Берман хочет нас убедить в том, что террористы бьются за человеческую душу: «У этих людей есть своя философия, во имя которой они готовы на смерть. Эта философия поднимает глубокие и важные проблемы бытия. Может ли Запад противопоставить им равную заинтересованность в этих серьезных проблемах? Философию Саида Кутба можно одолеть лишь на философском же уровне, в противном случае Запад может выиграть сражение, но проиграть войну». В чем, в чем, а тут Берман прав: ***давайте сражаться на философском уровне***. От души поддерживаю! Главное, что в этом случае каждый (народ и человек) будет биться за спасение собственной души, а не начинять чужую взрывчатым веществом.

Неспособность Запада бороться на философском поле не без самолюбования демонстрирует статья о Христе трех мудрых книжников — **Майкла Бежана**, **Ричарда Лея** и **Генри Линкольна** (**«Царь, который никогда не правил»**, № 3). Философская беспомощность, излишня политизированность и буквалистичность мышления никак не красят статью. В Откровении авторам важны всякие несостыковки и недоговорки — то обстоятельство, что Евангелия противоречат друг другу. Вот у Марка Иисус — это сын бедного плотника, а у Матфея — выходец из аристократической «библейской» семьи. Соавторы уверены, что это неразрешимое противоречие, а потому «Евангелия не могут считаться истиной в последней инстанции» — и сами фабрикуют поистине детективную историю: секта карпократов, тайное письмо епископа Климента, сокрытое учение... А заодно и разбирают ***евангельскую***

[2] Идеологические корни «Аль-Каеды» восходят к учению Кутба по двум линиям. У Кутба имелся брат, профессор исламских наук, одним из учеников которого был Усама Бин-Ладен. Главным же идеологом «Аль-Каеды» стал один из учеников самого Кутба.

проблематику в духе незамысловатой ***политологии***, суть дела проста: апостол Марк не мог свалить вину за смерть Иисуса на римлян — и изобразил виновными иудеев (так что это именно он виновник последовавшего антисемитизма). Зато благодаря этой хитрости Марка «удалось сохраниться как самой церкви, так и христианским святым писаниям». И, конечно, трем соавторам не дает покоя половой вопрос: женился Он или не женился? Ведь, согласно еврейской традиции, каждый обязан был жениться — безбрачие осуждалось. Приведя это соображение, авторы считают тезис о женатости доказанным и приступают к свободному рассуждению: на ком? Понятное дело — на Марии Магдалине, она же сестра Марфы и Лазаря. Кстати, Лазарь не умирал — это был просто обряд посвящения в тайное общество, которого не знали Марфа и Мария. И вообще Лазарь — это Иоанн. Он был «доверенным лицом и своего рода тайным агентом». Иисус же — маг, в проповедях использовавший иносказания, чтобы придать словам мистический смысл. Брак Иисуса и Марии — политический альянс представителей двух значимых династий. Казнь была срежиссирована, Мария же бежала, унося в своем чреве священного потомка... Текст заставляет задуматься: почему многие исследователи так любят политический дискурс? Потому, очевидно, что в политике все внешне, все ясно, все на поверхности и имеют значение только простые человеческие чувства — зависть, жадность, жестокость. А еще благодаря (вопреки) этой публикации осознаешь, что Евангелия как откровение и даже как миф гораздо более вдохновляющи, нежели их пересказ в политическом смысле.

◆ **Религия мыла душистого и леса пушистого**

Пока недальновидные доламывают остовы старых «грез», ушлые идеологи готовятся водрузить на их место грезы совсем новые, небывалые. ***Здоровизм и экологизм, гигиена*** вне и внутри нас. Этим принципам как основам нового религиозного сознания Запада посвящены три публикации журнала.

Питер Марш («Вредные привычки», № 2) предупреждает, чем чревата характерная для современного западного общества озабоченность вопросами диеты, здоровья и правильного образа жизни. Воинствующий экологизм-диетизм Марш рассматривает как новый фашизм. Общенациональные попытки запретить «вредное» для организма и природы — это нечто напоминающее времена нацизма. Авторитарное правительство, вооружившись поддержкой медиков, внушает человеку «вину» за его болезни. А между тем, считает Марш, каждый имеет право на риск, и «вредные привычки» на самом деле нас только *очеловечивают*. Однако современное общество помешалось на правильном образе жизни, который занял опустевшее место религии. Люди готовы верить в то, что правильная жизнь сделает их здоровыми и красивыми. (А что — не сделает? Да и вообще мне как-то больше знакома иная пропаганда: воспевание алкоголической доблести, корпоративное пьянство — как негласное правило карьерного успеха и т.п. — *В.П.*)

Майкл Крайтон, автор статьи **«Защита экологии как новая религия»** (№ 2), тоже считает, что ***экологизм*** стал «идеальным перевоплощением традиционных иудео-христианских верований и мифов» и ***занял место веры***. Возникла экорелигия, где Эдем — первозданность природы, грехопадение — загрязнение среды плодами познания, а Страшный суд — экологическая катастрофа.

Где правильная пища уподоблена причастию, а люди делятся на спасенных (ведущих правильный образ жизни) и обреченных. Крайтон последовательно опровергает постулаты экорелигии. Райского сада на земле не было. Первозданный Эдем — это 80-процентная детская смертность, гибель каждой шестой роженицы, средняя продолжительность жизни в 40 лет, миллионы людей, павших жертвами эпидемий и голода. Перволюди — не воплощенная невинность, а каннибалы, уничтожители крупных животных, инициаторы перманентных войн. О природе романтически мечтают только те, кто никогда не оставался с ней наедине — попробуйте провести денек в джунглях! Экологизм, пишет Крайтон, должен осуществляться либеральными методами — то есть быть рациональным и гибким, аполитичным и внепартийным — и обвиняет развитое общество в том, что его экополитика отказывает третьему миру в праве пользоваться достижениями цивилизации: так, запрет на ДДТ не позволил преодолеть голод в развивающихся странах.

В своем интервью **Поль Дриссен** (**«Зеленая сила, черная смерть»**, № 3) доказывает, что ***политика «зеленых»*** действительно ***способствует обнищанию развивающихся стран***. Два миллиарда людей на Земле до сих пор не пользуются электричеством. А между тем экорадикалы борются против эксплуатации природного топлива, против ядерных и гидроэлектрических проектов, настаивая на использовании неэффективных ветряных турбин и маломощных солнечных панелей на крышах хижин. Что это реально значит? А то, что миллионы женщин будут по-прежнему тратить часы на собирание и сушку веток и экскрементов для очага, что воду из реки будут носить сами, что будут дышать едким печным дымом. Результаты — изведение лесов, смог, смертность от легочных инфекций и дизентерии. Однако организации воинствующего экологизма («Гринпис», «Фонд дикой природы», «Врачи за социальную ответственность», «Сиерра-клуб», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), американское Национальное агентство международного развития[3]) делают все возможное, чтобы *«не дать свершиться чуду пестицидов»*. Эти организации попирают законы, ведут двойную бухгалтерию и спекулируют своими идеями на судебных разбирательствах. «Экоимпериалисты», по словам Дриссена, ведут «тайную войну» против капитализма и гражданского общества, ведь в эти организации пришли оставшиеся без дела активисты компартий, привнеся с собою ненависть к Америке, цивилизации, демократии... Думается, Дриссен точно прав в одном: восславляя естественный образ жизни, «зеленые» радикалы сами не откажутся от привычных удобств, лекарств, продуктов и технологий. Точно так же как не многие идеализаторы крестьянства в России готовы посвятить свою жизнь тяжелому крестьянскому труду.

◆ **Союз европейских сиамизированных республик**

Это **Владимир Буковский** в своем интервью (**«Советизация Европы»**, № 1) обозвал Европу аббревиатурой «ЕССР». Объединенная Европа, по его словам, стирает национальное лицо государств. Эти наблюдения перекликают-

[3] Оцените, кстати, оксюморонное название организации: какой еще нации есть дело до международного развития, демократии за границей!

ся с мыслью **Александра Мелихова** о том, что в современном мире подвергается испытанию ***не вражда к чужому, а привязанность к своему*** (**«Состязание технологий и грез»**, № 2).

О той же проблеме пишет **Александр Кустарев**, пытаясь понять, почему провалился план всеевропейской конституции (**«Евросоюз: год великого перелома. В какую сторону?»**, № 3). Даже и объединенные, страны не готовы жертвовать своими интересами ради общего дела. Старая структура управления в Евросоюзе если и годилась для пятнадцати стран, то для двадцати пяти уже не подходит. Именно новые страны-участницы могут сорвать дальнейшую интеграцию. Оппозиция со стороны малых стран нарастает: конституция объединенной Европы сводит шансы малой страны на председательство в Евросоюзе к минимуму, появляется риск господства в альянсе «большой четверки — Германия-Франция-Британия-Италия». Но особенно щекотлив вопрос о присоединении к Европе Турции. Тут приходится говорить о ***параметрах интеграции***: что объединит Европу? — внешняя политика? единство бюджета? единая футбольная лига? а может, латынь? В самом деле, ведь интеграция грозит затопить инокультурными вливаниями ***неуловимое качество «европейскости»***, на основе которого только и возможно подлинное — и не беспредельное — объединение. С современной Европой легко породниться на почве политэкономии, а вот с исторической не каждый смог бы ассимилироваться духовно.

Примета распространенной сегодня культурной безличности — статья **Вадима Россмана**, где Китай и Запад сопоставляются на основе капитализма (**«Миф красного Китая: историческая подоплека экономических реформ»**, № 3). Цель Россмана — доказать, что Китай вовсе не новичок-чужачок на путях капиталистического строительства и нечего напирать на тоталитарно-коммунистический уклон китайской цивилизации. Китай как раз способен предложить ***альтернативу крайностям западного капитализма***. Здесь издревна были и частная собственность на землю, и свои монополисты-собственники. Здесь появился и первый в мировой истории банк (X — XII вв.), и первые ломбарды (V в.), и бумажные деньги (XI в.). Вообще место рождения мирового капитализма, точнее, системы международного обмена — Дальний Восток, а не Новая Англия. И до 1800 года Европа ничем не превосходила Китай по уровню жизни. И весь экономический мировой порядок был тогда сино-, а не европоцентричным.

Шпенглер, надо думать, сказал бы на это, что просто все цивилизации, в отличие от культур, похожи друг на друга. И все — крайне политэкономичны.

◆ **Террор в войне цивилизаций и новых анекдотах**

Эдуард Бормашенко (**«Серым по серому»**, № 1) не надеется разрешить ***конфликт цивилизаций*** мирным путем: ухоженные домики евреев не могут ужиться с арабскими грязными, серыми будками. Ставка, пишет Бормашенко, делается именно на *духовную* победу. Это вечная «песня», и поется она так: «Именно оттого, что мы наги и убоги, мы несем в себе духовную субстанцию, недоступную самодовольным и сытым». Такова, по словам автора статьи, идеология «всего антизападного интеллектуального блока» и — и арабов, и чеченцев, и — внимание! — русских.

Бывшие миротворцы, отчаявшись, ***переходят в лагерь разжигателей войны***. В заметке **«Казус Бени Морриса»** (рубрика **«Press-review»**, автор не указан, № 2) речь идет о «левом» израильском историке: когда-то известность Б. Моррису принесли его книги о проблемах беженцев, теперь же он высказывается в пользу этнических чисток и изображает арабов варварами, угрожающими западной цивилизации. «Ни один серьезный арабист на интервью Морриса не отреагировал», — пишет в заключение обозреватель. Это ничего, замечу я, главное — чтоб на такие выступления не реагировали простые граждане арабской национальности...

Противостояние напору Востока осложняется неумением и ***нежеланием Запада блюсти свою самость***. Как справедливо сформулировал **Наум Коржавин** (**«Свобода за границами своей применимости»**, № 2), террористы — это люди, которых «наши правовые и моральные достижения ни к чему не обязывают», но которые «учитывали и использовали то, к чему эти нормы обязывают нас». Флажки политкорректности не выпускают нас за пределы взятого на прицел круга. Эта мысль становится небеспочвенным комментарием к протестующей статье **Бориса Столярова** по поводу решения Международного суда в Гааге, объявившего незаконным строительство заградительной стены в Израиле (**«Стены»**, № 4). Автор язвительно вопрошает: почему бы суду и теракты не признать незаконными? почему они даже не стали предметом рассмотрения суда? Недавно вот от теракта погибла израильская девушка, которой не было и двадцати лет. Следовательно, суд разрешил террористам убить эту девушку — «реализовать свое право не теракт».

«***Надо дикость назвать дикостью***, а не инакомыслием, отсталость — отсталостью, а не альтернативной культурной позицией. Надо перестать стонать с оттяжкой перед примитивом» — это вновь гневный голос **Эдуарда Бормашенко** (**«Серым по серому»**, № 1).

В пяти номерах журнала нашлась лишь одна оригинальная публикация, автор которой не только выступает за мирный исход противостояния цивилизации и террористического варварства, но и пытается ***оправдать террористов***. **Валентин Герман** (**«Терроризм против человекоцентризма»**, № 4) сопротивляется трактовке терроризма как явления надыдейного и наднационального. Терроризм вовсе не опухолевая «надстройка» над народностями и их интересами, а проявление «скрытой борьбы этнических меньшинств за свои права». В попытках договориться с террористами, по мнению **Германа**, телега ставится впереди лошади: мы предлагаем бандитам (т.е. манифестаторам воли меньшинства) отказаться от террора, обещая в этом случае, может быть, пообсуждать с ними их собственные проблемы. Мы ищем методы, но не видим, в чем причины. «Ответив на этот вопрос, мы поймем, почему эти исламские террористы прибегают к такому бесчеловечному способу борьбы за свои изначально справедливые (и попранные нами) права». В рамках современной цивилизации терроризм видится Герману как «интернационал маргиналов». Вина Запада в том, что он, игнорируя темпы самостоятельного развития стран, тащит всех за собой к прогрессу и мировоззрению человекоцентризма как обоснованию этого прогресса. А подгоняемые видят результат этого прогресса — то есть нас — и борются с этим рациональным и скептическим будущим. Ислам же нашей идеологии про-

тивопоставляет средневековое мировоззрение богоцентризма. Герман замечает: человекоцентризм понижает уровень человека — качества индивида оказываются не важны, важен человек как есть. Напротив, в богоцентризме человек важен постольку, поскольку он приблизился в своем самосовершенствовании к Богу. Автор предлагает всем понять, что наше и чужое развития — это временные, преходящие этапы. Мол, если объяснить все это террористам, они перестанут отчаиваться, согласятся с нами (хочется добавить: простят нас) — и престанут нас взрывать...

Над проблемой защиты либеральной цивилизации от терроризма задумывается и **Александр Мелихов** (**«Устами младенца по либеральному катехизису»**, № 5). Он последовательно опровергает ряд «заклинаний», которыми убаюкивает нас либерализм, чтобы ***спрятать от правды о терроризме***. 1) «Конкуренция народов» существует — и не надо думать, будто нациям делить нечего и все конфликты обусловлены интригами властолюбивых политиков. 2) Террористы вовсе не наднациональны, они — «выразители заветных чаяний», и в этом их сила. 3) Очень даже возможно быть демократичными у себя в стране, а в колониях быть диктаторами, как, например, Англия (намек, видимо, на то, что и нашей, российской демократии совсем не помешают зверства на чьей-нибудь территории...). 4) Жестокость вовсе не порождает новую жестокость: как бесланские узники, так и заключенные концлагерей нажили не ненависть и решимость, а сломленность и отчаяние. 5) Далеко не каждый народ имеет право на собственное государство, потому что свобода самоопределения и нерушимость существующих границ — два взаимопротиворечащих принципа международной политики. В случае исключительной реализации первого принципа тысячи существующих этносов просто превратят борьбу за независимость в «кровавый кошмар». 6) Терроризм — не результат обид (очный бы раунд ему с Валентином Германом!), и потому от утоления печалей он не исчезает. Мелихов иронизирует: есть ведь и такие люди, которых обижает существование более красивых, умных, чем они сами... Так и вековые обиды иных народов можно исцелить только через уничтожение народов преуспевающих.

На внутренней стороне обложки журнал не единожды публикует рекламу компании, поставляющей средства защиты от различных типов поражения. Террор прочно входит в наш быт: зубная щетка, презерватив, противогаз и каска. Защита от кариеса, СПИДа и терроризма. Такое гротескное смешение разновеликих явлений и проблем в человеческом сознании не ново. **«Зигетт в годы террора»** — так назвал свою статью о ***бытовом восприятии терроризма*** **Эдуард Бормашенко** (№ 3), позаимствовав название у Марка Алданова. В одноименном очерке Алданова речь идет о некой французской семье в эпоху робеспьеровщины: дом стоит в двадцати минутах ходьбы от места массовой казни, а люди в нем живут уроками музыки, заученными стихами и разговорами о новом платье девочки Зигетт. Бормашенко сравнивает эту ситуацию с жизнью Москвы 30 — 40-х годов: тогда люди так же не думали о терроре и так же занимались, скажем, музыкой. То же — и в современном Израиле, где живет автор. «Я сел писать эту статью после того, как понял, что и для меня интифада уже привычное дело, и сплетни в преподавательской меня интересуют больше последней сводки

новостей. То есть я сам уже морально готов к тому, чтобы меня взорвали в автобусе». Бормашенко точно определяет «уникальность» нынешнего террора: верхушку общества он совершенно не задевает (что создает ситуацию безнаказанности для террористов: ведь пока верхушка общества не задета, она может сколь угодно долго жертвовать простым населением). «Сталинский, эсеровский и робеспьеровский террор выкашивал начальство», его целью было подчинять. Напротив, нынешний террор как будто бесцелен — словно террористы нарочно выбрали самый долгий и сомнительный путь к удовлетворению своих требований. И потому автор предполагает, что никаких требований у террористов и нет. Их преступления — просто направлены на деморализацию цивилизованной части земного шара. И деморализация удается. Бормашенко отлично имитирует психологию обывателя: «Развращающее действие террора бесподобно. Рвануло где-нибудь в Хайфе, ну, это вообще от моего Ариэля далеко, убили в Хевроне — а чего он там поселился, посреди арабов? (У нас, как известно, зря не убивают)» — и сам признается, что однажды после *очередной* трагедии зашел в синагогу и *с удивлением* обнаружил, что нормальный ход богослужения нарушен и раввин в самом деле молится о погибших. А как-то даже наткнулся на анекдот в английской книге, в котором *террорист поймал трех врачей и говорит им* и который демонстрирует ***полноправное вхождение терроризма в представление народа об обыденном***. «Террор, не решая никаких проблем, обесценивает человеческую жизнь», — заключает автор.

◆ **Право на Ирак**

Искать оправдание можно не только для террористов. Гораздо проще ***оправдывать внешнюю политику США***. Этим и занимается **Авраам Вайсман,** пишущий о том, что неуемная деятельность Штатов по разруливанию чужих проблем происходит из-за несходства концепций демократии — европейской и американской (**«Две концепции демократии и международной законности»**, № 3). Раскол между двумя оплотами мировой демократии произошел после антифашистской войны. Для США победа над фашизмом была демонстрацией силы демократического строя (упомянуть в связи с этой победой СССР автор как-то забывает) и непрочности европейских политических свобод. Для Европы же вся война была предупреждением об опасности заигрывания с массами, о злоупотреблениях демократией (ведь Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов). Итоговый смысл статьи таков: американцы сомневаются в демократичности международных организаций, а поэтому «все чаще склоняются к односторонним действиям». Но лишь покажите американцам, что вы не страшные, что тоже демократы, и они (точь-в-точь как террористы у Валентина Германа — см. выше) вмиг станут соблюдать принципы международного сотрудничества...

Александр Кустарев в статье **«Уроки войны в Ираке: каждый день в шесть часов вечера после войны»** (№ 2) прежде всего обращает внимание читателя на то, как ***изменилась стратегия внешнеполитической агрессии***, характер которой теперь определяет отношение общества к войне как таковой. Современных мальчиков готовят к войне игровые программы. В развитом обществе детей рождается немного, и каждого ребенка родители хотят видеть

своим долгосрочным вложением в будущее. Как же их, таких нежных и дорого оборудованных, — под прицел?! Так что иного выхода нет: с «нашей» стороны любая война должна быть войной роботов. В моду входит особая гуманность эгоиста: цивилизованная страна, осуществляя набег на врага, стремится обойтись без жертв, ставка делается не на разрушения и убийства, а на дезорганизацию противника и превентивное подавление сопротивления. Информационная война замещает реальную. В этом смысле война в Ираке, по мнению Кустарева, была экспериментом Запада по запугиванию противника — так, чтобы он и не вышел на ринг. Что, собственно, и сделал лидер Ирака — не вышел. ***Нарушение суверенитета***, пишет Кустарев, ***стало приметой глобализации***, ее стратегией; и теперь ничто не гарантирует неприкосновенности малых стран, если она не обеспечена балансом сил между соперничающими великими державами. Размывается граница между внутренней и внешней политикой. Непоправимо разлаживается функционирование потревоженного государства (натопчут непрошеные гости — а за собой не уберут). Десакрализация суверенитета усиливает позиции сепаратистов любых мастей. Наконец, стирается граница между миром и войной, общество привыкает к насилию. «На что ушло больше эмоциональной энергии британского обывателя: на победу в чемпионате мира по регби или на победу в Ираке?» Не внушает оптимизма и следующая мысль: мир во всем мире обеспечивает как баланс сил многих, так и абсолютность силы одной страны — в том случае, если ее монополия на применение силы непререкаема...

Увы, от разговоров про урегулирование мировые оппоненты дружелюбнее не становятся. Иные публикации наводят на мысль, что «холодная война» все еще продолжается. Много пишется и о кризисе либерализма в Америке после 11 сентября.

В рубрике **«Press-review»** (№ 2) анонимный автор обрушивается на леволибералов в США. Леволибералы до сих пор остаются марксистами, делящими мир на угнетенных и угнетателей. Они считают, что нельзя, живя в самой богатой и сильной стране мира, нападать на тех, кто живет в странах победнее и похуже. Честные левые должны отказаться от привычки во всем винить собственную страну. Да и возможны ли вообще «честные левые» в *единственной сверхдержаве*? Зацепила следующая фраза: «За ценности либерализма и демократии нужно бороться везде, не только у себя дома». Вспоминается пассаж из знаменитой «Утопии» Томаса Мора: когда миролюбивые утопийцы «жалеют какой-нибудь народ, угнетенный тиранией, тогда своими силами они освобождают их от ига тирана и от рабства (это они делают из человечности)». М-да, и по сей день миролюбивые, но жалостливые утопийцы наводят порядок по всему миру, неизбежно превращая мир — в утопию.

◆ **Два пана дерутся — третий не мешай**

Проблему ***культурной идентичности еврейства*** в ситуации глобального конфликта цивилизаций ставит **Авиезер Равицкий («Придерживаясь золотой середины»**, № 3). Положение еврейской культуры всегда — «между Нилом и Евфратом, между Персией и Грецией, между христианством и исламом». Не исключение и современный Израиль — страна с европейским укладом

и ветхозаветной идеей. Страны Запада, пишет Равицкий, говорят сегодня о расколотости мира на два лагеря — исламский и иудео-христианский, что заведомо предполагает американо-израильский крестовый союз в пику мусульманскому сообществу. Но такое разделение, по мнению автора статьи, усиливает религиозный аспект противостояния Израиля и арабских стран, т.е. локальный конфликт изображает как всемирный. Израиль, сетует Равицкий, уже повсеместно воспринимается как «острие современного "крестового похода" — похода западного, американского, христианского и "демократического"».

Подобная позиция в контексте журнала выглядит оригинальной: большинство авторов, пишущих о роли Израиля в противостоянии Запада и Востока, доказывают именно то, от чего Равицкий открещивается, — вписанность палестино-израильского конфликта в конфликт глобальный, цивилизационный. Цель этих авторов — заручиться для Израиля политической поддержкой и одобрением Европы и США. Равицкий в каком-то смысле дальновидней коллег: он опасается, что такое прописывание внешней политики его страны навязывает Израилю образ разжигателя войны. Равицкий призывает израильский народ противостоять «униформизму» — навязыванию политической системы Запада и западного образа жизни. Гуманистические ценности нельзя распространять военными средствами, да и не в любой ситуации демократия способна обеспечить социальный порядок. Не говоря уже о том, что не все народы готовы к демократическим преобразованиям. Ценнейший призыв Равицкого: ***евреи должны противостоять «демонизации ислама»***, приписывающей мусульманам кровожадность, жестокость и коварство — как непременные качества. Однако дают себя знать и издержки риторики: Равицкий заодно ополчается на христианство, незаметно для себя вписывая еврейство все в тот же глобальный конфликт, только на стороне ислама. В частности, даже заявляет, что ислам и иудаизм очень схожи и объединены именно своей отличностью от христианства.

ПОЧЕМУ «НАС» НЕ ЛЮБЯТ?

Этим вопросом задаются многие — русские, африканцы, американцы, китайцы, евреи... Но именно в отношении последних такая нелюбовь вылилась в стихийное бедствие. И имя этой стихии — родовая, древняя, животная ***неприязнь к инакому***. Проблема антисемитизма выводит нас на вечную тему нетерпимости, исторически смыкаясь с темой тоталитаризма и насилия. В этом-то смысле «антисемитизм — это всечеловеческая школа зла»[4].

В журнале много внимания уделено массовой гибели евреев в годы фашизма. Прежде всего интересны публикации на документальной основе. Скажем, перепечатка в № 1 статьи **Зеэва (Владимира) Жаботинского «Германия»**. Впервые опубликованная в 1933 году в варшавской газете, эта статья — одно из самых ранних предупреждений о реальной опасности гитлеризма. Или *полудокументальное повествование* **Анатолия Кардаша «У Черного моря: палачи и праведники»**, № 1), где речь ведется о фашиствующих

[4] *Борис Хазанов.* Возвращение Агасфера: Письмо из старого света// NB. 2004. № 1.

румынских солдатах в Одессе и местных жителях, оказывавших помощь евреям. Казнить всех евреев и коммунистов — таков приказ маршала Антонеску. Школьник, повешенный на пионерском галстуке... Обыватели, которым разрешается снимать приглянувшиеся вещи с угоняемых на расстрел. «Одесских евреев выжило всего 600 человек — из 120 тысяч, захваченных оккупацией. Полпроцента...» Глава «Праведники» — о русских, спасавших евреев, укрывавших от солдат, носивших еду в гетто: доктор Константин Михайлович Гродский, Александра Николаевна Подлегаева, Анастасия Федоровна Теряева, Евгений Александрович и Андрей Евгеньевич Шевалевы. Цель автора — передать позднюю поименную благодарность им... Потрясает история девушки, которая долгое время скрывалась в яме, откуда хозяева дома боялись ее выпускать — попасться могла любому патрулю. Но, пряча ее, хозяева рассчитывали, что это ненадолго, что война вот-вот кончится. А война затягивалась... Два с половиной года девушка завидовала тем, кто уже погиб в гетто, — и в то же время боялась собственных спасителей: вдруг предадут, вдруг подмешают в пищу яд...

Любопытный ход — попытка рационально объяснить антисемитизм, инстинктивнейшее, животнейшее из настроений человеческих. То есть как бы уже и не человеческих вовсе. На мой взгляд, ближе всего к истине мысль об антисемитизме как стадной неприязни к чужаку. Еврейская община в любой стране мира непременно окажется повинна в снижении удоев или неуспехе реформ. И евреи, как таковые, здесь ни при чем. Просто всегда проще найти внешнего врага. Недаром на теме личной вины строится магистраль русской литературы. Потому что труд делает обезьяну трудолюбивой обезьяной, а вина — человеком. Когда один человек сумеет повиниться и изменить себя, — тогда готово оно, претворение мира...

Дополнительное бремя изгойства носители еврейской культуры получают в наши дни. Еврейство сегодня — это несгибаемая культурная самость на фоне общей нивелировки культурного лица. Писатель Олег Юрьев недаром замечает в своем романе «Новый Голем, или Война стариков и детей», что евреев сегодня не любят в том же смысле, в каком не любят и русских. Потому что именно эти народы еще умеют осознавать себя вне глобальной цивилизационной одинакости.

«Я в любом государстве буду менее защищен, чем коренной житель, что бы и сколько бы ни говорилось о равенстве прав. Я принимаю эту незащищенность. Я вижу в ней Божье задание бороться за то, чтобы был защищен каждый», — **Григорий Померанц** подает проблему преодоления антисемитизма как личную задачу по искоренению племенной нелюбви к инакому (**«К читателю статьи Л. Люкса»**, № 3). Став группой диаспоры, пишет Померанц, любая этническая группа «обрастает подозрениями в черной магии, колдовстве, убийстве младенцев и становится козлом отпущения при любых несчастьях». Но если групп диаспоры — две, то роль козла отпущения достается только одной, к другой относятся терпимо: «турки традиционно терпимы к евреям, у персов другие предпочтения». Померанц разрушает ***миф об исключительной обреченности евреев на гонения***, вписывая антисемитизм в общую проблему «древнего и не умирающего диаспорофобства». При римлянах евреи травили христиан. При христианах — трави-

ли евреев. «Царя убил поляк Гриневецкий, но по России прокатилась волна *еврейских* погромов. Это иррационально — и стало нормой истории».

Взгляды «одного из крупнейших политических философов XX века» **Ханы Арендт («Истоки тоталитаризма»**, № 1 — в переложении «для чайников» (так сказано на обложке) **М. Хейфеца**) не кажутся особенно убедительными. Вот какие причины нашла Арендт тому, что евреи стали «преступниками без преступления». Евреи никогда не имели самостоятельного политического действия, а также утратили влияние на европейское общество (видимо, это надо понимать так: если бы они создавали свои лобби-группы и партии, фашисты не выдержали бы с ними конкуренции). Государства всегда обращались к еврейской общине как к кредитору, именно поэтому левые движения противостояли евреям как опоре государства и становились антисемитскими. Европа завидовала еврейской общине как обители избранных, скрепленной идеей культурной сплоченности. К проблеме еврейских интеллектуалов в европейском обществе Арендт подходит со следующих позиций: в новом веке еврейские юноши не желали продолжать банкирское дело отцов, покинув его ради «интеллектуальных забав», — а все потому, что еврейство всегда благоговело перед интеллектуальными занятиями. Цель же евреев, выбившихся в высшее европейское общество, — ассимиляция. А их культурная принадлежность — всего лишь ***игра в «еврейскость»***, в свою особость: ведь особенным легче в свете пробиться... И непонятно в итоге, кому предъявлять претензии — самой Арендт или ее пересказывателю. Как в анекдоте — то ли это сам Карузо виноват, то ли Рабинович опять не так его напел!

В завершение темы приведу совсем уж анекдотичную гипотезу. Психоаналитичный **Борис Парамонов («Интерпретация землеёбства»**, № 2) цитирует Эриха Фромма: «Его (Гитлера. — *В.П.*) зацикленность на матери (=Германии) обусловила его ненависть к “отраве” (евреи и сифилис), от которой он должен был ее спасти». Вот так просто. Мы тут культурологические концепции придумываем, в анализ человеческой души погружаемся, а надо-то всего было — Гитлера под гипноз и на Фрейдову кушетку! А и впрямь, не стало ли бы в мире меньше агрессии, если б все люди вместо политики занялись решением своих психосексуальных проблем?

◆ Обратное лицо антисемитизма

В наши дни судьба еврейства, кажется, гармонизируется. И прежде всего потому, что у еврейской общины теперь есть свое государство. Если посмотреть на этот факт с не совсем привычной стороны, то окажется, что наличие своего государства гармонизирует прежде всего самосознание еврейства, а не только отношение к нему со стороны других народов.

Дело ведь в том, что у ***антисемитизма есть другое лицо — надрывный семитизм***, еврейская общность не как верность особой культуре, а как кровяное, политическое рекрутирование «своих». Самосознание еврейской общины вне Израиля — обратная сторона ее культурной самости. Еврейство на чужбине по сути должно быть религиозно-личным делом, а становится — политико-общественным. Еврей вне Израиля в гражданском смысле должен принадлежать стране, в которой живет, а не общине как государству в государстве. И уважать интересы целого, а не только своей в нем части.

Идеология жертв нацизма становится потихоньку своеобразной ***отраслью национального пиара***, грехом извращенной гордости. Евреи погибали от рук фашистов, негры — в американском рабстве, русские мужики от русских же бар, советские трудящиеся от советских же чиновников. Но только евреи сумели превратить страдания в элемент национального достоинства.

Самосознание еврейства в наши дни никак не хочет стать подлинно свободным и демократичным. Евреи не хотят выходить из образа Агасферов. Им как будто приятно постоянно подчеркивать свою историческую ущербность перед большинством. Это ассимилирует еврейство с модными движениями всяческих меньшинств, например сексуальных. В журнале немало подтверждений этой тенденции.

В ряде материалов антисемитизм поставлен во главу угла всех мировых событий. **Людмила Дымерская-Цигельман** обозревает идеологии, которые освящали «избавление человечества от евреев», а именно **«Нацизм, советизм, исламизм и примкнувший к ним леволиберализм»** (№ 4). Автор нападает и на христианство, главным врагом которого объявлялся Еврейский Мессия — Антихрист-Еврей. В новом веке появляется «доктринальный антисемитизм». Вот его особенности: связь с антиамериканизмом и антизападничеством; перемещение эпицентра антисемитизма из Европы в арабо-мусульманский мир; антиизраилизм как несущая конструкция; ревизия массового истребления евреев в годы Второй мировой войны; «отождествление сионизма с нацизмом»; глобальный характер антисемитизма, чему в немалой степени способствует глобализация мусульманской диаспоры. Не стоит и говорить, что перечисленные явления могут объясняться как в рамках антисемитского дискурса, так и вне его.

Сергей Кургинян предполагает, что на месте России мировое сообщество хочет образовать конгломерат Евразию, основанный на двусторонней — европейской и исламской — ненависти к Израилю (**«Теракт на Дубровке»**, № 1). Таким образом, вся Россия будет принесена в жертву мировому антисемитизму.

По мнению **Эдуарда Бормашенко** (**«Серым по серому»**, № 1), Израиль отдувается за весь мир в символичной схватке с арабами: Израиль снова «посередине исторической сцены» — защищает ценности западной цивилизации. «И в этой войне (цивилизаций. — *В.П.*) Израиль — на передовой, в самом уязвимом участке западной линии обороны — как некогда государство крестоносцев. ...Евреи были главными жертвами в ходе 2000-летней истории, и теперь они снова оказались ее главными потенциальными жертвами», — вторит **Бени Моррис** (рубрика **«Press-review»**, № 2).

Между тем еврейство зачастую весьма умело использует имидж исторической жертвы в своих интересах. А ***европейский пиетет перед еврейством порой имеет комические следствия***. Этой темы касается **Дмитрий Хмельницкий**, рассказывающий о судьбе двух берлинских музеев (**«Два музея. Йоминг Пэй против Даниеля Либескинда»**, № 2). Так, решающую роль в подборе кандидатур на руководящие должности Еврейского музея играло еврейское происхождение. Однако никто не заботится о том, чтобы музеем исламским руководил именно мусульманин — ведь там-то нужен специалист, а не носитель изучаемого материала. Еврейский же музей — что музей Ленина,

иронизирует Хмельницкий. Не ясно, чем заполнять здание, и возведенное-то не для размещения научных коллекций, а лишь из соображений политкорректности. В итоге в экспозиции оказалось крайне мало ценного, зато множество несуразиц. К тому же история немецкого еврейства закончилась еще в прошлом веке вместе с исчезновением языка идиш как разговорного, так что авторы экспозиции причисляют к евреям тех или иных исторических деятелей не по этнографическому признаку, а по крови — то есть, как указывает Хмельницкий, «в полном соответствии с практикой национал-социалистов»! Так что в музее организована выставка достижений «лиц еврейской национальности», где «один из самых забавных экспонатов — макет универмага знаменитого немецкого архитектора первой половины XX века Эриха Мендельсона. Забавен он, конечно, не сам по себе, а в качестве "достижения еврейской культуры"».

Интересен круглый стол **«Русские евреи в Германии»** (№ 5), участников которого просили рассказать, как они воспринимают Германию, в прошлом страну гитлеризма, кем себя ощущают с точки зрения национальности и культуры. Большинство респондентов выводят себя за рамки предложенного дискурса. **Олег Юрьев** замечает, что кровавое прошлое не является проблемой в отношениях евреев и немцев и что вторая мировая велась не из-за евреев.

Дмитрий Хмельницкий пишет ***о национализме самих эмигрантов***. В Германии две конкурирующие группы эмигрантов: русские евреи и русские немцы. И те, и другие говорят по-русски; и те, и другие обижаются, когда их называют русскими. Всем им свойственен порок националистического мышления: при определении культурной идентичности человека главный критерий для них — происхождение, кровь. Прибывшие в страну люди немецкого происхождения отказываются иметь дело с гражданами славянской фамилии и хотят общаться лишь с «настоящими» немцами, — или же, напротив, жалуются, что с ними никто не общается, считая их не «такими же немцами», а русскими. Хмельницкий также обращает наше внимание на националистическую подкладку модной политкорректности. Скажем, как оценить предложение министра культуры ФРГ создать еврейский театр в Берлине? Что имеется в виду? Еврейский *религиозный* театр? — бессмысленность. Еврейский *национальный* театр? — но невозможно найти достаточное количество зрителей и актеров, говорящих на одном из еврейских языков. Единственная реализуемая идея — создать театр с актерами еврейского *происхождения*. Своего рода гетто — не отверженных, а избранных, — но все еще не «таких». К тому же происхождение — не критерий мастерства, и вряд ли такой театр будет значителен в эстетическом плане. Или другой случай: в центре Берлина отвели участок под большой памятник евреям — жертвам холокоста. В Сенат тогда обратились цыгане, с просьбой втиснуть и их в площадку памяти. Но еврейская община отказалась наотрез, заявив, что именно евреи — главные жертвы и ни о какой совместности речи быть не может. «С этого момента на моральной основе всего проекта можно спокойно ставить крест», — жестко замечает Хмельницкий, — и «в Берлине сейчас строится не памятник жертвам геноцида, а памятник ***идее еврейской исключительности***. Что совсем не одно и то же». Хмельницкий

утверждает также, что с еврейской общиной крайне трудно вести переговоры: малейшее посягательство на противопоставление *немецкой нации-преступника* и *еврейского народа-жертвы* она принимает крайне воинственно, — ведь это лишает евреев права оставаться привилегированной диаспорой в Германии.

На основной вопрос круглого стола **Михаил Блюменкранц** отвечает, что к немецкому народу относится хорошо, «как ко всякому абстрактному понятию», — в том смысле, что в нашу эпоху *вавилонизации мира* особенно важно оценивать людей по их личным качествам, а не по национальной принадлежности.

Два отклика, однако, вписались в идеологию народа-жертвы. **Илья Мильштейн** признается, что, живя в Германии, непрерывно испытывает «боль, неловкость, смущение»; терпит же такую жизнь — единственно во имя возрождения здесь еврейской общины. **Нелли Мишнаевская** говорит, что в Германии эмигранты чувствуют себя русскими евреями, волнующимися о судьбе Израиля: «Мы настоящие евреи по ощущению себя почти премьер-министрами Израиля». Позволю себе заметить, что это, на мой взгляд, не что иное как наглая неблагодарность. Питаясь плодами Германии, живя в ней, стоило бы, как кажется, поволноваться о внутригерманских проблемах!

◆ **Иск христианству**

Поразил меня и мотив ***конкуренции христианства и иудаизма*** во многих материалах журнала, а также ревностное выуживание многими авторами всего еврейского из сокровищницы мировой культуры.

Борис Хазанов предъявляет иск христианству (**«Возвращение Агасфера. Письмо из старого света»**, № 1). «Вся эта дискуссия — распяли, не распяли — после Освенцима должна быть закрыта, вся эта “тематика” должна быть выкинута на свалку», — пишет он. Хазанов предлагает вниманию читателя притчу, согласно которой и Христос, и Агасфер — два сына одного народа — сгорели в печах Освенцима. Если бы Второе Пришествие случилось в эпоху холокоста, убежден автор статьи, Христа бы сожгли: ведь для фашистов Он только еврей. Христианство, исторически отпочковавшееся от иудаизма, много веков стремилось уничтожить еврейство, пишет Хазанов, предлагая нам представить, что христианство, родившееся в среде евреев, вместе с ними и уйдет.

Новеллу **Бориса Фалькова «Искушения раба о. Симеона О.»** (№ 5) трудно назвать иначе чем наездом на православие. Рассказ разваливается на три не связанные между собой части, первая из которых посвящена проблемам православной церкви. Службы, мол, «опереточные», прихожане — невежественные антисемиты, юродивые — фальшивые, плюют на иконы... А посередь этого безобразия мается священник-иудей — этот самый Симеон...

К вящей славе иудейского народа похищает из православных святцев святителя Никиту **Михаэль Дорфман («Еврейские фрагменты жития святителя Никиты»**, № 5). Новгородский епископ Никита, один из наиболее ранних святых в русской православной церкви, почитаемый с XII века, был, оказывается, иудеем. Автор сопоставляет житие святого с каноническими образцами жанра и все несостыковки толкует в пользу своей гипотезы. Подробно размышляя о том, к какой ветви иудейства принадлежал святи-

тель Никита, Дорфман приходит к выводу, что тот был не монахом, а предприимчивым политиком-евреем. И только наша антисемитская церковь, мол, «запретила» Никите быть евреем и исказила его биографию. Когда вчитываешься в аргументы этой статьи, в конце концов возникает ощущение, что у каждой религии свой бог, он подчиняется законам «своей» религии и вступает в конкурентную борьбу с богом-соседом: православному, к примеру, является, а иудею — нет. Или просто автор вообще не верит в Бога — но тогда какая ценность ему в том, что Никита — иудей?

◆ **Об одном отрадном исключении**

К сожалению, в пяти номерах журнала мне встретился только один случай, когда автор попытался создать полноценный образ еврейской культуры, проникнуть в ***еврейство как в особое миросозерцание, а не в политическую стратегию***. Случилось это, понятное дело, в рубрике «Литература». Публикацию глав из романа **Меира Шалева «В доме своем в пустыне»** (№ 1) предваряет вступление, где отмечается, что автор стоит в израильской прозе особняком, «достаточно далеко от политики и актуалий». Уточню: далеко от политики — близко к культуре. Еврейство представлено в романе через образно выраженные мотивы. Родовой библейский колорит сгущен в образах Матери, Бабушки, двух Теть, Сестры — пяти одиноких женщин, объединенных в «Большую Женщину» над колыбелью общего мужчины — главного героя. Дом преследует древний родовой рок — все мужчины в этой семье рано погибали от несчастных случаев. Рок как вариант Провидения, обеспечивающего предсказуемость и неизменность мира. Но главный герой выживает — не потому ли, что, повзрослев, уезжает на одинокое житье в пустыню, — спасается от женской опеки, от «Большой Женщины» — десятирукой, пятиротой, не выпускающей из своих объятий, как сама смерть? Бегство героя в пустыню — ускользание не только от рока, но и от рода — к индивидуальной судьбе. Текст Шалева основан на чувственном мировосприятии, сложных образах и по-восточному богатой риторике.

Именно поэтому он становится лучшим памятником еврейству, чем любые каменные стелы. И одним из лучших текстов рубрики «Литература».

ЛИТЕРАТУРА НЕ У ДЕЛ

В «NB», журнале преимущественно публицистическом, заметен ощутимый крен от эстетики в сторону социологии и политики. Единственное встреченное мною_стихотворение (**«Было третье сентября» Алексея Цветкова**, № 5) было посвящено теракту в Беслане и представляло собой скорее проклятие в стихах, чем собственно произведение поэтического искусства. Рубрика «Литература» в журнале довольно слабая. Часто она будто пристегивается к основной массе публицистики, совершенно не соответствуя ни тематике статей, ни их настроению. Произведения для рубрики отбираются как будто случайно. Между тем в отборе их для журнала с таким тематически и идейно выраженным лицом можно было бы придерживаться одного из двух принципов. Или занять определенную эстетическую позицию и подбирать под нее характерные произведения, или искать тексты, тематически близкие публицистической части журнала.

◆ **По политическим убеждениям**

Эйтан Финкельштейн в **рассказе «Литовские лабиринты»** (№ 1) пишет о советской экспансии перед Второй мировой. Текст демонстрирует, как чужероден советский подход к действительности европеизированному миру Литвы. Но финал рассказа неожиданно примиряющий: советский вожатый эвакуирует литовских пионеров из летнего лагеря — переправляет на лодке в Ленинград, спасая от наползающих на Литву фрицев.

Борис Хазанов (**«Запах звезд»**, № 5) помещает мифологических героев — старого белого коня и его хозяина в трагичный мифологизированный мир советского трудового лагеря, в котором, по точному замечанию автора, воспевшее труд государство обрекало своих подданных на труд как на проклятие.

◆ **По национальному признаку**

В рубрику «Литература» почему-то помещен перевод старинной книги комментариев к Библии **«Зогар»** (перевод Анри Волохонского, № 2).

Дина Рубина (**«Синдикат»**, главы из романа, № 3) описывает деловые будни героини, приехавшей из Израиля работать на благо еврейской общины в Москве. Написано увлекательно, забавно, человечно, сочно. «Все... являло какую-то иную Москву, совсем не ту, что мы покинули когда-то: притягательный город-монстр, могучий цветастый китч, бьющий наповал заезжую публику золотыми кеглями куполов на свеженьких колокольнях».

◆ **По недоразумению**

Совсем неплохая легкая **пьеса Виктора Славкина «Тепло одетые в жаркий день»** (№ 2) — о голодающих по случаю диеты — производит совершенно дикое впечатление на серьезном и глубокомысленном фоне публицистических текстов журнала.

Довольно стандартно выполнены (поток сознания или слащавая имитация детского мировосприятия) и по мысли не очень интересны (заимствования из Священных текстов) произведения **Юдит Аграчевой**, расположенные аж в трех номерах – **«Сказки о маленькой Юдит и о сотворении мира»** (№ 2 — 3), **«Назову себя Сарой»** (№ 5).

Тон приключенческого романа для юношества берет **Лев Вершинин** в **романе «Приговоренные к власти»** (№ 5). Античные баталии на фоне истории взросления мальчика Пирра. О стиле наглядно свидетельствует такое, например, описание: «Почти лишенные листьев ветви деревьев, насквозь пропитавшись влагой, согнулись почти к земле, заваленной пожухшей, утратившей золотой осенний отсвет листвой»...

◆ **Номер хитов**

Единственным выпуском журнала, необыкновенно удавшимся по части литературы, оказался номер четвертый. За одним-двумя исключениями, в рубрике собраны оригинальные, стилистически яркие и проблематически подходящие произведения.

Рассказ Дениса Соболева «Азаэль» (№ 4) начинается как мистическая новелла, а под конец оборачивается психологической драмой с моралите в

духе классической литературы. Герою, успешному программисту с любимой женой, ребенком и хорошо оплачиваемой работой, начинает настойчиво сниться один и тот же сон: скачка на лошади, полет, а потом вдруг приземление на жесткую почву. Жена Аня обижается, полагая, что причина сна — чрезмерное увлечение компьютерными «Хироуз» в ущерб семье. Но муж когда-то уже пожертвовал для своей молодой семьи мечтой о карьере ученого, и удаление игры из компьютера становится последней уступкой его свободы. Герой погружается в себя, бродит по городу, где ему видятся персонажи из снов и из далекого прошлого. Он заговаривает себя от безумия: «Меня ждал мой дом, ласковый голос жены и тепло прогретых комнат; я знал, что хаос отступил». Но оказалось, что в уюте дома и таилась угроза: хаос начинался в прибранном мире, построенном женой. Вытравляя из мужа инфантильную мечтательность, она постепенно свела его с ума. И не развелась с ним, теперь пациентом психиатрической клиники, исключительно из-за его пособия по недееспособности кормильца. Сумасшествие героя подано как его освобождение и познание им истины и о собственной жизни, и об окружающих людях.

Язвительная **Ира Олейник** (**«Кто знал, кто был готов?»**, № 4) представляет нам вид нашей «Рашши» с порога — из аэропорта. Героиня-эмигрантка прилетела в Москву — разлетелась вкусить родины. «Забытое ощущение холода приятно волнует, как аромат ментола. "Шереметьево". По-русски! Гады, живете и не цените. Перечитываю и перечитываю». Текст насмехается над восторженностью гостьи столицы — в образе чиновниц аэропорта, желающих подложно вытянуть из героини деньги. Героиня сдается и принимает правила игры с российской чиновницей. Испорченное впечатление о родине хорошо передает последняя фраза о вожделенном русском снеге: «Им вкусно скрипели разъеденные солью сапоги».

Драматичную **новеллу** о человеческой природе опубликовал **Владимир Порудоминский** (**«Яд»**, № 4). В рассказе много точнейших, острых наблюдений о человеческой природе и об иронии судьбы. Текст отлично вписывается в проблематику журнала: это рассказ из быта фашистского гетто. Главный герой, Хаим, — крепкий старик, живущий этикой частного выживания, по сути только и доступного, когда сопротивление бесполезно. Ему противопоставлена дочка Софа, юная непослушантка, упрямо не замечающая своего продавшегося за опеку отца. Хаим — начальник охраны гетто. Ему случается и пороть остальных пленных, и включать их имена в списки обреченных на расстрел. И он делает это — из желания выжить, выгородить дочь, а порой и не без рабского хотения выслужиться. Софа, напротив, вызывающе подставляет себя под удар. Развязка наступает внезапно. Пленный Яков влюбляется в Софу и обещает бежать с ней по канализации. Но Якова казнят по случайному обвинению. Софа исчезает. А сам Хаим, заталкивая обреченных в вагон, вдруг окажется запертым вместе с ними, так что останется ему одна надежда — на крепость яда, который, готовя побег, принес ему Яков. Но почти не удивится Хаим, когда яд окажется таблеткой от простуды, — а только будет обреченно сетовать: «Ах, негодяй! Негодяй!» — потому что проклинать свою судьбу и людей, так страшно ее исказивших, будет уже и поздно, и бессмысленно.

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА: «МЕТАФИКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ» И ПЕРФОРМАНС БИН-ЛАДЕНА

Если в художественных публикациях «NB» нет принципиального единства, то большинство литературо- и искусствоведческих материалов журнала объединено ***эстетической идеологией постмодернизма***.

◆ Актуальные тенденции литературной моды

Культового писателя постмодернистской эстетики Умберто Эко избирают своим героем два исследователя.

Марк Амусин (**«Остров Эко и литературная Вселенная»**, № 1) пишет об «Острове накануне» как о системе систем — «синтезе парадигм Острова» в литературе. Он отмечает цитатную насыщенность книги, умело трактует роман с позиций постмодернизма, но оказывается бессилен оценить сами эти принципы. Постмодернизм видится ему «как способ существования литературы в максимально неблагоприятных экологических условиях», когда «в простоте и наивности уже нельзя и абзаца написать — он грозит обернуться фальшью, плагиатом, куском масс-культуры» и когда «роман не может... убеждать читателя, будто все в нем написанное — истинная правда, прямое продолжение жизни». В соревновании героя-романиста с автором Амусину видится подобие соревнования автора с Творцом. Однако такая миросоздающая способность — лишь художественный прием, выдающий в авторе не творца, а змия, раскрывающего божественные основы мироздания перед наивной душой Адама-читателя. Познать механизм художественного творчества — не значит создать нечто реальное и самостоятельное. Постмодернистский Автор не создал, а только показал мир читателю, соблазняя: мол, я тоже — могу, и будете со мною как боги. Посулил — силы творящей не имея. Поэтому существование художественного текста как «метафикциональной стратегии», «предполагающей саморефлексию текста, его рассуждение о собственной природе и статусе в качестве главного средства обновления литературы», — это нездоровая заумь, вкладывающая орешек старческой филологической проблематики в вечно молочные зубки наивной, как юное божество, литературы. У искусства тут выбор один: выплюнуть — или сломаться.

Статья **Александра Этермана** (**«Роза ветров»**, № 1) посвящена отысканию литературных корней романа «Имя розы». Вполне постмодернистская вещица, в очередной раз доказывающая, что в литературе ничего нового нет. С этой целью автор отмечает любые, самые мелкие и даже глупые совпадения текста Эко и произведений Михаила Булгакова. Роза присутствует в сценах беседы Пилата и Иешуа... Роман Эко и «Белая гвардия» заканчиваются одной мыслью — мы, мол, уйдем, а роза/звезды останутся... Тема Апокалипсиса есть и у Эко, и в «Белой гвардии»... А рукописи знаете когда не горят? — когда их текст может быть восстановлен! Чем и занимается герой Эко, восстанавливающий текст второй части аристотелевской «Поэтики»! В общем, сходство Булгакова и Эко получается того рода, что, например, они оба мужчины и писатели. Итоговая мысль такова. Иешуа — знамение второй части Библии, новозаветной. Пилат, не способный понять Ветхий Завет, не может понять и важности происходящего перед ним. По

Ветхому Завету, восстанавливалась вторая часть — Евангелие, та самая «рукопись», которая не горит. Пилат помог осуществлению Нового Завета — и тем самым разрушил Римскую империю. Точно так же герой Эко расшифровал вторую книгу Аристотеля и спровоцировал катастрофу. По Булгакову, Россию сгубило продолжение Нового Завета — *вторая книга* поэтики Иешуа о равенстве и братстве всех людей, осуществленная большевиками...

О Булгакове вообще не писал у нас только ленивый. Порой это напоминает попытку въехать на чужом коне в мир достижений культуры. Поэтому нынешним булгаковедам остается не столько анализировать целокупный смысл проштудированных вдоль и поперек произведений мастера, сколько выцепливать и разъяснять в его текстах отдельные детальки. Такого рода литературоведение — вопрос скорее остроты зрения и библиотечной усидчивости, нежели мощи мировидения и оригинальности эстетической позиции.

Из этой же серии — и краткие эссе-размышления **Сергея Шаргородского «Заметки о Булгакове»** (№ 3). Под увеличительным стеклом филологического упорства этого исследователя самые незначительные детали и мотивы «Мастера и Маргариты» становятся важны и крупны настолько, что кажется, будто Булгаков размышлял над ними дольше, чем над всем романом. У Шаргородского Булгаков предстает филологом, религиоведом — кем угодно, только не писателем, автором живого и органично сложенного повествования. Помимо прочего Шаргородский даже конструирует «собачий текст русской литературы» — дабы вписать в него «Собачье сердце» и найти *десять сходств* (словечек, оборотов и деталей) с другими текстами русских писателей о собаках.

Совершенно постмодернистскую проблематику для своего эссе **«Виртуальные книги»** выбирает **Михаил Эпштейн** (№ 3). В самом деле, в эпоху постмодернизма люди не читают, взаправду с писателем не диалогизируют, а так, пробегают книжные новинки глазами, лишь бы *знать*, лишь бы ориентироваться в *тексте* литературы. Эпштейн предлагает писателям не тратить время на написание того, что все равно не будет прочтено и запомнено, а оставлять от задуманной книги основное — то самое, что как раз и оседает в памяти. Такая, «виртуальная» книга будет содержать ответы на вопросы: кто ее автор, о чем она, какие основные темы и понятия в ней трактуются, какие строки и абзацы, выражающие позицию автора, можно процитировать в знак нашего знакомства с произведением (не учитывается только живая эмоциональная реакция на содержание и эстетику книги). Виртуальная книга, таким образом, — это «мыслительная форма книги без ее текстуального наполнения». Написание полного текста книги, рассуждает Эпштейн, требует массу времени. Сколько его уходит на его отделку, мелкие детали и единичные слова! Не лучше ли это время потратить на написание книги новой? «Что лучше: две картошки с оставшимися чернинками на поверхности или одна, идеально очищенная картошка? — пишет Эпштейн. — Я думаю, что Бог, сильно ограничив время нашей жизни, призывает нас поторопиться, признав невозможность совершенства. Лучше две вещи, удавшиеся на 95%, чем одна — на 99%. Ведь полное, 100-процентное совершенство все равно невозможно. <...> Нельзя не ужаснуться ...жажде

богоравного совершенства, которое ведет к безумию и творческому поражению. Если совершенство невозможно, то не лучше ли полжизни потратить не на 4% улучшения, а на 95% созидания: коэффициент полезного действия увеличивается многократно». Только с чего это он взял, что в искусстве невозможно совершенство? — а то мы шедевров не читали... Кстати, при 95-процентном качестве литературы и качество чтения тоже становится 95-процентное.

◆ **Случай Парамонова**

Образчик бесспорно удавшегося анализа по-постмодернистски в журнале — есть. Правда, единичный. И, очевидно, обеспеченный не столько самим методом, сколько исключительным аналитическим дарованием автора. Речь идет о трех статьях **Бориса Парамонова**. Борис Парамонов для меня — тот случай, когда явный мировоззренческий противник может обладать убедительным полемическим обаянием и восприниматься как источник настоящего читательского наслаждения.

Казалось бы, что может быть гаже в искусствоведении, чем такой внеэстетический дискурс, как ***психоанализ***?! Вообще — объяснение творческого своеобразия какой-нибудь постыдной личной уязвимостью автора? По Парамонову, Блок и Белый — латентные гомосексуалисты, Достоевский — мазохист и женоненавистник гомопедофилического оттенка, Бакунин — онанист... Подобная просвещенность насчет гениев граничит с невежеством, падким на сдергивание с пьедестала всякого, кто в чем-то переплюнул скромную обывательскую середку. Такая глубина постижения личности грозит обернуться поверхностным упрощением духовных движений человека, удобным сведением всякого пафоса к излечимой истерии.

В случае Парамонова сомнительность психоаналитического дискурса усугубляется рискованной ***антихристианской настроенностью*** автора. Выходит странный поединок сексопатолога с аскетом-мессианцем. Здоровые инстинкты — против болезненного желания преодолеть убожество животности, удовлетворение насущных потребностей — против духовного голода. Эти «оппоненты» решают проблему человеческого бытия на совершенно разных уровнях, так что «битва» их похожа на фантастическое столкновение боксера и мастера левитации. В то же время внутри конкретной человеческой личности уровни плотского и духовного могут вступать в необъяснимое сотрудничество, которое следует воспринимать очень тонко, не заявляя, например, что гении гениальны потому, что голодают или рано лишаются девственности. Взаимосвязь плотской неполноты и духовной избыточности я предложила бы отнести за счет многих искажений нашей земной жизни, в рамках которой ничто не навсегда и не безвозмездно, и ангел выглядит бесполым идиотом, а герой — людоедом.

Куда там. Парамонов находит рецепт всеобщего счастья. России — бросить революции и приняться за туризм, поэтам и идеологам — пуститься в регулярный межполовой секс и не совращать общество своими видениями. Три статьи Парамонова образуют цикл о России, чья бабья недоля — жить без волевого мужского начала. Революции и искания — наша психоаналитическая патология по уничтожению Руси как Матери и Жены. Этот

важнейший «(мета)психологический сюжет» России (**«Интерпретация землеёбства»**, № 2) Парамонов извлек из прозы В. Сорокина. Конкретно — из мотива «землеёбства» в его «Голубом сале». Парамонов интерпретирует это явление как негативное инцестуозное влечение: «Так ли уж любит русский человек... свою знаменитую родину? ... означает ли "землеёбство" — любовь?» Экспериментальная модель «землеёба» — анархист Михаил Бакунин. При чем тут литература? Как же! Мазохист, интроверт, онанист — чем Бакунин не Обломов (что делал Бакунин? — лежал, как и Обломов; но что делает человек, лежа с книгой? — «ответ напрашивается сам: онанирует»)? Уснувший в пассивном мертвоподобии, чем Обломов — не анархист Бакунин («Обломов — подлинный революционер, тотальный нигилист, потому что он ничего не делает: лежит и мастурбирует»)? Цель революционеров обломовско-бакунинского типа — небытие. И путь к нему лежит через погружение в добытийное, докультурное — мать-землю, свальный грех, взламывающее печати культурных табу совокупление всего со всем. «Землеёбство», одним словом.

Тургеневские герои боятся России-женщины в образах Аси и Лизы. Гончаровский Обломов воспринимает женитьбу как революцию. Жизнь сделала из них собирательный образ — Бакунина. Ненависть к матери рождает в нем анархические фантазии как желание противопоставить подсознательному влечению к «грязи» земли, «грязи» матери абсолютную чистоту «Белой Смерти». В образе Бакунина Парамонов обличает всех почвенников и революционеров, когда-либо желавших под шумок агонии своей родины вырваться из-под давления вековых сексуальных табу. Парамонов гневно обрушивается на христианство, которое своими неуемными запретами и породило в России столько носителей революционно-мессианского бреда: «была истерия сорвавшегося духа, лишенного своего естественного телесного восполнения». Русский человек не любит родной земли — вот смысл российского землеёбства. России нужно не почвенничество, а почвоведение, — подытоживает автор свои рассуждения. «Землеебы»-почвенники сталкивают Россию в регресс — землелюбы-почвоведы выведут ее в прогрессивное будущее «туристической Мекки, рекреационного зала человечества».

В таком же ключе толкует Парамонов и революционные чаяния Серебряного века. В частности — Блока. **«Жена»**, вынесенная в заголовок статьи (№ 4), — это и Любовь Дмитриевна Менделеева, и женщина в сознании поэта, и вся Россия. Подобно тому как культ Менделеевой скрывал под собой нежелание Блока по-настоящему сблизиться с ней, так и взалкание Прекрасной Дамы в его стихах выражало желание поэта отодвинуть от себя женщину, сделав ее максимально недоступной и символической. Не говоря уже о том, что жажда революционной встряски России означала влечение к ее смерти как метафизической Женщине. Парамонов называет латентный гомосексуализм настоящей культурной эпидемией блоковских времен, а русскую революцию представляет нам как деяние сугубо гомосексуальное: «Это революция бытийная, вернее антибытийная, то есть "христианская". Ее метафизика — вражда к бытию, символизированному в образе женщины, — к природе, к естественным плодоносящим силам. Убийство

Катьки у Блока — ...это символическое, ритуальное убийство России. ..."Русь моя, жена моя". Здесь та же коллизия, что с Любой: это он, безлюбый Блок, отдает ее "чародею", не в силах сам ею мужественно овладеть. ...Мужское начало в русской истории — насильническое, а не любовное». Таким образом, у поэтов Серебряного века произошло «слияние индивидуальной драмы с сюжетом национального бытия».

Впереди апостолов гомосексуальной по подсознанию революции, как всегда, — «Исус Христос». Иисус как архетип андрогина, вдохновляющий своим учением на «нигилистическое, апокалиптическое горение». В совершенно постмодернистском духе сопротивления эстетике как сопернице непосредственной жизни Парамонов делает широкий жест в финале статьи: «Россию нужно развести с Блоком. Он ей не муж».

И в третий раз вступается Борис Парамонов за психоаналитический дискурс. Статья **«Девочки и мальчики Достоевского»** (№ 5) доказывает плодотворность психоаналитического подхода к творчеству одного из самых великих и русских из великих русских писателей. «Ставрогин — это демонизированный образ мужчины в сознании (латентного) гомосексуалиста» — в образе Ставрогина, мол, Достоевский изживал свое гомосексуальное влечение к реальному петрашевцу Спешневу, и «это не может не быть ясным всякому, читавшему Достоевского, тем более специалисту по Достоевскому». «Ставрос» — крест. Значит, в Ставрогине писатель демонизировал Христа. Если в «Идиоте» демоническое и христоподобное раздвоено на Мышкина и Рогожина, то в образе Ставрогине эти типы объединены. Ставрогин — импотент. В этом смысле он продолжение давней литературной традиции России, идущей еще от Печорина: «покинутость русской земли волевым мужским началом. Метафизика здесь — в отсутствии "физики"». Ставрогин — женоненавистник. И сам Достоевский все время губит своих героинь: «вещи Достоевского — настоящий женский погром». Итог вновь выводит нас к теме христианства как войны с полом и революции как ненависти к бытию в образе женщины. «Социализм, каким мы знали его в России, действительно не что иное, как "союз мальчиков", чуждый, если не просто враждебный, женскому природному началу, — борьба с природой как исчерпывающая формула социалистического проекта... Социализм в этом смысле — всего-навсего рационализация христианского аскетизма». Соборность как гомосексуальное сообщество — «это и есть связь христианства с социализмом». Дарование Парамонова сильно и ощутимо. В статьях его заголовки, ходы, парадоксы, глубина анализа — все блестяще. И в то же время не оставляет ощущение, что нас обманули в самом главном. В ценностном мире автора процитированных статей нарушена связь причин и следствий, сдвинут масштаб, вырыты корни. Прихрамывающая однобокость выводов, узость психоаналитической шинели, из которой вытискивается пышное тело философской концепции, абсолютная утрата восприимчивости к эстетическому, к наджизненному — все это в виде трагической жертвы подсознательного представляет самого Парамонова. Ведь читая о болезненно-сексуальной подоплеке русской литературы, невольно задумываешься: по какой причине психоаналитическим дискурсом столь настойчиво озабочен сам аналитик ...

◆ **Редкие ополченцы**

Три текста — публицистический, искусствоведческий и художественный — прямо или косвенно посвящены ***преодолению постмодернизма***.

Демократизация искусства — такую проблему в постмодернизме выявляет **Юрий Колкер** (**«Художники ножа и топора»**, № 3). Эстетика игры с уже созданным божественную избранность подменяет легко преодолимым образовательным цензом. Постмодернизм в этом смысле — эдакий социализм в искусстве: каждому — по потребности в славе, независимо от возможностей, каждому — по равному шансу схудожничать. Поводом для гневных инвектив Колкера послужила акция, прошедшая в апреле 2004 года на Трафальгарской площади. Перформанс японского постмодерниста по имени Он Кавара назывался «Читая миллион лет». Чтецы-актеры работали парами в течение семи дней: они зачитывали... годы, каждый в череде двух миллионов лет. Очевидно, люди не справляются с абсурдом мира и готовы теперь противопоставить ему не мысль о нем, а такой же абсурд, и единственно адекватным откликом на катастрофы прошедшего века Кавара счел натуральный ряд чисел, в объеме двадцати томов по двести страниц. «Деградацию» искусства Колкер связывает с буржуазной ***модой на бунт***. Уже импрессионисты, замечает он, смогли пойти против общественного вкуса и не умереть с голоду. В современном же мире антиобщественность художника стала уж что-то чересчур популярна, а бунт и вызов окупаемы: «нашелся ведь мерзавец, назвавший величайшим художественным произведением современности (перформансом) террористический акт 11 сентября 2001 года»! Так что, глядишь, новое искусство постепенно откажется от акций в пользу чистого экшна, от кисти и слова — в пользу «ножа и топора». Тогда-то и произойдет оно, веками алкаемое слияние жизненного и эстетического.

В статье **«Два музея. Йоминг Пэй против Даниеля Либескинда»** (№ 2) **Дмитрий Хмельницкий** сопоставляет два музейных здания, возведенных в Берлине в последние годы. Музеи эти, спроектированные известными архитекторами, взаимно отрицают друг друга, пишет Хмельницкий. Предпочтение автор статьи отдает ясному и прозрачному творению Йоминга Пэя, которое называет «классическим современным» зданием. По сравнению с ним эффектное здание Еврейского музея — «неизвестно что», поскольку фантазия Даниеля Либескинда выдает декоративный подход к архитектуре, «орнаментальный, а не пространственный». Главное украшение проекта — хаотично расположенные узкие окна — ничего, собственно, осветить не способны, зато создают экспрессию ломаных световых линий. Эту насмешку над предназначением окна Хмельницкий называет «постмодернистским выкриком», указывая на проект Еврейского музея как на символ ***«приоритета новизны над глубиной***, когда неожиданное решение стоит дороже правильного». В результате Берлин украшает «бесформенный грузный ангар, облицованный мятым алюминием», который не ясно чем и как наполнять и в котором «экспрессия остается нарисованной».

Самый оригинальный выпад против постмодернизма совершил (вольно ли?) **Яков Пятигорский** в тексте, который так и называется **«Постмодернизм»** (№ 4) и который представляет собой не что иное, как литературный перформанс, реализующий принципы постмодернистской игры. Свой рассказ

Пятигорский начинает с обманно-реалистичного, до банальности, введения: снег, «мороз крепко сковал Москву». На книжном развале герою всучивают книгу. Интерактивную. Которая подлавливает своего читателя на любой мысли и ему отвечает. Более того — планирует его знакомство с обладателями аналогичных книг, вталкивает его в волнительные сюжеты. Книга нахально рекомендует саму себя как «***литературу будущего***»: еще бы, ведь она вполне реализует последнее чаяние постмодернизма. Сопротивление жизнеподобному искусству неизбежно вынудит замахнуться на жизнетворчество, реализовать утопию о жизни-игре, искусстве-перформансе. Постмодернисты комплексуют из-за условности искусства, но, приближая его к жизни, обессмысливают любой эстетический акт. Потому что в сфере чисто физического, не духовного, болтливая книжка-интрижка не может конкурировать по жизнетворческой мощи — с морозом, который «крепко сковал Москву».

ГОСУДАРСТВА РЕЛИГИОЗНОЙ МЕЧТЫ

Проблематика Израиля и России как государств-проектов связана с поиском их главной, скрепляющей идеи и с выбором путей ее воплощения. Именно несостыковка ***идеи Израиля как государства*** с идеей государств, как такового, является главной проблемой этой страны. Такой вывод позволяют сделать материалы круглого стола **«Израиль — судьбоносные проблемы»** (№ 3-4). Ряд респондентов привычно останавливаются на проблемах внутренней и внешней политики Израиля. **Александр Донде** пишет о четырех путях прекращения арабо-израильского конфликта, из которых недавно были радикально опробован «харизматический прорыв» (распоряжение о выселении евреев из среды обитания палестинцев) ради ускорения «исторического изживания коллизии». **Яков Кедми** замечает, что, с точки зрения государственника-теоретика, ни террор, ни потери в территории не мешают государству как целому — только его частям в виде единиц населения. Если же сосредоточиться на внутреннем — на соответствии государственного устройства потребностям граждан, надо признать, что Израиль разрушит не война с Палестиной, а плохое образование и неравенство в правах.

Григорий Дризлих пишет о двойном стандарте в восприятии законов властями предержащими, о плохой организации разделения властей. **Даниэль Гутван** бьет экономическую тревогу: дикий капитализм наступает на завоевания сионистского социализма. **Яков Хисдай** обличает «моральную несостоятельность руководства»: «самоуверенность и бесстыдство», «силовые методы и трюкачество». **Мордехай Кремницер** задумывается над тем, что израильское общество утратило доверие к судебной системе, а **Сами Михаэли** угрожает Израилю экологической катастрофой.

(Надо заметить, что подобные проблемы есть у всех, и не судьбоносны они — просто сопутствующи. Другое дело — ***разговор о концепции Израиля как государства религиозной мечты***. Тут есть над чем подумать: ведь именно выбор концепции определяет судьбу страны.) Совершенно по-русски, в достоевско-бердяевском смысле, **Эдуард Бормашенко** предлагает искать «проблемы внутри нас», озадачиться внутренней ответственностью и виной — вместо того, чтобы искать внешнего врага, будь то палестинец, управленец или эмигрант.

Александр Этерман представляет иронический очерк об ***«этническом иррационализме»***. Израиль, утверждает он, — единственная страна мира, где мифология выдается за историю. Внешний конфликт Этерман считает отражением внутренних проблем. 1) Израиль не есть государство своих граждан; он — иудейское государство, хотя никому не ясно, как это толковать на практике. 2) Обособление нееврейских меньшинств в Израиле противоречит идее равенства и игнорирует тот факт, что именно эти группы составляют треть населения страны и дают стопроцентный прирост ее населения. 3) «Мы сознательно и сладострастно противопоставляем себя окружающему миру... Весь мир думает исключительно о нас — в основном о том, как бы нас уничтожить. Мы находимся в состоянии имманентной войны. Мы преследуемы. Мы непобедимы». 4) Мы не благодарим за помощь: «Весь мир — наш должник. Его миллиарды — ничтожная расплата за зло, которое он нам причинил. Или же за то добро, которым мы его одарили». 5) Мы не приемлем критики, ведь всякий несогласный с нами — враг, антисемит. «Конец конфликта явственно противоречит нашему самосознанию, нашему видению мира, нашей концепции онтологического превосходства, нашей кровной мистике».

Всем, кто озабочен внешнеполитическими проблемами, **Дмитрий Сливняк** заявляет: «к миру мы не готовы». В случае прекращения войны огромная агрессия, легшая, по мнению Сливняка, в вековую основу сионизма, выплеснется израильтянами на своих же сограждан. Концепция Израиля как несекуляризованного, религиозно мотивированного государства неизбежно столкнет его жителей в междоусобицу по выявлению чистоты крови и веры.

Михаэль Дорфман советует раскрыть глаза на тот факт, что Израиль гораздо ближе своим ближневосточным соседям, нежели Европе, по своему «государственному национализму», по «неразделению между государством и религией».

Отделить функции Израиля как государства от его религиозной миссии как центра мировой еврейской диаспоры предлагает **Менахем Бринкер**. **Авраам Б. Иошуа** уточняет проблему отделения религии от государства как проблему отделения религиозной принадлежности еврея от его национальной идентичности. В Израиле по-прежнему евреям-неиудеям, то есть большинству населения страны, отказывают в ряде прав и возможностей.

Внутренняя противоречивость идеи израильского государства становится предметом размышления и **Авиезера Равицкого**. Израиль поляризуется на светскую и религиозную общности. Простой пример из быта — упала продажа мацы: секуляризированные израильтяне ее не покупают, а истовые иудеи предпочитают готовить самостоятельно. Чтобы сгладить такое радикальное раздвоение, нужно сделать окончательный выбор: живут ли израильтяне ***«в еврейском демократическом государстве*** или ***в Святой земле***, ожидающей прихода Мессии?».

* * *

Статьи о России, помещенные в «NB», в большинстве своем подобны вглядыванию в замочную скважину: что-то там судачат о нас *злые соседушки*?

О том, что Россия воспринимается как «эта странная страна»[5], даже не стоит говорить. Печально то, что странности ее прошлого опережают по актуальности ее выходки в настоящем. Так, **Владимир Буковский, Джеймс Вулси и Михаль Пачепа** всерьез обсуждают **«Возрождение КГБ»** (№ 4): это вполне реально. Наступает ресоветизация — ведь они без полицаев не могут, эти русские! Более того, Буковский как бы заговорщицки подмигивает: именно спецслужбы развалили СССР, потому что идеологическая опека партии мешала КГБ работать. В духе модных окололиберальных идей **Леонид Гиршович** заявляет о том, что всегда считал коммунизм «бóльшим злом, чем нацизм» (**«Для одних я русский, для других еврей, для третьих израильтянин»**, № 5). Мол, коммунисты убивали своих же. Такая логика, во-первых, внушает ложную извечно племенную мысль о том, что убить своего вроде как больший грех, чем убить чужого, а во-вторых, вынуждает сравнивать подлежащее не сравнению, а полному искоренению. Разве легче жертвам оттого, что мы докажем, будто Ирод лучше Сталина или Нерон лучше Робеспьера? Однако мотив приравнивания или сопоставления сталинизма и гитлеризма встретился мне еще как минимум в трех материалах журнала.

Не многим лучше представление о современной России. ***Чечня*** в контексте журнала ***порой выглядит российской Палестиной***, исходя из чего произраильские авторы заявляют: Россия должна выступить на стороне антипалестинского Израиля. Однако уподобление Чечни Палестине категорически противоречит стремлению остального Запада отмежевать Чечню от проблемы мирового терроризма, выведя наш конфликт в ранг локальной усобицы.

Дан Шапира (**«Иорданские и саудовские добровольцы в Чечне»**, № 2) пишет о роли саудовских и иорданских чеченцев в российско-чеченском конфликте и о восприятии этой войны переселенцами с Кавказа в разных странах: «Пора, наконец, признать, что Арафат такой же “борец за свободу”, как Хаттаб или Басаев. Без этого ни официальный Израиль, ни официальная Иордания не смогут попытаться помочь России — коль скоро она сама такой помощи не желает».

В контекст мировой антиизраильской борьбы вписывает московский теракт **Сергей Кургинян** (**«Теракт на Дубровке»**, № 1). Захват заложников на Дубровке он считает «полномасштабной попыткой государственного переворота», в рамках которой евразийская партия власти пыталась заставить президента Путина перейти на свою сторону. Кургинян подробно, прибегая к комиксообразным схемам, описывает расстановку политических сил в России. Есть партии реставрационно-советской и либерально-модернизационной ориентации. А есть — внутренняя элита, вступившая в мировую коалицию с грядущей Евразией (техника Европы плюс сырьевая база исламского мира). Сила эта очевидно антиизраильской настроенности, но и антироссийской — в случае образования Евразии России как целостному государству придет конец, убежден Кургинян. Теракты евразийское сообщество использует как негативный аргумент для Путина — с целью вынудить российского президента к сотрудничеству с исламским миром. Кургин-

[5] *Антеро Киуру*. Дхармараджа в контексте эпохи// NB. 2004. № 2.

нян без обиняков агитирует Путина сделать решительный выбор в пользу модернизационной модели России и жестко оборвать намечающийся диалог с происламской политической элитой.

Тот же **Кургинян** свою предельно эмоциональную, почти паническую статью-послание **«Предупреждение, которое не услышали»** (№ 5) посвятил теракту в Беслане: «Демократия, блин! Мировая цивилизация! Гуманизм!»... Автор предлагает «аналитическую реконструкцию» случившегося — то есть пристальный анализ не только бесланских событий, но также и более давних терактов в российских самолетах. Акцент сделан на стратегии поведения властей. Вывод — теракт в Беслане, как и прочие подобные события, был актом «политической» войны. Точнее — даже внутриполитической, в которой не чеченцы воюют с русскими, а внутрироссийская политическая элита воюет с политикой президента. На этот раз Кургинян бросает перчатку не самой контрэлите, а официальной власти, не умеющей ей противостоять. Неведомый враг высветил в российском правительстве «бездарность, двусмысленность, полную неспособность отвечать на вызовы и угрозы». Кургинян видит единственный способ это исправить: отыскать, нарисовать, воскресить, выдумать и внедрить в жизнь ***новый метафизический проект России***. Без него страна скатится в смерть. Сегодня Россия принадлежит даже не третьему и не четвертому миру — в четвертом хотя бы бананы растут и нет ядерной инфраструктуры. Внутренняя политика наша выглядит так: скользит машина вниз по мокрой глине, впереди пропасть, а водитель «кричит “би-би” и отгоняет всех, кто претендует на его место». В путинском идеале Россия все-таки как-то наличествует, так что президенту следует настоять на своем проекте, решительно спохватиться и остановить скольжение страны в небытие. России нужно «вырастать и умнеть» — в этом для нее шанс выжить. Единственный, но он есть.

Если Кургинян, критикуя правительство, на него же и надеется, то **Владимир Прибыловский** и **Юрий Фельштинский** (**«Операция “Наследник”. Штрихи к политическому портрету В.В. Путина»**, № 1 — 2, 4) в своих обличениях куда более циничны и беспощадны. Они подробно анализируют политическое и личное прошлое президента, его путь к власти, возможную фальсификацию результата выборов в 2000 году, государственные порядки. Интереснее всего подробный анализ различных способов фальсификации и размышления об олигархии в сегодняшней России. Борьба с олигархами — почти хит прошедшего лета. Авторы статьи предлагают разобраться: кто же в России представляет олигархию (то есть *властвующее меньшинство*)? Они замечают, что олигархия у нас чиновничья, а не финансовая. Бизнес-магнаты не рулят в государстве, а стало быть, ***ни Гусинский, ни Ходорковский — не олигархи***, ведь при всем своем богатстве не занимают государственных должностей. Скорее всего, настоящая олигархия потому и обрушилась на Ходорковского, что он заявил *о намерении* вступить в борьбу за политическую власть, то есть *стать олигархом*.

Остроумно размышляет о «бесконечной мыслимости России» как причине ее непригодности для жизни **Михаил Эпштейн** (**«Виртуальные книги»**, № 3). Россия — это «аксиома и гипотеза»: «Россия — то, чем могла бы быть Россия, если бы она была еще больше Россией, чем она есть». В советское

время страна жаждала коммунизма, то есть полного вовеществления социалистической идеи, — а наличествовал только человеколицый социализм. Тогда, мол, русский народ решил: если максимум невозможен, то и серединки не надо. «В 1917 году историю творила восходящая идея, а в 1991-м — падающая, что для судьбы идееносного народа еще более показательно... Так коммунизм дважды Россию разрушил — сначала когда наступил, а потом когда не наступил».

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ

Люди, которым в «NB» посвящены отдельные статьи, — не просто личности, а ***своего рода мировые символы***, так сказать, звезды мировой сцены.

Если бы было возможно наградить за лучший биографический очерк, опубликованный в журнале, я бы не задумываясь выбрала статью **Михаила Хейфеца «Он не мог поступить иначе»** (№ 1). Статья посвящена Александру Ульянову и его «Террористической фракции» — революционному кружку, чудом только не разбомбившему 1 марта 1887 года царя Александра III. Очерк выполнен блестяще: захватывающе и глубоко. Хейфец — публицист-виртуоз, безупречно владеющий искусством трактовки фактов. История в его изложении увлекает, как роман, и при этом автор нигде не грешит против истины. Вся эпоха подспудного, буквально взрывоопасного брожения русского общества, все внутренние душевные движения ее героев представлены нам. Каждая деталь, каждая черта характера — а их в статье использовано без счета — подкреплены документально, при этом любой факт оказывается преломлен в авторском видении эпохи, получая таким образом по-настоящему концептуальное толкование. Русская история в очерке Хейфеца предстает изобретательной романисткой, безжалостно и своевольно, но точно и знаково сводящей в роковой круг характеры, судьбы, таланты и надежды.

Хейфец вскрывает не столько вынужденную правоту революционного террора, сколько его трагизм. В центре авторского размышления — Александр Ильич Ульянов, человек без страха и упрека, блестяще аттестуемый современниками: и отличник, и лучший брат, и талантливый ученый, и благороднейший человек. Русская история и ложное представление о долге сталкивают его на большую, но короткую дорогу революционного активиста. Хейфец предполагает, что роковую роль здесь сыграла смерть отца: свою жизнь старший Ульянов посвятил делу мирных преобразований. Он достиг больших успехов в народном просвещении в те времена, когда — отдадим должное мастерству Хейфеца складывать факты — крестьяне платили взятки учителям, чтобы те не учили их детей. Но «власти загубили дело его жизни»: в 80-х годах земские народные училища были сочтены ненужными, и от внезапного кровоизлияния в мозг Илья Николаевич Ульянов скончался — в возрасте 54 лет. По романным законам, главному герою противопоставлен антагонист — другой лидер «Террористической фракции» Петр Шевырев. Опираясь на свидетельства современников, Хейфец ходит к выводу о том, что Шевырев «обладал от природы самым бесполезным и трагическим талантом для российского простолюдина: он был организатор по сути натуры». Этот-то делец от революции, принцип которого — все средства хороши — и сгубил команду. Без романного (а на деле — повторюсь —

совершенно достоверного, доказанного архивами) амплуа не остался ни один персонаж. Ни главный иуда группы — Канчер, ни судивший группу Николай Неклюдов, в прошлом любимый ученик Ильи Николаевича, ни статисты вроде бомбиста Анреюшкина и связной Шмидовой.

Удивительно то, что перу того же автора принадлежит довольно сомнительный очерк **«Неизвестный Сталин»** (№ 4). На мой взгляд, по отношению к Сталину **Хейфец** неоправданно предупредителен и уж слишком пытается выйти на душевно-человеческую трактовку этой личности. Иродианство Сталина Хейфец трактует как результат личной драмы: мол, после гибели жены душа безутешного вдовца омертвела (хотя сам же полагает, что Аллилуеву погубила бессердечная и извращенная неверность мужа). Хейфеца умиляет, что Сталин воровал книги из библиотеки. Грубость сталинской натуры он оправдывает тем, что юность «одаренного и самолюбивого парнишки» прошла в среде хамоватых семинаристов. По этому поводу не грех процитировать слова критика, неоднократным попыткам усложнить и очеловечить Сталина противопоставляющего точное осознание того, что «Сталин — проще, *архаичнее*, именно поэтому он и победил»[6].

Опыт сравнительной психологической биографии предлагает **Михаил Эпштейн**, сопоставляя судьбы поэтов Гёльдерлина и Батюшкова (**«Безумие как экстаз и доктрина»**, № 3). Оба поэта — из эпохи романтизма; оба прославились в тени великих; оба прожили в здравом уме лишь половину жизни (Батюшков — тридцать четыре из шестидесяти восьми лет, Гельдерлин — тридцать шесть из семидесяти двух); оба доживали свои дни в глуши, на родине. У обоих главным мотивом сознания, сведшим их с ума, было ***влечение к нездешней***, к истинной ***родине***: Гельдерлин грезил о Греции, Батюшков тосковал по Италии. По замечанию Эпштейна, влечение к иноземному — совсем не то, что влечение к неземному. Последним душа возвышается, первым — «отторгается от себя». Рассказывают, что, когда обезумевшего Батюшкова везли домой, наблюдавшего за ним врача потрясли слова, сказанные больным по-итальянски: «О родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо! О дорогая моя родина!»

Опыт оправдания предпринимает **Бенедикт Сарнов** в очерке о *«письме лакея»* — письме Ильи Эренбурга Иосифу Сталину (**«Как это было»**, № 2). Дело было во время подготовки Сталиным выселения всех евреев на каторгу. Письмо об идейной легитимности такого шага должны были подписать видные советские евреи. Эренбург этого письма не подписал. Зато сам написал Сталину по этому ***делу евреев*** — очень настороженное, извивчивое письмо с предложением задуматься над последствиями этого шага, но с уверениями, что, мол, если действительно так надо — подпишу. Эренбург применяет умелую риторику: не могу, мол, поверить в то, что товарищ Сталин хочет совершить такой просчет. Сарнов пытается «выгородить» Эренбурга и, на мой взгляд, делает это совершенно зря. Во-первых, нам, сегодняшним, все равно не доказать, что мы сами выдумали бы поступить краше и шире, а во-вторых, мы не вправе навязывать героям прошлого свои сюжеты. Эренбург написал, по видимости, мудрое письмо: ведь нужно уметь го-

[6] *Иванова Н.Б.* Невеста Букера. М.: Время, 2005. С. 261.

ворить с Иваном Грозным. И рассчитывал на реальный эффект (Сарнов предполагает, что письмо оказало влияние и спасло евреев от тотального выселения), а не на восхищение потомков, не на восторженную болтовню в рыночной прессе.

Антеро Киуру (**«Дхармараджа в контексте эпохи»**, № 2) пишет о судьбе востоковедения в советскую эпоху. К началу XX века ***российскую буддологию*** представляли ученые мирового уровня. Но в 1929 году изучение древней истории, а также классических языков, в том числе языков Азии и Индии, было прекращено. Это подорвало позиции школы академика Ф.И. Щербатского, со смертью которого была уничтожена буддологическая школа. Автор статьи настаивает на том, что рецензию-донос на этого крупнейшего в Европе специалиста в числе прочих подписал и его ученик В.И. Кальянов, наследовавший и дело, и библиотеку, и — по слухам — некоторые труды покойного учителя. Во время «оттепели» переживший ссылку бурятский ученый Бидия Дандарон возродил традицию чтения первоисточников и собрал вокруг себя реабилитированных к тому моменту бывших лам. В 1963 году Дандарон и единственный выживший ученик Щербатского Б.В. Семичов издали краткий тибетско-русский словарь Однако в 70-х годах Дандарон вновь был арестован и умер в лагере. И вот в России увидел свет двухтомник трудов Бидии Дандарона. «Уже то, что он оказался нужен и кто-то смог добыть денег на издание, — пишет автор статьи, — может внушить надежду, что не все еще потеряно для этой странной страны».

Константин Крылов изображает Сергея Аверинцева носителем концентрированной жестовости («Памяти Сергея Аверинцева», № 2). Жест был главным коммуникативным действием советской эпохи: обозначал поступок без последующего действия. Жест был основой биографии Аверинцева, использовавшего образ ученого как социальную роль, позволявшую ему безнаказанно нарушать табу советского общества.

Лезут в душу российскому президенту **Владимир Прибыловский** и **Юрий Фельштинский** (**«Операция «Наследник». Штрихи к политическому портрету В.В. Путина»**, № 1-2, 4). Расследование ***истинной биографии Путина*** авторы начинают с рассказа об авиакатастрофе, в которой погиб Артем Боровик. Есть версия: катастрофу организовали российские спецслужбы, так как Боровик собирал материал о детстве Путина, опубликовать который предполагалось накануне президентских выборов. Что же это за легенда о президенте, ради которой убивают и, главное, рискуют жизнью? Авторы вслед за прессой находят ***истинную мать Путина***, якобы расставшуюся с девятилетним сыном, потому что этого потребовал ее новый муж. Так Володя попал в Ленинград, где ему уменьшили возраст, чтобы он смог ходить в первый класс (дело в том, что грузинская школа, где мальчик проучился три года, не могла дать ему сносного начального образования). Авторы цитируют воспоминания предполагаемых одноклассников, матери и сводной сестры Путина. Володю в классе дразнили «чертом», а мама звала его Вовкой. В школу ходил в штопаной одежде. Занимался борьбой — чтобы «защищаться от людей, от их насмешек и издевательств». Упоминание об отметине, что должна была остаться у Путина на руке — от вонзившегося туда рыболовного крючка — и вовсе мифологизирует образ, уподобляя его

сиротке Гарри Поттеру со шрамом на лбу. Но больше всего поражает бесстыдное коварство предполагаемой матери. Вот перл о ее поведении: «Вера Николаевна, похоже, понимала, что из-за информации, которой она владеет, начинают гибнуть люди. "Я боюсь, что из-за меня Володя не станет президентом", — сказала она. Журналистов было два десятка, в том числе с российского НТВ...» Вот какая — боится и говорит десяткам журналюг! А ведь еще Соломон установил, что мать — та, что не даст разрубить своего ребенка ради установления частной истины. В целом же остается совершенно не понятным, зачем КГБ скрывает, а журналисты жаждут предать огласке происхождение Путина.

В каком-то смысле материал о Путине подобен тексту **Юрия Колкера «Как и отчего умер Сент-Экзюпери»** (№ 5), где также проводится косвенная мысль о том, что изменение фактов биографии якобы нивелирует значение человека в обществе и культуре. Автор опровергает миф о том, что Антуан де Сент-Экзюпери геройски погиб во время разведывательного полета, указывая, что погиб он совершенно в другом месте — и более того — в результате самоубийства. «Богатое семейство Сент-Экзюпери (*теперь* богатое; писатель умер в долгах) пустило в ход свои связи в коридорах власти и добилось запрета не только на погружения, но и на рыбную ловлю в этих местах». И семейство Экзюпери, и автор статьи заблуждаются, думая, что новости о гибели писателя помрачат его славу. Колкер даже почти злорадствует. Книгу о маленьком принце он называет «пустоватой», а героев ее — «карикатурными и плоскими». Не афоризмами же, мол, из детской сказочки жива великая литература. Этот самоутвержденческий пляс на костях не учитывает одного: подавляющее большинство читателей, знакомясь в детстве с книгой Экзюпери, знать не знают о героическом мифе его биографии. Честь выдающегося текста всегда спасут те, кто не вызубривал списки великих и кому безразлично, скажем, чья рука скрывается под именем Шекспира.

Пересмотру прижизненной славы народного кумира посвящены объемные эссе Б. Сарнова и Г. Бакланова. Оба автора пишут о Солженицыне.

Текст **Бенедикта Сарнова («Огонь с неба»**, № 4 — 5) показывает нам оппозицию славянофильства и западничества в новом свете. Сарнов против Солженицына — это как Белинский против позднего Гоголя. Автор пишет о своем разочаровании «и в писательских, и в человеческих» качествах писателя. Аргументирует компрометирующими воспоминаниями. Культ Солженицына, пишет автор статьи, был в чем-то тоталитарен: все решения его исполнялись беспрекословно, все были счастливы, что нашелся вождь, который все решает за них самих. Со свитой Солженицын не церемонился. Был любезен, но холоден — поддерживал температуру расстояния. Гневался, что интеллигенция не защищала его от гонений. Однако сам не выступил в защиту В. Максимова, а также Синявского и Даниэля, и других диссидентов, объясняя это тем, что творчеством отпустил себе долги: художник, мол, должен порой исчезать из сегодня. Мысль, что такое же разрешение может дать себе и любой другой человек, ему в голову не приходила. Сарнов замечает, что критическое отношение к наследию Солженицына находится под запретом: критика его ассоциируется с пособничеством властям — и что такой культ писателя ничем не лучше других культов личности.

Особо Сарнов останавливается на солженицынском ***антисемитизме*** и ложном ***славянофильстве*** последних лет. Он пишет, что «Двести лет вместе» — всего лишь смягченный вариант ранней работы Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России», где проблема решается по-сталински: если еврей хочет считаться русским, пусть докажет это тяжелой работой в отдаленных районах страны. Однако свою преданность родине, пишет Сарнов, смог бы так доказать и не каждый русский... В той, давней работе Солженицын написал, что если он не переработает ее, то просит опубликовать посмертно в исходном виде. То есть получается, замечает Сарнов, это и было главное завещание Солженицына? Вот, оказывается, на что всю жизнь меч точил! Финал статьи тверд и непреклонен: «Постыдно заканчивает свою жизнь этот человек».

Григорий Бакланов (**«Кумир»**, № 5) уличает Солженицына в славолюбии, нежелании поступиться своей единственностью ради общественной пользы. Бакланов подробно дискредитирует тезисы книги «Двести лет вместе». По поводу того, что Солженицын оправдывает еврейские погромы, со счетами в руках доказывая, что жертвы их были совсем незначительны, высказывается принципиально: «Такой человек — вне морали». В конце статьи Бакланов распаляется до прямых обвинений. Указывает, что сам Солженицын, писавший о воинском малодушии евреев, на фронт попал вовсе не добровольцем — лишь в октябре 41-го. И в фамилии-то его, мол, корень ЛЖЕ: «СоЛЖЕницын». «Орудие» он, мол, «холодной войны», вот и все его наследие. Текст жесткий, но свидетельствует о том, что Солженицын по-прежнему находится в центре общественной дискуссии, вольно или невольно определяя наши представления о чести и жизни не по лжи.

Владимир ОГНЕВ

ХОЛОДНАЯ ЮНОСТЬ

Луч солнца вдруг мелькнет, как спица
Над снежной пряжею зимы...
И почему-то вновь приснится,
Что лучше мы, моложе мы,
Как в дни войны, когда, бывало,
Я выбегал из блиндажа,
И вьюга плечи обнимала,
Так простодушна, так свежа:
И даже выстрел был прозрачен
И в чаще с отзвуками гас.
И смертный час не обозначен,
И гибель дальше, чем сейчас...

Д. Самойлов

1. Цыганка нагадала

...Вода в колодце была черная, но искрилась. Тянуло холодом. Я, перевесившись через теплый сруб, любил смотреть вниз, в таинственную прохладу.

Колодезь стоял на границе двух участков. Но если соседка не пускала к нему «посторонних» с улицы, чтобы не мешали отдыху курортников, которым сдавала сарайчики и даже беседку, завитую виноградом, то мама не запирала калитку круглые сутки.

Однажды по пути к колодцу заявилась даже целая семья цыган. Цветные платья, платки, озорные глаза девочек (их было четверо), широкая юбка их матери, похожая на карусель, хрипло-веселый гомон — очаровали меня.

Было мне лет 5-6.

Цыгане по очереди пили прямо из ведра ледяную воду, потом веером осели отдохнуть от жары под абрикосовым деревом.

Цыганка была молодая и на мой непросвещенный тогда вкус — красивая. Я не сводил с нее глаз. Она загадочно улыбалась и, потряхивая звеневшим монистом из денежек, резво осматривалась по сторонам, время от вре-

---

Владимир ОГНЕВ — родился в 1923 г. в Полтаве. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Критик, прозаик, кинодраматург. Автор более 40 книг, в том числе «Книга про стихи» (1968), «Югославский дневник» (1975), двухтомник «Горизонты поэзии» (1982), «Ночные прогулки» (1983), «Амнистия таланту» (2001). Живет в Москве.

мени следя за мамой, которая в полу своего сарафана складывала сорванные сливы, яблоки и жердели — некрупные абрикосы особого сорта. Поблагодарив маму, она неожиданно сказала: «Я хочу погадать вашему мальчику».

Мама удивилась: разве детям гадают? Но кивнула утвердительно. Цыганка взяла горячей, почти черной, рукой мою руку, повернула ладошкой вверх и долго смотрела на нее, нахмурив густые брови. Потом щекотно потрогала кончиком пальца поверхность ладони и сказала, глядя на маму: «Он проживет долго и счастливо. Но умрет от любви».

— Смотри-ка! — хмыкнула мама.

Я, конечно, ничего не понял. Но еще долго страдал от неизвестно как происшедшей утечки информации: меня изводили мальчишки, которых я считал друзьями.

— Эй, смотрите, это тот, кто умрет от любви!

Предстояло теперь убедиться на практике в правоте предсказания цыганки. Для этого, полагаю, должно с лихвой хватить долгой и счастливой жизни — поживем, увидим.

Ну а что же такое смерть?..

Первое детское ощущение смерти непередаваемо...

Колокол смерти — гром труб и звон литавр под моим окном. Я проснулся, очнувшись от дневного сна. Ставни на улицу были закрыты от летней жары. Пахло свежевымытым полом. Косые лучи падали от окна, выходящего на застекленную веранду. Гроб с шорохом раздвигал ветви акации. Шли по тротуару. Плач женщины, шарканье ног по каменному настилу.

Музыка удалялась, а сердце продолжало колотиться.

Я вышел на веранду. Пол под босыми ногами был горячий. Мама и тетя Лиза стояли у калитки. Мама быстро перебирала янтарные бусы на шее. Я увидел высоко покачивающийся красный гроб, заваленный цветами. И растерянного отставшего мальчика... За ним плелась собака, поджав хвост. Процессия тянулась по тротуару — немощеная улица была вязкой, незадолго до того прошел ливень.

Оркестр перестал играть. Мальчик теперь бегом догонял гроб, собака бежала за ним.

...Второе знакомство со смертью было более близким.

От солнечного удара умер мой одноклассник Толя. Я боялся идти к ним, но мама сказала, что это мой долг. Я пошел с парой цветков, сорванных с нашей клумбы. В полутемной комнате жужжала оса. Пахло пожухлыми цветами и мятой. Оса хотела сесть на руки Толи, сложенные на груди. Ее отгоняла заплаканная толстая женщина. Лицо и руки у Толи были белыми, как школьный мел. Брови очень черные, как нарисованные. Я положил свои цветы, как делали другие, на ноги в белых носках и таких же белых чувяках и отошел от гроба.

Мне было страшно. Толя, еще недавно строивший гримасы учительнице, был неподвижен и серьезен. Он лежал с закрытыми глазами, как будто спал. Особенно меня поразила белизна когда-то загорелого лица.

Потом мы долго и молча шли в жару за гробом.

Но самое страшное было, когда заколачивали крышку — как же он будет дышать? Жутко было, когда опускали гроб в яму. Кто-то шепнул, что надо бросить комок глины вслед Толе. Я не мог этого сделать...

...Море было рядом с кладбищем. Оно сверкало и слезило глаза. Я побежал по тропинке вниз, разделся и поплыл.

Теплая вода несла меня. Я был жив.

И я... засмеялся.

Я нырял, видел водоросли, краба, двигающегося боком, я взмывал над водой, ослепленный солнцем, погружался снова и снова в соленую, живую воду.

И — смеялся.

Прошли годы, я читал книгу о Моцарте. Меня поразила сцена: похоронив любимую жену, он остановил карету и бросился на траву, беззвучно хохоча. Кучер думал, что Моцарт сошел с ума. Мне было это непонятно и неприятно.

Почему же я забыл о своем купании после похорон товарища?

Почему мы забываем такое, чего не забывает глубинная память?

Но ведь не забываем!

2. Прилив

Все было так же, как и раньше. Мы тихо, заглушив мотор, подошли к крымскому берегу. Это было южнее Керчи. Вечером, уже в полной темноте, безлюдный берег возвышался над водой почти отвесно. Но так только казалось, что безлюдный. Между скалой из мергеля и песчаника и кромкой холодной осенней воды вилась, местами прерываемая ледяной шугой, узкая полоска песка, на ней толпой тени людей. Справа и слева от катера врезались в море две гряды. В эту не то чтоб бухточку и правили свой сейнер, по-военному именуемый то катером связи, то «эвакуатором».

Капитаном сейнера, казалось, навечно пропахшего рыбой, с нелепым пулеметом, задранным в хмурое небо, был Митрофан Федорович, еще недавно плотник в порту Анапа, а теперь, вот видите, капитан. Его пшеничные усы заиндевели от соленого ветра, он щурился, всматриваясь в берег, и что-то бормотал. Ветер стихал, волна спадала в узкой горловине заливчика. Слышны были лишь шуршанье шуги, поднятой от сейнера приливной волной, и шелест ее о берег.

— Ближе не могу! — крикнул Митрофан Федорович хриплым голосом, и мы поняли, кому это было сказано. Теперь стали более различимы люди, толпившиеся на узкой полоске суши. Мы сбросили трап и несколько пустых ящиков, что должны были выполнять то ли роль матов, то ли опор для трапа, не знаю. Темная толпа дрогнула и легким гулом голосов двинулась к катеру, оскальзываясь и матерясь. Легко раненных было больше, чем тех, кого несли на носилках, — они стонали и требовали помощи.

Я помогал нести носилки к трапу, передавал их команде из таких же тяжело дышащих доходяг, как сам, и вновь возвращался по колено в ледяной воде — трап был перегружен гудящей толпой, каждый торопился оказаться на борту раньше другого.

— Хана, — тихо сказал мне Митрофан Федорович, — потопим судно...

Сейнер осел в воду ниже некуда.

— Назад! — Капитан, пошатываясь на кренящемся трапе, встал перед теми, кто еще оставался на берегу. — Назад, говорю!

Секунда — и трап пополз на борт, а Митрофан Федорович, по пояс в воде, вдруг осветил мое лицо фонариком:

— Прости, Владимир... — и протянул мне автомат, — утром придем.

Я понял его.

Сейнер загрохотал и медленно отваливал от нас.

Все молчали. Потом кто-то заговорил на непонятном мне языке. Я понял только одно слово: «Шайтан!» Нас оказалось человек десять. Солдаты, все в грязи, в подвязанных под подбородком ушанках, с непомерно длинными винтовками. Один сел прямо в воду и заголосил. Потом замолк. «Узбеки мы», — жалобно сказал он мне.

Шторм начался так же внезапно, как стих перед посадкой.

Мы полезли наверх по скользкой глинистой горе. Тот, который только что голосил, лез впереди всех.

— Вода, — говорил он, задыхаясь от страха, — вода... прилив называется...

Я успокаивал его и остальных: прилив будет утром, часов в семь, а до того придет катер. Надо только продержаться до утра.

Обессиленные, выбрались мы на край крутого берега, но тут же в черное небо взмыла ракета и по нам с ближайшего взгорка сыпанула очередь из пулемета. Мы заскользили вниз по склону навстречу рычащему морю.

На время я потерял из виду соседей-узбеков. Потом справа услышал шарканье лопаток — они, молодцы, вгрызались в землю. Мне было хуже — я лежал на скале, которая справа и слева была едва припорошена грунтом. Попытка медленно двигаться к остальным успехом не увенчалась — я сползал вниз, и шум моря нарастал. Мне ничего не оставалось, как затихнуть, благо под левым локтем я нащупал корень кустарника, пробившийся в щели скалы.

Шторм между тем усилился, и меня уже обдавало брызгами.

Я лежал плашмя на холодном каменном выступе в мокрой от пояса шинели, в набухших сапогах, вдыхая острый запах йодистой воды, оглушаемый пушечными ударами волны о берег. Моя шея устала от напряжения, и я покорно прижал щеку к холодному камню. Левая нога нащупала выступ, это давало надежду, что я могу продержаться... но сколько? Автомат холодил затылок, шевелиться, чтобы спустить автомат пониже, не рискнул. Левая рука занемела, обнимая корневище, я ослабил мышцы и надолго застыл в распластанном состоянии. Ветер продолжал гудеть, брызги временами обдавали меня колючим душем. Я понимал, что долго так не протяну и что надо что-то предпринимать. Шуршанье саперных лопаток затихло, узбеки мои, видимо, окопались, как могли, втянули хотя бы по плечи свои тела в норы.

И тут над нами снова высветилась ракета. Ее противное шипение ударило по нервам. Потом со свистом пролетела над нами мина. Одна. Другая. Почти инстинктивно я подтянулся на руках, отталкиваясь ногой от выступа, безнадежно шаря правой ногой в пустоте. Что это? Пустота стала наполняться оседавшей, резко пахнувшей глиной, которая с шумом все больше заполняла расщелину справа от меня. Через мгновение я решился упереться в нее ногой и медленно, сантиметр за сантиметром, стал карабкаться наверх. Стрельба по неизвестной цели усиливалась. Огонь вели немцы не по нам, это было ясно. Наугад? Не похоже.

Внезапно меня осенила мысль — а почему бы и нет? Здесь, в каменоломнях Аджимушкая, слышал я, отсиживались от врага не только партизаны, но и морские пехотинцы, те, кто попал в окружение еще в начале октября — наши товарищи... Кто знает, может, это именно они, сделав вылазку, взяли огонь на себя, отвлекая немцев от нас, зная, что все побережье Крыма от Керчи до Эльтигена уже держали наши жидкие десанты. Не дать сбросить нас в море, не дать отрезать подходящие через пролив десанты от побережья, где мы цеплялись за каждый метр отмели, за каждую скалу... Так или иначе, бой нарастал, ракеты немцев взмывали одна за другой, заставляя нас, беспомощных, либо глубже вгрызаться в щели на берегу, либо стать добычей все нарастающего прилива — выбор был небольшой.

Подвинувшись вправо, я уже чувствовал себя увереннее — осыпь остановилась, и я мог даже снять с шеи давивший меня автомат. В нем весу что-то чуть больше трех килограммов, а ослабевшие руки едва держат мокрый его приклад и дырявый наствольник. Знаю, что в барабане семь-десят один патрон (если из него не стреляли), что метров с двухсот до трехсот он сработает, коли понадобится, но как этого мало для боя, у которого возможен только один исход — смерть. Плен? Нет, такое и в голову нам не приходило.

А пулеметные очереди уже сбивали под светом ракет верхушки холма, который возвышался над краем берега. В моменты абсолютной темноты, когда осыпалась ракета, бой вроде бы приближался, и даже сквозь рев штормового ветра, казалось — казалось? — долетали дальние крики немцев, русских ли — нельзя было понять...

Ракета, видимо на парашюте, надолго зависла над берегом.

Один из узбеков, наверное тот истерик, с визгом карабкался наверх, подняв в одной руке винтовку с шапкой, натянутой на штык. Кто-то пытался удержать его, но, падая и вновь подымаясь, беглец вырвался из рук товарищей и, подняв руки, шагнул за грань видимой нами ночи. Это стало как бы вещим знаком. Стрельба стихла. Наступила какая-то неправдоподобная тишина. Одно лишь море так же ревело и бросалось на скалы. Но это был другой шум, словно шум крови в висках, за которым чуялась странная тишина затаившихся человеческих страстей...

И внезапно мне стало как-то все равно. Даже холод, сковавшей все тело, казалось, отступил, отодвинул свои колючие щупальцы, а ног я вообще не чувствовал — что есть они у меня, что их нет. Я медленно входил в странное состояние сна наяву, даже слышал чей-то женский голос — откуда-то справа, где окопались мои узбеки.

...И вдруг воочию перед мной встали пыльные тополя, те, что реденьким строем, полусрезанные снарядами, мерцали в сумерках под Таманью. Это было месяц назад, когда мы пришли из Камыш-Буруна с ранеными на песчаный берег, западнее Кизилташского лимана. Свет был какой-то мертвый, затененные фары... И девушка с ветром борется. Шинель надута, как парус, светлые волосы относит на лицо, а руки заняты — держат носилки. Ветер пыльный и резкий, с порошей пополам. Руки у девушки без варежек, холодные. Я передаю ей документы мичмана Захарова, перепачканные кровью. Она отпускает одну ручку носилок, я подхватываю, берет документы,

прижимает их нежным подбородком, перехватывает снова ручку: меня зовут с грузовика, пора ехать.

Голова Захарова все еще качается в моих глазах, как она качалась на моих коленях недавно, пока мы не встретили санитарный эшелон. Колени сквозь штаны мокрые и липкие. Я почему-то боюсь вытереть кровь, кажется кощунством. Но это пока. Там, на грузовике, в кузове, я их вытер, конечно.

Все произошло как-то совсем глупо, мимоходом, там, на другом берегу. Мимоходом разворотило голову Захарову. Он пока жив, но ясно — умрет...

А девушка нежная, молоденькая, шинель внакидку рвет ветер. И подбородок нежный. А на нем следы крови от документов Захарова. «Мария, — позвал шофер, — поехали, что ли?»

И тут как тут — другое воспоминание. Надо же! Это было в Анапе, в раннем детстве. Под ярким солнцем шла сумасшедшая Мария. Гречанка Мария. Она шла голая, в длинных черных волосах — красный цветок. Волосами она закрыла грудь и придерживала их руками. За ней бежали злые мои сверстники и с криками: «Мария! Мария!» — бросали в нее камни. Она шла прямо и только морщилась и вздрагивала, когда в нее попадали. Красивые ее ноги были до щиколоток в белых носках пыли, а выше — чуть-чуть светлее смуглоты спины. Я с ужасом смотрел на нее и на мальчишек. Ужас был смешан со стыдом и болью. Вдруг один из мальчишек забежал вперед и с яростью швырнул камень, и Мария остановилась, подняла руки к лицу, запоздало защищаясь. Я зажмурился, как будто увидел солнце — распавшиеся волосы обнажили женскую грудь... Так с зажмуренными глазами я и бросился на ее обидчика. Помню соленый вкус крови во рту, губу, горевшую долго, и слезы странного недетского стыда ночью. Кровь на лице женщины... Мария... Мария...

Но это нежное лицо санитарки Марии, холодные пальцы, волосы, которые пахли ночью, югом, сиренью, хотя была песчаная пыль пополам с порошей...

Может, это любовь зовется так — Мария?..

И я вдруг так сильно захотел тогда, чтобы кончилась эта война, пусть Священная и Справедливая! Я так сильно захотел испытать единственное ощущение — взять холодные нежные пальцы в руки и дышать на них, и прижать их к шершавым, огрубевшим своим губам, и чтоб волосы, относимые ветром, касались моего лица... И чтоб это длилось вечность.

...«Прилив! Прилив!» — закричал кто-то, и я словно пробудился от тяжелого сна, не в состоянии двинуться окаменевшим телом. Узбеки мои, окопавшиеся значительно выше, хотели предупредить меня об опасности. Вода, пенясь, подымалась все ближе к моим сапогам, но я знал, что в это время раннего рассвета уровень воды все равно не опасен, и покорно опустил нестерпимо болевшую голову на землю.

Я снова провалился в полусон-полуявь.

...Теперь я видел красное море. Я стоял на берегу под Таманью и слушал дальнюю канонаду. До крымского берега было едва километра четыре, если напрямик от того места Темрюкского залива, с которого коса Чушка приближалась к керченскому предгорью.

Тогда мы дважды пытались переправить кубанскую дивизию. Командиром ее был усач с нечастой фамилией Книга. Вода бурлила под бомбами,

плоты и корабли шли ко дну даже ночью — пролив, казалось, нависая занавешенным ракетами небом, освещал тонущих казаков...

Утром приливом прибивало к берегу красные башлыки. Да, море было сначала розовым, потом заалело... До самой кромки у горизонта, где в тумане угадывался крымский берег, вода, по мере того как всходило солнце, становилась все краснее. Потом мне говорили: это твоя фантазия, намокшие ткани чернеют... Это была цветовая рефракция от зари. Пусть так. Но я это видел.

Я снова пробудился от крика узбеков: «Вставай, друг, лодка пришел!» В густом тумане действительно слышался рокот мотора.

Вода поднялась метра на два и достигала выступа, на котором угнездилось мое несчастное тело. С катера перекинули трап. Теперь он лег прямо на каменный выступ. Первым сошел на берег Митрофан Федорович. Он обнял меня, еще лежачего, снял автомат — «прости, Владимир». Потом меня подняли матросы и понесли, как ребенка, на руках. Говорят, я бредил. Не помню. Не помню, как грузились и мои друзья узбеки. Помню, что волна качала сейнер, что я лежал на пахнувшем рыбой матрасе, укрытый двумя шинелями, помню горячее что-то, что вливали мне в холодеющие губы, а оно горячо лилось мимо...

«Хороший прилив», — виновато сказал Митрофан Федорович.

Я забыл сказать, что он, капитан, был моим дядей, старшим братом моей мамы, и что у него еще за Первую мировую было два Георгиевских креста. А я был «белобилетником», вольнонаемным, и не хотел, если останусь живым, стыдиться перед ним...

3. Своя война

У каждого из нас была своя война.

Это только на экранах телевизоров она одинакова, хоть и документальная. Разрывы снарядов, все куда-то бегут с перекошенными ртами от неслышных криков. На экранах кинотеатров и того проще: новенькие портупеи, чистенькие шинели, лихо сдвинутые фуражки и ловко вздернутые в приветствии кисти рук, картинно падающие раненые и земля, падающая прямо с неба на свеженькие каски, самокрутки у костра, полуосвещенные лица́, крупным планом глаза опытного бойца. Одним словом, скажи-ка, дядя, ведь недаром...

Роль оператора, что в кино, что в бою реальном, примерно одна: показать правду, да только правда жизни и правда кино в общем-то бывает и разная...

Не только на войне.

Я помню перезахоронение Маяковского. Было тогда человек от силы пять, как это ни покажется странным. Странным было и то, что среди писателей, знавших поэта, оказался и я, студент Литинститута. «Камера, готовность, пошли!» — урна медленно опустилась на дно ямки, и тут крик розовощекого похоронщика Союза писателей, легендарного Ария Давыдовича, хоронившего еще Льва Толстого: «Стоп! Не так! Начали снова!». Оказалось, что кинолента была с браком, и оператор знаками показывал это похоронщику. Урну подняли, поставили на травку, рядом с ямкой, тихо ругались. Камера, наконец, дала знак, и снова урну медленнее, нежели в первый раз, опустили на положенное место. Писатель А. Первенцев (кто-то уверял нас,

что он — племянник Маяковского) вытер пот со лба. Кирсанов надел кепку. Мы разошлись. Тихонов косолапил.

Когда брали Рейхстаг, кинооператоры опоздали, и по приказу командования пришлось еще раз «штурмовать» твердыню фашизма. То, что мы видим теперь на экране, — не штурм Рейхстага, а позднейшая съемка — воспроизведение того, что имело место несколько ранее. Нечего и говорить про разное толкование одного и того же факта нашего военного опыта.

После выхода моих мемуаров «Амнистия таланту. Блики памяти» в зарубежном журнале (Слово, 2001), а потом и на русском языке, в «Новом мире», прочитал: «Кстати, об этом эпизоде — мытье пола в казарме — вспоминает мой старый товарищ, известный критик Владимир Огнев, бывший солдатом нашей роты, единственный свидетель моей службы. Тогда он еще не был критиком, но тоже уже был потенциальным литератором, и мы могли отвести душу друг с другом в разговорах о том, что любили. Он был там единственной отдушиной для меня... Свойством быстро обрастать друзьями я обладал всегда. Друзей у меня не было только в армии, до появления там В. Огнева...» (Н. Коржавин).

А вспоминал он службу в 384-м ЗСП (запасном стрелковом полку) в Еланских лагерях УРАЛВО осенью 1943 года, куда и я попал после пересылок, а до этого — ссылки. Но об этом — в свое время. Как и о том, что было до ссылки.

Тогда Эмка Мандель не был Наумом Коржавиным, поэтом-эмигрантом в США, а я, как уже засвидетельствовано Н. Коржавиным, — «известным критиком Владимиром Огневым». Нас почти в равной мере недолюбливал младший начальственный состав за «образованность» и попытки высказывать собственное мнение, которое в армии никому не нужно. О том, как я смотрелся со стороны, — не знаю, а как Мандель-Коржавин — написал с добродушием симпатизирующего ему субъекта. Интересно, что когда я, кажется в 2000 году, пригласил Коржавина на встречу в Международный Литфонд, где был председателем с 1991 года, тогдашнего Манделя из еланского далека узнать было и легко и трудно. Прежде всего оказалось, что Эмма вполне серьезно считал себя «хорошим» солдатом. Время стерло для него реальные черты своего облика — «Швейка» (прозвище, закрепленное за ним в 1943 году). Правду сказать, и тогда неточное, если иметь в виду не только вечно оторванный хлястик шинели и сбитую набок пряжку пояса, а лицо — вовсе не удалое и лукавое, а постоянно грустное и самоуглубленный взгляд выпуклых, вечно щурящихся от плохого зрения глаз. Его ночные наряды «вне очереди» тех баснословных лет Эмма не помнил или старался забыть, а я помню. Все в казарме спят давно и глухо, а он, бедолага, окунув негнущуюся от сковавшего ее мороза тряпку в холодную воду, в ведро, некоторое время раздумывает, очевидно, пока тряпка распрямится, и ... неожиданно выплескивает воду на серый, постепенно становящийся черным бетонный пол казармы, лезет на нары, сопя и вздыхая. Стихи уже, видимо, двигают его толстые губы, и постепенная улыбка растягивает рот. Эмма умащивается рядом со мной, и начинается долгий разговор тихим шопотом. Стихи. Так я узнал Пастернака, о котором, сознаюсь, только слышал в своей Анапе, но не знал ни строки...

Именно Коржавин подарит мне потом уникальный свой снимок похорон Пастернака в Переделкино, куда он, умница, догадался приехать с фо-

тоаппаратом. Но самое знаменательное для меня то, что первым студентом, встреченным мной в садике дома Герцена в 1946 году, куда я пришел после демобилизации, был... Эмма Мандель. Я читал ему свои стихи:

Ветры пустынных перронов,
Женский разорванный плач,
Красные двери вагонов,
Краткая надпись: Калач...

Он был в восторге дружбы, куда-то вел, с кем-то знакомил...

А хлястик на грязной и мятой шинели был все так же оторван и висел на той же правой пуговице.

Потом ночью за ним пришли в общежитие и увели в ночь. На много лет. Кажется, в 1954 году он заявился ко мне в шинели уже черного цвета с петлицами горного мастера. Бывший шпион «в пользу государства Гондурас» не сразу находил на карте это экзотичное государство. Мандель-Коржавин, в конце концов, вновь появился на нашем поэтическом горизонте. Через какое-то время, женившись, уже известным поэтом, неожиданно для нас, его друзей, махнул в неизвестную, так и не ставшую любимой Америку.

...Этот эпизод воспоминания о друге холодной юности, далеко завел меня.

В 1943 году на мерзлой пахоте меня учили ползать по-пластунски, почему-то наступая сапогом на копчик. Начальству казалось, что нижняя часть моего тела выше верхней. Я молча сносил это унижение, хотя ох как хотелось напомнить этому тыловому умнику, что мне приходилось ползать не под мат, а под пули.

...В небе Таврии тогда парил орел, царственный и спокойный, как будто не было войны, словно это он, а не немецкая зенитка, сбил И-16 и теперь торжествовал победу. Самолет упал далеко, ветром с моря дул «морячок», еще дальше унесло парашют с летчиком.

Мы шли малой группой на соединение с теми, кто уже высадился у Эльтигена, но были отброшены шквальным огнем противника к берегу. Я, припадая на стертую ногу, шел на восток вслед за другими. Смотрел под ноги, видел норки сусликов и полевых мышек, белые пятна высохших соляных озер, которые блестели под солнцем, как слюда. Марево клубилось на горизонте. Далеко на западе глухо ухали орудия.

Часа через два мы вышли к своим. Тут было непривычно тихо. Под покровом ночи солдат морской пехоты провел нашу группу к морю. В скалах, едва видных на фоне такого же темного моря, был проход к воде. Там нас ждал катер.

...Здесь в запасном полку таких, как я, «вояк» не было, но моя черная шинель впечатления не производила на младший комсостав, который постоянно почему-то подчеркивал мои ошибки. У станкового пулемета (я был вторым номером) помогал направлять ленту к стволу. Выходило, что и это нехитрое дело можно было и нужно было делать лучше.

— Вот даст тебе осколок по башке, — ворчал младший комсостав.

...Лето 1941 года. Эшелон идет по ровной степи пожухлых трав и редких желтых островков подсолнечника. Я сижу на открытой платформе у зачехленных ящиков и грызу семечки. Рыжий солдат Кучкин сыпанул мне их полную «жменю» (он кубанец и говорит, что недалеко его станица, всматривается в синеющую на горизонте рощицу). Но внезапно к привычному стуку колес поезда начинает противно примешиваться сначала едва различимый, затем тошнотворно нарастающий вой «юнкерсов». Состав убыстряет ход, а когда над нами появляются первые самолеты, резко сбавляет скорость, снова и снова маневрирует темпом хода — мы валимся с ног, непрерывно гудит паровоз.

Падают первые бомбы. Кто-то что-то кричит. Солдаты, прыгая вправо и влево по ходу останавливающегося рывками эшелона, бегут в поле. Я замер на месте. Небо распарывается от взрывов, меня обдает горячей волной, срывая брезент, я наполовину покрыт им, оглушен.

Наступает зловещая тишина. Удаляются самолеты. Кричит раненый в поле. Кого-то несут, взявши под мышки и за ноги, к санитарному вагону. Все еще оглядываясь на «юнкерсы», к платформам стягиваются солдаты. Бледный Кучкин, отчего его веснушки стали еще ярче, первым перевалился через борт и спрашивает ошалело: «Жив?» Я осматриваюсь и трясу головой. «Вроде». Борт слева от моего локтя прошит осколками, а один — острый, зазубренный, темно-фиолетовый и на ощупь очень горячий — лежит в семечковой шелухе рядом. Беру правой рукой, подбрасываю, кладу для чего-то в кармашек гимнастерки. Он жжет тело. «С рукой что?» — спрашивает Кучкин. Левая моя сжата в кулак и все еще отставлена в сторону. Удивленно разжимаю ладонь и вижу, что семечки склеены в ней так плотно, что напоминают... кастет из металла. Кучкин нервно смеется. Смеются возбужденные солдаты. Мне ничего не остается, как сделать вид, что я невозмутимо спокоен. Но вид мой — шок — никого не обманывает.

...Взвод запасного полка возвращается в землянку. Уральский лес заснежен. Дымки справа и слева разбитой дороги указывают на то, что дело все же идет к обеду и скоро мы отогреемся. Вот и наша знаменитая ледяная горка перед входом, кто-то смеется — опознать горку несложно. Рядовой Мандель с ведром так называемых щей всегда падает перед самым входом, и до весны горка растет, нарастая вмерзшими капустными листами. Выплескивая часть содержимого ведра, Мандель не вызывает нашего гнева — капуста сладкая, мерзлая, ее не жалко, а ниточки мяса так редки, что и говорить на эту тему стыдно. Зато весело узнавать родной дом по горке — такой у других землянок нет. У них же нет рядового Манделя, а у нас есть, и ему выпадает быть дневальным, — не так часто, как получать наряды вне очереди, но все-таки выпадает и ходить на гарнизонную кухню.

...Свой дом — всегда свой дом, даже если это землянка.

А если это по-настоящему твой дом?.. Мне повезло с этим. Часть войны прошла в родных местах. Из Анапы жарким августом 1941 года нас построили в огромную колонну и так, без оружия и обмундирования повели на неизвестную войну. Первый день мы прошли от Анапы до станицы Славянской. Второй переход — от Славянской до Краснодара. По пути гигант-

ская колонна обрастала все новыми пополнениями из окрестных станиц. Этот «железный поток» не описан в нашей истории, хотя уверен, что у Серафимовича такого огромного войска в романе не было.

До окраины города нас провожали матери. Они шли молчаливой колонной, чуть в стороне от строя. Мы были разбиты на взводы. Моим командовал знакомый отца, инженер винзавода. У него был пакет, где, кроме списка призывников, было, говорили, назначение... Наш взвод якобы направлялся в минометное училище.

Самые терпеливые матери отстали где-то в районе станицы Анапской.

Я помню, что больше всего хотелось пить. У меня была фляга, я купил в Тоннельной на базаре, где мы сделали первый привал, полстакана рислинга, а потом долил туда же колодезной воды, от холода ее ломило зубы. Время от времени, прикладываясь к фляге, я поддерживал боевой дух. Зато на первом привале есть отказался и почти не спал: адски болели ноги, задранные на какой-то ящик. Пахло сеном, было душно, к тому же я кашлял, мешая спать более здоровым бойцам. Когда нас подняли, мы думали, что идти не сможем, оказалось, не один я оказался слабаком. Но мы построились и пошли. А что делать...

В Краснодаре, на большой площади, куда расселенные на ночь в разных местах тысячи две призывников стягивались по пустым трамвайным линиям, была долгая и бестолковая перекличка — часть «командиров», вроде нашего инженера с винзавода, куда-то смыло. Больше я его не видел. Я прибился к другой группе, которая именовалась громко «ротой» из Анапы, хотя ни одного из знакомых мне лиц я не обнаружил. Были греки из Витязева, армяне из Су-Псеха и украинцы из станиц Анапской и Славянской. Все это разношерстное войско двигалось отныне в причудливо непредсказуемых направлениях, постоянно меняя командиров и вектор движения. Этот «железный поток» все увеличивался. В станицах нас поили молоком добрые бабы, время от времени командиры кормили нас в колхозных амбарах, но всегда почему-то не до конца: налетали вездесущие «юнкерсы» и мы разбегались по кукурузным и заросшим бурьяном оврагам.

После десяти дней «марша» многие из наиболее информированных ловкачей часть пути проделывали на открытых платформах поездов, поджидая нерешительных на очередной станции. Такое однажды проделал и я, заснув, разморенный жарой на сене в теплушке, где едва не потерял знаменитую ложку, которую, плача, вручила мне тетя Лиза, мамина старшая сестра: «Смотри верни, с этой ложкой дедушка твой на турков ходил». Слава богу, я ее в сене тогда нашел.

Весь август умные начальники водили нас по Краснодарскому краю и частично — по Ставрополью. Немцы бомб на нас не жалели. Тогда-то я впервые и получил контузию. Легкую, правда. Просто звенело в голове и болело долго и нудно, мешая слушать умные команды.

Об этом я уже рассказывал раньше.

...А Еланские лагеря заканчивали свою заботу о нас поздней зимой 1943 года. Нас выстроили целым полком на гигантской поляне, до которой шли маршем час с гаком. Перед строем играл духовой оркестр. Командиры

о чем-то шептались все время, пока продрогшие музыканты играли «Прощание славянки». Потом в гулкой тишине раздалось: «Рядовой Мандель!» Через секунды три послышался хриплый ответ: «Что-о?» Хохот прокатился по стройным рядам полкового построения. Мандель стоял за моей спиной, и я после очередной команды: «Рядовой Мандель, выйти из строя!» — сделал положенные два шага вперед и шаг вправо. Конечно, сделать это я обязан был лишь после того, как сзади стоящий вояка хлопнул бы меня по плечу. Но я знал, что от Манделя этого не дождаться, и опередил события. Я продолжал стоять впереди первой шеренги, когда новый взрыв хохота прокатился по зимнему воздуху. Мандель, оказывается, наступая на ноги рядом стоящим, пошел обходить строй сзади... Наконец, он стоит перед командованием и берет, уж как может, под козырек. Потом он остается стоять рядом с группой остающихся в лагере лиц, а мы под музыку трогаемся по команде навстречу неизвестности. Оглянувшись на повороте, я последний раз увидел Манделя. Представьте себе, он махнул мне рукой.

...А тогда, в августе 1941 года, наконец, почти определившись с маршевой ротой, в первом же налете на состав во время нашей посадки, свирепый «юнкерс» разметал по кубанской степи остатки живого состава. Первое ощущение: треснуло небо, потом лопнула моя голова. Видел: справа красный след от крови (моей?), слева — зеленый и черный от пороха. Потом ничего не помню и не видел. Трое суток — с повязкой на глазах, думал, ослепну. В госпитале, придя в себя, написал первые стихи на обороте к чему-то призывавшего плаката. Так пришло понимание на всю оставшуюся жизнь, что стихи пишут, чтобы избежать смерти. А потом уже, если повезет, и о любви.

Госпиталь был временный, полевой, в станице. Потом его эвакуировали в Краснодар, но в последний момент, не выгружая раненых, повезли почему-то в Кавказскую. Там тех, кого посчитали легкоранеными, меня в том числе, отправили по ближайшим военкоматам. По дороге возле Семигорья, мимо которого я столько раз проезжал в Анапу с железнодорожной станции в Тоннельной, что между Анапой и Новороссийском, одинокий «хейнкель» сбросил пачку листовок и для большей убедительности полоснул из крупнокалиберного. Как одно вязалось с другим, спросить было некого.

Мы, нас было трое, посидели в странно целом санатории, пустынном и гулком, попили воды, напоминающей «Ессентуки № 17», обильно запасенной дирекцией, и пешком пошли в Анапу. Один из нас был Хачикян, вечный второгодник, как мы его называли в школе. Он был философски настроен и предложил не так уж торопиться с возвращением домой. В частности, именно ему пришла в голову хорошая идея вымыть натруженные ноги пузырящимися и щекочущими кожу ессентуками, что мы и сделали не без ощущения приятности. Но уж чем особенно поразил нас вечный второгодник, так это тем, что поведал историю этих мест. То, что мы привыкли называть Семигорьем, в некие отдаленные времена называлось Семибратьем — тут еще до нашей эры рукотворно возникли семь великих размеров курганов под названием Семибратское городище, о котором писал Страбон. Так мы узнали, что жили до сих пор в историческом месте, и, преисполненные особой гордости, направили свои стопы к родному городу.

В городе нашем мы как-то даже сразу не узнали Анапы — все было разрушено. Мы попрощались и разошлись искать то, что было нашими домами. Я брел по длинной улице Крымской, то и дело оглядываясь по сторонам. Черные, как галки, изредка выходили к калиткам женщины и, прикрыв ладонью глаза от палящих лучей солнца, уходили в глубь дворов, не признав во мне своего сына или брата. Или мужа.

Внезапно у меня закружилась голова. Я остановился. И долго кашлял, задыхаясь, с тревогой всматриваясь, нет ли крови в пятнах на плитках знаменитой анапской, давно раскрошившейся дорожке, именовавшейся когда-то тротуаром. Крови не было.

Моя война продолжалась.

4. Такие крупные звезды

Я стоял на пепелище своего дома в Анапе. Полутонный фугас — это я понял сразу. Три кирпичные стены, ломаные вещи, разный хлам, хруст стекла и шелест бумаги под ногами.

И высокое звездное небо над головой вместо крыши.

Я вспоминаю, как его строили. Как пела мама — она, в красном сарафане, с большой кастрюлей дымящего борща бегала от рабочих (возлежавших, как римляне, под акацией на траве) к сарайчику с дымным мангалом и обратно... Папа не участвовал в стройке. Он был «начальником неба». Наезжал инспектировать, давал советы, один противоречащий другому, и укатывал в командировку. Он был фантазер. Так, ему захотелось, чтобы дом был с колоннами, и когда, ближе к осени, кажется, в августе, фальшивые колонны встали перед «порталом»... оказалось, что денег на крышу нет. Какое-то время мы спали на раскладушках и смотрели на звездную даль с такими крупными и яркими звездами, что долго не хотелось спать. С тех пор я люблю астрономию.

...Бомба упала через два дня после того, как «тройка» решила выслать семью мою в Казахстан. Это было в 1942 году. До сих пор никто не знает за что. Но в тот день к дому подкатила полуторка с заплаканными греками в кузове, которые потеснились, давая рядом места городской учительнице, трехлетней ее дочке и «начальнику краевого масштаба», впервые растерянному и бледному.

Везли их в эшелоне через красноводскую степь в страшную жару. В телятнике умирала и умерла старая гречанка. Охрана не разрешила вынести на волю даже труп. Отец, вспомнив, видимо, что он начальник краевого масштаба, кричал, стучал в дверь теплушки и требовал остановить поезд. В результате инцидента охрана сумела доказать отцу, что его времена прошли и больше не действуют. Слова подкреплены были ударом приклада, который пришелся не по адресу: маленькая сестренка моя, которую отец поднес к полуоткрытой двери телятника «вдохнуть глоток воздуха» хотя и тридцатиградусной жары, получила травму челюсти.

Постепенно отец все больше забывал о том, что он — начальник краевого масштаба, что масштаб его личности сведен на нет волею глобальных обстоятельств неумолимой системы.

Моя судьба тоже резко повернулась ко мне задом. Знакомый отца, начальник милиции, которому я принес документы, удостоверяющие мое временное увольнение из рядов действующей армии, а именно так называемый «белый билет», долго советовался с кем-то по телефону и, откашлявшись, строго велел мне в двадцать четыре часа покинуть родной город. Отобрав комсомольский билет и справку из госпиталя, он сунул мне временное удостоверение — изделие шероховатой бумаги — с одним словом в траурно черной рамке: «спецпереселенец». «Тебе повезло, — добавил он, — без охраны, лично следуй через Баку — Красноводск — далее на север Казахстана». «Куда на север»? — спросил я. Начальник милиции пожал плечами.

В дороге меня никто ни в чем не подозревал. Я был в черной шинели моряка, а при проверке показывал только «белый билет», случайно сохранившийся в левом кармашке гимнастерки, поскольку под морской формой скрывалось сухопутное содержание.

Где-то на юге Казахстана кончились деньги, и я пошел наниматься на работу, чтобы было на что купить билет до Кустаная. Что родители именно там, мне удалось узнать совершенно случайно. Ровно неделю проработал я... фининспектором, которому полагалось штрафовать домохозяек, которые укрывали от налога своих коров-бедолаг. То ли я был растяпой, то ли добрым малым, но я освободил за эту неделю от уплаты налога семей больше, нежели полагалось, и меня с позором выгнали с работы.

Кое-как я все-таки добрался до места ссылки семьи. Это была зона, в центре которой, засыпанное снегом (зима была ранняя), ютилось под Кустанаем село Федоровское. Полустанок, где не все поезда останавливались, представлял собой платформу с домиком километрах в трех от села. Никакой охраны я не заметил и бодро зашагал мимо заросшего камышом озера в направлении, указанном мне немногословным дежурным, который при свете коптилки играл сам с собой в шашки. Тропинка к селу кем-то была протоптана, снега было мало, зато звезд на небе невиданно много, или просто не на что больше было глядеть, но я радовался, предвкушая встречу с семьей, стараясь попутно сравнить расположение звезд на бескрайнем казахском окоеме со знакомым небесным пейзажем юга.

Каким-то почти звериным чутьем, иначе не объяснить, я нашел землянку, и, к неописуемой взаимной радости, семья воссоединилась.

К утру, наговорившись и наглядевшись на родные лица и с болью — на убогость жилья, — я решил идти, как мне было приказано еще в Анапе, «отмечаться» в местное отделение НКВД.

Но тут нашла коса на камень: отец снова вспомнил, что он начальник краевого масштаба, и категорически восстал против такого решения вопроса. «Ты кто? — спросил меня отец, — ссыльный? Нет, ты — защитник Родины. Ты на лечении. У тебя “белый билет”, а справку эту со штампом, будь он проклят, советую опустить в ближайший туалет!» Мама улыбнулась: ближайшим туалетом был хлев с рыжей буренкой, через который мы и попадали в свои апартаменты — низковатого потолка халупку. «Рисковать тебе нельзя, сынок, не слушай его» — такова был позиция мамы. Сестренка голоса не имела. Она во все свои темные глазки смотрела на меня

с восторгом и благоговением. Видимо, для этого почва была подготовлена. «Решение за тобой» — таков был вердикт родителей.

Прошло дней пять. Во мне боролись противоположные чувства. Конечно, «белый билет» был кругом спасения, он чудесным образом выручал меня во многих случаях, в разных и до того перипетиях. «Тебя же никто не видел! — не унимался отец, — до окончания срока далеко, ты чист перед собой и Родиной». А потом... Ну, через какое-то время (время не обозначалось) я, мол, могу явиться на призывной пункт и снова пойти служить. «И этого... пятна на биографии не останется», — заключил отец. Вот-вот, в самую точку! Это меня и угнетало, не давало спать ночами.

Но наступило утро, и я снова был обуреваем сомнениями. Не заставят ли меня остаться здесь, ведь я именуюсь «спецпереселенцем», а мой «белый билет» просто прозевали, отбирая документы.

Днем я спал, отсыпался, а вечером, когда небо усеивали мохнатые звезды, я воровски выползал через хлев на свободу. Надо сказать, что еще в тридцатые годы раскулаченная хозяйка жила в отдельной хате на задах двора. Конечно, она знала, что жильцов у нее прибавилось, но только вздыхала и опускала глаза при встречах.

Я смотрел на звезды — вот и все. Я думал обо всем, глядя на звезды, пока не замерзал в вытертой шинелишке своей и, прислушиваясь, не скрипит ли снег под чужими шагами, уползал в свою нору.

На пятые сутки я дрогнул. Сказал, что иду «сдаваться». Отец вздохнул и стал одеваться. Он знал туда дорогу, где сдаются...

Впервые, щурясь отвыкшими от солнечного света глазами, я шагал за отцом. Мы прошли две-три улицы, если это можно было так назвать — скопление землянок, дымки над занесенными снегом кровлями, лай собак, крапива, выбивающаяся из земли, кое-где оттаявшие полянки, брошенная телега, и ни души живой.

Домик комендатуры мало чем отличался от остальных строений Федоровского. Мы постучали ногу об ногу, открыли дверь. Комната с печью, пустой канцелярский стол со стеклянной чернильницей, неопрятная баба в платке, повязанном под подбородком.

— Дале не ходить, — скомандовала она и зашла за ситцевую занавеску.

— Здравствуйте полагается сказать. — Отец, видимо, начинал заводиться, сдавали нервы.

Из-за занавески вышел высокий седой мужчина в гимнастерке, почему-то улыбаясь.

— Ну, здравствуйте, граждане, — насмешливо, как мне показалось, сказал он. — Посадить вас некуда. Постоим.

Не унимавшийся отец, смутив меня ворчливым тоном: «Посадили уже».

— Значит, на пятый день собрались, граждане, — иронически, но как бы и добродушно, заметил начальник.

«Вот-те и спрятались», — подумал я, и холодок непрошено пополз по спине.

— Покажите документы.

Я протянул справку спецпереселенца. Мужчина взял ее и вышел в соседнюю комнату.

— Гуляйте пока, — протягивая бумажку с отметкой сказал он, возвратившись. И зевнул. Глаза были ироничные, умные, я бы рискнул даже добавить — добрые.

— Разрешите идти?

Кивнул.

Почему-то мы с отцом смеялись, нам было, представьте, весело. Наверное, ожидали худшего. Прошли мимо наглухо заколоченной школы, мимо озера, заросшего высоким камышом. Отец говорил, что ночами камыш ломают, для топки. Но надо осторожно. Мы обошли все село. Это было нетрудно.

— Там — отец протянул руку вдаль, — ингуши. Их то и дело ловят. То лошадь украдут, то, говорят, пырнут кого-нибудь кинжалом. — И, помолчав, добавил: — А я не верю.

Школу мы увидели позднее, когда пришли в свою землянку. В хлеву привычно грела ручонки о теплые бока коровы сестричка. Это ей разрешалось. За дверью лачуги, которую совесть не позволяет назвать комнатой, тем не менее... кружком на половицах на корточках сидели маленькие казахи. Мама посередине круга возвышалась на табурете и держала фанерку, на которой мелком была написана крупная буква «п». «Папа-а», — хором угадывали казачата. «Переселенец», — нараспев произнес отец. Мама нахмурилась, и папа вышел. Мама делала свое привычное дело, она учительствовала с восемнадцати лет, еще с Украины. Теперь любимое дело давало и дивиденды. Казашки приносили за учебу своих детишек большие куски желтого мутного льда — это было... молоко. Когда оно оттаивало, его толкли в деревянной бадье толкучкой, взбивали масло. Оно отделялось от пахты — та шла нам, взрослым. Масло берегли для сестренки.

Шло время, и наступила весна. За Федоровским расстилались степи первозданной красоты, с ковылем, мятой, многоцветьем васильков и полевых тюльпанов. Но, как ни манила красота, как ни веселила в жилах молодость, я неотвязно думал о дальнейшей своей судьбе, прерванной военной биографии, которая, я считал, одна способна была «реабилитировать» меня и моих близких...

Я по-прежнему уходил в степь, недалеко от зоны, и лежал там до тех пор, пока не высыпали крупные звезды. Воспоминания давили меня своей свободной когда-то правдой, естественностью дел и поступков. Что же это случилось со мной? С нами?..

Однажды, задержавшись в степи дольше обычного, я пришел к выводу, что сама природа оборачивается к нам как-то по-особенному. Тот же ветер, а пахнет по-разному — то приятно, то настороженным дыханием, то же солнце — то веселит, то мрачно опровергает свою солнечность. Непонятно? Природа, сказал бы я, имеет свой психологический портрет, а он, в свою очередь, запоминаясь, потом делается неким постоянным клише.

Предположим, ты идешь на катере и посматриваешь на небо — вот-вот покажутся немецкие самолеты. Вода кажется особенно глубокой, цвет у нее какой-то пронзительный, и берега отчетливее и резче, и кажется ненастоящим все, а призрачным, условным, что ли. Море — не море просто, а среда, готовая принять тебя навсегда, и ты не можешь относиться к этой среде

как к морской воде: она для тебя пугающая и одновременно притягивающая сила, и ты поневоле всматриваешься в нее по-новому, не так, как смотришь на нее, когда идешь с мирным рейсом.

Земля — далекая и недоступная, когда отходишь от Анапы, ощущается домом, теплом, красотой олив, шумом тихим и таким родным, что сжимается горло. А вот тот берег, крымский, знакомый не меньше, чем кавказский, наверное, навсегда останется для меня призраком тревоги и опасности. Сама конфигурация берега, невысокие серые холмы, особый, притаившийся шорох волны, напряженный ветер, дующий не так, как у нас на Кавказе, едва уловимые запахи гниения водорослей — все это вызывает странноволнующее, повышенное ощущение опасности, напряженности, когда мышцы как бы сами по себе становятся упругими.

И этот вечерний закат над бескрайней степью грустен не потому, что красив, а потому, что слился с моей болью — неистребимой, неотвязной. И, странно, только звезды, такие большие и далекие, снова возвращают меня в ту жизнь, где все продолжается вечно, успокоительно, надежно...

Ночи становились все тяжелее, все беззвезднее, и я однажды, простившись с родными, поехал на попутном товарняке в Кустанай, где и предстал перед очаровательной медичкой, которая в конвеерном порядке, не заметив, что нравится худенькому чудаку, признала меня годным. Хотя срок билета еще не был завершен, а туберкулез вряд ли пошел на убыль.

Стучали колеса на стыках, я стоял у окна вагона и думал уже о том, что немцы под Сталинградом. И только об этом. Мелькали осенние пейзажи, мела первая, ранняя в этом году поземка.

Шел 1943 год.

5. «А ружье-то оставьте...»

Зимой 1943 года в заснеженной Перми я ходил ночным патрулем по городу. Я любил это занятие, чем немало удивлял моих товарищей по взводу, а поначалу — и старшину Бабкина. Снаружи градусник показывал до минус двадцати. Спать хочется всем, особенно молодым и особенно в голодную и суровую зиму. Это — не моя Анапа. И даже не казахстанская избушка, кой-чем согретая в степи, где довелось и мне зимовать в ссылке с родителями и сестренкой... Город Молотов — так звалась в войну Пермь — ковал нас крепкими, по-сталински. С наковальни даже удары судьбы не стирали стылый иней.

А быть патрулем по городу — это еще и тоскливое дело: смотреть в теплые окна, за которыми иногда даже смеялись, где туманным силуэтом, прежде чем погаснет свет, маячили и юные особы другого пола...

Старшина Бабкин, поначалу как бы ошарашенный такой сознательностью, мало-помалу свыкся с моим самопожертвованием и стал видеть в добровольных вызовах странного курсанта на ночное дежурство по городу вместо простуженного или натершего мозоль собрата — одно чистое благородство и не раз перед строем наставительно укорял других, приводя этот, порядком поднадоевший многим, пример. Другие — а ими были все остальные, кроме меня, — или молчали в ответ Цицерону—Бабкину, равнодушно

уставясь в потолок казармы, давно требовавший ремонта, или ухмылялись, но едва заметно. Далее читателю станет ясно — почему.

...Улицы были пустынны. Почти темны. Тихо выл ветер. Ботинки между верхним краем жесткой до жестокости свиной кожи и нижним краем задубелых обмоток, к счастью, невидимого в темноте цвета бывшего хаки, настывали уже в первый час дежурства. Потом холод подползал под лопатки. А когда дело доходило до головы, переставшей чувствовать на себе трикотиновую ушанку, трогательно завязанную под подбородком, я говорил напарнику (я забыл сказать, что патрулями в одиночку не ходят):

— Слушай, я оторвусь тут по делу.

Напарники — самый догадливый народ. Кто бы ни попал мне на этот раз, я слышал в ответ примерно одно и то же:

— Гы-гы... А ты, того, ходок!

И хлопал меня по спине — успеха!.. Обычно около полуночи мы встречались в условленном месте.

Расставшись с напарником, я быстрым шагом шел всегда в одно и то же место... Нет, ты не догадался, читатель.

Я шел в Театр!

Зимой этого года в Перми в эвакуации находился Оперный театр. Да еще — из самого Ленинграда. Да еще — со знаменитым на весь Союз тенором.

Когда мы шли строем в баню, я наступал на пятки впереди идущему, стараясь рассмотреть хотя бы снаружи величественный фасад оперы. А теперь вот входил в театр с карабином, перед первым звонком, порою запорошенный снегом, но ни зрителей, ни администраторов это не удивляло. В войну люди ничему не удивлялись. Шелестел говор, сверкали зеркала, женщины прихорашивались перед ними, а я отражался в сверкающих плоскостях сосредоточенно-бледный от волнения — меня ждало чудо.

Билета у меня никто не спрашивал. Об этом с момента моего знакомства с ней позаботилась старенькая гардеробщица Анна Иннокентьевна. Случилось это впервые так. Я долго разгуливал под высокими окнами театра, видел клубы пара, вырывавшиеся из большой фрамуги второго этажа, и даже слышал (или это мне казалось?!) звуки настраиваемых струнных. Потом осторожно открыл тяжелую, окованную медью дверь и, очутившись в просторном фойе с дугообразным расположением вешалок, подошел к ближней аккуратной старушке и тихо спросил:

— Извините, у меня нет билета, но есть очень-очень большое желание послушать музыку... — Получилось просительно и витиевато.

— Вы любите музыку? — спросила старушка в очках с такими сильными стеклами, что, когда я смотрел ей в глаза, они казались до страшного большими, с белым бантом, выползавшим на широкий воротник заштопанной кофточки пегого цвета. Она произнесла это, ничуть не уступая мне в высокопарности, отчетливо разделяя слова, и вдруг так хорошо и просто улыбнулась.

Мы познакомились. А дальше было, как говорится, дело техники. Она церемонно представила меня по очереди двум своим сослуживицам, одна из которых охраняла боковую ложу бельэтажа справа от входа. Чаще всего я пользовался этим вариантом проникновения в храм искусства: уверенно вхо-

дил, не раздеваясь, в ложу и становился с карабином в положении «у ноги», прислоняясь к линялой бархатной стенке, рядом с дверью. Сидевшие в ложе воспринимали это как должное, а, может быть, наиболее солидная публика считала, что я их охраняю. В военное время всякое, мол, может случиться. Уже после взмаха палочки дирижера во мне что-то вздрагивало и старалось выйти наружу. Конечно, я это нечто не пускал хозяйничать. Пока звучала увертюра, я тем не менее медленно расстегивался, постепенно меняя форму одежды с зимней на летнюю. Если было пустое кресло, я даже позволял себе присесть, зажав карабин между колен, и не сводил глаз со сцены. Царила ее величество Музыка... И разве было важно, какая форма на мне и на тех, остальных, что ходили в оперу по билетам? Волновался вместе со всеми, сидящими в зале, они переживали вместе со мной. Благо я знал содержание опер — мне не приходилось запаздывать с началом обратного переодевания в шинель и ушанку. Неторопливо затягивая ремень, про себя мурлыкал прилипший мотивчик, а когда зажигался свет в зале и медленно опускался тяжелый занавес, снова уже вполне походил на защитника отечества.

Выйдя из театра, я проваливался в беззвучную городскую тьму. Было зябко и счастливо одновременно. Постоянно продолжая напевать, теперь патрулировал я в приподнятом состоянии духа. И тут натолкнулся на своего напарника.

— Вот здорово, а то скучно одному.

— Одному скучно, — согласился я, вкладывая в это какой-то совсем другой, восторженный смысл.

— Ну как? — Любопытство его било уже через край.

Я показал большой палец, предварительно сняв успевшую задубеть цигейковую варежку.

— Ну, даешь! — восторженно откликнулся напарник. Никакой дурной зависти не было в его восторге. Одно восхищение и гордость за товарища.

— Киевляне, слышь, вчера ремнями наших побили. Ну, Киев, держись!

«Киевляне» — курсанты эвакуированного артиллерийского училища, наши соседи по казармам и окраине Перми. Их плац отделял от нашего дощатый забор. В нем часто вынималась шестая слева доска, и происходил известный еще с далеких веков обмен: деньги — товар. Товар был постоянно их. Мы, глотая слюну, покупали у них скромные ломти белейшего хлеба с толстым салом. Артиллеристов почему-то кормили лучше. А норма-то была одна. Загадка. Белый хлеб! Это же вообще что-то фантастическое!..

И почему патрули дрались по ночам — убей, не пойму. В Перми квартировали, кроме нашего, Молотовского стрелково-минометного, еще эти артиллеристы и медики. И редко обходилось после ночных патрулей без фингалов, а то и того интересней. Но меня почему-то миновали эти страсти — то ли потому, что после оперы во мне все еще звучали некие валторны и они гипнотически утишали страсти артиллеристов и действовали на медиков вроде хлороформа, не знаю, но и те и другие дружески кивали мне при встречах, и я возвращался домой без фингалов, чем еще больше удивлял Бабкина. Он уже гордился мной, сознательным бойцом, достойным всяческого подражания. И как-то даже предложил выхлопотать мне увольнительную... в театр.

— А то все маешься на холодине, как дворняга.

Мне стало не по себе. Как тогда, в детстве, когда, не удержавшись, по дороге из магазина я съел полкулечка пастилы, а мама дома пожалела меня: «Ребенка обманули, не стыдно?» Не знаю, как кому, а мне было стыдно.

Но оперно-балетный мой репертуар между тем расширялся.

Мы, как всегда, обсудили с Анной Иннокентьевной премьеры: оперу Коваля «Емельян Пугачев» и балет Хачатуряна «Гаянэ».

— Коваль — композитор слабый, — вздохнула старушка. — Но, я бы сказала, хоры звучат неплохо. И массовка убедительная.

— Убедительная, — отозвался я, вполне разделяя ее мнение.

Прежде чем уйти, я непременно задерживался у вешалки, пока Анна Иннокентьевна не оденет последнего зрителя. Оживленные пермяки, делясь своими дилетантскими впечатлениями, не мешали нам, знатокам своего дела, параллельно с ними вести свой отдельный диалог. Какая-то дама, принимая шубку из давно, видимо, вылезшей из кожи белки, называла тенора «милашкой». Анна Иннокентьевна, страдальчески закатив глаза, отчего они сквозь сильные диоптрии, приняли ужасающе крупные размеры, скосила их потом в мою сторону. Я понимающе зажмурился.

Наконец все ушли, и мы могли подвести профессиональные итоги.

— В конце концов, на репетиции уже все видно, — говорила старушка, уязвленная моим сообщением, что Герман чуть не упал в щель, покрашенную под речку Мойку. — Я огорчена, что он принял лишнего. С его талантом надо уважать зрителя. Даже такого, какой есть, — после паузы добавила она. — А вечером, говорят, чуть не осрамился с этим верхним «си». Нет, так нельзя! Я слушаю репетиции утром, когда другие сидят по домам. — Она показала своими увеличенными глазами на подруг, уже выходящих из театра. — Я понимаю их. У них хозяйство. У меня же только театр.

При последних словах Анна Иннокентьевна гордо выпрямилась, а слово «театр» произнесла пафосно, с французским прононсом.

Моя старушка — я уже знал об этом — потеряла семью в Ленинграде в самом начале войны. В Перми жила одиноко. Но все преходяще в этом мире.

Однажды, придя в театр, я увидел на ее постоянном месте другую женщину — молодую и энергичную. Я, кажется, уже тогда все понял. По спине побежали мурашки.

— Да, сегодня ночью. Сердце.

Это сказала дежурная, та, что с правой ложи. Глаза у нее были красные.

Я повернулся и ушел в ночь.

Что она видела перед смертью своими укрупненными глазами — почему-то пришло мне в голову — или кого? На душе было мистически страшно. Я вспомнил ее радостное удивление, когда я рассказал ей, что моя мама была знакома с Короленко — «А он, знаете, здесь в ссылке был!». Как она вспоминала по памяти слова Герцена, тоже побывавшего в Перми и тоже ссыльным, о городке, «в котором мы теперь слушаем музыку»... Теперь я думал о том, что Анна Иннокентьевна, быть может, была причастна к дворянскому сословию — я не удосужился больше узнать о ней. И меня и это угнетало, хотя какое это имело значение. Музыка ли нас сблизила, или вот

это радостное ожидание — что война, рано или поздно, кончится, что люди будут жить светлее, чище, благороднее (хотя теперь я думаю, что в войну всего этого было побольше, чем сегодня) — вот что было важнее.

Но теперь этого не узнать.

Я шел по зимней тоскливой улице. На тумбе кто-то соскабливал афишу, собираясь наклеить новую.

— Что-то ты рано, — участливо поинтересовался напарник.

— Да уж...

Прошли годы. Я постепенно забывал многое. А вот почему-то нет-нет да и вспомню первые слова Анны Иннокентьевны при знакомстве — это ее испуганно-наивное:

— А ружье-то оставьте!..

6. Один день и одна ночь

Я, южанин, видел лыжи только в кинохронике. Со стороны казалось, что это приятное занятие — скользи себе по снегу, как у нас по морю на лодочке. Но когда старшина Бабкин объявил, что завтра с утра встанем на лыжи, курсанты весело загалдели, а мне, единственному среди уральцев и сибиряков южанину, стало как-то неуютно. Что значит «встанем всем взводом» — как что-то само собой разумеющееся, да и еще и радостно ожидаемое.

Назавтра мы встали на лыжи. Встал, конечно, и я. И поскользнулся на месте. Но устоял. Лыжи, оказывается, скользили не только тогда, когда ты этого хотел, но и сами по себе. Да еще и в разные стороны — не только вперед, но и назад. А еще перед этим надо было их надеть. Тут мне помогли, растолковали, как они крепятся на ногу и как опираться на палки, которые тоже надо было, оказывается, держать под контролем — могли они, например, остаться далеко позади шустрых лыж или, напротив, странно опередить лыжи настолько, что они сами уезжали назад, не слушая моей команды.

Ну, это теперь смешно, а тогда, впервые, раздосадовало меня. Как бы то ни было, а к середине тренировки я достиг определенных успехов. Так сказал старшина Бабкин. А он шуток не понимал, и, значит, так оно и было. Мы теперь ходили по кругу один в спину другому, держа указанную дистанцию. Постепенно мне это скольжение понравилось. Появилась легкость в прежде напряженных ногах. Шаг за шагом, день за днем, я научился делать вид, что мне так же нипочем это занятие, как любому уральцу и сибиряку.

В солнечный денек, когда снег сверкал и на душе было весело, нас попросили — в смысле приказали — съехать с высоченной горы, поначалу, правда, довольно покатой. К реке. Лед на ней блестел ярче снега. За речкой, которая смешно называлась Ягошихой, начинался густой еловый лес.

Я был свидетелем того, как первые курсанты стремительно скатывались с горы, пригибая корпус и почти приседая на корточки. Некоторые тормозили при этом палками, поднимая вихревые потоки с обеих сторон все уменьшающихся фигурок. Два из четырех упали при приземлении, перемахнув неширокую речку, уже на том ее берегу, на взгорочке.

Бабкин вызвал на старт меня.

Подкатившись к краю холма, я глянул вниз. Лучше бы я не смотрел. Параллельные лыжни отсюда казались приглашением на тот свет. Я набрал воздуха в легкие, на мгновенье зажмурился и... полетел. Скорость нарастала с каждой секундой, а я не падал, понимаете — не падал! Я почувствовал скорость как счастье, мне стало легко, свободно, весело — я вылетел на лед реки, под лыжами зашуршало иначе, чем на склоне, палки я держал по бокам, едва касаясь льда, вихрем вынесло меня на тот берег — теперь я понял, что торможение будет за счет подъема в горку... Не доскользя до опушки, я упал, палки разлетелись, в рот набился снег, нога подвернулась не совсем ловко... Но что с того: я съехал с этой проклятой горы, съехал, а упал — так что же, и уральцы-сибиряки не все устояли! Я встал, отряхнулся и солидно переваливаясь корпусом, как делали заядлые мастера этого дела, стал забираться по склону вверх.

Подымаясь, вспомнил, как первый раз сел на велосипед. Тогда тоже я летел, не падая, пока не встретился с молодой акацией, которую только вчера соседка тетя Марика любовно посадила возле своего дома. Улица Графа Гудовича, на которой мы жили в Анапе, полого спускалась с Черноморской. Туда я и вылетел, опутанный ветвями акации тети Марики. Я разбил колено, велосипед и снес молоденькую посадку. Больше я на велосипед не садился, хотя часто оглядывался назад, дойдя до своего дома № 42 с Черноморской. Ого-го было расстояние, я вам замечу. Гора под Пермью, конечно, была много круче, но ведь «круче», как говорят, был теперь и ваш покорный слуга. Так что первый спуск на лыжах вполне можно было считать успешным. Бабкин молчал, когда я сдавал инвентарь. А он шуток не любил. Значит, я выдержал экзамен.

Следующий этап моих злоключений южанина связан с лыжными «бросками» в полной амуниции. Я был минометчиком, и выходит, что успехи в скольжении на лыжах сами по себе не были самоцелью. А это ни много ни мало означало — с минометом. В боевом расчете мне достался третий номер. Я таскал плиту. Этакое круглое металлическое тело с шипами, именуемыми сошками, которое носят на спине при помощи ремней. На огневой позиции надо, как можно сильнее, стукнуть эту махину о землю, чтобы сошки вошли в нее поглубже, иначе от содроганий при выстреле плита будет ерзать, а значит, мешать прицельности. Когда плиту носишь пешком — и то несладко, а когда это же действие производится на лыжах — можно себе представить! С одной стороны, вроде бы прижимает плита и лыжи не ерзают, а с другой — если уж заерзают, эта же плита тянет тебя к исполняющей роль магнита земле. Первому номеру (тот, кто на плече несет ствол) всего-то и надо — обладать качеством акробата, идущего по проволоке, иначе говоря — удерживать равновесие. Второму номеру, что за плечами тащит двуногу-лафет с разными там поворотным и подъемным механизмами, механизмом горизонтирования, — и того хуже, особенно если солдатик маленький, цепляет сзади за пятки — какое уж тут скольжение! Я со своей «опорной плитой» — рядовое тягловое животное. Мне нужна только сила спины, плита гнет к земле, а стоит поскользнуться — уже лежишь и обязательно лицом к небу. Товарищи подымают тебя, отрывая сошки от наста, и пошел дальше скользить под веселые подначки.

Другое дело — эти семечки, ротные минометы. Трубочка легонькая на двух ножках, кидай себе в ее маленькую пасть мины-игрушки. Пух-пух. Так нет, на лыжах мы таскали только батальонные минометы, калибра 82. У ротного масса где-то килограммов 9, у нашего — 60. Разница.

Если ты, читатель, захочешь познакомиться с тем, как транспортируется миномет, тебе будут втирать очки про типы способов перевозки: в автомобиле или на бронетранспортере, «буксируемые» (за тягачом), или «самоходные» (на гусеничном или на колесном шасси), или, наконец, «вьючные» (на вьючных лошадях в горах). Ты этому не верь. Был только один способ — вьючный, но лошади здесь ни при чем. Лошадок мы в училище только чистили и мыли. Они нам сочувствовали, но в работе не участвовали. Их только жалели — облезлых, с выпирающими ребрами. Они были ни в чем не виноваты. Они были милые и ржали трогательно, когда мы протягивали им на пахнувших солидолом ладонях кусочки сахара в табачных крошках... А рыжая кобыла по прозвищу Милочка, та — моя любимица — даже ласково терлась головой о мою ушанку...

Но это я отвлекся. Главное лыжное испытание духа было впереди.

В один прекрасный день группе курсантов-отличников была поставлена задача: пройти по азимуту некий маршрут. Каждый шел сам по себе, пользуясь картой-схемой и компасом. При себе — карабин. Зима стояла лютая. Мы, кажется пятеро, спускались с известной уже горки к лесу и углубились в него, каждый по своему маршруту. Встреча была определена у домика лесничего, в 10 км от старта. Вместе мы должны были возвратиться на базу, в казарму.

Лес сразу встретил нас неприветливо. Тучи прямо цеплялись за вершины огромных елей. Там, где мы разошлись, было темно как ночью. Сначала я шел, присвистывая, время от времени поглядывая на компас и схему. Лес был не простой — вздыбленный горами, поросшими хвойными и труднопроходимым кустарником. Лыжи шли легко, но то и дело натыкаясь на корневища, невидимые под толстым слоем снега. Потом снег повалил уже валом. Справа, где только что маячила мачта линии высокого напряжения, а значит — просека, по которой мне предстояло пройти два с половиной километра, ничего не было видно. Я свернул направо и ходко пошел, то двигая палками, то раздвигая ими низкие ветви со снежными шапками. Засыпанный снегом, я скоро стал походить на снеговика. Брови, ресницы, губы были покрыты щекочущим покровом, который не так быстро таял — мороз стоял отменный. В груди что-то начало покалывать. Я сменил темп. Пока я был спокоен. Ну, промахнусь с снежной замяти с этой вышкой, исчезнувшей впереди, потом сориентируюсь — главное не промахнуться с просекой. Иду же я точно по курсу и не должен потерять его.

Шел уже второй час пополудни, но просеки все не было. Только теперь мне стало немного не по себе. Что за невидаль? Я действительно успел отклониться от курса. Ладно, подумал я, пока не слишком волнуясь, — ну что же, потерял время, нагоню — я свернул правее и задвигал палками. И вдруг случилось что-то потустороннее: подо мною разверзлась земля...

Испугаться я не успел. Я летел куда-то вниз, под землю, что-то собою ломая — не то сучья, не то палки, не то лыжи, что-то царапнуло по щеке,

обо что-то я ударился затылком. Не знаю, сколько продолжалось это падение — может быть, мгновение, может быть, вечность — в памяти потом осталось, что вечность, так как я успел обо многом подумать и многое представить. На самом деле — на холодный рассудок рассуждая — едва ли несколько секунд... Я лежал на спине в глубокой яме. Рот, уши, рукава шинели, карманы ее, ушанка, лежавшая рядом, — все было забито снегом. Саднило щеку, болела нога, стучало сердце. Я пошевелился и еще больше осел в глубокую снежную перину. Пытаясь подняться на ноги, ухватился за корневище, оно оторвалось. Я снова ухватился — за другой скользкий прут, тянувшийся наверх. Отдышавшись немного, я понял, что попал в медвежью ловушку — ведь что-то треснуло подо мной, — я теперь вспоминал понемногу случившееся, — яма была замаскирована досками. Да, вот и они, гнилые, пожелтевшие, с острыми краями, связанные морозами и кое-где проволокой. В глубоком снегу я долго шарил негнущимися пальцами — искал компас, напрасно — его не было, вытряхивал снег — из карманов, рукавов, из-за пазухи — захолодивший все тело. Одна палка от лыж была сломана, я бросил ее, левая лыжа треснула, крепление съезжало набок. Карабин был забит снегом, но цел. Холодило голову от плохо вытряхнутой ушанки. Я медленно выкарабкался из ямы, держа под мышкой лыжи, карабин надел через голову, как это делают кавалеристы. Посмотрел на часы, они были разбиты, погнутые стрелки показывали около трех часов дня.

Прихрамывая, я пошел на восток, в надежде выйти на просеку. Шел около часу. Лес густел, и это впервые заставило встревожиться по-настоящему. Я знал: ближе к опушкам, вообще к краю — лес реже. Значит, я уходил в противоположном направлении. Кроме того, все чаще встречались подъемы на залесенные горки и крутые спуски с них, а одной палки было мало для удержания равновесия. Мрачнело от низких туч. Снег все валил и валил.

Я решил подняться на самую высокую гору, утопая в сугрубах, таща свое имущество на себе. Когда одолел подъем, увидел тревожно-суровую картину: во все стороны — лес, лес и лес. Даже намека нет на линию передачи, просеку и тем более — жилые строения. По времени я давно уже должен был быть у первого пункта трассы. Но где она, сама эта трасса?..

Я чувствовал непереносимую усталость. Меня била дрожь — то ли от промокшей одежды, то ли от нервов. Согреться я не мог. Не было спичек. Напрасно я напрягал зрение. Временами мне казалось, что я вижу некую полосу на горизонте, где, по моим соображениям (разные там лишайники на северной стороне стволов), был восток. Я решил идти в направлении наугад. Не знаю, сколько километров прошел я по лесу, сжав забы, напряженный, снова как будто не чувствуя усталости — видимо, наступило то, что именуется вторым дыханием. Сумерки сгущались.

Между тем снег перестал валить с неба, и я увидел, удивившись... первые звезды на черном далеком небе. Они сверкали как фонарики в ледяной стуже вечера. А я шел и шел, механически двигая ногами. Не упасть. Не замерзнуть. Даже на ходу мне что-то мерещилось... Я явственно слышал голос младшего лейтенанта, нашего комвзвода с пухлыми щечками, по прозвищу «Хомячок»:

— ... гладкоствольное оружие, предназначенное для навесной стрельбы по укрытым целям... углы возвышения ствола от 45 до 85 градусов... казенник у тебя забит снегом...

«Какой казенник? При чем он тут?» Я, кажется, бредил.

Нет, все в порядке. Звезды высыпали дружно, и в ледяной стуже я продолжаю двигать ногами на поломанной лыже так же, как и на другой, целой. Правда, я опираюсь на палку как инвалид, но что с того, палку можно менять местами — налево, направо. На часах или уже нет стрелок, даже погнутых, или не видно их. Время течет само по себе и ко мне не имеет отношения. По звездам теперь можно понять хотя бы стороны горизонта. Я смотрю на знакомые с детства созвездия — какие видел в Анапе, и слышу в себе:

— Лодку привяжи... Не надо так далеко уплывать...

Прибой шумит, это прибой? Нет, все в порядке, я не сплю, не брежу, а шум этот... Шум... Неужели поезд? Надежда просыпается во мне, и я двигаю ногами, пока не убеждаюсь, что просто поднялся ветер и шумят высокие кроны. Болят ноги, болит спина, болит каждая клеточка утомленного тела. Но дух не сдается. Я стараюсь экономить силы, расслабляя мышцы, где можно. Пока двигаюсь — не замерзну. Пока иду — не упаду. А как хочется сесть, лечь, заснуть. Отупение преодолеваю волей.

— Володичка, выходи из воды... Ты уже весь синий...

Это мамин голос. Грустно усмехаюсь: сейчас, конечно, главное — не перегреть голову на южном солнце. Бред какой-то! Я же здесь, в лесу, и кругом никого.

Никого? Почему же я слышу голос своего друга из далекого детства: «Слышишь? Ты слышишь?» ...Память вылавливает еще одну картинку детства. Мы катаемся на коньках. Это огромное событие. Лед в Анапе! У нас же нет зимы, в лучшем случае снег выпадает на два-три дня. А тут однажды завернул холод, да какой! На море — припай. Это значит, море замерзло у берега метров на триста. Все мальчишки Анапы скользят по тонкому, пузырчатому, зеленому льду. Под ним видны водоросли. Кое-где они прилипают снизу, и это очень красиво. Кто-то уже провалился, но здесь, на пляже, мелко. Смех, скрежет и свист коньков. У большинства их нет — катаются прямо на подошвах, на привязанных чурках. У меня — «снегурки». Я даю один Саше. Подпрыгивая, катаемся, как можем. Разрумянившаяся толстушка Флора, одноклассница, крест-накрест повязанная маминым платком, просто бегает за нами с хохотом. Саша — рыцарь. Он садится на лед и снимает конек вместе с ботинком. Он надевает его на Флору, а сам, поджав ногу, как аист, стоит рядом, опираясь на грибок, потом садится на скамейку и держит разутую ногу в руке. А потом сидит над полыньей на корточках и знаками зовет меня.

— Слышишь?

Вода звенит отколовшимися льдинками о край полыньи. Лед истончился, и солнце переливается в нем при каждом толчке волны.

— Слышишь?

Глаза его полны восторга, он дрожит от холода и счастья.

И мне кажется, что через много лет пахнуло на меня дыханием того зеленовато-красного от солнца, радужно-соленого льда, холодком подледного моря, донеслось звонкое теньканье льдинок и шепот:

— Слышишь? Ты слышишь?..

...А я ведь и вправду слышу: шуршанье под лыжами другое...

Последние усилия. Нужно теперь и третье дыхание, если оно бывает. И оно появляется!

Под лыжами твердеет наст. Не сразу этому верю, боюсь обмана. Раздвигается занавес елей — я... на проселочной дороге. И санный след... Нельзя в это поверить! След тянется вправо, иду по нему. Видно, сани появились недавно, после снегопада. Как снова стучит сердце! Деревья редеют. Сначала, почти с криком радости, вижу линию высоковольтной передачи, а вдоль нее санный след, уже более широкий, разъезженный. Сомнений нет. Откуда-то взялись новые силы. Теперь — куда идти? Иду наугад, на счастье, вперед, и вот — новая радость, которая уже воспринимается как должное: дома без света, напоминают склады. Дойдя до них, вижу теперь и огонек в крайнем доме. Подкатываю к нему и что есть силы колочу в дверь. Молчанье. Потом в окно. Молчанье. Заглядываю в полузамерзшее окошко, пытаюсь его оттаять дыханием, но снаружи это не получается. В домике тишина. Никого. А свет горит. Оглядываюсь по сторонам. Во мраке едва различимо еще одно длинное строение. Двигаюсь к нему. Пакгауз. И тоже ни души. Но теперь я вижу насыпь. Подымаюсь. На ней посверкивают рельсы. Качается навесной фонарь на краю пакгауза. Конечно, так и есть: платформа. А на ней... человек!

Я готов кричать, как кричал Колумб, увидев землю после бесконечного океана. Устремляюсь к нему, хочу что-то сказать и не могу. Губы омертвели. Он смотрит на меня. Как на привидение. Высокий сутулый железнодорожник. Кашляет, отворачивается от меня и ветра. Тру каменный подбородок. Наконец, я могу спросить, где я, и объяснить, кто я. Да, товарняк прибудет через полчаса, да, идет на Молотов-товарная. Сколько километров? Не может быть! Не верю своим ушам... Сорок?

— Ну, ты ведь шел не по рельсам, — говорит железнодорожник. — Тут ветка петляет до Молотова. Напрямки, — успокаивает он, — поменьше будет.

Через какое-то время гудит «кукушка», пыхтя, нехотя, останавливается. Я лезу в тамбур одного из вагонов и машу остающемуся. Он в ответ машет мне или поезду фонарем, растворяясь в темноте...

Целых три остановки ехал я до Перми. На «Молотов-товарной» соскочил на перрон и, водрузив лыжи и палку на плечо, свободное от карабина, зашагал по твердой морозной улице. Она была знакома. Где-то тут мимо нее мы ходили в баню. Ночь была снова темная и глухая. Звезды пропали. Ни одно окно не светилось. Ветер дул, не переставая. Когда я подходил к проходной училища, часовой уже встречал меня снаружи:

— Нашелся! Тут была паника. Две группы поиска. И вернулись пустые. Где ж ты был? В лесу, говоришь, а идешь из города...

Я торопился пройти, но часовой все держал меня за рукав:

— А волки, медведи были? — Это вроде иронически.

И тут только я подумал, что ведь в эту ночь я не встретил не только человека — никакой живой твари. А медведи, видимо, спали в берлогах.

В расположении роты было тепло и слышался храп. Дневальный клевал носом и поленился расспрашивать меня или просто был сообразительным: на меня было страшно смотреть.

На нарах белело аккуратным конвертиком только одно свободное место — мое. Я лег не сразу, надо было смазать карабин.

После короткого сна я первым услышал крик дневального. Расспрашивать меня было некогда — удивленные моим явлением курсанты спешили в кабинет тактики. Я поплелся за ними. Слава богу, первый час был в помещении. Я засыпал и просыпался раз пять. Голос Хомячка отдавался глухо.

В перерыве Бабкин — оценивающе и серьезно:

— Повреждений нет?

И все. Шутить старшина не умел. Это было серьезным вопросом. Потом прибежал дневальный:

— В штаб требуют. К Кислому.

Кислый была фамилия начштаба. Но меня по пути переадресовали к замполиту училища. Капитан Лифшиц, со всегда удивленными выпуклыми глазами, был маленький, по-штатски добрый человек. Его любили все, даже неподкупный Бабкин отзывался о Лифшице с уважением: тот цитировал художественные тексты.

— Курсант, — спросил замполит, — у вас был при себе фонарик?

— Никак нет, товарищ капитан.

— У вас были спички или сигнальная ракета?

— Никак нет, товарищ капитан.

— У вас были патроны к карабину?

— Никак нет, товарищ капитан.

Сокрушенно покачал головой. Посмотрел на меня своими выпуклыми глазами, в которых навсегда поселилась печаль его предков. Вздохнул.

— Одним словом, Дэфо. Робинзон. Вопросов больше нет.

— Разрешите идти?

— Пожалуйста, — не по уставному сказал печальный замполит, а я, козырнув, покинул кабинет.

В обед уже не было отбоя от курсантов моего взвода. На меня приходили посмотреть даже из другой роты. На несколько дней я стал знаменитостью. Это, конечно, подымало тонус, но что-то продолжало точить меня изнутри. Хотелось все-таки понять, что же со мной было, и что ... могло быть.

В неодолимой тяге к близости бескорыстной и душевной, пошел я в конюшню. Милочка встретила меня сентиментальным ржанием. Она, как всегда, потерлась головой о мою потертую ушанку, а я почувствовал в горле непривычный комок. Почему-то, впервые пожалуй, мне было жалко не кого-то и что-то, а самого себя.

— Вот так, милая... Ешь вот... — Сахар пахнул на этот раз керосином.

Я потрепал Милочку по холке и вышел.

Я возвращался в казарму под звук трубы. Дело шло к отбою. Надвигалась ночь. И тут, впервые с беспощадной ясностью, меня озарила мысль — простая и ясная. А ведь я запросто был на краю смерти. И чудом избежал ее. Далеко-далеко, за тысячи километров от фронта. В общем-то весьма бесславно.

И знакомо-сиплый звук с неверными нотами теперь был знаком не привычно-рутинного покоя — труба звучала не как предвкушение скорого разматывания сырых портянок, — а как бесстрастно-предупреждающий звук Судьбы.

7. Волчица

Когда кончилась война, меня как офицера-минометчика сначала определили командиром огневого взвода на Дальний Восток, а затем, после того как американцы решили проблемы Японии средствами Страшного Суда, нас, капитанов, майоров и лейтенантов 53-го Отделения офицерского полка Особой бригады МВО, в том числе и меня, рассовали по военкоматам.

Мне достался г. Ардатов в Мордовии, который ассоциировался для меня с переиначенными строками из Грибоедова: «в деревню, к тетке, в глушь, в Ардатов». Глушь эта была тогда, в 1945 году, не просто глушью, а замороженным до треска в лесах местом бедности, какой я еще не встречал в жизни...

Я был начальником «Второй» а потом и «Первой части» — ездил верхом или на санях по громадным ледяным просторам и непролазному царству лесов, где порой по тревожному ржанью коня обнаруживал засыпанные снегом маленькие холмики... Это были непогребенные трупы умерших от голода и просто замерзших людей. Никогда не забыть мне выцветший кумач с призывом голосовать за партию (известно какую) и неубранный, окаменевший на сорокаградусном морозе труп мужика с лицом вниз с вывернутой рукой. Он лежал на пороге пункта для голосования, видимо, давно, так как примерз к потрескавшимся доскам настила. Нахохлившиеся воробьи его уже не боялись, что-то свое искали рядом.

Однажды, под 23 февраля, меня послали в дальний колхоз прочитать лекцию о Красной армии. Ехал я на санях по замерзшему руслу извилистой речки Алатырь, чтобы не заблудиться, — двое суток шел снег, и дороги как бы исчезли с лица земли. Лес тянулся по обоим берегам — суровый и молчаливый. Только однажды мне послышалось издали что-то вроде дальнего стона, постепенно замирающего на странно-тревожащей ноте... Сено подо мной настывало, несмотря на тулуп, под полою которого я грел карабин с загустевшей смазкой. Волки в ту пору шастали днем и ночью. Коняга мой покрылся сплошным инеем, а с морды свисала седая борода. Винтообразные сосульки придавали печальной морде каурого вид вавилонского божества.

К сумеркам я добрался до колхоза, различив сквозь начавшийся буран ранее помеченную на карте церквушку без купола. Село называлось Полое.

...В темном «красном уголке» было душно и накурено. Прямо на полу тесно сидели какие-то бесформенные фигуры, замотанные с головой платками, курили цигарки и грызли семечки. Каково же было мое удивление, когда эти фигурки стали разоблачаться: стаскивали платки, снимали тулупы и ватники... К тому времени зажгли три большие керосиновые лампы. Одна стояла передо мной на столе, две другие повесили на боковых стенах. Я не верил своим глазам: толпа, которая почудилась мне состоявшей из огромных мужиков в нелепых одеждах (в платках я видел и пленных немцев)... оказалась сплошным бабьим царством. Сколько я ни шарил глазами по зальчику, отовсюду смотрели на меня озорные, веселые, молодые глаза баб, стягивающих с себя кто кофту, кто мужний пиджак... Жара и впрямь была невыносимая. Скоро все остались в блузках или в том, что так могло называться в нищую пору послепобедного времени.

Где-то на десятой минуте стыдно-официального доклада, который никто и не думал слушать, я осекся и попросил задавать вопросы. Лучше бы я

был осмотрительнее. Под дружный и незлобный хохот молоденькому лейтенанту посыпались вопросы, один озорнее других. Их никак нельзя было отнести к теме. Теперь бы я принял тот тон и пошутил бы в их духе. Тогда же я стоял — красный и глупый истукан — и просил, хмуря брови, быть серьезнее. Но чем больше я смущался, тем веселее и смелее становилась моя своеобразная аудитория.

Не помню, как сидевшая рядом «председательница» Маня вывела меня из «красного уголка»; помню лишь усмешливое: «накинь шинельку, холодно». Мы толпою направились к ее избе. В меня летели снежки и до предела рискованные шуточки. Я криво улыбался, благо в темноте никто бы не разглядел краску на моем лице с глупыми лейтенантскими усиками, которые я завел после училища для компенсации моей несолидной щуплости.

Тесно сели за свежеоструганный стол, на котором уже стояли литра два самогона, прямо на желтовато-вымытых досках возвышались дымящиеся куски мяса с крупными белыми мослами. Председательница резала каравай, прижав его к расплющенной груди. Она говорила басовито-хриплым командирским голосом — такой голос был у моего бывшего комроты Антоненко — точь-в-точь.

После первого полустакана мутно-отвратительного самогона у меня начала кружиться голова и бабы стали казаться гораздо привлекательнее, а шутки — не грубыми. Глаза — добрыми и участливыми. Я что-то рассказывал, а председательша по-матерински, как мне казалось, стала поглаживать меня по спине. После второго стакана бабы запели. Сперва нестройно, потом в лад. Я слушал, подперев голову, и жалел весь мир голодных и рабов, будучи переполненным некоим страстным желанием повернуть все на правильный путь.

Два раза входил и выходил, прихватив стакан самогона, некий хромой старичок. Кузьмич, «придурковатый и холостой», как именовала его моя соседка слева, пышногрудая и жарко дышащая мне в ухо (почему-то она сбивчиво шептала мне, а не пересказывала, как другие, сельские новости). Бабы наперебой жалели свою загубленную жизнь: в селе, считай, не осталось мужиков, кто погиб на войне, кто не вернулся в эту глушь, написав письма. А детей в селе «пасет» Кузьмич, то с горки катает, то остается за кормильца, вместо няньки, человек он добрый, но «дурной, когда напьется».

Я вышел проветрить голову. «Куда?» — «До ветру...» Кто-то засмеялся. «Шинельку накинь», — наставительно повторила председательша Маня. Бабы пели теперь частушки. Чаще других слов в них фигурировало одно, короче не придумаешь. Я стоял под ночным небом, высыпали звезды. Мороз был адский. С крыльца выглянула моя соседка слева, имени которой я так и не знал, окликнула, переливчато смеясь: «Не отморозь. Пригодится».

Я зашел в конюшню, где, кроме моего каурого друга, лошадей не было. Конь заржал, как бы предупреждая меня о чем-то. В ногах у коня сидел на низких козлах Кузьмич, мычал, грозил пальцем коню и раскачивался. Между латаных его валенок была зажата бутыль. Когда он ее прихватил? Я приложил комок снега ко лбу и еще постоял у дверей в избу. И вдруг опять донесся до меня дальний-дальний стон, медленно замиравший к концу...

Когда я вернулся, голова была ясной, и на душе стало щемяще грустно. Бабы набрались по-настоящему, и то, что я услышал, повергло меня в еще

большую тоску. Грудастая соседка кричала Мане: «А чегой-то у тебя? Перина мягше?.. (следовал мат). Мы, вишь, уговорились с ним...» — «Иди в светелку, лейтенантик, раздевайся, для полного, значит, отдыху, а энтих я вот допью и в секунду выкурю!» Маня была настроена решительно. Остальные что-то ворчливо гудели про «начальство», которое, мол, всегда сволочное, поскольку начальство. «Ладно, Кать (так я узнал, что соседку мою звали Катей), до утра — у меня, потом к тебе свожу (победный смех)... Знать, не мыло — не смылится — тебе останется!»

Я сделал вид, что направляюсь в светелку, и быстро вышел из избы. Слышал, подтягивая подпругу коню, как снова запели бабы. Дальше была ночь, мороз, настегивание кнутом ни в чем не повинного каурого и на лету замерзающие слезы. Пьяные, должно быть?..

Я съехал с пригорка на лед реки. Вышла полная луна и залила окрестные поля и дальний лес чудным светом. Меня била дрожь и под тулупом. Болели виски, и странная тупость сковала мысли. Они ворочались, как медведи в берлоге, мешая друг другу. Перед глазами вставали недавние картины гульбища голодных женщин, у которых война забрала все, кроме чувства жизни и маленьких радостей, которые, кто знает, может быть, и есть сама жизнь? Мне было стыдно, очень стыдно перед ними. А в чем я был виноват, я тоже не знал. То, что я сбежал, что завтра село будет называть меня, как Кузьмича, «холостым», — это меня не волновало. Стыдно было за что-то другое, чему я не мог найти названия.

И в это время луна словно бы зашла за тучу. Это набегал, косо срезая ночное светило, лес. Конь заржал тревожно. И я явственно услышал вой волчицы. О ней мне шептала Катя, что Кузьмич застрелил волчат и «кажную-кажную ночку приходит теперь эта волчица на край села и плачет по детеночкам». Тогда я пропустил это мимо слуха, меня, волнуя, тревожили мягкая грудь, прижатая к плечу, и щекочуще-жаркое дыхание в ухо. Теперь же с трезвой ясностью встала картина действительного горя. И волчицы. Теперь я знал, кому принадлежал этот стон за лесом... И Кати. И Мани с ее командирскими замашками, которые никогда не заменят простого бабского счастья. «Муж? В землице лежит. Под городом таким — Кенигсберг называется».

Конь, поскальзываясь на льду, чуть припорошенном недавним снегом, ржал, закинув голову, и рвал поводья. «Не дай бог, сломает ногу!» — пронеслось в голове. А волки, уже стая, справа, с противным, скребущим душу молчанием бежали по берегу, вровень с санями, до смерти пугая коня, не переставшего ржать тревожно и трубно...

Я вынул карабин из-под полы тулупа и, почти не целясь, выстрелил в направлении зеленых огоньков. Эхо гулко разнеслось вдоль берега, отразилось от противоположного склона и ушло в ночь. Я сдержал обезумевшего коня и дважды, перезаряжая, выстрелил по зеленоватым огонькам. Мне показалось, что одна из пуль достигла цели. Вой был похож на хриплый стон или скулеж. Я погнал коня.

Уже светало, когда измученный коняга по пологому скату втащил сани в город.

Я не чувствовал ни рук, ни ног, передавая конюху военкомата вожжи. Он был старый солдат и, понюхав обрез карабина, что-то сказал про ве-

тошь, которую надо искать. В теплой комнатке дежурного горел свет. Там лейтенант Артюхов вяло тискал машинистку. Она так же вяло, как бы машинально, отводила его руки. И продолжала печатать. Это было похоже на немое кино. Я знал, что у нее двое детей и только по ночам она может подработать на жизнь.

«Скверно. Все скверно», — сказал я сам себе и зашагал по улице. Мне никогда не было так одиноко. Мир под этими непроницаемо мертвыми и холодными звездами был равнодушен и пуст, как моя душа...

Я пошел на квартиру, где жил, чтобы соснуть часок-другой до службы. То там, то здесь зажигались окна. По пути, проходя мимо пекарни, услышал зовущий теплый запах и, как всегда, зашел с заднего входа, подождал, пока выйдет знакомый парень. В эти темные часы у дверей толклись, переминаясь на морозе, разные районные и городские чины: буханки выносили по списку начальству. Я тоже взял свой горячий кирпичик и положил за пазуху шинели.

Тепло разливалось по телу. И вместе с ним все, оставшееся позади, показалось сном — и дорога, и моя неудавшаяся во всех смыслах лекция о победоносной и непобедимой армии, и заунывное пенье среди берендеева царства забытых Богом, и заблудившееся женское счастье, и волки, не сумевшие на этот раз отомстить за лишенную детенышей волчицу, и затолоченная бедностью машинистка, — все, все растворилось в теплоте горячего хлеба за пазухой шинели, веки смыкались сами собой, и, добравшись до узенькой кровати, я свалился в сон — и все в нем повторялось, как в самой жизни...

Только не совсем так... Я жарко обнимал горячую до одури Катю, и это бесконечное занятие продолжалось до тех пор, пока хозяйка не громыхнула вязанкой дров, выронив их в кухне. Я вскочил на ноги, недовольно и медленно приходя в себя.

Самое время было пойти колоть дрова.

8. Война догоняет

Если идти в Москве от Сухаревки по проспекту Мира, слева в глубине двора с небольшим садиком стоял зеленый особняк дореволюционной постройки. Это туберкулезный диспансер. Там с 1946 по 1950 год я высиживал очереди на проверку. Война оставила большую часть обоих легких в предыдущих 1941—1946 годах на крымской переправе и в кубанских степях, в южно-уральской и пермской тайге.

Компанию мне составлял Женя Винокуров, хороший поэт и практичный малый. Когда мы оба получили путевку в туберкулезные санатории Ялты, оказалось, что Женя имел справку о том, что он инвалид войны, а я о такой справке и слыхом не слыхивал. Когда меня нещадно били в печати за отступления от «соцреализма» и его законов, Женя говорил согласной с ним, а не со мной моей супруге, что я не умею окапываться («перебежка, залег, пошел вперед»). У Жени на все случаи были справки, у меня — одна уверенность, что никакой правде никогда не нужны были справки. Достаточно, к примеру, посмотреть на рентгеновский снимок, и «заизвествленные» части легкого лучше справки удостоверят, как тебе было трудно ды-

шать во время атаки. Оказалось, что я был и оставался наивным. Что не раз ставило меня в положения неприятные.

Начать с того, что в анкете 1950 года собственной моей рукой было написано: в боевых действиях после 1943 года не участвовал. Так оно и было, но с той разницей, что весь период с 1941-го до начала ссылки из такой анкеты выпадал начисто. Выходило, что, как записано в военном билете, — «находился на лечении», но что «лечение» это проходило в зоне спецпереселения — не значилось. «Белый билет» был? Был. При Сталине, еще живом, при Берии, еще живее всех живых, — тем более приходилось умалчивать о многом. Разве что совесть не мучила. Поскольку война была для меня войной, ссылка — ссылкой, болезнь — болезнью.

Теперь, с большим опозданием, и со справками дело уладилось. Восстановлено, что можно было восстановить. Есть военный билет с датами прохождения службы, есть ветеранское удостоверение участника ВОВ.

А вот отца моего война догнала более жестоко.

В зоне поговаривали о злых ингушах, которые крадут лошадей в колхозе. Я помнил, как отец сказал: «А я не верю». Однажды он стал свидетелем расправы над худеньким затравленным горцем и... вступился за него. Горько говорить, что потом оказалось, горец на самом деле украл проклятую колхозную лошадь, пытался продать. Да в том ли случае дело...

Начальник отделения НКВД, наш с отцом знакомый с «добрыми» глазами, не докучавший мне во время ссылки и не очень строгий к отцу (только насмешничал, бывало, слушая самоуверенные эскапады старика — сказал «старика» и осекся: было ему пятьдесят лет), — так же, как обычно, тихо и с усмешкой подозвал отца и сказал, что с ним хотят поговорить его помощники.

Психология вертухая недоступна пониманию нормальных людей. Вертухай — просто иноземное существо, вроде марсианина в фантастической повести. Да, да, его нам, людям, не понять никогда.

Они, пятеро вертухаев, били отца. Били лежачего. Каблуками подкованных сапог по голове и куда попало. Задыхались от старания и распиравшей их злобы: жертва их закодированной ненависти молчала, лишь изредка вздрагивала. У одного — с усиками щеточкой, как у наркома Ворошилова, сама по себе возникала мысль, которая его, возможно, и смущала: « Почему не подтянет ноги к животу?». Так делали все, кого избивали прежде. Другой, толстоватый, обливающийся потом от оказавшейся долгой работы, все больше разъярялся оттого, что человек, распластанный на земле, не просил пощады и не вопил истошно, как это ожидалось, как это должно было происходить. Третий, тщедушный, все чаще переставал пинать зэка носком в бок и ловил ртом воздух. Два других, молча и сопя, били профессионально — по черепу, где седина на ежике все больше окрашивалась кровью. Они работали как роботы, без эмоций.

Наконец, толстяк, видимо главный у них, опустился на землю, держась за сердце. «Все», — прохрипел он. И все остальные, как на молотьбе, остановились разом и теперь медленно утирали лбы от пота. Работа была сделана на совесть. Они имели право отдохнуть, и один за другим, прихлебывая, пили воду из ковшика, стоявшего рядом с ведром на табурете. Остаток воды, не допив, тщедушный плеснул на лежавшего. Потом они ушли, не оглядываясь.

Отец выжил. Его послали в шахту в район города Коркино под Челябинском. Мама с сестренкой остались в зоне. Отец выжил и там, в шахте.

В 1947 году семью вернули на основное место жительства — в Анапу. Но отец все чаще стал бредить, вел себя «странно». Невыносимо болела голова, и даже днем он видел нелепые сны наяву. Кончилось все сумасшедшим домом. Он назывался красивее: «психоневрологический диспансер». Его свезли туда, когда меня не было рядом. Это была станция Ильинская Краснодарского края.

Когда я приехал к нему, его отвязали от кровати. Меня он узнавал и вел себя тихо. По щеке, заросшей жесткой желтой щетиной, ползла слеза, но он улыбался мне:

— Ты слышишь? Море... Оно бьется о стену...

До моря было далеко.

Две комиссии напрасно старались помочь мне — взять отца в Москву. Диагноз был неумолим. Трогательное участие принял в моем горе Г.А. Арбатов, тогда помощник Горбачева.

Телеграмма пришла во время моей болезни, с температурой 40 я вылетел в Краснодар.

И похороны отца были продолжением абсурдной жестокости. Тело повезли в Краснодар, но по дороге на кладбище остановили нас и велели везти тело назад — за сотню километров, в село Ильинское, — прописки в городе не было, а могила родственника с местной пропиской, давно усопшего, хотя родственник молча и услужливо потеснился на местном кладбище на отведенной когда-то ему лично территории, в счет не шла... Я взял за ворот милицейского начальника и тихо сказал, что убью его. У милицейского чина были такие же, как у начальника в зоне, почти добрые глаза. Он так же тихо ответил: «Хороните».

А в памяти — дворик в Краснодаре. У дочери моего бывшего, уже покойного капитана, дяди Митрофана, Аннушки. Гроб, открытый, шевелящаяся под ветерком редкая прядь седых волос над изуродованным лбом, и нестерпимый вой соседского пса, чуявшего мертвого и рвавшегося к невысокому штакетнику.

Бесконечно родное лицо мученика в казенном гробу. Спокойное до жути лицо, отрешенное от этого мира с его непомерной неправдой слов, дел, поступков.

Под моими горячими от жара руками мертвое лицо отца то и дело казалось теплым, и я говорил, что это может быть летаргический сон. Я требовал от родственников подойти к телу покойного еще и еще раз. Жар помутил сознание: мне казалось, если отец оживет, я увижу его таким, как на старой фотографии — с шашкой, в бекеше с алым бантом...

...А цыганский табор — весь — расстреляли немцы под Гастагаем.

Ну, а сбудется ли то, что мне нагадала цыганка? Несомненно. Вот уже долгая и все-таки счастливая жизнь — позади. Пора и умирать. От любви? Конечно. Ведь люди от этого и умирают — от любви к жизни.

о. Анри МАРТЕН

КАТОЛИЧЕСТВО И РОССИЯ

«Качество этой (т. е. Константиновой) победы и заставило Западную Церковь отделиться от Восточной. То есть Рим географический от Рима умышленного: от Византии. Церковь — Христову невесту от Церкви — жены государства».

Иосиф Бродский. Путешествие в Стамбул // Континент. № 46. С. 83

«Бог может все...»

В этом, 2005 году от Рождества Христова со смертью Папы Иоанна-Павла II завершился выдающийся понтификат, один из самых выдающихся за всю историю Церкви. На похороны Папы в Рим съехалось, говорят, пять миллионов человек. И еще сотни миллионов по всему земному шару, не отрываясь, следили за похоронами по телевизору. Сколько мир стоит, *так* не хоронили еще ни одного человека.

Известие о смерти Папы застало меня в Польше. Храм во имя Божьего Милосердия и Св. Фаустины, в котором я обычно сослужу, когда бываю в Варшаве, был битком забит молодежью. Настоятель храма о. Тадеуш Поляк, человек редкостного ума и несравненный проповедник — мы, «профессионалы», так сказать, редко слушаем проповеди друг друга, но у него я стараюсь уловить каждое слово, — при виде собравшихся сказал: «Настоящее чудо! Обычно, сколько их ни зови, даже трети не дозовешься, а сейчас пришли сами!»

Да, смерть может удивительным образом высветить масштабы человеческой личности. Разумеется, значительность фигуры занимавшего Апостольский Престол почти двадцать семь лет Кароля Войтылы ни для кого не была секретом. Но только услыхав по радио о смерти Папы, я вдруг с небывалой ясностью ощутил, до чего это был великий понтификат.

о. Анри МАРТЕН — родился в 1949 г. в Тбилиси. Окончил Тбилисский институт иностранных языков и Люблинский католический университет. Священник Греко-католической церкви, магистр богословия. Редактор, переводчик. Автор ряда публикаций, в том числе циклов бесед о Божьих заповедях «Так поступай, и будешь жить», о Нагорной проповеди «Школа радости», бесед «Поговорим об Интернете» и т.д. Переводы и свидетельство о. Мартена о Меджугорье печатались в «Континенте». Живет в Могилеве, Беларусь.

«Посмертные» чудеса были, конечно же, далеко не единственными в биографии Иоанна-Павла — Кароля Войтылы. Клич *«Santo subito!»*[1] требовательно разнесся по всей Церкви, и процесс беатификации уже начался.

В Католической церкви принята двухступенчатая система канонизации. Для первой ступени, беатификации, когда человек провозглашается блаженным (*beato*), необходимо хотя бы одно достоверно установленное чудо, связанное с личностью кандидата. Для второй, собственно канонизации, когда человек провозглашается святым (*santo*), нужно хотя бы два. Никто не сомневается, что в данном случае недостатка здесь не будет.

Чудеса, конечно, бывают разные. Одни — шумные и яркие, приметные всем; другие — тихие, «домашние», не выходящие как будто за пределы естественного хода жизни. Так вот, свидетелем события, которое не могу воспринимать иначе, как чудо, был и я. Это произошло в Тбилиси в ноябре 1999 года.

Визит Папы в Грузию... До этого я уже встречался с Папой трижды — два раза в Швеции, в Стокгольме и Вадстене, во время Всемирного дня молодежи летом 1989 года, и один раз тем же летом в Ватикане. В том году мне исполнилось сорок лет, и это был мой первый выезд за границу. Прожившим, как и я, немалую часть жизни при советской власти, не нужно объяснять, что это для меня значило: первый выход из пожизненного заключения на свободу! Всю мою молодость до заграницы мне было как до Луны, и даже дальше: ведь если существовала хотя бы теоретическая возможность мне сделаться, скажем, космонавтом и побывать на Луне, то сделаться «выездным» при большевиках у меня не было ни малейших шансов!

И вот — Стокгольм, чистый, прекрасный, изумительная природа, фьорды, скалистые островки по заливу, и в изобилии, без всякой очереди, бананы (желтые! У нас даже в кино про Старика Хоттабыча они были зелеными!) и кока-кола! Свои немногочисленные кроны я тратил в основном на это.

Но, разумеется, гораздо лучше фьордов и бананов запомнилось мне то, ради чего я сюда приехал: Папа, и прежде всего его молитва.

Мессу мы служили в Стокгольме во дворце спорта, вмещавшем четырнадцать тысяч человек — это и определило выбор места. Священники, более двухсот, располагались на арене, там для нас рядами были расставлены стулья, а для Папы и епископов в центре арены воздвигли специальный помост, откуда он был виден всем. Его фигура и сейчас у меня перед глазами: как только завершалась часть богослужения, в которой требовалось его непосредственное участие, он тотчас, оперевшись на свой посох, склонялся и погружался в такую глубокую безмолвную молитву, что было очевидно: здесь его больше нет. При этом, как ни странно, вовсе не вызывало беспокойства, что он «уйдет» настолько далеко, что не сумеет вовремя вернуться. Переход от деятельного состояния к созерцанию и обратно происходил так легко и органично, что вызывал не изумление, а восхищение, которое я помню до сих пор.

Оба раза в Швеции мне посчастливилось оказаться рядом с Папой до и после богослужения, пожать и поцеловать его руку, а в Ватикане, во вре-

[1] (Провозгласить) святым немедленно! (*лат.*)

мя общей аудиенции, — даже обменяться с ним несколькими фразами. Папа спросил, откуда я приехал, и, узнав, что из Грузии, сказал: «Я каждый день молюсь о Грузии».

Десять лет спустя как результат (наверное, не единственный!) молитвы Папы о Грузии состоялся его визит. И вот он завершается. После встречи с верующими и духовенством Папа удаляется из маленького храма Свв. Апостолов Петра и Павла в Тбилиси, долгое время единственного католического храма на все Закавказье (торжественная понтификальная Месса проходила, как и в Стокгольме, во дворце спорта). Я смотрю ему вслед, став на ступени алтаря, стою в том самом храме, где меня крестили, на тех ступенях, на которых отстоял на коленях многие годы, будучи министрантом — служкой — во время Мессы: не без усилий с непривычки, крестился-то я взрослым! И вот, если бы в те годы, когда до Папы нам было как до Луны и дальше, мне сказали, что я его увижу, увижу Папу, да не в Ватикане, на высоком престоле, за эскортом из швейцарских гвардейцев, а здесь, у себя в алтаре, только протяни руку, то разве смог бы я назвать такую перспективу иначе, нежели чудом?

Наш настоятель, патер Ян, тот самый, который меня крестил и многому выучил, стоял на ступенях рядом со мной. Я повернулся к нему:

— Патер Ян, могли ли мы подумать, что доживем до такого: принимать здесь самого Папу?

— Да, — серьезно отвечал патер Ян, — Бог может все...

Так я стал свидетелем этого чуда, одного из многих, совершенных Всемогущим Богом через Своего служителя Кароля Войтылу, Папу Иоанна-Павла II. Ведь Папа в Грузии — разве это не подлинное чудо? А Папа в Индии, в Пакистане, в Океании, Папа, благовествующий любовь и мир по всему миру? Ведь миру не доводилось видеть ничего подобного, наверное, со времен самого святого Апостола Петра! И мир откликнулся на эту любовь: сотни стран, миллиарды людей принимали Папу, приветствовали Папу и оплакивали Папу, когда его не стало с нами.

И только в Россию Папу так и не пустили. Россия здесь, как и во многом другом, пошла своим *особенным* путем. Куда же может завести нас этот путь? Куда заводят те пути, на которых человек словно бы заявляет Богу: «Ты можешь все? Может, и все, да не со мной!»

Кто же такие эти католики?

Что же за народ такой зловредный эти католики, что Предстоятеля их — Папу — и на порог нельзя пускать, как бы ни просился, каких бы даров ни сулил (уже в преддверии смерти Папа просил разрешения совершить посадку в Казани на обратном пути из Китая, чтобы вернуть России икону Казанской Божией Матери, — отказали)?! А тех, кто уже проник, гнать взашей, не объясняя причин, как иркутского епископа Ежи Мазура, как о. Стефано Каприо и многих других!

С отцом Стефано я был знаком довольно близко: молодой, исключительно добрый и энергичный, энциклопедически образованный священник, он приехал в Россию в самом начале 90-х и больше двенадцати лет

работал здесь на износ: преподавал в колледже, читал публичные лекции, писал статьи, редактировал различные издания, был настоятелем одновременно в двух приходах — во Владимире и в Иванове, вел молитвенные группы, руководил центром религиозного просвещения «Вера и Мысль» в Москве, проводил обширную благотворительную деятельность — и за все за это получил увесистого пинка: у него попросту выдрали из паспорта действительную долгосрочную визу, когда он вылетал из Шереметьева к себе в Милан по делу. При этом его даже не предупредили: на паспортном контроле пограничник просто отлучился куда-то ненадолго, а затем, ни слова не говоря, вернул о. Стефано его паспорт и тот лишь в самолете, случайно перелистав страницы, обнаружил, что визы у него больше нет.

В российском консульстве о. Стефано в разъяснениях отказали: государство не обязано отчитываться перед иностранцами, кого оно пускает на свою территорию, кого нет. Допустим, так. Но перед прихожанами о. Стефано, перед паствой епископа Мазура — российскими гражданами! — государство тоже не обязано отчитываться, за что их лишили настоятеля, за что — предстоятеля? Впрочем, что это я, будто в Швейцарии родился!..

Ну так все-таки, кто мы такие, католики? Откуда мы взялись на русскую головушку?

И тут приходится признать, что появились католики на земле очень давно — как бы не с самого начала христианства.

Прежде всего, однако, следует определить, что значит само слово «католик». Католик — это христианин, признающий особую роль и авторитет в Церкви св. Апостола Петра и его преемника не земле — Римского Первосвященника, т. е. Папы. Это — основная, кардинальная, определяющая мировоззренческая особенность, отличающая католиков от всех остальных христиан.

Все остальные различия и противоречия тесно связаны именно с этим. В конце концов, я принимаю *filioqve*, т. е. догмат об исхождении Св. Духа от Отца *и Сына*, а также учение о чистилище и другие особенности католического вероучения не потому, что в результате углубленных исследований либо мистических озарений сам лично в этом убедился, но потому, что признаю учительный авторитет Церкви, особым образом выраженный для меня как для католика в лице Папы. Прав я или нет — вопрос другой, но тот, кто считает, что я не прав, делает этот как раз потому, что отвергает этот столь дорогой для меня папский авторитет, а не потому, чтобы сам лично убедился в отсутствии чистилища либо в том, что Дух Святой отнюдь не исходит от Второго Лица Пресвятой Троицы.

Отсюда, кстати, следует, что католика отличают не столько те или иные особенности его мировоззрения (скажем, догмат о *filioqve* сравнительно новый, добрую тысячу лет ни один католик такого элемента в своем мировоззрении не держал), сколько готовность принять любые особенности, если они подтверждены папским авторитетом.

Такая позиция может показаться очень опасной: мало ли что там Папе в голову взбредет! Но мы, католики, верим не в Папу, мы веруем в Бога. Мы верим, что Бог не оставит Свою Церковь без опеки и выборы Папы — не конкурс красоты, а действие Провидения. Дело, конечно, не в статистике,

но все же — легко ли вам себе представить, чтобы добрый, милосердный и всемогущий Бог оставил на волю предвыборных интриг и подковерной борьбы духовное руководство целым миллиардом Своих последователей?

Провидение, конечно же, не исключает ни интриг, ни борьбы, ни прочих наших свойств, но потому Оно и Провидение, что способно даже их направить к исполнению Своей воли. Вы сошлетесь на то, что Апостольский Престол занимало сколько угодно никуда не годных Пап? Не знаю, сколько именно негодных Пап угодно вам, но готов опередить самые ваши смелые желания и признать, что негодными были все до одного. Человек вообще не пригоден для такой роли. Ни один человек, включая самого св. Апостола Петра.

Св. Апостол Петр

О св. Апостоле Петре мы знаем не понаслышке. Ни об одном Апостоле, ни о каком другом человеке, за исключением св. Иоанна Крестителя, в Евангелии не говорится так много, как о нем. Говорит он о себе и сам, и что же мы от него слышим? — «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк 5,8).

Говорит он это, пав к ногам Иисуса после чудесного улова рыбы. Ни обстоятельства, ни характер говорящего — немолодого рыбака — не располагают к рисовке, кокетству. Петр действительно говорит то, что думает, вернее, что ощущает: я человек грешный. Но грех наш, и уж тем паче наши слабости и несовершенства, — для Бога не помеха. И этот самый Петр услышит позднее: «Блажен ты, Симон, сын Ионин»... Впрочем, этот эпизод настолько важен для нашей темы, что стоит привести его целиком.

«Придя же в страны Кесари Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр[2], и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16,13-19; параллельные места: Мк 8,27; Лк 9,18-21).

«Не плоть и кровь открыли тебе это» — значит, по плоти и крови Петр ничем не отличается в лучшую сторону от нас, остальных, ни мудростью, ни проницательностью. Бог просто избрал его, и все. И вовсе не по признаку наибольшей пригодности. Словно для того, чтобы еще ярче подчеркнуть это, тут же следует совершенно иной диалог:

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав

[2] Петр — камень, скала от греч. *petros*.

Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн; потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16,21-23).

Неизвестно, рискнул бы Петр «прекословить», если бы не умопомрачительные перспективы, только что открывшиеся перед ним: «Дам тебе ключи Царства Небесного!» Поневоле голова закружится... Но тут нам особенно ясно видно, что избрание вовсе не переменяет человеческой природы, во всяком случае не сразу. Ведь Петр, собственно, услужить хотел Иисусу, пожалел Его, но пожалел чисто по-человечески. Про «быть убиту» он услышал, про «в третий день воскреснуть» — нет. Ведь «быть убиту» — это так по-человечески, а вот «воскреснуть» — это исключительно по-Божьи! Потому и раздались эти страшные слова: «Отойди от Меня, сатана!»

Мне, правда, не приходилось встречаться с аргументацией, на основании этого последнего диалога отрицающей избранность Петра. Понятно всем, что «отойди от Меня» здесь означает не окончательное отвержение — никуда ведь Петр не отошел, так и следовал за Иисусом, — но предупреждение в смысле «смотри у Меня!».

Зато не раз я слышал от своих православных собеседников, что да, Господь избрал было Петра, как это следует из вышеприведенного текста, но затем Петр, поскольку трижды от Господа отрекся, лишился своего призвания.

Это утверждение, на мой взгляд, представляет собою двойную нелепицу.

Во-первых, неужели наша слабость и неустойчивость способна отменять замыслы Божии?! Или, как сказано у Владимира Соловьева:

Клятве ты изменил, но изменой своей
Мог ли сердце Мое изменить?

Нелепо думать, будто бы Господь, давая Свои обетования, и не подозревал, что Петр окажется слаб и неустойчив. Напротив, Он как раз прекрасно знал заранее, что Петр отречется, и Сам же ему это предсказал (Мф 26,34).

Во-вторых и в-главных, такое мнение полностью опровергается евангельским повествованием. У Луки предсказание об отречении приведено в таком контексте: «И сказал Господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк 22,31-32). Вот за какими словами следует похвальба Петра и предсказание об отречении. А у Иоанна (Ин 21,15-19) мы читаем, как уже после Воскресения (стало быть, и после отречения тоже) Господь троекратно поручает Петру: «Паси агнцев Моих; паси овец Моих».

И в дальнейшем, в Деяниях Апостолов, ведущая роль Петра в Первой Церкви подчеркивается выразительно и неоднократно, начиная с рассказа об избрании Апостола Матфия и Сошествии Святого Духа (Деян 1,15-26; 2,1-42) до обращения Корнилия (и тем самым начала обращения язычников, Деян 10,1-48) и Апостольского собора (Деян 15,4-29).

Но, скажут мне, если даже с Петром все более-менее ясно, откуда вы, католики, взяли, что Папа — это подлинный его преемник? Что ж, к этому мы сейчас и перейдем.

Рим или Антиохия?

То, что св. Апостол Петр был первым епископом Рима и, стало быть, Римский епископ, или Папа, тем самым является его преемником на этой кафедре, согласны практически все. Сведения об этом содержатся уже у св. Иринея Лионского, епископа и мученика II века, в его знаменитом сочинении «Против ересей», в котором он приводит список всех епископов Рима от Петра до современного ему. Но значит ли это, что Папа унаследовал и особую избранность Петра в качестве «скалы веры»? Ведь Петр был епископом также и в Антиохии, говорят мне мои православные собеседники, и Патриарх Антиохийский, кстати, тоже носит титул Папы (от греч. *pappas* — «отец»). Так почему же именно Римский епископ унаследовал особую роль Петра, а не Антиохийский?

Потому что, во-первых, Антиохийскую кафедру Петр оставил еще при жизни, так сказать, переуступил, сам перейдя в Рим, и, разумеется, при этом речь не могла идти о «дублировании» его ведущей роли: свою роль он взял с собой. И лишь Римский епископ, после мученической смерти Петра унаследовавший его кафедру, мог претендовать на роль преемника вселенской функции св. Петра. Во-вторых, Антиохийская кафедра ни в прошлом, в пору своего расцвета, ни тем более теперь никогда не пользовалась и малой долей того авторитета и влияния в Церкви, каким всегда располагала кафедра Римская.

Св. Ириней приводит список Римских епископов в связи с вопросом, какую Церковь следует считать подлинной Церковью Христовой. Он говорит, что подлинная Церковь непременно ведет свое происхождение от какого-либо из Апостолов и бережно хранит список своих предстоятелей от Апостольских времен. В одном сочинении привести все такие списки никак невозможно, поэтому, говорит Ириней, мы ограничимся списком самой почитаемой и авторитетной во вселенной Церкви — Римской.

В сходном духе высказывались и позднейшие великие Отцы Церкви, включая Отцов Халкидонского собора, по поводу вероучительного определения св. Папы Льва Великого единодушно восклицавших: «Петр вещал через Льва!»

Мне приходилось слышать и такое мнение, что это, дескать, была просто такая риторическая фигура, восточный политес, знаете ли... Спорить не берусь. Собственно, я и не собираюсь проводить сколько-нибудь подробный разбор богословских, библейских и святоотеческих обоснований примата св. Петра и его преемников. Такая работа проделана уже давно и великолепно в прекрасной книге Владимира Соловьева «Россия и Вселенская Церковь», пересказывать которую здесь не имеет никакого смысла. В последние годы она переиздавалась неоднократно и желающим вполне доступна.

Для меня достаточно было показать, что такие аргументы ЕСТЬ. Но я не думаю, что лишним повторением смогу прибавить им убедительности.

Поэтому займемся другим вопросом —

А насколько это важно?

Действительно, кто из нас не слышал, а то и сам не говорил: «В Бога я верю, но в Церковь не хожу»? Т. е. важно иметь Бога у себя в сердце, в душе,

а не в церковь ходить. А если и ходить, то разве так уж важно, в какую именно? Ведь Бог один!

Попробуем ответить на обе части этого вопроса.

Сегодня очень модно считать, что все религии так или иначе служат добру, так или иначе несут какую-то истину, и важно не столько то, какую веру ты исповедуешь, сколько то, как искренне и глубоко ты это делаешь. Добросовестный и последовательный последователь (прошу прощения за тавтологию) любого Учителя жизни достигнет спасения... просветления... нирваны... вечного блаженства и т. д., за кем бы он ни шел: за Буддой, за Христом, за Магометом, за Сократом, за Лаоцзы, а то и просто — за голосом собственной совести. Ежели по-политкорректному, тут и возражать-то неудобно, особенно против голоса совести. Но с совестью нам, к счастью, спорить и не придется, а дело в том, что Христос из этого списка выпадает просто потому, что Он как раз вовсе не учитель в общепринятом смысле. Следовать за Христом так же, как за Сократом или Лао-цзы, попросту невозможно.

Смотрите, что говорит любой учитель, будь то Будда, Сократ, Магомет либо Лао-цзы? Он говорит: Я знаю истину. Истина мне открылась. Я размышлял под деревом бо, либо просто размышлял, либо я уснул в пещере в пустыне и видел вещий сон, в котором истина мне открылась, и вот я передаю ее вам.

Т. е., выходит, истина — отдельно, учитель — отдельно. Так оно, собственно, и бывает, преподают ли математику, музыку или иностранный язык: и математика, и музыка, и язык существуют сами по себе, учитель — сам по себе, а ученик, при должном прилежании, вполне способен усвоить «весь материал», которым владеет сам учитель. То же самое и с Учителями жизни: жизнь — сама по себе, учитель — сам по себе. Вот я учу вас, говорит учитель, и когда вы познаете четыре благородных истины, или же Коран, или же путь Дао, вы будете знать то же и столько же, сколько и я (а ученик, того гляди, еще прибавит мысленно: а то и больше!).

Но совсем иначе со Христом.

Христос не говорит: Я *знаю* истину.

Он говорит совсем другое: *Я* — истина. Я *Сам* — истина («Я есмь путь и истина и жизнь», Ин 14,6).

Получается, что не только Он и жизнь, Он и истина о жизни, Он и путь жизни — одно, но и по отношению друг ко другу путь, истина и жизнь это нечто одно.

Либо это неправда, и тогда Он сумасшедший, а никакой не Учитель жизни.

Либо это правда, и тогда все прочие учители попросту не могут стоять с Ним в одном списке.

Так что, ежели со Христом, то ходить не в мечеть и не в пагоду. А ходить, если ходить, то в Церковь. И если уж да, то в какую?

Во-первых, по поводу «да». Если Христос Сам есть истина, если истина — это не книга, не набор утверждений, не просто путь, но живая Личность, то как можно познать такую истину? Невозможно познать живую личность, невозможно личностью овладеть, даже своею собственной — сколько всего в нас самих от нас ускользает!.. А тем более — иной, и тем более — Такой...

Познать, овладеть — невозможно. Но возможно Ей — приобщиться. Можно в Ней *пребывать*. Именно для этого Христос и установил таинство *приобщения*, причастия. В Евхаристии, в святом причастии, мы приобщаемся Самого Христа, принимая под видом пресуществленных хлеба и вина Его Тело и Кровь.

Я не собираюсь спорить с теми, кто этому не верит. Я только предлагаю рассмотреть те следствия, какие вытекают из данного принципа независимо от того, веришь ты в него или же нет.

Итак, для того чтобы не *познать* истину-Христа, но приобщиться ей, *пребывать* в ней, необходимо причастие. Человеку до такого не додуматься, а не то чтобы самому исполнить. Таинство причастия у нас есть потому, что его установил Сам Христос на Тайной вечере («Тайной» потому, что на ней была установлена эта «тайна», как по-славянски называлось таинство, а вовсе не потому, что проводилась она подпольно). После слов: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя» (Мф 26,27-28; параллельные места: Мк 14,22-25; Лк 22,19-24), Он прибавил: «Сие творите... в Мое воспоминание» (1 Кор 11,25). Таким образом, Евхаристия должна продолжаться — и продолжается! — и после восшествия Господа на небеса.

Мы не станем сейчас обсуждать вопрос о том, кому именно Господь передал власть совершения Евхаристии. Мы, католики, вместе с православными и членами других Апостольских Церквей — Армянской, Сиро-Халдейской, Коптской и др., — верим и утверждаем, что эту власть Господь вверил Апостолам и через них — их преемникам, т. е. епископам. Лютер и вслед за ним многие протестанты вплоть до наших дней считают, что такое утверждение означает произвольное ограничение силы Святого Духа (Которым и в Котором совершается это таинство по существу, а не, само собою разумеется, человеческими действиями и словами священнослужителя). Не будем с ними спорить. Личная моя точка зрения в качестве католика ясна, но я не собираюсь никому ее навязывать. Напротив, даже приведу пример в противоположном смысле.

Отец-францисканец Целестин Напюрковский, профессор Люблинского католического университета, в котором я учился, и в прошлом — активный участник экуменического диалога, рассказывал мне как-то, что присутствовал на лютеранском богослужении и был поражен, с какой благоговейной любовью относились лютеране к тому, что называли святым причастием.

— Ну хорошо, — сказал он в заключение. — Мы, католики, не верим, что у них действительно совершается это таинство (поскольку у лютеран не сохранилась апостольская сукцессия, т. е. преемство епископского священнослужения от Апостолов. — *А. М.*). Но я тогда вдруг подумал: а если бы мне предложили рассыпать эти облатки и потоптать их ногами, разве я стал бы это делать?

Что ж, я целиком с ним согласился, что поступить так было бы величайшим свинством, сукцессия там или не сукцессия. Таким образом, мы с о. Целестином оказались полностью единодушны в том, что нельзя целиком отвергать значения Лютерова убеждения в том, как существенен элемент человеческой веры в акте святого причастия.

— Но тогда о чем вообще разговор, если все дело только в вере? Разве и я не о том же? — воскликнет иной нетерпеливый читатель, радуясь при мысли, что от обязательного посещения храма все-таки удастся отвертеться.

Но, как ни относись к сукцессии, а Суть Евхаристии, однако, в том, что призвана она созидать из отдельных людей единое Тело Христово: это и значит, собственно, приобщиться Христу, пребывать в Нем: быть членом Его Тела, т. е. Церкви. Об этом хорошо и много говорит св. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам (1 Кор 12,12-31) и в других местах. Уместно также напомнить слова Самого Господа: «Где двое или трое из вас собрались во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18, 20), а также и тот факт, что само слово «литургия» означает по-гречески «общее дело».

Так что, как ни старайся, в одиночку Тела Христова тебе не составить.

Стало быть, у нас осталась только вторая часть вопроса: если уж в Церковь так или иначе необходимо ходить, то в какую? И здесь мы вновь вернемся к св. Иринею.

Католичность или православность?

Попавшему в незнакомый город св. Ириней советует осведомиться, где здесь *католическая* Церковь, и ходить именно туда. У Иринея (напомню: жившего во II веке) стоит именно этот термин: *katholike*, что по-гречески значит — «вселенский», «всеобщий». Вот уже лет двести это слово в русских переводах не только св. Иринея, но и всех вообще святоотеческих писаний, заменяют на «православный». Также и в Символе веры прежнее: «Верую в... кафолическую (через «фиту» в славянском тексте)... Церковь» заменено на невнятное: «соборную». Невнятное потому, что слово «Церковь» (греч. *ekklesia)* само по себе значит «собрание». «Соборная Церковь» — получается, «собранное собрание»?

То, что это — новомодное искажение, следует хотя бы из того, что в Грузинской православной церкви (и, несомненно, в Греческой) слово *katholike* из Символа никуда не делось, так до сих пор его и произносят — сам и слышал, и произносил. (Мне говорили о каких-то древних славянских памятниках, где тоже вроде бы стоит слово «соборную». Может быть, и так, но что с того? Если ошибку начали допускать не двести лет назад, а восемьсот — а в общий обиход, «в моду» так сказать, она вошла все-таки только двести лет назад, до этого и на Руси писали «кафолическую», — то быть ошибкой из-за этого она не перестает.)

Так ли уж безобидна эта замена? Не безобидна уже хотя бы потому, что лишает ищущего однозначного ориентира.

Действительно, в Москве сегодня вы найдете три или четыре Церкви, претендующие на православность: прежде всего, конечно, Церковь Московского патриархата, но также представлены и катакомбники, и старообрядцы, и мало кому известная Русская Апостольская православная церковь, в которой служат о. Глеб Якунин и мой друг о. Яков Кротов. В Украине Православных церквей целых три, а в Стокгольме, как я в свое время с изумлением узнал, представлены аж девять (!) Православных церквей, причем общаются между собой и признают благодатность друг у друга

всего лишь две. Ну и как же тут разобраться путнику, попавшему в незнакомый город?!

Что нам ответит грамотный православный, если мы спросим у него, как нам убедиться, что его Церковь — действительно православная, что по смыслу слова должно значить: истинная Христова Церковь?

Он ответит примерно так: читай Священное Писание, труды Святых Отцов, молись, посещай наши богослужения, и рано или поздно свет снизойдет на тебя, и ты сам убедишься, что наша Церковь — истинная.

Что ж, прекрасно; многие действительно так и поступают, и убеждаются, и счастливы. Но вся беда в том, что точно то же самое путник услышит и в любой из трех, четырех, а то и девяти наличных Православных церквей! Больше того: то же самое он услышит и у баптистов, и у лютеран, и у пятидесятников, да что там, и у Свидетелей Иеговы он услышит то же самое, и у кришнаитов! Читай Упанишады, творения наших мудрецов, посещай наши собрания, распевай «харю Кришны», и свет на тебя снизойдет! И что же? Многие действительно так и поступают, и «просвещаются», и распевают, и радуются!

Заметили, в чем тут дело? При таком подходе окончательным судьей оказывается сам вопрошающий — наш путник, любой «я». И в конце концов это именно «я» признаю «православной», или истинной, или спасительной ту Церковь, ту общину, которая мне лично понравилась, где я пережил «просвещение». Что ж, может быть, это не так уж плохо? В конце концов, это так естественно, почти что неизбежно: куда нам деться от собственной субъективности? Но субъективность может быть оправданна, если ты пишешь поэтический цикл о своих путевых впечатлениях. Если же ты, как св. Ириней, озабочен составлением *путеводителя* ко спасению, субъективность тут не подходит. Необходимы объективные, внешние ориентиры, и *католичность*, *вселенскость* этим свойством обладает, а *православность* — нет.

Как убедиться, что данная Церковь — действительно вселенская? Очень просто: достаточно посмотреть, распространена ли она по всему миру и находятся ли ее общины в общении между собой? Два необходимых признака: распространенность и общение, единство: «Верую во единую... вселенскую...» В том, что Католическая церковь этими признаками обладает, легко может убедиться и христианин, и мусульманин, и даже атеист. А в то, что та или иная Церковь действительно православная, может без зазрения совести верить только член этой самой Церкви.

Притом если сегодня, благодаря масс-медиа, распространенность по всему миру и единство Католической церкви очевидно для каждого, то у св. Иринея тоже был надежный признак, чтобы в этом убедиться: достаточно было проверить, находится ли данная Церковь в общении со всеми остальными Церквами по всему миру? А в том, что тогдашний мир был достаточно осведомлен о положении дел во всех своих частях, я думаю, никто особенно не сомневается. Стало быть, о том, что Католическая церковь существует по всему им известному миру, люди более-менее знали. Другое дело, находится ли данная Церковь в общении со всеми остальными? Как это можно было бы проверить? Потребовать у каждого епископа предъявить переписку со всеми остальными епископами мира? Ясное дело, невозможно:

никто и никогда не переписывается со *всеми*. Но это было и не нужно: существовал единый центр, общаясь с которым, ты находился в общении со всеми остальными Церквами. Этим центром была (и остается) Церковь Римская.

Мы видим, таким образом, что роль Римского Епископа — Папы — это роль прежде всего служебная. Титул servus servorum Dei — «раб рабов Божиих», который Папы носят начиная с V века, это не просто эвфемизм, но строгая констатация той роли, какую Папа призван играть в Церкви. (С V века, значит, практически с самого начала того времени, когда все возраставшие внешние авторитет и власть папства вполне могли заставить, и нередко заставляли, об этой стороне папского служения забыть.)

Почему католичность равнозначна истинности?

Ну хорошо, допустим, Папа призван и даже действительно справляется со своей служебной ролью единящего центра для Церкви, распространенной по всей вселенной. Но разве истина зависит от распространенности? Разве не может оказаться так, да и оказывалось неоднократно, что как раз единицы остаются верными истине, тогда как большинство охотно скатывается в заблуждение и ересь? Вот, скажем, прекрасный пример великого святого Афанасия Александрийского, который чуть ли не единственным сохранил правую веру, когда почти все остальные по всей Церкви впали в арианство? Пример действительно прекрасный, хотя бы потому, что роль Папы он высвечивает тоже в весьма благоприятном свете. Трудно сегодня судить, что помешало — и помешало ли вообще — Папе той поры выступить против арианства с тем же блеском богословской мысли, что и св. Афанасию: недостаток ли личных дарований или же необходимость считаться с арианским государем, в чьей столице располагался его престол. Одно, однако, несомненно: св. Афанасия Папа неизменно защищал, у себя в Риме укрывал, возвращению его на кафедру в Александрии, с которой Афанасия сгоняли пять или шесть раз, способствовал, и вообще, если бы не Папа, Афанасию просто было бы не выжить. Подробнее об этом можно прочитать в «России и Вселенской Церкви» Вл. Соловьева. Там же обстоятельно разбирается роль Пап в преодолении прочих «великих» ересей первых веков. Но с тем, что Папы первых веков играли благодетельную роль, никто из православных и не спорит: недаром они все за первые лет шестьсот, а некоторые и дальше, т. е. за всю эпоху неразделенной Церкви, признаются святыми в Православной церкви так же, как и в Католической.

Ну ладно, с первыми Папами повезло, и вообще, в первые века вера была куда сильнее, но мы ведь говорим о том, почему сам по себе признак католичности — вселенскости оказывается ручательством правоверия.

Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить, что такое истина для христианства. Это не сумма знаний, утверждений, информации. Это — живая Личность, Сам Христос. Знать истину целиком и полностью для человека невозможно. Мы только можем быть *причастными* истине, причастными Христу через его Тело, т. е. Церковь. Поэтому не Церковь мы должны искать по признаку истинности: у нас для этого нет и не может быть никаких дей-

ствительных критериев, лишь субъективные переживания, — но истинность должны искать по признаку церковности. Другими словами: не там Церковь, где истина, но там истина, где Церковь. Принцип церковности, т. е. распространенности и единства, в наибольшей полноте воплощен именно в католичестве — это не богословское убеждение, а простой объективный факт. Стало быть, истина также в наибольшей полноте воплощена именно там.

Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Я сужу не о том, какая Церковь истинная, какая нет: достоверно судить о божественных истинах нам не дано — не *воспринимать* их: «Чистые сердцем Бога узрят» (Мф 5,8), но именно *судить* о них. Я бы не говорил так категорично, если бы не случалось мне встречать чистых сердцем буддистов, настолько просветленных созерцанием божественного (хотя Бога как Абсолют буддизм отрицает!), что мне даже неловко было находиться с ними в одной комнате. Но согласитесь, что никому из нас, из христиан, с буддистскими суждениями о божественном соглашаться не приходится! Так что и я сужу не о божественном, но о *нашей способности к суждению.* Если безошибочно судить о божественном не дано даже самым лучшим из нас, то судить о том, какая церковная община обладает достаточным единством и распространенностью по всему миру, чтобы по праву называться «вселенской», или католической, способен каждый мало-мальски разумный и осведомленный человек.

Бог хочет нашего спасения и счастья, а возможно это только в единении с Ним. Но поскольку для того, чтобы соединиться с Богом, человек не может сделаться Богом, то Бог Сам становится Человеком. Делается для нас доступным.

Точно таким же доступным для нас Он делает и признак, по которому следует Его искать.

Было бы жестокой головоломкой, испытанием в духе сказочных злодеев: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», если бы дело нашего спасения Бог поставил в зависимость от нашей способности распознать «православность» той или иной церковной общины. Зато «католичность» распознать способен любой.

Бог не ждет и не требует от нас, чтобы мы шли туда, где нам открылась истина: «Он знает состав наш, помнит, что мы — персть» (Пс 102,14). Больше того, если истина тебе все-таки уже открылась, то тогда и ходить особо никуда не надо, разве не так? — И тогда правы те, кто говорит: «В Бога верю, в Церковь не хожу!»

Бог ждет и требует от нас, чтобы мы шли туда, где, как мы способны обоснованно судить, истина *может* нам открыться. И таких мест на свете много, потому как есть одна Церковь, которая поистине объяла собою всю вселенную, и только в силу этого она просто не может не быть истинной, сиречь православной.

Православность католичества вытекает из самого факта его вселенскости. Именно этот факт, доступный восприятию каждого, и выбрал Бог в качестве ориентира для спасения. Вселенскость Католической церкви не оспаривает ни мусульманин, ни буддист, ни даже атеист. Православность «Православия» очевидна только для православных, да еще, как вы, может быть, удивитесь, для католиков.

Особенно на Западе католики вообще очень любят православных и православие. С тем самым о. Стефано Каприо, с которым так по-хамски обошлись, я познакомился впервые в Сериате, маленьком городке возле Брешии в Северной Италии. Там уже много лет существует община из итальянских католиков, которые так любят православие, что и храм у них обустроен по-православному, с русскими иконами, и литургию они служат св. Иоанна Златоуста, и поют при этом славянские тексты по-итальянски неподражаемо, а в служебниках славянские ектении у них напечатаны итальянскими буквами: *«Paki i paki mirom Gospodu pomolimsia!»*

Или такой эпизод. В пору моего первого выезда в Европу в 1989 году я оказался в городке Медоне под Парижем, где тогда располагалась Славянская библиотека, основанная еще иезуитом князем Гагариным в девятнадцатом веке. При ней (или она при нем, теперь не помню точно) существовал русскоязычный религиозный центр св. Георгия — с храмом и регулярной литургией по Византийскому обряду. Директор центра, отец-иезуит Рене Маришаль, человек редкостной доброты, какой я не встречал даже у францисканцев, взялся устроить мне поездку в Рим. И вот он звонит туда при мне по телефону с внешней слышимостью, так что я могу следить за разговором, тем более что ведется он по-русски.

— Здесь передо мной сидит священник, который хочет приехать в Рим, — говорит отец Рене своему римскому собеседнику.

— Православный? — спрашивает собеседник.

— Нет, католический.

— Жаль! — сокрушается собеседник, — для православного устроить все было бы гораздо легче!

Но дело не только в народных симпатиях и ватиканских настроениях. Такова же и официальная позиция.

Католическая церковь не оспаривает титула «Православная» у восточных церковных общин, потому что, с одной стороны, основы православного вероучения и практики сложились в первую тысячу лет христианства, т. е. в эпоху единой Церкви, и в силу этого они подлинно истинны, а с другой — сами эти общие основы служат ручательством того, что общение полностью не прервалось и православность этих общин не иссякла. Мы, католики, вовсе не считаем своих разделенных восточных братьев полностью заблудшими и пропащими, напротив, признаем, что в православии неповрежденно сохраняются изобильные сокровища Божественного Откровения и благодатной жизни в таинствах. Именно такова официальная позиция нашей Церкви, с какими бы иными личными позициями у отдельных католиков вам ни довелось столкнуться (см. об этом, например, Декрет об экуменизме *«Unitatis redintegratio»* II Ватиканского собора, где глава, посвященная отношению к православным Церквам, называется *«Об особом уважении к Восточным Церквам»*).

Но, с другой стороны, Католическая церковь никогда не отрекалась и от собственной православности — в начале I Евхаристической молитвы («Римского канона») после упоминания Папы и Предстоятеля данной поместной Церкви говорится обо всех *православных* исповедниках католической и апостольской веры: *«Et omnibus **orthodoxis** et apostolicis fidei*

custodibus», — и даже от собственной православности *по преимуществу* (о чем см. в том же Декрете об экуменизме).

Потому и Папа Пий XI сказал:

— *I giusti ortodossi siamo noi*[3]*!*

1054 год

Первую тысячу лет христианства в этом никто и не сомневался. Не существовало и нынешнего искусственного противопоставления «православного» «католическому», поскольку даже термины *katholike* и *orthodoxis* употреблялись как равнозначные, и первый даже, как уже отмечалось, много чаще и в более значительном контексте, например в Символе веры. Невзирая на неоднократные расколы — Несториев, Акакиев и особенно Фотиев в IX веке, когда, собственно, и была в основном выработана контркатолическая аргументация, которую в дальнейшем использовал Михаил Керулларий, в целом единство сохранялось, хотя бы только в форме признания примата Папы в качестве «первого среди равных». Сомнительно, чтобы такая формулировка, если даже она произносилась в ту эпоху (ибо сложилась она, сколько знаю, гораздо позже, в рамках западно-европейского феодализма), воспринималась тогда аналогично нынешнему «первенству чести», признаваемому православными за Константинопольским патриархом. Из этого «первенства» не вытекают ни особый вероучительный авторитет, ни тем паче какие-либо властные относительно других Церквей прерогативы. Папы вели себя не так. И по вопросам вероучения, и по вопросам церковной дисциплины они высказывались неоднократно, ясно, прямо и авторитетно. Еще при жизни св. Апостола Иоанна Богослова, в I веке, Папа св. Климент Римский пишет Коринфской церкви строгое пастырское послание, содержащее упреки и увещевания. И Коринфская церковь, расположенная гораздо ближе от Эфеса, где в то время проживал св. Апостол Иоанн, нежели от Рима, не возмущается «самовластием» Папы, не апеллирует к Апостолу, не жалуется на «вторжение на чужую каноническую территорию», но восторженно принимает папское послание, которое затем в Коринфе долгое время читалось на богослужении наряду с текстами Священного Писания.

Во II веке Папа св. Виктор по вопросу времени празднования Пасхи грозит восточным ослушникам отлучением, и только заступничество авторитетных исповедников удерживает его от этого шага. При этом исповедники не ставят под сомнение правомочность Папы принимать такого рода решения, но лишь взывают, и успешно, к его милосердию. (Окончательно римский порядок исчисления пасхалий был принят в Церкви повсеместно в результате решения Никейского собора в IV веке — о пасхалиях и календаре см. также ниже.)

Я ограничусь этими примерами, хотя таких же, и еще более выразительных, можно привести множество (желающие их найдут все в той же вышеназванной работе Владимира Соловьева).

---

[3] Истинные православные это мы (*лат.*).

Достаточно красноречива даже сама форма разрыва 1054 года, оказавшегося фатальным. Существа спора мы касаться здесь не будем: я пишу не историческое исследование и не богословскую оценку — все это делалось уже столь же неоднократно, сколь и бесплодно. В булле об отлучении, которую легат папы Льва IX, резкий нравом кардинал Гумберт де Муайенмутье возложил на алтарь константинопольского собора Св. Софии во время богослужения, патриарх Михаил Керулларий обвинялся в симонии, в том, что занял патриарший престол незаконно, путем злоупотреблений, и во многом еще (интересная деталь: историки в дальнейшем выяснили, что к этому моменту Папа Лев IX скончался и, стало быть, полномочия его легата Гумберта истекли). У патриарха Керуллария была на все на это, разумеется, собственная точка зрения. Не уступая нравом Гумберту, сразу затем он собрал в Константинополе «собор» и в ответ отлучил Папу.

Самая форма этого конфликта, на мой взгляд, свидетельствует, что стороны не воспринимали себя равными. Как ведут себя равные, видно хотя бы на примере недавнего конфликта между Московским и Константинопольским патриархатами по вопросу о юрисдикции Эстонской православной церкви (а точнее, по вопросу о распоряжении ее имуществом: в Эстонии, в отличие от России, была проведена щедрая реституция разграбленного большевиками). Никто никаких анафем не произносил, а только лишь в Москве, причем, если не ошибаюсь, в одностороннем порядке, было заявлено то ли о прерывании общения, то ли об угрозе такого прерывания с Константинополем, если... Словом, равные *ссорятся*, а не осуждают и не бунтуют.

Москва не подчиняется Константинополю дисциплинарно и не зависит от его вероучительного авторитета. В рамках сложившейся в Восточном православии системы у Константинополя нет ни малейших рычагов легитимного давления. Поэтому Москве для защиты собственных интересов нет нужды в столь радикальных мерах, как возмущение, отпадение, отлучение, — с тем, за кем признается только «первенство чести», они попросту не нужны. Достаточно пригрозить прерыванием общения. То, что Керулларий таким паллиативом довольствоваться не мог, как раз и говорит о том, что за Римом признавалось отнюдь не только такое первенство.

«Первенство чести» вытекает, в частности, из простого факта старшинства по древности — обстоятельства в Церкви немаловажного. Римская кафедра существует с I века, от Апостола Петра, тогда как самый город Константинополь был построен императором Константином только в IV и долгое время собственного патриарха не имел. Константинополь, разумеется, гораздо старше, чем Москва, поэтому его «первенство чести» Москвою признается, хотя не безусловно: «Третий Рим»! Другое дело — первенство влияния. Здесь у Москвы уже который век значительный приоритет, и прагматической Москве, похоже, этого довольно.

У Папы с Керулларием спор шел не о первенстве чести, но о первенстве влияния (хотя и честь в те времена ценилась много больше, чем сейчас). Самостоятельно распоряжаясь в подвластных императору владениях (к XI веку существенно урезанных), Керулларий был полностью солидарен с императором в желании отстранить здесь от влияния чужеземцев из ставшего далеким Рима.

Византийские власти так или иначе терпели вселенский авторитет Римского епископа, покуда Рим признавался частью собственной империи, будь то фактически, юридически или хотя бы ностальгически. Но к XI веку, после «Римских» империй Карла Великого и Оттона I, византийские претензии на светскую власть над Римом стали очевидно иллюзорными для всех. И как реакция — отказ Византии признавать духовную власть Рима, которая доселе, повторимся, так или иначе признавалась — иначе папских легатов просто на порог бы не пустили, а не то что позволять им буллы возлагать на алтари!

Поскольку спор о власти, то восстающий против этой власти тем самым признает ее существование. Если бы ее не было, то нечего и восставать, достаточно нелепые претензии проигнорировать.

И если даже, как многие считают, римские претензии на власть во всей вселенской Церкви, и в частности над Константинополем, были нестерпимо преувеличенными, то ведь Константинополь ни на какую власть над Римом (не над Востоком) никогда и не претендовал! Так кто же на кого восстал, старший на младшего? Кто от кого отделился, первый от неперво-го? Вопрос не праздный, вековая пропаганда свое дело сделала.

В эпиграфе к данной статье даже проницательнейший Иосиф Бродский говорит, что «Западная Церковь отделилась от Восточной»... Помилуйте! Не старший отделяется от младшего, не большее от меньшего, — а Западная, вернее, Католическая церковь, простираясь от Португалии до Скандинавии, была заметно больше уже тогда, тем более в дальнейшем, когда Восточная так страшно съежилась: в непосредственной юрисдикции Константинопольского патриарха сегодня всего три тысячи верующих — скромных размеров католический приход где-нибудь в Польше или в Украине.

Не стоит говорить об этом давнем происшествии подробнее. Не так уж важно нам сегодня, кто был больше виноват в той междуведомственной «разборке», в том межюрисдикционном, не побоюсь сказать: обоюдном! — хулиганстве. Куда важнее, на мой взгляд, тот факт, что эта, вовсе не воспринимавшаяся поначалу как окончательный разрыв, «хулиганская» история так затянулась — на добрых (недобрых!) девятьсот лет, пока 7 декабря 1965 года, накануне закрытия II Ватиканского собора, Папа Павел VI и Патриарх Константинопольский Афиногор в совместном и торжественном заявлении не сняли взаимных отлучений. Тем самым было восстановлено самое главное — евхаристическое общение. Было разрешено, хотя бы на определенных условиях, взаимопричащение восточных православных и католиков, и эта практика распространилась повсеместно. В Русской православной церкви ее придерживались до начала 90-х, т. е. фактически до освобождения, но потом официально приостановили. Почему?

Из-за событий в Западной Украине!

Не станем разбираться, кто там был прав, кто нет. (Мне-то проблема представляется предельно ясной, и об этом я скажу в свое время. Но свою точку зрения я вовсе не навязываю). Дело в другом. Здесь, уже в который раз, со всею очевидностью проявляется тот факт, что основания нашего раскола не богословские, но сугубо политические.

С 1965 года и до начала 90-х богословские расхождения никуда не исчезали, так и сохранялись, однако не мешали взаимопричащению. Но стоило возникнуть политическим разногласиям — и нате вам!

Так оно, собственно, и было на протяжении веков: чувствует Византийский кесарь себя уверенно — раскол! А зашаталась империя — сейчас бегом на Запад, примиряться: Лионский собор (1274), Флорентийский собор (1439), и никакое *filioque* не мешает! А те, кому на тот момент турки не угрожают — великий князь Московский, например, — тотчас участников того собора — да в подвал! Поскольку — ишь, чего удумал! Мою домашнюю ручную Церковь на Скалу-Петра опереть? Что ж потом, правнучку моему, Ивану свет Васильичу, уже и митрополита Филиппа не казни, на Папу там какого-то оглядывайся? Дудки!

О том, что хулиганская история 1054 года была воспринята как окончательный разрыв не сразу, свидетельствует многое.

Во-первых, те самые Крестовые походы, на которые так любят нарекать сегодня братья-православные, начались-то по инициативе константинопольского императора! Это по его просьбе Папа Урбан II провозгласил в 1095 году крестовый поход против мусульманских захватчиков на соборе в Клермон-Ферране. Турки к тому времени захватили не только Палестину и Иерусалим, но и всю Переднюю и Малую Азию и угрожали непосредственно Константинополю. Крестоносцы наголову разбили турок, освободили всю Малую Азию и вернули ее Византии, а основанные в Передней Азии Иерусалимское королевство и сопредельные христианские государства признали над собою суверенитет Константинополя, т. е. стали его вассалами. Как видим, на то время восточные и западные христиане отнюдь не видели друг в друге еретиков. (Не то что позже: «Лучше нам турки, чем Папа!»)

Дальнейшая история Крестовых походов протекала куда печальнее, и нарекания православных относительно хотя бы четвертого вполне, конечно, справедливы. Но надо же смотреть на всю историю в целом! Сегодня, повторяю, не так важно, «кто первый начал», нежели то, когда мы, наконец, закончим!

Стоит сослаться и на то, что другие Восточные церкви отнюдь не сразу втянулись в орбиту константинопольской антиримской политики.

Грузинская церковь, например, сохраняла и поддерживала живое общение с Римом еще двести лет, до самого монгольского нашествия: об этом сохранились многочисленные памятники, свидетельства и документы, собранные и опубликованные в начале прошлого века грузинским католическим священником Михаилом Тамарашвили. (А монголы — это богословское препятствие к общению или политическое?)

Но не только о Грузии речь. Та же Русская церковь, невзирая на сугубую зависимость от византийской иерархии, разрывать общение с Римом не спешила. Так, праздник Перенесения Мощей св. Николая Мирликийского, установленный Папой в 1070 году (т. е. спустя целое поколение после разрыва), был принят Русской церковью и празднуется до сих пор, тогда как у греков его нет.

Так же и прочие Церкви на Востоке — Антиохийская, Александрийская, Болгарская, — вошли в раскол не сразу, но постепенно. Везде был светский государь, который рано или поздно понимал преимущества владеть

своей ручной домашней Церковью, будь то болгарский царь или великий князь Московский; а уж турки в Антиохии да в Александрии как обрадовались! — и радуются до сих пор.

Такие государи и на Западе водились: германский император Генрих IV, французский король Филипп Красивый: все они боролись с Церковью с переменным успехом, но окончательно подавить и подчинить ее себе так и не смогли. Ибо когда Церковь утверждена на Скале Петра, «врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18).

Ну а мы? Долго ли еще нам «турок» радовать?

Чуть-чуть о ересях

Легко могу себе представить, что мои слова о нашей неспособности судить о божественных истинах далеко не всем покажутся справедливыми:

— Это нам, грешным, не дано о божественном судить, а вот Святые Отцы!.. Их и надо слушать, а не всяких там католиков!

Но давайте задумаемся: а что, собственно, делает Святых Отцов *Святыми* Отцами?

Познания? Премудрость? Проницательность?

Конечно же, нет! Познаний, проницательности и премудрости не занимать было и многим еретикам. Тогда что же?

Как «что»? Разумеется, святость!

Вот именно. Но в чем же эта святость выражалась? В особых подвигах благочестия, аскезы, самоотверженности, даже самопожертвования? Да, без аскезы и самоотверженности, а то и самопожертвования дело, как правило, не обходилось, но одной аскезы и самопожертвования, как ни странно, мало.

Вот два разительных примера: Тертуллиан и Ориген. Отцами Церкви они числятся — слишком огромен их вклад в развитие христианского богословия, а вот Святыми Отцами — нет. Почему?

В познаниях, премудрости и проницательности их не превосходил никто; в аскезе, самоотречении и самопожертвовании они превосходили многих.

Тертуллиан в ересь донатистов потому и впал, что обычная церковная практика аскезы ему казалась недостаточной, хотелось большего; а Ориген в своем самопожертвовании и рвении дошел до самооскопления, а умер из-за пыток, каким его подвергли за веру во Христа. Но оба признаны еретиками, или, точнее говоря, в их сочинениях, наряду с бесспорными и изумительными достижениями, во многом легшими в основу богословия Церкви — потому и Отцы Церкви! — содержатся и еретические элементы.

Так вот, положа руку на сердце, беретесь ли вы сами, индивидуально, различить в сочинениях Оригена и Тертуллиана еретический элемент от православного? Я лично — нет. Я потому принимаю те или иные утверждения как достоверные и православные, что мне ручается за это Церковь. А еретик — потому еретик, что ручательство Церкви для него не выше собственного мнения (в этом смысле Ориген не еретик: он, если не ошибаюсь, умер до того, как Церковь определенно оценила его суждения).

Вспомним, что первоначальное значение слов «ересь» и особенно «секта» (от лат. *Sectare* — «резать, разделять, ампутировать») не «заблуждение»,

а именно «разделение». Т. е. не потому еретик отпадает, что заблуждается, но заблуждается потому, что отпадает. Отпав, он неизбежно отрезает себя от источника истины, и какими бы ни были его таланты и достижения — а ересиархи, как неоднократно отмечалось, люди нередко весьма незаурядные, — как бы ни выглядели убедительно его доводы, рано или поздно скажется *человеческая неполнота* и обнаружится заблуждение. Это подобно тому, как если отрезать кусок от живого организма: каким бы благородным и самодостаточным он ни выглядел поначалу, в дальнейшем, оторванный от живого целого, он неизбежно протухает и смердит. Истина не червяк, чтобы безнаказанно переносить деление.

Отсюда следует очень важный вывод: недопустимо не заблуждаться, а отпадать.

Запрет на заблуждения способен полностью блокировать всякую свободную мысль, всякое исследование. Ведь как еще можно было бы запретить человеку заблуждаться? — Это же все равно, что запретить ему падать, когда он поскользнется. Запретить падать невозможно; зато вполне возможно запретить хождение. Многие так и поступали — католики заметно больше, чем другие, потому что и возможности у нашей Церкви, и стало быть, у иерархии, были с другими несравнимые, — и с катастрофическими последствиями. А было так потому, что не понимали: грех и вина не в заблуждении, не может человек не заблуждаться; грех и вина в отпадении. Когда ты свои мысли, убеждения, достижения, не важно даже, истинные или ложные, ставишь выше единства с источником истины, Христовым Телом — Церковью. Какими бы ни казались убедительными твои утверждения, без единства с источником истины, без подпитки живою кровью рано или поздно они протухнут.

Трудно найти более показательный, причем во многих отношениях, пример на эту тему, нежели пример Галилея. Поэтому позволю себе ненадолго на нем остановиться.

Так кто же все-таки вертится?

E pur si muove[4] — знаменитые слова Галилея, которые он якобы произнес, после того, как под давлением церковных властей (в виде весьма реальной угрозы костра!) публично и торжественно отрекся от своих астрономических убеждений. «Якобы» потому, что если он их произнес наедине со своей совестью, то кто же их тогда предал огласке. А не наедине — неужто бы решился?

Но, как бы там ни было: допустим, произнес. Вопрос в другом: был ли он прав? Причем не в том, что отрекался или что сложил эдакую фигу в кармане: за то, что отрекался, пусть его судят те, кто с честью пережил реальную угрозу костра — причем такие люди, сколько могу судить, обычно гораздо больше склонны ко снисхождению, нежели к осуждению; что до фиги, то кто из нас не держал ее в кармане все годы советской власти? Нет, дело в том, был ли он прав относительно того, кто именно вертится.

[4] И все-таки она вертится!

— Как?! — слышу возмущенное. — Что значит: «Был ли прав»? Вся современная астрономия построена на системе Коперника—Галилея, и даже ваш любимый Папа Иоанн-Павел был вынужден не так давно признать, что с Галилеем у вас того... ошибочка вышла!

Что же, действительно признал. Правда, по мнению многих, недостаточно определенно, слишком расплывчато, обтекаемо. А по мне — в самый раз.

Ошибка была в том, что Галилея обвиняли в *заблуждении* и обвинения не сняли даже после того, как он — насколько искренне, не важно, во всяком случае, юридически определенно и достоверно отрекся от своих воззрений, показав тем самым, что отпадать от Церкви не собирается. Неправильно было добиваться таких результатов с помощью угрозы костра; неправильно и то, что заблуждение само по себе ставилось в вину. После того как Галилей публично продемонстрировал свою лояльность Церкви, его следовало отпустить на все четыре стороны. Вместо этого остаток жизни он провел пусть под очень комфортабельным и домашним — на вилле своего друга-князя, — но все-таки арестом. Что делать, таковы были тогда нравы, всеобщие представления о справедливости и правосудии. При этом Церковь, вопреки распространенным со времен Вольтера взглядам, отнюдь не выступала «застрельщиком» в жестокостях, но, напротив, проявляла значительную мягкость по сравнению с обычным правосудием (исключение составляла разве что Испания, где в ходе реконкисты Церковь чрезмерно срослась с государством). В ходе инквизиционных процессов пытали и жгли гораздо меньше, чем в ходе светского уголовного правосудия. Это, конечно, не оправдание; то, что жгли не только за ересь, но и за подделку документов, что фальшивомонетчиков варили в кипящем масле, а обыкновенных воров не только вешали, но, бывало, и колесовали: это когда человека привязывали к большому деревянному колесу горизонтально и вращали, а палач бил его чем-то вроде железного лома, ломая все кости, пока не забьет до смерти; все это, повторяю, не оправдание. Но сам факт, что погруженность в мир и адекватность окружающему миру в наших глазах не оправдание для Церкви, свидетельствует, что мы ждем от нее надмирного поведения и, значит, признаем ее надмирные истоки.

Действительно, никто ведь не ставит сегодня в упрек уголовному праву его былые жестокости! А медицина? Как-то я побывал в медицинском музее в городе Брюгге: что за чудовищные орудия пыток там демонстрировали! А были это на самом деле средневековые медицинские инструменты; и ведь никакого наркоза! А знаете, как еще в XVIII веке пациента готовили к операции? Били специальной деревянной лопатой по голове, чтобы потерял сознание! И что же, кто-нибудь упрекает за это сегодня врачей?

Но с Церковью — дело другое. Нам невыносимо думать, что людей мучили и жгли во имя Христа, пусть даже среди них и попадались подлинные злодеи — это Вольтеру вольно́ было не верить в колдунов и ведьм, сегодня люди относятся к этому по-другому. Но ужасно и неправильно жечь даже колдунов, тем более, что, взяв это за привычку, однажды вы сожжете Жанну д'Арк...

— Что, «мы»? Почему это «мы»? Это вы, а не мы! А мы...

— А что вы? Напомнить вам, что ли, Аввакума? И если даже в Российской империи еретиков и колдунов жгли действительно нечасто — а «рас-

кольники»-старообрядцы, избавляя власти от лишней докуки, жгли себя сами, — то в Византийской еретиков истребляли десятками тысяч: например, императрица Ирина — павликиан... А протестанты? Одно время в Германии преследование ведьм достигло такого размаха, что в иных городах все женское население было изведено начисто. А Кальвин, ополовинивший Женеву и отправивший на костер выдающегося медика Сервета? А французские гугеноты, которые, прежде чем дожить до Варфоломеевской ночи, истребили столько католиков, что один из их вождей носил на шее ожерелье из ушей, отрезанных у убитых им священников? А либеральная Америка, где уже в XVIII веке, если не ошибаюсь, было выявлено и сожжено целых триста салемских ведьм? И сколько еще можно длить этот список? Генрих VIII, казнивший за верность Католической церкви своего воспитателя св. Томаса Мора, и не его одного? «Кровавая Мэри», его дочь, казнившая многих за противоположное? Или ее не менее кровавая сестрица Елизавета, при которой католических священников вешали только за то, что они служили мессу? Но ее партия победила, и потому она, воспетая Шекспиром, благополучно предоставила пользоваться титулом «кровавая» своей сестре... Так что, увы, в этом вопросе, к великому несчастью, нам не приходится делиться на «мы» и «вы». Все хороши, все запятнаны...

...Что с этим делать? Не знаю. Понять? Невозможно. Оправдать — еще меньше. Простить? А кто я, чтобы прощать, меня-то не вешали и не жгли!

(Святая Жанна д'Арк — ее канонизировали больше ста лет назад — наверняка простила своих мучителей. Что ж, уже немножко легче...)

Остается только смириться перед выбором: либо Церкви на земле нет вообще, либо все же искать ее среди тех, что имеются в наличии, веря, что Бог Всемогущий способен и хочет нас освящать и вести вопреки всем нашим слабостям, грехам и преступлениям. Но тогда если в этом отношении мы друг от друга ничем не отличаемся, то вся предыдущая аргументация относительно католичности остается в силе.

Однако вернемся, наконец, к Галилею.

Так кто же все-таки вертится?

(Продолжение)

Ошибка с Галилеем состояла также не в том, что Церкви не подобает судить о сугубо научных, в том числе астрономических, вопросах. Церковь об этих вопросах в деле с Галилеем и не судила. В своем решении кардиналы курии, разбиравшие казус, опирались на заключение экспертов, т. е. ученых-астрономов (Папская академия и покровительство науке появились в Католической церкви не вчера).

Заключение экспертов строилось не на сервилизме: «Чего изволите-с», а на анализе фактов. Факты же были таковы: к тому времени, как известно, господствующей в астрономии была доктрина Птолемея — греческого, кстати, языческого ученого — астронома и математика. Согласно этой доктрине, Солнечная система представляла собою совокупность обращавшихся вокруг Земли объектов: Солнца, Луны и планет. Орбиты этих объектов

выглядели как весьма сложные кривые, которые назывались «эпициклами», но поддавались, однако, хоть и весьма сложным, но точным расчетам. Таблицы эпициклов, т. е. движения планет, затмений и т. д., были составлены на основании этих расчетов на много лет вперед и всегда неизменно подтверждались наблюдениями — факт номер один.

Галилей вслед за Коперником предложил считать неподвижным центром Солнечной системы не Землю, а Солнце и рассчитывать движение планет, исходя из этого предположения. Расчеты при этом неимоверно облегчались — факт номер два.

Но вот беда — вскоре за этим состоялся факт номер три: затмение, которое произошло не тогда, когда должно было согласно расчетам Галилея, но в точности тогда, как полагалось согласно расчетам Птолемея.

Исходя из этого факта, эксперты признали систему Галилея несостоятельной. Кардиналам оставалось только принять это ученое заключение к сведению, ибо действительно не дело Церкви выносить самостоятельное суждение по сугубо научным вопросам.

Сегодня известно, что Галилея подвела недостаточная осведомленность. Он полагал орбиты планет круговыми, тогда как на деле планеты движутся по эллипсам. Знать этого он тогда не мог: лишь полтораста лет спустя этот факт установил Иоганн Кепплер. Вот эта разница между кругом и эллипсом и сделала расчеты Галилея несостоятельными.

Но Церковь в конце концов интересовало вовсе не то, по круговым или по эллиптическим орбитам движутся планеты, и не точные даты затмений. Речь шла о другом: если Земля — не неподвижный центр мироздания, если человек обитает не в самом центре вселенной, а где-то на ее задворках, то как же тогда верить, что Всемогущий, Вездесущий и Необъятный Творец интересуется такими провинциальными пустяками? Как верить, что Сам Сын Божий не нашел ничего лучше, чем воплотиться в эдаком захолустье? Вот какая мысль замаячила в общем сознании! Пусть с наибольшей силой поразила она мозги несчастного безумца Джордано Бруно, который прямо вопрошал: «Что же, если Земля расположена на окраине огромнейшей вселенной, то неужели больше нигде не найдется человеческих существ? А если они есть где-то еще, то неужели же Христос воплотился на каждой населенной планете? Сколько же раз пришлось Ему воплощаться?» — но и высокоученый Галилей, и кардиналы курии не могли не оценить мировоззренческих последствий этих, казалось бы, сугубо естественно-научных построений. Нет, Галилея обвинили не просто в ложной астрономической доктрине, но в *онтологической* ереси: он посмел, пусть косвенно, посягнуть на роль человека как венца творения.

При этом и кардиналы курии, и Галилей, и Бруно были солидарны в одном: они по-детски непроизвольно связывали размеры и значение. Для них — как и для всех нас, если не делать над собой усилия, «больше» естественно значило «важнее», а к тому же «важный» ведь значит еще «неподвижный». Ну сами посудите, вот важный король, император или же сам Папа восседает неподвижно на троне, а все остальные, менее важные, с той или иной скоростью «вертятся» вокруг него, и чем менее важные, тем быстрее. (Та же картина и сегодня: начальник сидит в кабинете, остальные бега-

ют.) Естественно отсюда вытекает, что если человек — венец творения, то и жить ему подобает в самом центре мироздания, на огромном неподвижном шаре (что Земля — шар, хорошо знал уже Птолемей), а все остальное: Солнце, Луна и звезды — обращается вокруг него по небесной тверди, исполняя хоть и весьма причудливый, но по-своему изящный и вполне математически описуемый танец «эпициклов». Ни Галилей, ни кардиналы не догадывались, что в физическом мире абсолютного центра обнаружить попросту невозможно: для этого нужно было дождаться Эйнштейна.

Суть теории относительности в этом и заключается: невозможно указать во всей вселенной абсолютной точки отсчета, места абсолютного покоя. Всякое движение должно рассматриваться и описываться *относительно* какой-либо произвольно выбранной точки, в которой располагается (хотя бы мысленно) наблюдатель, и в зависимости от этого описание движения может весьма существенно меняться. Выбирает эту точку наблюдатель, как правило, исходя из соображений удобства. Описывать взаимоперемещение Солнца и Земли, беря за точку отсчета Солнце, а не Землю, значительно удобнее, расчеты неимоверно упрощаются, это так. Но «удобнее» вовсе не означает «на самом деле». Никакого «на самом деле» физика не знает. Если мы при описании движения Земли и Солнца берем за точку отсчета Землю, у нас выходят вот такие формулы. Если же Солнце — вот такие. Они гораздо проще? Спору нет, радуйтесь. Но эта простота отнюдь не означает, чтобы Солнце само по себе было «центральнее», или «неподвижнее», тем паче «важнее», нежели Земля. Никакого «центральнее», «неподвижнее», «важнее» в природе не наблюдается. Это понятия не физические, а психологические, персональные. Или, как говаривал один мой друг, «в космосе нет ничего ни большого, ни круглого, ни теплого, ни зеленого. В космосе все нормально».

Очень хорошо понимаю, как непросто усвоить такую точку зрения («точку отсчета»!). Это что же, выходит, все равно, то ли я иду мимо дома, то ли дом — мимо меня? «Ехала деревня мимо мужика»?!

Да, мужик, разумеется, считает, что это он едет, а не деревня, потому что ясно чувствует, как тратит на эту езду силы свои и своей лошадки. Но физик с таким же успехом может сказать, что эти самые силы мужик тратит («прикладывает») на то, чтобы заставить деревню ехать мимо себя! Смотря что принять за точку отсчета, деревню или мужика!

Мужик, как правило, берет за точку отсчета деревню, поскольку считает ее больше, увесистей и, пожалуй, важнее себя. А сочти он наоборот?

Что? Вам трудно представить себе такого мужика-параноика? А я покажу вам его очень близко, буквально в зеркале. Вспомните, как вы воспринимаете вид из окна поезда: мимо мелькают столбы, переезды, домишки, полянки, перелески... *Они* мелькают, а не вы! Ну да! Сил вы не тратите, бóльшую часть поля зрения занимают неподвижные предметы купе, вот и естественно вам ощущать, что мелькает по ту сторону окна, а не по эту. А хотите заставить все мироздание закружиться вокруг себя? Нет ничего проще! Встаньте посреди комнаты и крутанитесь вокруг своей оси сколько можете! Что, головка закружилась? Еще бы! Каково это — весь мир вокруг себя крутить! Недаром теория Эйнштейна произвела в свое время такую сенсацию!

Причем парадоксально, что базу для этой теории заложил не кто иной, как сам Галилей. В одном из своих сочинений он описывает следующий мысленный эксперимент. Представим себе, что мы находимся в просторном закрытом помещении внутри корабля, который движется совершенно прямолинейно и равномерно (т. е. ни порывов ветра, ни качки — ну, представим!). Так вот, пока мы находимся внутри этого помещения, у нас нет ни малейшей возможности убедиться, движется корабль или же стоит на месте. Как ни прыгай, ни бегай, ни бросай всякие предметы, ничто нам не подскажет, что происходит с самим кораблем. Для этого необходимо выглянуть и посмотреть, что происходит вокруг. Что это значит? Да то, что никакого *абсолютного* движения и неподвижности природа не знает. О *всяком* движении мы можем говорить лишь относительно какой-то точки, которую мы приняли за точку отсчета. Вот что ясно сформулировал сам Галилей, но не сделал отсюда тех выводов, которыми Эйнштейн затем так поразил наше воображение (включая парадокс о разнотекущем времени).

Понадобилось еще триста лет развития науки, понадобилось, в частности, чтобы так называемые *преобразования Галилея* (да, снова Галилея! Какая шутка Божия!), т. е. математические формулы, относящиеся к равномерному прямолинейному движению, были развиты в «преобразования Лоренца», относящиеся уже к движению ускоренному — ими воспользовался Эйнштейн, — и, разумеется, много чего еще; но, я думаю, подробности здесь неуместны.

Конечно, Галилей не смог сделать всех так далеко идущих выводов из своих собственных исследований и экспериментов, чему свидетельством сама его знаменитая фраза про «вертится». Судя по ней, он полагал, что Солнце — абсолютный (или хотя бы более абсолютный, нежели Земля) центр движения. Мы же убедились (Эйнштейн убедил), что никаких абсолютных центров в физическом мире искать не приходится. Не потому Бог воплотился на Земле, чтобы здесь находился центр мироздания. Центр мироздания находится на Земле потому, что здесь воплотился Бог. Мы убедились, что точку отсчета выбирает наблюдатель. Наш Наблюдатель избрал Своей точкой отсчета именно нас.

Мне показалось необходимым так долго задержаться на этой теме не столько для того, чтобы показать, что обвиняли Галилея зря, что не мог он своим «вертится» посягнуть на роль человека как венца творения, как это выяснилось через триста лет. Гораздо более важным представляется мне то, что на этом примере с особой наглядностью видно, как рискованно даже ради самых убедительных и очевидных аргументов и представлений отрываться (и отрывать кусок истины) от живого тела Церкви: самые благородные (и аппетитные!) куски, как мы уже отмечали, рано или поздно с неизбежностью протухнут, хотя бы даже триста лет спустя.

И потом, так ли уж «мракобесны» традиционно христианские и даже ветхозаветные космогонические представления? Кто не замечал удивительных параллелей между рассказом книги Бытия о сотворении и современными эволюционными теориями (а кто не замечал, пусть почитает о. Тейара де Шардена)? И разве не в книге Иова сказано: «Повесил землю ни на чем» (Иов 26,7)?

— Действительно, Библия, в конце концов, это общехристианское наследие, а если Церковь — Тело Христово, то и причастна истине она вся целиком, а не один лишь ваш властолюбивый Папа!

Что ж, давайте остановимся на том, кто в Церкви причастен истине и кто ее призван особым образом выражать.

Церковь — тело? Но если мы рассмотрим обычное человеческое тело, то мы увидим, что в определенном смысле причастны, так сказать, «истине», все его члены и органы. Руки владеют навыками рукоделия, ноги — навыками ходьбы, а печень, почки, сердце, легкие владеют такими навыками, которых до конца ни один физиолог себе не представляет! Но все-таки сознание, как таковое, со всеми мыслями, эмоциями и чувствами, никто не связывает целиком со всем телом, с руками, ногами, волосами и ногтями, но все-таки привязывает его к определенному центру, определенному органу: к сердцу, как Библия, к мозгу, как современная цивилизация, и даже к печени, как тайцы — есть восхитительная тайская пословица: «Если носорог влюбляется в луну, он зря тратит цветы своей печени».

В том-то и дело, что в любом совокупном действии необходимо наделить особой ответственностью кого-то одного, любому телу необходима голова, любой группе — глава, иначе получается ерунда.

— Но позвольте, разве в православии мы безголовые? Разве не признаем авторитета священноначалия, епископата, Патриарха?..

Не спорю, авторитет священников, архиереев и Патриарха в православии неоспорим. Вопрос, однако, в том, каковы пределы и значение такого авторитета. Ручку священнику целовать и испрашивать при каждом случае: «Благословите, батюшка!» — это одно. Воспринимать указания священноначалия как исходящие от выразителя непогрешимой истины — совсем другое. Я здесь не говорю об отдельных до фанатизма преданных своим духовниками либо «старцам» индивидуумах — их единицы. Не говорю, конечно, и о тех, кто вынужден подчиняться вышестоящим по иерархии просто в силу своей дисциплинарной от них зависимости, т. е. о церковнослужителях. Вот, кстати, о церковнослужителях. Довелось мне как-то, лет тому семь или восемь, присутствовать в Москве на встрече, которую проводил один авторитетный православный священник, работавший до этого за границей. Среди многих действительно интересных и важных вещей он сказал буквально следующее:

— Носителем истины в Церкви является весь народ Божий. Поэтому, если иерархия ошибется, народ ее поправит.

Я еле удержался, чтобы не завопить: «Что ты, отче?! За что же тогда народ тебя содержит, ризы раззолоченные покупает, командировки заграничные оплачивает, если при этом сам же и учить тебя должен? Что это за стадо, где овцы вынуждены сами пасти пастырей? И кому нужны такие пастыри?!»

Вопить я, к счастью, не стал. Тем более что пастырь этот отнюдь не одинок: случалось мне встречать подобное и в писаниях видных православных авторов, и в народных лубках (в забавной повести о том, почему латинское

духовенство бритое), и в личных наблюдениях, и, кстати, «Сказка о попе и работнике его Балде» разве не свидетельство того же отношения к пастырям, которых именно стаду, народу, приходится пасти и вразумлять?

А преклонение перед «народушком» в XIX веке, то преклонение, которое привело к октябрьской катастрофе в веке XX, разве не из того же источника — что Церковь безголовая?

— Как, опять «безголовая»?! Довольно! В конце концов, у Церкви есть один Глава — Сам Христос, и другой головы нам не надо!

Оно, конечно так; но как удачно заметил кто-то, «глава жены муж (ср. 1 Кор 11,3), но это ведь не значит, что у жены не должно быть своей головы на плечах».

А иначе она рискует перепутать и променять своего Небесного Жениха на земного мужа — государство. Так у нас и случилось. И потому неудивительно, что в целом на Руси Церковь воспринимается прежде всего как некое этно-культурное, этно-государственное образование: «*наша* русская вера»! А коли так, то и относиться к ней следует по-свойски: и ручку батюшке поцеловать, и свечку в храме запалить, и на ризы золоченые по возможности пожертвовать, и даже послушать, что там батюшки говорят, но слушать-то слушать, а вот *слушаться* — увольте! С какой стати? Все равно, раз вера *наша*, никуда она от нас не денется...

Я не преувеличиваю: если бы люди своих пастырей не только слушали, но и слушались, в Москве на Пасху в православных храмах собиралось бы не по девяносто-сто тысяч человек, как в последние годы, что выходит меньше одного процента от населения православной столицы, а — сколько?.. Ну хотя бы столько же, сколько в жизнелюбивом Париже: раз в пятнадцать-двадцать больше (собственно, 15 % французов ходят на мессу и каждое воскресенье, а не только на Пасху).

И зря наш Патриарх каждый раз не забывает подчеркнуть, что, дескать, у нас, у православных, главный праздник Пасха, а у католиков, мол, Рождество. Это неправда. Конечно, ничего плохого про Рождество не скажет ни православный, ни католик, но все-таки главный праздник у нас, у католиков, тоже Пасха. И каждое воскресенье мы справляем как воспроизведение Пасхи — Воскресения Господня. Русское слово «воскресенье» выражает это по-особому ярко, но и латинское *dominica*, и производные от него *domenica* (ит.), *domingo* (исп.), *dimanche* (фр.) говорят о том же самом: «День Господень, день Воскресения Господня».

Впечатление, что Рождество на Западе главный праздник, создается потому, что справляет его отнюдь не только Церковь. Это всенародный праздник, связанный с каникулами-отпусками, традиционными елками, подарками и распродажами. Для распродаж и каникул Рождество гораздо удобнее Пасхи, потому что это праздник фиксированный, каждый год выпадает на одно и то же число — 25 декабря, его легче планировать, в этом все дело. И еще, может быть, в том, что верят в Воскресение Христа только христиане, а рождению младенца свойственно радоваться всем, независимо от того, верим ли мы в то, что он воскреснет.

В этом смысле, если на то пошло, для населения России главный праздник вообще не Рождество и не Пасха, а Новый год.

Вспомнив про Новый год, нельзя не вспомнить и о «православном» календаре (в кавычках «православном» потому, что, вообще говоря, календарь не может быть право- или лево-славным, вопрос календаря это вопрос не веры и богословия — Богославия, а астрономии).

Россию подвел поспешный характер Петра Первого, который ввел юлианский календарь, переняв его в лютеранской Германии тогда, когда в Европе он уже сходил на нет. Буквально через несколько лет в тех самых княжествах, где его заимствовал Петр, юлианский календарь тоже заменили на григорианский. Нехотя, конечно, опоздав на сто с лишним лет — Папа Григорий XIII ввел его в 1582 году: лютеранским князьям было совсем не с руки следовать новшествам какого-то Папы Григория, но с Солнцем не поспоришь. Как ни крути, а юлианский календарь и вправду к тому времени отставал от наблюдаемого движения Солнца с его солнцеворотами и равноденствиями на целых двенадцать суток и продолжал отставать и дальше (с тех пор прибавились еще одни сутки, расхождение составляет теперь тринадцать суток и продолжает накапливаться, но, боюсь, когда прибавятся четырнадцатые, в России этого просто не заметят).

Потерпи Петр пару лет с календарем, одной существенной проблемой у нас было бы сегодня меньше. Дело ведь не только во всероссийском похмелье 14 января в связи с удвоенным Новым годом, дело еще и в том, что если Рождество в соответствии с юлианским календарем выпадает на 7 января григорианского календаря, а к Рождеству полагается соблюдать Рождественский пост, то как (и кому!) прикажете поститься, если за семь дней до этого вся страна вместе со всем прогрессивным человечеством встречает новый Новый год?

А еще ведь возникает проблема расчета пасхалий, то есть времени празднования Пасхи. Католическая церковь в основном следует простому и ясному принципу, который был принят уже со II века. Поскольку, как мы знаем, Господь был распят накануне иудейской Пасхи и воскрес на третий день, то и Воскресение Господне следует справлять в первое воскресенье после иудейской Пасхи; если же иудейская Пасха сама выпадает на воскресенье, то неделю спустя (иудейская Пасха не привязана к определенному дню недели в связи с изменчивостью лунных циклов, на которых основан иудейский календарь). Иудейская Пасха это 14 нисана по иудейскому, т. е. лунному календарю. 14 нисана это день первого полнолуния после весеннего равноденствия. Стало быть, в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия следует христианская Пасха. Так это было принято и на Западе, и на Востоке до тех пор, пока в Европе не заметили, что календарь от равноденствия отстает. Папа Григорий исправил это отставание, календарное равноденствие вновь стало совпадать с реальным, астрономическим, и пасхалии начали отсчитывать от него. Но на Востоке последовать за Папой не захотели и продолжают отсчитывать пасхалии от равноденствия по юлианскому календарю, т. е. на две недели позже настоящего. За эти две недели полнолуние может не произойти, а может и произойти, и тогда приходится ждать следующего. Вот откуда такой разброс в датах празднования Пасхи у православных и католиков: иногда, довольно редко, они совпадают, но гораздо чаще православная Пасха за-

держивается на две-четыре недели — ведь приходится ждать следующего полнолуния!

Известно, что Поместный собор Русской православной церкви собирался рассмотреть вопрос о календаре, но не успел: большевики разогнали его в 1918 году. Их-то, большевиков, всякая путаница в церковных делах, отстающие календари и все такое, устраивала как нельзя более. Но кого такое положение вещей устраивает сейчас?

А многих!

Многим из нас очень по душе подчеркивать свою российскую особенность, особость, отъединенность от остального мира.

Вот Михаил Леонтьев пару лет назад предлагал по телевизору плюнуть на всяких там католиков и глобалистов и вернуться также и в гражданской жизни к своему исконному календарю.

Высокопреосвященный Сергий (Фомин), митрополит Воронежский, в интервью воронежскому еженедельнику «Моё!» (октябрь 2005 г.) заявил: «Господь благословил нас — народы, живущие на этом геополитическим пространстве, которое называется Россия, — всем... Мы можем закрыть границы, поставить военных, разработать сверхсекретные и мощные ракеты и жить припеваючи, ни с кем не торгуя, ни с кем не общаясь» (цит. по сайту о. Якова Кротова www.krotov.org).

Досточтимый владыка готов, очевидно, ради такого случая пересесть со своей иномарки, «мерседеса» там или «вольво», на отечественный «москвич» Ижевского завода? Ведь сегодня без международной торговли не построить даже «Волги» с «жигулями»!

Но владыку, если что, и в паланкине понесут, а всему остальному народу так и придется слякоть месить — ведь асфальт, если видели, тоже в основном импортные укладчики укладывают!

Впрочем, народ тоже высказывается, причем уже давно. Вот история конца 70-х годов прошлого века: на встрече, где присутствовали мой друг католический священник, а также православный батюшка (в те времена отношения с православными у нас были куда сердечнее, нежели сегодня: властью еще не пахло!), речь зашла о календаре, и батюшка сказал:

— Вот, соберем скоро Всеправославный собор (была тогда такая мысль, да растворилась) и будем календарь менять!

И тут одна из присутствующих, и ведь не фефела какая-нибудь! — в 70-е годы на подобные собрания ходить требовало и мужества, и осведомленности, и умения занимать и отстаивать собственную позицию — вот эту-то позицию она и выразила:

— Что, календарь менять?! Ну, мы тогда уйдем в раскол!

Народ, что называется, «поправил».

В том-то все и дело. Ни умница Леонтьев («умница» говорю без малейшей иронии), ни досточтимый владыка (который ведь тоже не достиг бы своего положения, когда б и вправду не умел отличать «мерседеса» и «вольво» от «Москвича»), не держи они, так сказать, у народа «руку на пульсе», ни за что не позволили бы себе нести такую ахинею.

— Что?! Как это вы про досточтимого Владыку? Небось про своего католического митрополита нипочем не скажете, что несет ахинею?!

— Ну почему же? Покажите мне католического митрополита, чтобы нес такую ахинею, и я скажу ему об этом прямо в лицо, да хоть самому Папе!

Но я спокоен: ссориться ни с Папой, ни с митрополитами мне не придется. Католическим иерархам попросту нет нужды нести всякую чушь, поскольку им вовсе незачем с такой старательностью держать руку на пульсе: «поправлять» иерархию никто у нас народу полномочий не давал. Ведь если тело и причастно истине все целиком — никто с этим не спорит, то выражать истину призваны все-таки уста, а не все тело! А то телу дай только волю — такого навыражает!

Аристократичность католичества

Да, католичество аристократично — иначе и не может быть, поскольку оно подлинно иерархично. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал», — говорит Господь (Ин 15, 16). Церковь строится не снизу, от народа, но сверху, от Бога, и потому не может не быть иерархичной, стало быть, аристократичной. В Церкви это ясно сознается: в Догматических конституциях *«Pastor aeternus»* и *«Lumen gentium»*, например (о них еще будет речь чуть ниже), прямо говорится, что вероучительные определения компетентной церковной власти «непреложны сами по себе, а не в силу согласия Церкви» (*«Pastor aeternus»*, IV).

Но подлинная аристократия стремится не подавить чернь, не подмять ее, а возвысить, облагородить. Поэтому подлинная аристократичность вовсе не противоположна демократии (хотя прошли века, прежде чем это уяснили себе даже в Церкви). Суть подлинной демократии не в том, чтобы дать власть черни, но чтобы воспитать из черни народ. Кто бывал в Европе, мог убедиться, как далеко уже зашел этот процесс.

Впрочем, в католической Европе черни никогда и не было слишком много: крепостное право было там практически повсюду отменено уже к началу XIV века — и только в лютеранской Германии оно было на пару столетий восстановлено века спустя (а про Россию и говорить не будем: помним, слишком помним, что у нас крепостное право отменили в тот самый год, когда в Лондоне запустили метро). А ведь свободный крестьянин, ремесленник, горожанин (что, собственно, и значит: «буржуа») представляли собой отнюдь не чернь, но именно народ. Каждый знал свою ответственность, но и свои права! Бывали, конечно, злоупотребления, причем с обеих сторон — как же без них-то у нас, у людей? — и со временем их накопилось столько, что феодальная система рухнула в конце концов, и поделом; но все же без элиты не способно просуществовать никакое общество, начиная с сообщества львов и гамадрилов.

Другое дело, как элита воспринимает свою роль — как потребителя и угнетателя или же как путеводителя и воспитателя? В Церкви, во всяком случае, теоретически, на этот счет не заблуждались никогда, да и трудно было бы, имея перед глазами слова Самого Господа: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20,28).

Но для служения необходимы полномочия. Кто главный: ребенок или воспитатель? Конечно же, ребенок! А кто кого обязан слушаться?.. Вот

то-то же. И капитан на корабле имеет полную власть, но главный здесь все-таки не он, а... пассажир! И в автобусе водитель крутит руль туда, куда считает нужным, но делает он это ради того, которого везет... Предметы для изучения выбирают, и курс прокладывают, и на газ и тормоз давят, исходя из интересов подопечного, ребенка или пассажира. Но, конечно же, никто при этом не спрашивает у ребенка, стоит ли ему умываться по утрам, или у пассажира, на какой, по его мнению, следует ложиться галс. Исключений не делается даже для королей: помните, как в «Буре» у Шекспира? — «Если Вы способны повелевать бурей, распоряжайтесь, а если нет, то убирайтесь!».

Вот почему наш Папа, при всей своей непогрешимой власти, носит титул *«Servus servorum Dei»*. И вот также почему, поскольку привести он должен нас не просто в тихую гавань, а ни много ни мало в Царство Божие, мы имеем полное право ждать, что власть его будет поистине непогрешимой, иначе...

Но раз уж мы коснулись папской непогрешимости, позволю себе небольшое филологическое отступление.

Непогрешим или безгрешен?

Немного найдется вопросов, вызывающих столько споров, недоумений и недоразумений, как вопрос о папской непогрешимости. Подробно и по существу мы будем говорить об этом ниже, а пока остановимся на, казалось бы, формальном, но тоже весьма немаловажном аспекте, потому что он-то как раз и подливает немало масла в огонь.

Дело тут в том, что слова «непогрешимость» и «грешить» одного корня и сходного звучания, отчего многим кажется, что «непогрешимость» означает то же, что и «безгрешность». Это, разумеется, не так, но путаница возникает. Во избежание такой путаницы в последние годы в русской католической литературе термин «непогрешимость» (лат. *infailibilitas*) все чаще стали заменять менее точным по контексту словом «безошибочность». Цитируя ниже официально утвержденные переводы церковных документов, я воспроизвожу их, разумеется, в том виде, как они опубликованы, и оставляю слово «безошибочность» там, где оно стоит. Тем не менее, на мой взгляд, такая замена не только не вполне корректна филологически, но даже затемняет суть дела, и мы постараемся сейчас это разъяснить.

Рассмотрим три понятия, четко различающиеся в русском языке: «грех» — «ошибка» — «погрешность».

«Грех» — намеренное, как правило в полном сознании, нарушение Божьих заповедей, проступок, связанный с моральной, а нередко и с уголовной ответственностью.

«Ошибка» — вызванное недостатком информации, внимания или квалификации ложное суждение либо невольное, ненамеренное действие, имеющее негативные последствия, или даже действие намеренное, но когда наступивших негативных последствий не предвиделось.

Наконец, «погрешность» это ошибка настолько незначительная, что ее вполне можно не заметить даже при соответствующей информированности, внимании и квалификации: «погрешность в вычислениях», например. Понятно, что даже самая малая погрешность способна очень радикально

исказить результат наших действий, если ее вовремя не исправить. Поэтому все мало-мальски важные вычисления проверяются по многу раз.

Понятно и то, что между этими понятиями нет глухой стены: значительная погрешность превращается в ошибку, а ошибка, повлекшая за собой тяжелые последствия, факт чего можно было бы предвидеть, квалифицируется уже как преступление, тем самым и как грех. В уголовном праве это называется «преступная халатность».

Основная разница между ошибкой и погрешностью заключается тем не менее в том, что квалифицированный специалист, вообще говоря, может и обязан не допускать ошибок: мы это ясно сознаем, когда говорим об «ошибке хирурга», например, или об «ошибке водителя», — а вот от погрешностей не застрахован никто.

Никто, кроме Папы. Мы, католики, верим, что Папа, исполняя свою вселенскую учительскую миссию и при четко оговоренных условиях (*«ex cathedra»*: речь об этом еще будет) пользуется особой благодатью и предохранен Богом не то что от ошибок, но даже и от малейших погрешностей.

Собственно, только для этого — для непогрешимости — и необходима сверхъестественная помощь: безошибочные суждения, опираясь на свою информированность и квалификацию, способен высказывать каждый разумный человек, лишь бы только он не выходил за сферу своей компетенции. В том-то и состоит особая благодать, что папские вероучительные утверждения предохранены не от ошибок (для этого, как мы увидели, нет нужды в особой благодати, достаточно добросовестности и благоразумия), но именно от погрешностей, и потому не только неоправданно, но даже прямо запрещено подвергать их после оглашения проверке и перепроверке (вера в это, собственно говоря, и «делает католика»).

Мы видим, таким образом, что позиционно, хоть и не по звучанию, как раз «непогрешимость» располагается дальше от «безгрешности», чем «безошибочность», для которой необходимы определенные моральные качества: благоразумие, добросовестность, — тогда как для «непогрешимости» необходимо и достаточно только лишь занимать соответствующую должность (а можно ли занять такую должность без подобающих моральных качеств, это уже вопрос не филологии).

Именно так: благодать непогрешимости связана с должностью, а не с личностью, и потому представляет собой, если угодно, «техническое преимущество», а не моральное достоинство. Для примера: тот, кому доступна «правительственная связь», приобретает дополнительные возможности, но только в силу этого морально лучше не становится.

Вот почему ни один, даже самый «властолюбивый», Папа и ни один, даже самый фанатичный, католик никогда не связывали папской должностной непогрешимости с личной безгрешностью. Об этом говорилось так ясно, определенно и неоднократно, начиная от самого догматического определения I Ватиканского собора и до наших дней, что, казалось бы, давно уже вопрос исчерпан, ан нет! То и дело мне говорят: «Вы, католики, утверждаете, что у вас Папа безгрешный!», — и сколько ни повторяй в ответ: «Да грешный он, грешный! У него и личный исповедник имеется!» — все равно не слышат.

А теперь — сам догмат

Сформулированный на I Ватиканском соборе в 1870 году догмат о папской непогрешимости звучит следующим образом:

«Папа Римский, когда он говорит с кафедры («ex cathedra»), т.е. когда, исполняя свои обязанности учителя и пастыря всех христиан, определяет, в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности должно быть принято Церковью, пользуется божественной помощью, обещанной ему в лице святого Петра, той безошибочностью («infailibilitas»), которой Божественный Искупитель благоволил наделить Свою Церковь, когда она определяет учение по вопросам веры и нравственности» (I Ватиканский собор, Догматическая конституция *«Pastor aeternus»* IV).

А принятая на II Ватиканском соборе в 1964 году Догматическая конституция о Церкви *«Lumen Gentium»* комментирует это так:

«В силу своей должности этой безошибочностью обладает Римский Понтифик, Глава Коллегии Епископов, когда он, как верховный Пастырь и учитель всех верных Христу, утверждающий в вере братьев своих (ср. Лк 22,32), окончательным образом провозглашает какое-либо учение о вере и нравах» (LG 25).

О роли остальных епископов параграфом выше говорится:

«Хотя отдельные Предстоятели и не обладают прерогативой безошибочности, тем не менее когда они, даже будучи рассеяны по всей земле, но сохраняя при этом связь общения друг с другом и с преемником Петра, аутентично учат о вопросах веры и нравов и сходятся на том, что некое суждение следует принимать как окончательное, тогда они безошибочно провозглашают учение Христа» (там же).

Так что пугаться не надо. Мы вовсе не представляем себе Церковь этаким головастиком, где Папа значит все, а все остальные — ничто. В самом догмате подчеркивается, что роль Папы вытекает из его положения главы коллегии епископов. Никто не нагружает беспощадно Папу неподъемной ношей индивидуальной непогрешимости. Непогрешима все-таки вся Церковь целиком. Папа лишь единый — и потому единственный — выразитель этой непогрешимости, так сказать, служебный орган Церкви, ее уста. Вот что мы читаем в «Катехизисе Католической Церкви»:

«Чтобы сохранять Церковь в чистоте веры, переданной апостолами, Христос, Который есть истина, пожелал наделить Свою Церковь участием в Своей собственной непогрешимости (Sic! — *А. М.*). «Сверхъестественным разумением веры» народ Божий «неотступно держится веры» (LG 12) под руководством живого Учительства Церкви» (Катехизис Католической Церкви. § 889).

Таким образом, Папа не пользуется непогрешимостью ни в своей частной жизни, ни в своих суждениях, не относящихся к вере и морали, сиречь политических, эстетических и прочих, ни даже в суждениях (и тем более поступках), хотя и относящихся к вере и морали, но не провозглашаемых определенно *«ex cathedra»*. Разительный пример последнего мы находим в Послании к Галатам. Павел пишет:

«Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» (Гал 2,11-14).

Петр, как видим, не предлагал своего поведения в качестве образца всем верным (хотя и заразил им многих), он не провозглашал запрета есть с язычниками *«ex cathedra»*. Он всего лишь проявил «политкорректность» по отношению к своим более твердолобым собратьям (да, увы, вполне возможно быть одновременно и святым, и твердолобым!) и заработал Павловы упреки.

Вот как даже самого св. Апостола Петра подвело стремление «держать руку на пульсе»! Что ж, у его преемников хватило времени, чтобы отучиться.

Возможно, Провидение потому и допустило преувеличенную светскую власть Папы на протяжении веков, чтобы, вопреки всем возможным злоупотреблениям и соблазнам, добиться главного: независимости Римского понтифика от мирского пульса. И не случайно догмат о папской непогрешимости был провозглашен именно в год, когда Папа полностью лишился светской власти: она сыграла свою роль, и ее у Папы отобрали, как отбирают «ходунки» у младенца, когда приходит пора ему ходить самостоятельно, невзирая на всего его крики и протесты!

Забавно, правда? Догмат о непогрешимости был сформулирован именно тогда, когда в ней больше всего засомневались. Пока хотя бы свои особо в ней не сомневались, никто такого догмата и не формулировал, зато теперь «своим» возможно оставаться только лишь тому, кто никогда больше в ней не усомнится. В этом ведь вся роль церковных догматов: ты свой, покуда с ними соглашаешься, а нет, иди на все четыре стороны, костром, по крайней мере на земле, это тебе больше не грозит.

При этом подчеркну, что это вовсе не требует от человека слепой и неразумной веры, напротив: разумнейшего осознания практической, служебной необходимости всякого догмата. Вот например, зачем нам нужен непогрешимый Папа? Да как же без него! Мы уже видели, что в сфере личного произвола никто и никакой непогрешимости за ним не признает; но вот когда он выступает в роли вселенского учителя, *«ex cathedra»*.

— Да на что нам сдались эти «вселенские учители»! — воскликнут братья-протестанты, — что нам, Христа и Священного Писания мало?..

— Или Христа и совести? — добавят братья-православные.

Что ж, братья, не знаю, как вам, а лично мне — определенно мало. Боюсь я, знаете ли, полагаться только на самого себя, когда речь идет о таких огромных, ни с чем во мне не соизмеримых вещах, как Царство Божие — а что еще бы значило положиться на собственную совесть или на собственное разумение Священного Писания? Подсказки совести слышны в межчеловеческих отношениях, а в отношениях человека с Богом она попросту умолкает, поскольку, если бы могла, она бы только и вопила постоянно: «Опомнись, что ты делаешь?!»

Что до Священного Писания, «как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деян 8,31). Поэтому мне очень близки слова св. Августина (у нас, у католиков, он святой, а не блаженный — помните двуступенчатую систему канонизации?): «Я не верил бы в Евангелие, если бы Церковь не сказала мне, что это Евангелие». И, как ни страшно это произносить, но то же самое я могу сказать и о Христе. Ведь если «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1,18), то и Христа никто из нас не видел никогда, мы видим только Церковь. И только Церковь явила мне Христа.

Как это было

Боюсь, что мой рассказ о том, как это было, многих разочарует. Во-первых, никогда у меня не было никаких чрезвычайных переживаний, откровений, как у многих новообращенных — которым я так завидовал! — например, у Андре Фроссара, известного французского журналиста-католика, не так давно представшего пред Богом.

Его отец был видным социалистом, основателем Французской коммунистической партии, он сам — типичным левым интеллигентом, вполне равнодушным ко всякой мистике и прочей подобной «дребедени», но вот как-то, зайдя случайно в церковь, он пережил необычайное: разверзлись небеса, душа его вознеслась, и вышел он из храма полностью обращенным и убежденным католиком. Об этом он потом написал замечательную книгу «Бог есть, я Его встретил» (русский перевод которой вышел в издательстве «Жизнь с Богом», Брюссель).

Во-вторых, если бы даже и случилось мне пережить нечто подобное, боюсь, ничего внятного об этом передать мне бы не удалось. Но и те, кому это хоть как-то удалось — тот же Андре Фроссар, — как и все люди, пережившие какой-либо чрезвычайный опыт, как правило, больше всего жалуются на бедность человеческой речи, ее неспособность передать сколько-нибудь точно то, что им открылось. Исключение разве что Апокалипсис св. Иоанна Богослова, но потому он и вошел в канон Священного Писания. И, кстати, не потому ли мы его так плохо понимаем?

Но, как бы ни было, со мною никогда ничего подобного не происходило. Просто, будучи воспитан школой и домашними в наивной, но оттого не менее прочной большевистской убежденности, что в «бога верить» сегодня могут только люди самые темные и отсталые, а поддерживать их в этом — только своекорыстные прохиндеи, однажды я, читая «Феномен человека» о. Тейара де Шардена и «Оправдание добра» Владимира Соловьева, вдруг поймал себя на мысли, что если такие разумные и образованные люди веруют, то, значит, вовсе не нужно быть для этого дебилом либо прохиндеем! И этого хватило: вера сама влилась в меня, едва только пали искусственные барьеры презрения и неприязни.

Были, конечно, и другие факторы, но этот — самый главный.

Хорошо помню, когда это случилось: в июле 1976 года я сидел в читальном зале тбилисской Публичной библиотеки и читал «Оправдание добра» — доступ к литературе там был куда свободнее, нежели в Румянцевской библиотеке в Москве. К этому времени «процесс» уже «пошел»; я

весь был под впечатлением «Феномена человека», и реальность «точки Омега» уже вполне захватила мое воображение. Но путь от Омеги до Альфы еще предстоял, их еще предстояло отождествить, отождествить Бога и Христа. Это и случилось, когда я прочитал у Соловьева, что Воплощение Христа — тот абсолютный факт, на котором держится все мироздание и даже, как я понял, даже всякая возможность осмысленно рассуждать о нем. Как-то сразу мне стало это понятно. Это не значит, что я тогда узнал Христа. Я только догадался, что искать Его мне следует там, где Сам Он назначает встречу: в Церкви.

Туда я отправился. Вопроса выбора, в которую именно, передо мною не стояло.

Почему же все-таки в католики?

Я как-то всегда знал, что если буду верующим, то исключительно католиком. Почему? Наверное, об этом можно говорить немало, и что-то я действительно скажу, а начну с анекдота.

Приходит человек к батюшке на исповедь в православный храм. Вот, дескать, батюшка, согрешил я: убил...

— Что! — Батюшка в крик. — Греховодник! Да как ты смел в Божий храм явиться? Святых бы на иконах постыдился! Вон отсюда, нет тебе прощения!..

Вот тебе и на! Что делать? «Ну, ладно, — думает, — столько теперь всяких гуру развелось, экстрасенсов, пойду, найду, попробую, может, карму там почистят или что...»

Нашел, пришел. А гуру его выслушал и говорит:

— Да-а, у вас такая отягощенная карма, что, боюсь, в этом воплощении вам уже ничто не поможет, придется ждать следующих. А пока уходите, не загрязняйте мне ауру!

Ну, беда! Идет наш человек, не знает, как быть, вдруг видит: мечеть. «А, ладно, — думает, — Восток дело тонкое, пойду, может, какую хитрость присоветуют?»

Приходит он к мулле, а тот его послушал и говорит:

— Раз миласердный Аллах захател, чтоб ти бил такой нигадзяй, что чилавек убил, значит, тибе больши ничиго не паможит, будишь гареть в аду. Ухади атсюда.

Ой-ой-ой! Куда ж податься-то? «Дай, — думает, — пойду к евреям; люди умные, наверняка что-нибудь дельное подскажут».

Пришел в синагогу, рассказал все раввину, а тот ему и говорит:

— Ну и что вы хотите, чтобы я для вас сделал? Воскресил вашего покойника? Дал взятку судье избавить вас от ответственности?.. Вы сами видите, я ничем не могу вам помочь!

Да что же это? Прямо хоть в омут! «Ай, — думает, — хуже уже не будет, в омут всегда успею, а пойду-ка сперва к католикам!»

Вот приходит он в католический храм, находит конфессионал — видели, наверное, хотя бы в «латинских» сериалах, такая будочка с решетчатым окошком? — становится перед этим окошком на колени — там специальная приступочка, — и, замерев сперва: что-то сейчас будет? — говорит свое: вот, дескать, согрешил я, убил...

И слышит в ответ из-за решеточки:

— Сколько раз, сын мой?

Прежде в ответ на вопрос, почему я католик, я приводил целые трактаты и готов был говорить об этом столько, сколько меня готовы были слушать. Теперь, когда я знаю этот анекдот, мне достаточно рассказать его и прибавить:

— Я католик потому, что здесь не боятся моих грехов.

Разумеется, я вынес такое убеждение не из анекдота, как не оно определило мой выбор в свое время. Анекдот лишь придал парадоксально-выразительную форму накопленному мною позже опыту. Помню, как, признавшись в особенно постыдных, по моему разумению, грехах, я услыхал от пожилого исповедника:

— Прежде всего благодарите Бога за благодать вопреки всему оставаться Ему верным, свидетельством чему является сам факт, что вы пришли на исповедь...

Другой раз, тоже после достаточно тяжелой для меня исповеди, я услыхал от исповедника, на этот раз довольно молодого:

— Не бойтесь полностью предаться радости Богообщения, ибо любовь Божия превозмогает все!

Дело здесь не в особой личной духовной одаренности исповедников: от недавних выпускников семинарии мне приходилось получать столь же глубокие и толковые советы и наставления, как и от многоопытных старцев. Так что дело не в личности, а в школе.

Итак, если все, что вам нужно, это избавиться от грехов, то главное вы наконец уже узнали, и дальше можете не читать.

Если же вам интересно что-либо еще, тогда продолжим.

«Боженьки нет?»

Как поется в известной одесской песенке, «родился я в Почтовом переулке», только не в Одессе, а в Тбилиси, в 1949 году. Одно из моих самых ярких детских впечатлений это смерть и похороны Сталина — улицы полны народа со знаменами, «как на параде», только все плачут, а на знаменах черные траурные ленты (я тогда впервые услышал слово «траур»). На эту демонстрацию меня взяли, как брали «на парад» 1 мая и 7 ноября, в храм же водить или крестить ребенка в то время в нашей среде никому бы и в голову не пришло. Оба моих родителя были некрещеными, обе бабушки и один дедушка — второй умер задолго до моего рождения — были неверующими.

Мой прадед-француз, мсье Леон Мартен — я хорошо его запомнил, когда он умер, мне было уже тринадцать лет, — в Бога, как теперь понимаю, верил и Евангелие читал: я как-то в эту маленькую черную книжку заглянул, но показалась она мне невероятно корявой, сейчас бы я сказал: «архаичной», и, прочитав с трудом несколько строк, я ее разочарованно отложил. В церковь он тоже ходил, конечно, в католическую, но, объясняли мне домашние, только потому, что дружил со священником и разговаривал с ним по-французски: больше никто в семье французского не знал. Прадедушка не возражал: был он старичком очень тихим и кротким, с домашними не спорил, а с господствующей идеологией и подавно.

О Боге я впервые услыхал вот в каком контексте (было мне тогда лет пять).

Жила в нашем тихом Почтовом переулке старушка тетя Феня — сектантка. Впрочем, «сектанткой» ее назвали бы сегодня, а тогда про нее говорили просто «верующая», и тогда звучало это не менее зловеще, чем сегодня звучит слово «сектант». Что там у них была за секта, не скажу, может, и не секта вовсе, а какое-нибудь выродившееся старообрядческое «согласие» или группа катакомбников: их немало тогда укрывалось в сравнительно веротерпимой по меркам Советского Союза Грузии. Но, может, просто молокане или духоборы — их на Кавказе всегда было много. Книги у них, во всяком случае, были толстенные: я как-то случайно подглядел в открытое окошко у тети Фени молитвенное собрание, они не слишком и таились — в крохотную, в один свет, каморку плотно набились в основном бабушки в платочках, как тетя Феня, а какой-то средних лет мужчина в обычном сером костюме вслух читал что-то непонятное по эдакой толстенной книге. Мне стало скучно, и я ушел по своим детским делам, так в тот раз ничего о Боге и не услышав. Произошло это в другой раз, когда я ни с того ни с сего размазал ножкой по земле муравья, а потом, как всякий ребенок, захотел узнать оценку своего поступка со стороны взрослых. Из взрослых, кроме тети Фени, никого поблизости не оказалось, я подошел к ней и сказал:

— А я мурашку раздавил!

— А вот тебя боженька и накажет!

— Как накажет?!

— Так ударит, что и помрешь!

С ревом я бросился домой, к бабушке:

— А-а-а!! Тетя Феня сказала, что меня боженька накажет!

— Не бойся, — спокойно утешила меня бабушка, атеистка и бывшая комсомолка, — не бойся, никакого боженьки нет.

Помню, я переспросил для верности:

— Боженьки нет?

И тогда она мне объяснила, что «боженьку», такого старичка с бородой, который живет на облаках, выдумали темные необразованные люди, которые не знают законов природы, а я вот вырасту большой и умный, и все-все буду знать, и бояться мне совершенно нечего.

Я благодарно к ней прижался — я поверил. Правда, муравьев с тех пор, все равно стараюсь не обижать.

(Упокой Бог твою душу, милая моя бабушка! Дома тебя называли «Варико», «Варвара», но в крещении ты была Мария! (В Грузии такая двойственность имен в большом ходу: так, моего отца, по имени Григория, дома называли не иначе как «Бичико», «Мальчонка» по-грузински.) Ты любила меня, как мать, и была мне матерью не меньше, чем моя родная мама. Ты ничего для меня не жалела, но ты не могла мне передать того, чего сама лишилась,— веры. Ты родилась в 1903 году. Когда случилась революция, тебе было четырнадцать, когда в Грузию пришли большевики — восемнадцать. А до этого умер твой отец Давид, мой прадед. Когда он болел, ты горячо молилась о его здоровье, но Бог, ты решила, тебя не услышал. И ты отказалась от Бога. Надеюсь — а «надежда не постыжает»!— что теперь вы с Ним простили друг друга.)

Доказательство «от противного»

То, что я пишу, не исповедь и не автобиография, и речь идет не обо мне, но о католичестве, — естественно, о католичестве моими глазами, ибо других у меня нет. На эпизоды из своего детства я ссылаюсь лишь во свидетельство тому, что никакого католичества, как и вообще никакой религиозности от моего обихода тогда и близко не лежало. Сведения о религии доносились только в виде антирелигиозной пропаганды. Все религиозное воспринималось как нечто исключительно постыдное и наказуемое. Вот помню эпизод из детского сада. Я посмотрел мультфильм «Полет на Луну» и, полный впечатлений, взялся взахлеб пересказывать его у себя в группе. Слушали меня также наша воспитательница Тина Кишвардовна и заведующая Ксения... а отчества не помню. И вот когда я, пересказывая эпизод с аварией ракеты, произнес:

— Тут бок ракеты ударился о скалу... — заведующая строго меня перебила:

— Что, «бог»? Какой «бог»? Никакого бога нет!

Мне бы тогда возмутиться: «Как же ты, дура, меня слушаешь?» — но вместо этого я страшно смутился и стал поспешно оправдываться: еще бы, меня заподозрили в чудовищной ереси! Слова «ересь» я, разумеется, тогда не знал, но чувство было именно такое. И то сказать: какой там «бог», когда ракеты на Луне?!.

Вот так я рос, пошел в школу, стал пионером, полюбил читать книги по истории — главным образом, старый толстый школьный учебник моей тетушки, сталинских времен (замечу в скобках, гораздо более подробный, чем те, что выходили впоследствии). Оттуда я узнал про Жанну д'Арк и Французскую революцию, про разделение Церквей, крестовые походы и реформы Филиппа Красивого. Все на свете казалось вполне ясным и объясненным с марксистско-ленинских позиций, все шло согласно незыблемым законам мироздания от простого к сложному, от хаоса к прогрессу, и все бы шло еще гораздо лучше и быстрее, если бы не злобное сопротивление сил реакции, среди которых одной из главных — да, по сути, самой главной — возвышалась зловещая фигура Католической церкви. Византийский император? Конечно, угнетатель и реакционер, но вот в XI веке совершил-таки прогрессивный шаг: вывел свою Византийскую церковь из-под диктата католического Рима. Филипп Красивый? Разумеется, феодал и притеснитель, но ведь ослабил-таки власть Папства у себя во Франции, а там и вовсе вынудили Папу перебраться из Рима в Авиньон, и это было хорошо: авторитет Папства заметно пошатнулся. Мартин Лютер? Ну, понятно, человек своего времени, не мог избавиться от религиозных предрассудков, но все равно, какой прогрессивный шаг: отколоть от католичества пол-Европы! — и так далее, и так далее, и так далее... Где бы, когда бы, с кем бы ни возникал на протяжении веков у католичества конфликт, марксистские учебники — а где мне было взять другие? — неизменно, стопроцентно и безоговорочно принимали сторону его противников, пусть даже во всех остальных отношениях эти противники ни малейшего одобрения не заслуживали, как тот же византийский император, например. Отсюда и сложилось у меня

стойкое убеждение, что вообще для прогресса и научного мировоззрения католичество это враг номер один. То есть религия вообще враг, но хуже нет религии, чем католическая. Еще бы — людей сжигали на кострах за то, что они в Бога не верили и считали, что земля вращается, то есть думали так же, как мы все сегодня, — выходит, попадись я им, и меня туда же?! (И то, ежели тетя Феня была готова казнить ребенка ради мураша! Правда, уж она-то точно никакой католичкой не была.)

Но при всем при том я думал, что этот враг — религия — теперь уже никакой опасности не представляет и заниматься антирелигиозной пропагандой, на мой взгляд, больше вообще не имело смысла: ну кого теперь убеждать? Все грамотные люди и так все знают, а полуграмотные темные старухи, что сегодня все еще ходят в церковь, скоро сами повымирают, корыстным попам не с кого станет собирать денежки «на свечки», и через год-другой церкви сами собой позакрываются (не я один так думал). Но, может быть, так получилось у нас, потому что здесь была сравнительно «хорошая» Церковь, а там, где была эта зловредная — Католическая, — все по-другому? И то, ведь на капиталистическом Западе люди до сих пор веруют (ну, делают вид, что веруют: значит, их заставляют?).

Словом, ясно, что никто и никогда к католичеству меня специально не склонял, напротив: многие годы католичество представлялось мне крайним антиподом всего доброго и светлого, что воодушевляет человечество.

К счастью, по выражению Юрия Гнедкова, в конце концов «практика марксизма сняла с повестки дня вопросы его теории». Для меня это начало становиться очевидным уже в отрочестве, однако путь до обращения и веры предстоял еще долгий. Но я пишу не историю своего обращения, я только хотел рассказать, почему, когда в двадцать семь лет я обратился к Богу и уверовал во Христа, вопроса выбора конфессии передо мной вообще не встало: я всегда знал, что нет у неверия злейшего врага, чем католичество, я всегда чувствовал, что если уж становиться верующим, то католиком, или, как говорят евреи, «уж если есть сало, то чтобы по бороде текло». Уж ежели креститься, то только в Католической церкви.

Так на меня подействовало доказательство «от противного».

«Скажи мне твое "да"», или Кто больше верует?

Должен добавить, однако, что пришел в католичество не только отталкиваясь «от противного» — от марксизма. Были и другие факторы, например такой: уже довольно рано я обнаружил, что католики это не просто злейшие враги неверия, они еще и те, кто «больше верует». Надо ли говорить, что это было поначалу крупным недостатком в моих глазах? Ну ладно, враждуешь там с еретиками, с неверующими, потому что они подрывают твою власть, снижают доходы, словом, борешься с конкурентами: это, конечно, тоже плохо, но все-таки понятно. Но в самом деле *верить*? Какое мракобесие!

А выяснилось это следующим образом.

Было мне тогда лет восемь или десять. Читать я выучился задолго до того и читал много и с удовольствием, но в тот раз приболел и книжку

мне читала мама. Книжка была из истории французских религиозных войн, ни автора не помню, ни названия, а только имя персонажа и коллизию: видный гугенот шевалье Лондоннэр снарядил экспедицию и отправился за океан, чтобы там, в Америке, основать гугенотскую колонию, где бы они могли жить себе спокойно, вдали от Лиги, Гизов и Варфоломеевской ночи. Не тут-то было! На беду, по соседству случилось испанское поселение, и чего только злодеи-испанцы не чинили, чтобы досадить мирным гугенотам! И вот, при описании коварного ночного нападения католиков-испанцев я прерываю маму и спрашиваю:

— Мама, а почему католики убивали гугенотов, гугеноты что, в Бога не верили? — То есть по сравнению с самим чудовищным фактом веры всякие различия между верующими казались мне до ужаса второстепенными.

И вот ответ моей атеистки-мамы, совсем тогда еще недавней комсомолки:

— Нет, верили, но меньше...

Эти мамины слова гвоздем засели у меня в сознании: все, кроме католиков, верили меньше, то есть находились ближе к приличным просвещенным людям, таким, как я и мои близкие, а католики, получается, были от нас дальше — и, стало быть, хуже! — всех.

Мама прокомментировала свои слова:

— Понимаешь, католики обязательно ходят в церковь, устраивают пышные богослужения, жгут свечи, на священниках драгоценные одежды, а гугеноты говорят, что помолиться можно и дома, и совсем не обязательна такая пышность...

Я это понял так, что католики готовы нести больше тягот ради своей веры, дороже оплачивать свои богослужения и духовенство. То есть веры католиков хватает не только на Бога, но и на Церковь, свечи, духовенство, облачения... Кто больше верит, на большее и готов...

Конечно, такая экклезиология непросвещенной атеистки-мамы и несмышленыша-сына может показаться — и оказаться! — поверхностной и наивной. Но очевидная связь между протестантизмом, секуляризацией и революцией заставляет предположить известную ее основательность. Действительно, разве не прослеживается самым явным образом цепочка от Лютера до Гегеля и от Гегеля до Маркса, а от Маркса — до Ленина и Сталина?

Всякий еретик или, по-тогдашнему, скорее, вольнодумец, представлялся мне в виде человека с сильным разумом, который задыхается под оковами догматизма и стремится изо всех сил вырваться на вольный воздух просвещения и свободы. Но, отломив там и сям куски от своих оков, он вынужден использовать их, чтобы пробиваться дальше. В борьбе с коростой догматизма он вынужден использовать его же осколки и пользоваться его понятиями и терминологией, — других-то у него пока что нет! Но, дай только срок, «оковы тяжкие падут» и от догматизма вместе с верой ничего не останется, что мы и наблюдаем в нашем счастливом рабоче-крестьянском государстве.

Много позже я получил мощное подтверждение своего восприятия протестантизма как прежде всего отката от веры — конечно, неосознанного, Лютер-то именно веру ставил во главу угла, но оказалось, что вера без

благочестия бессильна. Лютер не мог этого знать, или, по крайней мере, мог не знать, но сатана — не мог. (Впрочем, и Лютеру бы следовало тщательнее вдумываться в то самое Писание, которое он вроде бы ставил так высоко: именно там ведь сказано: «Вера без дел мертва» (ср. Иак 2,17: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе»), и даже еще сильнее: «И бесы веруют, и трепещут» (там же, 2,19).) Так вот, подтверждение я нашел в прекрасном стихотворении Федора Тютчева, — оно короткое, давайте его вспомним:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой.
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? — Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит.
Еще она не перешла порогу,
А дом ее и пуст, и гол стоит.

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь,
Но час настал, пробил: молитесь Богу!
В последний раз вы молитесь теперь.

Боже меня упаси не видеть в лютеранстве ничего, кроме отката от веры. Обличать недостатки других, не замечая их достоинств, не путь к единству, а тупик. Но о достоинствах лютеранства гораздо лучше меня расскажут лютеране. Моя речь — о достоинствах католичества. В данной главе — об одном из самых заметных: о том, что католики говорят больше «да», чем все остальные.

Вот посмотрите: «да» Богу говорят практически все верующие люди на земле: христиане, мусульмане, иудеи, индуисты, бахаисты, пантеисты и так далее, и так далее, и так далее... Даже те язычники, что почитают множество богов, признают, как правило, над ними (и за ними) Кого-то Наивысшего, хоть и зовут Его по-разному, будь то «Брахман» у индуистов или «старик Бенамуки» у робинзонова Пятницы. «Да» Единому Богу-Личности говорят уже только христиане, иудеи и мусульмане: для остальных Бог, скорее, некий безличный Абсолют, неопределимое Начало. «Да» Богу Триединому, Пресвятой Троице, говорят только христиане. «Да» Церкви как необходимому условию спасения говорят уже не все христиане, хотя и большинство. «Да» почитанию Пресвятой Богородицы, Святых, апостольскому преемству, церковной иерархии, действительности и необходимости всех семи таинств говорят только члены Апостольских Церквей: католической, православной, армянской, коптской, сиро-халдейской... «Да» необходимости для Церкви организационного единства во главе с Римским Первосвященником говорят только католики: остальным представляется, что для Церкви — Тела Христова — достаточно небесного Главы: Христа. «Да» Небесному Главе католики тоже говорят, но при этом, как уже отмечалось, не считают, что Церковь — Невеста Христова — в результате может позволить себе быть безголовой!

Словом, наиболее, на мой взгляд, заметное отличие католика от всех остальных заключается в том, что он говорит «да» там, где другие останавливаются и говорят «нет» либо, по меньшей мере, не дерзают продолжать.

Вот, например, основные разногласия между католиками и православными (в разногласиях по другим вопросам с остальными христианскими конфессиями мы в целом солидарны): догмат об исхождении Святого Духа (пресловутое *filioque* — «и Сына»), существование чистилища, догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы. (Не приемлют православные и католического догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы, но здесь мне, говоря по правде, очень трудно представить себе такого православного, который бы определенно и настойчиво утверждал — что? Порочность Ее зачатия?)

Сравним утверждения католиков и православных:

— Исходит ли Дух Святой от Отца? — «Да», — отвечают и католик, и православный.

— И от Сына? — «Да», — отвечает католик, «нет», — говорит православный.

— Существует ли рай? — «Да», — отвечают и католик, и православный.

— И ад? — «Да», — отвечают и католик, и православный.

— А чистилище? — «Да», — отвечает католик, «нет», — говорит православный.

Наконец, наиболее важный не с онтологической, но с практической точки зрения вопрос — о нем уже довольно сказано, — это:

— Непогрешим ли Папа? — «Да», — отвечает католик, «нет», — говорит православный.

Итак, уже из такого краткого сравнения — а ведь можно его продолжать еще долго — заметно, что учение и практика католиков наиболее содержательны, что значит: содержат больше положительных (не в смысле «хороших», а в смысле принимающих, а не отвергающих) утверждений и действий, чем все остальные христианские учения. Для меня это значительный, больше того — решающий довод.

О filioque и чистилище

Должен сказать, что вышеперечисленные православные «нет» по сути своей вовсе не православны.

О *filioque* приведу свидетельство одного своего знакомого — известного православного журналиста: имени его называть не стану, оно довольно у всех на слуху, и боюсь, за такие свидетельства «свои» по головке его не погладят.

Так вот, рассказывал он мне, что случилось ему как-то ехать поездом из Рима в Москву. В Триесте у него была пересадка; до следующего поезда времени оказалось довольно, он вышел в город прогуляться и зашел в первый попавшийся храм — католический, конечно, Триест в Италии, его чуть ли не сам д'Аннунцио в Первую мировую у австрияков отбивал[5].

Храм ему показался величественным и огромным, и вот, глядя на теряющиеся в высоте величественные своды, он подумал: а почему у нас в православии обычно нет ничего подобного? — католические храмы и вправду

[5] На самом деле отбил д'Аннунцио, конечно, не Триест, а неподалеку от него лежащую Кортину, о чем см. у Маяковского: «Красив павлин, а ума — ни унции: Кортину спьяну взял д'Аннунцио».

если не красотой, то хотя бы размерами, как правило, многократно превосходят храмы православные: Триест ведь далеко не столица, а, скажем, во Флоренции я видел не то что сам собор — «крестилку», т. е. особую часовню для крещения возле собора, которая на его фоне казалась совершенно незаметной, но вместимостью при этом готова была поспорить с любым кремлевским храмом; да что там — во Флоренции! В любом литовском захолустье, даже в деревне, вы можете встретить собор, не уступающий размерами Елоховскому кафедральному в Москве! Кстати, о вместимости православных храмов. В Москве их, сколько знаю, около семисот. Как правило, они вмещают от силы двести-триста человек; иные больше, но все равно в среднем вместимость никак не выше пятисот человек. И вот, если даже все они набьются до отказа, то семьсот на пятьсот выходит триста пятьдесят тысяч — или три с половиной процента от десятимиллионного населения Православной Столицы — а с приезжими? Но пусть хотя бы только москвичи: только три с половиной процента из них имеют *физическую* возможность реально выразить свою православность, принять участие в воскресном богослужении, а, как мы видели (милиция видела и сосчитала, а я по радио услышал), пользуется такой возможностью даже на Пасху от этих трех с чем-то процентов едва ли одна треть! Вот какова статистическая цена российской православности, и делу совсем не помогает тот факт, что во многих храмах литургия по воскресеньям может совершаться более одного раза. Но вернемся в Триест.

Думая о том, почему католикам удается строить храмы гораздо большие, чем православным, мой знакомый, как он сам говорит, вдруг понял, что все дело в *filioque*! Признав, что Дух Святой исходит и от Сына, католики получили в свое распоряжение могучий инструмент воздействия на практическую жизнь, а мы так и остались замкнуты в отвлеченной духовности.

Ну да! Ведь и кремлевские соборы нам построил итальянец, а Исаакия в Петербурге — француз. Конечно, храм Христа Спасителя построили мы сами, но зато сами его же и взорвали, а уж Лужков его восстановил, как хотите, а все же главным образом не в силу православных соображений (это говорит уже не мой знакомый, а я сам, а слово «мы» здесь я употребляю в смысле «мы, русские»: ибо при всем своем французстве-грузинстве числю я себя по сути русским).

Это все, конечно, не богословские аргументы, но если «по плодам их узнаете их» (Мф 7,16), то вот вам, на здоровье, и плоды. Сравнивайте!

Что до чистилища, здесь у меня довод сугубо экклезиологический, апеллирующий к православной церковной практике.

Чем больше всего озабочен православный люд, какие требы чаще всего исполняет духовенство, о ком заказывают панихиды, молебны, сорокоусты? Да об усопших же! И что, о ком возносят в этом случае молитвы, о святых на небесах? Бессмысленно, они и так блаженны! Тогда о грешниках в аду? Тоже бессмысленно, поскольку бесполезно. Так о ком же?

— Ну да, мы, православные, признаем некие временные посмертные мытарства души, но это вовсе не чистилище!

— Вот как? Почему же? Что такое чистилище, как не посмертное временное существование души, связанное со страданиями, имеющими искупительное значение? И не надо говорить, что это время ограничено у пра-

вославных сорока днями: я такое слышал. Если бы так, не имело бы смысла молиться об усопших в годовщину смерти.

И вообще, много ли мы знаем достоверного о своей посмертной жизни, в частности о том, как именно течет там время? Ведь время, как установил Эйнштейн, это функция массы, материи, а в нашей загробной жизни, по крайней мере до воскресения плоти, никакой материи нет!

Неудивительно поэтому, что люди разных стран, разной культуры выражают и описывают свои представления о столь ускользающем от восприятия предмете совершенно по-разному: Дантова «Божественная комедия» совсем не так, как православные сказания о посмертных мытарствах души. Неудивительно и то, что людям разной культуры способы выражения друг друга могут нередко показаться нелепыми, смешными. И даже в рамках одной культуры перемены со временем происходят самые разительные. Так, например, сегодня нам, католикам, кажутся смешными и нелепыми указания в наших католических молитвенниках всего столетней давности, что чтение той или иной молитвы приносит сокращение мук чистилища на четко определенный срок: на триста дней или на десять тысяч.

Ни эти временные графики и ни «Божественная комедия», несмотря на огромное свое влияние, никогда не предлагались Церковью на Западе в качестве обязательной к исповеданию истины веры, так же как не предлагались в таком качестве и сказания о мытарствах Церковью на Востоке. Нет, Церковь пользовалась или позволяла пользоваться ими до тех пор, пока они приносили пользу, помогали человеку удерживаться от греха и склоняли его множить усилия ко благочестию; а перестали приносить — и Церковь от них отказалась. Сегодня указаний о конкретных сроках пребывания в чистилище нигде в католических молитвенниках вы не найдете. Истина веры не в том, насколько сократятся твои страдания от той или иной молитвы, но в том, что эти страдания, что некое промежуточное посмертное состояние ЕСТЬ, и в этом согласны все православные, и на Востоке, и на Западе (то, что западные христиане-католики тоже православные, я, надеюсь, высказал уже достаточно ясно? А не я, так сам Папа: «*I giusti ortodossi...*»).

А то, что на Западе их называют «чистилищем», а на Востоке «мытарствами», не суть важно.

Культурная идиосинкразия

Конечно, моя аргументация грешит неполнотой. Но я и не ставил себе целью написать полноценный, богословски аргументированный трактат. Люди не чета мне пишут с обеих сторон подобные трактаты вот уже тысячу лет, а результат?

Я далек от претензий превзойти в эффективности целую плеяду выдающихся деятелей, авторов и подвижников, от Поссевино и Жозефа де Местра до Владимира Соловьева и блаженного Леонида (Федорова).

Меня только не оставляют в покое слова Господни: «Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17,21), а также молитвенное прошение из Мирной ектении, которое мы все возносим на каждом богослу-

жении: «О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей, и соединении всех, Господу помолимся».

Тема единства христиан тревожила меня многие годы, с самого обращения. Можно ли быть христианином и не тревожиться о нашем разделении? Можно ли забыть о том соблазне, какой мы представляем для остального мира, того мира, которому мы призваны проповедовать Спасение? — «О чем вы проповедуете, сперва между собой договоритесь!» — кричат нам со всех сторон и закрывают от нас уши и души, а виноваты в этом прежде всего мы сами.

«Смотрите, как они любят друг друга!» — говорили о первых христианах, и эта любовь превозмогла грандиозную и яростно-враждебную языческую империю, — а что способны противопоставить новому грандиозному язычеству сегодня мы? — Ведь мы совсем не готовы и не хотим любить друг друга! Католики виновны в этом ничуть не менее других, если не более, но, к нашей чести, следует сказать, что мы одни из первых осознали это как грех и активнее других двинулись по пути его преодоления. В первой же своей после восшествия на Кафедру Св. Петра энциклике *«Redemptor hominis»* («Искупитель человеков») Папа Иоанн-Павел II, отвечая на вопрос, следует ли и дальше продолжать дело экуменизма, т. е. христианского единения, писал: «А можем ли мы этого не делать?» — и мы это делаем.

Уже упоминавшийся мною отец-францисканец Целестин Напюрковский составил такую диаграмму: кружком на ней расположены все основные христианские конфессии, около полутора десятков, и от каждой тянутся стрелки к тем, с которыми она поддерживает экуменические контакты. Ни от одной не тянется больше трех-четырех стрелок (от некоторых — немногих — ни одной); но от католиков стрелки протянуты почти ко всем. (Впрочем, и в этом иные находят только лишь проявление извечного католического агрессивного прозелитизма...)

То, что нас разделяет, это не богословские аргументы. Не по силам и не ко времени было бы мне пытаться разобрать весь комплекс разделяющих нас проблем, от захвата Константинополя крестоносцами в XIII веке до современных «разборок» с украинскими униатами, в которых Москва никак не хочет повести себя если не по справедливости — ведь храмы, о которых говорят в Москве, что униаты их «захватили», эти храмы так и были изначально униатскими, это их Сталин после завоевания Западной Украины отдал Московскому патриархату в 1946 году, а униатов, сколько сумел, истребил, так верни теперь уцелевшим свое без возражений! — то хотя бы политически реалистично: Украина самостоятельная независимая страна, и строить свои отношения с третьей самостоятельной и независимой даже с государственной точки зрения силой — Ватиканом — в зависимости от положения там дел по меньшей мере оскорбительно для Украины, а к положению католиков в России дела на Украине вообще никакого отношения не имеют!

Я вовсе не хочу сказать, что всегда и везде были виноваты другие, а мы, католики, вели себя только как невинные овечки: отнюдь нет! Довольно и того, что нам до сих пор приходится краснеть за инквизицию. Хотя краснеть — не жариться!

Но даже если путем взаимопогашения претензий мы и пришли бы к какому-то нулевому балансу, далеко по пути единения это нас не продвинуло бы.

Дело в том, что многим сама мысль о единении с католиками неприятна просто в силу этно-культурной идиосинкразии:

— Что, с католиками объединяться? Да они же нас заставят верить в польского Бога!

Должен сказать, что такое отношение очень даже понятно: мне самому бывало невмоготу распевать непривычные народные песенки в ходе польских «набоженьств», а также слышать, как русские — весьма немногочисленные! — выпускники польских семинарий начинали произносить «хвеб» и «зво» вместо «хлеб» и «зло».

Но, во-первых, такое положение уже давно стало меняться, и «католический Бог» в России теперь гораздо больше русский, нежели польский.

Во-вторых, низкий поклон польским ксендзам за то, что оставили свою весьма по сравнению с Россией благополучную Польшу и приехали к нам — не православных в свою веру обращать, а своих единоверцев, прежде всего поляков по происхождению, в вере укреплять, а также и тем, кто вовсе ни во что не верует, Евангелие нести. А таких, кто ни во что толком не верует — помните «православный» процент? — о-го-го в России сколько, на всех с избытком хватит! Но даже это — нести Евангелие неверующим, о чем обмолвился не так давно кардинал Каспер в ходе своего визита в Россию, было воспринято в Москве как проявление нестерпимого прозелитизма. Между тем могу засвидетельствовать: как раз польским ксендзам проявления прозелитизма свойственны меньше всего. Сколько раз на моих глазах русских (и грузинских) православных, желавших обратиться в католичество, попросту отправляли обратно: дескать, есть у вас ваша собственная Церковь, подлинная, с таинствами, с иерархией, там и молитесь! И что же? Как правило, такие люди вовсе исчезали с церковных горизонтов...

(Замечу в скобках, что для меня лично в этом вопросе, как и везде, приоритет принадлежит принципу свободы совести: человек волен сам решать, в какую Церковь верить, какую веру подсказывают ему его совесть и убеждения. Так, услыхав однажды, что сам о. Александр Мень высказался в том духе, что в России, дескать, надо быть православным, я не смог удержаться от восклицания: «А кем же тогда надо быть в Китае?!» Действительно, нешто свобода совести зависит от места жительства? Хотя практически, конечно, еще как зависит, но такое положение вещей меня категорически не устраивает, потому я и пишу настоящие заметки.)

А в-третьих, раз уж мы вспомнили польских ксендзов, то, может быть, посмотрим, что же «польский Бог» принес самой Польше?

Звонок на радио

Недавно совершенно случайно я столкнулся с подходящим примером. Дело было в Варшаве — столице Польши, самой сегодня католической страны на свете, откуда и вопрос: что Польше, собственно, Бог принес?

Не стану говорить в ответ о роли польской Церкви, находящейся под ее влиянием Солидарности и католика Леха Валенсы в деле свержения коммунистического режима. Как ни парадоксально для меня, но для многих православных падение коммунистического режима сегодня вовсе не выгля-

дит как положительное событие. Поэтому я просто приведу свой маленький пример.

Я был за рулем и включил наугад радио. Обычная станция, красивая эстрадная песенка, знамо дело, о любви, а потом вдруг — письмо слушательницы, что, дескать, любовь не может длиться вечно, и как же тогда супружеская присяга, где мы обещаем то, чего заведомо сделать не в состоянии: любить до конца жизни? Напомню, если кто забыл, что в Католической церкви развода нет.

Словом, прозвучало простое такое житейское наблюдение-вопрос-утверждение. И тут же звонок другой радиослушательницы: «Любовь — это не просто взбудораженные чувства; любовь — это когда ты принимаешь на себя ответственность за другого человека. Любовь — это принятие другого человека вопреки его недостаткам и слабостям, а это невозможно без борьбы с собственным эгоизмом. Бывает очень тяжело, очень, но я знаю, что так бывает, и это прекрасно». Слушательница призналась, что изучала богословие, но ссылалась все-таки не столько на принципы, сколько на собственный опыт.

Такой вот случайный звоночек в случайный эфир, а прозвучала безупречная формулировка. Любовь — это вовсе не то самолюбивое желание наслаждений, сближающее тела для эгоистического и преходящего союза, о котором только что пелось в песенке. Любовь двух существ, которые, вступая в брак, свободно отдают себя друг другу, — символ единения души со Христом. И речь здесь идет не о преходящем влечении и увлечении, а о преданности, доверии, жертвенной самоотдаче — о единстве и вечности.

Так вот: можете вы себе представить такой звонок в какой-либо нехристианской стране, а то и на Святой Руси?.. Разве что на сугубо христианском канале, да только когда еще у нас христианские каналы доберутся до FM!

Но, может быть, еще более для русских убедительным покажется не то, что Бог Польше дал, а то, чего Он ей не давал, а именно — утраты национальной идентичности.

И вправду, говоря о «польском Боге», мы уже этим самым свидетельствуем, что вера поляка, хотя и католическая, т. е. вселенская, несет на себе тем не менее неизгладимый отпечаток польской индивидуальности.

Итак, поляку католичество совсем не помешало быть поляком, как не помешало французу быть французом, а итальянцу итальянцем.

Заключение

Я назвал свои заметки «Католичество и Россия» и говорил о католичестве гораздо больше, чем о России, потому, что о России вы и без меня довольно знаете, а вот невежество в вопросах католичества как раз и порождает львиную долю неприятия и недоразумений.

Масштабы этого невежества нередко поражают. Помните знаменитого «пастора» Шлага, соратника Штирлица? Юлиан Семенов был не самым невежественным в эсесесере человеком, а вот пожалуйста, назвал католического священника Шлага «пастором», хотя «пастор», т. е. «пастырь, пастух», это только у лютеран, а у католиков непременно «патер», «отец». Но «пастор»

или «патер» — это ладно, мелочи, а вот каков у него Ватикан, заметили? Какие козни строит за спиной у бедного «пастора-патера» Шлага? Но в этом Юлиан Семенов был вовсе не одинок, он только выражал те представления, какие разделяли тогда все, я в том числе, а некоторые и поныне, что Ватикан — это сборище эдаких коварных хитроумных Арамисов, готовых на любую подлость ради своих клерикальных целей, и вот уже веками они плетут свои загадочные паутины... Если бы так! Был, был я в этом самом Ватикане, и никакого Арамиса там не встретил, а только многочисленных ужасно деловитых монсеньоров, которые, как и любой чиновник, больше всего были озабочены тем, как бы свалить со своих плеч дел побольше да отпихнуть их подальше... Та только разница, что в этой старейшей на земле бюрократической системе за многие века существования искусство «сваливать» и «отпихнуть» достигло несравненной виртуозности.

Как замечал еще Боккаччо, если бы эта «лавочка» (не помню точно, какое именно словцо употребил он у себя в «Декамероне», но смысл именно таков) была не от Бога, ей бы нипочем не удержаться. Или, как еще более определенно высказался, говорят, Папа Пий VII во время ссоры с Наполеоном. Корсиканец, как известно, нравом был крутенек. И вот он как разгневается на Папу да как закричит: «Я уничтожу вашу Церковь!» А Папа так спокойно ему в ответ: «И-и, Ваше Величество! Уж ежели нашему духовенству за полторы тысячи лет это не удалось, то Вам не стоит и пытаться!»

Так что, смею надеяться, и мне не удалось нанести делу католичества ощутимый вред. Если в результате моих заметок вы еще больше укрепились в нелюбви к нам, что ж, по крайней мере, вы теперь не любите нас больше за то, что нам действительно присуще, нежели за то, что вы о нас воображаете. Вы стали ближе к реальности, и это само по себе радует. А выбирать, любить нас или нет, за вас я не могу.

Здесь у меня перед глазами пример св. Бернадетты Лурдской: об этом эпизоде я узнал от господина Мозеса, плотного бельгийца средних лет на вид, с которым познакомился в Брюсселе, в издательстве «Жизнь с Богом». Несмотря на свой моложавый вид, господин Мозес был уже на пенсии и тратил часть своего времени на то, что приходил в издательство и помогал паковать посылки с книгами в Россию: их тогда, в 1989 году, когда «Россия открылась», отправляли из Брюсселя неимоверное количество, и помощь добровольцев была необходима.

...О «Жизни с Богом» стоило бы, конечно, рассказать особо: роль его в истории нашего освобождения преувеличить трудно!

Вот случай из ново-деревенской жизни, примерная дата — середина 70-х. О. Александр Мень готовится к литургии, а в церкви толпится молодежь — для середины 70-х явление вовсе не обычное, так, что одна из бабушек даже не выдержала, громко спросила:

— И откуда это вы, такие молодые?

— Из капусты, бабушка, из капусты! — весело отвечал кто-то, и тут же из ризницы донесся голос о. Александра:

— Из брюссельской!

Ведь именно в Брюсселе, в «Жизни с Богом», впервые увидели свет его книги о поисках Пути, Истины и Жизни...

А «брюссельская» Библия! Не скоро, наверное, на русском языке появится что-либо равноценное! Подробный комментарий, аналитическая симфония, библейская хронология, указатель церковных чтений Западной и Восточной церкви, и сколько всего еще! А уровень полиграфии, а бумага! Словом, когда я держал ее в руках до своих поездок за границу, то представлял себе издательство «Жизнь с Богом», как... — ну, вы же видели наши советские издательства, «Известия», «Молодая гвардия»!.. Вот и в Боюсселе, думалось мне, наверняка что-то подобное: солидное здание, окна сияют, линотипы стучат... А приехал — обычный жилой дом, не маленький, но ничуть не отличимый от соседних, и все издательство — три старичка: Ирина Михайловна Поснова, в детстве вывезенная из России и в Европе принявшая католичество, и два священника-словенца: о. Антоний Ильц и о. Кирилл Козина. Еще — сестра о. Кирилла, Францка, за кухарку и домохозяйку, да еще приходила временами Халка, девушка-чешка, тексты набирать. Вот и все, вот и весь штат. Ну и, конечно, добровольцы, и в их числе — господин Мозес.

До выхода на пенсию господин Мозес был руководителем крупного предприятия, у него под началом находилось две тысячи человек — цифра для Бельгии огромнейшая! (Еще бы, если штат целого издательства у них может составлять всего три человека.) Но, несмотря на свое несомненно высокое положение, господин Мозес состоял в Легионе Марии — католической организации мирян, основанной в Ирландии Френком Дэффом в начале прошлого века, целью которой является апостольство. Во времена Френка Деффа и еще во времена господина Мозеса это апостольство осуществлялось, в частности, путем визитов по домам, ну примерно как сегодня Свидетели Иеговы, приходят к вам и спрашивают, не хотите ли поговорить о Библии. А «легионеры» спрашивали, знаете ли вы, что Бог вас любит.

Все это рассказала мне Ирина Михайловна, сама в прошлом активная «легионерка», но мне странно было представить себе господина Мозеса, такого солидного, важного, небедного, звонящим в разные чужие двери, где встречают его скорее с равнодушием и раздражением, даже с насмешкой и оскорблением, нежели с интересом и благодарностью.

Я не удержался и спросил у него самого:

— А каков, по-вашему, был результат ваших визитов?

— Вы знаете, — отвечал он, — какие-то результаты, конечно, были, кое-кто нас очень охотно слушал, но мы ходили все-таки не ради результатов. Наш долг был просто нести свидетельство. — Видя, что я не очень понимаю, он продолжал: — Вот, как святая Бернадетта... — и рассказал мне следующую историю.

Во время Лурдских явлений (о Лурде, я надеюсь, никому ничего объяснять не нужно) Бернадетта Субиру получила от Дамы, как она первое время называла Пресвятую Деву, еще не зная точно, Кто это, поручение: передать местному кюре Ее пожелание, чтобы на месте явлений построили часовню.

Не надо думать, что кюре тут же с радостью ухватился за это предложение, почуяв запах инвестиций. Духовенство вообще, вопреки тому, что вы, быть может, думали, крайне осторожно и скептически относится ко всяческим известиям о чудесах: кто лучше профессионалов знает, сколько здесь встречается

шизофрении, истерии, недоразумений, а то и просто шарлатанства! Или, как говорил патер Браун, «когда мне нужно чудо, я знаю, где его искать». Вот именно! И мы вовсе не нуждаемся в подсказке всяких там профанов...

Во всяком случае, в подсказках Бернадетты, где что строить, лурдский кюре определенно не нуждался. Ведь кто была эта Бернадетта Субиру? Забитый неразвитый подросток из полунищей семьи: у них даже средств не было содержать девочку в городе, отправлять ее в школу, и она росла где-то у родственников на горных пастбищах, а в Лурд спустилась специально для уроков катехизиса к первому причастию. Она и по-французски-то не говорила, а только на местном диалекте (и Даме тоже пришлось им воспользоваться: на постаментах статуй Богородицы Лурдской часто можно прочитать Ее знаменитые слова, сказанные Бернадетте: *«Я есмь Непорочное Зачатие»*, на этом диалекте: *«Que soy era Immaculada Concepciun»*).

Поэтому кюре ей резко отвечает:

— Ты маленькая лгунья, я тебе не верю!

И вот эта забитая неграмотная *девчонка* (*«cette petite gamine»*, — как выразился Мозес, — «эта девчонка», по-французски звучит довольно сильно, по-русски адекватно передать его бы следовало скорее как «эта соплячка»), для которой «господин кюре» ведь был такой большой начальник, что страшно на него глаза поднять, но вот эта «соплячка» поднимает взгляд и спокойно произносит слова, после которых даже господин кюре впервые начинает задумываться: а нет ли здесь и вправду чего-то настоящего?

Вот эти слова:

— Дама поручила мне передать вам это. Она не поручала мне *заставить вас поверить*.

Post scriptum

Идиосинкразию относительно католиков, о которой говорилось выше, трудно не заметить в русском обществе. Мой, может быть, излишне резкий тон, конечно, обусловлен именно этим обстоятельством. Но перед «Континентом» и его читателями считаю своим долгом объясниться. Достаточно посмотреть 124-й номер журнала, посвященный памяти почившего Папы, чтобы убедиться, насколько именно эта аудитория не заслужила ни малейшего упрека в предвзятости. Так что полемика моя не с вами. Собственно, выводя воображаемого оппонента с его репликами, я не имел в виду кого-либо конкретного, ни даже кого-то одного, поскольку возражают мне, как вы могли заметить, порой с позиций прямо противоположных.

Нет, мой оппонент, скорее, воображаемая фигура, набитое соломой чучело, которым пользуются для обучения приемам штыкового боя. Вертишь им так и сяк и колешь его смело, поскольку полагаешь, что ему не больно. Если же кто-то все же принял мои выпады на свой личный счет, приношу ему искренние извинения.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
в зеркале прессы
(Декабрь 2005 – февраль 2006)

(Краткий обзор)

Кончина Печерского старца

Ранним утром 5 февраля, на праздник Собора Новомучеников Российских, скончался прославленный духовник Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

«Не счесть духовных детей отца Иоанна. Среди них немало видных деятелей нашего общества и Русской православной церкви. К нему в монастырь приезжали за советом и наставлением со всех концов страны и из-за рубежа. Писали письма, а он отвечал так, что недавно изданная переписка старца стала выдающимся богословским произведением», — пишет **Валерий Коновалов** в газете **«Труд»** (07. 02. 2006).

С ним солидарна **Ольга Кирьянова («Интерфакс-Религия»**, 06. 02. 2006), которая напоминает, что именно духовный авторитет архимандрита позволил значительно снизить накал страстей и идеологических спекуляций, раздутых вокруг присвоения гражданам России ИНН (индивидуального номера налогоплательщика). «Твердая и взвешенная позиция отца Иоанна, не раз выступавшего с заявлениями о том, что не присвоенный государством номер, а грех отлучает человека от Творца, позволила избежать раскола в среде верующих, сохранить церковное единство», — утверждает автор.

Представитель РПАЦ **игумен Григорий (Лурье)** на сайте **«Портал-Кредо»** (07. 02. 2006) отмечает, что о. Иоанн «сочетал в себе качества психологической и социальной вменяемости с широкой обращенностью к нуждам мирян и приходской жизни». В то же время, с определенной долей осуждения замечает автор, о. Иоанн был убежденным «сергианином», одним из тех, кто еще в 1930-е годы сознательно выбрал позицию митрополита Сергия (Страгородского).

Епископ Венский и Австрийский Иларион на сайте **Представительства РПЦ при Европейских международных организациях** (07. 02. 2006) поместил воспоминания о покойном. «Помню беседы с батюшкой в его келье. У него была характерная манера сажать собеседника рядом с собой и во время разговора класть руку на его плечо, а иногда даже упираться лбом в лоб собеседника. От отца Иоанна всегда исходила необыкновенная теплота и энергия... Советы отца Иоанна были простыми и здравыми. Не помню случая, чтобы он навязывал какое-либо решение. Он всегда подчеркивал, что каждому человеку Богом дарована свобода, и никакой духовник, никакой старец не может ее нарушить. Все ответственные решения человек должен принимать сам и за благословением приходить только тогда, когда решение внутри уже созрело, когда нет колебаний, сомнений. В своих письмах отец Иоанн говорит: «Никто за нас не может решать наших жизненно важных вопросов, и даже в прежние времена старцы не командовали наследием Божиим. Обдумывать, на что брать благословение, должен сам человек... Приказов в духовной жизни быть не может».

Епископ Иларион пишет о том, что отец Иоанн прошел сталинские лагеря: «Он прожил жизнь исповедника и подвижника, и не случайно, что

именно в день памяти Новомучеников и Исповедников Российских Господь призвал к Себе Своего верного служителя».

«Он избегал не только ложной значительности, важности, но и всякой стилизации, в т.ч. духовной, — вспоминает в газеты **«Кифа»** (2006, № 3) **Александр Копировский**. — Не забудется его, невероятная при современной "старцемании", фраза: "Прозорливых людей нет, есть духовно опытные"... Он был одним из живых "столпов" Русской православной церкви, и в то время, и позже. Потому что даже простое упоминание о нем в разговоре умиряло, просветляло атмосферу, вызывало радостную улыбку. К нему, действительно "доктору" для души и духа, а то и тела, ездили сотни людей. И, при острой необходимости, несмотря на все преграды, почему-то всегда до него добирались, говорили с ним, хотя он бегал, в самом прямом смысле, очень быстро. Его скромность была естественна как воздух. Молодому иподьякону, который собственноручно сшил для него митру, о. Иоанн смущенно сказал: "Слишком роскошная для меня...". Когда эта же митра была предложена его "коллегам" — другим печерским архимандритам, реакция оказалась противоположной: "Простовата".

Не забудется и то, как он, уже тяжко больной, находящийся в глубокой старости человек, не побоялся преградить дорогу истерии с ИНН, — вопреки тем, кто хотел его использовать для обратного. Причем сделал это, как написал по другому поводу один писатель, "мягко, но твердо", а главное, — точно и исчерпывающе.

Да, еще одно "солнышко" закатилось. Слава Богу за его жизнь, за его служение, за след настоящего, живого христианства во многих умах и сердцах».

XIV Международные Рождественские образовательные чтения

В конце января в Москве прошли XIV Международные Рождественские образовательные чтения. «Школа и церковь — традиции и реформы образования» — об этом в течение шести дней говорили участники съезда, на который, по сообщению организаторов, собралось около 10 тысяч учителей и воспитателей, священнослужителей и богословов, ученых и работников культуры России и других стран.

Чтения традиционно открылись с доклада патриарха Алексия II. «Патриарх сказал, что считает, что в России назрела необходимость признания дипломов богословских вузов на государственном уровне. Христианские нравственные ценности, по мнению Святейшего, "являются столь же неотъемлемым достоянием России, как и памятники материальной культуры", — сообщает **«Российская газета»** (31. 01. 2006).

«Религию в той или иной форме (включая этику) преподают детям в подавляющем большинстве ныне существующих на земле стран, считающихся цивилизованными и нецивилизованными. По будням, пятницам, субботам или воскресеньям дети земли имеют возможность в зависимости от местного уклада узнать, в чем суть веры. Нигде это право ребенка и его семьи не оспаривается, включая Францию, верную своим революционным традициям. Более того, в мире преподавание религии поддерживается государством всеми силами. Россия — единственное пока исключение, — пишет **Надежда Кеворкова** в газете **«Газета»** (31. 01. 2006), рассказывая о рабо-

те первого дня форума. — Никого из поборников чистоты светскости школьного образования не интересует, что протестанты, мусульмане, буддисты худобедно, тихо и по-семейному эти вопросы уже решили». Журналистка выражает надежду, что общество, наконец, определится с преподаванием религии в школе.

Спор о формате преподавания религии в школе развернулся с первого же дня работы съезда. Многие СМИ обратили внимание на инцидент, случившийся во время выступления министра образования и науки Андрея Фурсенко. "Участники чтений благосклонно выслушали информацию Андрея Фурсенко о том, что его министерство предлагает закрепить законом право «учреждений профессионального религиозного образования реализовывать образовательные программы на основе государственных стандартов". Но когда министр сообщил о завершении подготовки пособия по истории мировых религий для старшеклассников, из зала богоугодного собрания послышался свист и выкрики: "Не нужна история мировых религий!", "Вы в России живете или где?". Тишина воцарилась только после того, как об этом попросил Патриарх», — сообщают **«Новые Известия»** (31. 01. 2006).

«Дискуссия о школе и религии снова обострилась», — констатируют **«Ведомости»** (06. 02. 2006). По мнению издания, «преподавание религии и ее истории в школе должно быть просвещением, а не проповедью. Среднее образование в России обязательно для всех, хождение в церковь или мечеть — предмет сугубо индивидуального выбора. Перепутать школу и храм было бы вредно и для школы, и для храма».

Александр Архангельский в газете **«Известия»** (06. 02. 2006) высказал мысль, что вопрос о введении в российской школе предмета «История мировых религий» — бюрократическое лукавство: «Не желая внедрять в основную программу "Основы православной культуры" и боясь при этом окончательно поссориться с церковью, министерство пускает оппонентов по ложному следу». В то же время он считает лукавством и разговоры верующих о введении в образовательную сетку ОПК: «Давайте назовем вещи своими именами: если что имеет смысл обсуждать, то это вопрос о вероучительных дисциплинах в светских заведениях, о возможности их внедрения, о неизбежных конфликтах и способах их преодоления».

Пока тем не менее официальные представители Русской православной церкви настаивают на культурологической дисциплине, и речи о введении обязательного курса «Закона Божия» нет. ОПК сегодня преподается в 40 регионах. Архимандрит Иоанн (Экономцев), один из интеллектуалов в руководстве РПЦ, предложил провести общероссийский референдум по вопросу введения в школах обязательного преподавания ОПК. «Предложение это может показаться "сенсационным", но оно вполне в духе Рождественских чтений: ярко, глобально и непрактично», — прокомментировал инициативу архимандрита обозреватель **«Московских новостей» Александр Солдатов** (03. 02. 2006).

Экранизация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

В декабре по телевидению был показан 10-серийный телефильм «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, который стал одним из немногих, кто осмелился экранизовать знаменитый булгаковский роман.

По сообщению газеты **«Комсомольская правда»** (23. 12. 2005), первые московские рейтинги «Мастера и Маргариты» были уникальными. «58,5% зрителей, смотревших в это время телевизор, следили за событиями в сериале. А вот за пределами столицы, в целом по России, две первые серии прошли с меньшим успехом: доля смотревших равнялась 47,1% (хотя цифра все равно впечатляющая)».

В интервью еженедельнику **«Аргументы и факты»** (22. 12. 2005) режиссер признался: «Я понимаю, что реакция со стороны Православной церкви обязательно будет. Поэтому сразу хочу объяснить свою позицию. От хорошей экранизации ничего, кроме пользы, быть не может. Потому что вопросы, которые затронул Булгаков, — в том числе и существование Иисуса — подтолкнут людей к чтению и других книг, к примеру Евангелия. В СССР целое поколение моих ровесников прочитало эту книгу, и булгаковский роман не отвратил нас от церкви».

С ним согласен **Леонид Радзиховский**, который в **«Ежедневном журнале»** (23. 12. 2005) пишет: «Я помню, что в 1960–70-е мы, советские школьники-студенты, открывали для себя вечные темы — Иисус, Евангелие, бессмертие души — через "Мастера". Это одна из причин, почему он стал действительно культовым».

Автор **«Московского комсомольца»** (30. 12. 2005) остановился на трудностях экранизации романа: «Во всем виноват Булгаков. Он написал то, что практически не поддается кинорежиссуре. Даже такой блестящей, как у великолепного Бортко. Сколько угодно можно спорить о многозначности Воланда–Басилашвили и о его старости, о блистательности Абдулова–Коровьева, об «ужасном» коте Бегемоте, о Филиппенко, Адабашьяне, Галкине... О том, как жаль, что уже нет Смоктуновского, а он бы сыграл! О том, что в Мастере Булгаков изобразил себя, а в Воланде — Сталина... Все так. И не так. Все будут правы, и при этом бесконечно ошибаться. Потому что у каждого из нас свой "Мастер"... И во всем виноват Булгаков. Это точно».

И в заключение нашего небольшого сюжета — цитата из январского номера ежемесячника **«Открытая встреча»** (приложение к газете **«Кифа»**, 2006, № 1). На вопрос корреспондента: «Многие молодые люди воспринимают фильм так: "Прикольно! Надо будет все-таки почитать". Значит, фильм выполнил какую-то важную культурную и духовную задачу?», — священник Георгий Кочетков ответил: «Сейчас, на мой взгляд, идет мода на фильмы, полные мистифицированных образов сражения Добра и Зла. Народу это нравится, и экранизация "Мастера и Маргариты", конечно "попала в струю", и, может быть, под эту струю и делалась. Поэтому фильм был обречен на успех, и какова бы ни была критика — конечно, многие ожидали большего, — но все равно все его смотрели, он стал событием. Я считаю знаковым явлением то, что опять вернулись к основам, т.к. вопрос о добре и зле — это первый вопрос, который ставит проснувшаяся совесть, встревоженное сердце человека. Поэтому меня очень вдохновляет, что современная молодежь горячо реагирует на эти вещи».

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
в русской периодике 2005 г.

На календаре — эпоха глобализации, и в ее контексте либеральная цивилизация Запада оспаривает незыблемость традиционных христианских ценностей. Этой теме посвящает свою статью **«Благословение или проклятие?» епископ Венский и Австрийский Иларион** («Церковь и время», № 3), говоря не о споре даже, а *о битве* людей, вдохновленных религиозными идеалами, с теми, чье мировоззрение сформировано секулярным гуманизмом. БЕЗРЕЛИГИОЗНЫЙ ГУМАНИЗМ, дитя эпохи Просвещения, утверждает абсолютное достоинство человека и наличие неких универсальных «общечеловеческих» ценностей, призванных стать основой единой мировой цивилизации. Под общечеловеческими ценностями, однако, понимаются не только духовно-нравственные установки, общие для всех религий, равно как и для всех здравомыслящих людей («не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй» и т.д.), но и многие спорные, с религиозной точки зрения, ориентиры. Так, либерально-гуманистическая мораль главной ценностью провозглашает «право каждой личности на свой образ жизни, простирающееся настолько далеко, насколько это не наносит ущерба другим». Иными словами, нравственно то, что не задевает интересы других; безнравственно то, что ущемляет чужую свободу. Однако при таком подходе исчезает и понятие абсолютной нравственной нормы, и понятие греха: позволено всё — лишь бы это никому не мешало. Но, с точки зрения религиозного человека, нравственно допустимо далеко не все, что непосредственно не задевает интересы других людей. И истинная свобода для верующего — не синоним вседозволенности, а освобождение от греха, духовное совершенство. Секулярный гуманизм, убежденный в собственной универсальности, ведет себя навязчиво и агрессивно. И это вызывает сопротивление верующих — и порою весьма воинственное сопротивление (например, джихад). Владыка Иларион христианин и, следовательно, сторонник мирного сопротивления. Он указывает, что и Римско-Католическая, и Православная церкви выступают не против гуманизма, как такового, а против его либеральной атеистической версии и взамен предлагают подлинный — христианский гуманизм, «который соответствует стандартам божественного плана любви в истории» (из католического «Компендиума социальной доктрины Церкви»). То, что атеистический гуманизм по сути антигуманен, показывают его печальные нравственные следствия, с ног на голову переворачивающие все традиционные представления о добре и зле: сексуальная революция, разводы, аборты, гомосексуализм, дебаты об эвтаназии («праве на смерть»). Церковь противостоит попыткам объявить гуманизм монополией атеистов, а религию — пережитком прошлого, подлежащим изгнанию во имя этого самого «гуманизма». Церковь, напоминает епископ Иларион, отстаивает свободу и достоинство человека, верующего в абсолютное всемогущество Бога, и считает

свое понимание человеческого достоинства и свободы высшей формой гуманизма.

Протоиерей Всеволод Чаплин пишет о православной нравственной позиции (**«Православие и этические вопросы на повестке дня Всемирного Совета Церквей»** — «Церковь и время», № 3). Этическое мышление православных христиан сотериологично и эсхатологично, а это означает, что соображения комфорта, материального достатка, гармонии земной жизни и даже сохранения жизни отступают на второй план перед задачами хранения истинной веры, достижения духовного совершенства и спасения. Все, что препятствует спасению, должно быть отвергнуто. Феминизм, гомосексуальность, отход от единственности благословленного Церковью брака, отрицание абсолютного характера нравственных норм и иные формы поведения, расходящиеся с евангельской моралью и моралью Древней Церкви, признаются нехристианскими и греховными. Православная этика естественной морали не отрицает, однако не считает ее достаточной для спасения и достижения духовного совершенства. Средством нравственного преображения личности признается прежде всего не ее собственное усилие, не «работа ума» и даже не назидание, а благодать Божия, действующая через церковные таинства — Крещение, Покаяние, Евхаристию. Такой «механизм» морального совершенствования делает для православных христиан весьма затруднительным усвоение «общечеловеческой» и даже «экуменической» этики. В системе же СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Православие не приемлет этого и напоминает, что вне Бога существует лишь человек падший, весьма далекий от чаемого христианами идеала совершенства, явленного во Христе. Даже материалистическое, ориентированное только на земную жизнь «благотворение» может стать частью системы зла, что, по грозному пророчеству Апокалипсиса, приведет мир к трагическому концу.

В. Коцюба сравнивает понимание БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА у язычников и христиан (**«Христианский и неоплатонический провиденциализм: понятие о промысле у Иоанна Златоуста, Саллюстия и Прокла»** — «Альфа и Омега», № 3). Как относиться к миру и к внешним обстоятельствам своей жизни? Управляет ли мирозданием разумное начало? Случайны обстоятельства человеческой жизни или же у них есть цель и смысл? Эти вопросы были одинаково важны для всех и во все времена. Язычники, как и христиане, верили в божественный Промысл, но понимали его как естественное проявление природы богов, подобное исхождению тепла от нагретого тела. По христианскому вероучению, мир возникает как свободное осуществление Божественного замысла, и Бог промышляет о мироздании, словно садовник, заботящийся о своих растениях. В понимании языческих философов (Саллюстия и Прокла) Промысл имеет многоступенчатую структуру. Все естественным образом влечется к первоначалу, но «без обратной связи»: первоначало обращено исключительно к себе самому как высшему совершенству. Промысл направлен прежде всего на мировое целое. Человек, занимая одно из последних мест в ряду разумных существ, не входит в число главных объектов промыслительной деятельности высших

богов. В христианском понимании, напротив, человек как образ Божий есть разумное самовластное существо и предмет особого Промысла Божьего. Бог любит Свое творение, и в Его промышлении о человеке любовь обнаруживает жертвенный характер. Боговоплощение и крестные страдания Богочеловека Иисуса Христа составляют важнейшую часть Божественного Промысла о человеке. Отношения между Богом и человеком строятся как личностные. Язычники и христиане по-разному понимают также и соотношение Промысла и зла в мире. Неоплатоники рассматривали зло как отсутствие в существе надлежащей силы, его несоответствие собственной природной норме. Зло не нарушает гармонии мирового целого, являясь одним из его элементов. Христиане понимают зло иначе, хотя и признают, что оно не субстанциально. Зло исходит от личной воли существ, злоупотребляющих дарованной им свободой. Бог не отнимает свободы, но промыслительно устраивает так, что злые действия, творимые в мире, становятся воспитательными жизненными испытаниями для тех, на кого они направлены («горькие лекарства»). При этом Божественный Промысл не допускает испытаний, превышающих силы человека. Неоплатоники наряду с Промыслом, несущим только добро, признавали существование слепого рока, что несовместимо с христианским миропониманием. С христианской точки зрения жизнь каждого человека всецело находится в ведении Божественного Промысла, и в ней ничего не происходит случайно, в силу слепого стечения обстоятельств. Скорби и заботы суть промыслительные испытания, посредством которых человек познает себя, исцеляется от гордости и самомнения; при этом прикладывая труд и проявляя терпение, обретает твердость и мужество, избавляется от привязанности к пустому и обращается к Богу. Через временные скорби можно сделаться наследником вечной жизни.

Е. Мещерина обращается к СВЯТООТЕЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ (**«Святоотеческая традиция в литературе средневековой Руси: тема "Небесной Лествицы"»** — «Церковь и время», № 3). Русская философия издревле развивает учение о человеке, созданное «золотым веком» святоотеческой литературы. Речь идет о символе духовно-нравственного восхождения, данном в видении преподобному Иоанну Синайскому (Лествичнику): огненная лестница, уходящая в небо. Это символ духовного горения, устремленности к Богу, символ пути богопознания и борьбы с «очерненным естеством Адама». «Лествица, возводящая на Небо» есть душеспасительное руководство, представляющее в своих тридцати ступенях «царский путь меры и духовной гармонии». Эти ступени «равночисленны возрасту Господнему по плоти» и символизируют время духовной зрелости человека. Автор подробно анализирует различные интерпретации этого символа, ибо образ «Небесной Лествицы» является выражением единого духовного принципа нравственного совершенства, который пронизывает всю средневековую культуру, все виды церковного искусства. Христианская традиция породила особую эстетику устремленности к духовной жизни, в которой прекрасное и гармония — результат внутреннего усилия и борения. Это красота «истонченной плоти», ее «болезненного пренемогания», красота аскезы и мучительного поиска идеала.

Архимандрит Симеон (Брюшвайлер) отвечает на вопрос, что такое ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ и сравнивает роль духовника с ролью проводника в горах, который показывает путь тем, кто заблудился или стоит на краю пропасти (**«Слушание Бога и послушание»** — «Альфа и Омега», №3). В традиции Православной церкви духовное руководство осуществляется разными способами. С одной стороны, исповедующий священник с рассуждением совершает таинство покаяния и дает отпущение грехов. В этом случае таинство покаяния происходит как в суде и завершается определением: грехи либо отпускаются, либо нет. С другой стороны, существует обычай общения со старцем, который, следуя традиции Добротолюбия, преподает исцеляющее слово жизни. Здесь мы уже не в сфере суда, а в духовной лечебнице, где верующие получают врачевание словом. На взгляд архимандрита Симеона, духовные отцы тяготеют к той или иной из этих двух форм. Но обе они предполагают в духовнике особый внутренний настрой, который автор определяет как *слушание*. В этом слове присутствует в сжатой форме все духовное делание отца и его чад в их взаимных отношениях. Слушать — это добродетель, лежащая в основе духовничества и позволяющая ему быть тем, что оно есть, и приносить духовные плоды. Духовный отец должен прежде всего слушать в своем сердце то, что ему говорит Бог во время молитвы, чтобы быть в состоянии сказать своему ученику спасительное слово. Он слушает Бога, чтобы говорить не от своих познаний, приобретенных из книг, и даже не из своего собственного опыта, но исходя из того, что Бог дает ему сказать. Духовник должен стать «устами Бога». Ученик же свое послушание должен осуществлять в подражание Христу и поступать по Его слову в Гефсиманском саду: «Не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26:39).

Игумен Петр (Мещеринов) называет духовничество самой высокой формой общения людей (**«О духовничестве»** — «Альфа и Омега», № 3). Оно исключает плотские и суетные интересы и представляет собой подлинно глубокие отношения, основанные на честности, взаимном уважении и любви, а главное, — на обоюдном стремлении ко Христу. Как следствие, оно предполагает оказание взаимной помощи на этом «узком и тесном» пути. Игумен Петр подробно разбирает особое постановление о духовничестве, которое приняли в 1998 году Патриарх и Священный Синод. В этом документе, прежде всего, определяется норма пастырства в Церкви. Епископам и священникам дана власть, но это не мирская, не насильственная власть, а благодатный дар служения, дар совершать таинства, хранить веру и благочестие. Этот благодатный дар хранится в Церкви и передается посредством таинства священства. Без Церкви спасение невозможно, следовательно, необходимо быть в единстве с нею, в общении с ее служителями. Это не значит, что Церковь делится на начальников и подчиненных, на касту учителей и безмолвно внимающую им массу. Перед Богом все равны, и в Церкви все являются соработниками друг друга. Священное Писание учит: пастырь — не властитель, а слуга; отношение пастыря и паствы строятся на основании любви и взаимного уважения. Наконец, самое главное: пастырь не от самого себя осуществляет пастырство, ибо оно — Христово. Такова норма, в свете которой сразу видны искажения. Игумен Петр считает необходимым указать на них. Это непонимание того, что пастырь — слуга Христов,

что он не может быть самодовлеющим. Распространенное представление о том, что благодать священства действует автоматически, в силу одного рукоположения, ошибочно. В Церкви нет ничего автоматического. Пастырство требует нравственного труда, и в послушании тоже не должно быть автоматизма. Главная опасность духовнических отношений связана с боязнью свободы и ответственности со стороны паствы, которая не хочет взрослеть, «возрастать в меру возраста Христова». Но и духовнику порой неудобно иметь дело с повзрослевшими людьми. Поэтому Патриарх и Священный Синод и напоминают в своем постановлении: Церковь — не детский сад, где есть авторитарные воспитатели и заведомо неразумные дети, а Тело Христово, то есть духовный союз во Христе зрелых, пришедших в свою меру свободных людей, каждый из которых имеет от Бога свое церковное служение.

О зрелости христианина свидетельствует и его мера исполненности ДУХОМ СВЯТЫМ. Что это значит, объясняет **митрополит Антоний Сурожский** в своем слове **«О Духе Святом»** («Альфа и Омега», № 3). Отец открывается в Сыне, через Сына. Сына открывает Святой Дух. Но Сам Дух неуловим. Откровение Духа явлено самим человечеством. Слава Божия — это до конца осуществленный человек. Каждый из нас в отдельности и все вместе — вот где должно быть видно сияние Духа. Другого не дано. И это ставит нас в совершенно особые отношения с Третьим Лицом Святой Троицы, Господом Духом Святым. Определить, кто такой Святой Дух, невозможно, разве что описать Его действование посредством образов, например, огня и тепла. Как неопровержим опыт ощущения огня через его тепло, так же неопровержимо явление Истины, которая не есть что-то установленное раз и навсегда. Истина — это не утверждение, не система верований, не мировоззрение. Это живая динамическая реальность. Истина — не что-то, а Кто-то: «Я есмь истина» (Ин 14:6). Святой Дух шаг за шагом ведет нас во все новые глубины, ко все большему видению Того, Кто есть Истина. Святой Дух также открывает нам глубины человека, ту связь, которая есть между нами и Богом, нашу укорененность в Слове Божием. И, наконец, Святой Дух ведет нас к полноте свершения, которая явится в будущем мире, в Царстве Божием, в вечной жизни. Это элемент эсхатологический, принадлежащий исключительно последним вещам, конечному свершению всего. Только когда все будет завершено, все человечество станет в своей славе откровением пребывающего в нем Святого Духа, Который приобщает человечество Божеству, превращает весь мир в место вселения Божия.

Правда, ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА может создаваться по-разному. Доктор философии **В. Афанасьева** пытается выяснить из эсхатологических сюжетов Ветхого Завета, «когда грядет конец света, как он произойдет и что будет после?» (**«Эсхатология иудаизма»** — «Человек. История. Культура», № 4). Что касается «когда?», то здесь окончательный замысел Бога скрыт от человека, а запрет на точные предсказания Дня Господня связан с «нелинейностью, экстремальностью времени в начале и конце времен». Как до создания светил «первые дни» могли длиться и секунды и миллиарды лет, так и последние дни не определены во временном масштабе. Воистину: «да сгниют кости тех, кто подсчитает конец». Вопрос «как?» тоже не имеет однозначного ответа. Известно, что перед концом

будут скорби и казни, эсхатологическая война Гога и Магога, «война сынов света и сынов тьмы», чрезвычайное напряжение зла и торжество язычников. Христианская эсхатология склонна интерпретировать события тех же текстов как реальные физические процессы (войны, катастрофы, космические катаклизмы). Иудаизм не приемлет такого упрощенного понимания и постоянно акцентирует внимание на том, что это прежде всего духовные скорби. Эсхатологические войны — это войны вселенского Добра и Зла за человеческие души, а эсхатологические пророчества представляют собой эзотерические, зашифрованные тексты, смысл которых понятен лишь немногим посвященным. Важнейшую роль в эсхатологических прогнозах играет пророчество Даниила о Четырех Царствах. Согласно известным толкованиям, первое, Царство Льва, означает Вавилон и чувственность, желания; второе, Царство Медведя, — Персию и материальность, плоть; третье, Царство Леопарда, — Грецию и интеллект, силу разума; четвертое, Царство Человека, Эдом, — современные народы и слово. На смену четвертому Царству неизбежно должно прийти пятое Царство — царство Мессии, соответствующее духовности. Царство Эдом — самое долгое и мучительное, ему в Торе соответствует слово «падение». Начавшись с Римской империи, оно продолжается до наших дней, характеризуясь прежде всего духовной нищетой. Мир стремительно катится вниз, зло наращивает силу, а сопротивляемость ему снижается. Самым неопределенным является ответ на вопрос «что будет после?». Известно лишь, что творение приобретет форму, отличную от прежней. Мир преобразится, настанет время, когда суть созданного, первоначальная истина найдет выражение в бытии человека. Конец света при таком рассмотрении представляется не только закономерным и неизбежным, но и желаемым, очищающим. Это не катастрофа, а кризис, переводящий Мир в обновленное состояние. История же человечества видится процессом, в котором «конец действия заложен в начальном замысле».

Иеромонах Рафаил (Нойка) эсхатологию проецирует в сферу экклезиологии и предлагает интерпретацию понятия «КРИЗИС ЦЕРКВИ» («**Кризис в Церкви**» — «Альфа и Омега», № 3). Это понятие не однозначно. Понятие кризиса как болезни и глубокого расстройства жизненной системы к Церкви, конечно, не применимо. Поскольку в Церкви пребывает Господь, Его Промысел и дар Божий, кризиса быть не может, равно как и трагедии, ибо всепобедительное могущество Бога является подлинной реальностью. Но на другом уровне понимания Церковь — это то место, где Бог и человек встречаются или ищут встречи. Сам потенциал разницы между Богом и человеком обязательно ведет к трагизму и кризису, хотя и спасительному, в соответствии с целями Божьими, но и содержащему реальный риск краха. Кризис начался с падения первого человека, нашего праотца Адама, и продолжается в каждом поколении, в каждой личности. Человек пребывает в кризисе постольку, поскольку находится не в воле Божьей. Каждая личность дает свой ответ, каждый индивид спасается по своему разумению и силам. В этом смысле Церковь — в кризисе постоянно. Автор предлагает следовать словам преподобного Силуана: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». То есть будь реалистом и пойми, что наша жизнь на земле — это преумножающийся ад, это трагизм истории. Остаток зла будет сведен к

последней апостасии, о которой пророчествовали Христос, Апокалипсис и все пророки. Но за Богом будет последнее слово, подобно тому как в конце земной жизни Христа зло произнесло свое слово до конца и убило Богочеловека, однако Бог имел еще одно слово — Воскресение. Перефразируя слова Силуана, иеромонах Рафаил говорит: «Держи ум во аде, не пытаясь избежать этого пути; это невозможно, это просто невозможно!» Это значит, что мы не пропадем. Победа уже завоевана. Бог берет ответственность на себя за зло, которое мы должны претерпеть, настолько, что становится солидарным с нами. Христос принимает на себя все зло — воплощение, распятие, смерть, сошествие во ад — но и побеждает Воскресением. Сегодня человеческое падение достигло вавилонской стадии. Строительство башни до небес — это, в духовном понимании, самообожествление человека. Первая попытка не удалась — народы заговорили на разных языках и перестали понимать друг друга. Теперь мы достигли второй стадии: люди говорят на одном и том же языке, но друг друга не понимают. Кризис нашей Церкви в том, что мы не понимаем духа слов, используемых нашими отцами. Язык Добротолюбия стал для нас недоступен, и, чтобы разрешить этот вавилонский вопрос на интеллектуальном уровне, нам нужна светлая и верно ориентированная духовность, которая восстановит через опыт жизни его истинный, первоначальный смысл. Тогда мы поймем, что земная жизнь — это смерть, а то, что мы называем смертью — истинная жизнь.

Проблемой понимания религиозного языка — языка текстов Писания и Предания — занимается герменевтика и экзегетика. **А. Десницкий** пытается ПОНЯТЬ ЯЗЫК БИБЛИИ, проникнув в смысл метафор древних текстов (**«Смысл и сила имени»** — «Альфа и Омега», № 3). Он предлагает вспомнить, что люди древности жили в ином, чем наш, мире. Человек был не столько индивидуумом, сколько частью социума, который в свою очередь ощущал себя частью большой вселенной; и точно так же единичные предметы и явления этой вселенной не существовали для человека изолированно, но вступали друг с другом в сложные и порой непонятные нам отношения. В языке древних нет различия между тождеством и подобием. Сравнение, толкование, само наименование предмета или явления осуществлялось как нечто неразделимое и вещественное. Например, имя как вещественная часть именуемого. Произнесенное имя означало реальное присутствие личности или вещи, названной этим именем. Существовать начинает то, что названо. Завершить творение мира — значит дать всему сотворенному имя. Имена, уже каким-то образом внутренне присущие реальным предметам, раскрывались в акте наименования, и этот акт знаменовал собой установление определенных отношений между человеком и именуемым миром. Таким же непостижимым образом устанавливалась связь между словами. Можно предположить, что она строится не по законам логики, а на основе свободных ассоциаций, внешних созвучий и подобий. Если имя вещи отражает суть этой вещи, то оно становится принципиально неисчерпаемым, вступает в самые различные связи с другими именами в зависимости от того, в каком контексте оно пребывает.

Темы ЭКУМЕНИЗМА касается **протопресвитер Фома Хопко** в статье **«Православие и экуменизм»** («Церковь и время», № 3). Не верно, пишет он,

полагать, что экуменизм в любой форме является для православия «ересью ересей». Такого мнения придерживаются в основном те, кто никогда в экуменической деятельности не участвовал. Никто не осуждает экуменизм, как таковой. Критика же распространяется на неудачные экуменические мероприятия, имеющие характер греховный, двусмысленный или вводящий в заблуждение. Автору цели и задачи экуменизма кажутся простыми и ясными с самого начала. Представители разделенных христианских церквей должны были придумать средство мирно встретиться и обсудить свои богословские расхождения, договориться о миссионерской деятельности, найти способы совместной работы в сфере оказания помощи бедным, нуждающимся, больным, страждущим и обездоленным. Задачи ясны, но решить их оказалось непросто. На пути, как всегда, встали извечные человеческие проблемы: власть, авторитет, собственность, выгода, соперничество. Экуменизм сегодня больше, чем когда-либо, нуждается в скромном и смиренном свидетельстве православных. Он требует терпеливого и настойчивого участия тех, кто, не стесняясь неловким положением, готов явиться туда, где призывают имя Христово. Автор полагает, что в современном экуменизме православным следует стать исповедниками, мучениками и юродивыми Христа ради. В экуменической работе православным христианам нужно думать о том, что они могут своим участием дать другим, а не заботиться о том, что можно от других получить. Совершать благие дела — вот что такое экуменизм в правильном понимании.

ДИАЛОГ С КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ русское православие ведет издавна. И также издавна светские власти в России относятся к религии не столько как к системе догматов, сколько как к краеугольному камню своей политики. Статья **И. Барыкиной «Конфессиональный спор в середине XIX века как предмет научного исследования»** («Церковь и время», № 3) посвящена историческому сочинению графа Д.А. Толстого «Римский католицизм в России». Автор полагает, что факты, описанные Толстым, могут и сегодня дать пищу для размышления. Правда, нужно иметь в виду, что граф был государственный человек (обер-прокурор Синода, министр внутренних дел и шеф жандармов), а для государственного человека, в отличие от ученого историка, на первом месте находится не поиск истины, а защита интересов государства. Рассматривая в таком ракурсе сочинение Толстого, Барыкина считает его достойным ответом на «*беспрестанно появляющиеся бездоказательные пасквили политических и религиозных врагов России*». Попытки папства совратить Россию в римский католицизм начались сразу после крещения Руси, но потерпели неудачу. Толстой полагал, что в первое время русских от католицизма отталкивала внешняя обрядовая сторона, что было естественно в начальный период духовного развития народа, «когда внешность имеет более значения, чем содержание». Второй причиной были «иерархия, дух и направление православного духовенства», предпочитавшего не вмешиваться «в чужую паству», а также избегавшего насильственной пропаганды и светских притязаний. Выводы эти граф сделал, тщательно проанализировав древнерусские рукописные источники и сочинения современных ему историков. Он также обратил внимание на «политическое основание римского католицизма», вызывавшее неприятие в умах наших

соотечественников. Толстой полагал, что светская власть Папы Римского стала причиной религиозно-политического фанатизма Католической церкви и породила стремление расширять сферу своего влияния и вмешиваться во внутренние дела инославных (в том числе православных) государств. Русское духовенство подобными низостями себя не пятнало. Отношения духовных и светских властей в России граф характеризует как «неразрывную, хотя и неразгаданную связь». В отношениях с католичеством Толстой отдавал предпочтение самодержавной воле императора, объясняя, что это не только сообразнее с существом правительственной власти, но и полезнее для самой Римско-Католической церкви, так как бесконтрольность в финансовых и политических делах приводит к разложению духовенства. Проведенный Толстым детальный анализ «способов совращения» православных христиан, т.е. типичных приемов католических миссий, Барыкина считает полезным для сегодняшней деятельности Русской церкви.

Г. Аксенов с пафосом вполне чаадаевского толка пишет о ПРАВОСЛАВНОМ ПАТРИОТИЗМЕ (**«Слово и дело Церкви»** — «Отечественные записки», № 3). Автор называет православный патриотизм мифом, основанным на предвзятых идеях. Таких идей две. Первая: только православие обладает истинным богопознанием, только оно — столбовая дорога христианства. Вторая: русское государство создавалось и в течение веков строилось как христианская страна, как *«святая Русь, где власть с церковью всегда сливалась в симфонии»*. В действительности же, пишет Аксенов, в истории все было иначе. Большинство наших князей в худшем случае были убийцы, в лучшем — оболтусы, не обладавшие никаким государственным мышлением по причине своего невежества. Словом, власть на Руси была кромешной, и церковь ее не умягчила. Мало того, сама церковь всегда была подчинена власти — и до и после отделения от Константинопольского патриархата. Что же касается столбовой дороги христианства, то путь, на который встала Западная церковь, отделившись от Восточной в XI веке (автор называет это «папской революцией»), больше соответствует учению Христа. Тогда Западная церковь реально объединяла народы Европы, разрушая национальные границы и становясь церковью вселенской. Папа Григорий VII начал свое служение в 1073 году, осознанно выдвинув антиэтнический лозунг: «Христос сказал “Я есмь истина!” Он не сказал “Я есмь обычай!”». Папа провозгласил, что Церковь выше всех светских властей и что все короли и императоры должны вести народ под главенством папы к Царству Небесному, а не жить по своим звериным правилам. Папский престол объединил народы стройной церковной организацией и дал в руки не бранные, но могучие орудия: просвещение, науку, право и суд. Юстиция (право) была названа Божественной справедливостью, поэтому земные законы должны были согласовываться с нею. Созданное схоластами рациональное учение об искуплении определяло поведение человека как личности. Бог проложил путь от Себя до смертного существа, и теперь каждому следует пройти по нему к Богу. Христос пришел спасти лично каждого, а не всех вообще, не человеческий род и тому подобные абстракции. Спасение возможно только поодиночке. Христос станет личным руководителем каждого в этой невыносимо трудной жизни. Таков величайший вызов, и от него не уклонишься.

Восточная (Православная) церковь, как полагает автор, не знает о таком вызове. В Европе благодаря учению об искуплении вера давала человеку смысл жизни и помогала реализовать свое призвание. Православие же дает смысл смерти, ждет спасения за гробом. В латинстве те, кто понял смысл искупления и принял личного Бога, совершили великие дела. Следствием порыва к спасению стали сотни городов, университеты, рост населения, отмена крепостного права. Следствием духовных поисков и подвигов стала европейская цивилизация, которая в точном смысле слова есть только там, где существует профессиональная наука (право, теология). Наука насаждает просвещение, умягчает нравы и политические режимы. Итак, лишь Европа жила исторической жизнью, которая есть реализация Слова и Закона Божьего. Ничего подобного, утверждает Аксенов, Православная церковь не совершила. За тысячу лет она не приучила мирян исполнять моральные заповеди, быть кроткими, честными, правдивыми, хорошо трудиться; не привила основ новой сверхъестественной (Божественной) этики; не одолела родоплеменных правил (в которых и лежит исток современной ксенофобии), не отучила от грубости, пьянства и сквернословия; не научила любви к ближнему, не освятила семью, не способствовала формированию индивидуальной личности, ответственной пред Богом за свои поступки; не просветила народ. Автор статьи сомневается и в том, что Православная церковь осознала все, что произошло при советской власти. Почему народ так легко и быстро разуверился в Боге и дружно рушил храмы и расстреливал священников? И сейчас в Церкви не видно покаяния и осмысления своей истории. Религия, увы, лишь украшает жизнь, но не становится самой жизнью, ее духовной сутью.

Священник Георгий Завершинский продолжает серию публикаций по богословию диалога. На этот раз он обращается к МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ (**«Встреча религий»** — «Церковь и время», № 3). Диалог представителей разных религиозных традиций он трактует «по образу и подобию» взаимоотношения Ипостасей Святой Троицы: во взаимной любви участники диалога непременно придут к согласию. Автор уверен, что христианский опыт обладает всей полнотой, необходимой для восприятия универсальности Бога, действующего в тварном мире, и называет предлагаемый диалог *внутрирелигиозным*. Со ссылкой на Р. Паниккара* предлагается классификация подходов, среди которых автор отдает предпочтение плюрализму. Плюрализм — это позиция непрерывного диалога с иными мнениями; позиция, отвергающая любую абсолютизацию: все подлинные традиции развиваются естественным образом, и все должны иметь возможность говорить своим языком. Все традиции должны быть терпимы, дружественны и уважительны друг к другу. Отношения Святой Троицы могли бы быть в этом диалоге приняты как основа взаимной любви. Автор развивает перенятую у Макса Бубуера идею «диалога» между Богом и человеком как диалога «Ich und Du». «Ты», разделенное другим, есть «вечное Ты» Святого Духа. Представление о Святом Духе, действующем через другие религиозные традиции, может быть понятно только в контексте специфически хри-

* О концепции Паниккара см. наш обзор в № 120.

стианского подхода к этим религиям. Дух, пребывающий в Церкви, делает возможным понимание похожего духовного опыта других традиций, если Он в них присутствует. Итак, Бог промышляет обо всех, повелевая «солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» и посылая «дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45). Универсальность Бога может быть открыта многим людям внутри их собственных религиозных традиций и через конкретность их собственного религиозного опыта. А каждый христианин может свидетельствовать, что, по крайней мере, одна религия в ее конкретном религиозном опыте имеет все необходимое, чтобы познать Божественную универсальность (Отца), во всей полноте доступную человеку в образе Своего подобия (Сына) посредством Духа Святого.

Нынешние христианские апологеты часто ищут согласия в диалоге с иноверцами, соблазненными восточным язычеством. МОЖЕТ ЛИ БОГ ИЗМЕНИТЬ КАРМУ? — задается вопросом **С. Худиев** в своих **«Апологетических заметках III»** («Альфа и Омега», № 3). Язычество, полагает автор, — довольно расплывчатое понятие, охватывающее самые разнообразные религиозные верования и практики. Общий признак, присущий им всем, — это отсутствие каких-либо значимых отношений с Богом-Творцом. Языческий Бог — это творец, «отошедший от дел», Бог отсутствующий, Бог, не имеющий отношения к повседневным нуждам, горестям и радостям людей. Теист (христианин, мусульманин, иудей) осознает себя в руках Бога, язычник — в руках каких-то иных сил. Одна из таких сил — карма. Согласно учению о карме, то, что происходит с нами, обусловлено нашими проступками или заслугами в этой или в предполагаемых «предыдущих» жизнях. Закон кармы распространяет причинно-следственные связи природного мира на мир нравственный. Этот закон так же безличен и неумолим, как закон Ома или всемирного тяготения. Бог теистов — Промыслитель, который не только создал мир, но поддерживает его в бытии; не только дал начало истории, но и направляет ее к предопределенной Им цели. Для теистов все, что происходит в их жизни, есть проявление Божьего Промысла, Его заботы. Это личностный Бог, в руках Которого находится как временная, так и вечная участь людей. Карма же — безличный закон причин и следствий. Смерть Христа, Который «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим 4:25), вера в искупление несовместимы с учением о карме. Автор подтверждает это многочисленными ссылками на Священное Писание. Жаль лишь, что учение о карме излагается со слов Е. Блаватской, чьи вульгарные толкования сегодня не воспринимаются всерьез.

ПРЕПОДАВАНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ в общеобразовательных учебных заведениях вызывает у **диакона Георгия Рябых** серьезные опасения (**«Состоится ли возвращение атеизма в российскую школу?»** — «Церковь и время», № 3). Прежде всего, указывает автор статьи, не решена главная проблема — содержание предмета религиоведения. И хотя с содержанием не все ясно, метод преподавания в Министерстве образования уже нашли. Главная установка — нейтральный подход, соответствующий демократическим нормам и международным обязательствам России. Это означает, что никакой субъективности и конфессионального предпочтения быть не должно. Однако у клерикалов (то есть религиозно ориентированных препода-

вателей и составителей учебников) предполагаются именно субъективность и специальная заинтересованность. Правда, и любая религия честно объявляет, что ее учение невозможно воспринять с помощью тех методов, которые доступны для пяти человеческих чувств. Совсем не так судит о своих способностях «нейтральный» научный подход. Пример этого отец Георгий находит, анализируя весьма авторитетный учебник, подготовленный кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. Создатели этой книги, пишет автор статьи, атеизм считают *единственно верным* учением, по их понятиям, самого предмета, которым занимается религия (потустороннего мира), нет и быть не может, и, значит, все содержание религии — всего лишь фантазия, продукт человеческой психики. Мнение вполне допустимое, но не обязательное, а для верующего человека, студента в данном случае, просто неприемлемое. Автор статьи полагает, что нашим педагогическим чиновникам, да и обществу вообще, придется признать, что нейтральных подходов в религиоведении не существует. И самой справедливой была бы та система, при которой учащийся получал бы знания о чужих религиях, не изменяя своей веры.

Экономические отношения секулярного мира, по мнению **Е. Субботина**, скрывают в себе «КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ» (**«Религиозное сознание: трансформации в общественном потреблении»** — «Религиоведение», № 3). Поведение сегодняшнего потребителя товаров и услуг вполне можно объяснить религиозными мотивами. Но для этого нужно согласиться с тем, что утверждали Энгельс, Фейербах и Каутский: боги служат человеку для объяснения тех явлений действительности, которые без сверхъестественного участия просто не понять; религиозное сознание *«конструирует понятия, не имеющие объективной основы»*. Религиозное сознание — это специфическая форма общественного сознания, которое пытается создать целостную картину мира, а зоны непонятного латает материей сверхъестественного. Потребность в сверхъестественном возникает, когда своего ума не хватает для того, чтобы разобраться с непостижимостью рынка. И чудо приходит на помощь в виде откровения рекламы. Сообразительным менеджерам ничего не стоит залучить столь религиозную публику в свою лавку и защитить ее от сложностей выбора в хаосе изобилия. Когда все есть и всего ужасающе много, наш выбор зависит от веры (читай: рекламы), вещи, доверчиво выбранные, становятся утешением, и в этой бытовой мифологии гаснет страх времени и смерти.

Обзор подготовил Александр Денискин

ФИЛОСОФСКАЯ, СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИСТОРИОСОФСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ

в русской периодике 2005 г.

К радости любителей знания чистого, то есть не оскверненного суетой политики и не омраченного злобой дня, журналы свидетельствуют *о «возрождении» метафизики.* Правда, некоторые специалисты трактуют метафизику как отрасль философии, что не соответствует ее универсальному характеру: метафизика как целое не может быть частью чего бы то ни было (и даже философии), так же как ничто не может включать универсальное в качестве своей части. Метафизика есть знание универсальных принципов, из которых выводится все остальное, включая разные науки.

Вслед за Аристотелем **С. Авалиани** считает метафизику *наукой о божестве* (**«Трансформация метафизики»** — «Вопросы философии», № 11). Метафизика — это учение о ненаблюдаемом (сверхчувственном) бытии, то есть ни наукой, ни философией она не является и относится к области веры, а не знания.

Интерес **Н. Бросовой** к метафизике разбужен трудами М. Хайдеггера, в которых самая история предстает как человеческие поиски подлинной бытийной основы — и как неизбежные заблуждения на этом пути (**«Судьба метафизики и судьба человека»** — «Вопросы философии», № 11). Автор статьи задается вопросами: какую меру абстракции можно позволить в поисках истины? возможен ли такой уровень мышления, на котором можно пренебречь моральным выбором? уместна ли вообще мораль в научном исследовании? И главное — как применять религиозный опыт в философском решении мировых (мирских) проблем?

Постмодернизм сопротивляется возрождению метафизики и навязчиво толкует о ее смерти. В статье **«Закат логоцентризма»** («Человек», № 5) **А. Пелипенко** спорит с постмодернистским утверждением, вынесенным в заглавие. Мир уже не целое, устроенное по законам главенства и подчинения, по законам Логоса, считают постмодернисты, все условно и необязательно. Бог умер, с ним умерла метафизика, а вместе и весь европейский рационализм. Зато родился постмодерн с его антииерархизмом, эклектикой и индетерминизмом. Теперь субъект пускается вплавь не для достижения берега, откуда прежде его звала истина. Берегов нет, и субъект в безбрежном море наслаждается самим плаванием. В постмодернистской парадигме «законодательный разум» умолкает и современный интеллект «предпочитает ничего не предпочитать». Однако, замечает Пелипенко, изнутри постмодернизма (как и всякой новой парадигмы) плохо видится то, что совокупный культурный ландшафт определяется не одним постмодернизмом. Между тем прошлое не исчезает, а всегда образует с настоящим сложную амальгаму — и только поэтому полный крах рационально-иерархического мира нам не грозит.

Академик **Г. Заварзин** приспосабливает метафизику для нужд микробиологии (**«Метафизика реликтовых сообществ»** — «Вопросы философии»,

№ 12). Невеждам такая связь может показаться невероятной, а между тем специалистам в области актуалистической бактериальной палеонтологии метафизика помогает осмыслить накопленные знания, определить иерархический статус микроба в мироздании, а себя — в вечности. Истина в вещах познается через познание сущности вещи. Внимательный естествоиспытатель во всем наблюдает некую циклическую повторяемость — как сказано у Екклесиаста: *«Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было»*. Для осмысления этого универсального тезиса в микробиологии выработан принцип актуализма. Он предполагает, что цикличность заложена в саму природу творения. Ученый, наблюдая свойства явлений (в нашем случае жизнь микробов), ныне существующих, судит по ним об ушедшем в небытие прошлом и приближается к познанию будущего.

В своем интервью (**«Интегральные идеи в практическую жизнь»** — «Вопросы философии», № 11) пионер интегрального сознания философ и культуролог **К. Уилбер** объясняет, что его цель — интегрировать в одну всеобъемлющую модель все известные формы человеческого знания. Во всех мировых языках есть местоимения «я», «ты» и «оно», которыми, собственно, и измеряется вся окружающая нас действительность (так, прекрасное обитает в глазах «я»; этика, мораль имеют своим предметом «ты» (или «мы»)— измерение; объективная наука — область «оно». То есть измерения «я», «ты», «оно» отвечают за искусство, мораль и науку, т.е. за истину, добро и красоту). Каждое состояние сознания (медитативные, интуитивные, научные, художественно-творческие и т.д.) сообщает нечто важное о сущности действительности. Кроме того, каждое состояние сознания может рассматриваться и в некотором субъективном смысле — в понятиях эстетики, этики и науки. Таким образом возникает своего рода «географическая карта» умозрительных традиций человечества. Большинство современных научных дисциплин обладают плохими картами, и люди каждодневно разбиваются «в Альпах собственной глупости». Интегральный подход поможет избежать этого. Он, с одной стороны, радикально плюралистичен; с другой же стороны, он помещает «множество» в некую жесткую рамку, где оно детально оформляется и систематизируется. Такая рамка интегрирует, упорядочивает и обнаруживает, что, по сути, *все связано со всем*.

Дж. А.Миллер, известный как основатель американской когнитивной психологии, тоже интегрирует знания различных наук (**«Когнитивная революция с исторической точки зрения»** — «Вопросы психологии», № 6). Группа психологов, вдохновленная И.П. Павловым и его экспериментами над несчастной собакой, сделала психологию *наукой* о *поведении*. Перенесение собачьего опыта на человека превратило восприятие в различение, память — в научение, язык — в вербальное поведение, а интеллект — в измеряемое тестами черт знает что. В начале 1950-х годов Миллер понял, что считать психологию наукой о поведении — все равно, что физику наукой о показаниях приборов: ни человеческий язык, ни грамматические правила этого языка поведением считать нельзя, все это необходимо предполагает познавательные процессы. Когнитивная революция (или контрреволюция, если революцией считать открытия Павлова) вернула в психологию *сознание*. Начало зарождаться нечто междисциплинарное. Миллер предложил про-

ект, включающий шесть компонентов — как то: психология, лингвистика, нейронаука, компьютерная наука, антропология и философия. Схематически их можно было изобразить в виде вершин шестиугольника, диагонали внутри шестиугольника обозначали пятнадцать всевозможных дисциплинарных связей. Так, кибернетика моделирует свойства мозга (нейронаука); компьютерная наука и языкознание объединяются в рамках вычислительной лингвистики; лингвистика и психология соединяются в психолингвистике; антропология и нейронаука — в исследованиях эволюции мозга и так далее. Таким образом, осуществлялась идея единой когнитивной *науки, которая исследует сознание*, то есть то, как человеческий разум представляет мир и обрабатывает информацию, как его возможности структурно и функционально воплощаются в человеческом мозге.

Академик **В. Степин** указывает: цивилизация, развиваясь от традиционалистской к техногенной, меняла свои ценностные ориентации (**«Философия и поиск новых ценностей»** — «Вестник Российского философского общества», № 4). Традиционная цивилизация ориентировала человека на недеяние и гармонию микро- и макрокосмоса (человека и природы), техногенная — на деятельное противостояние природе, преображение и подчинение ее себе. К чему это привело, всем известно: назрели глобальный экологический и антропологический кризис, возникла реальная угроза гибели разумной жизни на земле. Степин возлагает надежды на цивилизационный синтез и смену системы ценностей, т.е. целей человеческой жизни и нравственных правил. Необходимо, считает он, оптимально и органически объединить достоинства техногенной и традиционной цивилизаций, усердно разрабатывать идеи новой этики и определять новые ценностные установки. Дело философов — сформулировать новые мировоззренческие универсалии, извлекая новые смыслы из современной науки, технологии, искусства, нравственности, политики и права. Сегодня это уже не абстрактная умозрительная задача, а насущная практическая потребность человечества.

В. Гасилин и **Л. Тягунова** считают виртуальную реальность местом нашего сегодняшнего бытия, не менее значимым, чем натуральная действительность (**«Виртуальная реальность философии»** — «Человек. История. Культура», № 4). Они пишут: философия всегда стремилась зафиксировать особое метафизическое пространство, отличное от эмпирического («истинное бытие», «мир идей»). Это-то пространство и обладает свойствами виртуальной реальности! Таковых свойств авторы находят несколько, — в частности, к таковым относится и интерактивность, ведь философия в обратимых причинно-следственных связях тесно взаимодействует с виртуальными реальностями мифа, религии, науки.

В. Келле демонстрирует нам частные достоинства интеллектуальной и духовной составляющей культуры (**«Интеллектуальная и духовная составляющие культуры»** — «Вопросы философии», № 10). Первая из них, указывает он, пестует знания и науку, позволяет человеку свободно ориентироваться в окружающем мире, создавать среду своего обитания, проектировать и строить материальную культуру, поддерживать собственное существование. Вторая, помимо главного своего богатства — религии, содержит также и многообразие смыслов мирского бытия (гуманистические, нравственные и эстетичес-

кие идеалы). Взаимодействие интеллектуального и духовного, которые создают свои структурные образования в рамках культуры, формирует ее целостность. От духовной культуры данного общества во многом зависит состояние культуры интеллектуальной (достаточно вспомнить гонения коммунистического режима на генетику и кибернетику). С другой стороны, духовная культура испытывает на себе влияние интеллектуальной, что тоже не всегда хорошо. Например, в наше время, когда интеллект своекорыстно нарушает устоявшееся равновесие природной (экология) и социальной (экономика) материи и покушается и на сокровища духа (на убеждение в существовании истины). Конечно, идеалом является гармония интеллектуального и духовного, но она трудно достижима. Философам в этом случае следует сохранять методологическую бдительность, не допускать смешения интеллектуального и духовного и строго блюсти их единство в своеобразии.

«Варварство как оборотная сторона цивилизации» — предмет статьи **Н. Мотрошиловой** («Вестник Российского философского общества», № 4). Определение варварства автор выводит из характеристики цивилизации: все, что присуще цивилизации, присуще и варварству, но с отрицательным знаком. Беда в том, что варварство — изнанка цивилизации. До сих пор человеческая история неизменно развивалась в форме господства и подчинения, т.е. цивилизаторские цели достигались варварскими средствами. Таков тип цивилизации, которой мы принадлежим, и, если она не обнаружит в себе способность устранить милитаристские, террористические, криминальные и другие насильственные формы господства и не научится находить согласие в толерантном диалоге, ее ждет погибель.

Вся суть диалога — в интервальном подходе, считают логики **Ф. Лазарев** и **С. Лебедев** (**«Проблемы истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход»** — «Вопросы философии», № 10). Как известно, всякая истина, относительна, т.е. всякое имеющее смысл высказывание может быть истинным лишь в *определенном интервале абстракции*. Вместе с тем интервальность означает не только относительность всякой истины, но ее абсолютность внутри интервала (а при расширении ракурса видения — и за его пределами). В социальном и гуманитарном знании (в отличие от естественно-научного) истина всегда «человечиной пахнет», т.е. мотивирована интересами, потребностями, ценностями, культурными установками. Все зависит от интервала, в котором действует мыслящий субъект. Не существует таких убеждений, философских доктрин, политических платформ, экономических моделей, которые были бы справедливы в неограниченном интервале. Поэтому следует быть терпимым к инакомыслию и пытаться максимально полно понять другую точку зрения. Инакомыслие — не отклонение от истины, а путь к ее глубинам. Признак мудрости — поиск разумного компромисса. Цель любого цивилизованного диалога — совместный поиск истины и выражение ее в общепринятых понятиях. Существуют определенные правила диалога, и они должны неукоснительно выполняться спорящими сторонами — так же, как и законы формальной логики в процессе рационального доказательства.

Столетию со дня рождения Ж.-П. Сартра посвящает ряд материалов «Новое литературное обозрение» (№ 76). **«Сартр — автор своего времени?»** — так назвал свою статью **Франсуа Нудельман**, пытающийся выяснить, каким

образом смертный человек становится воплощением текучей истории. Для Сартра вмешательство в дела окружающего мира было предметом и практики, и теории. После холокоста и всех ужасов Второй мировой войны им руководила потребность найти новое основание для человека, не верующего ни в Божье милосердие, ни в собственные природные достоинства. Это особое состояние мысли проявлялось у Сартра в желании воплотить в себе историю. Писатель непрестанно оглядывался на свой интеллектуальный, литературный и философский путь, стремясь объяснить его искривления, путаницу блужданий. Сартр изобрел новое отношение со временем: он стал автором (то есть творцом) своего времени. Он постоянно подводил итоги своих внутренних революций. Опережая критиков, регулярно признавал ущербность своих прежних трудов и подробно мотивировал их преодоление. Повороты, искривления, разрывы... В 1950-е годы он доказывал необходимость своего перехода от феноменологии к марксизму, от онтологии к антропологии, а в 1980 году решительно признавал неполноценность собственных работ и подвергал критике всю свою философию. Некоторые наблюдатели смеялись над «вечной молодостью» этого старика, который неизменно рад все начать заново. Но именно в этом, по мнению Нудельмана, и проявлялось фантастическое желание Сартра быть «автором своего времени», умирая и возрождаясь вместе с ним. Движение мысли Сартра, которая никогда ни на чем не останавливается и всегда делает ставку на небывалое, — дело рискованное. Но именно этот риск и делает его автором своего времени и нашим современником.

Сартр был непреклонным атеистом, ни в жизни, ни в творчестве уступок религии не делал и специального теоретического текста о сакральном не оставил, пишет **Сергей Зенкин** (**«Сартр и сакральное»** — «Новое литературное обозрение», № 76). Правда, сакральное у Сартра не совпадает с религиозным. Сакральное он обнаруживает в судьбе, в яростных силах природы. Сакральное выступает у него как главное препятствие осуществлению человеческой свободы («силы абсурда»). Отношение между сакральной силой и человеческой свободой образуют одну из важнейших тем в творчестве Сартра-писателя. Сакральное у него противостоит морали. По отношению к сакральному человек может совершить прегрешение, чреватое самыми пагубными последствиями, но, парадоксальным образом, это прегрешение будет иметь скорее «технический», чем этический характер. Оно совершается не по отношению к людям, а по отношению к внеличным силам. Свобода человека требует вырваться из-под власти сакрального. Сартр, указывает Зенкин, «гуманизирует» сакральное, но тем самым упрощает его. Однако литературные интуиции художника заходят дальше рациональных концепций, и сакральное сохраняет облик нерасшифрованной загадки.

Ужасающая категоричность смерти ставит перед нами вопрос о смысле жизни, напоминает **М. Клюзова** в статье **«Этика как апология жизни (от рационализма к экзистенциализму)»** («Вопросы философии», № 10). Издавна человечество бьется над его решением. По мысли Сократа, например, жизнь следует логически осознать, сделать проблемой разума, обобщить, систематизировать, довести до логического предела, потом превратить в долг (моральную обязанность) и возвести в степень всеобщего принципа. Оправдание жизни становится оправданием морали. Две с половиной тысячи

лет человечество, мыслящее в модусе западной традиции варьирует это решение с разной степенью изобретательности. Так, жизнь Сартра есть непрерывный путь к собственному смыслу, заключенному в этом пути и потому всегда незавершенному. Из этого следует, что человек, будучи проектом самого себя, суть совокупность своих поступков, складывающихся в целую жизнь, которая являет себя безграничной свободой и максимальной ответственностью за полноту собственного осуществления в ясном осознании неизбежной смерти. Клюзовой более других импонирует жизнеучение Л.Н. Толстого. Она преклоняется перед универсальностью логики, логической стройностью и экзистенциальной достоверностью его учения, которое замыкает нас в логическом круге: понимание подлинного смысла жизни есть одновременно ее необходимая предпосылка, способ существования и логический итог, ибо жизнь человеческая возможна только как жизнь в истине, а знание истины можно найти только жизнью. Как показывает Клюзова, этика — тот мост, который соединяет мышление с жизнью.

Статья **В. Знакова** посвящена **«Пониманию экзистенциального выбора: жизнь в страданиях или эвтаназия*»** («Вопросы психологии», № 6). Необходимость такого выбора возникает в ситуациях, имеющих фундаментальное значение. Например, в ситуации смертельного заболевания, когда встает вопрос о допустимости эвтаназии. В сегодняшней медицине различают две ее формы: активную (безболезненное умерщвление пациента врачом) и пассивную (отказ от жизнеподдерживающей терапии — выключение аппарата искусственного дыхания и т.п.). Пока ни врачи, ни юристы не пришли к единому мнению об оправданности эвтаназии. Исследования В. Знакова показали, что верующие считают эвтаназию грехом, полагая, что если Бог попустил болезненные страдания, то их следует вынести до конца. Испытуемые же, не верящие в бескорыстие ближних и не видящие в человеческом существовании особого смысла, допускают эвтаназию охотней, чем те, кто относится к ближним с доверием и находит, что в жизни есть смысл.

А. Неклесса в статье **«Поражение России»** («Россия — XXI», № 6) вычерчивает контуры грядущего, где Россия является, увы, пассивным объектом нового мирового порядка. Автор набрасывает несколько эскизов, в которых прорисовывается возрождение *гностической традиции* — «вечного спутника» и «темного двойника» христианства. Гностическая метафизика сводится к массовой гибели, тотальной деструкции, к уничтожению бремени земного бытия и темниц человеческого тела. Эту традицию покойный папа Иоанн Павел II назвал «культурой смерти». Дыхание «культуры смерти» ощущается в легитимизации эвтаназии, абортов, гомосексуальных браков, биоэкспериментов и технологий, направленных на сокращение населения Земли, и т.п. Но главная, так сказать, метафизическая суть «культуры смерти», указывает Неклесса, — экзистенциальная переориентация. До сих пор для большинства людей целью жизни были карьера, комфорт, деньги и власть, т.е. конструктивные формы существования. В культуре смерти вершиной карьеры становится амбициозная смерть. До сих пор культурные герои были упоены страстью социального творчества и миссией созидания, но дух рынка

* Благая смерть (*греч.*).

привел их к корыту всеобщего и всеядного потребления. Герои опозорены, но героическая энергия не угасла. В различных точках земли возникает новая порода людей, яростных и страстных. Они поют «гимн Чуме», славят деструкцию, но одновременно и трансформируют образ человеческого бытия (социальные практики). Речь идет о новом поколении, творящем новые социальные конструкции и новые формы «антропологической организованности». Именно инновационные «сверхгибкие организованности», словно споры, рождаются и распространяются сейчас на просторах от Нового Севера до Глубокого Юга. Это главная пружина перемен, новый постиндустриальный класс, творцы «глобальной социальной революции». Национальные государства пока сохраняются, но их пригодность для глобализирующегося мира сомнительна. Над прежними субъектами международных отношений выстраивается другой мир — «вселенский Олимп и турбулентная среда Новой Лапутании или Нового Карфагена», образуются «экзотические альянсы» и «химерические союзы», руководимые анонимами. Эти неопознанные фигуры — представители нового интеллектуального класса, от которого зависит судьба планеты. В России, где нет и следов «смыслового строительства», Неклесса не обнаруживает никаких признаков присутствия этого нового класса с его новой метафизикой. Мы живем величием прошлого. В грозный час, для оправдания России перед Господом, у нас не найдется нужного числа праведников. Неклесса не мог сыскать их даже в Интернете.

В бездны грядущих перемен пытается заглянуть и **Н. Гуревич («Глобализация и человеческая натура»** — «Слово/Word», № 48/49). По его наблюдениям, критики социализма особенно были удручены тем, что эта формация никак несовместима с «человеческой природой», ибо человек по своей природе индивидуалистичен и в большинстве случаев движим соображениями личной выгоды. Для соответствия благам социализма нужно было изменить человеческую натуру, вывести «нового человека». Капитализм, напротив, соответствует природе, которая требует свободы и разнообразия в проявлении наших способностей и склонностей. Люди в большинстве случаев выбирают профессию или род деятельности, более-менее соответствующие их врожденной предрасположенности. И разделение труда как наиболее эффективное изобретение капиталистической системы производства давало возможность свободному проявлению этого свойства нашей натуры. Принципиально важным в этом случае было то, что разделение труда происходило в границах одного социума, в пределах одной страны. Это «внутреннее разделение» соответствовало человеческой природе и шло на пользу обществу (государству). Увы, благополучие индустриальной стадии капитализма кончается, когда он переходит к стадии глобализации. Глобализация предполагает «внешнее» разделение труда, то есть одни страны (невидимой рукой рынка) назначаются на роль главных поставщиков ресурсов, другие становятся производителями определенных товаров, третьим достается предоставление финансовых услуг, а иные остаются и вовсе бесполезными. Это фундаментальное «внешнее» разделение труда между странами находится в прямом конфликте с «внутренним». Трудно предположить, куда могут направить свои силы и способности квалифицированные труженики развитых стран, если основное производство будет перенесено

в страны с дешевой рабочей силой. Безделье миллионов образованных и трудоспособных людей, полагает Гуревич, способно привести к развитию хронических депрессий, психических заболеваний, умножению хаоса и прочим несчастьям. Самое время подумать и о такой безделице, которую упустили из виду в суете экономического развития, как счастье. Ведь главным источником его является реализация индивидуумом своего потенциала, исполнение своего предназначения. У Екклесиаста говорится: «*увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это — доля его*». Глобализация же лишает миллионы мужчин и женщин возможности обрести счастье в труде. Оставшись без дела, лучшие и умнейшие из массы «огорченных», начнут выдумывать всякие нигилистические теории, ведущие к кровавым бунтам и революциям. А это — игра с огнем! Одно ясно: человеческая история приводится в движение не производительными силами, а беспрестанным стремлением человека к счастью и исполнению своего призвания. Быть может, мечта — от каждого по способностям, каждому по потребностям (не по желаниям) и не лишена смысла и мы напрасно отказались от коммунистических упований.

Р. Шеховцев («Синергетические основания коммуникативных игр в массовой культуре XXI века» — «Человек. История. Культура», № 4) предлагает нам взглянуть на современную культуру как на всеохватывающую и разнообразную игру. И вправду, что наша жизнь, как не игра? Игра как мировоззрение, миропонимание эвристический метод, игра как форма всей социальной жизни, всех общественных отношений и связей, всё — коммуникативная игра. Не зря даже в языке преобладает языковая терминология: «роли распределены неправильно», «к власти пришла новая команда» и проч. Любой милитаризм и терроризм используют игровое начало в человеке. Жизнь — схватка, борьба, игра со смертью. В коммуникативных играх XX века соперничают слух и зрение, «слово» и «глаз». Игровые практики массовой культуры предпочитают «глаз» — визуальные действа, индустрию зрелищ. Казалось бы, человечество переживает игровой (культурный) ренессанс, но суть в том, что игра деградирует. Она служит коммерческим и политическим, а отнюдь не духовным целям. Даже спорт превратился в способ выяснения политических и национальных претензий, в научно и технически организованный азарт, в коммерческое предприятие. Есть ли оправдание у этой бесконечной игры? Можно ли в ней различить «оправданное» и «неприемлемое»? Вопрос остается открытым.

Т. Абанкина смотрит на проблемы культуры с экономической стороны **(«Экономика желаний в современной "цивилизации досуга"»** — «Отечественные записки», № 4). В современном обществе культура превратилась в мощную индустрию услуг и поэтому обретает приоритет в стратегических планах экономики. Без помпы произошло чрезвычайное событие — рождение «*цивилизации досуга*». Досуг превратился в пространство творческой самореализации личности. Начинают развиваться «творческие индустрии», включая культурное богатство в экономический оборот. Изменяется отношение к роли и функциям организаций культуры. Просветительская модель культуры сменяется так называемой *гедонистической концепцией*, согласно которой культура должна доставлять удовольствие, развлекать и успокаивать. Общение с «пре-

красным» должно радовать людей, давать им позитивные эмоциональные переживания и новые впечатления. Главное в досуге — раскрепощение творческой энергии. Изменяются мотивации потребительского поведения в сфере культуры, формируется аудитория нового типа, размывается граница между элитарной и массовой культурой, развивается экономика желаний. Ее идеология направлена на нравственное оправдание жизни во имя удовольствия («культура для удовольствия», «работа для удовольствия», «жизнь для удовольствия»). Товары и услуги в экономике желаний отнюдь не служат удовлетворению естественных потребностей, они формируют искусственные желания, навязанные обществом потребления. Рост благосостояния возбуждает в человеке потребность, чтобы кто-нибудь занимался удовлетворением его желаний. Экономика желаний развивается за счет эксплуатации этой потребности. Наибольшим спросом пользуются те товары и услуги, которые становятся знаком определенного жизненного стиля, принадлежности к той или иной социальной группе, т.е. необходимым элементом идентификации. Отказ от потребности в товаре или услуге такого рода равноценен отшельничеству. Экономика желаний строится на универсализации любого желания, даже самого интимного, и это приводит к абсурду: культурные продукты апеллируют к инстинкту солидарности, а используются, чтобы отличаться от других, предоставляя каждому уникальную возможность быть как все. Конкретные товары и услуги сферы культуры превращаются в символы жизненного стиля. Хотя экономика желаний часто дезориентирует культурного потребителя, конвертируя его желания в деньги, она способна превратить и подлинную культуру в желанную и востребованную. Итак, экономика желаний, культура и творческая индустрия обуславливают существования друг друга, способствуют взаимному развитию, и над всем этим носится лукавый дух денег.

Т. Коуэн («Похвала коммерческой культуре: культурный пессимизм и культурный оптимизм» — «Отечественные записки», № 4) рассматривает мнения о современных взаимоотношениях рынка и культуры. Тех, кто считает, что рыночная экономика губит культуру, а таких большинство, он называет пессимистами. Оптимистов значительно меньше, но похоже, что автор на их стороне. Он пишет: капитализм создает национальное богатство, позволяющее художнику материально обеспечить себя своим творчеством. Растущий уровень благосостояния и комфорта освободил людей творчества от утомительного физического труда и дал им возможность существовать в «свободном полете». Способность богатства удовлетворять основные физические потребности возвышает наши цели и стимулирует эстетические запросы. Парадоксально, но рыночная экономика упрочивает независимость художника от потребителей культуры. Капитализм создает альтернативные источники финансирования, позволяя художникам вкладывать средства в обучение, браться за долгосрочные проекты, жить в соответствии с логикой выбранного ими вида и направления искусства. Конечно, рынки искусства нередко оказываются неспособными оценить по достоинству великих творцов, но процветающая экономика обладает в целом куда большим иммунитетом против подобных ошибок. Она предоставляет художникам больший выбор источников потенциального спонсорства (частные фонды, университеты, наследства, субсидии богатых родственников и т.д.).

Богатство и финансовая независимость позволяют художнику не считаться с общепринятыми ценностями. Артистическая богема, авангардисты и проч. — порождение капитализма. Именно они открыли в современном мире горизонты свободы и художественной изобретательности. Ведь деньги как общепринятое средство обмена служат множеству целей, которые не обязательно связаны с жаждой наживы или приобретением материальных благ.

А. Дугин знакомит читателей с новой американской военной концепцией — моделью военной стратегии в условиях постмодерна (**«Сетецентричные войны»** — «Вестник аналитики», № 4). Интернет, с точки зрения военной, одновременно включает в себя составляющие, которые ранее рассматривались строго раздельно: боевые единицы, система связи, информационное обеспечение операций, формирование общественного мнения, дипломатические шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, этнопсихология, религиозная и коллективная психология, экономическое обеспечение, академическая наука, технические инновации и т.д. Смысл военной реформы, которую проводят в США в рамках «новой теории войны», пишет Дугин, состоит в одном: создать мощную и всеобъемлющую сеть, которая концептуально заменит собой ранее существовавшие модели и концепции военной стратегии, интегрирует их в единую систему. Центральной задачей сетевых войн является проведение *операций базовых эффектов* (ОБЭ), т.е. заведомое установление полного контроля над всеми участниками, действительными и предполагаемыми, и тотальное манипулирование ими во всех ситуациях. Это означает установление контроля над мировым историческим процессом. Контроль обеспечивает всеобщую осведомленность, предполагающую глубокое сенсорное проникновение. Последнее достигается широким распространением датчиков информации как в районах боевых действий, так и вне их. Согласно теории сетецентричных войн, указывает Дугин, современные конфликты развертываются в четырех смежных областях: физической (традиционная область войны, в которой происходит столкновение враждующих сил во времени и пространстве), информационной (системы передачи информации), когнитивной (сознание бойца) и социальной (поле взаимодействия людей, где преобладают исторические, культурные, религиозные ценности, психологические установки, этнические особенности). Война информационной эпохи основана на сознательной интеграции всех четырех областей. Дугин убежден, что сетецентричная война против России уже ведется. Сегменты американской глобалистской сети беспрепятственно пронизывают все российское общество — от квартиры простого телезрителя до Кремля. Сегментами этой глобалистской сети выступает прямое проамериканское лобби экспертов, политологов, аналитиков, технологов, окружающих власть плотным кольцом. Многочисленные американские фонды активно действуют, подключая к своей сети интеллектуальную элиту. Единственно достойным ответом со стороны России могла бы быть разработка симметричной сетевой стратегии с параллельным и стремительным апгрейдом (модернизацией) отдельных сторон деятельности государства (управление, спецслужбы, академическая наука, технопарки, информационная сфера).

Обзор подготовил Александр Денискин

Геннадий РОССОШ

ПЕГИЙ МЕРИН И КРАСНОГРИВЫЙ ЖЕРЕБЕНОК

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

> ...Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.
>
> ...Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов... звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу... Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза...
>
> *И. Бабель. Конармия*

«Раздавались звуки копыт об его худые бока»

Основой и каркасом стиля «Холстомера» послужил неуловимо загадочный, и раньше не раз использованный Толстым, художественный прием, который поименован был позднее (в двадцатом веке) как *остра́нение*. Если в других произведениях, допустим в «Войне и мире», прием этот, даже неся серьезную идейно-стилистическую нагрузку, остается на вторых и еще более отдаленных планах, то в «Холстомере» *остра́нение* внедрено в структуру всего замысла, употреблено в наиболее крайнем, самом чистом своем выражении. Центровая фигура повести — существо натурального мыслительно-психологического уровня, подневольное, но не закабаленное общественными предрассудками и условностями (как закрепощены люди, особенно — господа). Через судьбу пегого мерина Холстомера — и, во многом, сквозь его восприятие — читатель погружается в область *человекоидных* состояний и отношений. Но при этом не происходит раздвоенности художественной ткани — благодаря незримому присутствию автора, избранной им позиции. Он словно бы совпадает со своим героем, «сделавшись лошадью» (как Тургенев однажды заметил Толстому) и не перестав быть человеком. Эта повесть — не сказка, не басня, не аллегория и, наконец, не паро-

Геннадий РОССОШ — родился в 1937 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Автор многих публикаций в периодике, в альманахах, а также книг «Сильвестрова находка», «Воображаемый диалог с Ф.М. Достоевским», «Письма о нравственности, здравом смысле, пролитии крови и коровьем мычании», «Летучий Голландец». Живет в Москве. Публикуется журнальный вариант статьи.

дия на человека или человеческую стадность. Вполне очевидно здесь наличие неких аналогий, знаковой переклички человеческих и животных реалий, но читатель призван употребить свою фантазию не на банальную подмену, а на то, чтобы, воспринимая переживания лошади именно как переживания лошади, исподволь переключать это восприятие также на уровень человеческих реакций, эмоций, чувств.

Толстому до такой степени были чужды любые отступления от форм взаправдашней жизни, что в «Холстомере» даже заведомо условную форму (лошадь думает, говорит и т.п.) он наполняет самым что ни есть реальным содержанием. И делает это без тени притворства, без игры в наивность, так что этому не просто веришь — разделяешь убежденность автора в свободной, ничем не диктуемой правде изображения. Впрочем, если учесть особенности толстовской философии природы, в «Холстомере» не так уж и много того, что называют фантастическим элементом. Менее всего прием *остра́нения* был для Толстого условностью, так же как менее всего эта безусловность была для него приемом. Человек обращается к лошади, пользуясь своим человеческим языком («Но-о! успеешь! проголодались!», «Куда?» «Балуй!» и т.п.) — в этом нет ничего искусственного. А отвечает ли лошадь человеческим языком? Нет. Этого в повести нет. Лошади изъясняются только между собой, а писатель лишь берет на себя смелость *переводить* для читателя их разговоры и мысли. Хорошо охарактеризовал толстовское *остра́нение* В.В. Вересаев: «Как будто внимательный, всё подмечающий ребенок смотрит на явление, описывает его... просто так, как оно есть, и с явления сваливаются эти привычные, гипнотизировавшие нас условности»...

Толстовское *остра́нение* — стилевой прием насыщенного идеологического свойства. Кто-то из критиков видел в нем выражение народного, «мужицкого» самосознания, для других это был способ «срыванья всех и всяческих масок». Для самого же Толстого в этом взгляде на вещи (кажущемся кое-кому до смешного «примитивным», «лубочным») — истина самой высокой пробы, единственно достойный способ и образ жизни, суть и соль мировосприятия. «С некоторого времени, — записал Толстой в дневнике 20 марта 1858 года, — всякий вопрос для меня принимает громадные размеры... Теперь при каждом новом предмете и обстоятельстве я, кроме условий самого предмета и обстоятельства, невольно ищу его место в вечном и бесконечном, в истории». Образное воплощение философски осмысленных *вечных тем* мы находим и в «Холстомере». Жизнь и смерть, любовь, возрастные особенности и различия, прекрасное и уродливое — всё это так или иначе преломляется в повести. Причем, если вспомнить, что время работы над первой версией совпало для Толстого с захватывающе-многосложной порой семейного мироустройства, становится очевидным один из источников обостренного лирического звучания многих мотивов «Холстомера».

«Убей, загони меня... я тем буду счастливее»

Две сюжетные линии «Холстомера» (пегий мерин и его прежний владелец, некогда блистательный гусарский офицер, кумир: «Убей, загони меня... я тем буду счастливее») — эти линии не стянуты в какой-либо узел; они со-

ставляют параллель. Параллелизм — самое, пожалуй, общее выражение композиционного формата повести; это целый комплекс — либо противовесов (контраст, антитеза), либо соответствий (подобие, тождество), а нередко и причудливых совмещений, гибридов антитезы и тождества. Толстой считал сравнение предметов, явлений, событий, качеств «одним из естественнейших и действительнейших средств для описания», широко пользовался им не просто как языковым приемом выразительности, но и как инструментом глубоко обобщенного структурного сопоставления. *Война — Мир*, *Левин — Анна*, *Барыня — Мужик — Дерево*: эти линии могут у Толстого развиваться почти независимо одна от другой, но лишь во взаимодействии выявляют изначальную волю автора.

Толстой ввел антитезу не только между Холстомером и Серпуховским, между Холстомером и другими лошадьми, между Серпуховским и молодым коннозаводчиком. Самые неожиданные, самые разные, как по оформлению, так и по существу, сопоставления, противостояния либо соседствуют в повести одна с другой, либо накладываются одна на другую — самым причудливым и непринужденным образом. Антитеза и тождество (со всеми их ответвлениями) — не только двойная структурная опора повести. Оппозиции, диссонансы, отрицательные ассоциации — равно как и совпадения, соответствия, созвучия — проникают чуть ли не во все клеточки ее ткани, как раз и производя столь редкостное, неотразимое впечатление органической целостности. Рассмотрим весьма характерное, *временно́е* сопоставление князя Серпуховского с тем, *что́* он был прежде.

«...Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. *Теперь* он опустился, видимо, физически и морально и денежно... Он начинал уже попивать, т.е. хмелеть от вина, чего *прежде* с ним не бывало. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, *недавно* пришло к нему, потому что видно было, что он *долго* привык всю жизнь никого и ничего не бояться». И далее: «То я содержал, то (теперь. — *Г.Р.)* меня содержат»... Такой, вводимый от автора или же самим князем *диахронный контраст* варьируется и дополняется уже сложившимся у читателя (из монолога Холстомера) представлением о князе, так что нам довольно увидеть теперь, как «он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было», чтобы вспомнить тотчас: в лучшие времена «он только смеялся, показывая свои белые зубы». Князь сопоставлен с самим собой не просто в безостановочном течении *времени*; то, что являл собой князь прежде, в чем-то *пространственно* как бы сдублировано в нынешнем хозяине коннозавода, у которого князь гостит. Беседуя между собой, эти *антиподы-двойники* рельефно, живописно, даже забавно оттеняют и дополняют один другого. Причем теперешний, печального образа князь словно бы олицетворяет собой то, что, скорей всего, ожидает в будущем нынешнего, самодовольного и преуспевающего коннозаводчика.

Очень важно в этом нашем разговоре подчеркнуть: невзирая на то, что *остр*А*нение*, *параллелизм* — коренные, излюбленные звенья в цепочке внедряемых здесь Толстым стилевых алгоритмов, — в общем и целом система средств выразительности в «Холстомере» пиршественно многолика, отли-

чаясь вместе с тем тончайшей, неброской гравировкой языка, интонаций, сюжетно-композиционного рисунка.

«Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им всё равно» — эта фраза с первой же страницы повести привносит в полифонию текста человеческие нотки. Теперь для читателя уже не сюрприз — узнать при знакомстве с пегим мерином, что «выражение его было серьезно и задумчиво», а несколько ниже будет сказано о нем совсем по-человечески: «Выражение *лица* было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое». С каждой новой строкой *людское* в Холстомере становится всё более настоятельным: и в том, что он «тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся», и в том, что в ответ на Нестерово «Что вздыхаешь?» взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер»; но при этом Толстой не забывает собственно лошадиной основы материала, и возникает удивительно впечатляющая, иногда с оттенками юмора, спаянность *чистопородной* характеристики в изображении лошади с черточками человеческой психики и поведения: «Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом», «Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие» и т.д. При развертывании панорамы обыкновенной жизни конского двора, при показе конкретных судеб обитателей варка, с вкраплением специфичных поз и движений («Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины...»), повествование уверенно выводится на вольный простор художественной условности, где лошадь как ни в чем не бывало *соображает*, *тоскует*, *вспоминает*, *любуется*, *терпит*, *огрызается*...

Здесь есть резон высказаться насчет имени героя повести. Тем более что имя это оказалось заглавным. Заглавие произведения и в особенности заглавное имя — особое художественное средство, первейший элемент композиции. *Холстомер* — с чего взялась такая кличка? Ведь вначале фигурировал *Хлыстомер*. Можно понять предпочтение Толстого: *хлыст*, взятый за основу имени, чересчур лобово демонстрировал бы страдальческую долю лошади. Почему же именно *Холстомер*? Специалисты выдвигали по этому поводу не одну догадку. Склонялись в том числе и к экзотическому сравнению рекордного забега знаменитого орловского рысака (двести сажен в тридцать секунд) с *замером холста*. В тексте есть на сей счет фраза князя: «Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет». Более убедительной, сдается нам, выглядит вот какая, совсем простая (вроде бы нигде не фигурирующая) трактовка. *Холстомер* как бы заключает в себе двойное клеймо: *холст* в значении «холостой», «холощеный», а *мер* — просто редуцированное слово *мерин*. (Кстати, ведь и сам по себе мерин — это, собственно говоря, редуцированный конь.) И, если уж проводить параллели до упора, — низко падшему в конце жизни князю Серпуховскому, каким вывел его Толстой, тоже к лицу это двойное клеймо: *холощеный* и *мерин* (конечно же, в переносном, расширительном смысле). Так что название повести может быть обращено подспудно к обоим, не отделимым друг от друга персонажам.

В пользу *Холстомера* мы вправе выдвинуть еще парочку совсем уж маргинальных доводов. Один — фонетический: кличка эта словно невзначай сближает героя повести с автором, его теперь можно величать *Толстоме-*

ром. Второй — семантический: *Холстомер* — не просто мера холста, но и мера художественной ткани особого свойства, в основе которой — холст как «сермяжная правда», холст, обтягивающий «подрамник» произведения, образуя его форму и качественную фактуру...

«...в самых нелепых и иногда грубых формах»

Красная линия, лейтмотив жизненного пути и творческой страды Толстого, со всеми его метаниями, с маргинальными вызовами обществу, официальной церкви, государственной элите, с нелицеприятными тычками чуть ли не по носу многим корифеям мировой культуры, — линия эта проходит через *историю лошади* точно так же, как и сквозь его романистику. Иными словами, повесть эта, при всей своей особости, служит органичным звеном в цепи толстовских исканий. И в то же время, если допустить в поисковом спектре Толстого наличие сквозной (в жизни и в творчестве) сверхидеи, — нетрудно будет убедиться: «Холстомер» стал для него чем-то вроде пробного камня, в некотором смысле личным *символом веры*, вобравшим в себя квинтэссенцию его жизненных упований.

Уже с самых ранних литературных проб Толстого можно проследить, как всё отчетливей, с нарастающим эмоциональным накалом, проявляются ведущие, эстафетные мотивы и акценты его пафоса. А если конкретней: взять хотя бы хрестоматийную автобиографическую его трилогию, или «Три смерти», или «Люцерн», или же «Двух гусаров», «Казаков» (перечень можно запросто продолжить и расширить) — всюду здесь, как и впоследствии практически во всех повестях, романах (с поправкой, разумеется, на всевозможные *романические комплексы*), не исключая и других, разноплановых работ, высвечивается один «генеральный» вектор — либо выведенный наружу, либо залегающий подспудно, даже подчас не контролируемый авторской волей. Он, этот вектор, несет в себе предельно простую триаду: **детство — естество — искренность**. Всё прочее — вторично. Следуя неотвратимой правде бытия, Толстой вскрывает многие черные дыры реальности, но вместе с тем словно бы расставляет в этих вроде бы непроглядных тоннелях особые *маячки*, призванные служить если не путеводными ориентирами, то как минимум моральными стимуляторами, вселяя в нас дух наивного жизнелюбия, заземленную жажду радости, света, воли. Они очень разные, эти *маячки*, зачастую не без изъянов, зато неизменно вызывают у нас симпатию, расположение, сердечное сочувствие. Таковы в «Казаках» Марьяна, Ерошка, Лукашка; такова Лиза Зайцова («Два гусара»), «всегда веселая, добродушная и деятельная хозяйка в доме», с великим нетерпением жаждущая первой любви, лелея чувственные мечты «в самых нелепых и иногда грубых формах», причем в ней «так и светилось неиспорченное умом доброе, прямое сердце»; таковы Тихон и Маланья (в одноименном рассказе) — замечательно красивая, статная крестьянская чета, ненасытная как в работе, так и во всех житейских усладах...

Но Толстой не был бы Толстым, не представь он нам, всей силой дарованного ему сверхзрения (по словам Шкловского, «орудие толстовского анализа — микроскоп, который он наводит на тайны человеческой души»), нависшую над нами нешуточную угрозу. Отрыв от кормилицы-земли, от

природы земной, всевластие мишурных ценностей, сомнительных научных знаний, сословных и прочих гордынь, вопиющие социальные бездны, эпидемия лжи, цинизма, агрессии, стяжательства, разврата, растления — вот в чем состоят, по Толстому, *завоевания* человека и человечества. Автор «Холстомера» не мог не провидеть последствия такой ситуации, не мог не сознавать: *Homo sapiens* стоит на тупиковом пути самовозвеличения, амбициозных заблуждений, неизбежно ведущих к всеобщим ксенофобиям и конфронтациям, нескончаемым истребительным войнам, в атмосфере свального грехопадения и безбожия (либо же, навыворот, ханжеского благочестия и религиозного фанатизма). Чем отчетливей виделось ему нарастание и нависание столь безутешной перспективы, тем острей, горячей будоражилось в его сердце заветное, спасительное *детство человечества*: первозданная, несравненной красоты мать-природа, плодовитая земля и населяющие ее твари, простой и нелегкий физический труд, естественные взаимоотношения и влечения, свободная работа ума и души, самоусовершенствование плоти и духа, истинная любовь, настоящая вера...

Всю жизнь, до последнего вздоха, Толстой (если вглядеться в него вполне *остра́ненно*) был истинный поэт, сущий ребенок. Викентию Вересаеву, побывавшему в Ясной Поляне в августе 1903 года, был уготован сюрприз: величайший знаток души человеческой понятия не имеет о том, что такое *трагизм*.

«...Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренне хочет понять этот самый "трагизм", выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

...Само же слово "трагизм", видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом...»

Причем, по наблюдению Вересаева, «ничего в Толстом не было от Христа, от Франциска Ассизского, от князя Мышкина, от репинского портрета» (где писатель стоит «босой, засунув руки за пояс, с таким кротким, "непротивленческим" лицом») — он более чем трезво, с уникальной проницательностью и скептицизмом взирал на дела человеческие. Так, на полном серьезе, даже в 80-летнем возрасте, не отказывал себе в удовольствии погладить против шерсти ученую братию, «просвещенных» мужей, науку, как таковую. В дневниковых его записях (ноябрь 1909 г.) читаем о Горьком: «...рабское уважение перед наукой... отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений, и вместе с тем поддерживаемая нашим "образованным" миром, который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир». А вот запись 7 августа 1910 года: «Короленку пригласил походить со мной утром, и хорошо поговорили. Он умен, но под суеверием науки». Едко и негодующе, вспоминает Вересаев, высказался Толстой о книге «Этюды оптимизма», написанной почетным академиком И.И. Мечниковым (спустя несколько лет его удостоят Нобелевской премии): «Мечников хочет... исправить природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно!»...

Горестно, разочарованно записал Толстой 25 октября 1909 года: «То, что должно бы быть основою всех знаний, если не единственным предметом знания, — учение нравственности — стало для некоторых не лишенным интереса предметом, для большинства "образованных" — ненужной фан-

тазией отсталых, необразованных людей». Между тем *отсталый* этот ниспровергатель академиков и академий, как свидетельствует Вересаев, отнюдь не прочь был — ради шутки, озорства — прибегнуть к столь подозрительным для него достижениям наук и технологий.

«...Последние годы совместной жизни своей со Львом Николаевичем Софья Андреевна Толстая томилась от бездействия и не знала, к чему приложить силы. Т.Л. Сухотина-Толстая рассказывала, что Толстой говаривал:

— Нужно бы для Сони сделать резинового ребеночка, чтобы он никогда не вырастал и чтобы у него всегда был понос...»

Он не отводил взгляд при встрече с немилосердной действительностью; напротив: впивался немигаючи в самые темные ее глубины. Бок о бок с персонажами, сюжетами, коллизиями своих произведений искал спасительный исход из обступавшего его и день ото дня сжимавшегося круга вопросов — сиюминутных или же вневременных, волнующих всех нас сообща и каждого порознь. «Холстомер» в этом смысле — достаточно умеренная история; ее драматизм лежит в несколько ином срезе по сравнению с наиболее радикальными толстовскими «вскрытиями». *История лошади* пробирает нас как-то на свой, бесподобный лад. Не зря же — в ответ на «глупое, слабое, старческое ржание» *пегаша* — на просторах русской литературы разнеслись, словно перекаты эха, по сей день не смолкающие отклики и отголоски.

Прежде чем выслушать некоторые из этих «перекатов», обратимся на минутку к предыстории «Холстомера». 31 мая 1856 года Толстой пометил в дневнике: «Хочется писать историю лошади». Здесь же — запись о поездке к Тургеневу в Спасское, о прогулке и беседе с ним. Тургенев позднее вспоминал (по свидетельству С.Н. Кривенко), как недалеко от усадьбы они увидели старую лошадь самого жалкого и измученного вида. «Подошли мы к ней — к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и между прочим приговаривать — что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать... Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: "Послушайте, Лев Николаевич, вы когда-нибудь были лошадью"». А спустя двадцать лет, в ноябре 1876 года, Эдмон де Гонкур сделал прелюбопытную запись: «Возвращаясь по улице Клиши, Тургенев поверяет мне замыслы будущих повестей, которые терзают сейчас его мозг; в одной из них он передаст ощущения какого-нибудь животного, скажем, старой лошади в степи, где она по грудь утопает в высокой траве». До выхода в свет толстовской *истории лошади* еще оставалось без малого десятилетие, и вообще — Тургенев и знать не знал о существовании Холстомера (или Хлыстомера), хотя бы и в рукописи. Выходит так, что импульс, которым Тургенев поделился с Гонкуром, был навеян, скорей всего, стародавним воспоминанием о том удивительном устном экспромте — настолько впечатляющим и заразительным оказалось первичное толстовское *вхождение в роль*, когда еще не написано было ни строчки.

А.П. Чехов в письме к двоюродному брату советовал: «Пока живешь у нас, почитай Толстого... Найди рассказы "Казаки", "Холстомер", "Поликушка". Очень интересно». Через некоторое время, уже после поездки на Сахалин, он писал Суворину по поводу злополучного послесловия Толстого к его «Крейцеровой сонате»: «Черт бы побрал философию великих мира сего!..

Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из "Холстомера"». Неявный, но все же различимый отклик прощальному ржанию той *кобылки* слышится также в чеховской проникновенной миниатюре «Тоска», увидевшей свет почти в одно время с «Холстомером» (между прочим, Толстой причислил «Тоску» к *первому сорту* произведений Чехова). Извозчик Иона Потапов, изнывающий от свалившегося на него горя — неделю назад у него умер единственный сын, — лишь в лошаденке своей, столь же жалкой и одинокой, как он сам, тоже оторванной от плуга и брошенной «сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей», находит сочувственное внимание; они словно бы становятся единым целым. «Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина... Иона увлекается и рассказывает ей всё».

А.И. Куприн написал свою историю лошади — рассказ «Изумруд», с посвящением «памяти несравненного пегого рысака Холстомера». Фактически это был знак личного уважения и почтения к самому Толстому, поскольку рассказ был написан еще при жизни автора «Холстомера».

Не остался незамеченным *пегаш* и для И.А. Бунина. Прошедший, как и Чехов, через влияние идей Толстого, Бунин в течение всей жизни возвращался к этим идеям, размышлял о судьбе и личности Льва Николаевича (кстати, в ранней молодости ему довелось встречаться и беседовать с ним), называл его своим богом. Примечателен такой факт: в бунинской повести «Деревня» можно найти ряд описаний, демонстративно перекликающихся с «Холстомером» (как если бы молодой классик вздумал посостязаться в мастерстве со своим учителем): «...он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким, нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила...», «В саду, на белоснежном покрове поляны, краснела кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег».

Далее... Холстомер, безо всякой робости, лишь сохраняя на всякий случай инкогнито, шагнул из своего 19-го века в 20-й и вдруг обозначился в необыкновенных стихах — лошадью, которая, оскользнувшись, рухнула на Кузнецком мосту, силится подняться, ей до слез обидно слышать улюлюканье праздной толпы, что сгрудилась вокруг, а какой-то громадина-поэт, в огнецветной кофте, вдруг возник со своим громоподобным басом, нашел для лошадки трогательные слова:

Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь...

Чуть позднее Холстомер обернулся «красногривым жеребенком» — в столь же проникновенных стихах другого поэта (о нем у нас речь впереди).

Возвращаясь вновь и вновь к вопросу о том, чем все-таки маленькая эта, не ахти какая «завлекательная», *история лошади* завораживает и чарует нас уже столько десятилетий, — трудно отделаться от ощущения, что в составляемом нами «рецепте» ее нетленности недостает каких-то решающих специй...

«Что ты ржешь, мой конь ретивый?»

Со стороны Толстого нет ни малейшей попытки фетишизировать Холстомера, так или иначе сакрализовать его образ, но это вовсе не снимает (а, возможно, еще более усиливает) символико-мифологический *подтекст* повести. Всесторонне трактуя его звучание, мы как-то тушуемся и робеем перед потребностью избавиться от привычных шор «здравомыслия», делаем вид, будто можем обойтись без заглядывания в область непостижимых, недоказуемых, трансцендентных явлений.

История эта, рассказанная «от лица лошади» человеческим голосом, достигает нашего слуха словно бы на языке *подлинника*, коим, если верить Толстому, изъясняется всё живое. Чтобы воспринимать этот виртуальный язык, надо уметь различать кодовый сигнал естества — на фоне несмолкающего цокота скрипучих карет по булыжным мостовым, монотонного шума станков и машин, в хаотичном бурлении карьерно-политических страстей, перемежаемых в дни войны оглушительной пальбой, а в дни мира — всеобщей душевной смутой.

На пегого мерина Холстомера падает отсвет нашего общего, исторически (даже доисторически) возникшего отношения к лошади, как таковой. Она — исконный спутник, соратник, опора, верный и надежный друг, или, как выражались в старину, наперсник человека. Впрочем, если бы только это. Ведь и коровка-буренка, поилица-кормилица, незаменима в нашей жизни. И собака! Почему ж это на лошади свет клином сошелся? С чего бы своенравным нашим классикам, супервзыскательным, прожженным скептикам, таким как вышеприведенные Чехов, Бунин, Куприн, Маяковский, Есенин, — с чего бы им приглянулась, и запомнилась, и аукнулась эта повесть? В ней, право же, нет ничего сенсационного, один лишь злосчастный *пегаш*, уж не тут ли изюминка? Да и пусть изюминка — ну и что?! Изюминок мало ли в русском пироге?

В том-то и дело, в том и суть: за Холстомером тянется, помимо всего прочего, еще и вековечный шлейф совсем иной природы — некие пиктограммы иррациональной, запредельной символики. Толстому и незачем акцентировать на этом свое внимание, это маячит подспудно само собой, однако же только гений способен провести свою линию так, чтобы тот проблесковый свет не был невзначай заслонён, проигнорирован. Лошадь как знаковая эпохальная веха, как ипостась рока — вот *подтекст* Холстомера. Прапамять нашей планеты, ее мистика такова: лошадь несет в себе формулу судьбы *Homo sapiens*, его сознания и фантасмагорий, его душевной маеты. Поэтому с незапамятных времен лошадь неотрывна от всадника; отсюда в одних мифах рождался прямо-таки гибрид — *Кентавр*, горно-лесной демон, винолюбец, спутник Вакха, а в других — *Пегас*, крылатый конь Зевса, извлекший ударом копыта струю чудесного источника, дарящего вдохнове-

ние истинным, «оседлавшим» его поэтам. Вот и скульптурные памятники: Петр Великий в городе на Неве, Богдан Хмельницкий в Киеве, Юрий Долгорукий в Москве — неспроста все они «комбинированные», неделимо цельные человеко-кони, проще сказать — *человекони*. А в Откровении Иоанна Богослова — еще одна, жутковатая вариация этого сращения, мистический образ-символ: *и се конь блед, и сидящий на нем, имя ему смерть; и ад идет вслед его, и дана бысть ему власть на четвертой части земли — умерщвлять мечем и гладом, и мором и зверьми земными.* (Здесь сознательно отдано предпочтение несовременному, неканоническому переводу.)

Неизбывную роль лошади в планиде человеческой не раз обозначал Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»: волхвователь предрекает князю погибель от верного его коня, князь расстается с любимцем, но спустя какое-то время сила притяжения возвращает его к «благородным костям» уже почившего боевого товарища, где, увы, его поджидает обещанное... В другом, не менее впечатляющем стихотворении, «Конь» (из цикла «Песни западных славян»), коллизия внешне противоположная, а по сути та же: верный и любимый конь сам выступает в роли кудесника-предсказателя («Оттого мой дух и ноет, / Что наместо чапрака / Кожей он твоей покроет / Мне вспотевшие бока»), пытаясь тем самым — разумеется, тщетно — спасти хозяина от гибельной угрозы... Иную, но столь же неотвратимую ипостась лошадиного «амплуа» представил нам Пушкин в «Телеге жизни» («...А время гонит лошадей») и *телеге смерти* (авторская ремарка в «Пире во время чумы»: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею»)... Наконец «Медный всадник»: «Ужасен он в окрестной мгле! / Какая дума на челе! / Какая сила в нем сокрыта! / А в сем коне какой огонь! / Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?» Вновь монолитное подобие *кентавра*, вновь многозначная, гипнотизирующая символика. Можно подумать, не император, а гордый этот конь призван самовольно решать, куда направить свой скок и где опустить копыта. Во всяком случае, царь Петр и его исполненный огненной энергии конь выступают здесь как единосущий «властелин судьбы». Причем имеются в виду (опять-таки слитно) и судьба великой державы, и судьбы миллионов ее подданных, простых смертных — вроде Евгения, беззащитного, бесправного человечка (Холстомер, заметим в скобках, — того же поля ягода): человечка, стремглав бегущего после ужасного наводнения «туда, где ждет его / Судьба с неведомым известьем, / Как с запечатанным письмом»...

А Гоголь? Ему Пушкин подарил «свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ»». *Лошадиный мотив* отнюдь не стал доминирующим в гоголевской разработке; во всяком случае, он не бросается нам ни в глаза, ни в уши — вплоть до финальных аккордов поэмы (точней бы сказать, вплоть до концовки ее первого тома, но ведь второй том как бы и не в счет: Гоголь с ним, к прискорбию своему и нашему, потерпел трагическое фиаско); тем более поразительны та фееричность, та глобальная знаменательность, которыми «нагружена» здесь лошадиная тема. Уже в самом зачине фабулы нам предстает целая *тройка* лошадей, впряженных в легкую рессорную бричку; а затем, в продолжение всей разворачиваемой перед нами мистерии, на вихляющие колеса этой чичи-

ковской брички — *холостяцкой* брички (что подчеркнуто буквально с первых же строк поэмы) — как бы накручиваются, по воле автора, не только ухабы и колдобины губернских дорог, петляющих от одной помещичьей усадьбы к другой (третьей, четвертой, пятой...), но и *совсем иные контуры*. Они, эти контуры, проясняются лишь на крайней черте эпохального действа — в последнем лирическом отступлении. Кто из нас не вызубрил его наизусть еще со школьной парты — этот увенчавший поэму обожествляемый образ родной страны: в стремительном полете «бойкой необгонимой тройки»?! Автор ошеломляет нас внезапным, неистово восторженным, почти молитвенным обращением к этой безудержной *Русь-тройке*: «...Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?..»

Зачарованный этой *молнией*, Гоголь видит в лошадях, рванувших вдаль «почти не тронув копытами земли», уже нечто возносимое в небеса — «одни вытянутые линии, летящие по воздуху», Русь в его глазах «мчится вся вдохновенная Богом»; но при всём при том, сквозь это пьяняще-свистящее завихрение, вдруг звучит, словно бы свыше, на какой-то миг отрезвляющий вопрос: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ», и тут же, как выдох, как откровение, как загадка — «Не дает ответа». И тотчас вновь — самозабвенное упоение *Русь-тройкой*, возлюбленной невестой: безумно реализуемая мечта, холостяцкий сон наяву, спеленутый роскошным патриотическим озарением. «...Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Эти впряженные в холостяцкую бричку вихревые чудо-кони уносят и возносят нас неведомо куда, упиваясь и захлебываясь авторской, гениально сублимированной эйфорией. Неспроста завидная невеста эта, птица-тройка, гоголевское наваждение, так *зарябила всем в очи*, что нескоро нашелся конгениальный русский человек (В.М. Шукшин), который подметил ускользавшую от всех очевидную подробность: «А в тройке-то кто?! Кто в тройке-то?! — Чичиков! Прохиндей и шулер!» Однако ж и по сю пору многим невдомек: не перед птицей-тройкой мы благоговейно шапку ломаем, а перед этим восседающим в бричке скупщиком мертвых душ и растлителем живых...

Хотим мы того или не хотим, но фантомная сия, залихватская, *наводящая ужас* лошадь-троица (в подбрюшье своем таящая злосчастную язву юродской обособленности, одиночества) — какими-то нотками, отдаленно, однако ж весьма внятно — *перекликивается* с холощеным, «холстомерным» уделом пегой лошадки из шедевра Толстого, с ее тихой и незаметной, а всё же немаловажной миссией в более чем странном, неправедном, заведомо неподсудном мире.

Если как-то суммировать разного рода пересечения Холстомера (с его предшественниками и с вышеозначенными отголосками его *истории*), вряд ли будет преувеличением сказать: образ этот оказался еще одной жемчужиной в копилке мировой *лошадианы*. Она, *лошадиана*, расположилась при-

вольно во всех временах и народах. Просится сюда Джонатан Свифт со своим блестяще-оригинальным очерком жизни Гулливера в стране *гуингмов*: лошадей, обладающих ясным разумом и членораздельной речью, не способных ко лжи и лицемерию, полновластных хозяев этой страны. А так называемые «*еху*» (русское звучание — *экси*), выродившиеся, одичавшие, вконец опустившиеся *люди*, живут здесь на рабском положении «гнусной скотины», презираемой и гонимой. Можно указать еще на героев греческой мифологии неразлучных братьев-близнецов Диоскуров: в Древнем Риме в честь их подвигов, в честь их взаимной безмерной любви, безграничной преданности были установлены две статуи — в виде великолепных юношей, держащих коней под уздцы. Скульптуры эти послужили прообразами наших знаменитых клодтовских коней на Аничковом мосту. Вспоминается и Конь Быстроногий — для него, любимого, Гай Калигула выстроил конюшню из мрамора, ясли из слоновой кости и «подарил» ему вдобавок пышный дворец с прислугой и утварью, куда приглашали важных гостей. Что самое любопытное, Быстроногому прочилось также место Консула, одного из двух правителей Древнего Рима (оно и досталось бы ему, не будь Калигула убит заговорщиками)... Короче: *лошадиана* необозрима, неисчерпаема. Росинант, сиамский близнец Рыцаря печального образа; незабвенно-сказочный «Конек-Горбунок»; «Конь бледный» Бориса Савинкова; мудрёно-многозначительный, двувременной «Кентавр» Джона Апдайка...

Применительно же лично к Толстому чрезвычайно важен вот какой «синдром *лошадианы*»: до глубокой старости, до самых последних дней своих в Ясной Поляне, будучи уже немощным, больным, он любил совершать верховые прогулки. Больше того, не мог обходиться без них. Дневниковые его записи, даже и относящиеся к 1909—1910 годам (ему перевалило тогда за 80) пестрят фиксациями этой его привычки, смахивающей на некую повинность.

1910. «1 октября. Ездил верхом, с Булгаковым... [7 октября.] 6-го ничего не хотелось и не мог работать и не работал... На душе мрачно. Все-таки поехал верхом... 14 октября. Нынче телесно очень слаб... Пошел к Софье Андреевне и сказал ей, что советую ей оставить меня в покое, не вмешиваясь в мои дела... Ездил верхом... 15 октября. Сказал за завтраком, что поеду к Чертковым. Началась бурная сцена... Я поехал верхом... 23 октября. Немного подвинулся в статье «О социализме», за которую опять взялся. Ездил верхом...» А уже в ночь на 28 октября в 5 часов утра — спонтанный, хотя и давно чаемый, возможно и *чуемый*, уход из дому. С летальным исходом несколько дней спустя.

Важно иметь в виду: все эти записи о верховых вылазках, требующих определенной физической формы, перемежаются у Толстого с многочисленными ссылками на преследующие его немочи. Не на рядовые недомогания, а на пышный букет тяжких хворей, болевых приступов. Совместимы ли вообще такие вот полярные состояния? А ведь это только цветочки. Особо несваримой для здравого смысла выглядит в этих же записях фиксируемая изо дня в день, уж и вовсе запредельная для столь изможденного и безмерно страждущего старца, по-настоящему активная, разнообразнейшая, высокоинтеллектуальная работа, сопряженная, кстати говоря, с огромными моральными и опять-таки чисто физическими затратами. Толстой ведет

переписку на разных языках с российскими и зарубежными корреспондентами, сочиняет и публикует капитальные и злободневные статьи, обращения, воззвания, создает новые художественные творения и, помимо того, находит в себе силы пополнять личные дневники, предаваться всей душой кропотливому самоанализу, кипению собственных страстей, терзаний, поиску выхода из нестерпимой атмосферы семейного кризиса. Но и это еще далеко не вся его загрузка. Он продолжает ходить и ездить по окрестным деревням, встречаясь с крестьянами, знакомыми и незнакомыми, а у себя в доме принимает каждодневно посетителей, просителей, друзей; им — без преувеличения — несть числа... Ну как нам удержаться от «антинаучного» утверждения: верховые его прогулки — это не банальные телесные разминки и упражнения, а сеансы *воссоединения* с «кентавристикой» — той самой мифологемой, что испокон витает над неделимым союзом человека-лошади?! Напрашивается вывод: как раз она-то, кентавристика, и послужила Толстому залогом его полноценного долголетия.

Реализуя свой замысел о жизни и гибели знаменитого рысака, пегого мерина, эдакой *уродины*, равно как и в личной своей жизни десятилетиями общаясь и с рысаками, и с рабочими лошадками, да и в верховых бесчисленных «сеансах», — Толстой вряд ли специально соотносился с *гиппологией* (хотя наверняка, как один из широко образованных, пытливейших людей своего времени он отнюдь не был чужаком и новичком в этой отрасли великого знания и тысячелетнего опыта); но *оборотную*, *мифологическую*, *мистическую* грань гиппологии он несомненно внедрил — и в те верховые прогулки (что кажутся нам неправдоподобными, когда у человека еле-еле душа в теле), и в тот самый *подтекст* повести, которого мы уже касались. Между тем нельзя терять чувство меры: подразумеваемый, неисчерпаемый этот *подтекст* (преломлённая в стихии гения космическая панорама инобытия) неотделим и немыслим в отрыве от зримого, прямого *текста*, где так живо, так достоверно запечатлен, наряду с прочими *посюсторонними* подробностями, образ неравнодушного жизнелюбия Толстого, в характерном, отнюдь не гармоничном колорите его привередливой палитры.

«Бредёт мой конь, как тихая судьба»

«...Человек! Подумай — что́ твоя жизнь, когда на пути зловещие раны. Богач, погляди вокруг тебя. Стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у порога не слышны стоны... Счастье — удел несчастных, несчастье — удел счастливых... Свет истины заманил меня к своему Очагу. Там лучше, там дышится вольней и свободней, там не чувствуется того мучения и угрызений совести, которые окружают всех во мраке злобы и разврата...»

В таком роде мог высказаться сам Толстой, но письмо с этим изречением было отправлено из Москвы в Рязанскую губернию 23 апреля 1913 года — когда Толстого уже не было с нами. Можно бы, конечно, не приводить здесь эти пафосные слова — мало ли кто и как из преданных учителю толстовцев навысказывался и при жизни Толстого, и после его драматичного ухода. Тем более что сам *учитель* не очень-то благоволил случайным последователям своим, рьяным подражателям. Но данное письмо ценно нам не само

по себе. Оно принадлежит недавнему деревенскому парню — на тот момент он работал скромным подчитчиком корректора в московской типографии И.Д. Сытина и посещал лекции в университете имени А.Л. Шанявского, а спустя всего несколько лет стал неоспоримо великим поэтом земли русской, обреченным на всенародное признание и любовь (равно как и на раннюю гибель); и, что существенно для нашего разговора, судьба и поэзия этого юноши оказались породненными с Толстым — не только с его именем и убеждениями, но и напрямую с его семьей и, наконец, с Холстомером. Ясное дело: это был Сергей Есенин.

Для кого-то из читателей нижеследующее утверждение прозвучит, пожалуй, как полнейший абсурд, однако же — без сопоставления, без серьезного сочетания этих двух величин, Есенина и Толстого, вряд ли можно обеспечить достаточно емкий, панорамно-современный взгляд как на рассматриваемую нами *историю лошади*, так и на некоторые из персональных проблем того или другого из этой феноменальной пары.

В период учебы в Спас-Клепиковской, на Рязанщине, церковно-учительской школе (1909–1912 гг.) Есенин и несколько его соучеников собирались в доме у Гриши Панфилова, чтобы, как вспоминал позднее один из участников этого кружка Г.Л. Черняев, «сообща развлечься, поговорить о школьных делах, поспорить о прочитанных книгах... Читали и обсуждали роман Л. Толстого "Воскресение", его трактат "В чем моя вера?" и другие книги писателя. Мечтали побывать в Ясной Поляне (еще при жизни ее хозяина! — *Г.Р.*)... Толстовские идеи сильно захватили тогда и Есенина». Судя по письмам Сергея уже из Москвы, влияние толстовства сохранялось и в последующие годы. «По личным убеждениям я бросил есть мясо и рыбу, — сообщал он Грише в начале 1913 года, — прихотливые вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не употребляю и табак не курю. Этому всему будет скоро 4 месяца... Гений для меня — человек слова и дела, как Христос». И — в другом письме Грише (в том же, где говорится про *богача*, про *стоны и плач*): «Итак, я бросил есть мясо, рыбы тоже не кушаю, сахар не употребляю, хочу скидавать с себя всё кожаное». Довольно-таки скоро своеобразный диалог Есенина с Толстым ушел от таких вот наивно-прямых, чисто внешних проявлений в *подпочву*, на уровень глубинных сходств и отличий. Критик и публицист Л.М. Клейнборт, изучавший тогда творчество выходцев из народа, вспоминал: «...В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало — это "превосходство земледельческой работы над другими", которое проповедовал Толстой, религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем радикально...»

Уместно отметить: через всю свою трагически усеченную, феерическую жизнь Есенин пронес и *притяжение* к Толстому, безотчетно страстное, эмоциональное, сродни религиозному, и, наряду с этим, — опять же безотчетное — *отталкивание*. Толстой и Есенин — вот уж где антитеза так антитеза! Нет и не бывает, казалось бы, более разнящихся (во многом контрастных друг другу) характеров, личностей, судеб. Один — писатель мирового

масштаба, прижизненный классик, сиятельный граф, богач, в молодости боевой офицер, в зрелые годы глава большого семейства, глубоко верующий и учительствующий мыслитель, моралист и дидактик, убежденный (хотя и не безмятежный) непротивленец, сам себе прокурор и судья, повседневно докапывающийся до мотивов своих решений и поступков... Другой — поэт до мозга костей, плоть от плоти земли и природы, в ранней юности христолюбивый искатель, вдруг обернувшийся затем оголтелым богоборцем («Не молиться тебе, а лаяться / Научил ты меня, господь»; «Время мое приспело, / Не страшен мне лязг кнута. / Тело, Христово тело / Выплевываю изо рта»), заодно прослывший озорным гулякой и горьким пропойцей, «самым яростным попутчиком» невероятных, роковых процессов и событий, которые потрясли, обескровили Россию, порушили ее вековые уклады и самосознание народа. Впрочем, в то же время — парадоксально, но факт, изумляющий факт! — он сумел сберечь себя как верного сына родного очага, певца «золотой бревенчатой избы», умнейшего и проницательного гражданина взбаламученной державы, да и вера его в общем-то никуда не делась: «Дай ты мне зарю на дровни, / Ветку вербы на узду. / Может быть, к вратам господним / Сам себя я приведу». И всё же во взаимоотношениях с *небом* его постоянно терзают сомнения, тревоги, он сызмальства и до последнего своего часа привык, что называется, *гулять сам по себе*, его страшит утрата самого дорогого в жизни — своего обожествляемого *Я*, которое чаще всего рисуется ему в излюбленном, как бы ниспосланном свыше образе *коня*:

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.
Богу лишнего не надобно,
Конь мой — мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив златую цепь.
Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

Возникает вопрос: таким ли уж антиподом прославленному графу был этот изрядно ославленный, неуравновешенный, взрывчато буйный и безмерно нежный выходец из крестьянских низов? Похоже, совсем наоборот: между ними гораздо больше сходства, созвучий, родства, нежели диссонансов и противостояний.

Когда автор «Холстомера», навсегда распростясь со своими любимицами — верховыми лошадьми, отходил безропотно, 82-летним патриархом, «в ту страну, где тишь и благодать», мог ли он представить себе, хотя бы во сне: именно в это время совсем неподалеку, в соседней губернии, пятнадцатилетний белобрысый отрок вдруг тоже стал сочинять про лошадей, про любовь ко всякой живности, как будто в безгрешную его душу залетела и заронилась искра Божья, та самая, что когда-то осенила яснополянского барчука, а ныне нашла ему достойную смену? И ведь что взбрело сочинять

рязанскому мальчонке: *стихи*! Да какие! «Там, где капустные грядки / Красной водой поливает восход, / Клененочек маленький матке / Зеленое вымя сосет»; «Ты поила коня из горстей в поводу. / Отражаясь, березы ломались в пруду... // В пряже солнечных дней время выткало нить... / Мимо окон тебя понесли хоронить».

Уже с начальных шагов в поэзии (и на всю жизнь) отрок-самородок безудержно, в жгуче-возвышенном настрое особой привязанности, любви, заселял многие свои строфы и целые стихотворения *лошадьми* (иногда целыми табунами), а также сонмом всевозможных образов, так или иначе соотносимых с этим исключительным Божьим чудом. Есенин вроде как и родился ребенком-жеребенком, а лучше сказать: явился на белый свет верхом на Пегасе. Он сроду знал про лошадь нечто, овеянное легендой, тайной, в золотом ореоле, — то самое, что было ведомо и Толстому, и Пушкину, и Древнему миру тоже. Раскрываешь есенинский томик — первые же страницы начинают диковинно, будто бы сквозь магическое стекло, преломлять в тебя весь окружающий мир, насыщая его живой, зримой, одушевленной плотью первозданной природы — упоительной фактурой лошадино-человеческого бытия: «Дымом половодье / Зализало ил. / Желтые поводья / Месяц уронил... // Тихо в чаще можжевеля по обрыву / Осень — рыжая кобыла — чешет гриву. / Над речным покровом берегов / Слышен синий лязг ее подков... // Хорошо бы, на стог улыбаясь, / Мордой месяца сено жевать... // Тучи с ожереба / Ржут, как сто кобыл... // Рыжий месяц жеребенком / Запрягался в наши сани... // Бредет мой конь, как тихая судьба...»

Вот и за год до гибели («Не знаю, светит ли луна / Иль всадник обронил подкову?») — мировосприятие прежнее. Или чуть раньше: «Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на розовом коне»[1]. Как в отроческую, так и в зрелую свою пору Есенин ощущал себя одним из *них*: «С детства нравиться я понимал / Кобелям да степным кобылам»; «Каждая задрипанная лошадь / Головой кивает мне навстречу»; «Я хожу в цилиндре не для женщин... / В нем удобней, грусть свою уменьшив, / Золото овса давать кобыле»; «Я был, как лошадь, загнанная в мыле, / Пришпоренная смелым ездоком»... На финишной прямой, когда страшное отчаяние, черные мотивы всё очевидней стали брать верх, поэт то и дело словно выплескивал в свои бисером писанные строки — через прощание с лошадьми — мучительное прощание с собственной жизнью. Из последних сил он еще цепляется за каждый шанс надежды («Тройка ль проскачет дорогой зыбкой — / Я уже в ней и скачу далече»), но: «Снежная замять крутит бойко, / По полю мчится чужая тройка... // Всё укатилось под вихрем бойким / Вот на такой же бешеной тройке... // Не храпи, запоздалая тройка! / Наша жизнь пронеслась без следа... / / Словно тройка коней оголтелая / Прокатилась во всю страну... // Всё прошло. Поредел мой волос. / Конь издох, опустел наш двор...»

А при чем здесь, в конце концов, Толстой и его Холстомер? — резонно возразит строгий читатель.

---

[1] Любопытный штрих: Евгений Замятин в статье «Я боюсь» не без иронии отозвался о «*лошадизме* московских имажинистов» (Дом искусств. Пг., 1921. № 1).

«Мир таинственный, мир мой древний»

Нельзя исключить: Есенин еще в Спас-Клепиках, в пору активного почитания и пристрастного прочитывания Толстого, познакомился и с «Холстомером». Попросту говоря, он, успевший к тому времени безоглядно полюбить, опоэтизировать единый дух живой природы во всей ее многовидности, — никак не мог тогда пройти мимо толстовской *истории лошади*. Во всяком случае, эхо *пегомеринного ржания*, перекличка с ним, а то и прямо-таки некие *видения* не раз и не два возникают не только во всей последующей поэтической мистерии бывшего юного толстовца, но и в реальной взрослой его жизни, полной смятений и метаний («...с желтой головой / Я по планете бегал до упаду»). С «красногривым жеребенком», трогательно запечатленным в небольшой поэме «Сорокоуст», связан знаменательный эпизод в одном из дальних странствий Есенина. Сохранилось свидетельство из первых рук: письмо поэта к его харьковской знакомой, студентке Евгении Лившиц (август 1920 г.).

«...Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку... Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но всё это только ускорение или выпукление... Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического.

Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни...»

Тут возникают кое-какие ассоциации — перекидные мостики от данного эпизода к толстовской *истории лошади* и прямиком к Толстому. Во-первых, есенинский жеребенок (и в приведенном письме, и в «Сорокоусте») — незаурядной прытью своей, выносливостью, упорством и, конечно же, тупиковым финишем — явно аукается с Холстомером, несравненным в прошлом рысаком-рекордсменом. Во-вторых, ведь и сам Толстой, на манер этого жеребенка, разве не пытался — по-детски наивно, самозабвенно — тягаться с неотвратимо ускоряемой поступью и мощью *прогресса*? Разница лишь в том, что Толстому важно было не обогнать храпящий железной ноздрей, «на лапах чугунных поезд», а встать ему поперек дороги, сигналя миру о том, что дальше — обрыв, бездна[2]. И Есенин — не столько про жеребенка, сколько про себя самого сказано им: «Ну куда он, куда он гонится? / Неужель он не знает, что живых коней / Победила стальная конница?» Сам себе преподносит он урок новейшей политэкономии: «По-иному

[2] Как бы вторя тому же Откровению: *Я тебя соблюду от годины искушения, хотящей прийти на всю вселенную искусить живущих на земли.* (Вновь мною сознательно предпочтен несовременный, неканонический перевод.)

судьба на торгах перекрасила / Наш разбуженный скрежетом плёс, / И за тысячи пудов конской кожи и мяса / Покупают теперь паровоз». Наконец третья ассоциация: уже в зачине «Сорокоуста» есть скабрёзное упоминание о *мерине* (обычно заменяемое в печатных изданиях анонимными отточиями), звучащее как вызов и плевок в лицо... кому? Адресат многоглав и разнолик — тот же самый, что и у Толстого: «город», «индустрия», «чугун и сталь». Причем в стихах Есенина эти вороги земли, деревни, живой природы и духа человеческого рисуются на предельном накале негативной экспрессии, самыми отвратными, беспросветными красками. «Вот сдавили за шею деревню / Каменные руки шоссе... // Город, город! ты в схватке жестокой / Окрестил нас как падаль и мразь. / Стынет поле в тоске волоокой, / Телеграфными столбами давясь. // Жилист мускул у дьявольской выи, / И легка ей чугунная гать...» — строки из стихотворения, которое при жизни поэта публиковалось под названием «Волчья гибель»; это жертвенная «песнь отмщенья» — за обреченный на удушение крестьянский уклад, за изувеченную красу родимой деревни, за утопающий в исторической мгле, словно град Китеж, «мир таинственный, мир мой древний». В такой безысходной коллизии поэт не мог позволить себе роскошь смирения, бездействия. «Здравствуй, ты, моя черная гибель, / Я навстречу тебе выхожу!» — пусть «отпробует вражеской крови / Мой последний, смертельный прыжок»...

Что касается Толстого, он вряд ли разделил бы с Есениным обуявший его неуправляемо мстительный спазм, но во всем остальном их углы зрения, эмоциональные реакции, изгибы и мотивы мысли вполне совместимы, более того — почти однородны. Можно смело шагнуть еще дальше: Есенин, этот «неправильный» рязанский самоцвет, озорной и буянистый *зверолюб*, поэт от Бога и Земли, алхимик и астролог от Поэзии, отвергатель любых шор и догм, — представляет собой, условно говоря, ***alter ego* Толстого**, с поправкой на новизну исторических условий и психогенную специфику.

Внесем ясность: Есенин — не продолжение Толстого, не наследование ему, а в некотором смысле *вариация* его судьбы, второй его путь, с высвобождением всего того, что было зажато под прессом религиозных, моральных, сословных и других правил и ограничений, которых он придерживался, даже при всей его максимально возможной личной независимости. Держаться этих рамок в течение десятилетий было Толстому тем более надсадно, если учесть страстный, непокорный его характер и нерядовой темперамент. Он, как известно, был по жизни далеко не святой (и тем более не святоша), причем сам же не заблуждался на свой счет, так что пришлось ему чуть ли не терроризировать себя постоянным самобичеванием, зачастую несправедливым и чрезмерным, о чем свидетельствуют его дневники. Вот и уход из дому обусловлен прежде всего внутренним раздором Толстого — тщетным стремлением привести душевные и духовные устои свои в лад повседневному образу жизни. По сути, его уход стал заведомо бесплодной попыткой *уйти от самого себя* — попыткой, равносильной уходу из жизни.

Однако ж и «второй его путь», если обратиться к судьбе Есенина, увы, мало чем утешил бы Толстого, окажись он и впрямь носителем этой судьбы. Раздольная, ничем не скованная, изменчивая, насквозь пропитанная кипением чувств, порой разухабистая, загульная, но и запредельно мудрая (а

потому безысходная) — поэзия Есенина вобрала в себя многое из того, что было и у Толстого на сердце и в крови. Позволь себе царь зверей Лев расслабиться таким вот *поэтичным* манером, — его ждал бы точно тот же итог: заколдованный круг в виде петли на шее. И, с другой стороны, Есенин ведь тоже, как и Толстой, пытался перекроить свою жизнь, причем — удивительная история! — он, похоже, искал спасения у Толстого, в его семье, когда, за несколько месяцев до трагической развязки, женился на внучке Льва Николаевича (кстати, полной тёзке его жены)[3]. Поэт не скрывал своей гордости благоприобретенным родством (в письме — впрочем, неотосланном — к А.М. Горькому от 3 июля 1925 года есть фраза: «...шлю привет от своей жены, которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне»), а между тем сила *притяжения* к величайшей вершине уже сменилась (или дополнилась) *обратным вектором* — то ли по законам физики, то ли по иным, чисто человеческим парадигмам и алгоритмам. Чуда не произошло. Вот что писал Есенин тем же летом тифлисскому другу Николаю Вержбицкому: «...Всё, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать... С новой семьей вряд ли что получится, слишком всё здесь заполнено "великим старцем", его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...»

Дело, разумеется, не в *иконографии* боготворимого художника и учителя. Есенина (как и Толстого за 15 лет до этого) подмывало бежать *от самого себя*. В декабре 1925 года он уехал из Москвы, а дальше... Толстой (повторимся) совершил побег из дому, равносильный побегу из жизни; с Есениным, по сути, произошло то же самое. Подтверждается невероятный *тандем*: совпадение космоса Толстого и космоса Есенина. Два самодостаточных, но взаимодополняемых гения причудливо совпали как в личностном, так и в художественном, тоже двуедином, образе (*пегий мерин — красногривый жеребенок*), составив невыразимо впечатляющее иррациональное нечто, озвучив непреходящую, зазывную мелодию зазеркалья. «Мир таинственный, мир мой древний...» — автору этого поэтического аккорда Есенину (и Толстому, и Гоголю, и Пушкину...) были даны, надо полагать, ключевые сигналы оттуда...

«И мы пошли под визг метели»

Сводная эта натура (пегий мерин — красногривый жеребенок; читай: Толстой-Есенин) на редкость притягательна, магнетична, не отпускает от себя. Здесь всё *тотально*: тема и предмет, характер и личность, величина и масштаб; не найти никаких концов. Так что и ход нашей мысли сам по себе уже превращается в порочный, заколдованный круг. Прекратить коловращение можно лишь простым волевым усилием. Так мы и поступим, но сперва придется кое в чем еще разобраться — дабы ненароком не погрешить против достоверности выдвинутых нами кое-каких доводов и суждений.

---

[3] Софья Андреевна Толстая (1900-1957). В дневнике Льва Николаевича есть записи о ней: «Сонечке читал о вере» (4 июня 1909 г.), «С утра в постели писал молитву Сонечке» (11 июня).

«...Вот он, вот он с железным брюхом, / Тянет к глоткам равнин пятерню... // Идет, идет он, страшный вестник, / Пятой громоздкой чащи ломит... // О, электрический восход, / Ремней и труб глухая хватка, / Се изб бревенчатый живот / Трясет стальная лихорадка!.. // На тропу голубого поля / Скоро выйдет железный гость. / Злак овсяный, зарею пролитый, / Соберет его черная горсть... // Черт бы взял тебя, скверный гость! / Наша песня с тобой не сживется... // Я последний поэт деревни...» Вполне очевидно: все эти скорбные мотивы Есенин выводит из преддверия смертоносной эры, порождаемой и знаменуемой новоявленным *франкенштейном*. Поэт не ждет ничего путного от воцарения молоха цивилизации, при всевластии ее отпрысков — наук и технологий. То есть: дуэт Есенин-Толстой звучит вроде бы образцово, без сбоев. Но внимательный, сведущий читатель — и мы вместе с ним — твердо знает: Есенин, с какой стороны к нему ни подойти, далеко не так одномерен, как он сам же иной раз пытается нам внушить (кстати, у Толстого на сей счет обстоит аналогично; любые схемы в подходе к нему — неприемлемы). И в самом деле: вперекор нашим «россказням» об *alter ego*, о *тандеме*, вразрез Толстому и в зарез Холстомеру, а главное — в противовес собственному *катастрофизму*, Есенин запросто переключает свои стихи на иной, противоположный лад и настрой (с минора на мажор): «...Мне теперь по душе иное. / И в чахоточном свете луны / Через каменное и стальное / Вижу мощь я родной стороны. / Полевая Россия! Довольно / Волочиться сохой по полям. / Нищету твою видеть больно / И березам и тополям... // Я полон дум об индустрийной мощи... // Как в смирительную рубашку / Мы природу берем в бетон... // Подождите! Лишь только клизму / Мы поставим стальную стране, / Вот тогда и конец бандитизму, / Вот тогда и конец резне...»

И разве не убедительно сказано в «Письме деду»: «Доверься ты стальной кобыле. / Ах, что за лошадь, что за лошадь паровоз! // ...И ты, старик, когда-нибудь поймешь, / Что, даже лучшую впрягая в сани лошадь, / В далекий край лишь кости привезешь...»? Неужто поэт лукавит — *и вашим, и нашим*? Слишком явственна тут двойственность, если не двуликость... Нет, с выводами лучше повременить. *Семь раз отмерь*... Посреди «индустрийных» гимнов и дифирамбов нет-нет да и проскальзывает у Есенина: «Всё равно остался я поэтом / Золотой бревенчатой избы»; «Но и всё ж отношусь я с поклоном / К тем полям, что когда-то любил»; «Машет тощим хвостом лошаденка, / Заглядевшись в неласковый пруд». А в часы неотступной горечи: «Нет любви ни к деревне, ни к городу»... Никакой *смены курса* не произошло; тот якобы обозначившийся *позитив* в отношении к «прогрессу» Есенин пробует внушить не столько читателю, сколько — вновь и вновь — самому себе: стремясь хоть ненадолго отодвинуть, отсрочить некий *час икс*. Впрочем... *Позитив* выявился у него не только в стихах. И не только по отношению к «прогрессу». В письмах и других высказываниях Есенина (особенно в ходе вояжа с Айседорой Дункан по Европе и США) стали настойчиво звучать нотки «революционной» смычки с властью большевиков. В одном из берлинских кафе он вместе с Айседорой скандальным образом пытался спеть «Интернационал», а позднее в Штатах за ведение «красной пропаганды» Дункан была лишена американского гражданства, ей и Есенину пришлось покинуть страну. Добавим: в устах Есенина взви-

лись также мотивы казенного патриотизма, в аккорде с рьяной отповедью Западу, отчасти в духе блоковских «Скифов».

«Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Всё зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы. Нужен поход на Европу...» (*Письмо из Висбадена И.И. Шнейдеру, 21 июня 1922 г.)*

«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я почти еще не встречал и не знаю, где им пахнет... Здесь всё выглажено, вылизано и причесано... Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину... Развейтесь, кони! Неси, мой ямщик! Матушка, пожалей своего бедного сына!..» (*Письмо из Дюссельдорфа А.М. Сахарову, тем же летом.*)

«Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь всё прибрано и выглажено под утюг... Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди — а могильные черви, дома их <—> гробы, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут...» (*Письмо из Остенде, Бельгия, А.Б. Мариенгофу, 9 июля 1922 г.*)

«Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься... Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские "сто тысяч улиц" можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире... В голове у меня одна Москва и Москва... никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке. Кроме русского, никакого другого не признаю и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски...» (*Письмо из Нью-Йорка А.Б. Мариенгофу, 12 ноября 1922 г.*)

Что можно сказать на всё это? Если толковый, незаурядный человек поносит и бранит кого-то на чем свет стоит, всячески превознося при этом, как кулик, свое болото, — нужно прежде всего отказать в доверии собственным ушам, а затем спокойно, внимательно взвесить всё услышанное. Тем более что в поэзии Есенина обжились в ту пору еще более экзотичные «козыри» политической масти: величальные стихи в честь героизированных большевистских вождей («Ленин», «Капитан Земли» и др.), комиссаров («Баллада о двадцати шести»), военачальников (во второй половине «Песни о великом походе» — «С нами храбрый Ворошилов, / Удалой Буденный»)... Толстому и в кошмарном сне не привиделось бы такое. Чтобы он, Толстой, пошел на согласие с властью?! С безбожной властью?! И воспевал красный террор?! Поверил мятежным байкам вождей?! «...Народ стонал, и в эту жуть / Страна ждала кого-нибудь... / И он пришел. Он мощным словом / Повел нас всех к истокам новым. / Он нам сказал: "Чтоб кончить муки, / Берите всё в рабочьи руки..." / И мы пошли под визг метели, / Куда глаза его глядели...»

И всё же не зря распознали мы в *пегом мерине* и *красногривом жеребенке* родственные, совмещенные души. Толстой, с его безошибочным чутьем, повторившимся в Есенине, не колеблясь понял бы суть момента, окажись он и впрямь на месте поэта в данной коллизии. Им обоим ясно как божий день: никакая «экспроприаторская» *лениниана* ни в коем разе не подменит божественную *лошадиану*. «Советизированные» сюжеты, «идейные» реверансы — пусть и талантливо исполненные,и вполне искренние — не более чем фантомный, с помутнением сознания, утопический бред. Проходная роль поэта в дотоле небывалом всенародном спектакле-мираже неизбежно сносит его к отрезвляющей кульминации, к роковому порогу.

Ни Толстому, ни тем паче нам с вами, уважаемый читатель, нечем попрекнуть Есенина, даже если бы очень этого хотелось. Лихорадочный роман с революцией, с большевизмом — жалкая капелька в море неподдельной, нутряной его поэзии. Причем это не та капля дегтя, что способна отравить бочку меда. Чародейство есенинского пера таково, что и деготь оно преображает в яшму и малахит. «Приемлю всё. Как есть всё принимаю. / Готов идти по выбитым следам. / Отдам всю душу октябрю и маю, / Но только лиры милой не отдам». Читатель-скептик вправе ухмыльнуться: «Еще одна иллюзия, опять заблуждение. Отдав дьяволу душу, можно ли сохранить свою лиру?» А Толстой (он же Есенин — как ипостась Толстого в обновленной России) возразит скептику: «Святая простота! Ни октябрю, ни маю не достанется ни крошки от души поэта, ни щепки от лиры его». У скептика в запасе еще одна, наиболее язвительная, по его мнению, шпилька: «А как прикажете быть с есенинской ксенофобией — на фоне превозносимой до небес родной страны *в бушующем разливе*? Помнится, кто-то назвал патриотизм *последним прибежищем для негодяев*?» Толстой невозмутим: «Чем цепляться к моим ли, к его ли словам... *Не ищи в селе, а ищи в себе*»...

Словесность Толстого и словесность Есенина, как нетрудно догадаться, отличны одна от другой по всем родовидовым, образо[imago]генным и другим качественно-осязаемым характеристикам, но *фундаментально* они (та и другая словесности) поразительно идентичны: это сфера изменчивых, зигзагообразных настроений, латентных обертонов, конгломерата чувств, идефиксов, психокомплексов и т.д. Едва ли не в последнюю очередь она (эта сфера) раскручивается в рациональной, логически поступательной орбите. Иначе говоря: в произведениях Толстого и Есенина необыкновенно велик зазор между буквальной семантикой языкового потока и преобладающей функцией *побочных*, *подспудных*, *переносных*, *ассоциативных*, а также совершенно отвлеченных, *звуко-темпо-ритмизованных* смыслов и значений этого потока и всех его составляющих. Своенравно, сущностно отображая океаны и материки живых реалий, мир толстовско-есенинской словесности сам по себе настолько переусложнен и так неделимо многоярусен, что выхватывать из его недр отдельные высказывания (пусть и в неоднократных прецедентах) — абсолютно некорректно. Для иллюстрации возьмем фрагмент одной из автобиографий Есенина.

«...Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня

держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика[4], но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.» В этом монологе, если вникнуть всерьез, — весь Есенин, со своим неотразимым гением и со своей драмой, сокрушительные симптомы которой зашифрованы здесь самым причудливым образом. А сошлись эти симптомы в одной точке, в одном сверхраздражителе, каковым подвернулась под горячую руку Америка (или, шире, буржуазный Запад в целом). Фактически Америка и Запад тут ни при чем. Есенин, оказавшись в тех краях, и не успел, и не мог познать их сколь-нибудь вглубь (что и видно по его изничтожающим репликам); притом языковой барьер наглухо отделял его от чужестранства (общаться он мог почти исключительно с выходцами из России). Также не столь уж принципиален здесь (да и слишком туманен) выбор между нашим «едва остывшим кочевьем» и *ихним прогрессом*. Ему «нравится цивилизация», но он очень не любит Америку, и если Советы «сегодня держат курс на Америку», то он «готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж»: вросшую в землю бревенчатую избу и машущую хвостом на ветру «тощую лошаденку». Поэту словно бы и хочется, и колется. И вновь, похоже, маячит перед ним, рядом с этой лошаденкой, тот очаровательный *дуралей-жеребенок*, вызвавший в нем несколько лет назад столько изумления, жалости, боли, а еще — пробудивший в нем бурю сомнений, разочарований. Обо всем об этом поэт написал тогда в том же письме знакомой харьковской студентке — в письме, которое мы уже привели, но, признаться, оборвали на самом важном месте.

Продолжим цитату: «...этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной[5]... Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений...» И как же теперь ему, Есенину (*Толстому-2*), втайне от всех *строящему мост в мир невидимый*, превыше всего оберегающему свою лиру, свои мечтания, свою личность, — как ему быть теперь с его же недавними чуть ли не присяганиями в любви к революции, в убежденной верности ее вождям, внедряющим *клизму стальную стране*?! Он не видел, не находил ответа на этот вопрос, но и не ставил его перед собой ребром. Отношение к революции, прогрессу, социализму, конечно же,

---

[4] Мак-Кормик — владелец издательского концерна.

[5] Спустя некоторое время, зимой 1921/22 года, Есенин, начиная работу над «Страной негодяев», предполагал в центре ее сюжета изобразить Нестора Махно во главе бунтующих мужиков — «на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих кризисов первых годов революции» (*Старцев И.* Мои встречи с Есениным. М., 1926).

занимало и волновало его, тем более что всё это чревато умерщвлением личности, вышибанием судьбоносных мостов «из-под ног грядущих поколений»; но это еще не вся его драма. Язвящее жало ее — в нем самом, в корне его души, а если взять глубже — в корне мироздания. Постичь, извлечь это жало — нет ни малейшей возможности.

«Душа грустит о небесах, / Она нездешних нив жилица, — писал он вскоре после Октября... — О, если б прорасти глазами, / Как эти листья, в глубину». Позднее он не без гордости заявлял: «Пускай бываю иногда я пьяным, / Зато в глазах моих / Прозрений дивных свет»; но, как ни метался он, как ни терзался сам собой, свет дивных прозрений всё же не помог ему — ни освоить просторы нездешних нив, ни узреть сердцевину древесных «золотых стволов», которые, «как свечи, треплются пред тайной». Сердцевина вещей, небеса обетованные — неужели всё это заведомо недостижимо и непостижно? Есенин не мог такое признать и с этим смириться. Он всё еще на что-то надеялся. А пока... Ему нужен был любой внешний повод, дабы разрядить свой личностно-космический ступор или хоть отвлечься от него как-то. Вот и сгодились Европа с Америкой — излить на них, с подачи Чацкого, «всю желчь и всю досаду». А спасительной соломинкой, само собой, должна при этом стать «Шестая часть земли / С названьем кратким "Русь"». Только уж не *святая*, а «коммуной вздыбленная». Что же до мнимой его «ксенофобии» — вопрос отпадет как отсохший прыщик, если просто почитать Есенина в охотку, *от* и *до*.

От поэта потребовалось совсем немного (всего лишь доза самогипноза), чтобы без всякой натуги сделаться «настоящим, / А не сводным сыном — / В великих штатах СССР». И отвернуться от заоблачных высей: «Довольно с нас / Мистических туманов, / Воспой, поэт, / Что крепче и живей». И «поклясться / Чистым сердцем, / Что фонари / Прекрасней звезд в Баку». И вновь, в очередной раз, выразить большевизму полную поддержку: «Я вижу всё / И ясно понимаю, / Что эра новая — / Не фунт изюму вам, / Что имя Ленина / Шумит, как ветр, по краю, / Давая мыслям ход, / Как мельничным крылам»... А натура берет свое. И лира. И правда. Расплачиваться пришлось по небесному счету. Предъявил этот счет возмездия *черный человек*, явившийся к Есенину из зазеркального пушкинско-моцартианского «Реквиема». «Где-то плачет / Ночная зловещая птица. / Деревянные всадники / Сеют копытливый стук. / Вот опять этот черный / На кресло мое садится, / Приподняв свой цилиндр / И откинув небрежно сюртук»... Можно разбить вдребезги зеркало, но как избавиться от зазеркалья, от черного двойника — от самого себя?..

Ни Толстому, ни Есенину, как и всем их предшественникам, не дался в руки философский камень; разгрызть орех истины — тоже оказались они бессильны; не смогли, как тот, так и другой, доколоколиться до человечества со своим провидческим набатом, со своей сермяжной (холстинной, *холстомерной*) правдой — правдой насчет данайских даров прогресса, насчет того, что всякая *прогрессия* почему-то оборачивается *агрессией*, насчет техногенного имморализма, неизбежно ведущего, в конечном счете, к полному краху всех гуманитарных основ... И они ушли — старший в 1910-м, младший чуть погодя: с интервалом в пятнадцать лет. «Уйти хорошо можно

только в смерть», — записал Толстой в своем *тайном* дневнике 1908 года. Есенин вывел свои предсмертные строчки собственной, им же самим отворенной кровью: «Предназначенное расставанье / Обещает встречу впереди». Но ушли они не потому, что не *доколоколились*, и не потому, что не смогли *добыть* или *разгрызть*. Ушли потому, что их — и того и другого — обуревала крамольная (на чей-то взгляд, цинично-банальная) мысль: ни чудотворного камня, ни такого-сякого ореха и вообще ничего подобного нигде никогда не было, не будет и быть не может. Ведь нет в мире равновесия: между Землей и Небом, Плотью и Духом, Опытом и Знанием, Мигом и Вечностью, между Я и Они, Он и Мы, Нечто и Ничто. Ушли они еще и потому, что люди, в массе своей, не приемлют Достоинство без Унижения, Согласие и Доброту без Ненависти и Войны, Власть без Порабощения...

А *Любовь*? А *Вера*? А *Лира*?.. Женственная эта троица как раз и позвала за собой двоих то ли близнецов, то ли побратимов, разделенных временем, породненных детством. Толстой и Есенин не ушли — поскакали верхом на своих питомцах: на резвом рысаке *Холстомере*, на красногривом возмужавшем *Жеребенке*...

Лирическое послесловие

Весной 1987 года я встретил А. и с тех пор, как вскоре выяснилось, очутился на расстоянии трех-четырех касаний руки от... Сергея Есенина и... Льва Толстого.

С детских и отроческих лет (конец 1940-х гг.) А. по-соседски сдружилась с Маргаритой Исааковной Бернштейн, которая за четверть века до этого, будучи юной харьковчанкой Ритой Лившиц, вместе со своей старшей сестрой Женей (третью, младшую, звали Евой), познакомилась с Есениным, дружеские встречи с ним продолжились после переезда сестер в Москву, несколько его писем к Рите и к Жене вошли в Собрание сочинений поэта, в том числе знаменательное (частично приведенное выше) письмо об «отчаянных гонках» паровоза с поразительно резвым, самозабвенно-азартным жеребенком — письмо, содержащее также весьма доверительные высказывания о «лике Махно», о том, что «идет совершенно не тот социализм» и что «поэтому-то меня и тянет с словами к Вам»... Но при чем здесь *касания руки*? А при том, что Есенин, напомню, женился в 1925 году на Софье Андреевне Толстой, которую Лев Николаевич (дед ее) в свое время нянчил и, подросшую, учил молиться, — вот и выходит: от Есенина и от Толстого меня отделяет дистанция в три-четыре касания руки. *А. — Маргарита — Сергей — Сонечка*...

Не могу не упомянуть еще об одном пересечении судеб. Линия жизни трех знавших Есенина сестер такова, что в следующем поколении случилось ее смыкание с линией другого замечательно яркого поэта и человека (не хочется поминать его имя всуе) — ровесника Есенина, тоже слушателя Шанявского университета в 1910-х и тоже, увы, принявшего в советское время *венец терновый* (расстрел по приказу «отца народов» в 1952 г.), но это уже совсем иная, по-своему разветвленная, удивительная история, не имеющая ни прямого, ни косвенного отношения к *истории лошади*, о кото-

рой у нас сегодня шла речь. Ограничусь поэтому лишь беглым пунктиром. Дочь одной из тех сестер, Инна (именно через нее в 1950-х состоялось новообретенное «смыкание», причем это был с ее стороны, прямо скажем, немалый душевный и физический подвиг), стала чуть позже одним из лучших у нас в стране переводчиков англоязычной литературы, например культового американского романа «Моби Дик»...

И еще. Первые фразы, которыми открылась эта статья (в эпиграфе), были взяты из «Конармии». Последние фразы сейчас — об ее авторе. Собрание глубоко трагедийных, по-своему красочных и жестко-поэтичных новелл под общим военно-лошадиным названием увидело свет в 1926 году, вскоре после гибели Есенина, который хорошо знал Бабеля и симпатизировал ему. Неудивительно, а все-таки приятно: в «Конармии», почти незавуалированный, заключен привет Холстомеру — привет от двух несравненных жеребцов: белого (безымянного) и Аргамака, ввергнутых в пекло гражданской бойни. Бабель увековечил их в одноименном «Аргамаке», а также в «Истории одной лошади» (почти подзаголовок толстовской повести) и в «Продолжении истории одной лошади». Но, независимо от конной армии, как и вообще от лошадиной темы, я не в силах обойти молчанием одну примечательную — и роковую — деталь биографии Бабеля. Деталь, косвенно связанную с Есениным. Даже и через несколько лет после вояжа Есенина в Европу и Штаты, откуда он слал домой письма, брызжущие, как мы знаем, презрением к преуспевающему Западу и пропитанные жгучей ностальгией, — Бабель был настроен и ориентирован примерно так же, как Есенин (правда, обходился без экспрессивных перехлестов и оскорбительных выпадов). Причем ведь Бабель, хоть и не побывал в Америке, зато Европу познал очень и очень в упор, не по верхам, поскольку (в отличие от Есенина) обладал превосходным знанием как минимум французского языка, так что имел возможность вращаться не только в эмигрантской среде. Вот что писал автор «Конармии» в 1927 году из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». Или в другом письме, из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей»... Увы, спустя десятилетие этим родным ветром и этими большими страстями смело с лица земли целые слои таких вот *без лести преданных* России — и без пощады преданных ею — сыновей...

Евгений ЕРМОЛИН

КЛЮЧИ НАБОКОВА

Пути новой прозы и проза новых путей

Исторический отлив оставил нас на огромной отмели. Мысли кончились. Споры кончились. Драма судьбы сошла на нет. Современник вкушает двусмысленные, но в чем-то важном и несомненные плоды того, что было названо стабилизацией. Цивилизация комфорта делает новые успехи. Одни хлебают большой ложкой, другие подбирают крохи, но хватает почти всем. Хватает, чтобы забыть о прошлом и не заглядывать в будущее. А тревожные звонки пока можно и не замечать. На худой конец — отключить телефон. Как по другому поводу сказал О. Тоффлер, *президент кричит в трубку, но на том конце никого нет.*

Большой и равнодушный покой исторического момента, возомнившего себя самодостаточным, — ситуация наименее плодотворная для литературы и для писателя. Литература в России оказалась в начале нового века на дне вместительного глухого кармана. Сильной в ней надобности у современника явно нет. И она задвинута, заброшена куда подальше — как вещь практически бесполезная. Литература оказалась если не «в изгнании» (по формуле Владислава Ходасевича), то в отторжении от жизни. Иными словами, она обнаружила себя вне того чувства жизни, которое доминирует в окружающей действительности.

Но эту ситуацию можно и нужно опознать и осознать и как вызов судьбы, и как творческий повод. Писатель опытным путем открывает и свой отрыв от социума, больше того — от органических корней культурной и литературной традиции, и свою творческую свободу, полученную по максимуму и почти безо всякого личного усилия.

Когда ищешь параллели этому состоянию, то естественным образом возникает уподобление современного автора писателям русской диаспоры, причем самым последовательным и решительным из них: Набокову, Георгию Иванову, Бродскому...

Я буду говорить о прозе, а потому сосредоточусь на параллели с Владимиром Набоковым. Набоков-эмигрант — один из главных литературных мифов нашего времени, он, я думаю, крайней важен для современного писателя и для актуальной культурной ситуации в целом. И дело тут явно не

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 г. в Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Ректор Института истории культур, профессор Ярославского госпедуниверситета. Критик, историк культуры. Автор многочисленных статей и нескольких книг. Живет в Москве.

в чьей-то субъективной воле, не в причудах капризной моды. Набоков в его жизни, которая так или иначе пересекалась с его творчеством, органично совпал в последнее время с тем типичным положением, в котором находит себя русский писатель в одной отдельно взятой исторической ситуации. В ситуации *пост*: «после России» и даже «после СССР».

Потеря родины. Таково широко распространенное, а пожалуй, и общее состояние мыслящего современника. Оно имеет уже не только географический смысл. Это переживание волнует теперь не только того, кто отъехал за пределы родины, но и того, кто остался (он-то остался — но что вокруг?). Родина, *родное* для многих остаются в прошлом, которое еще труднее достижимо, чем пространственно удаленный эдем.

Суть дела именно в общности культурной ситуации, которая сначала предельно интенсивно была пережита, предельно подробно обжита Набоковым, а теперь почти повсеместно в русской литературе осознана как ситуация актуального существования и выбора (или отсутствия такового выбора).

Глобальная основа близости между современным писателем в России и Набоковым — *усугубляющееся диаспоральное состояние отечественной словесности.* На нашем горизонте явственно маячит архетипическая фигура Сирина-Набокова, полвека назад обозначившего вехи судьбы русского литератора в ситуации диаспоры.

...Было время, когда этот писатель-аристократ воспринимался как естественный позитивный полюс по отношению к советскому официозу в литературе и в жизни, ко всей ухнувшей однажды в небытие плебейской цивилизации. С таким ощущением оказался связан первый праздник открытия Набокова, его появления на отечественном горизонте. Здесь начинали брать первые уроки у классика, каким он сразу и бесповоротно был воспринят во второй половине 1980-х годов. Затем набоковская антитеза «совку» в значительной степени потеряла актуальность, поскольку всё *советское* принялось катастрофически терять актуальность, терять культурный, литературный кредит. С начала 1990-х годов место Набокова в литературном ландшафте начало меняться. Но оказалось, что эта перемена вовсе не задвигает его в серые потемки литературной истории. Он не уходит и не надвигается, он просто живет в современном опыте писателя и читателя. Набоков — надолго, он явление не моды, а, скорее, климата.

Набоков обозначил свое место, определил свой пост. Его исходная точка — предельная творческая свобода, возможность выбора в широком диапазоне различных вероятностей. Драматический факт жизни и творчества заключается в том, что нет никаких наперед заданных предпосылок, условий, форм и норм. Нет готовых аксиом, нет априори принимаемых базисных оснований бытия. Писатель наделен полной свободой выбора, свободой ответственного решения.

Прежде литературный процесс во многом строился на основе естественной, почти спонтанной преемственности, включавшей в себя и притяжение, и отталкивание. Теперь он лишен этой естественности. Произошло осознание той бездны, которая открылась между современным писателем и культурно-религиозной, художественной средой былого. Набокову приходится исходить из этого, существовать один на один с бытием, без надеж-

ной опоры и подмоги, без какой бы то ни было почвы, какая некогда, согласно баснословью, позволяла художнику отдаваться безмятежным вдохновениям, «аранжируя» «музыку», созданную, заданную Богом, народом, классом или кем-то там еще.

Существование «на железном сквозняке» отнюдь не являлось, разумеется, монопольным обретением Набокова. Подобный опыт жизни «на холодном ветру мирового вокзала» в критические десятилетия XX века открылся многим русским писателям. Но здесь необходимо добавить, что эта ситуация была когда-то пережита Набоковым максимально, небывало остро: и факт потери, и ресурс свободы. Тому виной отсутствие всякой почвенной иллюзии, абсолютный и окончательный физический разрыв с родиной. Причем этот разрыв был в случае Набокова усугублен специфическими нюансами. С одной стороны, родина была пережита в детстве как счастливое время и место, как благословенный эдем. С другой — имел место явный дефицит опыта органической жизни в России, дефицит, также оправданный возрастом и сроком жизни на «исторической» родине, но, как бы то ни было, не позволивший Набокову хоть как-то врасти в старую почву, занять отчетливую позицию, войти в более сложные отношения с ближними и дальними. Мало того, и в эмиграции Набоков оказался одиночкой; набоковеды охотно указывают на «культурный вакуум», постепенно образовавшийся вокруг него. Прогрессирующее несовпадение Набокова с литературно-культурным мейнстримом первой волны эмиграции приговорило писателя к незаземленному существованию.

Заметим и другое. Принципиальной особенностью миросозерцания Набокова был тот явленный в его прозе дух и пафос внутренней свободы, который не позволял абсолютизировать никаких вещей, понятий и явлений мира сего. Они получали ценность и значимость лишь как намеки на нечто иное, как свидетели тайны. Условность и относительность наличного бытия иногда демонстрируются практически напрямую (как в «Приглашении на казнь» или в некоторых рассказах), иногда обозначены тем разрывом физической ткани мира, который создает смерть человека (лейтмотив прозы Набокова), иногда же скорее имеются в виду и обозначаются намеком (как, к примеру, в рассказе «Порт», где оставшийся в полном одиночестве герой в финале находит себя у ночного моря — «Прокатилась падучая звезда с нежданностью сердечного перебоя. Сильный и чистый порыв ветра прошел по его волосам, побледневшим в ночном сиянии»; эти последние в рассказе события составляют логическую антитезу исчерпанной жизни героя, приобщая его к чему-то иному). Намеки можно было отслеживать и пытаться разгадать. А в ином случае они вполне свободно могли удостоиться и иронического отношения, стать предметом пародии, высмеивания.

Фигура Набокова, его кредо, его писательская жизнь, как вообще всякая жизнь, видятся, понимаются, воспринимаются разными людьми по-разному. На то она и жизнь. В ней есть и незавершенность, и сюрпризы, и тайны. Набоков широк, артистически разнообразен. Сложен и противоречив. Это дифференцированное изобилие души он унаследовал, думается, от культуры начала века, придав ему, однако, новые формы. Он в своих целеполаганиях и свершениях походит на многострунный рояль. Вероятно, и благода-

ря этому он почти заполнил собой литературный горизонт. Широкий и непринужденный диапазон творческого диалога писателя с эпохой и историей открывает в принципе разные возможности и для современных литераторов. Еще и потому редкий писатель прошел сегодня мимо Набокова. Легче назвать тех, кто что-то собой представляет — и тем не менее никак от него не зависит, не вступает с ним ни в какое взаимодействие, чем перечислить его последователей, собеседников, оппонентов с теми или иными направлениями его поиска. И именно в этой связи, говоря о современной словесности, логично было бы обозначить не одно направление, в рамках которого осуществляется взаимодействие с опытом Набокова, а целый ряд векторов такого взаимодействия с Набоковым. Эти векторы не всегда соотносимы друг с другом. Они пересекаются и прерываются, потом снова дают о себе весть.

И вот этот радикальный вызов судьбы опознает как личную проблему современный писатель. К чему это ведет? Ну, прежде всего — к тому, что в ситуации разрыва с миром писатель не может не воспринимать феномены реальности как неокончательную данность. Он не может не проблематизировать их. Доверчиво-пассивное бытописание, имитация социальной действительности становятся в литературе явлением сугубо периферийным, по крайней мере если речь идет о «современной теме». Они чаще характерны для жанровой словесности. Этим можно теперь заниматься или совсем потеряв чувство момента, или... предполагая (осознанно либо бессознательно) совсем другие, более важные для автора мотивации и намерения.

Куда же идет писатель? Есть несколько продуктивных путей.

Один из них (и, может быть, наиболее популярный) — *неоэкспрессионизм*. Свидетельство о душе автора. Аккумуляция и максимализация внутреннего опыта, фиксация его непосредственно или опосредованно, вещами и явлениями внешнего мира, которые не просто подвергаются субъективистской переработке, но изначально служат лишь средствами проецирования душевной жизни.

Главная творческая проблема здесь — это *качество* оного *опыта*. Он крайне пестр, неоднороден, противоречив. То банален — то глубок, то наивен — то мудр...

В недавнем прошлом были распространены попытки исчерпать и смысл прозы Набокова проекциями его авторского мира. Причем мир этот виделся весьма-таки элементарным. Наиболее упорно внедрявший эту мысль Вик. Ерофеев применительно к Набокову расшифровывал это состояние души, по своей склонности к самым примитивным выводам, только как зону перманентного психического комплекса. «Его детство прошло в земном раю. Неудивительно, что изгнание из земного рая, в результате большевистской революции, стало для Набокова мощной психической травмой. (...) Переживание этой травмы, на мой взгляд, составляет основу набоковских романов». По сути, Ерофеев пытался абсолютизировать, законсервировать инфантильное состояние художественного сознания, приписать его Набокову. «Травматичность набоковского письма — главный козырь его вероятной актуальности в современной русской литературе».

Можно согласиться с тем, что сегодня немало писателей пребывают в переживании и обживании именно такого рода незамысловатого травматизма. Нечто потустороннее видится им в своей и общей жизни, лишенной былого стержня. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать комплекты журналов «Наш современник» и «Москва»: у их авторов часто, конечно, специфические представления об аде и рае, но модель их прозы действительно связана с социальной травмой.

Однако ресурс экспрессионизма вовсе необязательно сводить только к элементарным травмам и комплексам. Принципиально невозможно свести к формуле утраты и совокупный опыт Набокова, и вообще современные художественные искания, диалогически связанные с этим опытом. Нередко современный писатель являет нам сложность, осколочность, раздерганность души современного человека. В этот контекст встает, к примеру, и творчество последних лет Валерия Попова, да, пожалуй, и Евгения Федорова. С той или иной степенью рефлексивно-интеллектуальной переработки, иногда умело отделяя героя от автора, иногда критически сближая их, дают острые свидетельства о пережитом травматическом опыте Владимир Маканин, Евгений Кузнецов (в романе «Быт Бога»), Роман Сенчин, Илья Кочергин, Сергей Чередниченко. В декорациях Чеченской войны его предъявляют Герман Садулаев, Захар Прилепин.

Что-то в том же роде, хотя со своими, конечно, нюансами, нередко имели в виду и писатели-эмигранты третьей волны, вариации на эту тему возникают и сейчас. Дальнейшее развитие такого рода комплексов в современной ситуации, когда для физической эмиграции остается не так уж много убедительных мотивов, приводит к явлениям разного рода. Характерен как опыт травматически мотивированного творчества случай проживающего (подобно зрелому Набокову) в Швейцарии прозаика Михаила Шишкина, автора, активно продвигаемого, кстати, его доброжелателями на первые роли в современной русской словесности. Его последний роман «Венерин волос» (2005) — экспозиция комплексов Шишкина на русскую тему, попытка легитимации разрыва с русской почвой. Писатель ведет дело к тому, чтобы доказать как аксиому: Россия — унылая и холодная страна насилия, жестокости, страданий — не может быть местом для жизни, ее ресурс в этом качестве исчерпан. Я уже писал о романе в БСК, в двух словах напомню основные выводы. Шишкин дорожит неуловимым, но стойким ферментом любви, понимаемой как иррациональное влечение (так растет трава, тот самый заголовочный *венерин волос*). И он полагает, что ужасы и страдания одних — вовсе не помеха тому, чтобы другие любили, радовались и наслаждались жизнью. Не нужно грустить, нужно радоваться, нужно хватко и хищно брать от жизни всё. Так уж устроен наш несовершенный мир: одни страдают, зато другие веселятся. Сама литература для Шишкина — способ выгодно перевести страдание одних (персонажей) в наслаждение других (автора и читателей). Кроме того, именно в слове и может человек остаться надолго, чуть ли не навсегда; и другого способа продлиться за пределы мига Шишкин не знает.

Есть явная близость к травматическим интенциям прозы Шишкина у писательницы из Голландии Марины Палей. Она производит характерную ревизию набоковских тем. На манер персонажей Набокова и его самого

герой романа Палей «Клеменс» из Петербурга 90-х годов XX века отправляется воображением в заветный мир дворянской усадебной гармонии. Однако фантазм этот уже никак не связан с личной биографией или с происхождением палеевского персонажа. Он вычитан им в книгах, у Тургенева, Бунина, у того же Набокова, он литературно опосредован и явно несбыточен ни в каком регистре бытия. Реальность выглядит иначе. Детский русский рай Набокова у Палей заменен детским адом. Родители главных героев в «Клеменсе» — уроды и мерзавцы, вырожденцы, люмпенизированное простонародье; а все дети (к числу коих принадлежат любимые персонажи автора) — страдальцы. Реальный же русский рай (или, по крайней мере, его преддверие) — это заграница.

Что касается Набокова, то его творчество демонстрирует нам гораздо более глубокое осмысление ситуации диаспоры. С одной стороны, острейшим образом пережиты им и его героями чуждость миру внешнему. Это переживание иной раз (**уже в «Машеньке»**) достигает гностицистской резкости. Но, с другой стороны, Набоков открывает для себя новые смыслы родины. Набоков особым образом осмыслил свой опыт и сделал из него такие выводы, которые и сегодня представляются продуктивными. Редко кем в XX веке потенциал выбора был востребован и реализован с такой же полнотой. Возможно, именно в этом ему нет равных среди русских прозаиков XX века.

В романе «Подвиг» у Набокова появляется английский славист Арчибальд Мун, который «утверждал, что Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло», и писал книгу о культурной истории России в намерении «дать совершенный образ одного округлого тысячелетия». Пожалуй, можно сказать, что ощущение завершенности русской культурной традиции свойственно и Набокову («все последующее — блатная музыка»). Русская словесность развернулась перед внутренним взором Набокова как классическая панорама, наподобие панорамных планов невских набережных при взгляде с Троицкого моста. Однако как раз моста-то и не было, он оказался навсегда разведен во все стороны. И Набоков по собственному выбору перебросил собственные, воздушные мосты к вершинам прошлого.

Вывод Набокова и его путь, его, скажем звонко, миссия состоят, вкратце, в том, что он замкнул на себя предшествующую русскую литературную традицию в очень широком диапазоне, вступил в творческий, проблемный диалог с главными вершинами этой глобальной традиции, соотнеся ее также с современностью и заново скрестив с основным актуальным литературным опытом Запада. Именно в этом смысле Набокова можно назвать первым великим *неоклассиком* в русской прозе XX века.

Неоклассика XX–XXI веков, складываясь в контексте модернизма, неизбежно содержит в себе неоромантическое начало. Она предполагает декларируемое несовпадение с рутинной будничностью, концептуальное отталкивание от текущего момента, от бытовых и социальных статус кво. Это в высшей степени характерно для Набокова — из начала в конец его творческого пути. Художник уходит из мира конечных величин современности, обращаясь к явлениям, воссоздаваемым им проективно в некоей ментальной

вечности. Его родина — это культура, это язык, это архетипы бытия, его матричные основы и базисные данности. С другой стороны, вершины культуры, на которые восходит художник-неоклассик, в нашем случае не лишены гностического усилия, которое обычно называют реалистической тенденцией. У Набокова этот реалистический гнозис направлен как на социум с его типами (пример — рассказ «Хват»), так и на архетипичное, сверхтипичное.

По сути, Набоков фиксирует ситуацию России духа, духовной родины, сплавляя в ее образе все то, что является для него не утратившим важности, необходимым. К концу XX — началу XXI века этот вывод и путь стали, собственно, наиболее влиятельной, наиболее продуктивной формулой жизни и творчества в современной русской литературе, да и, пожалуй, в современном мире вообще. И в современной словесности есть очень определенный и важный отклик на эту тему Набокова.

Значительность таких прозаиков, как Юрий Малецкий, Александр Кузнецов-Тулянин, Сергей Бабаян, Александр Вяльцев, Нина Горланова, Андрей Волос, Дмитрий Новиков, Денис Гуцко, связана именно с резонансом на осуществленный Набоковым некогда переход к новому, ментальному пониманию родины. У каждого из них по-своему происходит мобилизация личности, реанимация духа в личностном масштабе. По сути, в фокусе личности происходит возрождение культуры, возрождение России.

Намечается и уже совершается революция духа, создание новых смыслов и ценностей, новой духовной и культурной общности, объединенной идеалистическими устремлениями, короче — новой России, родины сердца. Когда общество зашло в тупик, полезно вспомнить, что есть, помимо мелких дребезгов и гулких страхов современности, иная родина, Россия духа, та великодушная, сострадающая и благородная Россия, для которой нет чужого горя. Я вижу, что есть люди, которые в себе несут зерно этого будущего. И, собственно, поэтому уверен, что прогнозируемое будущее состоится в личном и общинном опыте. (Здесь ведь дело не в количестве, а в качестве нового народа.)

Важнейшее направление взаимодействия современных литераторов с Набоковым определено тем новым (по отношению к прозе начала XX века) качеством символизма, который был исповедован и предъявлен писателем, *сюрреалистическим потенциалом* его творчества.

Зрелый символизм Набокова, в отличие от раннего, полного безумных откровений символизма начала XX века, чужд откровенных контактов с иными мирами, не предполагает потусторонних путешествий. В этом отношении современные опыты такого рода, эксперименты со смертью и посмертьем (скажем, у Людмилы Улицкой или Юлии Вознесенской) находятся вне поля контактов с творчеством Набокова. Мистические путешествия в современной прозе отдают, увы, картоном и клеем. К примеру, в мистический план переводит тематику творчества и Мария Рыбакова. Ее роман «Анна Гром и ее призрак» по форме — длинные письма от покончившей с собой девушки, которая существует в качестве призрака, способного вспоминать свое прошлое. Письма Анна пишет до той поры, пока некий корабль не доставляет ее к реке забвения. Видение загробного мира у автора близко к древнегреческому восприятию оного, что, очевидно, гармо-

нирует с образованием, полученным Анной. Иное предполагать трудно, как трудно и поверить в то, что автор в принципе допускает возможность подобного рода переписки.

У неосимволиста Набокова почти всегда (по крайней мере, в его русскоязычной прозе) есть постоянное присутствие реальной тайны, он знает, что в этом мире мерцательно отражается не условно-примышленное, а вполне реальное, онтологически конкретное инобытие. Но символизм Набокова трезв и осторожен. Писатель скептически отрубает слишком прямые пути к Абсолюту, отбрасывает старые оболочки (может быть, слишком даже решительно). Именно за счет этого он достигает новой ясности и новой простоты в отношениях с потусторонним.

Даже когда миры соединяются и в тощем старике, бродящем по его двору, рассказчиком опознается пророк Илья («Гроза»), Набоков умудряется фиксировать это чудо без малейшей принужденности — может быть, потому, что лишает его дидактических или прагматических последствий.

Очевидны уроки у Набокова-символиста и сюрреалиста в прозе некоторых наших современников.

Близок по методу к поискам Набокова опыт поздней прозы Генриха Сапгира. Его предсмертный «роман-версия» «Сингапур» строится на фантастическом допущении о возможности реального перемещения в пространстве силой любви и воображения. Возникает в романе мотив многовариантности человеческой жизни — и возможности странствия из варианта в вариант.

Противоречив и конфликтен опыт взаимодействия с Набоковым у прозаика-символиста Олега Павлова. Его взгляд на мир исходит из констатации наступления последних времен, конца света и Страшного суда. Причем Павлов наделяет свой взгляд свойствами божественного всеведения и дает ему право на суд над человеком. В его прозе есть замечательные, виртуозно выписанные эпизоды и отдельные образы, передающие, как правило, иррациональный ужас перед неизъяснимой злой силой в мире или отвращение, омерзение от жизни.

В режиме несистемных цитат общается с Набоковым Андрей Дмитриев. В манере Дмитриева есть и такой заход, который заставляет искать концептуальные намеки на закрытость человека, на непостигаемую тайну человеческого бытия. Человек не понятен даже самому себе. Автор не претендует на всеведение, потому что не верит в него. Довольно близкими к дмитриевским были и творческие задачи Ирины Полянской. Жизнь и человек у Полянской страшно сложны, совершенно непредсказуемы, отчего практически не поддаются никакой внятной оценке. Непостижима грань реальности и иллюзии, непреодолима пленка, отделяющая личное *я* от мира.

В этот контекст нужно вписать и прозу Виктора Пелевина, Сергея Солоуха, Георгия Петрова, Николая Кононова, Ольги Славниковой.

Наиболее часто с Набоковым соотносили отечественную литературу *постмодернистской парадигмы*. Мода недавних лет видела последнее (во всех смыслах) слово словесности вообще (и отечественной словесности — в частности) в феномене игрового постмодернизма, релятивизма и фикционерства, видела здесь развязку литературной истории и даже некий исход

литературы в условно-парадоксальное состояние между безусловным существованием и небытием. И одним из главных предтеч этого явления регулярно назывался Набоков. Неоклассический вектор творчества Владимира Набокова довольно легко оказалось перекрестить и понять в популярном (и весьма, признаться, поверхностном) мыслительном стиле 1990-х годов.

В принципе речь идет о той декадентской литературе, которая в конце XX века максимализировала, разнообразно освоила и присвоила только-только тогда открывшиеся возможности творческой свободы, используя традиционный (нео)романтический арсенал игр, разного рода волшебных превращений, ребусов, умозрений, фантазмов, остранений, стилизаций, — и предложив его результаты как виртуальную альтернативу актуальной реальности. В этой связи опыт набоковской свободы был заразительным, а некоторые особенности его творчества оказались неотразимо обаятельными. Кроме того, авторитетом Набокова в те, недавние, времена была сделана попытка подкрепить, укрупнить новое движение, опереть его на тот несомненный капитал, каким является набоковское наследие.

Попытка связать Набокова с литературной модой стала очевидным, но и наиболее банальным подходом к интерпретации и использованию набоковского наследства. Что-то важное тогда было схвачено точно, многое же — вынесено за скобки. Но и схваченное оказалось воспринято однобоко, а то и по-пролетарски грубовато. Поспешная аттестация Набокова постмодернистом заставила некоторое, изрядное число писателей заново сверить литературные ориентиры и начать строительство своей литературной стратегии с оглядкой именно на редукционистски препарированный в духе художественной моды опыт классика. Приходится сказать, что задача подражать «Набокову-постмодернисту» оказалась вполне по силам современным писателям. Теория и практика постмодернизма чаще всего брала набоковский опыт фрагментарно, воспринимая его не цельно, а мозаически. Нередко абсолютизировался тот или иной «прием». (У Набокова-то это органичное качество формы, сопряженное с содержательным заданием, нельзя и назвать приемом.)

Неглубоко взятые особенности художественного мира и метода Набокова не могут, думается, обеспечить сколько-то убедительное созвучие, соответствие современных проб и набоковской прозы. Поверхностное усвоение дает только эффект приблизительного сходства. Именно таков результат соотнесения с творческим опытом Набокова популярного в 90-е гг. *игрового концепта*, исходящего из представления о самодостаточности *метода игровых манипуляций, рассудочного конструирования*. Лет десять назад знаком преемственной связи с Набоковым весьма нередко могла считаться именно бесконтрольная игривость гедонистического колорита, присущая, скажем, Валерии Нарбиковой, Евгению Лапутину, Алексею Слаповскому, отчасти Виктору Пелевину и Татьяне Толстой. Было бы странно отказывать Набокову в конструктивных способностях и в авторском вкусе к игре. Об этом написаны книги (к примеру, Рахимкуловой и Люксембургом) и куча статей. Но у него эти качества никогда не вели к отказу от серьезных и ответственных авторских творческих заданий исповедального или гносеологического характера (ситуации «смерти автора»).

Смежный с названным вектор связи, который время от времени пытались найти между Набоковым и писателями постмодернистской ориентации — склонность к *мистификации*. Два-три отечественных набоковеда предложили даже увидеть в Набокове принципиального релятивиста, не пытающегося отделить подлинное от мнимого и даже сводящего реальность к фикции или предлагающего заведомо амбивалентное понимание («поливариантное прочтение») того или иного фрагмента и суммарного смысла той или иной своей вещи. В такой трактовке Набоков действительно предстает самым непосредственным предтечей многих наших прозаиков, упражняющихся иной раз в схожем роде (Владимир Шаров, Юрий Буйда, Анатолий Королев, Михаил Успенский, Мария Галина, Дмитрий Быков, Павел Крусанов и др.).

Очевидна перекличка этого (скорей всего романтико-декадентского в своих истоках) поветрия с творческой виртуозией Набокова, которую пытались нащупать и заявить как абсолютную данность. Однако в реальности логика набоковских мистификаций совсем иная. Она непосредственно связана, как уже не раз это было показано (в новейшем набоковедении — Александровым, Бартоном Джонсоном, Барабтарло, Леденевым и др.), с символическим потенциалом набоковской прозы. И еще более очевидно сокращение до минимума творческих задач при абсолютизации этой стороны творческого опыта Набокова. Едва ли много значительности придает такого рода прозе и трактовка, исходящая из стремления писателей упразднить предательски-неприглядную жизнь растворить ее в прекрасной реальности фантазии.

К концу минувшего десятилетия этот концепт окончательно легализовал себя в качестве обоснования для перехода писателя в сферу *массовой литературы*, к жанровой словесности, в которой автор действительно *умирает*. Этим путем довольно небезуспешно шли и идут дальше в новом веке Дмитрий Липскеров, Владимир Сорокин, Александр Бородыня, Б. Акунин (в творческом союзе со стоящим за псевдонимом Г. Чхартишвили). Иной раз даже пытаются легитимировать этот дрейф ссылкой на продуктивные контакты Набокова с массовой культурой (ситуация «Лолиты»). Нет ничего более далекого от творческих задач и от понимания писательского предназначения, свойственных Набокову.

Еще один набоковский вектор актуальной прозы — *эссеизм* (т.н. *металитературность*): тексты о текстах, полудневниковые заметы, где автор объясняется сам с собой, вовлекая читателя в разбирательства. Рассказывая свою историю, он поминутно обнажает и обсуждает собственные приемы, примеривает на себя чужих персонажей, сомневается в необходимости писать вообще... Эта стернианская и розановская интимизация прозы, технизированная ранним Виктором Шкловским, была заново открыта и некоторое время декларировалась как новое слово. Законченное выражение новая-старая практика получила в позднем творчестве Андрея Битова, она же проявилась у Евгения Попова и в книгах прозаиков-маргиналов, тесно связанных с критикой и литературоведением (Михаил Безродный, Михаил Гаспаров, Сергей Боровиков и др.). Чаще всего попутно сокращался, увы, сравнительно с тем же В. Розановым круг тем для такой профессиональной рефлексии. Писатель отказывался дерзать и говорил не о Боге и мире, а

скорей об уместности того или иного приема или правдоподобии той или иной истории, разбавляя уроки анекдотами или очерковыми зарисовками.

В критической литературе были проведены параллели и сделаны отсылки к рефлексивному опыту такого рода Набокова. Однако реально Набоков всегда легко преодолевал искушение растворить сюжет и действие в комментариях. Субъективистская сосредоточенность на своих отношениях с писательским и жизненным делом в принципе ему была не свойственна и бывала им предъявлена как довольно маргинальная возможность художественной рефлексии («Дар», «Другие берега»). В этой связи те же Битов или Попов выглядят на фоне Набокова гротесками. Набокова вообще трудно заподозрить в переоценке субъективного *я*, влекущей подробное отслеживание перипетий творческого процесса. Сами по себе эти перипетии волновали его по другой причине, в связи с проблематикой смысла творческого акта, которая у него далеко уходит за пределы беседы с самим собой.

Находили у Набокова и свойственную некоторым современным писателям склонность к *цитатности, к центонности, к культурным аллюзиям и метатекстуальным ссылкам*; и готовность *иронизировать и пародировать*; и повышенная *субъективность мнений и оценок*. Здесь действовала все та же логика абсолютизации, овнешнения приема в отрыве от глубинного смысла, которым этот прием оправдан в творчестве Набокова.

Наиболее отчетливо односторонность в усвоении опыта Набокова проявила себя в том плане, который был связан с попыткой опереться на утверждение Набоковым *самодовления стиля*.

Стилистическая изощренность Набокова имеет особые, глубинные истоки и отнюдь не мешает пульсации жизни. Напротив, она выявляет в этой жизни сокровенные следы творящегося таинства. Но вырванная из контекста одна-единственная фраза классика в недавнее время легла в основу далеко ведущих выводов, свободных от требовательной проверки материалом набоковской прозы. В этом утверждении виделись две вещи: либо максимализированная и самодостаточная искусность — либо, при чуть более продуктивной попытке уяснить содержательную основу стиля, стремление набрасывать покровы, создавать аполлонические оболочки, чтобы скрыть зияющие бездны под ними. У современных писателей, которые попытались абсолютизировать стилистическое щегольство, стиль действительно обратился в некую глухую, мертвенную завесу между прозаиком, его словом — и жизнью. Таких примеров было много, и многие уже хорошо забыты ввиду явной мертворожденности этой пан- и гиперстилистической прозы.

Одно из направлений такого сокращенного в задачах диалога с набоковской традицией — *самодовлеющие стилизации*. Литературная неудача романа Татьяны Толстой «Кысь», весьма сомнительные успехи Юрия Буйды-романиста связаны как раз с форсированием чисто стилистических умений и средств. Стиль в такой прозе нависает над смыслом, давит на него, оседает тяжелой массой, хороня живое начало. Характерны в этом смысле также «этопея» Александра Морозова «Чужие письма» созданная в 1968 году (опубликована в 1997 году и даже получила премию Русский Букер), роман Антона Уткина «Хоровод», «опыты» Марины Вишневецкой, проза Р. Волкова и С. Чугунова, Дениса Осокина, Евгения Бестужина...

Наконец, и вкус Набокова к странностям получает гипертрофированный отклик у современных авторов. Разного свойства *экзотика* входит в новую прозу, как правило, не без оглядки на Набокова. Один из примеров такого рода дает творчество Анатолия Королева.

Объединяющим вектором в усилиях изобразить Набокова как предтечу постмодернизма в современной словесности явилась упорная попытка *избавить литературу от груза важных задач, освободить писателя от миссии.* Приходится признать, что такого рода настойчивые попытки, принципиально искажавшие или как минимум сильно обеднявшие творческий облик Набокова, заведомо не могли увенчаться успехом. Они разве что могли несколько скомпрометировать Набокова, отказав ему в серьезности и важности решаемых им задач.

Не раз уже упомянутый здесь Вик. Ерофеев заметил: «...Набоков с сачком — не дело. Что же касается бабочек, то они никого не волнуют». И попал пальцем в небо. Бабочки Набокова-символиста — существенный полюс внимания современных писателей.

Знаменитая формула о русской эмиграции как послании в нашем случае осуществилась с убедительной точностью. Духовное возвращение Владимира Набокова в Россию состоялось максимально полно, с той предельной и последней полнотой, которая только может состояться в пределах русской словесности, являющейся средоточием отечественной культуры и, пожалуй, средоточием русской жизни в принципе. Набоков сделался метатемой современной русской словесности. В особенности прозаик Набоков. Можно сказать, что нынешняя русская проза — в основном проза постнабоковская. Писатели, которые ни в чем друг на друга не похожи, черпают творческие импульсы у Набокова. И мы, читатели, находим у них различно выраженную связь с классиком.

Можно зафиксировать даже нечто более принципиальное и обязывающее: в той степени, в какой русская литература нашего времени обречена на Набокова, обречена на него и жизнь человека и социума: сверяться с ним, равняться на него, спорить с ним, драматически переживать процесс сопряжения, слияния-отторжения... От него уже никому не отмахнуться. Когда-то Гоголь говорил, что Пушкин — это русский человек двести лет спустя. Может быть. Двести лет еще не прошли. Рано судить. Но сегодня сознающий себя, рефлексивно и творчески реализующий себя русский человек — это, скорей всего и прежде всего, Набоков. Пока что именно Набоков — *наше всё.* Или почти всё.

Однако ключами Набокова, как видим, открываются разные пространства опыта и смысла. Есть тесные и убогие каморки, в которых сам В.В. иногда существовал, но никогда не жил. А есть выходы в космос русской и мировой культуры и в тайну мироздания. Современная литература, следом за Набоковым (и, конечно, другими классиками русской и мировой словесности) вступающая в диалог со столь большими и важными явлениями бытия, создает значительный мир, полную острых и глубоких смыслов ойкумену. Может статься, этот труд не останется без серьезных исторических и культурных последствий.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

1. Художественная проза

А. «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни»
(Четвертый квартал 2005 г.)

В конце 2005 года в журналах довольно уверенно заявляют о себе писатели, пришедшие в литературу уже в постсоветское время.

Один из лучших современных прозаиков среднего поколения сорокадвухлетний **Юрий Екишев** из Сыктывкара в **повести «Дыхание ветра»** («Наш современник», № 11[1]) говорит о том, что с трудом поддается пересказу. Хрупкая нежность, связывающая мужчин (отца и двух братьев), существование на грани бытия и инобытия, драма утраты и мистерия преображения — этому найдены ни на что не похожие средства выражения, характерные для этого тонкого исследователя и изощренного выразителя маргинального, пограничного опыта человеческой души. Вещь нерукотворная, ускользающая от рассудочного понимания, но неотразимо обаятельная.

В **«Ташкентском романе»** 35-летнего **Сухбата Афлатуни** («Дружба народов», № 10) жизнь героев также лишена связной логики. Афлатуни — тонкий, умный рассказчик, находящий способ непринужденно говорить о человеческом существовании как о некоем парадоксе, как о неразрешимой загадке. Это кажется трогательным и милым, хотя большой глубины и не обещает. Колоритное повествование о людях, заброшенных в советскую имперскую тмутаракань, и о тех, кто связан с этими местами рождением и происхождением. Любовные драмы, блуждания и потери, мистический акцент, жесткая проза жизни и ее юмор, смена лет и эпох... Проблематичны с точки зрения художественной убедительности мистические намеки в романе, резонирующие на восточную, индийскую мудрость. Впрочем, это интересная (по крайней мере в культурологическом отношении) попытка заново создать некий культурный, духовный универсум на той почве, которая, казалось, была совершенно трансформирована в результате заката империи и национализации культуры Средней Азии.

Сорокачетырехлетний петербургский автор **Анатолий Бузулукский** вышел к читателю с лучшей на сегодня своей вещью — **повестью «От Харитонова ушла мать»** («Знамя», № 10). Ее содержание — тщательно лирически пережитый, подробно детализированный кризис среднего возраста. В принципе — кризис, который можно считать и следствием недореализованности, компромиссов с житейской рутиной, жалкого соглашательства на фоне внутренней неуверенности и неудовлетворенности. Что-то такое, в чем

[1] Это, отметим, специальный номер, посвященный литературе республики Коми.

отражается судьба почти всего этого незадачливого российского поколения, к которому принадлежит герой (да и автор). Вещь временами просто отчаянная, что и придает ей значительность.

Вообще невразумительность главного героя, обрубленность его горизонта — характерная, увы, черта в прозе относительно нового поколения писателей. Показательна в этой связи **повесть** заласканного критикой **Олега Зайончковского «Прогулки в парке»** («Октябрь», № 10). Грамотный, культурный герой повести, рассказывающий о себе, — человек, однако, весьма дюжинный. Живет себе поживает, ни к чему особенно важному не стремясь. У него есть собака, поглощающая львиную долю его внимания. И еще есть жена, ей достаются остатки. По логике прозаика, большего от героя грех и требовать. Потрясением для этого персонажа становится ночная находка: в парке во время прогулки с собакой он натыкается на труп девушки. А потом ему доведется еще и побороться с маньяком-убийцей. Да, такое вот приключение. Персонаж оказывается героем поневоле. Случайным героем... Итог — два трупа и чувство глубокого удовлетворения у героя. Хорошие повествовательные способности Зайончковский реализует в мейнстримной, удобной, гладкой прозе. За что он и любим критиками, ценящими стиль больше смысла.

Ростовчанин **Денис Гуцко** в **рассказе** «Орлы над трупами» («Дружба народов», № 10) представил жесткую современную историю. Герой узнает, что его жена спала с начальником — узнает уже после смерти того. Весь испереживался парень, судит — сначала жену, потом себя. Переживает и жена — но по-своему, будучи не в силах до конца оценить ситуацию, в которой однажды ответила на позднюю любовь хозяина. А другой персонаж, холуй покойного патрона, рефлексирует по поводу денег, которые воровал у хозяина. Гуцко уверенно и умело, рельефно подает психологический план ситуации, заостряя ее сюжетными средствами. Тональность повествования — на грани сатиры. По сути, речь идет об одной из главных для этого писателя смыслотем: деградации человека в современной России.

Новые **рассказы Романа Сенчина** в «Дружбе народов» (№ 11) — очередные опыты в контексте того поиска, который ведет автор в последние года два. Любопытен большой рассказ **«Проект»**. Начинающий прозаик из Сибири выламывается из своей унылой среды обитания и ищет себя в столице, где становится, так сказать, материалом для литературного проекта: вынужденно эксплуатирует свой прежний опыт, живописуя бред убогого существования в российской глуши. А ему хочется чего-то иного, но вот чего — он не очень понимает сам, ощущая, что поток, который когда-то нес его, обмелел и что он сам кончается как литератор, даже, по существу, не начавшись. Возможно, бывший сибиряк Сенчин опосредованно выражает здесь и свои проблемы, которые и сам не без труда учится решать.

Рассказы Сенчина публикует и журнал «День и Ночь» (№ 11-12). В рассказе **«За встречу»** студент Андрей приезжает на каникулы к родителям в село. Не тянет его общаться со здешними сверстниками, но однажды приходится. Ребята спиваются от бессмыслицы жизни, да и просто легче катиться вниз, чем расти вверх. Андрею это не нравится, но переубедить аборигенов ему не удается. Но сам он, по крайней мере, точно знает, что нужно сопротивляться обстоятельствам. В рассказе **«Ложка сахара»** герой — посетитель

ночного клуба. Никто не должен догадаться, что на красивую ночную жизнь он тратит последние деньги, позаимствовав гостевую карточку у приятеля. Сам же работает дворником. В рассказе **«Жизнь и работа Николая Сергеевича»** главный герой, простой мужик, ворчит дома на американцев. А на службе (он милиционер) герой на автомате дубасит молодых хулиганов — участников антиамериканской демонстрации. Сам Сенчин из этой коллизии никаких выводов не извлекает.

Одессит **Алексей Рубан** дебютирует в «Октябре» (№ 12 — специальный раздел, посвященный начинающим авторам) **повестью «Три дня и три ночи»**. Это монолог героя, молодого человека, который блуждает по окрестности с остановившимся взглядом, пассивно фиксирующим детали мироздания. Именно этому, вялому и невразумительному герою то ли свыше, то ли еще откуда дан шанс изменить за трое суток жизнь. Чего не происходит. Культурная, анемичная, избыточествующая литературностью проза. Не дебютная, а какая-то, мы бы сказали, старческая.

Столь же пассивен и вял и герой-рассказчик у еще одного дебютанта, **Андрея Темникова** из Саратова, в **рассказе «Черепаха»** («Октябрь», № 12). Изюминка здесь — слегка эксцентрические детали: шведская семья, гроб для мамы (она же чья-то теща), ждущий своего часа на антресолях. Все это как минимум не ново. Темников — старательный эпигон не весьма оригинальных отечественных беллетристов 90-х годов, изобретавших условные обстоятельства и размещавших в них картонных героев.

Наконец, в дебютном блоке «Октября» (№ 12) отметился **Михаил Наринский** с **рассказом «Скотти»**. Времяпрепровождение наркоманов в Нью-Йорке описано в манере тщательной фиксации мелочной жизни.

ЛЮБОВНЫЕ КОЛЛИЗИИ

«Андре Дерен» Юлии Алехиной («Знамя», № 12) — симпатичный **рассказ** о студенческой любви. Остроумный, изящный. Краем проходит, однако, и другая тема: есть в рассказе элемент социальной типизации. Избранник героини, тот самый *русский человек на рандеву*, — крупный пофигист. Хорошего в нем — только чистые глаза...

Лирическая проза **Дмитрия Новикова** (**рассказ «Бабские горки»** — «Новый мир», № 11) на сей раз, напротив, представляет собой, скорее, опыт разочарования в возможности женской любви, как таковой. Много грусти. Рассказчик гуляет по лесу и делится разными соображениями и наблюдениями: «Вот тот спокойный, ровный лесок назывался долиной ожиданий. В нем хорошо было ходить по ровной земле, испещренной выпуклыми выростами корней, и ожидать чего-нибудь от жизни. Счастья, еще не уверившись, что счастье всегда в прошлом, любви, не убедившись окончательно, насколько она товарна, статусна иль денежна».

В **рассказе Антона Уткина «Дым»** («Новый мир», № 12) изображено маленькое любовное приключение у моря. Тема: женская месть. Изящный рисунок несложных чувств.

Сергей Денисенко в **рассказе «Неадекватная»** («День и Ночь», № 11-12) изобразил уборщицу из больницы, влюбленную в Филиппа Киркорова. Девушка к тому же не в себе после менингита. Странноватая такая.

Что-то такое по поводу любви, только в семейном антураже, изобразил на сей раз и **Афанасий Мамедов** в «диптихе» **«Подоспевшее счастье»** («Октябрь», № 11). Различные обстоятельства, связанные с жизнью давно отъехавшего в Израиль друга, становятся поводом, чтобы импрессионистически набросать портрет любимой девушки, которая затем становится женой рассказчика. Впрочем, и обстоятельства знаменательны: сначала обрезание перед отъездом на Землю обетованную («Хорошо помню: год стоял 1992-й. И был тот год вторым от начала третьей революции, голодным, но на события чрезвычайно богатым. Одним словом, славный год. Год первый и последний российской демократии. Того почти эзотерического чувства свободы, исторической значимости всего происходящего вокруг нас я не испытывал более во всю жизнь свою»), затем сентябрь 2001 года и тревоги, связанные с предположением, что друг погиб в нью-йоркских башнях-близнецах (оказавшиеся, однако, ложными). Симпатичные лирические этюды.

Прелестную «новогоднюю историю» о первой, детской любви поведал **Дмитрий Шеваров** в **рассказе «Санечка»** («Новый мир», № 12). Его заболевший маленький герой в больнице восхитился светленькой девочкой. Рассказ и сам — светлый и немного грустный.

Опытный прозаик **Семен Файбисович** в **повести «Остатки сладки»** («Знамя», № 10) решил рассказать, что оставили ему (его герою), чему его научили женщины, которых он любил и с которыми жил. Файбисович — отличный рассказчик, умный наблюдатель; прощаешь ему и очевидное многословие, и дефицит общего смысла. И странноватую все-таки задачу найти нечто полезное, прагматическое по итогу исчерпанных отношений.

Олег Чувакин также предлагает читателю два остроумных **рассказа** о любви («Сибирские огни», № 10). В рассказе **«Мой милый Махлеев»** девушка из любви к аспиранту-философу пытается напрямую реализовать его идею — бороться с недоверием как главным злом. Результаты плачевны. В **«Рассказе о любви»** завзятый книгочей и начинающий литератор делает предложение девушке-продавщице из букинистического магазина. Однако со временем понимает, что утоленное обладанием чувство уже не способствует творчеству.

К самой любопытной прозе квартала относится любовная проза **Ольги Трифоновой:** ***роман-версия*** **«Сны накануне»** («Дружба народов», № 11-12). Это попытка разгадать и описать логику связей в треугольнике вполне реальных, исторических и даже знаменитых фигур. Не имея твердых и исчерпывающих доказательств, Трифонова все-таки довольно уверенно соединяет два плана повествования. Во-первых, изображенный ею треугольник (Альберт Эйнштейн, Сергей Коненков, Маргарита Коненкова) истолкован как треугольник любовный. Во-вторых, отношения Альберта и Маргариты оказываются опосредованы советской разведкой и включены в замысел похищения ядерных технологий на Западе. Это придает настоящей любви двусмысленность и трагифарсовый колорит. Трифонова схватывает важную и значительную ситуацию XX века, проблематизируя существование незаурядного человека, ставшего заложником спецслужб. Такие сюжеты появлялись в западной литературе (от Грина до Ле Карре). Но у нас они удавались, пожалуй, лишь Анатолию Азольскому. И вот здесь мы имеем мастерс-

кую, умную, тонкую прозу. Интересная и значительная вещь. За последние годы Трифонова-писатель явно выросла и стала одним из лучших наших исторических беллетристов.

Кстати, «Дружба народов» в № 11 публикует и два **рассказа** одного из патриархов нашей словесности **Анатолия Азольского**. В них прозаик сполна проявляет свойственную ему остроумную изобретательность, создавая детективного толка смысловые ловушки для читателя и огорошивая его неожиданным выходом из ситуации. Рассказ **«Еврейская песня»** — о дележе наследства, которое необходимо утаить от советской власти. Рассказ **«Бизнес»** — о том, как малозначительная деталь привела удачливого коммерсанта к озадачившему его открытию из сугубо интимной жизненной сферы.

Студент Литературного института тридцатичетырехлетний **Антон Тихолоз** дебютирует в «Новом мире» (№ 11) **повестью «Без отца»**. Повесть представляет собой пространное письмо умершему отцу повествователя (кажется, и самого автора), содержащее подробные и тщательные воспоминания обо всем, что удержалось в памяти. Странноватый текст, продиктованный очевидной потребностью запечатлеть во всех деталях образ горячо любимого человека.

«Молодо-зелено» омича **Льва Трутнева** («Сибирские огни», № 10) — это **роман** воспитания, история прямого, честного паренька из сибирского села. Действие происходит в середине XX века. Герой защитил одноклассника и вступил в жесткий конфликт с сынком районного начальника, после чего не стало ему жизни. Жестко прописано Трутневым самовластье местного начальства в глухом углу страны. Но ничего, выдержал парень испытание. Да и свет не без добрых людей, помогли мальчонке. Слог Трутнева кудряв и затейлив. Симпатичный традиционализм.

Два новых **рассказа Евгения Шкловского** в «Новом мире» (№ 12) традиционны для этого автора по своей задаче. Шкловский снова предъявляет штучные, психологически специфические случаи. В одной истории герой, попавший некогда в автокатастрофу, с трудом собирается с духом, чтобы снова повести машину. В другой — два брата, мальчишки, попадают в трудную, унизительную ситуацию.

В **повести Александра Трапезникова «Возвращение домой»** («Москва», № 12) героиня, современная юная девушка, из Сибири приезжает покорять Москву. Попробовала того-сего и приняла ответственное решение вернуться на родину. История полусказочного свойства, с рождественскими какими-то персонажами.

В **повести Александра Мишарина «Решение»** («Москва», № 12) главный герой, крепкий старик — хозяин военно-промышленного концерна, — патриот-государственник. Он кончает с собой, не в силах вынести разрухи в деле и измены своего заместителя. Тема для «Москвы» типичная, как и качество прозы — довольно посредственное.

Борис Агеев из Курска в **романе «Душа населения»** («Москва», № 9-10) вывел колоритного Деда из слободы Харасейки. Старый кочегар, душа этой самой слободы. В разговорах с ним некий профессор учит старика, что гибнут те цивилизации, которые погнались за наживой. Но Деда учить не нужно: у него и так практически ничего нет... А после местный пьянчуга уби-

вает Деда, сжигая его в котле кочегарки. Уходит хорошее, а что остается? На этот вопрос у Агеева внятного ответа нет.

Многие сюжеты в прозе так или иначе связаны с гражданскими войнами и смутами последних двадцати лет в России и вокруг нее. Особенно интенсивно идет художественный поиск, резонирующий на КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ.

Почти одновременно в «Континенте» (№ 126) и в «Знамени» (№ 12) дебютировал тридцатитрехлетний **Герман Садулаев** из Петербурга. В «Знамени» публикуется его *осколочная* ***повесть*** **«Одна ласточка не делает весны»**. Это опыт лирического эпоса, плавно перетекающего в реквием. Автор — по самосознанию чеченец; предмет повествования — драма чеченского народа, драма простых людей, попавших в страшную историческую мясорубку. Садулаев не идеолог, скорее поэт, Арион, оплакивающий горестную участь народа, драму и гибель своих близких. Он, разумеется, пристрастен. Тенденциозен. Его подход — экспрессионистский, потому что в глазах у него стоят именно страшные эпизоды, зачастую свидетельствующие о безнаказанном геноциде чеченского народа. Приходилось уже слышать упрек в адрес Садулаева — в том, что он ненавидит русских, Россию. Пожалуй, в данном случае точнее говорить об избирательности любви.

Оригинальный подход к теме предложил и ярославец **Георгий Гратт (Воскресенский)** в позднем дебюте — отличной **повести «Между августом и сентябрем»** («Дружба народов», № 10). Ситуация выписана Граттом очень тщательно, умело, мастерски. Постепенно назревает поединок двух снайперов: одного, со стороны повстанцев Кавказа, и другого, со стороны федералов. Он оборачивается и своего рода духовной дуэлью. Наивный парнишка-наемник, охотник из Сибири, назначен командирами отследить и уничтожить кавказца, который методично отстреливает офицеров. Но по ходу дела читатель узнает, что этот самый кавказец — на самом деле вполне русский парень, Борис, который однажды сделал трудный выбор, устыдившись своей роли в неправедной войне. Оба героя гибнут. В некоем инобытии они встречаются и не то чтоб прощают друг друга, но достигают какого-то почти бессловесного взаимопонимания. А автор в эпилоге с горечью говорит об историческом парадоксе, когда непримиримыми врагами стали потомки тех, кто вместе воевал в мировой войне.

Оренбуржец **Владимир Пшеничников** в **рассказе «Константин»** («Новый мир», № 10) изобразил поселкового работягу, у которого, как постепенно выясняется, вырезали всю семью во время какой-то азиатской смуты. Он один спасся и бежал в Россию. Успев, однако, тоже повоевать и отомстить кому надо. Теперь живет тише воды, ниже травы. Не сразу его и заметишь, смешной такой увалень, весь кураж из него вышел... Пшеничников замечательно точен в воссоздании бытовой и психологической стороны простонародной жизни. Невзначай сентиментален, наблюдателен, беспристрастен. В другом **рассказе**, **«Жужик»**, герой-рассказчик — журналист, который бросает пустую работу, мыкается, что-то находит... В этом тексте смысла меньше.

А **Александр Лобанов** сам оказался в эпицентре войны в Приднестровье. Об этом и его **рассказ «День республики»** («Наш современник», № 11) — реквием по тем, кто погиб в ходе междоусобья, чтобы утвердить независи-

мость Приднестровской Молдавской Республики. Автор заведомо пристрастен и своего пристрастья не скрывает. Он — на стороне приднестровцев. Это пристрастие придает рассказу сентиментально-дидактический колорит. Вообще, те или иные взвеси сентиментализма весьма характерны для рядовой прозы, авторы которой не замахиваются на художественный поиск, удовлетворяясь бесхитростным решением идеологических или моралистических задач.

В сентиментальном **рассказе Владислава Сосновского** («Наш современник», № 10) **«Любовь по пятницам»** героиня по имени Вера любит безногого инвалида кавказской войны — по пятницам. Вера замужем, но в итоге она решает оставить успешного мужа ради любимого. А муж дает ей денег на его протезы.

В сентименталистско-сказовой тональности создан и **рассказ** коми прозаика **Алексея Попова «Мягкие валенки»** («Наш современник», № 11). Любил когда-то Опонь Матрену, да выдали ее за богатого. Всю жизнь Опонь валял валенки. И напоследок, по просьбе Матрениной внучки, свалял самые лучшие — для старой своей подружки. Да и умер. Так-то.

В подростковой **повести Елены Габовой «Беличья шкурка»** («Наш современник», № 11) уроки жизни дают глуповатой девчонке Натке сначала ее папа (положительный образ коммерсанта!), а потом умный и эстетически воспитанный одноклассник Юрка. Помаленьку малышка выходит из состояния бессознательности. Габова пишет просто и без затей. У нее уместны и упрощения, и дидактика — если учесть возможного адресата повести. Это полезная проза для маленьких диких пятнадцатилетних дурочек, если только эти дурочки еще умеют читать...

Наивно-лубочны и **рассказы** о любви еще одной писательницы из Сыктывкара **Тамары Ломбиной** («Наш современник», № 11). Любовь для Ломбиной — абсолют, ради нее можно принести в жертву и застарелые предрассудки, и новейшие веяния эмансипации.

Не лишены оттенка сентиментальной сусальности **рассказы** священника **Николая Агафонова** («Наш современник», № 12). В рассказе **«Друзья»** два архиерея едут в деревню — каяться, к старому другу-священнику, перед которым некогда провинились. Покаялись и помирились, вознаградили друга, так все ладно стало. Один из архиереев, кстати, следит по толстым литературным журналам за новинками словесности. Читает он, по всему ясно, журнал с романом Айтматова «Плаха». При этом почему-то считает Айтматова казахом и мусульманином. В другом рассказе, **«Внук Шаляпина»**, некий протодиакон путешествует по Волге и развлекает народ пением. Высоких патетических нот сентиментализм отца Николая достигает в рассказе **«Мы очень друг другу нужны»**. В блокадном Ленинграде священник отмолил у Бога сына, тот пропал без вести — а потом нашелся... Проза простодушная, но иной раз и хватает за душу, ничего не скажешь.

Еще одна военная, драматико-патетическая история — **рассказ** питерца **Александра Полевича «Под зеленой звездой»** («Наш современник», № 12). Разведчики зашли в деревню, а там один живой — мальчонка, всех остальных немцы расстреляли. Схоронили трупы в братской могиле. А парнишку хотели взять с собой. Да он — не идет. Решил остаться в деревне, чтоб встретить тех, кто вернется с войны. Планирует жениться: «Не пропадать

же деревне...» Трудно однозначно отнестись к такому итогу рассказа. Нет ли тут все-таки какого-то насилия над правдой жизни?

Рассказы тележурналистки **Маргариты Хемлин** (цикл **«Прощание еврейки»** — «Знамя», № 10) — полуанекдотического свойства истории о советских евреях, людях трогательных, чудаковатых, простоватых, с каким-то иррациональным мотором.

Далее **ДВЕ ОДИССЕИ.**

В одной (**«Красный Сион»** — «Знамя», № 12) **Александр Мелихов** рассказывает о судьбе мальчика-еврея. В 39-м году его семья после оккупации Польши немецкими и советскими войсками бежит из немецкой зоны в советскую. Так начинаются мытарства, которые в итоге приводят остатки семьи в Израиль. Он и оказывается для героя Спасительным Домом. Простые люди не в силах бороться с историческим потоком, который несет их к страданиям и к смерти. Документальная основа повествования — история жизни израильского писателя Бенциона Томера.

А **рассказ Владимира Крупина «Отец, я еще здесь»** («Наш современник», № 10) — отчет о поездке автора на вятскую родину. Впечатления, воспоминания. «Двухэтажный дом отца я узнал сразу... Ну вот я и пришел, потомок кулака, и мог бы как внук репрессированного деда занять этот дом». Но что теперь делать с этим запущенным жильем в оскудевших жизнью местах?.. На обратном пути новые приключения. «Южные крикливые люди» вывесили в автобусе фото обнаженной девицы. Рассказчик фото содрал и бросил. Как всегда, Крупин смотрит на мир с кислой миной: ведь кругом грехи и убытки!

А вот геолог, доктор наук **Яков Юдович** в **рассказе «Прорыв на Лену»** («Наш современник», № 11) вспоминает о своих восторге и упоении от встречи с великой рекой: «О, простор! О, свобода! О, безграничные синие дали...» В маленьком рассказе есть еще и воображаемая игра с читателем на тему робинзонады.

Святочная ***повесть*** **Олеси Николаевой «Ничего страшного»** («Знамя», № 12) — околоцерковный лубок. Рассказчица купила дом возле монастыря, куда регулярно ездит на богомолье. А как его сберечь от злых людей, когда в доме никого нет? Попытки найти квартиранта оборачиваются обильными анекдотическими перипетиями.

Рассказы Юрия Петкевича в подборке **«Пяточка»** («Знамя», № 10) — житейские истории, вся прелесть которых в непринужденно-простодушной манере, с которой автор ведет повествование, в причудливо-странном повороте, который придан у автора жизни. Что-то трогательное и порой очень нежное.

Рассказ «Мавр» Ильдара Абузярова («Дружба народов», №12) — опыт приживления поэтики восточной сказки (с мистико-суфийским оттенком) к современным реалиям. Игрок в казино и судьба.

Экономист **Евгений Сабуров** в «Октябре» (№ 11) публикует свою **повесть «Беглый взгляд на всякого нищего»**, написанную в 1981 году (журнальный вариант). Как извещает Сабуров, «в тот благословенный год автор защитил кандидатскую диссертацию и впервые — благодаря этому собы-

тию — столкнулся с научно-педагогическим сообществом. Впечатление было настолько острое, что, не претендуя на лавры великих Д. Гранина и И. Грековой, автор решил лишь облегчить преисполненную восторгом душу в скромной прозе». Сказано иронично. Повесть о быте и нравах вузовской среды получилась у Сабурова едкая, умная, холодновато-злая, почти сатирическая. «Небо прояснело, высыпали звезды, и, садясь уже в такси, Василий Петрович подумал, что не худо бы и умереть поздней весной, на Святой неделе, рядом с холодной, нелюбимой женщиной в этой холодной, нелюбимой стране».

Обширный **роман Василия Страдымова «Черемисин ключ»** («Сибирские огни», № 11-12) — историческое повествование о судьбе выходца из старообрядцев Лариона Черемисинова, сибирского воеводы екатерининских времен. Он отличался честностью, заботой о человеке, внес вклад в освоение Сибири. Старательная историческая беллетристика.

«Сыворотка правды» Владимира Романовского («Москва», № 11) — приключенческая **повесть** с социальными акцентами. Начинается с грабежа, кончается изобретением чудесного снадобья.

ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЕ СЮЖЕТЫ

В «Новом мире» (№ 10-11) в **романе Сергея Есина «Марбург»** подробно, даже детально описан чахлый стариковский быт состоящего при литературе московского профессора. Немало места в романе уделено отношениям героя с женщинами, любовным похождениям и перипетиям. Профессора зовут на гастроль в Германию, в Марбург, что дает ему повод пространно рассуждать о когда-то живавших в этом городке Ломоносове и Пастернаке. Рассуждения почти панибратские — словно о каких-то дальних родственниках. А профессорская мысль то хромает (мелковато трактует герой поводы и логику творчества), то набирает силу (когда подвергаются разбирательству любовные осложнения в жизни его персонажей). Вообще, в жизни героя многовато прагматической рутины, хотя старания и заботы профессора об умирающей жене придают его образу толику благородства. Культурная, тщательная проза.

Там же, в № 10 «Нового мира» (почему-то в разделе «Опыты») текст **Ольги Новиковой** размером в повесть: **«Любя. Из цикла "Вымыслы"»**. В прежние времена он мог бы даже вызвать легкий литературный скандальчик. Теперь прошел незамеченным. Новикова поставила задачу раскрыть интимную сторону жизни двух немолодых поэтесс, Анны и Марины, для чего укладывает каждой в постель одного и того же московского плейбоя конца 30-х годов, начинающего сочинителя Евгения. Зрелых дам балует страстный молодой любовник, к тому ж офицер. Появляется в повести и супруга Пастернака Зинаида. Но ей по какой-то причине не удается воспользоваться горячим телом готового к любым услугам юноши. (По логике этой прозы, нужно понимать, ей хватает и мужа; а у Анны с Мариной с этим проблемы и перебои.) В беллетристике Новиковой эрудиция и остроумие сочетаются с фривольностью и амикошонством, что ведет к снижению всех задетых тем. В этой связи напрашивается грубоватое, но, кажется, адекватное определение: проза умной *бабы*.

Все-таки есть на текстах Новиковой и Есина какой-то отпечаток современной культурной ситуации с ее мелкими целеполаганиями и мутными перспективами. Искушенность и даже изощренность не сопровождаются чем-то неизмеримо более важным. Значительностью творческой задачи, что ли. Впрочем, примерно то же самое можно сказать и о другой прозе, трактующей окололитературные события.

Трудноватое житье-бытье взбалмошной писательницы-мигрантки на Западе описано в рассказе жительницы Голландии **Марины Палей «С ветерком в тартараты»** («Новый мир», № 10). Трудности с получением местного гражданства, способы заработков, всяки мелкие непотребства, которые плохо переносит чувствительная душа героини-литераторши. Не так уж и не всюду хороша европейская жизнь, уверяет нас прижившаяся в европейских уютах Палей. Не завидуйте, граждане, подданной «кукольного королевства». Трудно ей. Иной раз даже невыносимо трудно. Почти смертельно!..

Обширное полотно самой крупноформатной вещи сезона, **романа Алана Черчесова «Вилла Бель-Летра»** («Октябрь», № 10-12), образовано беллетристически питательными, культурно насыщенными перипетиями некоей условной ситуации. Черчесов обнаруживает отличное владение «среднеевропейским» повествовательным стандартом, широкой палитрой средств постройки большой формы. Да и само действие романа происходит в Европе, что задает дистанцию, освобождая писателя от необходимости сталкивать героев с шероховатой российской действительностью. На виллу Бель-Летра в Германии, владелица которой (т.е. виллы, конечно) когда-то давно исчезла бесследно, некий фонд приглашает писателей из разных стран (России, Англии и Франции), чтобы они создавали здесь художественные версии давнего события. Далее Черчесов начинает завязывать и развязывать всевозможные сюжетные узелки, щеголяет эрудицией (представляя трех (!) писателей он вполне держит марку: каждый образ самобытен и небанален). Немало у него ярких эпизодов, умных мотто. Есть в романе и интеллектуальные ристалища, и психологические поединки, и вставные новеллы, и детективного характера заострения коллизии, и ТАЙНА. Рафинированный автор играет с читателем, как кошка с мышкой, имея в виду создать конструкцию, которая имеет вполне косвенное отношение к жизни, как таковой. Максимализировав понятие литературной условности, он и происходящее в романе представляет как набор условно-игровых версий, заменяя кровь клюквенным соком. По сути, перед нами один из самых культурных отечественных рефлексов на явление западного постмодернизма. Несколько запоздалый, да. Выпадающий из современного историко-культурного контекста, да. Роман, как уже было сказано, вполне отвечает духу европейского литературного мейнстрима. Проблема в том, что если взять широкий фон, то падает в глаза и вторичность авторских средств и идей, и довольно все-таки слабая обеспеченность текста глубокой мыслью о человеке и мироздании (предполагается, видимо, что время такой глубины прошло и укоренять литературное творчество в философской и религиозной почве больше не требуется). В результате мы имеем весьма культурную, герметичную беллетристическую конструкцию, вполне пригодную для чтения на досуге теми читателями, которые питают интеллектуальные амбиции.

МЕМУАРЫ. NON FICTION

Литературе non fiction посвящен отдельный номер журнала «Знамя» (№ 11).

Небольшой **очерк Виктории Волченко «Зина»** — воспоминания о пребывании автора в психушке. Образ жизни, типы, нравы, друзья и враги. Яркий текст.

Журнальный вариант вводной главы **Елены Боннэр** к дневникам Андрея Сахарова, которые предполагается издать весной текущего года, называется **«До Дневников»**. Уточнения, дополнения, комментарии, образ жизни, большая взаимная любовь двух незаурядных людей, впервые встретившихся в весьма зрелом возрасте. Попутно и неизбежно — очерк правозащитного движения в СССР. Подкупает стремление Боннэр быть безупречно честной и точной, в каждой детали.

«Открытки Асаркана» Михаила Айзенберга — портретный **очерк** театрального критика, незаурядной, уникальной личности. Художника, нонконформиста. В позднесоветской Москве Александр Асаркан создал вокруг себя культурную среду. О нем уже писали Зинник, Воронель. Теперь — Айзенберг. Асаркан обладал невероятным магнетизмом, умел и мог влиять на многих. А потом уехал в США, где и умер совсем недавно.

Дневниковые записи Александра Алтуняна 2001-2005 годов **«Безвременье»** состоят из наблюдений и вытекающих из них выводов общего свойства, из политико-социальной рефлексии на темы дня. Русский интеллигент в оппозиции к режиму. Вот одна запись: «10.12.04. Кремлевско-бюрократическая камарилья настолько неадекватна, настолько жадна, совершенно вне рамок целесообразности, настолько презирает свой народ и не умеет и не хочет реально считаться с ним, именно считаться, а не управлять, что в какой-то момент она вдруг с удивлением обнаружит себя посреди народного моря, и тогда уже "спасайся кто и как может". Мы все время говорим, что Россия проиграла, президент опозорился, политтехнологи опозорили Россию, внешнеполитическое поражение и т.д. А надо говорить о том, что и как выиграла Украина. Какое это счастье, что люди решили: это важно, и мы не должны уступать. А проиграла не Россия, проиграли павловские, гельманы и иже с ними. Марат Гельман, вернувшись из Украины, тут же занялся новым художественным проектом. "Вот если мне скажут: граждане направо, мужчины налево, я пойду налево". А я все о политике. Смех и только».

Елена Холмогорова в физиологическом наброске **«Мастера»** поделилась наблюдениями над ремонтниками, приходящими к ней по вызову. Материал тщательно систематизирован. В наблюдениях много житейской точности. Другой очерк посвящен опыту общения с чиновниками по поводу смены фамилии.

Священник **Валентин Дронов** в **заметке «Визит»** рассказал о посещении Надежды Яковлевны Мандельштам. «...я — жид крещеный. Во мне только чистая жидовская кровь, но в третьем колене — все крещеные. Дед был кантонистом». В другом опыте, **«А еще говорят, что от слов ничего не бывает»**, автор рассказывает, как обманул гаишного генерала-самодура.

В других журналах также немало вещей с документальным компонентом. Обозначим две линии.

Первая — **ПРОЗА С АКЦЕНТОМ НА СОЦИАЛЬНОЕ**: тенденции, процессы.

Посмертный **роман Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»** публикует «Наш современник» (№ 10-12). Это интересное фактурой, обильно детализированное и документализированное повествование — но без большой, объемной мысли. Начало — финал войны, бои на Одере. Случаи, факты, наблюдения. Куча документов об армейском быте (возможно, даже подлинных). Главный герой — молодой лейтенант Федотов — особенно близок автору. Есть впечатление, что Богомолов создал беллетризированные мемуары.

Евгений Попов выступает в «Октябре» (№ 12) с небольшим **эссе «Сибирь»**. Экзотика, эксцентрика, безмерность, обаятельная дикость, — вот черты поповской Сибири.

Один из руководителей СССР конца 80-х годов, **Николай Рыжков**, в «Нашем современнике» (№ 10-12 — **«Истоки разрушения»**) рассказал об эпизодах, предшествовавших развалу «великой Державы — Советского Союза». Во-первых, «волнения в Тбилиси», 1989 год. Агрессивные грузины-«митингующие» напали на беззащитных солдатиков и сами себя слегка потоптали. Так Рыжкову видится из Москвы происходившее в Грузии. Во-вторых, бунт в Фергане в том же году. В-третьих, мятеж в Баку в 1990 году. Это несколько глав будущей книги, передаваемые автором «на суд читателей». Автором тщательно указаны все, кого он считает виновным в крушении СССР. Своей вины в происходившем Рыжков не видит. Впрочем, нельзя сказать, что он не стремился к лучшему и рвался выжигать крамолы огнем и мечом. Просто видно, что человек оказался неадекватен начавшемуся обвалу советской цивилизации и до сих пор не может в нем ничего понять, ища какой-то злой умысел, злых людей, враждебные силы и т.п. Воспоминания довольно суконные, разного рода справочные сведения иной раз банальны, к тому же не документированы. Суждения выдают интеллектуальную беспомощность автора.

«Наш современник» в № 12 опубликовал и комплект соображений **«Из записных книжек» Эдуарда Скобелева**, автора из Белоруссии, бывшего дипломата. Этот пожилой писатель умеет... ну, скажем дипломатично — тонко польстить начальству. В крайне нужном месте. От клиента — патрону. Заметки начинаются с такого пассажа: «Все своеобразие ситуации в Беларуси — непоколебимая воля высшей власти. Вся наша сила — в этом. Враг это знает, и потому главный объект штурма — Президент».

Один из руководителей Министерства обороны во второй половине 90-х годов генерал-полковник запаса **Леонид Ивашов** в **очерке «Бросок на Приштину»** («Наш современник», № 10) делится впечатлениями о памятной акции российских военных, десантировавшихся в 1998 г. в Косово, прежде всего — о работе российской дипломатической миссии в те дни. Ивашов очень подробно рассказывает о делах на политической кухне, но над частными перипетиями поднимается крайне редко. Себя он аттестует как славянского православного патриота. Великий Милошевич, злые натовцы, слабак Черномырдин... — а чего еще ждать от автора, которого, по аттестации упомянутого Виктора Степаныча, «даже в НАТО ястребом называют»?..

К самой интересной документальной прозе сезона нужно отнести **«Дневник»** известного российско-украинского журналиста **Виталия Портникова** («Дружба народов», № 11). Это записи 2000-2003 годов, в которых факты из культурной и социальной жизни Украины, России, Восточной Европы в целом становятся толчком для неординарных публицистических размышлений о настоящем и будущем стран и народов, о выборе человека в пространстве новой свободы. Этот пафос свободы и открытость будущему выгодно отличают записи Портникова от иных вышеохарактеризованных продуктов идеологизированной памяти.

Вторая линия — **ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ БОЛЕЕ ЛИРИЧЕСКОГО СВОЙСТВА**, где в центре происходящего автор и его ближайшее окружение.

Невелики ***страницы дневника*** начальника личной охраны Сталина **Николая Власика** (**«Он вникал буквально во все»** — «Наш современник», № 10). Холоп и барин. Записки лакея с обширным редакционным вступлением-панегириком.

Разнотемны **рассказы** москвича **Геннадия Гусева** («Наш современник», № 12). Судя по всему, это — *были*, из детских воспоминаний автора. В рассказе **«Бомбометательница Герта»** единственная в Люфтваффе женщина по своей инициативе разбомбила школу, была сбита и захвачена в плен, а потом расстреляна. В рассказе **«Новогодняя сосна»** герой-мальчишка в канун 42-го года встречается с «великим сталинским маршалом Коневым». В целом воспоминания Гусева довольно скудны. Мало занятного удалось вспомнить крупному советскому литературному начальнику, директору издательства «Современник» и главному редактору «Роман-газеты», которая, кстати, именно под его, судя по всему, руководством деградировала до отрицательных величин.

Роман Бориса Спорова «После войны (год в деревне)» («Москва», № 11-12) — беллетризированные воспоминания автора о детстве в деревне на Волге. Картины сельской жизни в середине XX века.

В **повести Александра Мельникова «“Расскажи-ка мне, дружок...”»** («Москва», № 10) в дневниково-хроникальной манере рассказано о том, как автор в конце 60-х годов работал в стройотрядах.

В «Новом мире» (№ 12) публикуются **воспоминания** недавно ушедшего из жизни журналиста «Известий» **Анатолия Друзенко «Pszepraszam. Варшавская история».** Автор рассказывает о том, как в 70-х — начале 80-х работал собкором в Польше. Умная, внятная мемуарная проза. «В Москву — не начальству, приятелям — звоню редко. Из скомканных ответов чувствуется: гайки затянули капитально. У меня — наоборот. Польша пробудила чувство свободы. Относительной, конечно. Я уже понял, почему собкоры, возвращающиеся из зарубежья к родным пенатам, выглядят шикарно, но у каждого дергается глаз». Друзенко стал свидетелем приезда Папы Римского, зарождения и развития в Польше освободительного движения, которое привело к глубокому кризису соцлагеря. И рассказал об этом сейчас, перемежая социальные наблюдения личными сюжетами (скажем, о смерти любимой собаки). Его резюме таково: «То, что происходило в Польше, мы называли контрреволюцией. И наводили тень на плетень. Это была рево-

люция. Да, с поддержкой Запада, но главной движущей силой был народ. Поляки хотели жить по-своему. Парадокс: военное положение, введенное для защиты социализма, привело к победе капитализма. Все по той же причине: этого хотел народ. Но сначала надо было упредить гражданскую войну. Революцию просто ОТЛОЖИЛИ. Так шахматисты откладывают недоигранную партию. Вскоре интернированных освободили, противники не взобрались на баррикады, а сели за "круглый стол". Так закончилась первая "бархатная" революция. Потом они прошлись по Восточной Европе, упразднив лагерь социализма, а теперь шагают по бывшим союзным республикам. Одна — с ликованием пронеслась по проспекту Руставели, другая отбушевала на Майдане Незалежности, третья отметилась погромами в Бишкеке. Кто-то будет следующим. Если захочет народ... А все началось с того, что летом 1980 года на Гданьской судоверфи уволили крановщицу Валентинович. Или — еще раньше? И самое последнее. Прожитые в Польше годы были для меня счастливыми. Несмотря на то, что в душе осталось чувство вины и стыда. Отсюда — название этих записок».

Актер МХАТа имени А.М. Горького («доронинского») **Николай Пеньков** в **мемуарах «Явление театра»** (из книги воспоминаний «Была пора» — «Наш современник», № 10-11) вразброс повествует о театральных мхатовских перипетиях. 60-е, 70-е... (Хороший, по Пенькову, был театр, пока его Ефремов не развалил.) О встречах и застольях, о своей работе в кино. О любви к Бунину. Кстати, есть период и о дружбе с пресловутым сталинским следователем Львом Шейниным, предстающим у Пенькова человеком большой, почти рафинированной культуры... Артист как артист — натура увлекающаяся, непостоянная.

А в «Дружбе народов» (№ 12) публикуются фрагменты **воспоминаний** литовского артиста **Донатаса Баниониса**. Есть любопытные детали, но в целом многовато скороговорки.

В **очерке «Свершившееся чудо» Юрий Сбитнев** вспоминает о композиторе Г.В. Свиридове («Наш современник», № 12). Крупицы быта. Много пиетета. Немало у Сбитнева рассказано и о себе. На правах друга дается подробный отчет о том, что и по какому поводу думал Свиридов. Типа: «Еврейский вопрос серьезно занимал его. Он очень глубоко думал о нем постоянно». Как тут же поясняется, думал в связи с угрозами от «еврейских мировых владык» «начавшемуся возрождению русской нации». Отчего-то это возрождение этим владыкам, по мнению композитора, — не по душе... Свиридов, кстати, — одна из главных тем журнала «Наш современник». Редакция сугубо озабочена тем, чтобы о музыканте не забывали.

Станислав Куняев поделился своими **воспоминаниями «О Коми земле»** («Наш современник», № 11). Два сюжета. Один — о золотодобытчиках Полярного Урала. Кажется, вспомнил о них Куняев, чтобы осмеять попытки оправдать «друга и покровителя барда Владимира Высоцкого» Вадима Туманова, отсидевшего при советах за «махинации в золотодобыче», а теперь выдаваемого некоторыми чуть ли не за политзэка. Другой сюжет — о «морозоустойчивом еврее», поэте Алшутове (он же Бейлин, уточняет автор). С одобрением сказано, что он «выбрал русскую судьбу». Но в целом очень снисходительно и свысока рассказывает Куняев о поэте, в Сыктывкаре «не корен-

ном и даже не русском». Вспоминается о слухах, вменяющих Алшутову-Бейлину уголовщину. А под конец припасены два особенных сюрприза. Во-первых, Алшутов оказался в глазах Куняева едва ли не героем. Ссылаясь на анонимный источник, Куняев приписывает Алшутову доносительство: он предупредил КГБ о том, что «еврейская компания» в 1968 году выйдет на площадь, протестуя против ввода войск в Чехословакию, «став в глазах еврейских отморозков предателем и изгоем». Во-вторых, уже лично Алшутов якобы признался Куняеву, что он может вернуться в Москву, для чего надо жениться на поэтессе Татьяне Глушковой, чего Алшутов делать не хочет.

Сообщение о Глушковой оказалось анонсом публикации в следующем, 12-м номере **переписки Куняева** с названной литературной дамой (**«Черные розы Гефсиманского сада»**). Покойная Татьяна Глушкова была колоритной публицисткой-поэтессой, ныне почти забытой. С Куняевым они сначала дружили, а потом разругались. Ее письма выдают в Глушковой пошедшую в тираж Марину Цветаеву. Хаос мыслей, перо, обгоняющее мысль, разброд эмоций, бесконечные разборки с евреями, мания величия, форсированная невменяемость, — вот это и есть Глушкова. Занятно.

В «Нашем современнике» (№ 12) напечатаны **мемуары** критика **Михаила Лобанова «Из памятного»**. Существенного Лобанову запомнилось мало. Одна-другая деталь про покойного священника Димитрия Дудко (этот сюжет зато эффективно использован для того, чтоб воспеть следом за батюшкой гений вождя народов товарища Сталина). Нежелание оказаться в кадре рядом с отставным Черномырдиным, зашедшим на прием в честь Феликса Кузнецова. Бледные наброски портретов трех евреев при литературе, один из коих убыл на старости лет в Америку («Видимо, в этом и есть неустранимая еврейская черта: в любое время всякий из них может уехать»). Мутный, бледный очерк «Саша Кротов» — о покойном редакторе журнала «Молодая гвардия». (Кажется, написанный опять-таки лишь ради выпада против Высоцкого, чей надмогильный памятник Лобанову сильно не понравился.) В тексте много о своих заслугах, немало и полемики. С ненавистными либералами. С сыном Андрея Жданова Юрием.

Литератор **Василина Орлова** в тексте **«Главы нулевого варианта»** («Октябрь», № 11) предлагает вообразить, что публикуемые сейчас фрагменты всплыли на свет в каком-то отдаленном будущем, когда забытый русский язык стал вдруг снова модным в авангардном кругу. С учетом этой дистанции она представляет размышления о поэте как творческой личности (в сущности, почти вневременные) и остроумный, трогательный и поверхностный (авто)портрет своего поколения. Начинается он так: «Нам было около двадцати. Мы любили странные теории. И наши взгляды на мир представляли из себя невообразимую мешанину цитат и идей из Библии, Дхаммапады, Младшей Эдды, из произведений Маркса, Достоевского, Кундеры, плюс из обрывочных данных, случайно застрявших в голове после штудий десятка-другого университетских учебников. Мы были будущие дипломаты, телевизионщики, переводчики и профессора. Прославленные авторы книг и режиссеры фильмов. Лауреаты премий, держатели акций, владельцы загородных клубов, директора предприятий, а также просто матери и отцы. Элитные специалисты. Будущее Отечества... и все такое. А равно мы были

и спившиеся алкоголики, состоявшиеся самоубийцы, позабытые сумасшедшие, сошедшие с дистанции, слетевшие в кювет. Отброшенные, как говорят, на обочину. И еще — все мы, без исключения, были будущие мертвецы. И страх смерти уже тогда не давал многим из нас покоя. Но пока ни о чем таком разговора нет. И мы — студенты, аспиранты, хиппи, гитаристы, поэты, фигляры, кривляки, выпивохи. Собиратели мятых бумажек по карманам. Коллекционеры слов, запираемых в коробочку блокнота. Сочинители манифестов. Примечатели светящихся интересом взглядов. Обещатели больших надежд. Возлагатели еще больших...»

Выходец из Средней Азии, молодой автор **Александр Грищенко** дебютирует в «Октябре» (№ 11) с *большим стихотворением в прозе* **«Вспять»** — лирическими **мемуарами** о детстве на Востоке. «Город стоял в пустыне. Но пустыня была — далеко. Возможно, где-то рядом с городом росли горы. Но это неважно. Главное, что пустыня — была. И была повсюду». Так начинается эта прозопоэзия. И дальше — без конца: был, была, были, были... Грищенко выкачивает из своей памяти наималейшие подробности быта. Этакий Пруст, — но Пруст сильно редуцированный в задачах и не очень, скажем прямо, интересный по материалу памяти. Текст Грищенко отмечен, однако, литературной премией «Дебют».

Александр Кузнецов свой **рассказ «Не надо печалиться, вся жизнь впереди!»** («Наш современник», № 10) посвятил излечению рассказчика (вероятно, себя самого) от рака. Попутные наблюдения очеркового свойства.

«Припадок и другие истории» Сергея Костырко в «Знамени» (№ 10) — памятные случаи из жизни автора. Когда жизнь эта поворачивалась эксцентрически. Странные встречи, озадачивающие наблюдения.

Новые изящные почеркушки вышли из-под пера **Андрея Битова** («Октябрь», № 10). Думается, автор этот давно уже не ставит перед собой больших задач, но хорошо поставленное перо производит тем не менее ожидаемые экзерсисы для поклонников этого таланта. К сожалению, по-настоящему остроумные идеи и мысли (относящиеся к литературоведческой эссеистике) часто теряются в потоке не слишком содержательного мыслетворчества. Есть, однако, впечатление, что сам Битов ценит свои соображения весьма высоко, и всякая умственная мелочь, всякое малое воспоминание подаются им как речевой акт живого классика и непререкаемого литературного авторитета.

Обзор подготовил Евгений Ермолин

В. «Звезда», «Нева»
(Четвертый квартал 2005 г.)

Центральное место в питерской прозе ушедшего года занимает очередной объемистый **роман Ольги Новиковой «Убить?»** («Звезда», № 10). Он затрагивает сугубо современную политическую проблематику. Хотя знакомых имен нет: в поле зрения автора — деятели третьего-четвертого планов, политическое закулисье. Перед читателями предстают эдакие незримые, но вездесущие кукловоды, держащие в кулаке ниточки для управления фигурами покрупнее. Главный герой — бывший ученый-физик, генеральный политтехнолог — своего рода «повар» на кремлевской «кухне». Враг героя, стро-

ящий всяческие против него козни, — бывший ельцинский министр, оставшийся без портфеля, но сумевший «конвертировать свои связи» и организовать фонд каких-то исследований. Словом, народ этот без дела не сидит и в ближайшем, равно как и в отдаленном будущем голым-босым не останется. Однако Новикова верна себе, и острие ее внимания направлено не столько на подковерную политическую борьбу, осуществляющуюся по ходу повествования. Нерв романа — любовная история. Важнейший персонаж — молодая подруга главного героя. Эта современная энергичная амазонка — из «нынешних», из тех, кто по головам мужчин — хоть любимых, хоть нелюбимых — упрямо рвется к каким-то не всегда ясным, но неудержимо влекущим целям. А в числе таких целей — не только карьера и деньги, тут еще любовь и мужское поклонение. Героиня у Новиковой — дама роковая: в прошлом пыталась покончить с собой от несчастной любви, потом довела до самоубийства собственного мужа. И ничего, никаких особых страданий: страсти страстями, но надо же дело делать. И вот этот-то продукт эмансипации умудряется влюбиться по-настоящему! Физик-политик — идеал мужчины, и мечта выйти за него замуж становится целью и смыслом жизни. Но — увы: герой, даже похоронив жену (а в смерти ее виноват упомянутый политический недруг), отнюдь не собирается жениться вновь, храня верность усопшей. Видимо, так он замаливает свои перед ней грехи. Но недолго ему осталось жить под их тяжестью: отвергнутая возлюбленная подсыпает ему что-то ядовитое. Как говорится, не доставайся же ты никому. Похороны, всеобщее горе, но деловые беседы-сделки идут своим чередом. В результате из безработной энергичная героиня мгновенно превращается в пресс-секретаря крупного банка. Занавес... Сочинение, безусловно, любопытное, но слишком уж многое захотела Новикова вместить в свой роман, и он грузно провисает между моральной и политической проблематикой. Но местами интересно — о политике (точнее, о подковерной возне — это именно она у нас именуется политикой), местами — о любви, местами — о страстях по поводу больших и очень больших денег.

К слову, к типу «деловой женщины» как к одному из самых горьких порождений времени обращается в своих обширных размышлениях, озаглавленных **«Блики»** («Звезда», № 11) и **Евгений Бич** «...В этом новом мире, — замечает писатель, — женщина оказалась намного пластичней, намного приспособленней к выживанию <...> Весь вал современной рекламы воспевает, проповедует, формирует тип подтянутой, деловой, хорошо и модно одетой молодой женщины, твердо знающей, что́ ей нужно в жизни, и отнюдь не склонной на какие-либо излишние сантименты. Это какие-то амазонки, которые, боюсь, уже могут наступить на тебя и перешагнуть, если это стоит поперек карьеры и самоутверждения». И далее — «Вы желали равенства? Ну что ж, ваша взяла. Усаживайтесь и начинайте смотреть женский бокс. Замечательное зрелище». Автор обращается и к фигурам до сих пор обожествляемых создателей марксистско-ленинского учения, обнаруживая в них и грубость, и наглость, и беспардонность: себя — в число избранных, прочих — в отходы. Умная, горькая, местами пронзительная проза.

Фантасмагорический **роман Андрея Столярова «Не знает заката»** («Нева», № 10-11), насыщенный духом Петербурга — особого, единственного в мире

города, начинается как обычный детектив, но очень скоро детективная линия полностью растворяется в метафизических сферах и обращении к трансцендентному. Петербург активен; с одной стороны, это «город смерти», с другой — «город грез», наделенный «колдовским великолепием», не город, а заманивающий морок, мираж... В конечном счете выявляется прямая, но очень сложная метафизическая связь «города-призрака» и загадочной смерти двух персонажей... Тем не менее и уютная Москва, где так близки и возможны карьера, успех, благополучие, не дает герою-рассказчику ощущения подлинности жизни. Героя все равно неудержимо тянет в Петербург, поскольку «если в Петербурге я задыхался от присутствия вечности, то в Москве оттого, что ее нет вообще».

О том, каким мог бы быть дневник шефа русской разведки в эпоху наполеоновских войн, рассказывает **Ефим Курганов** в **романе «Шпион его величества»** («Нева», № 12). Автор реконструирует размышления реального исторического лица — русского француза Якова Ивановича де Санглена (1776 — 1864). Санглен был публицистом, философом, переводчиком, историком военного дела. Время действия романа — начало 1812 года. Место — город Вильно. Работа тогдашних «спецслужб», заговоры, разоблачения, вовремя предотвращенное покушение на Александра I, таинственные дамы под вуалями... С фактической стороной дела должны, видимо, разбираться историки (хотя автор во вступительном слове клянется, что содержание романа «восстановлено строго по источникам»). Что же касается стиля, то позволим себе усомниться в способности аристократа начала XIX века употреблять милицейский термин «засветиться» или изъясняться с государем императором таким, например, слогом: «Мы же шпионов наловили, будь здоров». Отнесем это к издержкам перевода.

Герои **повести Михаила Румер-Зараева «Дети дьявола»** («Звезда», № 12) — средних лет супруги, на долю которых выпадает неимоверное по тяжести испытание: оба узнают, что их отцы повинны во множестве тяжелых преступлений. Отец Даниила оказывается членом «тройки», «продовольственным диктатором», отнимавшим хлеб у кулацких детей. Отец Зары — в осажденной Варшаве был тайным агентом гестапо, одной из самых страшных его фигур. Обо всем этом Даниил узнает от односельчан, а Зара — из дневника военных лет юноши-еврея. Она — дочь фашистского «Мефистофеля». Муж ее — тоже сын дьявола, только русского, советского. И как жить теперь с такой немыслимой тяжестью, как смотреть людям в глаза?

Все действие **повести** израильтянина **Марка Зайчика «Целуй меня крепче»** («Звезда», № 12) вмещается во временной промежуток между смертью матери героя и ее похоронами. Значит, всего-то несколько часов (в Израиле умерших хоронят очень быстро). Но это время для взрослого ее сына плотно заполнено и пульсирующими, напряженными воспоминаниями, и набегающими образными ассоциациями, и непрекращающейся, бесконечной болью. Замечательно передан в повести колорит Иерусалима, как бы сам его дух. В повествование вплетаются и истории, связанные с жизнью на новой родине выходцев из России. В том числе истории о людях, которые, живя в России, посвятили жизнь опровержению собственного еврейского происхождения, а после эмиграции — сделали на своем еврействе карьеру.

Какие только истории о своем народе, о его невероятной судьбе не вспоминаются герою в часы, оставшиеся до похорон матери!..

В **повести Марины Тарасовой «Женщина-птица»** («Нева», № 12) изложена невероятная история. Герой ее — художник, но от серьезного искусства давно отошел, став ландшафтным дизайнером и обслуживая нуворишей. Однако живопись по-прежнему неудержимо влечет героя. Однажды он встречает молодую женщину с лицом «хищной и прекрасной птицы», делает ее своей любовницей и решает написать ее портрет. Причем женщина при этом непременно должна находиться в клетке. Вот художник эту клетку — богатую, красивую клетку — для нее и строит, благо денег у него предостаточно. Но, когда работа уже закончена, смертельно обиженная дама художника убивает. Картина же производит в мире искусства настоящий фурор. Но дело этим не заканчивается. В финале читатель узнаёт о небесном бытии нашего героя: он рассказывает об этом сам. Кроме всего этого, в повести сообщается, что родился герой в лагере, а также довольно подробно описывается «гений семейной жизни» — мать живописца, которая, «прекрасно прожила бы и с Эйнштейном, и с бен-Ладеном». Трудно сказать, зачем автору понадобились эти кульбиты то в небеса, то оземь.

В «Звезде» № 10 публикуется **рассказ-памфлет Виктора Некрасова «Ограбление века, или Бог правду видит, да не скоро скажет»**, написанный в 1974 году, еще до отъезда писателя за границу. Публикатор так определяет главный принцип рассказа: этого не было, но вполне могло быть. Итак, на самом деле Виктор Некрасов не грабил, не раскулачивал советского писателя-лауреата А. Корнейчука, не отнимал у него доллары, фунты, индийские рупии и драгоценности — с тем чтобы передать все это в Фонд мира. И, конечно, не требовал, чтобы этот сталинский вельможа выступил с предложением присудить Солженицыну Ленинскую премию, а Синявского и Даниэля — освободить. Но как же Виктору Некрасову этого хотелось!.. О чем он и написал — весело и остроумно.

«Нева» № 11 представляет подборку тонких лирических **рассказов Евгения Шкловского**. Героиня рассказа **«Призвание»** — медсестра из хосписа. Медсестра прирожденная, от Бога. Она искренне привязывается к умирающей пожилой женщине, даже приносит ей в хоспис любимую кошку. Но женщина умирает. И никак этой бесконечно доброй девушке не удается соблюдать необходимую для собственного здоровья дистанцию между собой и умирающим. Действие рассказа **«Гул»** разворачивается в романтические перестроечные времена. Героиня — француженка, и то, что происходит в России, для нее — живая, а главное — гулкая, звучащая История. Да, ее родная Франция — страна спокойная: Бастилия, Наполеон, Парижская коммуна — все это в прошлом. А ей, неугомонной, нужен именно этот нескончаемый *гул*. Рассказ **«Позывные»** — о самодеятельном поэте. Человек он уже немолодой, по профессии биолог, — и зачем только тратит время на сочинение стихов? Зачем постоянно звонит старой своей знакомой, читает стихи, ждет ее суждений? И однажды она не выдерживает и спрашивает: чего же он хочет? Звонков больше нет...

То ли на самом деле, то ли в воображении происходят события в **рассказе Ильи Крупника «Вася»** («Звезда», № 10) — прихотливые игры памя-

ти, то сон, то явь. Пожилой человек, вздумавший вернуться в родные края, в страну юности и свежести... Бабушка, не узнавшая его... А как узнать, если он и сам не узнает себя? Когда у него и имени-то два вместо одного? Одно — торжественное, Иосиф; другое — простецкое, Вася. И друзья его давно поумирали, и жизнь катится к закату, и откуда-то взялся врач, склонившийся к изголовью...

В публицистической рубрике «Армия: война и мир» помещен **рассказ Глеба Боброва «Чужие Фермопилы»** («Звезда», № 12). 1983 год. Азадбаш — реабилитационный центр для раненых и больных военнослужащих Туркестанского военного округа. Квинтэссенция боли, всевозможных уродств, абсолютного расчеловечивания. Недаром в сознании восемнадцатилетнего парня, попавшего туда, Азадбаш ассоциируется с Аушвицем, Треблинкой, Майданеком. Два солдата, от бесконечных издевательств решившие покончить с собой, перекидывают веревку через забор, завязывают по петле и спрыгивают — одновременно по разные стороны забора. Какой-то наряд прибил дежурного по штабу, и, чтобы спрятать тело, засунул его в топку котельной. В доблестной (подчеркну, советской, доперестроечной) этой армии, пишет Бобров, закон царит такой: «Пока тащишь лямку — живи, скотина. Ослаб, упал — на живодерню! Слабого — добить. Ну и что — устал, ну и что — ноги все сапогами отбиты? Не можешь — вешайся!»

Три **рассказа Михаила Окуня** («Нева», № 11) повествуют о жизни людей маргинальных. **«Воровка»** — о бедовой, отчаянной девчонке, из которой вырастает воровка и наркоманка. В рассказе **«Мы пройдем этот город насквозь»** автор вспоминает некую бесшабашную поэтессу, дамочку довольно развратную, к тому же глупо оригинальничавшую. Но — способную. Может быть, поэзии и такие нужны?.. А в рассказе **«Серега Шилов»** заглавного героя-пьяницу, выклянчивающего деньги буквально у всех, нелепо, неизвестно даже как, убивают дружки-приятели. Куда же теперь определить его душу? В ад? Но ничего плохого он не делал. В рай? Так и заслуг нету. Так пусть ему хоть нальют там, на небесах, чарочку...

Героиня рассказа **Валерия Роньшина «Полина в своих снах»** («Нева», № 11) — художница, но рисует она главным образом свою собственную жизнь. В нарисованном мире у нее есть и любящий муж, и прелестная пятилетняя дочка. И когда в телефонной трубке раздается голос не нарисованного, а реального человека, — оказывается, что он, этот человек, каким-то чудом ожил из ее снов.

Легки и лиричны **рассказы Татьяны Кондаковой** («Нева», № 12). Вот едут люди в поезде, с кем-то, как водится, говорят. А между мужчиной и женщиной протягивается какая-то ниточка, и кто знает, чем все закончится (**«В электричке»**). Герой рассказа **«Связь»** припоминает, как мальчишкой он стал свидетелем встречи своей матери и какого-то незнакомца. Мать тогда буквально на глазах помолодела. И теперь он, взрослый, задумывается над такой сложной штукой, как связи между людьми. В рассказе **«Прямой эфир»** герой, неожиданно оставшись в одиночестве, ясно ощущает, что существует «прямой эфир» и что ему остро не хватает любимой женщины, маленького сына.

Известная поэтесса **Елена Шварц** представляет цикл коротких **рассказов** под заглавием **«В разных жанрах»** («Нева», № 10). Действительно, и раз-

ножанрово, и лирично, и тонко. Околопитерское Комарово с его маленьким тихим кладбищем, где покоится Ахматова. Рой ассоциаций и воспоминаний, рождающихся, когда идешь по его дорожкам. Литературный Таллин семидесятых — эрзац-заграница. Арно Царт — поэтический псевдоним Е. Шварц, выдуманный ею поэт, роль которого по ее просьбе играет реальный человек. Лирические темы у Шварц льются потоком — это естественный для нее тип мышления.

В самодеятельной рубрике «Литературное агентство представляет» «Нева» (№ 12) публикует **рассказ Владимира Бондарчика «Антонючка»**. Автор — неуемный фантазер. Из нынешнего времени он попадает в 1961 год, встречается с давно умершей старухой и рассказывает о распаде СССР и крахе коммунизма. Время от времени рассказчик становится невидимкой. Он же наделен способностью видеть самого себя в детстве.

Разнообразна и разножанрова питерская МЕМУАРИСТИКА.

Валерий Попов в путевом **очерке «Возвращение»** («Звезда», № 11) рассказывает о поездке в Чимкент (ныне Шымкент) — казахский город, с которым связана молодость отца писателя. Когда-то он, молодой агроном, приехал сюда вместе с коллегами — учить скотоводов тому, как выращивать хлеб в этих засушливых краях. Но вот беда: не доверяли казахи русским. Не любили их. И жить желали по-старому. Ведь после того как у баев отняли скот, в Казахстане наступил чудовищный голод, погибли тысячи людей... Минули десятилетия. Никакой вражды казахов и русских сегодня, пишет В. Попов, нет, повсюду звучит русская речь. У автора даже возникло ощущение, что все мы сегодня по-прежнему — «единый советский народ». Но казахи отнюдь не забыли тех жутких лет. «Такого Музея политических репрессий, как в Шымкенте, — пишет В. Попов, — я не видел больше нигде. Специально построенное круглое здание, внутри, в полутьме, высвечены фотографии убитых. На экране одно за другим появляются лица. Звук выстрела — и лицо исчезает...»

Поэтесса и филолог **Нина Королева** в **очерке «Руфь Александровна, Руня Зернова»** («Нева», № 11) живо и ярко вспоминает недавно скончавшуюся замечательную писательницу, переводчицу, жену И.З. Сермана. Некогда чету Серманов буквально выдавили в эмиграцию: их дочь осмелилась выйти замуж за иностранца. Илью Захаровича изгнали из Пушкинского Дома, а Руфь Александровну лишили права печататься. Немыслимым счастьем для их многочисленных друзей стала открывшаяся с конца 80-х возможность снова видеться, читать друг другу стихи, вспоминать былое, говорить о литературных новинках, петь городские романсы, лагерные и блатные песни. Их Руфь Александровна, отсидевшая в лагере немало лет, знала великое множество.

В «Неве» № 10 публикуются и **воспоминания** самой **Руфи Зерновой** под заглавием **«Дачные соседи»** — удивительно живые, яркие, свежие. Вспоминает она о шестидесятых-семидесятых годах, когда семинар по прозе вели в Ленинграде Вера Панова, Геннадий Гор и Ричи Достян. Одним из тогдашних семинаристов был молодой Рид Грачев — худой, неприметный, похожий на молодого Горького. Ему суждено было стать одним из талантливейших прозаиков и после недолгого периода счастливого творчества рухнуть в неизлечимую психическую болезнь. В. Панова, по словам Зерновой, была поражена

его рассказами. «В них прозвучало совершенно неожиданная для того времени нота, может быть, та самая, крепко забытая всеми, кроме литературоведов: оставьте меня, зачем вы меня обижаете? И еще там было глубочайшее одиночество человека среди людей, и щелчки, и обиды, и непонимание. Герой рассказов — маленький человек, подросток. И злобная, ощеренная жизнь вокруг него...» Вспоминается автору и Сергей Довлатов, тогда литературный секретарь В. Пановой, похожий на смущенно движущийся буфет. От Ленинграда семидесятых годов перебрасывается мостик в Америку, куда активно стали приезжать старые друзья и подруги Серманов.

Рассказ Владимира Рецептера «У меня в ушах бананы» («Нева», № 12) — тоже воспоминание. Остроумно и непринужденно повествует автор о том, как довелось ему (точнее, «артисту Р.») лежать в одной палате с Бруно Артуровичем Фрейндлихом. Это надо же: заболели одной и той же болезнью — глухотой — два бывших Гамлета, два бывших актера БДТ. А разговоры у них шли не столько о глухоте физической, сколько о душевной. Ну, и как водится: о жизни, театре, друзьях-товарищах. В последние годы Бруно Фрейндлих, рассказывает Рецептер, оглох окончательно, безнадежно. Разорвались связи между слухом и слуховым центром в мозгу. «Надо было больше гладить его по руке, — рассказывает его дочь Ирина, — чтобы он чувствовал любовь не ушами, а кожей!..»

В «Неве» № 10 публикуются ***записки*** *петербургского тележурналиста* **Светланы Яковлевой** под заглавием **«Десять лет, которые потрясли»**. Автор — репортер теленовостей, жанра всегда востребованного. К тому же работала она в самое судьбоносное для питерского телевидения время: 90-е годы, когда и «Пятое колесо» выходило, а невзоровские «600 секунд» смотрела вся страна. Поведана масса интересных историй — серьезных, печальных, веселых. Всяких. Одни имена чего стоят: Александр Невзоров, Белла Куркова, Светлана Сорокина, Павел Лобков, Андрей Радин, Наталья Антонова.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

С. «Иностранная литература»
(Проза, опубликованная в 2005 году)

С этого года «Континент» решил информировать читателей и о состоянии зарубежной словесности, по крайней мере — в том виде, в каком она присутствует в журнале «Иностранная литература». В годовых обзорах, которые предполагается публиковать в каждом четвертом номере нашего журнала, будут представлены тексты, отражающие фундаментальные направления того художественного поиска, который ведется в современной мировой литературе.

В **романе** чешского прозаика **Йозефа Шкворецкого «Два убийства в моей двойной жизни»** (перевод с английского Е. Домбаян, № 3) переплетаются две детективные линии. Одна — частное расследование убийства, которое проводит профессор-чех. Сам частный сыщик — преподаватель канадского университета — руководит семинаром «Мастерство детектива», чем и объясняется характер его умозаключений, пародирующих логические выкладки

дотошной мисс Марпл и самоуверенного Эркюля Пуаро. Иронический тон, в котором выдержана эта традиционная для детективного жанра сюжетная линия, сменяется серьезным, даже драматическим, пафосом, когда речь идет о втором «убийстве», моральном. Жену профессора, Сидонию, обвиняют в пособничестве КГБ. Обнаружившая себя в опубликованном черном списке агентов — через двадцать лет после падения коммунистического строя, немолодая женщина не находит силы противостоять клевете, спивается и очень быстро сгорает. Обе детективные линии имеют один — не слишком обнадеживающий — финал: и в том, и в другом случае убийцы остаются безнаказанными. Но кто же будет брать на себя ответственность, если преследует, жестоко шутит и губит человека сама госпожа История?

Проблеме исторической ответственности и нравственного выбора, определяющего судьбу не только конкретного человека, но человечества, посвящен **роман** мексиканца **Хорхе Вольпи «В поисках Клингзора»** (перевод с испанского Николая Жарова, № 7-8). Повествование представляет собой метафизический детектив, где объектом сыска является фигура неуловимого или вовсе несуществующего человека, якобы скрывавшегося под именем Клингзора и субсидирующего проект создания атомной бомбы немецким физикам-ядерщикам в период Второй мировой войны. Однако поиск, который ведется молодым офицером, физиком по образованию, Фрэнсисом Бекетом и Густавом Линксом — немецким математиком, антифашистом, превращается в сложную, наподобие шахматной, игру с историческими загадками, заставляющими героев осмысливать понятия «удача», «предназначение», «судьба»; выстраивать закономерные связи между событиями; находить ключевые точки — встречи (как, например, знаменитая встреча Нильса Бора с любимым учеником Гейзенбергом в Копенгагене), в той или иной степени повлиявшие на исторический процесс. Гипотезы, законы, следствия, в которые укладывается повествование, включают также рассуждения о природе любви. Трагическая история исступленной страсти троих — Густава Линкса, его жены Марианны и Натальи — жены лучшего друга Линкса Генриха, примкнувшего к нацистам, разворачивается на фоне завершающейся мировой войны, агонии гитлеровского режима и провалившегося заговора, организованного офицерами Третьего рейха. Лейтмотивом романа становится легенда о Персифале, положенная в основу оперы Вагнера — любимого композитора Гитлера. Дух злодея Клинзгора, противостоящего рыцарям Грааля, возрождается в XX веке и ведет борьбу за власть. Философская проблема ответственности ученого за свое открытие решается автором в духе математического рассуждения на примере судеб гениальных физиков: Эйнштейна, Бора, Макса Планка, Гейзенберга. Не только результаты исследований, но нравственный облик ученого оказывает огромное влияние на картину мира в целом и может стать как пагубным для общества, так и животворящим.

Номер, посвященный 60-летию Победы, открывает **роман-эссе Курцио Малапарте «Шкура»** (перевод с итальянского В. Федорова, № 5). Роман наполнен экспрессией, в нем отчетливо звучит вопрос об ответственности человека за свой нравственный выбор, за собственные ошибки. Для того чтобы передать моральный облик итальянцев, сложивших оружие в 1945 году и доверивших свои судьбы американским союзникам, Малапарте находит сильную

метафору — образ чумы. Но это не та чума, что поражала средневековую Европу: чудовищная «новейшая зараза» поражает не тело, а душу. Сценам, описывающим воровство, детскую проституцию, кварталы, где обитают карлицы, сожительствующие с афро-американцами, пресмыкательство итальянцев перед победителями — американскими союзниками, придан апокалиптический размах. Суждения, звучащие в романе, порой шокируют, и вместе с тем повествование сдобрено иронией — особенно достается доброте и честности американских солдат — «таких дезинфицированных, без единого микроба, как в складках кожи, так и в лабиринтах совести». Ироничный и в то же время пафосный слог романа вполне соответствует глобальному характеру выбранной писателем темы: парадоксальность человеческой природы, совмещающей рабство и мужество; непредсказуемость исторических поворотов.

Более камерную тональность выбирает **Брюс Чатвин**, автор **романа «Утц»** (перевод с английского Дм. Веденяпина, № 4). Вся история XX столетия (обе мировые войны, послевоенные репрессии, вторжение советских танков в 1968 году) становится фоном, на котором протекает незаметная, но полная смысла жизнь пражского еврея Каспара Утца, коллекционера мейсенского фарфора. Страсть к изысканным безделушкам и красивой посуде отгораживает героя от исторических потрясений и мировых катастроф, возвращая его в «фарфоровый» век, черты которого он стремится отобразить в своей коллекции: «остроумие, обаяние, галантность, любовь к экзотике, холодность и беспечность — иначе говоря, все то, что было сметено революцией и втоптано в грязь солдатами...» Проза Чатвина легка и прозрачна, как изящный рисунок на фарфоровой вазе. Роман изобилует тонкими психологическими нюансами, юмором, захватывающими историями, связанными с Прагой, ее каббалистическим прошлым, интригующим настоящим, непредсказуемым будущим. На примере судьбы героя Чатвин исследует тему эмиграции, открывая удивительные процессы в сознании человека, покинувшего родину. Оказывается, несмотря на чудачество и обособленность, Утц нерасторжимо связан с чешской землей; обосновавшись в Швейцарии, он недоумевает, почему «свободный мир» кажется ему такой пугающей бездной, откуда взялась бессонница... Вместе со смертью Утца бесследно исчезает его коллекция фарфора — символ навсегда ушедшей галантной эпохи. По слухам, ее уничтожил сам владелец, что вовсе не противоречит характеру этого тихого человека.

Тема послевоенных катастроф звучит и в **повести** известного немецкого прозаика, лауреата премии Гете **Арно Шмидта «Черные зеркала»** (перевод Т. Баскаковой, № 5). Это антиутопия о последнем на земле человеке, пережившем Третью мировую войну. Странным кажется то, что действие происходит в начале 60-х — просто повесть написана в 1951-м. В ней содержится множество конкретных подробностей о тогдашней Германии — и никаких деталей, характерных для фантастических произведений. Герой-писатель скитается по обезлюдевшей Центральной Европе и встречает на своем пути единственную женщину (да и женщину ли?). Постепенно понимаешь, что пустынный мир, окружающий героя, — это мир его сознания, искаженного безумием войны. Лизи, возлюбленная героя, — скорее муза, чем человеческое существо, она напоминает Диану-охотницу, цыган-

ку, Елену. Она вдыхает в него новые силы и заставляет осмыслить собственную жизнь; она вдохновляет поэта к созданию новых миров. Творчество, желание писать как важнейшая составляющая внутренней свободы спасает героя от неизбежной гибели. Повесть Шмидта разбита на мелкие фрагменты, установить связь между которыми не так просто, но в то же время создается впечатление целостного художественного мира, пронизанного иронией и печалью.

Политический детектив — одна из составляющих необычного по своей жанровой природе **романа** американца **Тома Роббинса «Вилла "Инкогнито"»** (перевод с английского В. Пророковой, № 1). Вначале повествование, напоминающее забытую японскую легенду, разворачивается в далеком прошлом: в человеческий мир с небес спускается Тануки[2], приземляясь на собственной огромной мошонке. Тануки обладает безграничной сексуальной энергией. Соблазнив немало крестьянских женщин и оставив после себя многочисленное потомство, священное полуживотное бесследно исчезает. Затем фантастическое повествование плавно перетекает в лихо закрученный детектив с документальной основой. Действие переносится на территорию современного Вьетнама (2001-й год, незадолго до 11 сентября) в горную деревушку, где и расположена вилла «Инкогнито». Она принадлежит трем бывшим солдатам ВВС — американцам, которые с 1973 года числятся «пропали без вести». Тайно обосновавшись на вьетнамской земле, троица торгует маком, на чем и сколачивает немалое состояние. Повествование приобретает особую пикантность, когда в нем появляется некая Лиза Ко — циркачка, дрессировщица тануки и, как оказывается впоследствии, праправнучка того самого небесного Тануки. Напряжение усиливается при случайных упоминаниях о террористическом заговоре, готовящемся в Вашингтоне. Современный мир людей, страдающий от собственного безумия, от катастроф и вожделений, противопоставляется свободному, полному жизненной энергии миру Тануки, вновь появляющегося на последних страницах романа. Вместе с лисом Кицунэ они обсуждают происходящее на земле и приходят к довольно-таки оптимистическому выводу: «Все эти выпендрежные технологии оказались в лапах шайки приматов, которые в эмоциональной сфере недалеко ушли от павианов. Это же шимпанзе на бульдозерах, мартышки с бомбами. Ситуация очень опасная, но оно и к лучшему: опасность — предвестие перемен, а перемены — дорога в будущее. В этом мире у нас с тобой есть на что надеяться...» Этот удивительный коктейль из фантастики, политики, элементов детектива, любовно-эротических коллизий имеет прекрасную языковую основу. Стиль Роббинса отличается тонкой иронией и смелым обращением со словом.

Виржини Депант, прославившаяся в 90-е своим романом «Трахни меня!», представлена в этом году **романом «Teen spirit[3]»** (перевод с французского

---

[2] Тануки — японское тотемное животное, что-то вроде енотовидной собаки (точнее — самца енотовидной собаки). В Японии статуи тануки можно встретить повсюду: считается, что этот зверек приносит счастье — причем тем большее, чем больше его мошонка.

[3] «Подростковый дух» (*англ.*).

Ирины Радченко № 4). Это история тридцатилетнего Брюно, безработного лентяя, который внезапно узнает, что у него есть четырнадцатилетняя дочь. При этом истинным ребенком является как раз сам папаша, чьи рассуждения о мире и о самом себе заставляют вспомнить подростков Сэлинджера. Картина мира Брюно складывается на фоне инфантилизма, смешанного с комплексом неполноценности; герой отчаянно боится предстоящей встречи с дочерью: «Как это все-таки несправедливо — с моим мальчишечьим умом оказаться в теле взрослого человека!» Молодежный сленг, на котором изъясняется Брюно, словечки вроде «стремаки», «прикольно», «переколбасило», «гнать волну» в сочетании с навязчивой идеей Брюно об уходящей молодости и потерянных возможностях привносит в повествование иронично-печальную тональность. Однако с появлением в его жизни сложной неуравновешенной Нанси мироощущение героя понемногу меняется. В итоге дочь становится самым близким человеком в мире жестоких взрослых, и само существование ее наполняет смыслом унылую и бесцельную жизнь мужчины-подростка.

Тему самоопределения развивает **Мартен Паж** в **романе «Как я стал идиотом»** (перевод с французского Ирины Кузнецовой, № 7). Европеец, загнанный в угол навязанными ему американскими стандартами, обнаруживает кризис собственного мироощущения. Герой Пажа Антуан в своем стремлении быть «как все» проходит ряд испытаний (деньгами, женским вниманием, роскошью), но возвращается «на круги своя» — то есть на уровень инфантильного, праздношатающегося подростка. Считая себя слишком умным для современного мира, герой решает совершить маленькую «личную одиссею», цель которой — отказ от ума. Волей случая, уронив на компьютерную клавиатуру горячий кофе, Антуан становится очень богат, однако чувствует себя еще более несчастным. Добровольно вернувшись к состоянию безделья, катания на роликах, любовных авантюр, двадцатипятилетний «мудрец» вновь обретает гармонию. Идеализируя контркультурные ценности и свободное времяпрепровождение в духе «детей цветов» 60-х, Паж горячо и немного наивно критикует дух общества потребления.

Очень сильное впечатление производит дебютный **роман** 18-летней варшавской студентки **Дороты Масловской «Польско-русская война под бело-красным флагом»** (перевод с польского Ирины Лаппо, № 2). Писательница мифологизирует язык так называемых *дресяжей* (иначе говоря, шпаны). Из языковой стихии, в которой сконцентрированы сленг, мат, эротическая лексика, неологизмы, жаргонизмы, и рождается характер героя, типичный для сегодняшнего дня. Инфантильный молодой человек по прозвищу «Сильный» без определенных занятий и целей созерцает этот «лучший брэндовый мир», испытывая смешанное чувство равнодушия и ненависти. Он стремится отгородиться от реальности, диктующей необходимость что-то делать. Метафорически выражая свой безосновательный протест, Сильный мечтает «выдернуть шнур из этого поганого мира, перерезать высоковольтные провода, дернуть за ручку и сорвать к чертовой матери тормоза безопасности...». Сам себя он ощущает «огромным куском ваты, который катается по квартире туда-сюда». Герой заполняет свою жизнь наркотиками, случайными сексуальными связями с нелепыми женщинами и ненавистью к

мифическим русским, — и в результате оказывается в тупике. Кстати, своим успехом книга обязана названию, по сути абсурдному: остается не совсем понятным, что за польско-русскую войну постоянно обсуждают персонажи. Возможно, речь идет о «холодной войне» на локальном уровне — в том маленьком городе, где живет Сильный. Но красно-белое сочетание цветов становится лейтмотивом романа. Периодически в тексте возникает образ девушки-следователя по имени Дорота Масловская, которая по ходу действия пишет роман в стол. Этот постмодернистский прием творимого «здесь и сейчас» текста позволяет автору сделать акцент на условном характере не только всего происходящего, но самого его шокирующего языка, благодаря которому впечатление от романа так сильно.

Брутальная языковая стихия Масловской дала одному из ведущих польских прозаиков **Павлу Хюлле** повод высказать несколько принципиальных соображений о современных тенденциях в польской литературе (№ 8). Одна из таких тенденций — «отдавать предпочтение маргинальной литературе и пропагандировать ее» — кажется писателю наиболее возмутительной. Заниматься чисто языковыми экспериментами — мало для романиста, считает Хюлле, надо «заботиться о гигиене языка», добиваться «гармонии между темой и языком». Его собственный **роман «Касторп»** (перевод с польского К. Старосельской, № 6) выдержан в стилистике Томаса Манна, это своеобразная вариация на тему «Волшебной горы» — своего рода «партитуру увертюры» к манновскому творению. На первых страницах своего романа Манн пишет о герое: «Позади осталось четыре семестра, проведенные им в Данцигском политехникуме». Оттолкнувшись от этой фразы, польский писатель реконструирует прошлое Ганса Касторпа, как бы восполняя недостающую у самого Манна главу. Хюлле развивает тему столкновения «правильного» немца с непостижимым таинственным Востоком, рисует первую любовь героя к польской красавице Ванде Пилецкой, любовнице русского офицера. Это испытание становится для Касторпа своеобразным боевым крещением, словно подготавливающим к будущим событиям «Волшебной горы». Хюлле удается сохранить атмосферу манновского романа, специфику времени и характерное для великого модерниста отношение к любви: «восхищение на расстоянии, долгое изучение объекта...» Ориентируясь на современного читателя, польский писатель убыстряет ритм повествования, но в то же время сохраняет характерные для Манна черты: внимание к деталям и мельчайшим движениям души, размышления о времени, преломление идей Шопенгауэра и ницшеанские мотивы, музыкальность (на протяжении всего романа звучит музыка Шуберта в разных интерпретациях)... Роман, по признанию самого автора, позволил ему понять отношение немцев и конкретно Томаса Манна к полякам, а шире — к Востоку, в том числе к русским.

Еще более полное отражение тема Востока и Запада находит в **романе** афро-американской писательницы, лауреата Нобелевской премии за 1993 год **Тони Моррисон «Любовь»** (перевод с английского В. Бошняка, № 9). Это своеобразная полифония женских голосов, рассказывающих — каждая на свой лад — одну и ту же любовную историю. Историю пятидесятилетнего негра Билли Коузи, женившегося на Гиде, близкой подруге своей один-

надцатилетней внучки. Билли любил Гиду. И любил падшую белую женщину, красавицу Каллистию. Гида любила свою подругу Кристину. И ненавидела в то же время. Кристина любила деда. Любила Гиду. И ревновала деда к подруге. Противоречивый клубок чувств, в котором смешались похоть и нежность, ревность и патология, сладострастие и невинность, исступление и непреходящая печаль, черная и белая кровь, стремительно разматывается на протяжении повествования, расползается в разные стороны в зависимости от выбранного ракурса и, наконец, приобретает некую завершенность в финале, звучащем гимном любви, когда мы слышим слова апостола: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто...» Автор обладает безупречным чувством ритма: кажется, что роман не написан, а проговорен. Пропет. Фрагментарность повествования, постоянная смена точек зрения, мастерски выстроенная система лейтмотивов (шум океана, ветер, полная тоски песенка по ушедшей любви) и само емкое и пронзительное название — все это создает неповторимое настроение. Моррисон глубоко постигает и передает все оттенки любви — поэтичной и жертвенной, безжалостной и эгоистичной. Но каково бы ни было это непостижимое чувство, лишь перед его лицом исчезают расовые, возрастные, половые и нравственные преграды.

Как и в случае с Моррисон, особый взгляд на мир связан у **Дай Сы-Цзе** с расовой принадлежностью. Китайский писатель, он в тридцатилетнем возрасте уехал во Францию, где живет и работает по сей день. В его **романе «Комплекс Ди»** (перевод с французского Натальи Мавлевич, № 8) причудливым образом сочетаются восточные и западные составляющие личности автора. Невезучий, но вполне самоуверенный психоаналитик-девственник Мо, последователь идей Фрейда и Лакана, посвящает свою жизнь томящейся в тюремной камере возлюбленной со странным именем Гора Старой Луны. Выбирая «путь рыцарского духа», герой в какой-то степени оказывается двойником Дон Кихота, — и это отсылает нас к западной традиции рыцарского романа. Но интертекстуальные связи этим не ограничиваются. Ключ к произведению заложен в самом названии — «комплекс Ди». Если слово «комплекс» вызывает ассоциации с психоанализом, то имя Ди заставляет вспомнить персонажа, символизирующего скрещение Востока и Запада. Знаменитый судья Ди жил в VII веке, во времена просвещенной династии Тан и считался эталоном мудрости, справедливости и неподкупности. Помимо исторического судьи Ди, существует его художественное воплощение: голландский ученый-востоковед и писатель Роберт Ван Гулик сделал судью главным героем цикла исторических детективных романов, известных как в Европе, так и в Китае. Перу Ван Гулика принадлежит также труд «Сексуальная жизнь в Древнем Китае». Так что у Дай Сы-Цзе пародийный план романа образуют аллюзии, связанные одновременно и с легендарным судьей Ди, и со знатоком китайского секса Ван Гуликом, маячащим за спиной психоаналитика. Авторская ирония направлена на деятельность незадачливого Мо, пребывающего в постоянном поиске девствен-

ницы для сладострастного судьи Ди, в руках которого находится мифическая возлюбленная героя. Писатель обнаруживает «перегибы» психоанализа и абсурдность трактовок сновидений, основанных на примитивных ассоциациях китайца. В сочетании с комплексом неполноценности героя и отсутствием «практического опыта» психоаналитические занятия Мо теряют всякий смысл, а его длительная «одиссея» становится очередной пародией на путешествие гомеровского героя.

В юбилейном, десятом номере «ИЛ» собраны произведения очень разных авторов — разных по времени, стилю, национальной принадлежности. Среди них — два лауреата Нобелевской премии: южноафриканец Дж.-М. Кутзее и ирландец С. Беккет.

Джозеф Максвелл Кутзее представлен отрывком из последнего автобиографического **романа «Молодость»** (перевод с английского Сергея Ильина). На новом материале прозаик продолжает развивать старые темы: разрыв с поколением родителей, обреченность любых отношений между мужчиной и женщиной, черный и белый расизм, творческая индивидуальность. Молодой человек — студент-математик, добровольно отказавшийся от родительской помощи, вынашивает мечты стать великим художником. Он переживает сложный период самоопределения, постигая суть любви, творчества, социального устройства. Его взгляд на мир наивен, а суждения замешаны на книжных стереотипах. «Теоретически» юноша понимает, что «присутствие любовниц есть неотъемлемая часть жизни художника», в этой жизни непременно «должны существовать близость, страсть, любовь». Однако отношения с женщинами утомляют молодого человека, мешают ему сосредоточиться на учебе. Чтобы обрести точку опоры, он обращается к опыту великих, задаваясь вопросом: «Если такую цену надо платить, чтобы иметь любовницу, как же выходили из этого положения Пикассо и прочие?» Кутзее включает в роман любимую им «русскую тему»: юноша пускается в рассуждения по поводу мраморных плеч Элен Безуховой и ее «взаимоотношений» с автором «Войны и мира». Литературно-эротические искания молодого человека разворачиваются на фоне забастовок и демонстраций, призывающих «загнать белых в море». Герой становится свидетелем и невольным участником переломного момента в истории Африки. Отрывок, представленный в романе, позволяет вновь ощутить сдержанную ироничность письма Кутзее, способность писателя раскрыть своеобразие любого — самого загадочного и противоречивого сознания.

Тема искания и самоопределения раскрывается в первом **романе Сэмюэля Беккета «Мечты о женщинах, красивых и так себе»** (перевод с английского М. Дадяна). Роман написан в начале 1930-х годов, но увидел свет лишь в 1993 году, — в журнале опубликован в отрывках. По признанию автора, «Мечты...» — самая личная его книга. В ней наиболее отчетливо улавливается влияние Дж. Джойса, у которого Беккет одно время работал секретарем и с дочерью которого, Лючией, имел серьезный, но короткий и болезненный роман. Герой Беккета — некто Белаква, персонаж, заимствованный из четвертой песни Дантова «Чистилища» (ленивый и вечно сонный флорентиец Белаква, мастер по изготовлению грифов к лютням и гитарам, не видит особого смысла в том, чтобы лезть в гору чистилища, и ожидает, пока

взобраться ему не поможет молитвами сердце, «где милость Божья дышит»). Небольшой эпизод «Божественной комедии» стал фоном беккетовского романа, в котором герою, несмотря на усилия атакующих его женщин, удается ускользнуть от ответственности, исчезнуть в самый последний момент, оставив после себя след неоправданных ожиданий. Роман раннего Беккета интересен и тем, что в нем уже содержатся все элементы поэтики зрелого писателя. Черты театра абсурда прослеживаются в блестящих диалогах, напоминающих пикировку бессмыслицами в кэрролловских нонсенс-текстах. Роман вбирает и смешение разных языков, и стилистическую игру с просторечиями, вульгаризмами, поэтизмами, и музыкальные ноты наряду с языковыми, «джойсовскими» жемчужинами.

Проблема семейного и творческого кризиса раскрывается в **рассказе Артура Миллера «Голая правда»** (перевод с английского Дмитрия Веденяпина). Название рассказа, также включенного в юбилейный номер, имеет как переносный, так и прямой смысл. Потеряв веру в себя, свой талант, утратив любовь к жене, романист Клемент совершает экстравагантный, но полный эротизма и животворящей силы поступок: он пишет рассказ на обнаженном теле молодой женщины. Такое «сотрудничество» оказывается для каждого из героев откровением: в какой-то степени они рождаются заново, извлекая из уникального опыта «уцелевшие осколки» любви, нежности, таланта, уверенности.

Завораживает полная магической недоговоренности проза латиноамериканца **Карлоса Фуэнтоса**. Молодой герой **рассказа «Приятное общество»** (перевод с испанского А. Богдановского) поселяется в доме двух мексиканских тетушек и погружается в атмосферу мистики и загадок. Старушки оказываются ведьмами, превращающими двадцатисемилетнего юношу в маленького мальчика. Игры со временем, национальный колорит, язык, насыщенный образами, красками и запахами, погружают читателя в стихию фантастического реализма.

Латиноамериканскую тему продолжают **главы из книги Марио Льосы «Письма молодому романисту»** (перевод с испанского Н. Богомоловой), в которой писатель высказывает очень емкие и существенные замечания, касающиеся своеобразия и значения творчества Х.-Л. Борхеса и Г.-Г. Маркеса на литературной карте мира. Каждый из великих магов имеет огромное количество подражателей — «маленьких Борхесов» и «маленьких Маркесов», лишенных, однако, естественности и интеллектуальной тонкости первого и музыкальности, «концептуальной прозрачности», очаровательной многообразности второго.

Ноябрьский номер «ИЛ» (№ 11) выдержан в едином ключе и посвящен исключительно норвежской литературе.

Новый **роман** известного российскому читателю **Эрленда Лу «Допплер»** (перевод Ольги Дробот) можно назвать истинно норвежским. Первые две фразы составляют всю суть содержания: «Я похоронил отца. А вчера убил лосиху» — дальше этих событий сюжет не двигается. Упав в лесу с велосипеда, герой по имени Допплер вдруг обнаруживает бессмысленность собственного существования, понимает, как невероятно утомлен жизнью — телевизором, который постоянно смотрит сын, ремонтом, на котором на-

стаивает жена, и всем остальным. А он сам — «муж, отец, сын, лицо с постоянным источником дохода, домовладелец, человек и много кто еще...», в одночасье разочаровавшись во всем, что составляет его жизнь, констатирует: «внезапно все превратилось в лес». Герой принимает решение поселиться в лесу вместе с лосенком Бинго и признается себе, что такого духовного единения он ни разу не испытывал с женой даже в начале отношений. Жизнь в лесу становится метафорой обретения покоя, долгожданного одиночества, самопознания. Прожив таким образом целый год, норвежский чудак, прихватив с собой лосенка и четырехлетнего сына, отправляется в «крестовый» поход» Зачем? Чтобы «биться до последнего воина» (их всего трое). Против чего? «Против образцовой правильности. Против глупости. Потому что там, далеко-далеко, идет война. Идет война». Речь тут, скорее всего, о своеобразном вызове природного человека обществу потребления, рекламы, видеороликов, замусоривших сознание детей и взрослых. Как и в других романах Лу («Во власти женщины», «Наивно. Супер», «Самая лучшая страна в мире»), мир пропущен через призму «наивного рассказчика». Текст построен по принципу «что вижу, то пою». Герой умеет называть вещи своими именами в полном смысле слова, что и придает повествованию эффект комического. «Наивность» героя выражается подчас в чрезмерной откровенности и кажущемся простодушии; он настаивает на том, чтобы выложить всю правду до конца. Эрленд Лу — это юмор и глубина, современность и стремление обрести истоки, проникнуть в сердцевину жизни. Это взрослая наивность и детская серьезность. Лу — это сама Норвегия.

Забавная история страсти неимоверно толстой дамы по прозвищу Принцесса Бурунди и худенького кавалера, готового ради нее поглощать огромное количество пищи (**Фруде Грюттен. «Принцесса Бурунди»**. Перевод с норвежского А. Афиногеновой); полная магии и недосказанности новелла о любви бездетной пожилой пары — прекрасной поэтессы и талантливого художника (**Юнни Берг. «Игра света»**. Перевод с норвежского Н. Федоровой); пронзительная миниатюра **Бьярте Брейтейг «Стокгольм»** (перевод с норвежского Екатерины Чевкиной) — о юноше, переживающем виртуальный роман с одинокой безумной женщиной... Эти и многие другие сюжеты несут особое настроение, характерное для норвежской прозы в целом. В определенной степени они развенчивают стереотипы, сложившиеся в связи с норвежской литературой (снег, остров, одиночество, самоубийство). Вместе с тем они подтверждают читательские представления о Норвегии, основанные во многом на чтении Кнута Гамсуна. В одиннадцатый номер включены публицистические **статьи Гамсуна** (перевод с норвежского Н. Федоровой), написанные между 1935-1944 годами — когда его убеждения были откровенно профашистскими. Узнать с новой стороны фигуру великого писателя, а также понять неоднозначное отношение к нему норвежской нации позволяет **эссе** современного писателя, публициста **Гейра Полена «Несколько слов о норвежской литературе»**, в котором Гамсун предстает не столько как певец любви и природы, сколько как «нацист», «предатель», «старый упрямец».

Обзор подготовила Ольга Маслова

2. Литературная критика

А. «Арион», «Вопросы литературы», «Знамя», «Наш современник», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни»

(Четвертый квартал 2005 г.)

За прошедшие пятнадцать лет, пишет **Дмитрий Володихин** (**«Место встречи»** — «Знамя», № 12), **КНИЖНЫЙ РЫНОК** дважды узнал, что такое кризис: в 98-м году и сейчас, так что сегодня вполне правомерно рассматривать рубль как зеркало русской литературы. Войдя в «правильный капитализм» раньше других отраслей экономики, книжники раньше других на собственной шкуре узнали, что такое ***перепроизводство***. И дело тут, пишет Володихин, не в том, сколько книг произведено, а в том, сколько их может и хочет приобрести потенциальный читатель. Читатель же наш не особенно богат, к тому же он теряется в бесконечных многотомных сериях — и в результате не покупает ничего. Книгоиздателя такое положение пока что не беспокоит, он не в убытке: существует «рынок слива», куда стекают излишки тиража, уходя по крайне низким ценам. Появилась и прослойка читателей, которые не приобретают новинки до тех пор, пока те не окажутся в «сливе». Но что будет, когда перепроизводство превысит емкость «слива»? Издатели тоннами начнут сдавать книги в макулатуру. И, как утверждает автор статьи, это время уже не за горами. И не только из-за перепроизводства. Изменилось само отношение читателя к книге. Произошла ***десакрализация литературного труда***: из властителя дум писатель превратился в поставщика развлекательной продукции. Даже само слово «писатель» уходит в прошлое, повсеместно сменяясь технологичным термином «автор». Стремительно вымирает и поколение читателей, требующих от литературы серьезной содержательной составляющей. Крайне невелико внимание СМИ ко всем видам литературы — оно и понятно: на рынке развлекательных услуг печатная продукция занимает далеко не первое место, ведь у нее существует мощнейший ***мультимедийный конкурент***. И если для чтения книг требуется хотя бы минимальное умственное усилие, то просмотр CD или DVD этого не требует. В большинстве своем современный молодой человек, пишет Володихин, попросту не понимает, ради чего ему *трудить голову*: «юзер не должен напрягаться». И в результате всего перечисленного, по данным за 2005 год, 52 % российских граждан никогда не покупают книг, 37 % никогда их не читают, а число активно читающих россиян с 2003 года упало на 7 %.

Объяснение, в чем же причина книжного кризиса, можно, при желании, обнаружить у **Владимира Шапошникова**. Его приговор суров: «За 15 с лишним лет ***пребывания у власти демократов*** не создано ни одного выдающегося романа, не написано ни одной приличной повести, не поставлено ни одного серьезного фильма, не сочинено ни одной запоминающейся, задушевной песни, даже ни одного остроумного анекдота не появилось» (**«Вольные мысли и горькие истины»** — «Сибирские огни», № 10).

Будущее нашей культуры — вовсе не за постмодернистской и либеральной тусовкой, монопольно представляющей Россию на всякого рода

книжных ярмарках и литературных салонах, пишет новосибирский поэт **Владимир Берязев** (**«Злоречье Пушкина не застит»** — «Наш современник», № 12). Одна из многих бед отечественной словесности — «феодальная раздробленность», при которой ***провинциальному автору закрыта дорога к широкому читателю***. Из-за имеющей место книготорговой и библиотечной системы выйти за пределы своего региона не может даже шедевр. Но если положение изменится (что невозможно без регулирующего участия государства), всё встанет на свои места: сегодняшние кумиры (а именно Андрей Битов, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Андрей Вознесенский и проч.) «исчезнут как бесы сумерек», потому что вся Россия станет читать до поры до времени никому не известных больших русских писателей — скажем, живущего в Новосибирске Виорэля Ломова. Пока же **НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА** стране не известна. Но не знают ее и за рубежом. Об этом, мило грассируя, сокрушается и некая Эдит, живущая в деревне Лозер под Парижем. Вот что поведала Берязеву француженка: *«Вы меня простите, я не знаю всех тонкостей того, что сегодня происходит в России, но мне кажется, что литература, приходящая к нам из Москвы, не совсем русская, по крайней мере, она очень сильно отличается от той, наполненной смыслом и значением, любовью и мукой, да, той великой литературы прошлого <...> В этой литературе был человек страдающий, что было уникально, ведь только вам присущи духовные поиски и метания, и лучше этой прозы не было <...> А сегодняшних я не могу читать. Ужасно, гадко. Это все низко. А значит, это все неправда. А русские писатели не умеют говорить неправду. <...> Вы, русские, совсем другие, и вы должны оставаться другими. Вы не должны становиться как все. Ведь посмотрите на французов, на европейцев, они просто живут, стараются ни о чем не думать, стараются забыть о всех неприятностях <...> зачем муки совести, если есть адвокат»*. Особенно дорого (и по стилю слышно), что это простое задушевное слово вырвалось прямо из сердца сельской учительницы, а не придумано каким-нибудь славистом-русофобом или даже самим Берязевым. Ничего не скажешь, умеют в «Нашем современнике» найти собеседника, это ж только гора с горой не сходятся...

Несколько иные писатели попадают в поле внимания **Евгения Ермолина** (**«В тени Набокова. Беспощадное отчаяние»** — «Новый мир», № 10), несколько другие процессы кажутся показательными. В отличие от *«профессиональных патриотов»*, предпочитающих все хорошее видеть либо в далеком прошлом, либо в собственном творчестве, Ермолин обнаруживает в современной русской литературе *«новый вектор жизненного смысла»*. «Мне кажется, — пишет критик, — литература у нас возвращается к своему традиционному предназначению, становясь сердцем родины, где возникают и хранятся основные смыслы бытия, становясь — иной раз — даже, отважусь сказать, учебником жизни». Говоря об этих обнадеживающих тенденциях, Ермолин называет последние вещи Юрия Малецкого, Евгения Кузнецова, Олега Павлова, Нины Горлановой, Дениса Гуцко,

ВЛАДИМИР ПУТИН стал сегодня популярнейшим **ЛИТЕРАТУРНЫМ ПЕРСОНАЖЕМ**, пишет **Максим Кронгауз** (**«На фоне Путина»** — «Новый мир», № 11). Все, что связано с президентом, отлично продается. О нем пишут серьезные монографии, квазибиографические романы вроде «Баек крем-

левского диггера», *новые русские сказки* («Как Путин стал президентом» Дмитрия Быкова или чуть ли не народные «Сказки про нашего президента»); недавно вышел сборник полублатных анекдотов («Владимир Владимирович™» Максима Кононенко); есть даже *книга для чтения на английском языке* — «мемуары» президентской собаки «Connie's Stories». Но, каков бы ни был жанр повествования, неизменными остаются основные качества главного героя: 1) строгость, 2) бесстрастность, граничащая с безликостью, 3) связь с КГБ. То есть самый растиражированный персонаж нашего времени оказывается, по существу, человеком, характернейшее свойство которого — полное отсутствие свойств (*«военный, но не совсем, не низок, не высок, не лыс, не кучеряв, скромный, но решительный, на печи не лежит, горшков не бьет, дирижированью не обучен, вредных привычек не имеет... Усов нет»* — такова апофатическая характеристика Дмитрия Быкова). Но почему же тогда именно Путин? — задается вопросом Максим Кронгауз. Почему не гораздо более колоритный Ельцин, например? Ведь, казалось бы, *человек без свойств*[4] («спортивный, красивый, осторожный, трезвый») не должен быть интересен ни писателю, ни читателю... Ответ на этот непростой вопрос обнаруживается у Андрея Колесникова. Читая его книги («Я Путина видел», «Меня Путин видел» и «Увидеть Путина и умереть»), пишет Кронгауз, вдруг замечаешь, что на фоне президента, не имеющего свойств, все другие персонажи оказываются наделены свойствами с переизбытком. У Колесникова именно эти люди — главные герои эпоса о президенте. Скрытые свойства этих людей, привычный абсурд их поступков и слов, «особая бюрократическая имитация реальности» отчетливее всего проявляются как раз ***на фоне Путина***. Этот фон не мешает — даже помогает — обозначить себя на фоне Путина собственным «особым образом» — как Сергей Доренко, пишущий о президенте очередной роман; подать себя «красиво» — как Елена Трегубова или Владимир Соловьев («Евангелие от Соловьева. Первая книга»). «Президента Путина, — подытоживает Кронгауз, — вряд ли можно назвать героем нашего времени в том смысле, как использовал эти слова Лермонтов. Но наше время немыслимо без него. И хотим мы этого или нет, но все мы существуем на фоне Путина и, опять же независимо от наших желаний, проявляемся на этом фоне определенным образом».

В проверенном временем литературном материале современные критики обнаруживают довольно **НЕОЖИДАННЫЕ КОННОТАЦИИ**. К примеру, ***эротические***.

Так, читая «Анну Каренину», **Игорь Клех** выясняет, что истинная пара заглавной героине — не Каренин и даже не Вронский, а Поезд, «грозная материализованная метафора Пола»; идеальная же пара Вронскому — его безвременно погибшая кобыла Фру-Фру (**«Любовь под подозрением»** — «Новый мир», № 12). Полагаем правильным оставить эти изыскания без комментариев.

К не менее любопытным выводам приходит и **Юрий Левинг**, сравнивающий два поэтических сборника — «Лёт» и «Сталинские соколы», 1923-го и 1939-го годов издания соответственно (**«Латентный Эрос и небесный Ста-**

[4] Название романа Роберта Музиля обыгрывается в статье сознательно.

лин: о двух антологиях советской "авиационной" поэзии» — «Новое литературное обозрение», № 76). Первая из книжек, утверждает автор статьи, — плод сексуально раскованной атмосферы Серебряного века; она до отказа наполнена «символикой небесного флирта». Центральная тема «Лёта» — покорение воздушной стихии, ассоциирующееся с половым актом, завоеванием, обладанием, где вонзающийся в небо подчеркнуто-мужественный пилот неизменно вызывает одну и ту же реакцию — «содрогание у неба и ответную истому у пассажиров и наблюдателей». К концу тридцатых годов — *времени «соколов» и «воронков»*, времени второго сборника — положение заметно меняется. Гендерные признаки «сталинского сокола» отступают на задний план, главенствует сдержанная асексуальность, стремление к равенству полов. Теперь в центре внимания поэта не заполнение летчиком «небесной вагины», на смену агрессивной эротике приходит другая любовь — сыновняя (дочерняя) любовь к Родине-матери и мудрому отцу. Вот как знаменитый акын обращается к трем героическим летчицам, экипажу «Родины»:

...Шумят о вас тысячи школ и читален,
О вас по ночам беспокоится Сталин,
И с именем Сталина к небу взлетя,
Отважная девушка, наше дитя,
Сквозь тучи, сквозь вьюгу жестокую мчится...

Система отношений Родина-мать/ Сталин-отец/ летчик-сын (или дочь), пишет Левинг, становится всеобъемлющим принципом: индивидуальное соитие с небом уступает место коллективному кровосмешению, сексуальная энергия под контролем партии перенаправляется в другое русло (*«контролируемое насилие»*), а человеческое начало растворяется в надчеловеческом. Однако, по счастью, среди советских поэтов Джамбулами были далеко не все, так что у остроумной и довольно стройной концепции Левинга есть некоторый недостаток: строфы, приведенные им в доказательство своей правоты, правоту эту не подтверждают.

Владимир Холкин подвергает пристальному рассмотрению **«Три русских сказки»** — «Курочку Рябу», «Репку» и «Теремок» — и во всех трех в качестве важнейшего действующего лица обнаруживает ***судьбу*** («Вопросы литературы», № 5). Это судьба правит ходом жизни и сказочным сюжетом. Это она подглядывает из-за кулис за Стариком и Старухой, не умеющими распорядиться золотым яйцом — свалившимся на них чрезмерно щедрым подарком. Это она, равно непостижимая и в своей милости, и в своей жестокости, сперва ниспосылает героям сказочный Теремок, а затем в одночасье сокрушает его. Это она в нужный момент выпускает на сцену Мышь — и ту, что «бежала, хвостиком махнула»; и ту, что появляется в популярном варианте «Репки», где все кончается этически безупречной победой коллективного труда; и ту, что является в другой «Репке», где никем не званная полевка «пришла, репку вырвала и съела». Психологические характеристики, которыми Холкин наделяет фольклорных медведей, мух и лягушек, свидетельствуют о незаурядной фантазии и изобразительном таланте критика. Проведенное исследование изобретательно и остроумно и, на наш взгляд, было бы много уместнее, напиши автор не литературоведческую статью, а художественное произведение.

А вот показательный заголовок, и к тому же исчерпывающе емкий — настолько, что делает излишним изложение самой статьи: **«"Дневник писателя" Ф.М.Достоевского как прообраз сетевой публицистики» (Леонид Андрулайтис** — «Октябрь», № 12).

Границы между **ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ** и литературой для взрослых постепенно размываются, пишет **Ольга Бугославская («Взрослые и дети»** — «Знамя», № 10). Сегодня для детей творят те же самые мастера пера, что пишут для взрослых. Легче всех, как кажется, подобный универсализм дается Борису Акунину. В своей «Детской книге» он добросовестно пользуется всеми положенными рецептами, забывая порой о вкусе и мере и доводя элементы шаблона до абсурда. Не отказывается Акунин и от собственных штампов, отчего образ Фандорина («и без того потрепанный»), всё больше расползается во времени и пространстве: в книге действуют мальчик Эрастик, профессор Ван Дорн, а к тому же знаменитая фамилия ассоциируется теперь еще и с ящиком Пандоры. Впрочем, как пишет Бугославская, «Детская книга» — продукт отчетливо коммерческий, компилятивный и несущий на себе следы ***глобальной гаррипоттеризации***, а необыкновенная легкость, с которой делаются «аллюзии к первородному греху, искуплению и спасительной миссии, окончательно лишает произведение какого-либо веса». Иное дело «Кащей и Ягда, или Небесные яблоки» Марины Вишневецкой. По словам Бугославской, эту сказку можно читать вслед за «Снегурочкой» и «Русланом и Людмилой» — настолько всерьез подана здесь славянская старина, настолько взволнованна «песнь о вечности и смысле жизни», о мрачном и одиноком бессмертии заглавных героев. Персонажи же сказочных «Историй...» Людмилы Улицкой — будь то плаксивая кобыла Миля, жеребенок Равкин, кот Игнасий, старик Кулебякин или Одинокая Мышь — не что иное, как превратившиеся в разнообразную живность герои «Казуса Кукоцкого», «Вашего Шурика» и т.п. «Истории...» эти можно воспринимать и как введение в художественный мир Улицкой, и как составную часть этого мира... Удивительно, но автор статьи разбирает книжки и, как кажется, совершенно не сочувствует детям, которым предстоит всё это читать.

О творчестве Рубена Давида Гонсалеса Гальего размышляет **Алла Латынина («Воля к жизни и воля к смерти»** — «Новый мир», № 12). Латынина отказывается согласиться с довольно-таки распространенным мнением о том, что букероносное «Белое на черном» — не произведение художественной литературы и что Букеровскую премию писатель получил **НЕ ЗА ТВОРЧЕСТВО, А ЗА БИОГРАФИЮ**[5]. Неумеренные похвалы мужеству Гальего, пишет Латынина, сплошь и рядом сочетаются со снисходительностью к нему как к писателю. Между тем, указывает критик, впечатление безыскусности «Белого на черном» достигается «не литературной неискушенностью автора, но чувством формы и чувством слова». А то, что со словом и с формой Гонсалес Гальего справляется прекрасно, что он владеет разными стилями и умеет находить художественный язык, адекватный со-

[5] Напоминаем, что речь идет об автобиографическом произведении, автор которого — рожденный в СССР испанец, калека, с младенчества обреченный на неподвижность и скитания по детским домам.

держанию, лучше всего доказывает его новая книга «Я сижу на берегу», подробному разбору которой и посвящена статья.

Взаимоотношения **МЕМУАРОВ** и действительности, воспоминаний и реально бывшего определяются не только особенностями памяти мемуариста, но также и *нравственными* его *качествами*, пишет **Яков Гордин**. Статья так и названа: **«Память и совесть, или Осторожно — мемуары!»** («Знамя», № 11). Речь идет об Иосифе Бродском — вернее, о вспоминающих Бродского Евгении Рейне и Дмитрии Бобышеве. И если Рейн в своих многочисленных интервью создает «энциклопедию разнокалиберных легенд», по словам Гордина, вполне бескорыстно — единственно в силу своей незаурядной фантазии, то «избирательность памяти» Бобышева имеет конкретные прагматические причины. Его книга «Я здесь. (Человекотекст)» — это попытка «трансформировать фактическую сторону своей жизни за чужой счет», а заодно исправить несправедливость судьбы и указать Иосифу Бродскому его законное место. В связи со всем этим Гордин приводит известную формулу: *«Боже, защити меня от друзей, а с врагами я справлюсь и сам»*.

Елена Чижова сопоставляет две чрезвычайно значимые фигуры позднесоветской эпохи и в образах их творчества усматривает **ДВЕ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ СО ЗЛОМ («Бродский и Галич учились в одном классе»** — «Вопросы литературы», № 6). Для Александра Галича, пишет Чижова, искусство — мощнейшее орудие ***этики***. То обстоятельство, что понятия Добра и Зла в современной жизни поменялись местами или вовсе обессмыслились, не заставило Галича воспринимать их как категории подвижные, отвлеченные, относительные. Он знает, что такое Правда и Добро — и служит им. Для Галича Зло смыкается с идеологемой «народ», которая в условиях советской действительности парадоксально соединяет в себе и идол, и жертву. Иначе обстоит дело с Иосифом Бродским, чье поколение, как указывает Чижова, пришло в культуру, когда понятие «этики» было опорочено советской действительностью, когда противостояние этического и эстетического стало политическим, а эстетизм воспринимался как черта антисоветская. Таким образом, поэт и его поколение выбрали ***эстетику*** — а тем самым свободу от общества, от идеологии, от «согласия и единодушия». Важнейшей духовной задачей времени Бродский считал воссоздание *непрерывности культуры,* а также определение собственных отношений с Абсолютом — «Богом, Духом, Языком — как ни назови». И если позицию Галича лучше всего характеризует слово «преодоление», то позицию Бродского — «бегство» — это, пишет Чижова, и есть главный нерв его борьбы со Злом. *Недоверие к этике* подсказывает направление побега: отнестись к смыслу как к «игровому полю», а то и вовсе пожертвовать им — и углубиться в форму. Длинные стихотворения Бродского подобны растениям со срезанной верхушкой: они способны вновь и вновь дробиться, пускать все новые ростки, бесконечно разрастаться в ширину (здесь соединяется несоединимое, поскольку поэт ничего не хочет выбирать и ни от чего не отказывается). Более того, в этой поэзии как будто заложена и возможность исследовательских интерпретаций, оттого-то пишущие о Бродском то и дело норовят «привить» к его словам и образам собственные толкования — пусть порой и дички. Будучи безупречно точен на уровне слова, образа, знака и звука, ука-

зывает автор статьи, Бродский соблазнителен, даже коварен, когда речь заходит о *смысле* всего стихотворения или даже фрагмента — какого-нибудь очередного претенциозного афоризма, на деле могущего оказаться бессмыслицей. *«Как только человек теряет нравственный смысл, так он делается особенно чувствителен к эстетическому»*, — цитирует Чижова Льва Толстого, добавляя от себя, что литература, игнорирующая нравственный выбор, «играющая», рано или поздно начинает играть на руку Злу. Но фрагментарность мироощущения, как сказано в статье, свойственно не только Бродскому; такова участь поколения в целом. И не стоит торопиться с зачислением поэта в циники и в «генералы постмодернизма», ведь эстеты XX века именно потому и могли позволить себе эстетство, что апеллировали к *человеку этическому*. Вопреки громким декларациям, базовые этические ценности вовсе не стали для «эстетиков» пустым звуком; и стремление Бродского воссоздать «непрерывность культуры» — это, по сути, стремление восстановить этическую норму, исправить тот самый внутренний механизм, который и позволяет отличать Добро от Зла. В конце концов, пишет Чижова, Бродский заговорил о Зле напрямую, определив его как реальную общественную силу. «Галич и Бродский, — делает она вывод, — жгли свечу своего времени с противоположных концов, и два огня, освещавшие путь многим из нас, постепенно приближались друг к другу, чтобы однажды, сойдясь в единой точке, посрамить советское Зло».

Свои *заметки о позднесоветском интеллектуальном сообществе* **Алексей Берелович** назвал **«О культе личности и его последствиях»** («Новое литературное обозрение», № 76). Речь здесь идет о том особом месте, которое в 70 — 80-е годы в сознании нашей интеллигенции занимали фигуры некоторых ученых, о граничащем с *культом* почтении к ним. И это наряду с тем, что рядом работали люди, чьи теории и научные школы были не менее (а иной раз и более) ценны. Но специфика явления в том и состоит, что особое отношение складывалось не столько к ученым, мыслителям, открывателям нового, сколько к *личностям* — и личностям, чья деятельность отвечала прежде всего двум критериям: *устность* и *несоветскость*. Так, о Бахтине говорили, что «даже его манера курить была исполнена многозначительности и особой свободы». А для образа Аверинцева важнее всего оказывались не его книга или многочисленные статьи — вообще не слова и идеи (в исполнении этого ученого публика могла заворожено слушать текст любой сложности — вплоть до латинского, слушать и упиваться собственной причастностью к совершенно иной культурной реальности), а то, что каждым своим выступлением он нес аудитории свободу и радость мысли, олицетворял собой несоветскость. Лосев, Лихачев, Бахтин, Аверинцев, Вяч. Вс. Иванов — в первую очередь они притягательны тем, что «в советском времени... остаются представителями другой эпохи», являют собой «сгусток традиции», «живое присутствие якобы исчезнувшего мира». И все это в условиях советской действительности и официальной идеологии с ее претензиями на научность. Соответственно, вокруг таких людей складывался особый «культ»; лекции, а тем более неофициальные квартирные семинары создавали ощущение элитарности, исключительности, непосредственной — hic et nunc — связи с «учителем». Подобная «кружковая эзотерич-

ность»[6] привела к тому, что внутри научного сообщества возникли неформальные структуры (скажем, летние школы Лотмана в Тарту), еретические по отношению к официозной науке, так что к концу советского периода в гуманитарных науках сложилось положение, при котором профессиональная компетентность и искреннее исповедание официальной доктрины стали «не просто едва совместимы, но почти полярно противоположны друг другу». И оказалось, что подобная поляризация начисто разрушает критерии научной легитимации: становится непонятным, что есть свидетельство принадлежности к «настоящей науке» — официозные кандидатские «корочки» или же публикация в тартуских «Трудах по знаковым системам». (Но ведь именно в тартуском сборнике, напоминает Берелович, впервые появились работы Фоменко по «новой хронологии».) Положение дел не исправилось и по сей день. Крах государственной монополии на науку уничтожил противостояние официального и неофициального, но общего пространства, дающего гуманитарному знанию единые критерии научности, так и не возникло. Ученые получают легитимность внутри своей собственной группы; такие группы зачастую даже не знают о существовании друг друга, а в результате получается, что построения Гумилева или Фоменко (относящиеся скорее к области научной фантастики) обсуждаются в статусе вполне убедительных теорий.

В статье **«Эстетический фашизм»** («Вопросы литературы», № 6) **Александр Чанцев** рассматривает Эдуарда Лимонова как «продолжателя» Юкио Мисимы (1925 — 1970). Знаменитый японец, видевший в красоте темную демоническую силу, эстетизировавший молодость, телесность и неукротимый героизм, воспевавший смерть и совершивший в конце концов «прекрасное самоубийство», — один из любимых писателей Лимонова и едва ли не главный его кумир. Общее у них даже стремление и самую жизнь творить в соответствии с собственными эстетическими идеалами. Соответственно, совпадают и некоторые подробности биографии. Точнее, не некоторые, совпадают почти все подробности — разве что за исключением «прекрасного самоубийства»...

В связи с Эдуардом Лимоновым **Михаилу Свердлову** приходят совершенно другие литературные аналогии: эта фигура ассоциируется у него в первую голову не с Мисимой, а с персонажем «Винни Пуха»: точно таким же бодрым писком Крошка Ру призывал всех-всех-всех восхищаться собой (**«"Полюбите себя...": Эдуард Лимонов и его почитатели»** — «Вопросы литературы», № 6). Лучшее из всего, что написано Лимоновым, — самое содержательное и емкое, самое исчерпывающее, замечает критик, — три слова: «Это я, Эдичка». В эту формулу целиком укладывается личная тема, смысл жизни и философия автора, поскольку, что бы ни говорил Эдичка, — это

[6] Парижанин Берелович указывает, что явление это не уникально, нечто подобное знакомо и Франции, в научном сообществе которой тоже складывались своего рода «секты» или даже «церкви» (с приверженцами, еретиками, изгнанными и т.п.). Однако «канонизация через традицию» Франции не знакома, там центральной фигурой выступает не наследник великого прошлого, а основатель ***нового*** течения (Лакан, Фуко, Бурдьё).

всякий раз лишь взвизг восхищения собою. Однако, замечает Свердлов, *понять Лимонова* гораздо проще, чем понять, *почему его читают*. Казалось бы, его сочинения изначально годятся лишь для критиков и психиатров: им по долгу службы положено. Тем не менее Лимонова читают и почитают. Причем, как пишет Свердлов, — интеллектуалы. Критики принимают Лимонова всерьез: «оговорка о его талантливости, пусть даже "отрицательной", считается едва ли не обязательной». Его книги входят в джентльменский список: как не прочесть *того самого* — скандалиста, фашиста, бывшего зэка — и к тому же первого из русских писателей, кого *«трахнул негр»*! И дело не только в том, что Эдичка *«впервые и вовремя»* уловил социальный заказ и посягнул на все мыслимые табу (*Кто посмеет, тот и прав... Кто на большее может плюнуть, тот и законодатель...*). Причина не только и не столько в лимоновской социальной стратегии и «жизнестроительной технике». Причина его популярности среди интеллектуалов, как утверждает Свердлов, кроется в головах самих интеллектуалов. Просто Лимонов не одинок в своем эгоцентризме: *роль личности* (вернее, ее разговоров о себе) велика сегодня, как никогда. И не находя опоры в прежних абсолютах, многие цепляются сегодня за свое «я» как за единственную реальность и главную ценность. А когда самоутверждение становится единственным делом жизни, тогда, спасаясь от рефлексии и «комплексов», человек больше всего и нуждается в уроках бесстыдства — в Эдичкиных уроках. Теперь можно во всем признаться и не покраснеть — ведь это «мое», вот что главное!

О том, как инфантильна современная **МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ**, а также и о том, что инфантильна она *демонстративно*, сказано немало. Но как совместить раздражение, которое эта ***инфантильность*** возбуждает в читателе, с читательским же ожиданием от поэтического слова искренности и простодушия — с пресловутым «поэзия... должна быть глуповата»? На этот вопрос берется ответить **Артем Скворцов («Кокон инфанта»** — «Арион», № 4). Просто, поясняет он, существует некоторая путаница: даже маститым поэтам порой свойственно носиться с собственной инфантильностью, пестовать ее и лелеять — и только потому, что инфантильность они принимают за ***детскость***. А ведь детскость совершенно противоположна инфантильности. Детскость — это свежесть восприятия, это неиспорченность, эмоциональность, радостная открытость миру и доброта. Инфантильность же — нежелание взрослеть и меняться, отказ брать на себя ответственность за собственные слова и поступки, поверхностный снобизм, социальная пассивность, недоверие, а подчас и агрессия по отношению к чужому. Инфантильность сосредоточена на себе, любимом; детскость обращена вовне. Детскость — это всегдашнее удивление миру, отсутствие привычки к нему. Поэзия и есть результат такого удивления: «художнику многое позволено, кроме, пожалуй, одного: он не имеет прав привыкать к миру». Увы, новое поэтическое поколение общим эпиграфом своего творчества могло бы поставить такие строчки:

> Ты знаешь, с тех пор, как мне стукнуло пять,
> Я даже не знаю, о чем вспоминать...
>
> *(Андрей Куляхтин)*

Поэзия сегодня почти никому не нужна, пишет **Елена Елагина («Хайку к кофе»** — «Арион», № 4): «современный, выбравший пепси, читатель уже

приучен сторониться всего серьезного». И кроме горстки пожилых чудаков серьезной поэзией интересуются только литературные критики и (отчасти) сами поэты. Но раз **ЧИТАТЕЛЯ** нет, значит, **НАДО** его **ВОСПИТАТЬ**, а для начала — настигнуть в местах, хоть и неожиданных, но для чтения пригодных. И, не дожидаясь, когда люди устанут от масскульта и сами собой потянутся к разумному, доброму, вечному, Михаил Бар и Константин Карасев придумали блестящий маркетинговый ход: почти два года сеть питерских кофеен Republic of coffee в качестве подарка к определенному сорту кофе прилагает брошюрки ***русских хайку***, уже выпущено пять таких сборничков общим тиражом около двух тысяч. Сидят люди, пьют кофе, читают трехстишия — и им хорошо. Если бы можно было таким же образом приучить соотечественников к поэмам и романам в стихах, глядишь, удалось бы внедрить в их сознание, что разбираться в поэзии ничуть не менее престижно, чем в марках вин, часов или автомобилей...

Для критиков литературно-патриотического лагеря, пишет **Николай Переяслов («Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова»** — «Сибирские огни», № 10), Юрий Кузнецов — что Бродский для демократов, то есть фигура почти священная. Бранить творчество Кузнецова у почвенников не принято, у них, наоборот, — принято ругать постмодернизм. Переяслов же берется утверждать: ведущий поэт литературно-патриотического лагеря оказался на поверку отъявленнейшим постмодернистом. Прошляпили «патриоты» матерого врага под самым носом, прямо в журнале «Наш современник»! Переяслов, для которого «постмодернизм» — тоже ругательство, выписывает определение этого понятия из словаря Вадима Руднева, утверждая, что стихи и поэмы Кузнецова отвечают этому определению. Как и положено постмодернисту, Кузнецов — типичный «приватизатор», к любому тексту относящийся как к литературному сырью и перекраивающий клочья чужого с целью создать ***как бы свое*** — «самоутвердиться в искусстве, взгромоздившись на спину всей мировой культуры, и, стоя на плечах классиков, выцарапать на граните вечности: "*Тут был Юра*"». А побывал Кузнецов, как видно, во многих местах... Так, в 2000 — 2002 годах он опубликовал поэмы «Детство Христа», «Юность Христа», «Путь Христа» и «Сошествие в Ад». В кузнецовской трактовке евангельских событий автор статьи отчего-то усматривает влияние покойного протоиерея Александра Меня, — вероятно, забыв, что отец Александр был благочестив, образован и обладал хорошим вкусом, — какого вывода о своем авторе не позволяют сделать цитируемые в статье тексты:

...Кто там летает и дует, как ветер в трубу?
Это проносится Гоголь в горящем гробу.
Раньше по плечи горел, а теперь по колени.
Гоголь всё видит и чует сквозь вечные тени...

Мертворожденными литературными гомункулусами называет Переяслов эти произведения, вполне говорящие сами за себя. Читаешь — и не знаешь, как реагировать. Отнестись к этим раешникам — одновременно и бойким, и любительским — всерьез? Да полно, это же малохудожественная самодеятельность! Повеселиться, вчитываясь в отборные «перлы»? Того гляди впадешь в богохульство... Но, честное слово, есть что-то трогательно наивное в самонадеянном невежестве автора. А если верить Переяслову, там много чего

интересного происходит... Вот хотя бы такая сценка в преисподней. Христос и сопровождающий его Кузнецов встречают Иоанна Крестителя (почему-то несущего собственную голову под мышкой), при этом Иисус — то ли не зная, кто и при каких обстоятельствах обезглавил Предтечу, то ли щеголяя остроумием — произносит:

— ...Иоанн, что случилось с тобой?
Голову ты обронил, как скупец — золотой...

А после того как Иоанн рассказывает, как лишился головы (с некоторыми довольно мерзкими подробностями, присочиненными автором поэмы), Иисус поступает с ним точь-в-точь как Бегемот с Жоржем Бенгальским:

...Глянул на голову Бог и во имя Свое
Взял и поставил на прежнее место ее.
И приросла голова, и, ни мало, ни много,
Встретились вровень два взора: пророка и Бога...

М-да, скажем мы, чтоб так писать, точно надо специально учиться на постмодерниста — не достаточно просто обладать самоуверенностью и отсутствием вкуса... Впрочем, существует и третье мнение — Переяслов цитирует пермского поэта Игоря Тюленева: *«Когда пишут ныне необоснованно растиражированные Мандельштам, Пастернак или Бродский — виден глазомер, ум и стопка русских литературных словарей... Когда же пишет Юрий Кузнецов, то стихи его вздымаются, как планетарные валы мировой истории. <...> Поэма неисчерпаема. В ней заложено развитие грядущих поэтов, которые, вспорхнув с ветвей этого могучего Древа, разнесут по миру семена-образы...»*

Тем бы и закончить статью, дав процитированным текстам (а мы, разумеется, привели их далеко не полностью) возможность сечь себя самим, а читателю — наслаждаться комическим эффектом. Но Переяслов слишком всерьез воспринимает писания Кузнецова, слишком укрупняет фигуру разоблачаемого поэта, а потому идет дальше. И вот читатель сперва вдоволь хлебает богословского ликбеза (особенно неуместного оттого, что недалекий персонаж, приращивающий отрубленные головы, самопроизвольно меняющийся в размерах и получающий пощечины от Магдалины, имеет к Христу примерно такое же отношение, как макака-резус к Моне Лизе). Затем Переяслов уличает Кузнецова в смертном грехе гордыни; на полстраницы выписывает примеры убогих рифм; потом довольно путано рассуждает, был Павлик Морозов грешником или великомучеником и в самом ли деле заслуживают преисподней Белинский, Тютчев, Гоголь, Анатолий Чубайс и прочие насельники кузнецовского «Ада», — а в конце концов определяет ад самому Юрию Кузнецову (которого, надо заметить, в живых нет уже два года с лишком, от чего подобные суждения и осуждения приобретают вполне специфическую окраску). Нам же, говоря о покойнике, как-то не хочется покидать область творчества и переходить на личности, так что, пожалуй, согласимся с утверждением о том, что Кузнецов страдал постмодернизмом (тем более не обидным, что в качестве формулы постмодернизма Переяслов признает и пушкинское: *«...и на обломках самовластья напишут **наши** имена»*, полагая, что в этих словах сформулирован принцип самоутверждения за счет принижения былых ценностей). Мы же заметим, что принцип самоутверждения свойствен

не только постмодернизму и самоутверждаться за счет чужих текстов случается и иным претендентам на объективность. Кстати, за примером и ходить далеко не надо. Вот доверчиво помещенные в статье стихи самого Переяслова на смерть поэта Юрия Кузнецова, которые (как ни покажется это невероятным!) по художественным, морально-этическим и постмодернистским параметрам будут похлеще писаний самого Кузнецова:

Жил поэт среди русских равнин <...>
...Он сюжеты срывал, как с куста:
пел про Вовочку, про маркитантов,
про Царевну-Лягушку[7], Христа —
всем на равных хватало таланта!
Всех он выстроил в рифменный ряд,
наделив сочиненной судьбою...
ну, а после — отправился в Ад
и погнал их туда пред собою...

Статья **Владимира Яранцева «Путь Юрия Кузнецова»** — скорый ответ Николаю Переяслову («Сибирские огни», № 11). Автор разъясняет, что никакой Юрий Кузнецов не *латентный* постмодернист. Более того, его «постмодернизм» — чистая видимость, дразняще лежащая на поверхности — к вящему соблазну тех, кто, подобно Переяслову, читает священные тексты на уровне слова и демонстрирует «вопиющее откровенное непонимание поэтического универсума Ю. Кузнецова». Все же кажущиеся странности и парадоксы поэта «легко объяснимы, ***если исходить из первенства не слова, а духа в его поэзии***». Да-да, прямо так и сказано! А так как для понимания иных поэтов более правильно из первенства слова не исходить, то Яранцев, в отличие от оппонента, своего подзащитного практически и не цитирует — и правильно поступает, потому что дело у него сразу идет на лад и Кузнецов превращается в фигуру поистине титаническую. Он — и творец «словесных икон», и фигура масштаба Блока, Маяковского и Платонова, и «русский Прометей», и «Юрий-победоносец», и строитель Храма, завещанного Достоевским в «пушкинской речи»... Он же — и юродивый Христа ради, да что там «Христа ради» — сам подобен Христу в способности творить чудеса, которые явлены не всем, а лишь тем, кто верует... И при этом он же осуждает гордыню — и не как-нибудь, а «*дантоподобно*»! Надо полагать, когда имеешь дело с поэтом *такого* масштаба, — и сам как критик несколько прибавляешь в весе. Впрочем, Яранцев скромен: себя он уподобляет всего лишь Николаю Бердяеву — правда, поставленному в более суровые условия — нынешние.

А теперь, наконец, о Царевне-Лягушке. Яранцев, по вполне понятной причине, стихи про лягушку не цитирует. Цитирует их Переяслов — и тоже по причине понятной. Итак, герой русской сказки, как ему и положено, обнаруживает чудо-лягушку. И берет ее с собой, рассудив: «пригодится на доброе дело». А дальше происходит вот что:

---

[7] Упомянутая здесь Царевна-Лягушка из «Атомной сказки» Юрия Кузнецова требует, пожалуй, отдельных разъяснений, для которых мы вряд ли нашли бы место, когда бы не статья, о которой речь пойдет чуть дальше. Но о лягушке — немного погодя.

...Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.

А вот и взгляд Яранцева на муки злосчастной животины: «То, что происходит в его (Кузнецова. — *Ред.*) стихах с бабочками, травами, птицами, пчелами, кактусами и, конечно, лягушкой под током, это нечто невербальное, засловесное. То, что можно назвать не превращениями, а претворениями, обращениями в веру и плоть поэта. <...> Да и смерть ли это, если "в каждой жилке" лежащего под электрическим током земноводного "стучали века". Не есть ли такая смерть — феномен культурологический, переход из обычного, биологического состояния в новое. <...> Да и "дурак"... не дурак, а другое имя юродивого»... Собственно, что тут прибавишь...

Когда смотришь в глубину веков и касаешься **ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ**, хочется обобщать и самому. Так **Владимир Шапошников** открывает следующую *горькую истину*: «В истории советского литературоведения есть один примечательный факт. Почти все маститые исследователи русской классики — лица еврейского происхождения: Г. Гуковский, М. Бахтин, Л. Гроссман, Н. Эйдельман, Э. Герштейн, Г. Фридлендер, С. Машинский, З. Паперный и т. д. до бесконечности. Отсюда сам собою напрашивается вывод: великая русская литература породила великое еврейское литературоведение» (**«Вольные мысли и горькие истины»** — «Сибирские огни», № 10).

Обзор подготовила Ирина Дугина

В. «Звезда», «Нева»

«Злоба дня» — так называется подборка статей **Самуила Лурье** («Звезда», № 10). К злободневным раздумьям критика подтолкнули отмечаемые нынче писательские юбилеи. Юзу Алешковскому, например, исполнилось 75 лет: дата, замечает Лурье, «странно солидная для человека таких стремительных текстов» (эссе **«75 — Юзу Алешковскому»**). Этот писатель, как никто умеющий письменно пользоваться табуированной лексикой, «отпраздновал полное и окончательное поражение стилистики официоза». Алешковский, автор полудюжины романов и повестей, блестяще зафиксировавший превращение страшного в смешное, уже стал классиком. Правда, непереводимым, как Салтыков-Щедрин и Лесков. И — «даже безнадежней». Юбилей случился и у Николая Островского. Ему, мученику, «с головы до ног покрытому сусальной ложью всевозможных тунеядцев», посвящено эссе **«Слепой очевидец»**. Нет, это не привычно запоздалое осуждение идеологии, которое нес в себе Павка Корчагин. Идеология идеологией, а на самом-то деле, пишет Лурье, роман «Как закалялась сталь» — «единственный по-настоящему чувственный в советской школьной программе. Насквозь отравлен сладким, ожесточенным целомудрием». И мало того. Современные тинэйджеры, если им случится с

романом познакомиться, откроют для себя логику революции. А именно: если петлюровские бандиты грабят магазин — это погром; а когда чекисты опустошают погреб — это «реквизиция у шкуродера». Но и этого мало. Главное — и Корчагин, и Жухрай, и другие положительные герои романа есть «самая ненавистная для Сталина порода людей — идеалисты... И он всю эту сталь сгноил... Горстка уцелевших вернулась из лагерей в литературу тридцать лет спустя: несчастные старики трифоновских повестей». Эссе **«Комары»** как раз и посвящено памяти Юрия Трифонова, которому в 2005-м исполнилось бы, сказано в статье, 85 лет (ошибка: на самом деле 80). Умер он, убежден Лурье, от отчаяния. Был как раз такой момент, когда люди, нуждавшиеся в смысле, почувствовали: он окончательно пропал. Смысл истории, смысл работы, смысл жизни. «Кто сопьется; кто продастся; иллюзорный, мечтательный выход — одиночество где-нибудь в глуши; реальный выход — инфаркт миокарда». Потомок первых большевиков, людей благородных, но безумных, Юрий Трифонов нашел слог, «передающий хаотическое мышление людей безвременья, принявших несвободу как норму и долг». Нашел — описал этот нестерпимый образ жизни — и умер. И его, увы, не читают. Хотя это было бы делом нелишним, пишет Лурье, в сравнении с его героями многие из нас — удачники, счастливчики, любимчики богов.

Статья **Галины Ребель** о Николае Островском **«Несостоявшееся возвращение»** («Нева», № 11) перекликается с эссе Самуила Лурье. Столетие со дня рождения писателя — это всегда серьезно, пишет Ребель, тем более, что в литературных и педагогических кругах разнеслась весть о принятом в каких-то верхах решении вернуть роман Островского в школьную программу. Критик подходит к роману с двух сторон: собственно литературной и педагогической. С горечью вчитываясь в сочинения школьников, в их косноязычные, еле слепленные фразы, Ребель говорит о деградации литературного образования в школе: ученики в массе своей не умеют ни читать, ни вдумываться в написанное, ни рассуждать, ни спорить, ни аргументировать. Рассматривая же образ Павки Корчагина с позиций литературоведа, она обнаруживает сходство и с Инсаровым, и с Дон Кихотом, и с Николкой Турбиным. Сегодняшнему школьнику, рассуждает автор статьи, небесполезно было бы осознать, что «трагическая история их отечества творилась не только "бесами" с одной стороны, и историческими импотентами с другой, что с обеих сторон в этой роковой междоусобице участвовали и подлинные герои, а тот же Павка Корчагин — выпестованная аристократическим романом XIX века фигура». Он же — и крайне выразительный представитель той многомиллионной людской массы, не так давно «бессловесной, неразличимой и неведомой власть придержавшим». Да, он смотрит поверх голов и, если ему надо, по этим же головам шагает. Да, он убежден, что тюки партийных газет, необходимых для уездной конференции, важнее, чем продовольствие для голодающего населения. И на крестьян он смотрит как типичный большевистский сноб, безжалостный и беспощадный. Но именно наступившая слепота и неподвижность лишают его возможности стать соучастником одного из величайших преступлений XX века — коллективизации. То обстоятельство, что Корчагин ослеп, есть единственный, исключительный его шанс окончательно перейти в сферу идеального. Да и просто уцелеть.

Со статьей **«Кто вы, классики русской литературы, творцы или проповедники?»** выступает **Аркадий Бартов** («Нева», № 10). Написана статья нарочито тяжелым, дубовым, шаржированным слогом, так что при чтении ее возникает вопрос: а не смеется ли автор надо всем тем, что говорит? Рассматривая творчество трех классиков, Бартов приходит к следующему выводу: «Именно благодаря художественному мастерству, а не мировоззренческой проповеди, Тургенев, Толстой и Достоевский оставили огромный след в литературе... В наше время пришло осознание того, что писатель не должен проповедовать, он должен оставить читателя в покое и ничего не требовать от него морально». Никак не скажешь, что мысль эта отличается свежестью...

Сравнительный анализ двух романов — «Странники в ночи» Марка Ламброна и «Каблуков» Анатолия Наймана — предпринимает **Владимир Соболь** (**«Своим ли путем?»** — «Звезда», № 10). Герои обеих книг, переводной и отечественной, — почти сверстники, оба к тому же вступают в жизнь в 50-е годы. Но Каблуков словно поражен параличом воли: писатель даже не пытается рассказать, чем жил его персонаж, где его собственное дело, кого он любит. Именно тут, отмечает В. Соболь, пролегает демаркационная линия между героями прозы русской и французской. Герой Ламброна, куда бы автор его ни отправил, стиснув зубы, движется только вперед — даже во вьетнамские джунгли. Найман же рисует человека, проспавшего до шестидесяти лет, человека-пустышку, который только под старость с радостью для себя узнал, что всю жизнь его гноила и гробила советская власть. Есть теперь на кого свалить...

«Почему в воровском мире был культ Есенина?» — на этой любопытной теме останавливается **Вячеслав Вращенко** («Нева», № 12). В самом деле, и В. Шаламов, и А. Жигулин в своих книгах говорят об исключительной популярности поэта в уголовной среде. Правда, причины этой популярности называют диаметрально противоположные. По Жигулину, есенинские стихи пробуждают высокие чувства даже в душах убийц и бандитов. Шаламов же объясняет любовь блатарей к есенинской поэзии низменностью чувств и цинизмом автора. Отдавая должное обеим точкам зрения, Ващенко пишет: в поэзии Есенина есть струны, близкие практически каждому. Это — жалость к себе, плач над собой. «Никто из русских поэтов так, как Есенин, не выразил чувство влюбленности в себя... любования собой, своей отцветающей молодостью, прекрасным увяданием». Есенин оплакал себя горько и красиво, притом как-то по-детски непосредственно. К тому же его поэзии, как ни странно, присуще *женские* — и при этом очень русские — чувства. Издавна ведь известно, что у России лик женственный. И плач поэта над собой сродни материнскому плачу над сыном.

О трагической судьбе и прекрасной поэзии Евгения Шешолина, не дожившего и до 35 лет, рассказывает **Александр Белоусов** в статье **«Поэт Евгений Шешолин»** («Звезда», № 10). Это был человек-бунтарь, более всего любивший свободу и оттого всегда ломавший собственную жизнь. Он был человеком верующим и отвергал тоталитаризм, боровшийся с церковью и преследовавший культуру. Порвав с официозом, из спокойного и обеспеченного мира поэт сознательно ушел в люмпены. Шешолин ценил все летучее, хрупкое, эфемерное. И писал в основном верлибры, не имеющие

метра и рифмы, изощренной ассоциативности, метафоричности образов. Но стихи эти удивительно хороши.

В статье **Константина Фрумкина «Миссия инженера»** («Нева», № 12) рассматриваются два романа — «Бессильные мира сего» Бориса Стругацкого (С. Витицкого) и «Дневник наркомана» Алистера Кроули. Два писателя, разделенных пространством, временем и существенной разницей культур, пишет автор статьи, создали произведения на крайне близкую тему: «Это романы про то, как необходимо человеку найти тот единственный талант, который будет его жизненным предназначением, а также о том, как ужасно, когда человек этот талант, это предназначенье не находит...»

Николай Голь в статье **«Новая сказка бочки»** («Нева», № 10) продолжает свою излюбленную тему. Он пишет об ошибках и опечатках, кочующих из журнала в журнал и из книги в книгу. Тут нынче, и в самом деле, есть где разгуляться. В одной книге Голь обнаруживает, что автор причиной смерти Софьи Перовской называет неудачные роды. В другой отмечает превращение Л. Мартова из меньшевика в большевика. Читая третью, замечает путаницу между словами «элитный» и «элитарный». Ужас, до чего доводит в наши времена эта путаница!..(Для продолжения этого печального ряда укажем, что на 218-й странице того же самого номера «Невы», где напечатана статья Н. Голя, хрестоматийные строки Тютчева «И нам сочувствие дается, / Как нам дается благодать» отважно приписаны Анне Ахматовой.)

Злоязыкий **С. Гедройц** с удовольствием прогулялся по роману Олега Ермакова «Холст» (**«Печатный двор»** — «Звезда», № 12), отметив, как интересно повествование строится: «пейзаж — рассуждение — воспоминание — рассуждение — разговор, заплывающий воспоминанием». Меж тем событий в романе нет как нет: герой сбрил усы, поговорил о чем-то с младшим братом, выпил кофе — и всё. «То есть, — отмечает автор статьи, — текст как бы сказал автору: я кончаюсь; я не могу продолжаться; слабый двигатель не справляется с грузом мелких обстоятельств. Остановись». Но Ермаков не послушался и поступил проще: написанный текст перевязал ленточкой и прикрепил к нему игрушечного воздушного змея — «не правда ли, читатель, мы летим?». А анализируя роман Бориса Евсеева «Романчик», Гедройц подмечает, что произведение это целиком пропитано глубочайшей нежностью автора-персонажа к себе самому и восторгом опять же перед собой. С остальными атрибутами романа дела похуже. Вычитывается же из «Романчика» следующее: «Герой-гений обижен на судьбу, на страну и на всех современников, тогдашних и теперешних. С ним дурно обошлись при социализме... Впоследствии же российская история... вообще пошла по ложному пути. В результате чего Борис Евсеев остался недостаточно оценен».

Рецензируя книгу Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» (**«Печатный двор»** — «Звезда», № 11), **Гедройц** предъявляет автору всего одну претензию: зря не предупредил, что его творение написано исключительно о взаимоотношениях Антона Павловича с семьей и друзьями. Тогда было бы ясно, почему при попытке проникнуть в художественный мир Чехова Рейфилд так нестерпимо оглупляет писателя.

Обзор подготовила Евгения Щеглова

Игорь ВИНОГРАДОВ

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Выпуск первый. Март 2006 г.

I. Немного о личном и не только, или Почему вдруг теперь

(Вынужденные пояснения к новой рубрике)

Все те семнадцать лет, что Владимир Максимов редактировал «Континент», он неизменно, в каждом номере, печатал свою «Колонку редактора». И за те почти четырнадцать лет, что прошли уже с 1992 г., когда я принял от него журнал, меня не раз спрашивали — почему я не продолжил эту традицию?

Действительно — почему? И почему теперь вдруг решаюсь на что-то подобное?

На оба вопроса можно ответить очень коротко. Да просто потому, что раньше не было в этом живой потребности. А теперь — появилась.

А вот почему раньше не было, а теперь появилась — на этом придется немного задержаться. Раз уж, представляя новую рубрику, я просто обязан ответить на оба эти законных вопроса.

1. Объяснение первое, или Какому «Континенту» на Руси было лучше?

Напомню, во-первых, что когда «Континент» перебрался в 1992 г. из Парижа в Москву, в России и во всем мире уже шесть лет как стояла совсем другая погода. Соответственно и журналу предстояло врастать в отечественную почву, ориентируясь на совсем иные, чем прежде, реалии своего существования.

«Континент», учрежденный Максимовым в Париже в 1972 году — после выдворения его из страны и лишения советского гражданства, — был, как всем известно, запрещенным в СССР эмигрантским журналом. И смысл этого издания, его главная задача состояли в том, чтобы всячески противостоять мировому коммунизму. В особенности — чудовищной идеологической экспансии советского коммунистического тоталитаризма. Иными словами, это

Игорь ВИНОГРАДОВ — родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Литературовед, критик, публицист. Автор семи книг и многих статей по русской классической и современнной литературе, по проблемам эстетики и культуры, социологии и религиозной жизни. С 1992 г. — главный редактор «Континента». Живет в Москве.

была задача в основе своей безусловно политическая. И ей и было подчинено в журнале практически все — от той же «Колонки редактора» и вплоть до формата. Умещавшийся в карман, журнал был приспособлен к тому, чтобы его легче было перебросить нелегально через железный занавес в Россию, где за его чтение смельчаки вполне могли получить достаточно серьезный лагерный срок.

Конечно, то количество экземпляров, которое попадало таким способом в Россию, было для огромной страны тиражом мизерным, ничтожным. Но не забудем — каждый экземпляр проходил через десятки, если не сотни рук. Так что та российская интеллигенция, которой, собственно, и адресовал себя журнал, отнюдь не была лишена возможности его читать. Я во всяком случае не встречал в те годы среди достаточно обширного круга моих знакомых, способных делиться друг с другом подобной информацией, ни одного, кто хотя бы несколько раз не получил на ночь или на две тот или другой номер парижского «Континента».

Да, свободный голос русского зарубежья мог пробиться тогда к тем, кому в России важно было его услышать, только через грохот радиоглушилок и лишь редкими контрабандными номерами эмигрантских изданий. Но тем слышнее он был. Потому что то, что мог советский человек получить из передачи Би-Би-Си или из той же максимовской «Колонки редактора», он не мог получить больше ниоткуда. И это и заставляло подпольного советского потребителя зарубежной нелегальщины идти порой на немалый риск, дабы подержать в руках любую страничку свободного зарубежного политического слова. Такая была в этом слове потребность.

Максимов хорошо понимал и чувствовал эту потребность. И этим тоже объясняется упрямая регулярность его «Колонки». Она ведь диктовалась отнюдь не одним только объективным давлением той политической прежде всего тематики, которая изначально была избрана для «Колонки» как главная, стержневая. Непрерывность общественно-политической жизни России и мира безусловно требовала, разумеется, такого же постоянства и непрерывности и в ее публицистическом освещении. Однако не менее важным было и то, что только появление «Колонки» в ***каждом*** номере «Континента» гарантировало отнюдь не регулярному русскому его читателю возможность всегда, в любом попавшем ему в руки журнале, получить хотя бы некоторое представление о том, что думают за железным занавесом по поводу происходящего в советской социалистической казарме. Тот есть получить хотя бы некоторое количество той информации и познакомиться хотя бы с некоторыми из тех идей, какой и каких ему, может быть, больше не хватало.

Но когда «Континент» перебрался в Россию — причем в качестве вполне легального отечественного журнала, — в стране разливанным морем бушевала уже свобода слова и до нового наступления до нее оставалось еще почти десятилетие. То, что раньше читатель мог услышать только от авторов «Континента», от его редактора Максимова или по зарубежному радио, он находил теперь на любом газетном перекрестке и слышал по любой отечественной волне. Утверждение и отстаивание политических свобод и христианско-демократических ценностей перестало быть вынужденной привилегией таких изданий, как прежние «Континент», «Синтаксис» или

«Грани». И если раньше даже какая-нибудь сотня-другая нелегальных номеров «Континента» вызывала в думающей среде страны резонанс куда больший, чем ежедневные миллионы экземпляров официальной прессы, то на что теперь мог рассчитывать «Континент» с его пусть даже и выросшим во много раз российским тиражом? Он всего лишь вливался в общий многоголосый хор демократической прессы. Но вовсе не солировал. Политическая составляющая его номеров все более очевидно утрачивала тем самым свою прежнюю стержневую значимость.

Так стоило ли в этой изменившейся ситуации упрямо придерживаться традиции, возникшей в совсем другие времена? Тем более, что отношение нового, российского «Континента» к тому, что происходило в политической, экономической и социальной жизни страны, отнюдь не было для наших читателей каким-либо секретом. Московский «Континент» тоже обозначал всегда свои позиции с предельной отчетливостью.

Во-первых, — постоянной, из номера в номер, публикацией в разделе «Россия и мир» острых аналитических выступлений многих близких нам по взглядам крупных политиков, экономистов, социологов и культурологов — от Александра Яковлева, Григория Явлинского или Ларисы Пияшевой и до Андрея Зубова, Юрия Карамзанова, Юрия Левады или Вячеслава Иванова.

Во-вторых, начиная уже с последефолтового 1999 года, редакция все время искала адекватную жанровую форму и для регулярной рубрики, которая выражала бы наш взгляд на текущую злобу российского политического дня. Пока, наконец, рубрика эта не установилась в том виде, в каком ее ведет с 2002 года Виктор Шендерович, в каждом номере выступающий со своим «Комментарием к событиям российской жизни». Кстати, ни в одном другом «толстом» российском журнале аналогов такой рубрике вроде бы не имеется.

Наконец, отнюдь не ставил я здесь каких-либо запретов и перед самим собой. И всякий раз, когда возникал для этого привлекавший меня повод, я не стеснялся высказывать все, что думаю, скажем, о Горбачеве, Ельцине или Путине.

Но предлагать читателям журнала себя, отнюдь не претендующего на реноме профессионального политолога или политического журналиста, в качестве автора постоянной политически-публицистической прежде всего рубрики?.. Зачем? Ведь ситуация вполне позволяла — и пока, слава Богу, вполне еще позволяет, — чтобы другие, близкие мне по взглядам люди, могли делать это в нашем журнале куда лучше и профессиональнее меня. Или, может быть, мне нужно было думать, что читатели все время только того и жаждут, чтобы услышать, что думаю по поводу, скажем, гибели «Курска» или ареста Ходорковского именно и лично я?..

Но пока, благодарение Господу, Он еще не лишил меня разума настолько, чтобы я начал относиться к своей особе с таким пиететом.

И, надеюсь, обережет от этого и впредь.

Конечно, я вполне допускаю, что все эти и подобного рода расклады и соображения, из которых я исходил, выстраивая структуру нового российского «Континента», в чем-то были и ошибочны.

Но так я думал и чувствовал. А в решениях подобного рода, простите за неизбежный каламбур, только внутреннему голосу и принадлежит решающий голос.

2. Но ведь «Континент» — это не только политика?

Да, «Континент» — это, конечно, не только политика. Это и культура, и религия, и история страны и мира, и современная проза, и прочтение классики, и философия, и театр. То есть все то, что безусловно входит в круг уже и моих собственных профессиональных интересов и пристрастий, затрагивает обширный мир моих ценностей, предпочтений и отталкиваний.

Так что же — неужели не было у меня потребности и соблазна, раз уж традиция регулярной «Колонки редактора» в «Континенте» существовала, сделать ее рубрикой, обращенной прежде всего именно к этого рода тематике? Превратить ее в своего рода литературный, религиозный, культурно-публицистический редакторский мой дневник, исповедуя и отстаивая в нем то, что мне дорого и важно?

Да нет, — и такой потребности тоже, представьте, не было.

Или, скажем так, — почти не было.

Причем объяснить, почему не было, — опять, в общем, совсем нетрудно, хотя это опять потребует некоторого времени. И к тому же неизбежно обяжет коснуться еще и некоторых тем того сугубо личного, в сущности, характера, касаться которых всегда довольно опасно, поскольку почти обязательно рискуешь тут же заслужить упреки в слишком большом внимании к собственной персоне.

Но что поделаешь, — без этого, видно, не обойтись. Так что придется мне снова вернуться ненадолго в те последние месяцы 1991 года, когда Владимир Максимов, поняв, что зарубежную свою судьбу «Континент» уже прожил, принял трудное для себя, но мужественное решение отдать журнал в другие, московские руки — дабы он продолжил свое существование в России.

И предложил взять его — мне.

А я дал на это свое согласие и уже через полгода подписал первый свой выпуск журнала — № 72 (второй номер за 1992 год).

3. Увы, за все приходится платить

Вообще говоря, история этого предложения и самой передачи журнала в Москву настолько любопытна, что вполне заслуживает, чтобы к ней как-нибудь вернуться. И вспомнить ее во всех подробностях: в ней немало показательного для тогдашней удивительной эпохи. А значит — и поучительного.

Но сейчас речь не об этом. Сейчас мне придется, раз уж я взялся все объяснить, рассказать лишь о том, как и почему я согласился в 1991 г. принять предложение Максимова, хотя меня одолевали очень серьезные на этот счет сомнения и колебания. По правде сказать — просто жестокие. Я и тогда

ведь был уже совсем не молод — мне перевалило за шестьдесят. И я, не новичок в журнальном деле, вполне отдавал себе отчет, сколько журнал отнимет у меня времени и сил. Причем не просто у меня — у тех задуманных и начатых, но все еще не написанных или не дописанных книг, которые я твердо поставил себе непременно написать, поскольку видел в этом свой обязательный — может быть, последний — жизненный и литературный долг. Долг перед той жизнью, которая была дарована мне вместе с некоторыми литературными способностями и которую именно поэтому я и считал себя обязанным завершить неким посильным итоговым осмыслением и закреплением отпущенного мне жизненного познания, опыта и постижения. Взяв журнал, я обрекал себя на то, чтобы сильно повременить с осуществлением этих намерений. Я хорошо это понимал.

И все-таки свое согласие Максимову я дал.

Почему же? Только ли потому, что в противном случае «Континент» скорее всего — обстоятельства складывались так — просто прекратил бы свое существование? А это, что ни говори, было бы все-таки чем-то вроде предательства по отношению к журналу, который за семнадцать лет своего парижского существования так много сделал для русской культуры конца XX века и так вошел уже в нашу жизнь.

Да, это был очень сильный тогда для меня довод, он не мог не давить на мою совесть.

И все же я слукавил бы, если бы сказал, что довод этот решил бы дело и сам по себе, даже если бы не было при этом и во мне самом еще и некоего собственного моего, внутреннего, глубоко личного тяготения к тому, чтобы принять предложение Максимова. Конечно же, я согласился взять журнал еще и потому, что всегда, с молодых еще лет, выпавших на годы так называемой Оттепели, мне хотелось иметь ***свой*** журнал, в котором я мог бы исповедовать и отстаивать то, что мне дорого и важно — свой ценностный мир, свое мировидение и миропонимание. Только ради этого я и оставил ведь в 1958 г. свою совсем неплохо начавшуюся университетскую карьеру, чтобы вместе с тогдашним моим единомышленником Александром Лебедевым войти в редколлегию журнала «Молодая гвардия» и попытаться превратить его в орган демократического шестидесятничества. Правда, попытка эта очень быстро, всего через несколько месяцев, была бдительно прервана вполне еще тогда правоверным партийным функционером, секретарем ЦК ВЛКСМ Леном Карпинским, лишь много позднее примкнувшим к шестидесятникам. Но всего через несколько лет тот же внутренний зов все равно привел меня на журнальную стезю — на этот раз в «Новый мир» Александра Твардовского. Сначала — в качестве постоянного автора журнала, а затем, с 1965 года, по приглашению Твардовского, и в качестве члена редколлегии журнала, возглавившего сначала отдел прозы, а затем, в течение четырех лет, до самого разгона редколлегии в 1970 г. — отдел критики. Это были счастливые годы моей жизни, потому что в коллективе людей, пусть разных, но объединенных тем не менее хотя и несколько расплывчатой, но в своих главных интенциях достаточно все же определенной общественной и эстетической платформой, мне, в общем, вполне удавалось более или менее адекватно реализовывать многие свои тогдашние убеждения — и полити-

ческие, и нравственные, и эстетические. И потому считать журнал во многом действительно *своим*. Настолько своим, что те долгие шестнадцать лет, последовавшие за разгромом «Нового мира», когда я вынужденно переходил из одного временного научно-исследовательского пристанища в другое и глухо молчал как критик, я никогда не считал такой уж несоразмерной платой за несколько «новомирских» лет. Тем более что судьба не лишила меня возможности преподавания — другая моя давняя привязанность. Может быть, даже и второе призвание.

Но все-таки не первое. И потому когда через шестнадцать лет повеял воздух перестроечных перемен и главным редактором «Нового мира» был назначен Сергей Залыгин, печатавший когда-то свои лучшие романы у Твардовского, опять то же искушение *своего* журнала позвало меня еще раз испытать судьбу. Залыгин предложил мне вновь войти в редколлегию «Нового мира», и я, движимый все теми же надеждами, принял это предложение.

Увы, по тем же самым причинам, которые вновь привели меня туда, все очень быстро и закончилось. Когда меньше чем через год мне стало ясно, что Залыгин решил сделать из «Нового мира» нечто вроде более «приличного», более «интеллигентного», более «академического» издания «Нашего современника», мне стало ясно и то, что *своим* этот журнал для меня не станет. И мы с Анатолием Стреляным, для которого этот новый «Новый мир» тоже не стал своим, предпочли выйти из его редколлегии. И я никогда об этом не жалел, хотя прошло еще пять лет после этого грустного эпизода (и целых двадцать лет после разгрома «Нового мира» Твардовского), пока снова не поманила меня возможность иметь *свой* журнал. И какой — *совсем, полностью свой*! Да, мне было уже за шестьдесят, да, ненаписанные книги отодвигались куда-то в туманное будущее... Но мог ли я при всей серьезности тех опасений, которые вызывала у меня открывавшаяся перспектива, устоять перед таким соблазном — соблазном, можно сказать, всей моей жизни? Тем более, что поддаться искушению нешуточно подталкивало, конечно же, и вполне искреннее чувство журналистского долга. И я лишь постарался убаюкать себя надеждой, что с неминуемыми трудностями я как-нибудь справиться все-таки сумею и пусть не так быстро, но закончу и задуманные книги...

Увы, реальный масштаб этих трудностей — трудностей нескончаемого их преодоления — я представлял себе тогда слишком все-таки умозрительно. Так что теперь, по прошествии четырнадцати лет, мне порою снова приходится задавать себе хоть и в новой форме, но в сущности все тот же, старый вопрос — а стоила ли вся эта затеянная мною когда-то жизненная игра с самим собою сожженных за эти годы свеч времени и труда? И, наверное, я опять был бы не вполне искренен, если бы не сказал, что нравственный груз так до сих пор все еще и не дописанных книг давит на меня с каждым годом все сильнее. И что бывают дни, когда прежние сомнения вновь оживают и мне начинает казаться, что, может быть, мне и в самом деле важнее было бы все-таки закончить за эти годы, почти полностью отданные журналу, давно начатую книгу о духовном пути Достоевского, над которой я работаю уже много лет. И довести до печати свои лекции по истории русской религиозной философии, не раз мною читанные в разных университетах России и Запада и пользовавшиеся неизменной востребо-

ванностью у наших и тамошних студентов. И, может быть, написать даже и книгу воспоминаний, в которой есть о чем, достаточно интересном и важном, я думаю, для многих, рассказать... И в такие дни меня поддерживает и возвращает сердцем к журналу разве лишь надежда, что мне будет отпущена все-таки еще какая-то толика времени, чтобы я и не бросая журнал смог бы закончить задуманное...

Но пока эта надежда есть, она все-таки упрямо продолжает возвращать меня в «Континент». Хотя я и понимаю, что судить о том, достаточно ли оправдал он свое новое существование под моим редакторством, отнюдь, конечно, не мне. И что даже те многочисленные подтверждения очень серьезного внимания к журналу, которые я постоянно получаю от многих и многих людей, глубоко мною уважаемых и высоко мною ценимых, — отнюдь еще не окончательный аргумент в этом внутреннем моем конфликте с самим собою.

Но ведь, с другой стороны, если бы я и сам не считал, что при всех своих изъянах и недостатках, хорошо мне видимых, «Континент» ту роль, которую я ему сам и назначил, все же выполняет, разве я не прекратил бы его издание или не передал бы его кому-нибудь другому? А я вот не только не оставляю его, но готов даже, как видит читатель, вести в нем новую регулярную рубрику, которой до сих пор в нем не было...

4. Объяснение второе — почему не было

Ради чего, однако, я пустился во все эти рискованные и, может быть, и в самом деле несколько неловкие откровенности?

Да только потому, что лишь рассказав все, что я рассказал, я могу действительно внятно объяснить читателю то, что, полагаю, просто обязан ему объяснить, раз уж я открываю в журнале новую рубрику, а он имеет полное право знать, что это такое. И почему до сих пор ее не было даже и в том неполитическом варианте, в каком, казалось бы, она вполне могла быть.

Почему не было?

Да потому вот и не было, что хорош ли, плох ли тот «Континент», который я редактирую с 1992 года, стоило мне или не стоило тратить на него столько времени и столько сил души, но в течение всех четырнадцати лет, ему отданных, он никогда не был для меня ничем другим, как именно тем самым журналом, который я всегда хотел иметь и возможность получить который когда-то и определила, в конечном счете, мое решение принять его у Максимова.

«Континент» — это именно и безусловно ***мой*** журнал. Мой по всему своему характеру и духу, по принципиальной своей направленности и по структурно-композиционному своему построению, по ценностной ориентации и по выбору приглашаемых авторов. Пусть с разной степенью категоричности, с большими или меньшими оговорками и при любой коррекции, но я могу сказать это о любом из тех пятидесяти шести номеров, которые я подписал за это время к печати и за каждый из которых я всегда готов нести всю, полную ответственность именно по такому, личному, самому главному для меня счету. Потому что каждый из них от корки до

корки был не просто прочитан, но и обдуман, и выверен, и скомпонован в соответствии со шкалой именно тех духовных, жизненных и эстетических критериев, в безусловность которых я верю и которые исповедую.

Но если это так — а это так, — то чем же тогда, скажите, и был для меня все эти годы «Континент», если не своего рода регулярным, ежеквартально обновляемым дневником моего постоянного редакторского исповедания — и духовного, и литературного, и политического, и эстетического, и религиозного? А раз так, то к чему, скажите, было мне вводить еще и какую-то особую, отдельную для этого рубрику? К тому же разве не имел я всегда, в любой момент, когда вызревала во мне какая-то важная для меня тема, полную возможность высказаться на страницах журнала в этой связи еще и специально, а не только общим контекстом и смыслом тех или иных его публикаций? И разве я не пользовался этой возможностью множество раз — в самых разных рубриках и по самым разным поводам?

Оговорюсь и теперь: да, очень может быть, что и в подобного рода своих раскладах и соображениях я тоже в чем-то ошибался. Но так я думал, так чувствовал и потому на протяжении всех этих лет всегда на этом твердо и стоял.

Мало того — могу сказать, что точно так же стою на этом и сегодня. И даже с ощущением еще большей своей в этом правоты, чему тоже есть свое подтверждение. И очень меня радующее.

Надеюсь, мне не нужно объяснять, что каким бы *своим* я ни считал и ни называл редактируемый мною «Континент», я ни на секунду не забываю, что всякий журнал — это всегда плод работы целого коллектива людей, вкладывающего в него свои силы, время, а значит и душу. В «Континенте» же, по целому ряду специфических причин, эта общая закономерность выражена еще и с некой особой заостренностью. Отчасти, кстати, это объясняется уже и тем, что «Континент», в отличие, скажем, от «Нового мира» или «Знамени», не ежемесячник, а ежеквартальник. И потому он может делаться — и делается — куда более компактной творческой командой. А чем меньше коллектив, тем, как известно, весомее его шансы стать и более сплоченным, внутренне гомогенным. К тому же и задуман был, и возник, и формировался «Континент» с самого начала тоже как отчетливо гомогенная частная структура — и в идейно-организационном отношении, и в плане своего внутреннего устройства. Это, кстати, тоже сильно отличает его от большинства бывших советских журналов, которые в постсоветские времена широкого идейного разброда и всяческой полифонии могли преобразиться только в корпоративные ассоциации, принявшие в себя все громоздкое и весьма разношерстное наследие прежних советских редакционных учреждений. Все это, естественно, не могло не привести к тому, что свойственная всякому журналу тенденция к построению внутренне как можно более единого редакционного организма должна была проявить и действительно проявила себя в «Континенте» с особой интенсивностью. В сущности — стала определяющей во внутреннем складывании его творческого организма.

Да, организм этот складывался постепенно, не сразу, с досадными ошибками и с огорчительными утратами. Но — складывался. И процесс этот был настолько успешен, что сегодня — и уже в течение нескольких лет — «Континент» — это журнал, который создается постоянным, самоотверженным и,

не побоюсь этого слова, вдохновенным трудом такого творческого коллектива, о каком может только мечтать любой серьезный журнал. Во всяком случае, журнал того типа, который в старину именовался «журналом с направлением». Наша редакция — это очень небольшая команда очень разных, ярко своеобразных и щедро одаренных людей, которых, при всем их личностном несходстве и при всей разнонаправленности их индивидуальных творческих устремлений, объединяет тем не менее одна и та же система принципиальных жизненных и духовных ценностей — свободно выработанная и принятая каждым, ставшая для каждого подлинно своей, экзистенциально значимой. Та же, что исповедую и я. И я счастлив этим — счастлив работать с этими талантливыми людьми, которые пришли в «Континент» именно и только потому, что поняли и почувствовали — это ***их*** журнал. Я счастлив знать и чувствовать, убеждаться на каждом шагу, что он действительно стал для каждого из них таким же ***своим***, как и для меня. И вот эта-то глубинная личностная наша сродненность на нашем общем ***своем*** деле и обеспечивает, кстати сказать, отношениям внутри нашего отнюдь не полифоничного по своему формальному устройству редакционного организма такой уровень настоящей свободы и подлинного демократизма, который и вообще возможен лишь во внутренне здоровых — духовно здоровых — моноструктурах. Но к какому и близко не способен подойти никакой самый современный, самый усовершенствованный формально-правовой плюрализм.

Однако вернемся к оставленной теме. Так вот, — именно потому, что «Континент» сегодня и для каждого, кто его делает, такой же ***свой*** журнал, как и для меня, — именно поэтому он сегодня ***мой*** журнал более, чем когда-либо. А это значит, что мне и в самом деле сегодня тем более нет никакой надобности в том, чтобы в каждом номере еще как-то и дополнительно предъявлять и отстаивать свою принципиальную позицию редактора. Как будто она существует сегодня в «Континенте» сколько-нибудь обособленно и не выражена с той полнотой, какая возможна только тогда, когда становится общей и подлинно своей для всех, кто придумывает, вынашивает и создает журнал, вкладывая в него свою душу...

И вот именно теперь, когда это так, я тем не менее как раз и ввожу регулярную колонку редактора?!.

5. Объяснение третье и последнее — почему именно теперь

Да, ввожу. И именно теперь. Хотя не совсем все-таки ту, о которой до сих пор шла речь.

Когда я сказал где-то раньше, что в течение четырнадцати протекших лет у меня не было, в общем, никакой особой потребности в регулярной рубрике даже и в неполитическом ее варианте, я тут же все-таки поправился: *почти* не было. И правильно сделал. Потому что порой какой-нибудь внешний повод, чья-то статья, некое событие действительно вызывали желание высказаться на ту или другую тему, с ними связанную и давно меня, положим, занимавшую — ведь она серьезно и не раз обдумывалась, и у меня было что в этой связи сказать читателю. Но как, в какой форме?

Просто оттолкнуться от наличного повода? А с какой стати? Если бы была какая-то регулярная дневниковая рубрика, тогда другое дело. Но не вводить же ее из-за одного этого или какого-то другого, нового соблазна, неизвестно когда обещающего случиться?!

И вот так и откладывалось — раз, другой, третий. До каких-то лучших времен, когда еще поднакопится, может быть, соответствующий материал и, главное, выкристаллизуется самодостаточная форма самостоятельной специальной статьи. Откладывалось вполне спокойно, без каких-либо серьезных сомнений, в полной уверенности, что в свое время все, что нужно, обязательно еще будет высказано.

А теперь вот так — спокойно, уверенно — уже не получается.

Почему?

Да очень просто — возраст не позволяет. В какой-то момент начинаешь ведь понимать — жизненного времени осталось у тебя, может быть, совсем уже немного. Пусть книги, которые ты пишешь, тебе и удастся закончить. А вот как быть с теми мыслями и соображениями, которые вызвал в тебе, положим, только что нашумевший фильм? Они ведь наверняка останутся за пределами твоих книг, не вмещаясь в их тематические рамки, тогда как и к ним тоже не грех было бы, кажется, привлечь некоторое внимание. И сколько таких тем и наблюдений, накопившихся за долгие годы жизни, только, кажется, и ждут какого-нибудь повода, чтобы вновь ожить и запроситься на волю....

Вот, собственно, и весь ответ на вопрос, почему вдруг теперь. Просто количество отложенного за эти годы до лучших времен переросло в качество вполне реального ощущения, что лучших времен можно и не дождаться. И если не решиться на какой-то жанр, способный вместить в себя самое пестрое содержание, и не обязать себя его регулярностью, все это так и останется заживо похороненным. А какой жанр лучше приспособлен для подобных целей, если не регулярная рубрика дневникового типа?

Но, стало быть, это действительно будет рубрика не совсем того все-таки характера, о котором шла до сих пор речь. Не столько, в сущности, редакторская, сколько сугубо частная, личная, авторская. Такая же, какую может, ежели пожелает, вести в «Континенте» и вообще любой его сотрудник или автор. А если так, то почему бы не мог разрешить себе такой жанр в своем собственном журнале и я? Кстати, тот же Виктор Шендерович, а отчасти и Александр Денискин, и Евгений Ермолин, и Ирина Дугина, и Евгения Щеглова, и Александра и Борис Колымагины, авторы других наших постоянных обзоров, давно уже, как знает читатель, этой возможностью в «Континенте» пользуются. А из этого, в свою очередь, следует, что мне остается разъяснить разве лишь последнюю возможную неясность — почему же в таком случае «Дневник» не *журналиста*, *критика* или *литератора*, а — *редактора*?

Да потому что и как редактору мне тоже, полагаю, иной раз захочется по какому-нибудь поводу высказаться — почему бы нет? Пусть отнюдь не обязательно в жанре сколько-нибудь манифестального редакторского исповедания того или иного безусловного для журнала принципа, но хотя бы, например, в порядке естественного спонтанного отклика на ту или иную публикацию в дружественной и недружественной прессе, имеющую отношение к «Континенту». Так что пусть остается на всякий пожарный и непожарный случай

именно «Дневник *редактора*» — название более широкое, вполне предоставляющее редактору не только безусловную, но даже и преимущественную возможность выступать на ее страницах вовсе и не в качестве редактора. А просто в качестве автора. Редактор имеет ведь на это полное право.

6. И, наконец, первый повод и стимул

Вот, собственно, и все, что я мог и могу сказать, отвечая на вопросы, поставленные в начале этого Вступления.

Правда, ответы мои заняли не так уж мало времени и места, но, честно говоря, виниться в этом перед читателем я не буду. Ведь я шел на это вполне сознательно. И шел в этом случае даже не без некоторого подспудного, то есть как бы лукавого все же расчета — единственного, которое я позволил себе в этом вполне искреннем и откровенном объяснении с читателем. Просто я решил, что будет полезно воспользоваться естественным сюжетом такого объяснения, чтобы по ходу его, всего лишь как бы попутно, специально не акцентируя, но все же как можно более внятно сказать и о некоторых принципиальных для понимания сегодняшнего «Континента» особенностях его и чертах, стоящих, на мой взгляд, того, чтобы время от времени о них напоминать, отчетливо их обозначая. Для тех, кто следит за журналом с самого его возникновения, знает его историю, знает, каким богам он молился и молится, все это, может быть и не нужно. Но вряд ли все эти реалии так уж на виду, на слуху и в памяти подавляющего большинства тех наших читателей, которые принадлежат к не столь уж старым поколениям и которых, похоже, становится все больше.

Для них все это и было написано. И если задача эта мною более или менее выполнена, то тем самым я вполне мог бы, кажется, этой главой, не только вступительной, но имеющей и свою самостоятельную значимость, в этом первом выпуске моего «Дневника» и ограничиться. Она, кажется, вполне обеспечивает ему необходимую тематическую завершенность.

Мог бы, но не могу. Потому что непосредственным толчком к тому, чтобы начать «Дневник» уже в этом номере, как раз и послужило некоторое конкретное событие, вызвавшее желание откликнуться на него. А тем самым заставившее написать и все это вступительное к «Дневнику» объяснение, которого иначе просто не было бы.

Событие это — десятисерийный телевизионный фильм Глеба Панфилова по роману Александра Солженицына «В круге первом», показанный по каналу «Россия».

Сериал этот смотрела вся страна.

Смотрел его и я. И все время ловил себя на ощущении, что впервые воспринимаю происходящее на экране каким-то довольно непривычным для себя способом — как бы неким двойным, параллельным зрением. Не только лично, то есть, как это и бывает всегда в искусстве, откликаясь именно и прежде всего на то, что тебе лично и важно, тебя и задевает. Но все время пытаясь представить себе еще и то, как все это будет увидено и пережито куда более молодыми, чем я, зрителями. Теми, для кого эпоха, в фильме

изображенная, — давно лишь история, чуть ли не миф, лично уже не трогающий. И кому не выпало поэтому пройти через шок, каким было для нас когда-то появление Солженицына с его «Одним днем Ивана Денисовича» и «Архипелагом ГУЛАГ». Мало того — ведь в подавляющем своем большинстве сегодняшний массовый зритель, на которого рассчитан сериал, и роман Солженицына, конечно же, не читал. Как примет он этот фильм — фильм, предлагающий себя, вслед за романом, в качестве достоверного художественного свидетельства о столь далекой и столь чужой уже эпохе? Какое представление о ней почерпнет он из фильма, и донесет ли фильм до них то, чем поразил когда-то солженицынский роман нас, прочитавших его еще в шестидесятые? А если и донесет, то до какой степени может — и может ли вообще — оказаться духовно близким и нужным сегодняшнему зрителю то, что было так важно когда-то для нас?..

Вот вопросы, которые более всего тревожили и занимали меня, пока я смотрел фильм. И продолжали занимать, когда началось его обсуждение и разгорелись и в печати, и на радио, и по телевидению споры о нем, и вновь заговорили и о людях того времени, и о лагерях, и о том, актуально ли все это для современного человека или нет.

Но две важнейших темы, впрямую связанные с фильмом, так и не были, мне кажется, не то что обсуждены, но даже поставлены. И вот о них-то мне и захотелось, оттолкнувшись от этого фильма, поговорить. И это и стало тем поводом, который заставил-таки меня начать, наконец, новую рубрику и даже написать к ней специальное вступление.

Первая из этих тем обращена к образу Сталина — к тому Сталину, каким он показан и в романе, и в фильме.

II. Какого рода злодеем был Сталин

Так вот — о Сталине. Его отлично играет в фильме Игорь Кваша. Но он играет именно тот образ, который дан и в романе Солженицына. А образ этот и в романе отнюдь не самая сильная его сторона. И понятно почему.

Солженицын (и я не раз писал уже об этом*) — личность и художник не столько философско-мировоззренческого, концептуально-аналитического склада, сколько морального выбора и самостояния, четко ориентированного вехами религиозно-экзистенциального гуманизма. Для него главные ценностные критерии человеческого бытия — безусловная суверенность человеческой жизни и человеческой личности, свобода человеческого духа, категорический нравственный императив неустанного противостояния всякому насилию над человеком и всякому его унижению, отвержение любой социальной несправедливости и любой — расовой, религиозной, классовой — ксенофобии, бескорыстие человека в выборе и мужество в отстаивании своих убеждений, достоинство и честь. Именно с этой точки зрения, с ее очевидным и сильным наклоном в морально-психологическое измерение, Солженицын прежде всего и смотрит обычно на мир в своих романах и рас-

* См. мою книгу «Духовные искания русской литературы» (М.: «Русский путь», 2005) или «Континент» № 75 (№1 за 1993 г.).

сказах, видит и воспроизводит структурный каркас событий и поступков. Недаром его «Красное колесо» Жорж Нива назвал — и очень точно — «поэмой утерянных добродетелей». И недаром замечательный священник и богослов XX века Александр Шмеман сказал о нем, что Солженицын и сам — «доказательство того, как нравственная сила становится историческим фактором». Именно эта сила всегда была наиболее в нем органична и подлинна, именно в ней — источник его человеческого и художнического пафоса, его мощной энергетики. И именно в этом же — главное достоинство и романа «В круге первом», его внутренний нерв.

Но этим же нервом рождены и многие недостатки солженицынской прозы. Как это обычно и бывает, они — прямое продолжение ее достоинств.

В самом деле, когда именно с такой, главной для себя морально-экзистенциальной точки зрения, ориентированной ценностями религиозного гуманизма, Солженицын пытается увидеть и понять того же, например, Сталина, — каким тот должен ему представляться?

Ну, конечно же, просто настоящим психологическим монстром, чудовищным, чуть ли не природным бандитом и злодеем. То есть так, как, собственно, он и представлен в романе и как когда-то впрямую и определил его Солженицын в своих крамольных фронтовых письмах, перехваченных гэбистами, — наводящим на всех ужас страшным «паханом», почти патологическим в своем интеллектуально убогом, но не знающим пределов злодействе.

Однако найдем ли мы ключ к загадке этой действительно зловещей фигуры, если будем искать его лишь в особенностях сугубо личностной ее природы? Ведь суть-то здесь не столько в том, что Сталин был *злодеем* и *тираном*, сколько в том, *каким именно* был он злодеем и тираном. В том-то и дело, что его тиранство и злодейство были отнюдь не личной (или не только личной) психологической его патологией, но прежде всего неизбежным следствием и проявлением той *духовной* раковой болезни, которой он был поражен в самой глубине своего существа, которая определяла самое природу его мировидения — его и всей той немалой армии его единомышленников и сообщников, которые пришли к власти в России в 1917 году.

Вспомним, что писал своему другу Боткину, обратившись в атеистическую веру, даже гуманнейший, тишайший Белинский, мухи никогда не обидевший. Он писал, что учится любить человечество по-маратовски и готов пожертвовать *миллионами* сегодняшних глупцов, чтобы в будущем люди смогли, наконец, обрести свое счастье в социалистическом раю. А Белинскому никогда ведь нельзя было отказать в бесстрашной, способной преодолеть все привычные «предрассудки» силе и последовательности мысли. Вот и теперь — уже на самом, в сущности, раннем, не только до-ленинском, но даже еще и на до-марксовом этапе развития европейского материализма, ему тоже хватило, как видим, интеллектуального мужества честно осознать и сформулировать все те неизбежные выводы, которые вытекали из принятых им исходных оснований.

Действительно — ведь если нет никаких иных измерений бытия, кроме абсолютно конечных, земных, если все мы все равно умрем, причем умрем *совсем*, *навсегда*, то что для истинного «друга человечества», сгорающего от искренней жажды даровать, наконец, этому человечеству единственно воз-

можное земное счастье, то есть достойное существование в раю социализма, — что для него жизнь пусть даже и миллионов сегодняшних глупцов, упрямо не желающих уверовать в этот рай, по сравнению с теми будущими десятками и сотнями миллионов, которые станут, наконец, жить в светлом царстве любви и справедливости?!

Да, это, конечно, и трагично, и очень печально, что счастье будущим бесчисленным миллионам никак нельзя гарантировать, если не принести им в жертву даже, может быть, и бóльшую часть сегодняшнего, ничего не понимающего о себе человечества. Но тут ведь простая арифметика — пусть жестокая, но неумолимая. И ее логику, как помним, Достоевский сумел когда-то заставить признать не только своего интеллектуального убийцу-одиночку Раскольникова, но и самого Великого Инквизитора.

А вспомним, как искренне был сражен своими неожиданными, но и неопровержимыми выводами Шигалев в его «Бесах», когда, разрабатывая свою систему спасения человечества и начав ее с безграничной свободы, вынужден был придти, в конце концов, к признанию необходимости безграничнейшего деспотизма?

И не удивительно: у безрелигиозного гуманизма слишком тонкие, хилые, абсолютно призрачные ножки, совершенно произвольно приставляемые ему разного рода прекраснодушными, но недалекими его апологетами и мечтателями. В нем нет никакой онтологической тверди, способной обезопасить его теми или другими действительно надежными, безусловными, абсолютно не переступаемыми моральными табу.

Так вот, — в том-то и дело, что Сталин был отнюдь не примитивный злобный уголовникк, захвативший власть исключительно для себя. Он был прораб и строитель, как сейчас любят говорить, грандиозного дьявольского социального *проекта*. Другими словами, это был прежде всего *идейный*, *метафизический* злодей и убийца, который потому и ценил всякую отдельную жизнь человеческую не дороже жизни мухи, что не видел в ней никакого безусловного, или, как любил говорить Толстой, неуничтожимого смертью смысла. Каждому, конечно, хочется прожить свою единственную, пусть и краткую, жизнь — жизнь на земле — счастливо и благополучно. Это естественно, это в природе людей, какими бы несчастными мухами-однодневками они в общем балансе природы и в нескончаемом движении истории ни были. И потому для человека того взгляда на бытие, который укладывается в прокрустово ложе «исторического и диалектического материализма», единственно гуманным — единственным *реально* гуманным смыслом его существования, оправданным хотя бы исторически, может быть разве лишь стремление помочь всему этому человеческому рою несчастных мух-однодневок получить хотя бы свое краткое земное коммунистическое счастье и благополучие, научить их этому, привести их к этому. И потому — что говорить о тех зловредных гнилых выродках, которые только тем и заняты, чтобы всячески травить, клеветать и сопротивляться тем, кто жизнь свою кладет за счастье человечества?! Разве не *гуманно* давить их всех, сколько бы их ни было, со всей той безжалостностью, какой они заслуживают? Только воздух чище будет!..

Нет, слишком просто было бы видеть фигуру Сталина лишь в плоскостно-психологическом и абстрактно-моральном измерении «пахана», ублюдка

и величайшего злодея. Недаром же он был, как известно, совершенно, в сущности, бескорыстен лично, предельно непритязателен в своих житейских привычках и вожделениях. Во всяком случае, куда более бескорыстен и непритязателен, чем любой из нынешних наших вождей «либерального», «демократического», «патриотического» и любого другого коммерческого покроя. И пусть интеллектуально, теоретически он, возможно, и уступал какому-нибудь Троцкому или Бухарину (хотя и это сомнительно — иначе не переиграл бы их так сокрушительно). Но уж во всяком случае был он, конечно, отнюдь не туполобый, отнюдь не просто хитрый и ловкий бандит, в совершенстве владевший лишь ремеслом партийной подковерной игры, коварных интриг и ударов на опережение. И способен он был отнюдь не на одно лишь то, чтобы упоенно млеть у шкафов с собранием своих бездарных сочинений, как это может померещиться читателям романа Солженицына или зрителям фильма Панфилова. Нет, это был теоретически и духовно вполне вменяемый марксист, а практически — вполне достойный преемник другого величайшего злодея современности Ленина, который недаром называл его «замечательным грузином» и даже в так называемом *Завещании* ставил ему в вину разве лишь некоторые сугубо личные черты его характера. Не забудем, что ведь это именно Сталин был автором и той, предельно емкой и ясной, доступной пониманию миллионов, четвертой главы «Краткого курса истории ВКП(б)» под названием «О диалектическом и историческом материализме», от чеканных достоинств которой восхищенно сходили с ума вовсе не одни только мелкие «шестерки» сталинской эпохи. И все это значит, что Сталин был, конечно же, фигурой куда более, в сущности, страшной, злодеем и тираном метафизически куда более чудовищным, чем тот страшный его портрет, который нарисован в солженицынском романе, — портрет скорее гротескный, заостренно-примитивизированный, чем психологически-аналитический в своем содержательном, экзистенциально-мировоззренческом наполнении. И потому гораздо более плоский, чем многие и многие другие герои романа.

К сожалению, фильм не выправил это солженицынское упрощение и уплощение фигуры вождя — он пошел здесь за романом. Игра Игоря Кваши, повторяю, вполне адекватна образу романа, однако нисколько не помогает увидеть этого не самого второстепенного персонажа романа и фильма хотя бы на сантиметр глубже и адекватнее реальному историческому Сталину.

И об этом можно только пожалеть. Пожалеть потому, что своим образом Сталина фильм никак не приблизит, увы, нынешние поколения к действительно глубокому и, главное, адекватному представлению о природе той власти, которая 70 лет прогибала под себя страну. Причем целых 30 лет из них — под руководством Сталина. А мы вот еще целых полвека никак не удосужимся понять, что Сталин — это вовсе не какой-то случайный патологический нарыв на здоровом теле коммунизма, а как раз наиболее, может быть, крупное, наиболее мощное, наиболее полное и адекватное выражение самого духа той эпохи, которую он возглавил, самой природы того дьявольского мировоззрения, которое было его верой и опорой, самой сути той чудовищной метафизической лжи, которая именовалась коммунистическим гуманизмом и обеспечила сталинской эпохе все ее ужасы. А ведь пока вся страна, все мы не поймем и не осознаем это, нам никогда не освободиться

в своем историческом развитии из цепких объятий тех исторических мертвецов, которые до сих пор остаются для миллионов и миллионов живее всех живых. И в мертвящую ловушку этих объятий будут попадать все новые и новые поколения отнюдь не самых плохих молодых романтиков, которых все время, вопреки всякой очевидности, уверяют, что вождь целой огромной исторической эпохи России был всего лишь интеллектуальной посредственностью, элементарным бандитом и убийцей. И ни один мощный талант так до сих пор и не удосужился раскрыть глаза и себе, и всем своим читателям или зрителям на самое главное — на чудовищную, действительно дьявольскую, неминуемо влекущую лишь к смерти духовную природу того исторического величия, которое до сих пор так пьянит многих и многих своей и вправду нешуточной силой, своей действительной дьявольской масштабностью...

III. Шарашка ли должна быть нашей «национальной идеей»?

К сожалению, Сталин — не единственное огорчение в этом фильме. Сериал царапает и другими очевидными просчетами. Не всегда, кстати объяснимыми. Так, уже после первых его серий до меня то и дело стали доноситься отголоски молодых разговоров, судя по всему, достаточно типичных, — вот-де, не такие уж они были, оказывается, и страшные, эти пресловутые сталинские лагеря! И зэки, смотрите, не худенькие, и комбинезоны на них чистые, новенькие, будто с иголочки, и простыни белые, и еда приличная. Да и надзиратели нельзя сказать, чтобы так уж зверствовали... А ведь фильм-то, похоже, не врет?..

Увы, создатели фильма действительно допустили здесь один из самых досадных просчетов. Что мешало им не словами Нержина, да еще произнесенными лишь в финальных кадрах, а наглядным, прямым, сильнее всего убеждающим образным видеорядом донести до сегодняшнего зрителя, плохо себе представляющего страшный антураж той эпохи, что шарашка — это действительно лишь самый первый, высший, лучший круг гулаговского ада, — в сущности, почти рай? А вот настоящий ад начинается там, на Колыме, в Экибастузе, в Джезказгане, в рудниках и на лесоповалах, через которые прошли уже и Нержин, и (12 лет!) Сологдин и куда они снова отправляются по этапу в конце фильма. Что мешало дать из этой уже прожитой героями страшной лагерной жизни несколько документально точных ретроспективных кадров? Ведь это помогло бы молодому зрителю куда лучше понять, на что решились герои и сколь дорого стоил их отказ от соблазнов шарашки, какое мужество и высота духа для этого им потребовались...

...Но вот сериал окончен, я еду в метро, в троллейбусе, и среди читающих что-то пассажиров не раз замечаю то молодого человека, то девушку, уткнувшихся в солженицынский роман. СМИ доносят сообщения о победном просмотровом рейтинге сериала, оставившего за собой куда, казалось бы, более близкого массовому зрителю разухабистого Остапа Бендера в исполнении Олега Меньшикова, а в книжных магазинах активно растет

спрос на подоспевшее новое издание романа с портретами телегероев на обложке... Значит, при всех своих просчетах и недостатках, и названных и неназванных, фильм все-таки чем-то затронул, взволновал, пробудил желание узнать об увиденном что-то еще, больше, полнее? Чем же?

Я уверен — именно тем, что важнее всего. Самым главным и в фильме, и в романе. Это главное — люди, собранные в сталинской шарашке. Целая плеяда совершенно замечательных, ярких людей, образы которых можно назвать решающей удачей сериала. Актерский ансамбль превосходен; характеры покоряют психологической достоверностью. Смотришь — и испытываешь то же, что и при чтении книги: чувство абсолютной реальности, невыдуманности этого удивительного, почти неправдоподобного братства, которое спаяно не столько тисками судьбы (хотя и с ее подачи), сколько свободным духом этих людей. Людей очень разных, несхожих, порой даже непримиримых в своем мировоззренческом антагонизме. Но — неизменно бескорыстных и честных в духовном выборе. Они поражают и привлекают прежде всего самим уровнем духовной и нравственной жизни, достоинством, порядочностью, безоглядной верностью свободному тюремному товариществу.

Уверен, — именно встреча с этим удивительным миром шарашки и была главным событием тех вечеров, которые провела страна у телеэкрана сериала. И пусть мировоззренческие споры главных героев остались во многом в прошлом времени и сами по себе не так уж вроде бы и актуальны — они важны и актуальны прежде всего тем, что показывают сам уровень мысли, уровень напряжения духовной жизни этих людей — показывают, из какого материала они вылеплены. Это ведь материал совершенно особый — тот, который и позволяет сказать, что здесь, в сталинской шарашке, перед нами, если угодно, самое ядро, сгусток, квинтэссенция и главная надежда русского народа. И вот то, что фильм этот образ нашей надежды доносит, — и есть его главная удача.

И, на мой взгляд, главная причина его зрительского успеха. Уверен — ключ к фильму именно здесь. Ибо именно в этом духовном пространстве фильма и происходит, мне кажется, его главный диалог с сегодняшним зрителем.

В самом деле, — посмотрите, чем заполнен наш телеэкран. Общественно-политический — почти одними только номенклатурными карьеристами и политическими шутами, из которых Жириновский еще не самый, может быть, зловещий. Так называемый *творческий* — программами, духовно-интеллектуальный уровень которых не подымается, как правило, выше какого-нибудь претенциозного дамского «злословия», хорошо взвешенного коммерческого вольнодумства гламурных ток-шоуменов и навязшей в зубах детективной проницательности бесчисленных любителей женского и мужского ментовского сыска. Телевизионное кино изо дня в день оглушает беспрерывной пальбой, взрывами, убийствами, погонями, насилием и кровью, а регулярное жадное разглядывание на всех каналах всевозможных экскрементов криминального дна чередуется с такой же бесконечной демонстрацией бесстыдной роскоши очередных звездных юбилеев и премиальных торжеств. И все это тонет в безудержном свальном грехе всеобщего развлекательства и зубоскальства...

И вот сквозь весь этот гам и шум непрерывной ярмарки тщеславия, сквозь всю эту угарную отраву оголтелой погони за бабками и рейтингами к нам прорываются вдруг образы какой-то совсем другой жизни, лица, голоса и судьбы людей совсем иного качества, иного духа и мысли!.. Согласитесь, для всякого нормального человека, не до конца еще нашим ТВ оболваненного, это и в самом деле — словно глоток свежего воздуха.

А в нынешней российской ситуации, пожалуй, еще и кое-что большее.

Разве, действительно, так уж часто приходится видеть нам не только на наших экранах, но и в самой жизни людей, способных жить и действительно живущих теми высшими ценностями, которые и делают человека человеком?

Вот, говорят, нам нужна «национальная идея». Очень может быть.

Только какая?

Очередная утопия вселенской миссии России по спасению человечества от всеобщего греха и гниения?

Да не до жиру ей сегодня — себя бы спасти А если так, то тогда вот и она — наша действительно насущнейшая, главная наша сегодняшняя национальная потребность и задача — наша «национальная идея». Вот она — вживе, наглядно, на экране, с которого обращают к нам свои сегодняшние лица вчерашние зэки сталинской шарашки. Потому что если основной корпус того верхнего слоя нашего общества, который называют его политической, культурной и деловой элитой, не будет состоять из людей такого же разбора и калибра, как Нержин или Сологдин, Бобышев или Валентуля; если именно такая — честная, не зобом своим озабоченная, а действительно национально-ответственная элита не сменит ту нынешнюю верхушечную *корпоративную* братию (хороший эвфемизм Андрея Илларионова!), которая превратила всю нашу государственную жизнь в лихорадочную спецоперацию по запихиванию страны в ее бездонный корпоративный карман, — если этого не случится, то не только никакого «гражданского общества» в России не будет и никакого, по Солженицыну, «сбережения народа» не произойдет, — самой России не будет.

И вот это-то, похоже, и начинает понимать все большее и большее количество людей. Во всяком случае, растущие рейтинги таких нетипичных для нас сериалов, как «Идиот», «В круге первом» и даже «Московская сага» или «Мастер и Маргарита», позволяют надеяться, что это так. В них, этих рейтингах, и ожидание, и запрос.

Неужели, действительно, нет сегодня среди нас людей не меньшей духовной вменяемости и нравственной подлинности, чем те, которых сплотила когда-то сталинская шарашка?

Да есть, конечно. И, думаю, никак не меньше, чем в те проклятые времена.

Только где же они, все еще, видно, пропадающие поодиночке? Неужели чтобы соединиться, наконец, для совместного исторического действия, им все еще не хватает ясного понимания, что все мы опять — и давно уже — в очередной исторической шарашке?

Что ж, недолго, кажется, осталось в таком случае и до полной ясности.

Вот только поздно как бы уже не было.

ПО ПОВОДУ ОТКЛИКОВ НА ПИСЬМО ЛИДИИ ГОЛОВКОВОЙ

От редакции

Редакция «Континента» получила несколько писем, авторы которых (Л.Н. Зубарева-Сафонова, А.М. Бирштейн, Ю.М. Кублановский, Анатолий Найман, Никита Кривошеин и др.) просят вернуться к историческому сюжету, связанному с именем гражданской жены адмирала А.В. Колчака Анны Васильевны Книпер-Тимиревой и получившему отражение в журнале сначала в «романе свидетельств» «Я к вам травою прорасту...» Александра Липкова (№ 123), а потом в письме главного редактора Книг памяти «Бутовский полигон» Л. Головковой (№ 125). Они выражают обеспокоенность тем, что, по их мнению, письмо Л. Головковой бросает тень на светлую память А.В. Книпер-Тимиревой. Речь идет об обстоятельствах ареста в 1938 году сына Анны Васильевны Владимира Тимирева (Оди), за которым последовала его гибель. В частности, в одном из писем дается такая трактовка проблемы: «Е.П. Пешкова нашла папку с личным делом Оди Тимирева и узнала о причине его гибели... "Некто" написал донос. Ужас заключался в том, что это была мать девушки, в которую Володя был влюблен. Он учился в студии живописи у ее отца А.И. Кравченко. Юноша влюбился, сделал предложение и получил согласие. На угрозы ее матери он по своей молодой беспечности не обратил внимания. Но это оказались не пустые угрозы...

Е.П. Пешкова сообщила об этом Анне Васильевне после ее очередного освобождения. И Анна Васильевна своей рукой написала: "Я, мать расстрелянного Володи Тимирева, знаю, по свидетельству Е.П. Пешковой, что причиной его гибели был донос..."

Но когда, спустя десятилетия, появилась возможность ознакомиться с "делом" Оди, донос из "дела" пропал.

Такой сохранилась эта трагическая история в семейных анналах. История документальная, а отнюдь не апокриф. И в Москве еще живы люди, которые лично слышали ее от Елены Васильевны Сафоновой, сестры Анны Васильевны, а также от Марии Николаевны Сулержицкой — еще одно имя, не подлежащее исторической девальвации.

Но вот в вышеупомянутом номере "Континента" напечатано письмо Л. Головковой, в котором честность Анны Васильевны Книпер-Тимиревой подвергалась сомнению. Л.Головкова там, в частности, пишет: "...основания для ее (доносчицы. — *Ред.*) обвинений никому теперь не известны". И призывает к себе в союзники безвременно ушедшего из жизни И.К. Сафонова, который уже не может сегодня ей возразить.

Убеждены, что история гибели Владимира Сергеевича Тимирева не подлежит пересмотру».

Мотивированная высокими нравственными побуждениями тревога авторов писем более чем понятна. Значительность и, скажем больше, величие

личности А.В. Книпер-Тимиревой, как нам кажется, не подлежат никакому сомнению. Собственно, публикация романа А. Липкова и была продиктована, кроме всего прочего, нашим горячим желанием сделать все возможное для того, чтобы эта великая русская женщина была рельефно вписана в анналы отечественной истории. Редакция, со своей стороны, не считает, однако, что в опубликованном письме Л. Головковой поставлены под вопрос честность и благородство А.В. Книпер-Тимиревой. Автор письма указывала лишь на то, что, поскольку нет документальных свидетельств, подтверждающих ту авторизацию анонимного доноса на Владимира Тимирева, которую дала ему Е.П.Пешкова в своем сообщении А.В. Книпер-Тимиревой, необходимо в этом вопросе проявлять максимальную осторожность. Что ни в какой мере не означает какого-либо сомнения в том, что А.В. Книпер-Тимирева безусловно была, как пишет об этом Л.Н. Зубарева-Сафонова, «человеком кристального благородства» и никогда не могла бы кого-либо «обвинить зря», не будучи уверена в достоверности полученных сведений, тем более «исказить» их, кого-то «очернить». В то же время, понимая и разделяя то нравственное чувство, которым вызвана обеспокоенность авторов писем, присланных в редакцию, мы считаем нужным сообщить о возникшей коллизии.

Добавим к этому, что во многом, если не во всем, можно согласиться с автором одного из писем, Н. Кривошеиным, когда он предлагает такой обобщенный взгляд на ситуацию: «Причины страданий, испытываемых обеими сторонами, (...) легко формулируются: в стране Советов не произошло подлинной декоммунизации.

КПСС и ее ответвления не были объявлены преступными организациями. Процесс (1991 г.) в Конституционном суде был не серьезным. Не было суда над конкретными лицами, виновными в преступлениях против человечества. К 1991 году было еще немало такого рода пожилых и очень пожилых гонителей и палачей. Современные спецслужбы не без гордости и портретов Дзержинского заявляют себя правопреемниками ЧК-ГБ. Как наследники, заботящиеся о репутации родителей, они продолжают гостайной хранить оперативные архивы, а почти в каждой предшествовавшей аресту "разработке" — кипа "сигналов", доносов. Эти кровавые листочки поныне засекречены под предлогом профилактики местей и "разборок".

Но эти "документы" есть олицетворение хронического инфекционного зла. И это та инфекция, которая не гибнет от предания ее огню или от пропуска через машинку для уничтожения бумаг.

Условия в советских лагерях были экстремальны, и потому не пример. Когда в 1954 году многие острова Архипелага восстали, сотни заведомых осведомителей и стукачей были затоплены в лагерных уборных... Среди них, конечно же, немало и людей неповинных. Позднее для лучшей самозащиты лагерный социум (среди политических) выработал неукоснительное правило: не говорить о ком-либо, что он доносчик, не располагая на то вескими доказательствами. Это в значительной степени снимало атмосферу сплетен, подозрений, желания с кем-то разделаться, огульными обвинениями. Правило это, в масштабе постсоветского пространства, конечно же, неприменимо! Хроническая инфекция доносов и выдач, часто корыстных, живет до сих пор

в памяти авторов, их жертв, их потомков и может быть обезврежена лишь чистым воздухом гласности, исторической прозрачности. (...)

Здесь речь идет не о мести, не о кровожадности (я бы считал себя, например, получившим сатисфакцию, если бы увидел на голубом экране членов ГКЧП — и еще кое-кого — колющими лед у отделения милиции суток хотя бы на десять!). Речь идет о том мужестве и том желании выздороветь, которые нашлись в Литве, Венгрии, Чехии, Польше, Германии, м.б., и в других посткоммунистических странах: оперативные архивы филиалов советского ГБ там были рассекречены и стали доступными. В этих странах не произошло волны убийств и нанесения телесных повреждений. Многим (очень многим) стало не по себе. Но не в такой степени, как тем, которые оказались умертвленными или упрятанными благодаря их заботам, карьера которых оказалась бесповоротно сломанной.

В награду за это неудобство, испытанное агентурой, в конце концов, не нашими с вами героями, все общество, каждый в нем, в каждом поколении, даже далеком во времени от коммунистической диктатуры, освободился от подозрений, сомнений, подлинного и ложного стыда и еще много от чего вредного!

Надежд на то, что политическое руководство России и генералы ФСБ, не отказавшиеся от своих предшественников, решатся на проветривание своих архивных складов, — мало. Надежд на то, что этого будет добиваться гражданское общество — не больше...»

Нам лишь думается, что парижский скепсис Н. Кривошеина все-таки отчасти преждевременен. Крот истории роет медленно, но верно. Историческое забытье, исторический обморок и паморок не могут длиться вечно. На это вся наша надежда.

Корректор *А.З. Лазуткина*

ЛР № 066469

Подписано в печать 15.12.2005. Формат 60 × 90/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 32,00. Тираж 3300 экз. Заказ № 3264

Электронный вывод и печать в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6



ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КУЛЬТУР

Год основания – 1990

Государственная аккредитация
Отсрочка от армии
Диплом государственного образца

КЛАССИЧЕСКОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В программе обучения по специальности

КУЛЬТУРОЛОГИЯ:

мифология, литература, история искусств,
история театра, философия, риторика, религии мира,
эстетика, философия культуры, семиотика,
всеобщая история;
древние и современные европейские языки.

ОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

экзамены с 20 по 30 мая и с 1 по 30 августа

РАБОТАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Занятия проходят в МГУ им. М.В. Ломоносова

Телефоны: 968-6921, 191-5212

E-mail: unic@dol.ru www.unic.edu.ru

В РЕДАКЦИИ «КОНТИНЕНТА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

Двухтомник Ольги СЕДАКОВОЙ «Стихи. Проза»

Двухтомник издан издательством «Эн Эф Кью». Издание вышло ограниченным тиражом и состоит из тома стихов (574 стр.), в который включены также и поэтические переводы, и тома прозы (959 стр.), содержащего разделы: заметки и путешествия, эссе, исследования, очерки словесности, воспоминания, вместо заключения (в этот раздел, в частности, включена речь при вручении премии Владимира Соловьёва). Вступительная статья Сергея Аверинцева, художник А. Райхштейн.

Ольга Седакова — лауреат нескольких европейских премий, среди которых — Европейская премия поэзии 1996 г. и литературная премия им. Вл. Соловьёва, учреждённая Ватиканом (1998 г.), мало издавалась в России. И если сборники стихов всё же выходили в 1991 и 1994 гг., то проза была разбросана по периодическим изданиям, порой малотиражным, малодоступным, самиздатовским — частью же вообще не опубликована или сохранилась лишь в переводах на иностранные языки.

Книга сестры ЭММАНУЭЛЬ «Меджугорье, девяностые годы. Торжество сердца»

Издание общины «Беатитюд». Перевод с французского, 284 стр. В книге собраны свидетельства, а также наблюдения и размышления о Меджугорских событиях. Автор — сестра Эммануэль Майар — живет в Меджугорье с 1989 г.

Книга Нелли БИУЛЬ-ЗЕДГИНИДЗЕ «Литературная критика журнала "Новый мир" А.Т. Твардовского (1958-1970 гг.)»

Издание Культурно-просветительского центра «Первопечатник», 439 стр. Докторская диссертация автора, защищенная на факультете славистики Женевского университета. Исследуется творчество ведущих критиков «Нового мира»: В.Я. Лакшина, Ю.Г. Буртина, И.И. Виноградова, А.Д. Синявского в контексте журнальной политики.

Книга Игоря ВИНОГРАДОВА «Духовные искания русской литературы»

Издательство «Русский путь», 2005 г., 672 стр. Автор предлагает галерею масштабных мировоззренческих портретов русских писателей и мыслителей XIX-XX веков от Лермонтова и Писарева до Солженицына и Искандера. Книга обращена к духовным проблемам нашего времени — прежде всего к проблемам того «открытого сознания», которое свойственно современным людям, в подавляющем большинстве своем живущим вне мира религиозной веры. Книга для всех духовно вменяемых наших современников, которые не утратили способности терзаться высшими загадками бытия.

Также имеются в продаже
остатки тиража некоторых номеров «КОНТИНЕНТА» с 1993 года

Звоните и приходите!
Тел. 924.91.51.
Адрес: Мясницкая ул., д. 22, офис 114.

Бесплатно распространяется издание **«Антология самиздата», т.1-3**
Справки **по телефону** 232-26-43. *Мария Ефимовна.*

2006
№1

«КОНТИНЕНТ» № 127, 512 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (каталог Роспечати)

